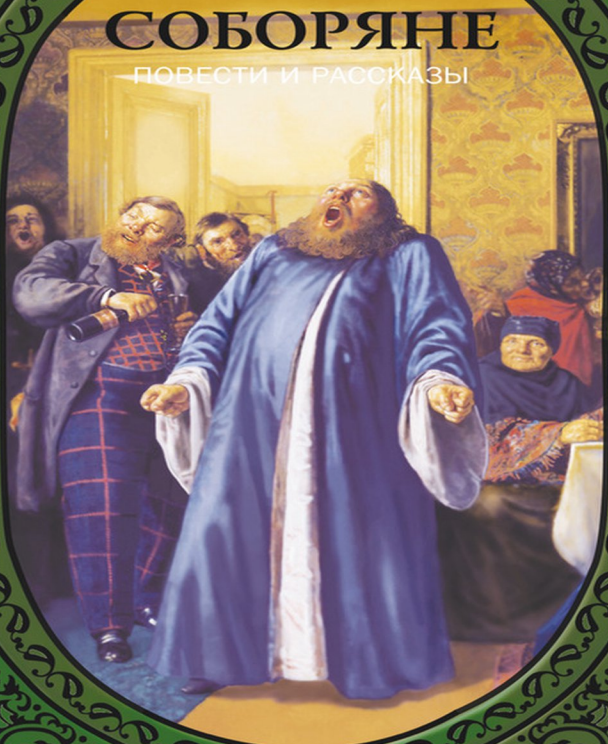
Н. Лесков

СОБОРЯНЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Соборяне. Повести и рассказы

Николай Семёнович Лесков

Аннотация
Николай Лесков. Соборяне
Соборяне
  Часть первая
    Глава первая
    Глава вторая
    Глава третья
    Глава четвертая
    Глава пятая
    Глава шестая
    Глава седьмая
    Глава восьмая
    Глава девятая
    Глава десятая
    Глава одиннадцатая
    Глава двенадцатая
    Глава тринадцатая
    Глава четырнадцатая
    Глава пятнадцатая
    Глава шестнадцатая
    Глава семнадцатая
  Часть вторая

Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Часть третья
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая

Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Часть четвертая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Часть пятая
Глава первая

Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Христианские легенды
Гора. Египетская повесть (по древним преданиям)
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая

Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая

Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Лев старца Герасима. (Восточная легенда)
Легенды о совестном Даниле
Невинный Пруденций. (Легенда)
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Прекрасная Аза

Сказание о Федоре-христианине и о друге его, Абраме-жидовине
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Скоморох Памафлон
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая

Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Повести
Час воли Божией. (Сказка)
Глава первая
Глава вторая

Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Маланья – голова баранья. (Сказка)
Левша, или сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (сказка)
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая

Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Очарованный странник
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая

Запечатленный ангел
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Христос в гостях у мужика. Рождественский рассказ Посвящается христианским детям

Аннотация

В сборник «Соборяне» вошли лучшие сочинения замечательного русского писателя Н.С. Лескова (1831 – 1895).

Повесть "Соборяне" была написана в 1872 г. С нее начался поворот Лескова к славянофильству, к русской религиозной тематике. Ярко и образно рассказывая о жизни православного духовенства, Лесков с нежностью и добротой подчеркивает и недостатки, имевшие место в русской церковной жизни.

В конце жизни Н.С.Лесков, оценивая созданное им за три десятилетия служения литературе, сказал: "Сила моего таланта в положительных типах...". Лесков постоянно искал положительных героев. Однажды он нашел их в любимом русским народом сочинении под названием "Пролог" – сборнике сказаний о христианах первых веков. Сборник тот известен на Руси с древнейших времен, его многократно переписывали, а с 1641 г. многократно переиздавали. Лесков не пересказал старые притчи на современный лад, а создал новые оригинальные литера-

турные творения, в которых воплотил свою мечту о всеобщей гармонии, царстве добра и света, истинной любви к Господу. Получились очень добрые и назидательные истории. Веру, Надежду и любовь в этих историях несут простые люди – праведники, из народа, которые не могут "о своей душе подумать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь".

Николай Лесков
Соборяне

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

АЛЕКСИЯ II

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Интернет– портал «Православная книга России» www. pravkniga. ru



Соборяне

Часть первая
Глава первая

Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки. Это — протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собою эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старогородского духовенства, протоиерея Савелия Туберозова, мужем, уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы: при первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива ма-

терого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса[1].

Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоенной бороде отца протопопа и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопа совсем черны и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева — гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он, в своем христианском уповании, верил быти бессмертною.

Захария Бенефактов, второй иерей Старгородского собора, совсем в другом роде. Вся его

[1] Примечания: 1

Речь идет о не дошедшей до нас статуе Зевса работы великого греческого скульптора Фидия (V век до н. э.). — Здесь и далее прим. ред.

личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает места и его крошечное тело и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие букольки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышиный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. По летам отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно немощнее его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу, и телесную подвижность.

Третий и последний представитель старого-

родского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые будет нелишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.

Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксического класса[2] за «великовозрастие и малоуспешие», говорил ему:

— Эка ты дубина какая, протяженно сложенная[3]!

Ректор, по особым ходатайствам вновь принявший Ахиллу в класс риторики[4], удивлялся, глядя на этого слагавшегося богатыря и, изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил:

— Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров.

Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из

---

[2] Примечания: 2

Синтаксический — последний класс семинарии.

[3] Примечания: 3

Правильно: «спротяженно сложенная» (слова из рождественской всенощной).

[4] Примечания: 4

Младший класс семинарии.

риторики и зачислении на причетническую должность, звал его «непомерным».

— Бас у тебя, — говорил регент, — хороший, точно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, так что чрез эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое веское из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался «уязвленным». Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличествовать сие последнее название «уязвленного».

Дьякон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности: мы увидим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомерность» баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и самого залетного верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем

страшен был регенту непомерный Ахилла, — это «увлекательностью». Так он, например, во всенощной никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть «Свят Господь Бог наш», а нередко вырывался в увлечении и пел это один-одинешенек четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые потому можно было пред видеть, против «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей и самого дьякона и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли совсем уберечь от них, и он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что «тому нет спасения, кто в самом себе носит врага». В один большой из двунадесятых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт[5], должен был

[5] Примечания: 5
Песнопение, исполняемое перед принятием причастия молящимися.

делать весьма хитрое басовое соло на словах: «и скорбьми уязвлен». Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот: он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться перед любившим пение преосвященным и перед всею губернскою аристократией, которая соберется в церковь. И зато справедливость требует сказать, что Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или по двору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону, и все распевал на разные тоны: «уязвлен, уязвлен, уязвлен», и в таких беспрестанных упражнениях дождался наконец, что настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое «уязвлен» пред всем собором. Начался концерт. Боже, как велик и светло сияющ стоит с нотами в руках огромный Ахилла! Его надо было срисовать — пером нельзя его описывать… Вот уже прошли знакомые форшлаги[6], и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло «уязвлен» и, дождавшись своего

[6] Примечания: 6

Форшлаг (нем.) — мелодическое украшение из одного или двух звуков, предшествующих основному звуку мелодии.

темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку… Ахилла позабыл весь мир и себя самого и удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: «И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-н, уязвлен». Силой останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в «увлекательной» голове Ахиллы, и среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословению аристократией, словно трубный глас с неба, с клироса[7] снова упал вдруг: «Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н». Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают — он поет; его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищей, — он поет: «уязвлен»; его, наконец, выводят вон из церкви, но он все-таки поет: «у-я-з-в-л-е-н».

— Что тебе такое? — спрашивают его с участием сердобольные люди.

— «Уязвлен», — воспевает, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха не отрезвила его экзальтацию.

---

[7] Примечания: 7
Клирос — место в храме, где стоят певчие.

В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефактовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже далеко за сорок, и по смоляным черным кудрям его пробежала сильная проседь. Роста Ахилла огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок, но при всем этом весьма приятен; тип лица имеет южный и говорит, что происходит из малороссийских казаков, от коих он и в самом деле как будто унаследовал беспечность и храбрость и многие другие казачьи добродетели.

Глава вторая

Жили все эти герои старомодного покроя на старгородской поповке, над тихою судоходною рекой Турицей. У каждого из них, как у Туберозова, так и у Захарии и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самом берегу, как раз насупротив высившегося за рекой старинного пятиглавого собора с высокими куполами. Но как разнохарактерны были сами эти обыватели, так различны были и их жилища. У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краской, с разноцветными звездочка-

ми, квадратиками и репейками[8], прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамливались еще резными, ярко же раскрашенными наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой крепкий домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч, полосой глазета ложившийся на его разделанный под паркет пол.

В домике у отца протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядок у него некому. Он бездетен, и это составляет одну из непреходящих скорбей его и его протопопицы.

У отца Захарии Бенефактова домик гораздо больше, чем у отца Туберозова; но в бенефактовском домике нет того щегольства и кокетства, каким блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики,

---

[8] Примечания: 8
Резное деревянное украшение.

друг друга оттирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого Бог благословил яко Иакова, а жену его умножил яко Рахиль. У отца Захарии далеко не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка: на всем здесь лежали следы детских запачканных лапок; изо всякого угла торчала детская головенка; и все это шевелилось детьми, все здесь и пищало и пело о детях, начиная с запечных сверчков и оканчивая матерью, убаюкивавшею свое потомство песенкой:

Дети мои, дети!
Куда мне вас дети?
Где вас положити?

Дьякон Ахилла был вдов и бездетен и не радел ни о стяжаниях, ни о домостройстве. У него на самом краю Заречья была мазаная малороссийская хата, но при этой хате не было ни служб, ни заборов, словом, ничего, кроме небольшой жердяной кардыˢ⁹, в которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то вороная кобылица. Убранство в доме Ахиллы тоже было чисто казацкое: в лучшей половине этого поме-

[9] Примечания: 9
Скотный двор в поле, загородка для скота.

щения, назначавшейся для самого хозяина, стоял деревянный диван с решетчатою спинкой; этот диванчик заменял Ахилле и кровать, и потому он был застлан белою казацкою кошмой[10], а в изголовье лежал чеканенный азиатский седельный орчак[11], к которому была прислонена маленькая блинообразная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Пред этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан[12], нагайка и две вязанные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок Успения Богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкой и маленький киевский молитвословик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной, жила у него отставная старая горничная помещичьего дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансою[13].

---

[10] Примечания: 10

Род войлока, изготовляемого из овечьей шерсти.

[11] Примечания: 11

Седельный остов из кожи.

[12] Примечания: 12

Укрюк — жердь с веревкой, на конце которой петля для поимки пасущихся коней.

[13] Примечания: 13

От франц. esperance — надежда.

Это была особа старенькая, маленькая, желтенькая, востроглазая, сморщенная, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила себе места нигде и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота и самое крайнее раздражение своей старой служанки в решительные минуты прекращал только громовым: «Эсперанса, Эсперанса, провались!» После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватит ее на руки, посадит на крышу своей хаты и оставит там, не снимая, от зари до зари. В виду этого страшного наказания Эсперанса боялась противоречить своему казаку-господину.

Все эти люди жили такою жизнью и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли не богатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая протопопица чтила его и не слыхала в нем души. Отец Захария также был счастлив в своем птичнике. Не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гулянье по городу, или в выезде и в мене своих коней, или, наконец, порой

в дразнении и в укрощении своей «услужающей Эсперансы».

Савелий, Захария и Ахилла были друзья, но было бы, конечно, большою несправедливостью полагать, что они не делали усилий разнообразить жизнь сценами легкой вражды и недоразумений, благодетельно будящими человеческие натуры, усыпляемые бездействием уездной жизни. Нет, бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют нам многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и переносил их. Бывали и у них недоразумения. Так, например, однажды помещик и местный предводитель дворянства, Алексей Никитич Плодомасов, возвратясь из Петербурга, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки и между прочим три трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, другую для отца Захарии, а третью, с красивым набалдашником из серебра с чернью, — для дьякона Ахиллы. Трости эти пали между старгородским духовенством как библейские змеи, которых кинули пред фараона

египетские кудесники.

— Сим подарением тростей на нас наведено сомнение, — рассказывал дьякон Ахилла.

— Да в чем же вы тут, отец дьякон, видите сомнение? — спрашивали его те, кому он жаловался.

— Ах, да ведь вот вы, светские, ничего в этом не понимаете, так и не утверждайте, что нет сомнения, — отвечал дьякон, — нет-с! тут большое сомнение!

И дьякон пускался разъяснять это специальное горе.

— Во-первых, — говорил он, — мне, как дьякону, по сану моему такого посоха носить не дозволено и неприлично, потому что я не пастырь, — это раз. Повторительно, я его теперь, этот посох, ношу, потому что он мне подарен, — это два. А в-третьих, во всем этом сомнительная одностойность: что отцу Савелью, что Захарии одно и то же, одинаковые посошки. Зачем же так сравнять их?.. Ах, помилуйте же вы, зачем?.. Отец Савелий… вы сами знаете… отец Савелий… он умница, философ, министр юстиции, а теперь, я вижу, и он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.

— Да чем же он тут может быть смущен, отец

дьякон?

— А тем смущен, что, во-первых, от этой совершенной одностойности происходит смешанность. Как вы это располагаете, как отличить, чья эта трость? Извольте теперь их разбирать, которая отца протопопа, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но, положим, на этот бы счет для разборки можно какую-нибудь заметочку положить — или сургучом под головкой прикапнуть, или сделать ножом на дереве нарезочку; но что же вы поделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них против другой цену или достоинство ее отнять, когда они обе одностойны? Помилуйте вы меня, ведь это невозможно, чтоб и отец протопоп и отец Захария были одностойны. Это же не порядок-с! И отец протопоп это чувствует, и я это вижу-с и говорю: «Отец протопоп, больше ничего в этом случае нельзя сделать, как, позвольте, я на отца Захариину трость сургучную метку положу или нарезку сделаю». А он говорит: «Не надо! Не смей, и не надо!» Как же не надо? «Ну, говорю, благословите: я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей ножом слегка на вершок урежу, так что отец Захария этого сокращения и знать не будет», но он опять: «Глуп, говорит,

ты!..» Ну, глуп и глуп, не впервой мне это от него слышать, я от него этим не обижаюсь, потому он заслуживает, чтоб от него снесть, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен, и мне от этого пребеспокойно… И вот скажите же вы, что я трижды глуп, — восклицал дьякон, — да-с, позволяю вам, скажите, что я глуп, если он, отец Савелий, не сполитикует. Это уж я наверно знаю, что мне он на то не позволяет, а сам сполитикует.

И дьякон Ахилла, по-видимому, не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старгородскому соборному духовенству упомянутых наводящих сомнение посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город. Не было надобности придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, в качестве благочинного, частенько езжал в консисторию[14]. Никто и не толковал о том, зачем протопоп едет. Но вот отец Туберозов, уже усевшись в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал:

— А послушай-ка, отче, где твоя трость? Дай-ка ты мне ее, я ее свезу в город.

---

[14] Примечания: 14

Управление церковно-административным округом (епархией), во главе которого стоит архиерей.

Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг как бы озарило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.

Дьякон Ахилла первый сейчас же крякнул и шепнул на ухо отцу Бенефактову:

— А что-с! Я вам говорил: вот и политика!

— Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? — вопросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария, отстраняя дьякона.

— Для чего? А вот я там, может быть, покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят, — отвечал Туберозов.

— Алеша, беги, принеси посошок, — послал домой сынишку отец Захария.

— Так вы, может быть, отец протопоп, и мою трость тоже свозите показать? — вопросил, сколь умел мягче, Ахилла.

— Нет, ты свою пред собою содержи, — отвечал Савелий.

— Что ж, отец протопоп, «пред собою»? И я же ведь точно так же… тоже ведь и я предводительского внимания удостоился, — отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не почтил его претензии никаким ответом и, положив

рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захарии, поехал.

Туберозов ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла, оставаясь дома, томился разрешением себе загадки: зачем Туберозов отобрал трость у Захарии?

— Ну что тебе? Что тебе до этого? что тебе? — останавливал Захария мятущегося любопытством дьякона.

— Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.

— Ну а если и сполитикует, а тебе что до этого? Ну и пусть его сполитикует.

— Да я нестерпимо любопытен предвидеть, в чем сие будет заключаться. Урезать он мне вашу трость не хотел позволить, сказал: глупость; метки я ему советовал положить, он тоже и это отвергнул. Одно, что я предвижу…

— Ну, ну… ну что ты, болтун, предвидеть можешь?

— Одно, что… он непременно драгоценный камень вставит.

— Да! ну… ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?

— В рукоять.

— Дав свою или в мою?

— В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень, ведь это драгоценность.

— Да ну, а мою же трость он тогда зачем взял? В свою камень вставлять будет, а моя ему на что?

Дьякон ударил себя рукой по лбу и воскликнул:

— Одурачился!

— Надеюсь, надеюсь, что одурачился, — утверждал отец Захария, добавив с тихою укоризной: — а еще ведь ты, братец мой, логике обучался; стыдно!

— Что же за стыд, когда я ей обучался, да не мог понять! Это со всяким может случиться, — твечал дьякон и, не высказывая уже более никаких догадок, продолжал тайно сгорать любопытством — что будет?

Прошла неделя, и отец протопоп возвратился. Ахилла-дьякон, объезжавший в это время выменного им степного коня, первый заметил приближение к городу протоиерейской черной кибитки и летел по всем улицам, останавливаясь пред открытыми окнами знакомых домов, крича: «Едет! Савелий! едет наш поп велий[15]!» Ахиллу вдруг осенило новое соображение.

---

[15] Примечания: 15
Великий (церк. — слав.).

— Теперь знаю, что такое! — говорил он окружающим, спешиваясь у протопоповских ворот. — Все эти размышления мои до сих пор предварительные были не больше как одною глупостью моею; а теперь я наверное вам скажу, что отец протопоп кроме ничего как просто велел вытравить литеры греческие, а не то так латинские. Так, так, не иначе как так; это верно, что литеры вытравил, и если я теперь не отгадал, то сто раз меня дураком после этого назовите.

— Погоди, погоди, и назовем, и назовем, — частил в ответ ему отец Захария, в виду остановившейся у ворот протопоповской кибитки.

Отец протопоп вылез из кибитки важный, солидный; вошел в дом, помолился, повидался с женой, поцеловал ее при этом три раза в уста, потом поздоровался с отцом Захарией, с которым они поцеловали друг друга в плечи, и, наконец, и с дьяконом Ахиллой, причем дьякон Ахилла поцеловал у отца протопопа руку, а отец протопоп приложил свои уста к его темени. После этого свидания началось чаепитие, разговоры, рассказы губернских новостей, и вечер уступил место ночи, а отец протопоп и не заикнулся об интересующих всех посохах. День, другой и третий прошел, а отец Туберозов и не заговаривает

об этом деле, словно свез он посохи в губернию да там их оба по реке спустил, чтоб и речи о них не было.

— Вы же хоть полюбопытствуйте! Спросите! — беспрестанно зудил во все дни отцу Захарию нетерпеливый дьякон Ахилла.

— Что я буду его спрашивать? — отвечал отец Захария. — Нетто я ему не верю, что ли, что стану отчет требовать, куда дел?

— Да все-таки ради любознательности спросить должно.

— Ну и спроси, зуда, сам, если хочешь ради любознательности.

— Нет, вы, ей-Богу, со страху его не спрашиваете.

— С какого это страху?

— Да просто боитесь; а я бы, ей-Богу, спросил. Да и чего тут бояться-то? спросите просто: а как же, мол, отец протопоп, будет насчет наших тростей? Вот только всего и страху.

— Ну, так вот ты и спроси.

— Да мне нельзя.

— А почему нельзя?

— Он меня может оконфузить.

— А меня разве не может?

Дьякон просто сгорал от любопытства и не

знал, что бы такое выдумать, чтобы завести разговор о тростях; но вот, к его радости, дело разрешилось, и само собою. На пятый или на шестой день по возвращении своем домой отец Савелий, отслужив позднюю обедню, позвал к себе на чай и городничего, и смотрителя училищ, и лекаря, и отца Захарию с дьяконом Ахиллой и начал опять рассказывать, что он слышал и что видел в губернском городе. Прежде всего отец протопоп довольно пространно говорил о новых постройках, потом о губернаторе, которого осуждал за неуважение ко владыке и за постройку водопроводов, или, как отец протопоп выражался: «акведуков».

— Акведуки эти, — говорил отец протопоп, — будут ни к чему, потому город малый, и притом тремя реками пересекается; но магазины, которые все вновь открываются, нечто весьма изящное начали представлять. Да вот я вам сейчас покажу, что касается нынешнего там искусства…

И с этими словами отец протопоп вышел в боковую комнату и через минуту возвратился оттуда, держа в каждой руке по известной всем трости.

— Вот видите, — сказал он, поднося к глазам гостей верхние площади золотых набалдашников.

Ахилла-дьякон так и воззрился, что такое сделано политиканом Савелием для различения однослойных тростей; но увы! ничего такого резкого для их различия не было заметно. Напротив, одностойность их даже как будто еще увеличилась, потому что посредине набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково вырезано окруженное сиянием Всевидящее Око; а вокруг Ока краткая, в виде узорчатой каймы, вязная надпись.

— А литер, отец протопоп, нет? — заметил, не утерпев, Ахилла.

— К чему здесь тебе литеры нужны? — отвечал, не глядя на него, Туберозов.

— А для отличения их одностойности?

— Все ты всегда со вздором лезешь, — заметил отец протопоп дьякону и при этом, приставив одну трость к своей груди, сказал: — вот это будет моя.

Ахилла-дьякон быстро глянул на набалдашник и прочел около Всевидящего Ока: «Жезл Ааронов расцвел».

— А вот это, отец Захария, будет тебе, — докончил протопоп, подавая другую трость Захарии.

На этой вокруг такого же точно Всевидящего Ока такою же точно древлеславянскою вязью

было вырезано: «Даде в руку его посох».

Ахилла как только прочел эту вторую подпись, так пал за спину отца Захарии и, уткнув голову в живот лекаря, заколотился и задергался в припадках неукротимого смеха.

— Ну что, зуда, что, что? — частил, обернувшись к нему, отец Захария, между тем как прочие гости еще рассматривали затейливую работу резчика на иерейских посохах. — Литеры? А? литеры, баран ты этакой кучерявый? Где же здесь литеры?

Но дьякон не только нимало не сконфузился, но опять порскнул и закатился со смеху.

— Чего смеешься? чего помираешь?

— Это кто ж баран-то выходит теперь? — вопросил, едва выговаривая слова, дьякон.

— Да ты же, ты. Кто же еще баран?

Ахилла опять залился, замотал руками и, изловив отца Захарию за плечи, почти сел на него медведем и театральным шепотом забубнил:

— А вы, отец Захария, как вы много логике учились, так вы вот это прочитайте: «Даде в руку его посох». Ну-те-ка, решите по логике: чему такая надпись соответствует!

— Чему? Ну говори, чему?

— Чему-с? А она тому соответствует, — заговорил протяжнее дьякон, — что дали, мол, дескать,

ему линейкой палю в руку.

— Врешь.

— Вру! А отчего же вон у него «жезл расцвел»? А небось ничего про то, что в руку дано, не обозначено? Почему? Потому что это сделано для превозвышения, а вам это для унижения черкну то, что, мол, дана палка в лапу.

Отец Захария хотел возразить, но и вправду слегка смутился. Дьякон торжествовал, наведя это смущение на тихого отца Бенефактова; но торжество Ахиллы было непродолжительно.

Не успел он оглянуться, как увидел, что отец протопоп пристально смотрел на него в оба глаза и чуть только заметил, что дьякон уже достаточно сконфузился, как обратился к гостям и самым спокойным голосом начал:

— Надписи эти, которые вы видите, я не сам выдумал, а это мне консисторский секретарь Афанасий Иванович присоветовал. Случилось нам, гуляя с ним пред вечером, зайти вместе к золотарю; он, Афанасий Иванович, и говорит: вот, говорит, отец протопоп, какая мне пришла мысль, надписи вам на тростях подобают, вот вам этакую: «Жезл Ааронов», а отцу Захарии вот этакую очень пристойно, какая теперь значится. А тебе, отец дьякон… я и о твоей трости, как ты

меня просил, думал сказать, но нашел, что лучше всего, чтобы ты с нею вовсе ходить не смел, потому что это твоему сану не принадлежит…

При этом отец протопоп спокойно подошел к углу, где стояла знаменитая трость Ахиллы, взял ее и запер ключом в свой гардеробный шкаф.

Такова была величайшая из распрей на старогородской поповке.

— Отсюда, — говорил дьякон, — было все начало болезням моим. Потому что я тогда не стерпел и озлобился, а отец протопоп Савелий начал своею политикой еще более уничтожать меня и довел даже до ярости. Я свирепел, а он меня, как медведя на рогатину, сажал на эту политику, пока я даже осатаневать стал.

Это был образчик мелочности, обнаруженной на старости лет протопопом Савелием, и легкомысленности дьякона, навлекшего на себя гнев Туберозова; но как Москва, говорят, от копеечной свечи сгорела, так и на старогородской поповке вслед за этим началась целая история, выдвинувшая наружу разные недостатки и превосходства характеров Савелия и Ахиллы.

Дьякон лучше всех знал эту историю, но рассказывал ее лишь в минуты крайнего своего волнения, в часы расстройства, раскаяний и

беспокойств, и потому когда говорил о ней, то говорил нередко со слезами на глазах, с судорогами в голосе и даже нередко с рыданиями.

Глава третья

— Мне, — говорил сквозь слезы взволнованный Ахилла, — мне по-настоящему, разумеется, что бы тогда следовало сделать? Мне следовало пасть к ногам отца протопопа и сказать, что так и так, что я это, отец протопоп, не по злобе, не по ехидству сказал, а единственно лишь чтобы только доказать отцу Захарии, что я хоть и без логики, но ничем его не глупей. Но гордыня меня обуяла и удержала. Досадно мне стало, что он мою трость в шкаф запер, а потом после того учитель Варнавка Препотенский еще подоспел и подгадил… Ах, я вам говорю, что уже сколько я на самого себя зол, но на учителя Варнавку вдвое! Ну, да и не я же буду, если я умру без того, что я этого просвирниного сына учителя Варнавку не взвошу!

— Опять и этого ты не смеешь, — останавливал Ахиллу отец Захария.

— Отчего же это не смею? За безбожие-то да не смею? Ну, уж это извините-с!

— Не смеешь, хоть и за безбожие, а все-таки

драться не смеешь, потому что Варнава был просвирнин сын, а теперь он чиновник, он учитель.

— Так что, что учитель? Да я за безбожие кого вам угодно возделаю. Это-с, батюшка, закон, а не что-нибудь. Да-с, это очень просто кончается: замотал покрепче руку ему в аксиосы[16], потряс хорошенько, да и выпустил, и ступай, мол, жалуйся, что бит духовным лицом за безбожие… Никуда не пойдет-с! Но Боже мой, Боже мой! Как я только вспомню да подумаю — и что это тогда со мною поделалось, что я его, этакого негодивца Варнавку, слушал и что даже до сего дня я еще с ним как должно не расправился! Ей, право, не знаю, откуда такая слабость у меня? Ведь вон тогда Сергея-дьячка за рассуждение о громе я сейчас же прибил; комиссара Данилку-мещанина за едение яиц на улице в прошедший Великий пост я опять тоже неупустительно и всенародно весьма прилично по ухам оттрепал, а вот этому просвирнину сыну все до сих пор спускаю, тогда как я этим Варнавкой более всех и уязвлен! Не будь его, сей распри бы не разыграться. Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом

[16] Примечания: 16

«Аксиос!» (греч. «Достоин!») — возглашается при пострижении, совершаемом во время посвящения в духовный сан. Поэтому в быту духовенства волосы стали называться «аксиосами».

Захарией, но все бы это не было долговременно; а этот просвирнин сын Варнавка, как вы его нынче сами видеть можете, учитель математики в уездном училище, мне тогда, озлобленному и уязвленному, как подтолдыкнул: «Да это, — говорит, — надпись туберозовская еще, кроме того, и глупа». Я, знаете, будучи уязвлен, страх как жаждал, чем бы и самому отца Савелия уязвить, и спрашиваю: чем же глупа? А Варнавка говорит: «Тем и глупа, что еще самый факт-то, о котором она гласит, недостоверен; да и не только недостоверен, а и невероятен. Кто это, — говорит, — засвидетельствовал, что жезл Ааронов расцвел? Сухое дерево разве может расцвесть?» Я было его на этом даже остановил и говорю: «Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильич, не говори, потому что Бог иде же хощет, побеждается естества чин»; но при этом, как вся эта наша рацея у акцизничихи у Бизюкиной происходила, а там все это разные возлияния да вино все хорошее: все того, го-сотерн да го-марго, я… прах меня возьми, и надрызгался. Я, изволите понимать, в винном угаре, а Варнавка мне, знаете, тут мне по-своему, по-ученому торочит, что «тогда ведь, говорит, вон и *мани факел фарес* было на пиру Вальтасаровом написано, а теперь, говорит, ведь

это вздор; я вам могу это самое сейчас фосфорною спичкой написать». Ужасаюсь я; а он все дальше да больше: «Да там и во всем, — говорит, — бездна противоречий…» И пошел, знаете, и пошел, и все опровергает; [17] а я все это сижу да слушаю. А тут опять еще эти го-марго, да уж и достаточно даже сделался уязвлен и сам заговорил в вольнодумном штиле. «Я, — говорю, — я, если бы только не видел отца Савелиевой прямоты, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит и жертва его прямо идет, как жертва Авелева, то я только Каином быть не хочу, а то бы я его…» Это, понимаете, на отца Савелия-то! И к чему-с это; к чему это я там в ту пору о нем заговорил? Ведь не глупец ли? Ну, а она, эта Данка Нефалимка[17], Бизюкина-то, говорит: «Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цену Каину-то? что такое, говорит, ваш Авель? Он больше ничего как маленький барашек, он низкопоклонный искатель, у него рабская натура, а Каин гордый деятель — он не помирится с жизнию

[17] Примечания: 17

Правильно: *мене, текел, перес*— слова, по библейскому преданию, появившиеся на стене зала, в котором пировал вавилонский царь Валтасар во время осады города персами. Призванный на пир пророк Даниил разъяснил смысл этих слов: *«мене* — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; *текел* — ты взвешен на весах и найден очень легким; *перес*– разделено царство твое и дано мидянам и персам» (Книга пророка Даниила, 5, 26–28).

подневольною. Вот, говорит, как его английский писатель Бирон изображает...» Да и пошла-с мне расписывать! Ну, а тут все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вот вдруг чувствую, что хочу я быть Каином, да и шабаш. Вышел я оттуда домой, дошел до отца Протопопова дома, стал пред его окнами и вдруг подперся по-офицерски в боки руками и закричал: «Я царь, я раб, я червь, я Бог!» Боже, Боже: как страшно вспомнить, сколь я был бесстыж и сколь же я был за то в ту ж пору постыжен и уязвлен! Отец протопоп, услыхав мое козлогласие, вскочили с постели, подошли в сорочке к окну и, распахнув раму, гневным голосом крикнули: «Ступай спать, Каин неистовый!» Верите ли: я даже затрепетал весь от этого слова, что я «Каин», потому, представьте себе, что я только собирался в Каины, а он уже это провидел. Ах, Боже! Я отошел к дому своему, сам следов своих не разумеючи, и вся моя стропотность тут же пропала, и с тех пор и доныне я только скорблю и стенаю. [18]

Повторив этот рассказ, дьякон обыкновенно задумывался, поникал головой и через минуту, вздохнув, продолжал мягким и грустным тоном:

---

[18] Примечания: 18

Здесь игра слов: Данка — уменьшительное от имени Дарья; Дан и Нефалим — сыновья Иакова.

— Но вот-с дние бегут и текут, а гнев отца протопопа не проходит и до сего дня. Я приходил и винился; во всем винился и каялся, говорил: «Простите, как Бог грешников прощает», но на все один ответ: «Иди». Куда? я спрашиваю, куда я пойду? Почтмейстерша Тимониха мне все советует: «В полк, говорит, отец дьякон, идите, вас полковые любить будут». Знаю я это, что полковые очень могут меня любить, потому что я и сам почти воин; но что из меня в полку воспоследует, вы это обсудите? Ведь я там с ними в полку уж и действительно Каином сделаюсь… Ведь это, ведь я знаю, что все-таки один он, один отец Савелий еще меня и содержит в субординации, — а он… а он…

При этих словах у дьякона закипали в груди слезы, и он, всхлипывая, заканчивал:

— А он вот какую низкую штуку со мною придумал: чтобы молчать! Что я ни заговорю, он все молчит… За что же ты молчишь? — восклицал дьякон, вдруг совсем начиная плакать и обращаясь с поднятыми руками в ту сторону, где полагал быть дому отца протопопа. — Хорошо, ты думаешь, это так делать, а? Хорошо это, что я по дьяконству моему подхожу и говорю: «благослови, отче?» и, руку его целуя, чувствую, что

даже рука его холодна для меня! Это хорошо? На Троицын день пред великою молитвойя, слезами обливаясь, прошу: «благослови…» А у него и тут умиления нет. «Буди благословен», говорит. Да что мне эта форменность, когда все это без ласковости!

Дьякон ожидал утешения и поддержки.

— Заслужи, — замечает ему отец Захария, — заслужи хорошенько, он тогда и с лаской простит.

— Да чем же я, отец Захария, заслужу?

— Примерным поведением заслужи.

— Да каким же примерным поведением, когда он совсем меня не замечает? Мне, ты, батя, думаешь, легко, как я вижу, что он скорбит, вижу, что он нынче в столь частой задумчивости. «Боже мой! — говорю я себе, — чего он в таком изумлении? Может быть, это он и обо мне…» Потому что ведь там, как он на меня ни сердись, а ведь он все это притворствует: он меня любит…

Дьякон оборачивался в другую сторону и, стуча кулаком по ладони, выговаривал:

— Ну, просвирнин сын, тебе это так не пройдет! Будь я взаправду тогда Каин, а не дьякон, если только я этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Из одной этой угрозы читатели могут видеть,

что некоему упоминаемому здесь учителю Варнаве Препотенскому со стороны Ахиллы-дьякона угрожала какая-то самая решительная опасность, и опасность эта становилась тем грознее и ближе, чем чаще и тягостнее Ахилла начинал чувствовать томление по своем потерянном рае, по утраченном благорасположении отца Савелия. И вот, наконец, ударил час, с которого должны были начаться кара Варнавы Препотенского рукой Ахиллы и совершенно совпадавшее с сим событием начало великой старогородской драмы, составляющей предмет нашей хроники.

Чтобы ввести читателя в уразумение этой драмы, мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский следопыт, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся в глубины внутреннего мира самого драматического лица нашей повести — уйдем в мир неведомый и незримый для всех, кто посмотрит на это лицо и близко и издали. Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, стоя внутри этого дома, найдем средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица Божия, с медом на усладу человека. Но будем осторожны

и деликатны: наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопа; положим сказочную шапку-невидимку себе на голову, дабы любопытный зрак наш не смущал серьезного взгляда чинного старца, и станем иметь уши наши отверзтыми ко всему, что от него услышим.

Глава четвертая

Над Старгородом летний вечер. Солнце давно село, Нагорная сторона, где возвышается острый купол собора, озаряется бледными блесками луны, а тихое Заречье утонуло в теплой мгле. По пловучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно: ночь в тихом городке рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. Из далеких лесов доносится благотворная свежесть. На острове, который образуют рукава Турицы и на котором синеет бакша кривоносого чудака, престарелого недоучки духовного звания, некоего Константина Пизонского, называемого от всех «дядей Котином», раздаются

клики:

— Молвоша! где ты, Молвоша!

Это старик зовет резвого мальчишку, своего приемыша, и клики эти так слышны в доме протопопа, как будто они раздаются над самым ухом сидящей у окна протопопицы. Вот оттуда же, с той же бакши, несется детский хохот, слышится плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам, звонкий лай игривой собаки, и все это кажется так близко, что мать протопопица, продолжавшая все это время сидеть у окна, вскочила и выставила вперед руки. Ей показалось, что бегущее и хохочущее дитя сейчас же упадет к ней на колени. Но, оглянувшись вокруг, протопопица заметила, что это обман, и, отойдя от окна в глубину комнаты, зажгла на комоде свечу и кликнула небольшую, лет двенадцати, девочку и спросила ее:

— Ты, Феклинька, не знаешь ли, где наш отец протопоп?

— Он, матушка, у исправника в шашки играет.

— А, у исправника. Ну Бог с ним, когда у исправника. Давай мы ему, Фекл ушка, постель постелем, пока он воротится.

Феклинька принесла из соседней комнаты в залу две подушки, простыню и стеганое желтое

шерстяное одеяло; а мать протопопица внесла белый пикейный шлафрок и большой пунцовый фуляр. Постель была постлана отцу протопопу на большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто; белый шлафрок раскинут по креслу, которое поставлено в ногах постели; на шлафрок положен пунцовый фуляр. Когда эта часть была устроена, мать-протопопица вдвоем с Феклинькой придвинули к головам постели отца Савелия тяжелый, из карельской же березы, овальный стол на массивной тумбе, поставили на этот стол свечу, стакан воды, блюдце с толченым сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и тщательность, с которою они исполнялись, свидетельствовали о великом внимании протопопицы ко всем привычкам мужа. Только устроив все как следовало, по обычаю, она успокоилась, и снова погасила свечу, и села одиноко к окошечку ожидать протопопа. Глядя на нее, можно было видеть, что она ожидает его неспокойно; этому и была причина: давно невеселый Туберозов нынче особенно хандрил целый день, и это тревожило его добрую подругу. К тому же он и устал: он ездил нынче на поля пригородных слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи. После обеда он немножко

вздремнул и пошел пройтись, но, как оказалось, зашел к исправнику, и теперь его еще нет. Ждет его маленькая протопопица еще полчаса и еще час, а его все нет. Тишина ненарушимая. Но вот с нагорья послышалось чье-то довольно приятное пение. Мать протопопица прислушивается.

Это поет дьякон Ахилла; она хорошо узнает его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает:

Нонною темнотою
Покрылись небеса;
Все люди для покоя
Сомкнули очеса.

Дьякон спустился с горы и, идучи по мосту, продолжает:

Внезапно постучался
Мне в двери Купидон;
Приятный перервался
В начале самом сон.

Протопопица слушает с удовольствием пение Ахиллы, потому что она любит и его самого за то, что он любит ее мужа, и любит его пение. Она замечталась и не слышит, как дьякон взошел на берег, и все приближается и приближается, и,

наконец, под самым ее окошечком вдруг хватил с декламацией:

Кто там стучится смело?

Сквозь двери я спросил.

Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: «Ах!» и отскочила в глубь покоя.

Дьякон, услыхав это восклицание, перестал петь и остановился.

— А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали? — отнесся он к протопопице и с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец и воскликнул: — А у нас мир!

— Что? — переспросила протопопица.

— Мир, — повторил дьякон, — мир. Ахилла повел по воздуху рукой и добавил:

— Отец протопоп… конец…

— Что ты говоришь, какой конец? — запытала вдруг встревоженная этим словом протопопица.

— Конец… со мною всему конец… Отныне мир и благоволение. Ныне которое число? Ныне четвертое июня; вы так и запишите: «Четвертого июня мир и благоволение», потому что мир всем и Варнавке учителю шабаш.

— Ты это что-то… вином от тебя не пахнет, а врешь.

— Вру! А вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня четвертое июня, сегодня преподобного Мефодия Песношского, вот вы это себе так и запишите, что от этого дня у нас распочнется.

Дьякон еще приподнялся на локти и, втиснувшись в комнату по самый по пояс, зашептал:

— Вы ведь небось не знаете, что учитель Варнавка сделал?

— Нет, дружок, не слыхала, что такое еще он, него-дивец, сотворил.

— Ужасная вещь-с! Он человека в горшке сварил.

— Дьякон, ты это врешь! — воскликнула протопопица.

— Нет-с, сварил!

— Истинно врешь! — человека в горшок не всунешь.

— Он его в золяной корчаге сварил, — продолжал, не обрящая на нее внимания, дьякон, — и хотя ему это мерзкое дело было дозволено от исправника и от лекаря, но тем не менее он теперь за это предается в мои руки.

— Дьякон, ты врешь; ты все это врешь.

— Нет-с, извините меня, даже ни одной минуты я не вру, — зачастил дьякон и, замотав головой, начал вырубать слово от слова чаще. — Извольте

хорошенько слушать, в чем дело и какое его было течение: Варнавка действительно сварил человека с разрешения начальства, то есть лекаря и исправника, так как то был утопленник; но этот сваренец теперь его жестоко мучит и его мать, госпожу просвирню, и я все это разузнал и сказал у исправника отцу протопопу, и отец протопоп исправнику за это… того-с, по-французски, пробире-муа, задали, и исправник сказал: что я, говорит, возьму солдат и положу этому конец; но я сказал, что пока еще ты возьмешь солдат, а я сам солдат, и с завтрашнего дня, ваше преподобие, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видеть, как дьякон Ахилла начнет казнить учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых и мучит мертвых. Да-с, сегодня четвертое июня, память преподобного Мефодия Песношского, и вы это запишите…

Но на этих словах поток красноречия Ахиллы оборвался, потому что в это время как будто послышался издалека с горы кашель отца протопопа.

— Во! грядет поп Савелий! — воскликнул, заслышав этот голос, Ахилла и, соскочив с фундамента на землю, пошел своею дорогой. Протопопица осталась у своего окна не только во мраке неве-

дения насчет всего того, чем дьякон грозился учителю Препотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. Ей некогда было и раздумывать о нескладных речах Ахиллы, потому она услыхала, как скрипнули крылечные ступени и отец Савелий вступил в сени, в камилавке на голове и в руках с тою самою тростью, на которой было написано: «Жезл Ааронов расцвел».

Протопопица встала, разом засветила две свечи и из-под обеих зорко посмотрела на вошедшего мужа. Протопоп тихо поцеловал жену в лоб, тихо снял рясу, надел свой белый шлафор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за несколько минут пред этим наговорил дьякон, и потому ни о чем не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатую комнатку, которая служила ей спальней и где теперь была приготовлена для отца Савелия его вечерняя закуска. Отец Савелий сел к столику, съел два сваренные для него всмятку яйца и, помолясь, начал прощаться на ночь с женой. Протопопица сама никогда не ужинала. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услу-

ги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потом они оба вставали, молились пред образом и непосредственно за тем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно, и притом с такою ловкостью и быстротой, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие одна мимо другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся.

Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце; затем они расставались: протопоп уходил в свою гостиную и вскоре ложился. Точно так же пришел он в свою комнату и сегодня, но не лег в постель, а долго ходил по комнате, наконец притворил и тихо запер на крючок дверь в женину спальню.

— Отец Савелий, ты чего-то не в светлом духе? — спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие черты мужнина характера.

— Нет, друг, я спокоен, — отвечал протопоп.

— Тебе, отец Савелий, не подать ли на ночь чистый платочек? — осведомилась она, вскочив

и приложив нос к створу двери.

— Платочек? да ведь ты в субботу дала мне платочек!

— Ну так что ж что в субботу?.. Да отопритесь вы в самом деле, отец Савелий! Что это вы еще за моду такую взяли, чтоб от меня запираться?

Протопоп молча откинул крючок, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платок и, пользуясь этим случаем, они с мужем снова начали прощаться и крестить друг друга тем же удивительным для непривычного человека способом и затем опять расстались. Дверь теперь оставалась отворенною: объяснилось, зачем старик непременно хотел ее припереть. Отцу протопопу не спалось, и он чувствовал, что ему не удастся уснуть: прошел час, а он еще все ходил по комнате в своем белом пикейном шлафоре и пунцовом фуляре под шеей. В старике как бы совершалась некая борьба. При всем внешнем достоинстве его манер и движений он ходил шагами неровными, то несколько учащая их, как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их и, наконец, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось еще с добрый час, прежде чем отец Савелий подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на

высоком комоде с вытянутою доской. Из этого шкафа он достал Евгениевский «Календарь»[19], переплетенный в толстый синий демикотон[20], с желтым юхтовым[21] корешком, положил эту книгу на стоявшем у его постели овальном столе, зажег пред собою две экономические свечи[22] и остановился: ему показалось, что жена его еще ворочается и не спит. Это так и было.

— Будешь читать, верно? — спросила его в эту минуту из-за стены своим тихим заботливым голоском Наталья Николаевна.

— Да, я, друг Наташа, немножко почитаю, — отвечал отец Туберозов, — а ты, одолжи меня, усни, пожалуй.

— Усну, мой друг, усну, — отвечала протопопица.

— Да, прошу тебя, пожалуй усни, — и с этими словами отец протопоп, оседлав свой гордый римский нос большими серебряными очками,

---

[19] Примечания: 19

«Церковный календарь», изданный в 1803 г. русским историком, митрополитом Киевским Евгением (Болховитиновым) (1767–1837).

[20] Примечания: 20

Плотная хлопчатобумажная ткань (франц.).

[21] Примечания: 21

От слова «юфть» — обработанная коровья или бычья кожа.

[22] Примечания: 22

Свечи из низшего сорта стеарина.

начал медленно перелистывать свою синюю книгу. Он не читал, а только перелистывал эту книгу и при том останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственной рукой исписанные прокладные страницы. Все эти записки были сделаны разновременно и воскрешали пред старым протопопом целый мир воспоминаний, к которым он любил по временам обращаться.

Очутясь между протопопом Савелием и его прошлым, станем тихо и почтительно слушать тихий шепот его старческих уст, раздающийся в глухой тиши полуночи.

Глава пятая

Демикотоновая книга протопопа Туберозова

Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположении меня 4-го февраля 1831 года преосвященным Гавриилом в иерея получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение». За первою надписью, совершенною в первый день иерейства Туберозова, была вторая:

«Проповедовал впервые в соборе после архиерейского служения. Темой проповеди избрал текст притчи о сыновьях вертоградаря. Один сказал: «не пойду», и пошел, а другой отвечал: «пойду», и не пошел. Свел сие ко благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некоторые намеки на служащих, присягающих и о присяге своей небрегущих, давая сим тонкие намеки чиноначалиям и властям. Говорил плавно и менее пышно, чем естественно. Владыка одобрили сию мою пробу пера. Однако же впоследствии его преосвященство призывал меня к себе и, одобряя мое слово вообще, в частности же указал, дабы в проповедях прямого отношения к жизни делать опасался, особливо же насчет чиновников, ибо от них-де чем дальше, тем и освященнее. Но за прошлое сказание не укорял и даже как бы одобрил.

1832 года, декабря 18-го, был призван высокопреосвященным и получил назначение в Старгород, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать оному всячески.

1833 года, в восьмой день февраля, выехал с попадьей из села Благодухова в Старгород и прибыл сюда 12-го числа о заутрене. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал нестроение. Раскол силен. Осмотревшись, нахожу, что

противодействие расколу по консисторской инструкции дело не важное, и о сем писал в консисторию и получил за то выговор».

Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующей: «Получив замечание о бездеятельности, усматриваемой в недоставлении мною обильных доносов, оправдывался, чтоб расколе делается только то, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при сем добавил в сем рапорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности, и того для, по человеческой слабости, не противодейственно подкупам и даже само немало потворствует расколу, как и другие прочие сберегатели православия, приемля даяния раскольников. Заключил, что не с иного чего надо бы начать, к исправлению скорбей церкви, как с изъятия самого духовенства из-под тяжкой зависимости. Образцом сему показал раскольничьи сравнения Синода с патриаршеством и сим надеялся и деятельность свою оправдать и очередной от себя донос отбыть, но за опыт сей вторично получил выговор и замечание и вызван к личному объяснению, при коем был назван «непочтительным Хамом, открывающим наготу отца». Сие, надлежит подразумевать, удо-

стоен был получить за то, что сознал, как бедное, полуголодное духовенство само за неволю нередко расколу потворствует, и наипаче за то, что про синод упомянул… Простите, пожалуйте, кто обижен! В забвение вами мне сея великия вины вспомяну вам слова светского, но светлого писателя господина Татищева: «А голодный, хотя бы и патриарх был, кусок хлеба возьмет, особливо предложенный». Вот и патриарху на орехи!»

Ниже, через несколько записей, значилось: «Был по делам в губернии и, представляясь владыке, лично ему докладывал о бедности принтов. Владыка очень о сем соболезновали; но заметили, что и сам Господь наш не имел где главы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне, дабы рекомендовать духовным читать книгу «О подражании Христу». На сие ничего его преосвященству не возражал, да и вотще было бы возражать, потому как и книги той духовному нищенству нашему достать негде.

Политично за вечерним столом у отца соборного ключаря[23] еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в

[23] Примечания: 23

Священник, ответственный за соборное имущество и за порядок во время богослужения.

шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что «бедному удобнее в царствие Божие внити», что мы и без его благородия знали, а отец ключарь при сем рассказали небезынтересный анекдот об одном академическом студенте, который впоследствии был знаменитым святителем и проповедником. Сей будто бы еще в мирском звании на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние, ответствовал:

— Имею, Ваше Преосвященство.

— А движимое или недвижимое? — вопросил сей, на что оный ответствовал:

— И движимое и недвижимое.

— Что же такое у тебя есть движимое? — вновь вопросил его владыка, видя заметную мизерность его костюма.

— А движимое у меня дом в селе, — ответствовал вопрошаемый.

— Как так, дом движимое? Рассуди, сколь глуп ответ твой.

А тот, нимало сим не смущаясь, провещал, что ответ его правилен, ибо дом его такого свойства, что коль скоро на него ветер подует, то он весь и движется.

Владыке ответ сей показался столь своеобразным, что он этого студиозуса за дурня уже не

хотел почитать, а напротив, интересуяся им, еще вопросил:

— Что же ты своею недвижимостью нарицаешь?

— А недвижимость моя, — отвечал студент, — матушка моя дьячиха да наша коровка бурая, кои обе ног не двигали, когда отбывал из дому, одна от старости, другая же от бескормицы.

Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем более печального и трагического, нежели комедийной веселости, способной тешить. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю.

Житие мое провожу в сне и в ядении. Расколу не могу оказывать противодействий ни малым чем, ибо всеми связан, и причтом своим полуголодным и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я как бы в посмешище с миссионерскою целию послан: проповедовать — да некому; учить — да не слушают! Проповедует исправник меня гораздо лучше, ибо у него к сему есть такая миссионерская снасть о нескольких концах, а от меня доносов требуют. Владыко мой! К чему сии доносы? Что в них завертывать? А мне, по моему рассуждению, и сан мой не позволяет писать их.

Я лучше чистой бумаги пожертвую…

Представлял рапортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни на есть поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего что противнее, это сей презренный, наглый и бесстыжий тон консисторский, с которым говорится: «А не хочешь ли, поп, в консисторию съездить подоиться?» Нет, друже, не хочу, не хочу; поищите себе кормилицу подебелее.

13-го октября 1835 года. Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут свое заблуждение, а мы своим правым путем небрежем; а сие, мню, яко важнейшее.

Сегодня утром, 18-го марта сего 1836 года, попадья, Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай Господи нам

сию радость! Ожидать в начале ноября.

9-го мая на день св. Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное; а к сему же еще, как назло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи остервененно понуждаем баграми разорителей к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату из жидов голову, отчего тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжко все это видеть: Господи! Да, право, хотя бы жидов-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечером над разоренною молельной собирался народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали и, на конец того, начали даже искать объятий и унии.

10-го мая. Были большие со стороны начальства ошибки. Пред полунощью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитою молельной. Все мы собрались и видим, точно, идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая «мучителя фараона» и крича: «Господь

поборает вере мучимой; и ветер свещей не гасит»; другие кивали на меня и вопили: «Подай нам нашу Пречистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой в немецком платье». Я только указал городничему, сколь неосторожно было сие его распоряжение о разорении, и срывании крестов, и отобрании иконы, но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться.

12-го мая. Франтовство одолело: взял в долг у предводительской экономки два шелковые платья предводителынины и послал их в город окрасить в масака[24] цвет, как у губернского протодиакона, и сошью себе ряску шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, а унижать себя не намерен.

17-го мая. Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она в рассуждении своего положения ошиблась.

20-го июня. По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно, что не ходил я к староверам не по нерадению, ибо то даже было

---

[24] Примечания: 24
Темно-лиловый цвет.

в карманный себе ущерб; но я сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыко задумались и потом объяснение мое приняли; но не мимо идет речь, что царь жалует, да его псарь не жалует. Так как дело сие о моей манкировке некоторою своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конец сей пустой претензии и обонпол[25], владыка послали меня объяснить сие важное дело губернатору. Но и было же объяснение!.. Оле[26] мне, грешному, что я только там вытерпел! Оле и вам, ближние мои, братия мои, искренний и други, за срамоту мою и унижение, которые я перенес от сего куцего нечестивца! Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского попа к себе не допустил, отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по-владычнему дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле же тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженною совестию меня сопро-

[25] Примечания: 25
По ту сторону (церк. — слав.).

[26] Примечания: 26
Увы (церк. — слав.).

тивлением царю моему упрекаешь! Однако я сие снес и ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: «скачи, враже, як пан каже». И вышло так, что все описанное случилось как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно и едва только при солнце чуть оттеняет, что из разных материй.

23 марта. Сегодня, в Субботу Страстную, приходили причетники и дьякон. Прохор просит, дабы неотменно идти со крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать пообильнее. Но думалось: «нельзя же комиссару и без штанов».

24-го апреля 1837 года. Был осрамлен до слез и до рыданий. Опять был на меня донос, и опять предстоял пред оным губернаторским правителем за невхождение со крестом во дворы раскольников. Донос сделан самим моим причтом. Как перенести сию низость и неблагородство! Мыслитель и администратор! Сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетавается.

Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другие; был бы с летами архимандритом, архиереем; ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы помыкали. Суетой сею злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но, приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил Бога, тако устроившего, яко же есть.

25-го апреля. Был я осрамлен в губернии; но мало в сравнении пред тем, сколь дома сегодня остыжен, как школьник. Вчера только вписал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах, а сегодня, встав рано, сел у окна и, размышляя о делах своих, и о прошедшем своем, и о будущем, глядел на раскрытую пред окном моим бакшу полунищего Пизонского. Прошлый год у него на грядах некая дурочка Настя, обольщенная проходящим солдатом, родила младенца и сама, кинувшись в воду, утонула. Пизонский в одинокой старости своей призрел сего младенца, и о сем все позабыли; позабыл и я во главе прочих. Но утром днесь поглядаю свысока на землю сего Пизонского да думаю о делах своих, как вдруг начинаю замечать, что эта свежевзоранная, черная, даже как бы синеватая земля необыкновенно

как красиво нежится под утренним солнцем и ходят по ней бороздами в блестящем пере тощие черные птицы и свежим червем подкрепляют свое голодное тело. Сам же старый Пизонский, весь с лысой головы своей озаренный солнцем, стоял на лестнице у утвержденного на столбах рассадника и, имея в одной руке чашу с семенами, другою погружал зерна, кладя их щепотью крестообразно, и, глядя на небо, с опущением каждого зерна, взывал по одному слову: «Боже! Устрой, и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного», и едва он сие кончил, как вдруг все ходившие по пашне черные глянцевитые птицы вскричали, закудахтали куры и запел, громко захлопав крылами, горластый петух, а с рогожи сдвинулся тот, принятый сим чудаком, мальчик, сын дурочки Насти; он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и, смеясь, пополз по мягкой земле. Было мне все это точно виденье. Старый Пизонский был счастлив и громко запел: «Аллилуйя!»

— «Аллилуйя, Боже мой!» — запел и я себе от восторга и умиленно заплакал. В этих целебных слезах я облегчил мои досаждения и понял, сколь

глупа была скорбь моя, и долго после дивился, как дивно врачует природа недуги души человеческой! Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на всякую долю: на хотящего, просящего, на произволящего и неблагодарного… Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, Боже мой! этот старик садил на долю вора и за него молился! Это, может быть, гражданскою критикой не очищается, но это ужасно трогает. О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!

6-го августа, день Преображения Господня. Что это за прелестная такая моя попадья Наталья Николаевна! Опять: где, кроме святой Руси, подобные жены быть могут? Я ей говорил как-то, сколь меня трогает нежность беднейшего Пизонского о детях, а она сейчас поняла или отгадала мысль мою и жаждание: обняла меня и с румянцем стыдливости, столь ей идущим, сказала: «Погоди, отец Савелий, может, Господь даст нам». (Она разумела: даст детей.) Но я, по обычаю, думая, что подобные ее надежды всегда суетны и обманчивы, ни о каких подробностях ее не спрашивал, и так оно и вышло, что не надо было беспокоиться. Но и из ложной сей тревоги вышла превосходная трогательность. Сегодня я говорил слово к убеждению в необходимости всегдашнего себя

преображения, дабы силу иметь во всех борьбах коваться, как металл некий крепкий и ковкий, а не плющиться, как низменная глина, иссыхая сохраняющая отпечаток последней ноги, которая на нее наступила. Говоря сие, увлекся некоею импровизацией и указал народу на стоявшего у дверей Пизонского. Хотя я по имени его и не назвал, но сказал о нем как о некоем посреди нас стоящем, который, придя к нам нагий и всеми глупцами осмеянный за свое убожество, не только сам не погиб, но и величайшее из дел человеческих сделал, спасая и воспитывая неоперенных птенцов. Я сказал, сколь сие сладко — согревать беззащитное тело детей и насаждать в души их семена добра. Выговорив это, я сам почувствовал мои ресницы омоченными и увидал, что и многие из слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви некоего, его же разумела душа моя, искать Котина нищего, Котина, сирых питателя. И видя, что его нету, ибо он, поняв намек мой, смиренно вышел, я ощутил как бы некую священную острую боль и задыхание по тому случаю, что смутил его похвалой, и сказал: «Нет его, нет, братия, меж нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любве давно огненным перстом Божиим начерта-

но в смиренном его сердце. Прошу вас, — сказал я с поклоном, — все вы, здесь собравшиеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мне, что не стратига[27] превознесенного воспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от малых, и если что смутит вас от сего, то отнесите сие к моей малости, зане грешный поп ваш Савелий, назирая сего малого, не раз чувствует, что сам он пред ним не иерей Бога вышнего, а в ризах сих, покрывающих мое недостоинство, — гроб повапленный[28]. Аминь».

Не знаю, что заключалося умного и красноречивого в простых словах сих, сказанных мною совершенно ex promptu[29], но могу сказать, что богомольцы мои нечто из сего вняли, и на мою руку, когда я ее подавал при отпуске, пала не одна слеза. Но это не все: важнейшее для меня только наступало.

Как бы в некую награду за искреннее слово мое об отраде пещись не токмо о своих, но и о чужих детях, Вездесущий и Всеисполняющий приял и

---

[27] Примечания: 27
Военачальник.

[28] Примечания: 28
Повапленный — окрашенный, выбеленный.

[29] Примечания: 29
Вдруг (лат.).

мое недостоинство под свою десницу. Он открыл мне днесь всю истинную цену сокровища, которым, по безмерным щедротам Его, я владею, и велел мне еще преобразиться в наидовольнейшего судьбою своею человека. Только что прихожу домой с пятком освященных после обедни яблок, как на пороге ожидает меня встреча с некоторою довольно старою знакомкой: то сама попадья моя Наталья Николаевна, выкравшись тихо из церкви, во время отпуска, приготовила мне, по обычаю, чай с легким фриштиком[30] и стоит стопочкой на пороге, но стоит не с пустыми руками, а с букетом из речной лил ей и садового левкоя. «Ну, еще ли не коварная после этого ты женщина, Наталья Николаевна!» — сказал я, никогда прежде сего ее коварством не укорявши. Но она столь умна, что нимало этим не обиделась: она поняла, что сие шуткой сказано, и, обняв меня, только тихо, но прегорько заплакала. Чего эти слезы? — сие ее тайна, но для меня не таинственна сия твоя тайна, жена добрая и не знающая, чем утешать мужа своего, а утехи Израилевой, Вениамина малого, дать ему лишенная. Да, токмо речною лилеею и садовым левкоем встретило

---

[30] Примечания: 30
Завтрак (нем.).

меня в этот день ее отверстое в любви и благоволении сердце! В тихой грусти, двое бездетные, сели мы за чай, но был то не чай, а слезы наши растворялись нам в питие, и незаметно для себя мы оба заплакали, и оборучь[31] пали мы ниц пред образом Спаса и много и жарко молились Ему об утехе Израилевой. Наташа после открылась, что она как бы слышала некое обетование чрез Ангела, и я хотя понимал, что это плод ее доброй фантазии, но оба мы стали радостны, как дети. Замечу однако, что и в сем настроении Наталья Николаевна значительно меня, грубого мужчину, превосходила как в ума сообразительности, так и в достоинстве возвышенных чувств.

— Скажи мне, отец Савелий, — приступила она ко мне, добродушно ласкаючись, — скажи, дружок: не был ли ты когда-нибудь, прежде чем нашел меня, против целомудренной заповеди грешен?[32]

Такой вопрос, откровенно должен признаться, крайне смутил меня, ибо я вдруг стал понимать, к чему моя негодящая женка у меня такое ей несоответственное выпытывает.

---

[31] Примечания: 31
Рука в руку (церк. — слав.).

[32] Примечания: 32
Против седьмой заповеди — «Не прелюбодействуй».

Но она со всею своею превосходною скромностью и со всею с этою женскою кокетерией, которую хотя и попадья, но от природы унаследовала, вдруг и взаправду коварно начала меня обольщать воспоминаниями минувшей моей юности, напоминая, что тому, о чем она намекнула, нетрудно было статься, ибо был будто бы я столь собою пригож, что когда приехал к ее отцу в город Фатеж на ней свататься, то все девицы не только духовные, но даже и светские по мне вздыхали! Сколь сие ни забавно, однако я старался рассеять всякие сомнения насчет своей юности, что мне и нетрудно, ибо без лжи в сем имею оправдание. Но чем я тверже ее успокоивал, тем она более приунывала, и я не постигал, отчего оправдания мои ее нимало не радовали, а, напротив, все более как будто печалили, и, наконец, она сказала:

— Нет, ты, отец Савелий, вспомни, может быть, когда ты был легкомыслен… то нет ли где какого сиротки?

Тут уже я, что она сказать хочет, уразумел и понял, к чему она все это вела и чего она сказать стыдится; это она тщится отыскать мое незаконное дитя, которого нет у меня! Какое благодушие! Я, как ужаленный слепнем вол, сорвался с сво-

его места, бросился к окну и вперил глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня, столь превзойденного моею женой в доброте и попечении. Но и она, моя лилейная и левкойная подруга, моя роза белая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслед за мною; поступью легкою ко мне сзади подкралась и, положив на плечи мне свои малые лапки, сказала:

— Вспомни, голубь мой: может быть, где-нибудь есть тот голубенок, и если есть, пойдем и возьмем его!

Мало, что она его хочет отыскивать, она его уже любит и жалеет, как неоперенного голубенка! Этого я уже не снес и, закусив зубами бороду свою, пал пред ней на колени и, поклонясь ей до земли, зарыдал тем рыданием, которому нет на свете описания. Да и вправду, поведайте мне времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, родятся такие женщины, как сия добродетель? Кто ее всему этому учил? Кто ее воспитывал, кроме Тебя, Всеблагий Боже, который дал ее недостойному из слуг Твоих, дабы он мог ближе ощущать Твое величие и благость».

Здесь в дневнике отца Савелия почти целая страница была залита чернилами и внизу этого чернильного пятна начертаны следующие

строки: «Ни пятна сего не выведу, ни некоей нескладицы и тождесловия[33], которые в последних строках замечаю, не исправлю: пусть все так и остается, ибо все, чем сия минута для меня обильна, мило мне в настоящем своем виде и таковым должно сохраниться. Попадья моя не унялась сегодня проказничать, хотя теперь уже двенадцатый час ночи, и хотя она за обычай всегда в это время спит, и хотя я это и люблю, чтоб она к полуночи всегда спала, ибо ей то здорово, а я люблю слегка освежать себя в ночной тишине каким удобно чтением, а иною порой пишу свои нотатки, и нередко, пописав несколько, подхожу к ней спящей и спящую ее целую, и если чем огорчен, то в сем отрадном поцелуе почерпаю снова бодрость и силу и тогда засыпаю покойно. Днесь же я вел себя до сей поры несколько инако. По сем дне, повергавшем меня всеми ощущениями в беспрерывное разнообразие, я столь был увлечен описанием того, что мною выше описано, что чувствовал плохую женку мою в душе моей, и поелику душа моя лобзала ее, я не вздумал ни однажды подойти к ней и поцеловать ее. Но она, тонкая сия лукавица, заметив сие

[33] Примечания: 33
Повторение одной и той же мысли в разных выражениях.

мое упущение, поправила оное с невероятною оригинальностью: час тому назад пришла она, положила мне на стол носовой платок чистый и, поцеловав меня, как бы и путная, удалилась ко сну. Но что же, однако, за непостижимые хитрости женские за ней оказываются! Вдруг, пресерьезнейше пишучи, вижу я, что мой платок как бы движется и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся писанием; но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я взял сего непокорного да прикрепил его, подложив немного под чернильницу, а он, однако, и оттуда убежал и даже увлек с собою и самую чернильницу, опрокинул ее и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. Что же сие полотняное бегство означает? Означает оно то, что попадья моя, выходит, наипервейшая кокетка, да еще к тому и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж ее сегодня вечером в этом упрекнул, когда она, улыбаючись, предо мною сидела на окошечке и сожалела, что она романсов петь не умеет, а она какую теперь штуку измыслила и приправила! Взяла к этому платку, что мне положила, поднося его мне, потаенно прикрепила весьма длинную

нитку, протянула ее под дверь к себе на постель и, лежачи на покое, платок мой у меня из-под рук изволит, шаля, подергивать. И я, толстоносый, потому это только открыл, что с последним падением платка ее тихий и радостный хохот раздался и потом за дверью ее босые ножонки затопотали. Напрокудила, да и плюх в постель. Пошел, целовал ее без меры, но ушел опять, чтобы занотовать[34] себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами.

7-го августа. Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастия и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало сему бодрствованию способствовала. Словно влюбленные под Петров день[35] солнце караулят, так и мы с нею, после пятилетнего брака своего, сегодняшнего солнца дождались, сидя под окном своим. Призналась голубка, что она и весьма часто этак не спит, когда я пишу, а только спящею притворяется, да и во многом другом призналась. Признался, что вчера в церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет

---

[34] Примечания: 34

Записать.

[35] Примечания: 35

По народному поверью, увидеть солнце под Петров день (12 июля по новому стилю) — к счастью.

идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что такой переход беременной не совсем в силу; но обет исполнить ей разрешил, потому что при такой радости, разумеется, и сам тогда с нею пойду, и где она уставать станет, я понесу ее. Делали сему опыт: я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она уже была беременная, и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастия. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что, увидев, как Наташа, шаля, села на качели, кои кухаркина девочка под яблонью подцепила, я даже снял те качели, чтобы сего вперед не случилось, и наверх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялася. Однако, хотя жизнь моя и не изобилует вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик добрым заборцем, а Господь обрастил этот забор густою малиной, а то, пожалуй, иной сказал бы, что попа Савелия не грех подчас назвать и скоморохом.

9-го августа. Заношу препотешное событие, о чем моя жена с дьяконовым сыном-ритором вела сегодня не только разговор, но даже и спор. Это поистине и казус и комедия. Спорили о том: кто

всех умнее? Ритор говорит, что всех умнее был Соломон, а моя попадья утверждает, что я, и должно сознаться, что на сей раз роскошный царь Сиона имел адвоката гораздо менее стойкого, чем я. Ох, сколь же я смеялся! И скажите, сделайте ваше одолжение, что на свете бывает! Я все это слышал из спальни, после обеда отдыхая, и, проснувшись, уже не решился прерывать их диспута, а они один другого поражали: оный ритор, стоя за разум Соломона, подкрепляет свое мнение словами Писания, что «Соломон бе мудрейший из всех на земли сущих», а моя благоверная поразила его особым манером: «Нечего, нечего, — говорит, — вам мне ткать это ваше: *бе*, да *рече*, да *пене;* это ваше *бе*, — говорит, — ничего не значит, потому что оно еще тогда было писано, когда отец Савелий еще не родился». Тут в сей дискурс[36] вмешался еще слушавший сей спор их Никитский священник, отец Захария Бенефактов, и он завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что «это правда», то есть «правда» в рассуждении того, что меня тогда не было. Итак, вышли все сии три критика как есть правы. Неправ остался один я, к которому все их критические мнения

---

[36] Примечания: 36
Разговор (франц.).

поступили на антикритику: впервые огорчил я мою Наташу, отвергнув ее мнение насчет того, что я всех умнее, и на вопрос ее, кто меня умнее? отвечал, что она. Наиотчайнейший отпор в сем получил, каким только истина одна отвергаться может: «Умные, — говорит, — обо всем рассуждают, а я ни о чем судить не могу и никогда не рассуждаю. Отчего же это?» На сие я ее тихо тронул за ее маленький нос и отвечал: «Это оттого ты не спешишь мешать рассуждением, что у тебя вместо строптивого носа сия смиренная пуговица на этом месте посажена». Но, однако, она и сие поняла, что я хотел выразить этою шуткой, намекая на ее кротость, и попробовала и это в себе опорочить, напомнив в сей цели, как она однажды руками билась с почтмейстершей, отнимая у нее служащую девочку, которую та сурово наказывала.

10-го августа, утром. Пришла мне какая мысль сегодня в постели! Рецепт хочу некий издать для всех несчастливых пар как всеобщего звания, так и наипаче духовных, поелику нам домашнее счастие наипаче необходимейшее. Говорят иносказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила с водой против мужчины, ходящего с огнем, то есть дабы если он с пылкостию, то она

была бы с кротостию, но все это, по-моему, еще не ясно, и притом слишком много толкований допускает; а я, глядя на себя с Натальей Николаевной, решаюсь вывесть, что и наивернейшее средство ладить — сие: пусть считают друг друга умнее друг друга, и оба тогда будут один другого умней. «Друг, друг друга!» Эко как бесподобно выражаюсь! Но, впрочем, настоящему мечтателю так и подобает говорить без толку.

15-го августа. Успение Пресвятыя Богородицы. Однако в то самое время, как я восторгался женой моей, я и не заметил, что тронувшее Наташу слово мое на Преображеньев день других тронуло совершенно в другую сторону, и я посеял против себя вовсе нежеланное неудовольствие в некоторых лицах в городе. Богомольцы мои, конечно не все, а некоторые, конечно, и впереди всех почтмейстерша Тимонова, обиделись, что я унизил их намеком на Пизонского. Но все это вздор умов пустых и вздорных. Конечно, все это благополучно на самолюбиях их благородий, как раны на песьей шкуре, так и присохнет.

3-го сентября. Я сделал значительную ошибку: нет, совсем этой неосторожности не конец. Из консистории получен запрос: действительно ли я говорил импровизацией проповедь с указанием

на живое лицо? Ах, сколь у нас везде всего живого боятся! Что ж, я так и отвечал, что говорил именно вот как и вот что. Думаю, не повесят же меня за это и головы не снимут, а между тем против воли смутно и спокойствие улетело.

20-го октября. Всеконечно, правда, что головы не снимут, но рот замкнуть могут и сделать сего не преминули. 15-го же сентября я был вызван для объяснения. Одна спешность сия сама по себе уже не много доброго предвещала, ибо на добро у нас люди не торопливы, а власти тем паче, но, однако, я ехал храбро. Храбрость сия была охлаждена сначала тридцатишестидневным сидением на ухе без рыбы в ожидании объяснения, а потом приказанием все, что вперед пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троадию. Но этого никогда не будет, и зато я буду нем яко рыба. Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностию бесстрастною совершать дело проповеди. Я ощущаю порой нечто на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия; мною тогда овладевает некое, позволю себе сказать, священное беспокойство; душа трепещет и горит, и слово падает из уст, как угль горящий. Нет, тогда в душе моей есть свой закон цензуры!.. А они требуют, чтоб я вме-

сто живой речи, направляемой от души к душе, делал риторические упражнения и сими отцу Троадию доставлял удовольствие чувствовать, что в церкви минули дни Могилы, Ростовского Димитрия[37] и других светил светлых, а настали иные, когда не умнейший слабейшего в разуме наставляет, а обратно, дабы сим уму и чувству человеческому поругаться. Я сей дорогой не ходок.

Нет, я против сего бунт лив, и лучше сомкнитесь вы, мои нельстивые уста, и смолкни ты, мое бесхитростное слово, но я из-под неволи не проповедник.

23-го ноября. Однако не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсем обижена разнообразием. Напротив, все идет вперемежку, так что даже и интерес ни на минуту не ослабевает: то оболгут добрые люди, то начальство потреплет, то Троадию скорбноглавому в науку меня назначат, то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбия, а время в сем все идет да идет, и к смерти все ближе да ближе. Еще не все! Еще не все последствия моей злополучной Преображенской проповеди совершились. У нас, в восьмнадцати верстах от города, на берегу на-

[37] Примечания: 37

Речь идет о церковных проповедниках: митрополите Киевском Петре Могиле (1596–1647) и Димитрии, митрополите Ростовском (1651–1709).

шей же реки Турицы, в обширном селе

Плодомасове, живет владелица сего села, боярыня Марфа Андревна Плодомасова. Сия кочерга столь старого леса, что уже и признаков жизни ее издавна никаких не замечается, а известно только по старым памятям, что она женщина весьма немалого духа. Она и великой императрице Екатерине знаема была, и Александр император, поговорив с нею, находил необременительною для себя эту ее беседу; а наиболее всего она известна в народе тем, как она в молодых летах своих одна с Пугачевым сражалась и нашла, как себя от этого мерзкого зверя защитить. Еще же о чем ежели на ее счет вспоминают, то это еще повторение о ней различных оригинальных анекдотов о ее свиданиях с посещавшими ее губернаторами, чиновниками, а также, в двенадцатом году, с пленными французами; но все это относится к области ее минувшего века. Ныне же про нее забыли, и если когда речь ее особы коснется, то думают, что и она сама уже всех забыла. Лет двадцать уже никто из сторонних людей не может похвастаться, что он боярыню Плодомасову видел.

Третьего дня, часу в двенадцатом пополудни, я был несказанно изумлен, увидев подъезжающие

ко мне большие господские дрожки тройкой больших рыжих коней, а на тех дрожках нарочито небольшого человечка, в картузе ворсистой шляпной материи с длинным козырем и в коричневой шинели с премножеством один над другим набранных капюшончиков и пелерин.

Что бы сие, думаю, за неведомая особа, да и ко мне ли она едет или только ошибкой правит на меня путь свой?

Размышления эти мои, однако же, были скоро разрешены самою сею загадочною особой, вошедшею в мою зальцу с преизящною благопристойностью, которая всегда мне столь нравится. Прежде всего гость попросил моего благословения, а затем, шаркнув своею чрезвычайно маленькою ножкой по полу и отступив с поклоном два шага назад, проговорил:

— Госпожа моя, Марфа Андревна Плодомасова, приказали мне, отец иерей, вам кланяться и просить вас немедленно со мною к ним пожаловать.

— В свою очередь, — говорю, — позвольте мне, сударь, узнать, чрез кого я имею честь все это слышать?

— А я, — отвечает оный малютка, — есмь крепостной человек ее превосходительства Марфы Андревны, Николай Афанасьев, — и, таким об-

разом мне отрекомендовавшись, сия крошечная особа при сем снова напомнила мне, что госпожа его меня ожидает.

— По какому делу, — говорю, — не знаете ли?

— Ее господской воли, батюшка, я, раб ее, знать не могу, — отвечал карла и сим скромным ответом на мой несообразный вопрос до того меня сконфузил, что я даже начал пред ним изворачиваться, будто я спрашивал его вовсе не в том смысле. Спасибо ему, что он не стал меня допрашивать: в каком бы то еще в ином смысле таковый вопрос мог быть сделан.

Пока я в смежной комнате одевался, сей интересный карлик вступил в собеседование с Наташей и совсем увлек и восхитил ее своими речами. Действительно, и в словах да и в самом говоре сего крошечного старичка есть нечто невыразимо милое и ко всему сему благородство и ласковость. Служанке, которая подала ему стакан воды, он положил на поднос двугривенный, и когда сия взять эти деньги сомневалась, он сам сконфузился и заговорил: «Нет, матушка, не обидьте, это у меня такая привычка»; а когда попадья моя вышла ко мне, чтобы волосы мне напомадить, он взял на руки случившуюся здесь за матерью замарашку-девочку кухаркину и

говорит: «Слушай, как вон уточки на бережку разговаривают. Уточка-франтиха говорит селезню-козырю: купи коты, купи коты! А селезень отвечает: заказал, заказал!» И дитя рассмеялось, да и я тоже сему сочинению словесному птичьего разговора невольно улыбнулся. Это хотя бы даже господину Лафонтену или Ивану Крылову впору. Дорогу не заметил, как и прошла в разговорах с этим пречудесным карлой: столь много ума, чистоты и здравости нашел во всех его рассуждениях.

Но теперь самое главное: наступал час свидания моего с одинокою боярыней.

Немалое для меня удивление составляет, что при приближении сего свидания я, от природы моей не робкий, ощущал в себе нечто вроде небольшой робости. Николай Афанасьич, проведя меня через ряд с поразительною для меня пышностью и крайней чистотой содержимых покоев, ввел меня в круглую комнату с двумя рядами окон, изукрашенных в полукругах цветными стеклами; здесь мы нашли старушку немногим чем побольше Николая. При входе нашем она стояла и вертела ручку большого органа, и я уже чуть было не принял ее за самую оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она,

увидев нас, неслышно вошедших по устилающим покои пушистым коврам, немедленно при явлении нашем оставила свою музыку и бросилась с несколько звериною, проворною ухваткой в смежный покой, двери коего завешены большою занавесью белого атласа, по которому вышиты цветными шелками разные китайские фигурки.

Эта женщина, скрывшаяся с такою поспешностью за занавесь, как я после узнал, родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная приятности, имеющейся в кроткой наружности ее брата.

Николай тоже скрылся вслед за сестрою под ту же самую занавесь, а мне указал дожидаться на кресле. Тут-то вот, в течение времени, длившегося за сим около получаса, я и почувствовал некую смягу во рту, столь знакомую мне по бывшим ощущениям в детстве во время экзаменов. Но, наконец, настал и сему конец. За тою же самою занавесью я услышал такие слова: «А ну, покажика мне этого умного попа, который, я слышала, приобык правду говорить?» И с сим занавесь как бы мановением чародейским, на невидимых шнурах, распахнулась, и я увидал пред собою саму боярыню Плодомасову. Голос ее, который я пред сим только что слышал, уже достаточно противоречил моему мнению о ее дряхлости,

а вид ее противоречил сему и еще того более. Боярыня стояла предо мной в силе, которой, казалось, как бы и конца быть не может. Ростом она не велика и не дородна особенно, но как бы над всем будто царствует. Лицо ее хранит выражение большой строгости и правды и, судя по чертам, надо полагать, некогда было прекрасно. Костюм ее довольно странный и нынешнему времени несоответственный: вся голова ее тщательно увита в несколько раз большою коричневою шалью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, какой-то суконный казакин светлого цвета; потом под этим казакином юбка аксамитная ярко-оранжевая и желтые сапожки на высоких серебряных каблучках, а в руке палочка с аметистовым набалдашником. С одного боку ее стоял Николай Афанасьевич, с другого — Марья Афанасьевна, а сзади ее — сельский священник, отец Алексей, по ее назначению посвященный из ее на волю пущенных крепостных.

— Здравствуй! — сказала она мне, головы нимало не наклоняя, и добавила: — я тебя рада видеть.

Я в ответ на это ей поклонился, и, кажется, даже и с изрядною неловкостью поклонился.

— Поди же, благослови меня, — сказала она.

Я подошел и благословил ее, а она взяла и поцеловала мою руку, чего я всячески намерен был уклониться.

— Не дергай руки, — сказала она, сие заметив, — это не твою руку я целую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся.

Сели мы: она, я и отец Алексей, а карлики возле ее стали.

— Мне говорил отец Алексей, что ты даром проповеди и хорошим умом обладаешь. Он сам в этом ничего не смыслит, а верно от людей слышал, а я уж давно умных людей не видала и вот захотела со скуки на тебя посмотреть. Ты за это на старуху не сердись.

Я мешался в ответах и, вероятно, весьма мало отвечал тому, что ей об уме моем было насказано, но она, к счастию, приступила к расспросам, на которые мне пришлось отвечать.

— Тебя, говорят, раскольников учить прислали? — так она начала.

— Да, — говорю, — между прочим имелась в виду и такая цель в моей посылке.

— Полагаю, — говорит, — бесполезное это дело: дураков учить все равно что мертвых лечить.

Я не помню, какими точно словами отвечал, что не совсем всех раскольников глупыми понимаю.

— Что ж, ты, умными их почитая, сколько успел их на путь наставить?

— Нимало, — говорю, — еще не могу успехом похвастать, но тому есть причины.

Она. О каких ты говоришь причинах?

Я. Способ действия с ними несоответственный, а зло растет через ту шатость, которую они видят в церковном обществе и в самом духовенстве.

Она. Ну, зло-то, какое в них зло? Так себе, дурачки Божии, тем грешны, что книг начитались.

Я. А православный алтарь все-таки страждет на этом распадении.

Она. А вы бы этому алтарю-то повернее служили, а не оборачивали бы его в лавочку, так от вас бы и отпадений не было. А то вы ныне все благодатью, как сукном, торгуете.

Я промолчал.

Она. Ты женат или вдов?

Я. Женат.

Она. Ну, если Бог благословит детьми, то зови меня кумой: я к тебе пойду крестить. Сама не поеду: вон ее, карлицу свою, пошлю, а если сюда дитя привезешь, так и сама подержу.

Я опять поблагодарил и, чтобы разговориться, спрашиваю:

— Ваше превосходительство, верно, изволите

любить детей?

— Кто же, — говорит, — путный человек детей не любит? Их есть царствие Божие.

— А вы давно одни изволите жить?

— Одна, отец, одна, и давно я одна, — проговорила она, вздохнув.

Я. Одиночество это часто довольно тягостно.

Она. Что это?

Я. Одиночество.

Она. А ты разве не одинок?

Я. Каким же образом я одинок, когда у меня есть жена?

Она. Что ж, разве твоя жена все понимает, чем ты, как умный человек, можешь поскорбеть и поболеть?

Я. Я женой моею счастлив и люблю ее.

Она. Любишь? Но ты ее любишь сердцем, а помыслами души все-таки одинок стоишь. Не жалей меня, что я одинока: всяк брат, кто в семье дальше братнего носа смотрит, и между своими одиноким себя увидит. У меня тоже сын есть, но уж я его третий год не видала, знать ему скучно со мною.

Я. Где же теперь ваш сын?

Она. В Польше мой сын, полком командует.

Я. Это доблестное дело врагов отчизны сми-

рять.

Она. Не знаю я, сколько в этом доблести, что мы с этими полячишками о сю пору возимся, а по-моему, вдвое больше в этом мел еды[38].

Я. Справимся-с, придет время.

Она. Никогда оно не придет, потому что оно уж ушло, а мы все как кулик в болоте стояли: и нос долог и хвост долог: нос вытащим — хвост завязнет, хвост вытащим — нос завязнет. Перекачиваемся да дураков тешим: то поляков нагайками потчуем, то у их хитрых полячек ручки целуем; это грешно и мерзко так людей портить.

— А все же, — говорю, — войска наши там по крайней мере удерживают поляков, чтоб они нам не вредили.

— Ни от чего они их, — отвечает, — не удерживают; да и нам те поляки не страшны бы, когда б мы сами друг друга есть обещанья не сделали.

— Это, — говорю, — осуждение вашего превосходительства, кажется, как бы несколько излишне сурово.

Она. Ничего нет в правде излишне сурового.

— Вы же, — говорю, — сами, вероятно, изволите помнить двенадцатый год: сколько тогда на Руси

---

[38] Примечания: 38
Бесконечный труд, работа, из которой ничего путного не выходит.

единодушия явлено.

Она. Как же, как мне не помнить: я сама вот из этого самого окна глядела, как наши казачищи моих мужиков колотили и мои амбары грабили.

— Что ж это, — говорю, — может быть, что такой случай и случился, я казачьей репутации нимало не защищаю, но все же мы себя героически отстояли от того, пред кем вся Европа ниц простертою лежала.

Она. Да, удалось, как Бог да мороз нам помогли, так мы и отстояли.

Отзыв сей, сколь пренебрежительный, столь же и несправедливый, подействовал на меня так пренеприятно, что я, даже не скрывая сей неприятности, возразил:

— Неужто же, государыня моя, в вашем мнении все в России только случайностями едиными и происходит? Дайте, — говорю, — раз случаю и два случаю, а хоть в третье уже киньте нечто уму и народным доблестям предводителей.

— Все, отец, случай, и во всем, что сего государства касается, окроме Божией воли, мне доселе видятся только одни случайности. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу-воителя[39], так и

---

[39] Примечания: 39
Петра Великого.

сидели бы мы на своей хваленой земле до сих пор не государством великим, а вроде каких-нибудь толстогубых турецких болгар, да у самих бы этих поляков руки целовали. За одно нам хвала — что много нас: не скоро поедим друг друга; вот этот случай нам хорошая заручка.

— Грустно, — говорю.

— А ты не грусти: чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепка будет. Да нам с тобою и говорить довольно, а то я уж устала. Прощай; а если что худое случится, то прибеги, пожалуйся. Ты не смотри на меня, что я такой гриб лафертовский[40]: грибы-то и в лесу живут, а и по городам про них знают. А что если на тебя нападают, то ты этому радуйся; если бы ты льстив или глуп был, так на тебя бы не нападали, а хвалили бы и другим в пример ставили.

Проговорив эти слова, она оборотилась к карлице, державшей во все время нашего разговора в руках сверточек, и, передавая оный мне, сказала:

— Отдай вот это от меня своей попадье, это здесь корольки с моей шеи; два отреза на платье, да холст для домашнего обихода, а это тебе от

---

[40] Примечания: 40

Правильно — лефортовский. Лефортово в ту пору было предместьем Москвы.

меня альмантиновый[41] перстень.

Подарок этот, предложенный хотя во всей простоте, все-таки меня несколько смутил, и я, глядя на нити кораллов, и на шелковые материи, и на ярко горящий альмантин, сказал:

— Государыня моя! очень благодарю вас за столь лестное ваше к нам внимание; но вещи сии столь великолепны, а жена моя женщина столь простая…

— Что ж, — перебила меня она, — тем и лучше, что у тебя простая жена; а где и на муже и на жене на обоих штаны надеты, там не бывать проку. Наилучшее дело, если баба в своей женской исподничке ходит, и ты вот ей за то на исподницы от меня это и отвези. Бабы любят подарки, а я дарить люблю. Бери же и поезжай с Богом.

Вот этим она и весь разговор свой со мною окончила и, признаюсь, несказанно меня удивила. По некоей привычке к логичности, едучи обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Афанасьевича, взявшегося быть моим провожатым, я старался себе уяснить, что за сенс[42] моральный все это, что ею говорено, в себе

---

[41] Примечания: 41
Альмандин — драгоценный камень, разновидность граната.

[42] Примечания: 42
Смысл (франц.).

заключает? И не нашел я тут никакой логической связи, либо весьма мало ее отыскивал, а только все лишь какие-то обрывки мыслей встречал; но такие обрывки, что невольно их помнишь, да и забыть едва ли сумеешь. Уповаю, не лгут те, кои называли сию бабу в свое время весьма мозговитою. А главное, что меня в удивление приводит, так это моя пред нею нескладность, и чему сие приписать, что я, как бы оробев сначала, примкнул язык мой к гортани и если о чем заговаривал, то все это выходило весьма скудоумное, а она разговор, словно на смех мне, поворачивала с прихотливостью, и когда я заботился, как бы мне репрезентоваться[43] умнее, дабы хотя слишком грубо ее в себе не разочаровать, она совершенно об этом небрегла и слов своих, очевидно, не подготовляла, а и моего ума не испытывала, и вышла меж тем таковою, что я ее позабыть не в состоянии. В чем эта сила ее заключается? Полагаю, в том образовании светском, которым небрегут наши воспитатели духовные, часто впоследствии отнимая чрез это лишение у нас самонеобходимейшую находчивость и ловкость в обращении со светскими особами.

---

[43] Примечания: 43
Представиться, отрекомендоваться (франц.).

Но дню сему было определено этим не окончиться, а суждено, видно, ему было заключиться еще новым курьезом. Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарков не успела меня достаточно потешить, как начал свои подарки представлять нам этот достопочтеннейший и сразу все мое уважение себе получивший карло Николай Афанасьевич. По началу он презентовал мне белой бумаги с красными каемочками вязаные помочи, а потом жене косыночку из трусиковой[44] нежной шерсти, и не успел я странности сих новых, неожиданных подарков надивиться, как он вынул из кармана шерстяные чулки и вручил их подававшей самовар работнице нашей Аксинье. «Что это за день подарков!» — невольно воскликнул я, не смея огорчить дарителя отказом. А он на это мне ответил, что это все его собственных рук изделие. «Нужды, — говорит, — в работе, благодаря благодетельнице моей, не имея и не будучи ничему иному обучен, я постоянно занимаюсь вязанием, чтобы в праздности время не проводить и иметь удовольствие кому-нибудь нечто презентовать от трудов своих». Так мне понравилась эта простота,

[44] Примечания: 44
Кроличья.

что я схватил сего малого человечка на грудь мою и поцелуями осыпал его чуть не до удушения.

Да закончу ли я, однако, и сим мое сегодняшнее описание? Уехавшим служителем боярыни Плодомасовой еще все чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь переднего покоя, Аксинья усмотрела на платейной вешалке нечто висящее, как бы не нам принадлежащее, и когда мы с Наташей на сие были сею служанкой позваны, то нашли: во-первых, темно-коричневый французского гроденаплю[45] подрясник; во-вторых, богатый гарусный пояс с пунцовыми лентами для завязок, а в-третьих, драгоценнейшего зеленого неразрезного бархату рясу; в-четвертых же, в длинном куске коленкора полное иерейское облачение.

Просто были все мы поражены сею находкой и не знали, как объяснить себе ее происхождение; но Аксинья первая усмотрела на пуговице у воротника рясы вздетую карточку, на коей круглыми, так сказать египетского штиля, буквами было написано: «Помяни, друг отец Савелий, рабу Марфу в своих молитвах». Ахнули мы, но нечего было делать, и стали разлагать по столу

---

[45] Примечания: 45
Плотная шелковая ткань (франц.).

новое облачение. Тут еще большее нас ожидало. Только начала Наташа раскатывать епитрахиль, смотрим: из него упал запечатанный конверт на мое имя, а в том конверте пятьсот рублей с самою малою запиской, тою же рукой писанною. Пишет: «Дабы ожидающее семью твою при несчастий излишне тебя не смущало у алтаря предстоящего, купи себе хибару и возрасти тыкву; тогда спокойнее можешь о строении дела Божия думать».

Ну, за что мне сие? Ну, чем я сего достоин? Отчего же она не так, как консисторский секретарь и ключарь, рассуждает, что легче устроить дело Божие, не имея, где головы подклонить? Что сие и взаправду все за случайности!

Вот и ты, поп Савелий, не бездомовник! И у тебя своя хатина будет; но увы! Должен добавить, что будет она случаем.

25-е ноября. Ездил в Плодомасовку приносить мою благодарность; но Марфа Андревна не приняла, для того, сказал карлик Никола, что она не любит, чтоб ее благодарили, но к сему, однако, прибавил: «А вы, батюшка, все-таки отлично сделали, что изволили приехать, а то они неспокойны были бы насчет вашей неблагодарности». Можно заключить, что в особе сей целое море пространное всякой своеобычливости. Так,

например, новый друг мой, карлик Никола, рассказал мне, как она его желала женить и о сем хлопотала. «Для чего же сие?» — спрашиваю. «А для пыжиков, — говорит, — батюшка». Это, то есть, она желала маленьких людей развесть!.. Скажите, о чем забота! Еще ли эти, коих видим окрест себя, очень велики!

6-е декабря. Внес вчера в ризницу присланное от помещицы облачение и сегодня служил в оном. Прекрасно все на меня построено; а то, облачаясь до сих пор в ризы покойного моего предместника, человека роста весьма мелкого, я, будучи такою дылдой, не велелепием церковным украшался, а был в них как бы воробей с общипанным хвостом.

9-е декабря. Пречудно! Отец протопоп на меня дуется, а я как вин за собою против него не знаю, то спокоен.

12-е декабря. Некоторое объяснение было между мною и отцом благочинным, а из-за чего? Из-за ризы плодомасовской, что не так она будто в церковь доставлена, как бы следовало, и при сем добавил он, что, мол, «и разные слухи ходят, что вы от нее и еще нечто получили». Что ж, это, значит, имеет такой вид, что я будто не все для церкви пожертвованное доставил, а украл нечто,

что ли?

23-е декабря. Вот слухи-то какие! Ах, Боже мой милосердный! Ах, Создатель мой всеправедный! Не говорю чести моей, не говорю лет ее, но даже сана моего, столь для меня бесценного, и того не пощадили! Гнусники! Но сие столь недостойно, что не хочу и обижаться.

29-е декабря, Начинаю замечать, что и здешнее городничество не благоволит ко мне, а за что — сего отгадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на Святках вечерние собеседования с раскольниками, но сие вдруг стало известно в губернии и сочтено там за непозволительное, и за сие усердствование дано мне замечание. Не инако думаю, как городничему поручен за мною особый надзор. Наилучше к сему, однако, пока шуточно относиться; но окропил себя святою водой от врага и соглядатая.

1-е января. Благослови венец благости Твоея, Господи, а попу Савелию новый путь в губернию. Видно, на сих супостатов и окропление мое не действует.

7-е января. Госпожа Плодомасова вчера по водоосвящении прямо во всем, что на ней было, окунулась в прорубь. Удивился! Спросил, — всегда ли это бывает? Говорят: всегда, и это у нее

называется «мовничать»[46]. Экой закал предивный! Я бы, кажется, и жив от одной такой бани не остался.

20-е января. Пишу сии строки, сидя в смраднице на архиерейском подворье, при семинарском корпусе. К вине моей о собеседованиях с раскольниками присоединена пущая вина: донесено губернатору, что моим дьячком Лукьяном променена раскольникам старопечатная Псалтирь из книг Деевской молельной, кои находятся у меня на сохранении. Дело такое и вправду совершилось, но я оное утаил, считая то, во-первых, за довольно ничтожное, а во-вторых, зная тому настоящую причину — бедность, которая Лукьяна-дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено в злодейское преступление, и я взят под начал и послан в семинарскую квасную квасы квасить.

4-е февраля. Вчера, без всякой особой с моей стороны просьбы, получил от келейника отца Троадия редкостнейшую книгу, которую, однако, даже обязан бы всегда знать, но которая на Руси издана как бы для того, чтоб ее в тайности хранить от тех, кто ее знать должен. Сие «Духов-

---

[46] Примечания: 46
Мыться.

ный регламент»; читал его с азартною затяжкой. Познаю во всем величие сего законодателя и понимаю тонкую предусмотрительность книгу сию хоронящих. Как иначе? Писано в ней, например: «Ведал бы всяк епископ меру чести своей, и не высоко бы о ней мыслил. Се же того ради предлагается, дабы укротити оную весьма жестокую епископам славу, чтоб оных под руки донележе здрави суть невожено и в землю бы им подручная братия не кланялась. И оные поклонницы самоохотно и нахально стелются на землю, чтобы степень исходатайствовать себе недостойный, чтобы так неистовство и воровство свое покрыть». Следовательно, понуждая меня стлаться пред собою, оный понуждающий наипервее всего закон нарушает и становится преступником того сокрываемого государева регламента. Тоже писано: «Кольми паче не дерзали б грабить, под виной жестокого наказания, ибо слуги архиерейские обычно бывают лакомые скотины, и где видят власть своего владыки, там с великою гордостью и бесстыжием, как татары, на похищение устремляются». Великолепно, государь, великолепно!

9-е апреля. Возвратился из-под начала на свое пепелище. Тронут был очень слезами жены сво-

ей, без меня здесь исстрадавшейся, а еще более растрогался слезами жены дьячка Лукьяна. О себе молчав, эта женщина благодарила меня, что я пострадал за ее мужа. А самого Лукьяна сослали в пустынь, но всего только, впрочем, на один год. Срок столь непродолжительный, что семья его не истощает и не евши. Ближе к Богу будет по консисторскому соображению.

20-е апреля. Приезжал ко мне приятный карлик и сообщил, что Марфа Андревна указала, дабы каждогодно на летнего Николу, на зимнего и на Крещение я был трижды приглашаем служить к ней в плодомасовскую церковь, за что мне через бурмистра будет платимо жалованье 150 руб., по 50 руб. за обедню. Ну, уж эти случайности! Чего доброго, я их даже бояться стану.

15-е августа. Вернулся из губернии пономарь Евтихеич и сказывал, что между владыкой и губернатором произошла некая распря из-за взаимного визита.

2-е октября. Слухи о визитной распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни[47] в соборе, имеет обычай в сие время довольно громко разговаривать. Владыка положили прекратить

---

[47] Примечания: 47
Семейные праздники царского дома.

сие обыкновение и послали своего костыльника[48] просить его превосходительство вести себя благопристойнее. Губернатор принял замечание весьма амбиционно и чрез малое время снова возобновил свои громкие с жандармским полковником собеседования; но на сей раз владыка уже сами остановились и громко сказали:

— Ну, я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите.

Очень это со стороны владыки одобряю.

8-го ноября. Получил набедренник[49]. Не знаю, чему приписать. Разве предыдущему визитному случаю и тому, что губернатор меня не жалует.

6-го января 1837 года. Новая новость! Владыка на Новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословению в рукавичке, и сказали: «Скинь прежде с руки собачью шкуру».

А я до сей поры и не знал, что наша губернаторша не немка.

1-го февраля. По изволению владыки, я пред-

---

[48] Примечания: 48

Служка, носитель архиерейского посоха.

[49] Примечания: 49

Четырехугольный плат, носимый на правом бедре; дается священнику как первая награда.

ставлен ко скуфье[50].

17-го марта. Богоявленский протопоп, идучи ночью со Святыми Дарами от больного, взят обходными солдатами в часть, якобы был в нетрезвом виде. Владыка на другой день в мантии его посетили. О, ляше правителю, будете вы теперь сию проделку свою помнить!

18– го мая. Владыка переведены в другую епархию.

16-го августа. Был у нового владыки. Мужчина, казалось, весьма рассудительный и характерный. Разговаривали о состоянии духовенства и приказали составить о сем записку. Сказали, что я рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный и злопобежденный дедуня, за доброе слово!

25-го декабря. Не знаю, что о себе думать, к чему я рожден и на что призван? Попадья укоряет меня, что я и в сей праздник Христова Рождества работаю, а я себе лучшего и удовольствия не нахожу, как сию работу. Пишу мою записку о быте духовенства с радостию такою и с любовию такою, что и сказать не умею. Озаглавил ее так: «О положении православного духовенства и о

---

[50] Примечания: 50

Остроконечная бархатная шапочка; дается священнику в качестве второй награды.

средствах, как оное возвысить для пользы Церкви и государства». Думаю, что так будет добро. Никогда еще не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь силы и разумения преисполненным.

1-го апреля. Представил записку владыке. Попадья говорит, напрасно сего числа представлял: по ее легковерным приметам, сие первое число апреля обманчиво. Заметим.

10-го августа. Произведен в протоиереи.

4-го января 1839 года. Получил пакет из консистории, и сердце мое, стесненное предчувствием, забилось радостию; но сие было не о записке моей, а дарован мне наперсный[51] крест. Благодарю, весьма благодарю; но об участи записки моей все-таки сетую.

8-го апреля. Назначен благочинным. О записке слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы вострубить заставить?

10-го апреля 1840 года. Год уже протек, как я благочинствую. О записке слухов нету. Видно, попадья не все пустякам верит. Сегодня она меня насмешила, что я, может быть, хорошо написал, но не так подписался.

---

[51] Примечания: 51
Нагрудный.

20-го июня 1841 года. Воду прошед яко сушу и египетского зла избежав, пою Богу моему дондеже есмь. Что это со мною было? Что такое я вынес и как я изо всего этого вышел на свет Божий? Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, баллад, повестей и романов, не усматривая в жизни, тебя окружающей, нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения баснь твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до той действительной жизни, которою живут люди, а нужны только претексты[52] для празднословных рацей? Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский поп, сей «ненужный человек», которого, по-твоему, может быть напрасно призвали, чтобы приветствовать твое рождение, и призовут еще раз, также противу твоей воли, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородные страсти и что оно не ощущает страданий? Или же ты с своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня,

---

[52] Примечания: 52
Предлог (франц.).

попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло, и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей… О, слепец! скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о, глупец! скажу тебе, если мыслишь второе и в силу сего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал, задохнувшися.

Но снисхожу от философствования к тому событию, по коему напало на меня сие философствование.

Я отрешен от благочиния и чуть не отвержен сана. А за что? А вот за что. Занотую повесть сию с подробностью.

В марте месяце сего года, в проезд чрез наш город губернатора, предводителем дворянства было праздновано торжество, и я, пользуясь сим случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобой на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни и даже в двунадесятые праздники и говорил, что таким образом великая бедность народная еще более увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса… Но едва лишь только я это слово «овса» выговорил, как сановник мой

возгорелся на меня гневом; прянул от меня, как от гадины, и закричал: «Да что вы ко мне с овсом пристали! Я вот, — говорит, — и то-то, и то-то, да и, наконец, я-де не Николай Угодник, я-де овсом не торгую!» Этого я не должен был стерпеть и отвечал: «Я вашему превосходительству, как человеку в делах веры не сведущему, прежде всего должен объяснить, что Николай Угодник был епископ и ничем не торговал. А затем вы должны знать, что православному народу нужны священник и дьякон, ибо до сих пор их одних мы еще у немцев не заимствовали». Рассмеявшись злобным смехом на мои слова, оный правитель подсказал мне: «Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти найдутся». Эта последняя вещь была, для меня горше первой. «Кто сии черти и что твои мерзкие уста болотом назвали?» — подумал я в гневе и, не удержав себя в совершенном молчании, отвечал сему пану, что «уважая сан свой, я даже и его на сей раз чертом назвать не хочу». Чем же сие для меня кончилось? Ныне я *бывый* благочинный[53], и слава Тебе, Творцу моему, что еще не *бывый* поп и не расстрига. Нет, сего ты, современный сочинитель повестей, должно

[53] Примечания: 53

Священник, осуществляющий административный надзор за несколькими церквами.

быть не спишешь. Не постараешься, чтобы люди знали, как тяжело мне!

3-го сентября. Осенняя погода нагоняет на меня жесточайшую скуку. Привык я весьма постоянно действовать, но ныне без дела тоскую и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу.

27-го января 1842 года. Купил у жида за семь рублей органчик и игорные шашки.

18-го мая. Взял в клетку чижа и начал учить его петь под орган.

9-го августа. Зачал сочинять повесть из своего духовного быта. Добрые мне женщины наши представляются вроде матери моей, дочери заштатного дьякона, всех нас своею работой кормившей; но когда думаю — все это вижу живообразно, а стану описывать — не выходит. Нет, я к сему неспособен!

2-го марта 1845 года. Три года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал да занимался чтением отцов Церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано; а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегом своим, отцом Николаем, и был

удивлен, как он это внял и согласился. «Да, — сказал он, — сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся». Значит, не я один сие вижу, и другие видят, но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается.

Новый 1846 год. К нам начинают ссылать поляков. О записке моей еще сведений нет. Сильно интересуюсь политичною заворожкой, что начинается на Западе, и пренумеровал[54] для сего себе политическую газету.

6-го мая 1847 года. Прибыли к нам еще два новые поляка, ксендз Алоизий Конаркевич да пан Игнатий Чемерницкий, сей в летах самых юных, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя целый сонм соотичей и сего последнего нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами; но мне мнится, что здесь есть еще нечто и иное.

20-го ноября. Замечаю что-то весьма удивительное и непонятное: поляки у нас словно господами нашими делаются, все через них в губернии можно достигнуть, ибо Чемерницкий оному моему

---

[54] Примечания: 54
Выписал.

правителю оказывается приятель.

5-го февраля 1849 года. Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал: написал на поляков порядочный донос, потому что они превзошли всякую меру. Мало того, что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно, якобы нас бьют, а не мы бьем неприятелей, но от слова уже и до дела доходят. На панихиде за воинов, на брани убиенных, подняли с городничихой столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном стоянии или о выходе, после чего они, улыбаясь, из храма вышли. Но когда мы с причтом, окончив служение, проходили мимо бакалейной лавки братьев Лялиных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая голосом дьякону, возгласил: «Много ли это!» Я понял, что это посмеяние над многолетием, и так и описал, и сего не срамлюсь и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное.

1-го апреля. Вечером. Донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал

в город жандармский начальник и пригласил меня к себе, долго и в подробности обо всем этом расспрашивал. Я рассказал все как было, а он объявил мне, что всем этим польским мерзостям на Руси скоро будет конец. Опасаюсь, однако, что все сие, как назло, сказано мне первого апреля. Начинаю верить, что число сие действительно обманчиво.

7-го сентября. Первое апреля на сей раз, мнится, не обмануло: Конаркевича и Чемерницкого обоих перевели на жительство в губернию.

25-го ноября. Наш городничий с супругой изволили выехать: он определен в губернию полицеймейстером. Однако этак не очень еще его наказали.

5-го декабря. Прибыл новый городничий. Называется он капитан Мрачковский. Фамилия происходит от слова мрак. Ты, Господи, веси, когда к нам что-нибудь от света приходить станет!

9-го декабря. Был сегодня у нового городничего на фрыштыке. Любезностью большою обладают оба — и он и жена. Подвыпив изрядно, пел нам: «Ты помнишь ли, товарищ славы бранной?» А потом сынишка его, одетый в русской рубашке, тоже пел: «Ах, мороз, морозец, молодец ты русский!» Это что-то новые новости! Замечательность бесе-

ды сего Мрачковского, впрочем, наиболее всего заключалася для меня в рассказе о некоем профессоре Московского университета, получившем будто бы отставку за то, что на торжественном акте сказал: «Nunquam de republica desperandum» в смысле «никогда не должно отчаяваться за государство», но каким-то канцелярским мудрецом понято, что он якобы велел не отчаяваться в республике, то за сие и отставлен. Даже невероятно!

12-го декабря. Прочитал в газетах, что будто одному мужику, стоявшему наклонясь над водой, вскочила в рот небольшая щука и, застряв жабрами, не могла быть вытащена, отчего сей ротозей и умер. Чему же после сего в России верить нельзя? Верю и про профессора.

20-го декабря. Нет, первое-то апреля не только обманчиво, но и загадочно. Не хочу даже всего, со мною бывшего в сей приезд в губернию, вписывать, а скажу одно, что я был руган и срамлен всячески и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, с чьих речей сам-то наш прямо накинулся на меня, что «ты, дескать, уже надоел своим сутяжничеством; не на добро тебя и грамоте выучили, чтобы ты не в свое дело мешался, ябедничал да сутяжничал». Сердцеведец мой! Когда ж это я ябеды пускал и с кем сутяжничал?

Но ничего я отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное «молчи!». Избыхся всех лишних, и се, возвратясь, сижу как крапивой выпоронная наседка, и твержу себе то слово: «молчи!», и вижу, что слово сие разумно. Одного не понимаю, отчего мой поступок, хотя, может быть, и неосторожный, не иным чем, не неловкостию и не необразованностию моею изъяснен, а чем бы вам мнилось? злопомнением, что меня те самые поляки не зазвали, да и пьяным не напоили, к чему я, однако, благодаря моего Бога и не привержен. От малого сего к великому заключая, припоминая себе слова французской девицы Шарлоты Кордай д'Армой, как она в предказненном письме своем писала, что «у новых народов мало патриотов, кои бы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы возможности чем-либо ей пожертвовать. Везде эгоизм, и все им объясняется». Оно бы, глядя на одних своих, пожалуй бы и я был склонен заключить, как Кордай д'Армон, но, имея пред очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своему бору шумит, да раскольников, коих все обиды и пригнетения не отучают любить Русь, поневоле должен ей противоречить и думать, что есть еще у людей любовь к своему отечеству!

Вот до чего, долго живучи, домыслишься, что и ляхов за нечто похваливать станешь. Однако звучно да будет мне по вся дни сие недавно слышанное мною: «молчи». Nunquam de republica desperandum.

2-го января 1849 года. Ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники. Противиться мне не время, однако же минутами горестно сие чувствовал; но делал ради того, дабы не перерядить попадью в дьячихи, ибо после бывшего со мною и сие возможно. Был я у городничего: он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел, а что там на сердце, про то Богу известно. Но что поистине достойно смеха, то это выходка нашей модной чиновницы Бизюкиной. «Правда ли, — спросила она меня, — что вы донесли на поляков? Как это низко. Вы после этого теперь не что иное, как ябедник и доносчик. Сколько вам за это заплатили?» А я ей на это отвечал: «А вы не что иное, как дура, и к тому еще неоплатная».

1-го января 1850 года. Год прошел тихо и смиренно. Схоронил мою благотворительницу Марфу Андревну Плодомасову. Скончалась, пережив пятерых венценосцев: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и с двумя из них танцевала на собраниях. Ждал неприятностей от Бизю-

кинши, которая со связями и могла потщиться пострекать меня чрез губернию, да все обошлось прекрасно: мы, русские, сколь ни яровиты порой, но, видно, незлопамятны, может, потому, что за нас и заступиться некому. В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость: полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить, а от сего траты. Курил спервоначала шутя у городничего, а ныне и дома всею этою сбруей обзавелся. Надо бы и бросить.

1850 год. Надо бросить. Нет, братик, не бросишь. Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость сию не искоренять, а за нее взять к себе какого-нибудь бездомного сиротку и воспитать. На попадью, Наталью Николаевну, плоха надежда: даст намек, что будто есть у нее что-то, но выйдет сие всякий раз подобно первому апреля.

1-го января 1857 года. Совсем не узнаю себя. Семь лет и строки сюда не вписал. Житие мое странное, зане житие мое стало сытое и привольное. Перечитывал все со дня преподобия своего здесь написанное. Достойно замечания, сколь я стал иначе ко всему относиться за сии годы. Сам не воюю, никого не беспокою и себе никакого беспокойства не вижу. «Укатали сивку крутые горки», и против рожна прати более не охота.

20-го февраля. Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего, поляка, на коего я доносил во дни моей молодой строптивости, пана Чемерницкого. Он женился на русской нашей богатой вдове и учинился нашим помещиком, а ныне и исправником. В господине Чемерницком непременно буду иметь врага и, вероятно, наидосадливейшего.

7-го апреля. Приехал новый исправник, пан Чемерницкий, сам мне и визит сделал. О старой ссоре моей за «много ли это» и помина не делает.

20-го мая. Впервые читал у исправника заграничную русскую газету «Колокол» господина Искандера. Речь бойкая и весьма штилистическая, но по непривычке к смелости– дико.

2-го июня. Вчера, на день Ангела своего, справлял пир. Думал сделать сие скромненько, по моему достоянию, но Чемерницкий утром прислал целую корзину вина, и сластей, и рому, а вечером ко мне понагрянули и Чемерницкий, и новый городничий Порохонцев. Это весьма добрый мужик. Он, подпивши зело-зело, стал вдруг меня с Чемерницким мирить за старое, и я помирился, и просил извинения, и много раз с ним поцеловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если бы сам не был тоже в подпитии?

Сегодня утром выражал о сем мирителю Порохонцеву большое сожаление, но он сказал, что по-ихнему, по-полковому, не надо о том жалеть, когда, подпивши, целуешься, ибо это всегда лучше, чем выпив да подерешься. Все это так, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебен, сам себя поткал в нос кропилом и назидательно сказал себе: «Не пей, поп, вина».

23-го августа. Читал «Записки» госпожи Дашковой и о Павле Петровиче; все заграничного издания. Очень все любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен, кроме что о Петре, — о нем думаю иначе. Однако спасибо Чемерницкому, что рассевает этими редкими книгами мою сильную скуку.

9-го сентября. Размолвился с Чемерницким на свадьбе Порохонцева. Дерзкий этот поляк, глумяся, начал расспрашивать бесхитростного Захарию, что значит, что у нас при венчании поют: «живота просише у тебе»? И начал перекор: о каком здесь животе идет речь? Я же вмешался и сказал, что он сие поймет, если ему когда-нибудь под виселицей петлю наденут.

20-го декабря. Я в крайнем недоумении. Дьячиха, по маломыслию, послала своему сыну по почте рублевую ассигнацию в простом конверте,

но конверт сей на почте подпечатали и, открыв преступление вдовы, посылку ее конфисковали и подвергли ее штрафу. Что на почте письма подпечатывают и читают — сие никому не новость; но как же это рублевую ассигнацию вдовицы ловят, а «Колокол», который я беру у исправника, не ловят? Что это такое: простота или воровство?

20-го октября. Вместо скончавшегося дьякона нашего, смиренного Прохора, прибыл из губернии новый дьякон, Ахилла Десницын. Сей всех нас больше, всех нас толще, и с такою физиономией и с такою фигурой, что нельзя, глядя на него, не удивляться силе природной произрастительности. Голос он имеет весьма добрый, нрава весьма веселого и на первый раз показался мне будто очень почтителен. Но наипаче всего этот человек нравится мне своим добродушием. Предъявлял мне копию со своего семинарского аттестата, в коей написано: «поведения хорошего, но удобоносителен». «А что сие обозначает?» — спросил я. «Это совершенные пустяки, — объяснил он, — это больше не что, как, будучи в горячечной болезни в семинарском госпитале, я проносил больным богословам водку». И сие, мол, изрядно.

9-го декабря. Получил камилавку и крест св. Анны. По чьему бы, мнилось, ходатайству? А все

сие по засвидетельствованию милостивца моего, пана Чемерницкого, о моей рачительности по благочинию.

7-го марта 1858 года. Исход Израилев был: поехали в Питер Россию направлять на все доброе все друзья мои — и губернатор, и его оный правитель, да и нашего Чемерницкого за собой на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренно жаль стало, что от нас уехал. Скука будто еще более.

1-го декабря. По указанию дьячка Сергея заметил, что наш новый дьякон Ахилла несколько малодушник: он многих приходящих из деревень богомольцев из ложного честолюбия благословляет потаенно иерейским благословением и при сем еще как-то поддерживает левою рукой правый рукав рясы. Сказал ему, дабы он сего отнюдь себе вперед не дозволял.

18-го июля 1859 года. Дьякон Ахилла опять замечен в том, что благословляет. Дабы уменьшить его подобие со священником, я отобрал у него палку, которую он даже и права носить по своему чину не имеет. Перенес все сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил.

15-го августа. Пировали у городничего, и на сем пиру чуть не произошел скандал, опять по поводу

спора об уме, и напомнило мне это старый спор, которому в молодости моей когда-то я смеялся. Дьякон Ахилла и лекарь сразились в споре обо мне: лекарь отвергал мой ум, а дьякон — возносил. Тогда на их шум, и особливо на крик лекаря, вошли мы, и я с прочими, и застали, что лекарь сидит на верху шкафа и отчаянно болтает ногами, производя стук, а Ахилла в спокойнейшем виде сидит посреди комнаты в кресле и говорит: «Не снимайте его, пожалуйста, это я его яко на водах повесих за его сопротивление». Удерживая свой смех, я достаточно дьякона за его шалость пощунял и сказал, что сила не доказательство. А он за сие мне поклонился и, отнесясь к лекарю, добавил: «А, что такое? Небось сам теперь видишь, что он министр юстиции». Предивно, что этот казаковатый дьякон как бы провидит, что я его смертельно люблю — сам за что не ведая, и он тоже меня любит, отчета себе в сем не отдавая.

25-го августа. Какая огромная радость! Ксендзы по Литве учредили общества трезвости: они проповедуют против пьянства, и пьянство престает, и народ остепеняется, и откупщики-кровопийцы лопаются. Ах, как бы хотелось в сем роде проповедничать!

5-го сентября. В некоторых православных обще-

ствах заведено то же. Боюсь, не утерплю и скажу слово! Говорил бы по мысли Кирилла Белозерского, како: «крестьяне ся пропивают, а души гибнут». Но как проповедовать без цензуры не смею, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что делать, за неволю и патеру Игнатию Лойоле следовать станешь, когда прямою дорогой ходу нет.

1-го октября. Составили проект нашему обществу, но утверждения оному еще нет, а зато пишут, что винный откупщик жаловался министру на проповедников, что они не допускают народ пить. Ах ты, дерзкая каналья! Еще жаловаться смеет, да еще и министру!..

20-го октября. Бешеная весть! Газеты сообщают, что в июле сего года откупщики жаловались министру внутренних дел на православных священников, удерживающих народ от пьянства, и господин министр передал эту жалобу обер-прокурору Святейшего Синода, который отвечал, что «Св. Синод благословляет священнослужителей ревностно содействовать возникновению в некоторых городских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина». Но откупщики не унялись и снова просили отменить указ Святейшего Синода, ибо, при

содействии его, общества трезвости разведутся повсеместно. Тогда министр финансов сообщил будто бы обер-прокурору Святейшего Синода, что совершенное запрещение горячего вина, посредством сильно действующих на умы простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний, не должно быть допускаемо, как противное не только общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откупное содержание. Затем, сказывают, сделано распоряжение, чтобы приговоры городских и сельских обществ о воздержании уничтожить и впредь городских собраний и сельских сходок для сей цели нигде не допускать. Пей, бедный народ, и распивайся!

8-го ноября. В день Святых и Небесных Сил воеводы и Архистратига Михаила прислан мне преболmіущий нос, дабы не токмо об учреждении общества трезвости не злоумышлял, но и проповедовать о сем не смел, имея в виду и сие, и оное, и всякое, и овакое, опричь единой пользы человеческой… Да не полно ли мне, наконец, все это писать? Довольно сплошной срам-то свой все записывать!

1-го января 1860 года. Даже новогодия пропус-

каю и ничем оставляю не отмеченные. Сколь горяч был некогда ко всему трогающему, столь ныне ко всему отношусь равнодушно. Протопопица моя, Наталья Николаевна, говорит, что я каков был, таков и сегодня; а где тому так быть! Ей, может, это в иную минуту и так покажется, потому что и сама она уже Сарриных лет достигла, но а мне-то виднее… Тело-то здорово и даже толсто, да что в том проку, а душа уже как бы какою корой обрастает. Вижу, что нечто дивное на Руси зреет и готовится систематически; народу то потворствуют и мирволят в его дурных склонностях, то внезапно начинают сборы податей, и поступают тогда беспощадно, говоря при сем, что сие «по царскому указу». Дивно, что всего сего как бы никто не замечает, к чему это клонит.

27-го марта. Запахло весной, и с гор среди дня стремятся потоки. Дьякон Ахилла уже справляет свои седла и собирается опять скакать степным киргизом. Благо ему, что его это тешит: я ему в том не помеха, ибо действительно скука неодоленная, а он мужик сложения живого, так пусть хоть в чем-нибудь имеет рассеяние.

23-го апреля. Ахилла появился со шпорами, которые нарочно заказал себе для езды изготовить Пизонскому. Вот что худо, что он ни за что не мо-

жет ограничиться на умеренности, а непременно во всем достарается до крайности. Чтоб остановить его, я моими собственными ногами шпоры эти от Ахиллиных сапог одним ударом отломил, а его просил за эту пошлость и самое наездничество на сей год прекратить. Итак, он ныне у меня под епитимьей. Да что же делать, когда нельзя его не воздерживать. А то он и мечами препояшется.

2-го сентября. Дьячок Сергей сегодня донес мне, что дьякон ходит по ночам с ружьем на охоту и застрелил двух зайцев. Сергею сказал, что сему не верю, а дьякону изрядно намылил голову.

9-го сентября. Однако с этим дьяконом немало хлопот: он вчера отстегал дьячка Сергея ремнем, не поручусь, что, может быть, и из мщения, что тот на него донес мне об охоте; но говорит, что будто бы наказал его за какое-то богохульство. Дабы не допустить его до суда тех архиерейских слуг, коих великий император изволил озаглавить «лакомыми скотинами» и «несытыми татарами», я призвал к себе и битого и небитого и настоятельно заставил их поклониться друг другу в ноги и примириться, и при сем заметил, что дьякон Ахилла исполнил сие со всею весьма доброю искренностью. В сем мужике, помимо его горячности, порой усматривается немало самого

голубиного незлобия.

14-го сентября. Дьячок Сергей, придя будто бы за наполом для капусты, словно невзначай донес мне, что сегодня вечером у фокусника, который проездом показывает в кирпичных сараях силача и великана, будет на представлении дьякон Ахилла. Прегнусный и мстительный характер у сего Сергея.

15-го. Я пошел подсмотреть это представление и, не будучи сам видим, все достаточно хорошо сам видел сквозь щелочку в задних воротищах. Ахилла, точно, был, но более не зрителем, а как бы сказать актером. Он появился в большом нагольном овчинном тулупе, с поднятым и обвязанным ковровым платком воротником, скрывавшим его волосы и большую часть лица до самых глаз, ноя, однако, его, разумеется, немедленно узнал, а дальше и мудрено было бы кому-нибудь его не узнать, потому что, когда привозный комедиантом великан и силач вышел в голотелесном трике и, взяв в обе руки по пяти пудов, мало колеблясь, обнес сию тяжесть пред скамьями, где сидела публика, то Ахилла, забывшись, закричал своим голосом: «Но что же тут во всем этом дивного!» Затем, когда великан нахально вызывал бороться с ним и никого на сие состязание охот-

ников не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо в оный, обвязанный вокруг его головы, ковровый платок, вышел и схватился. Я полагал, что кости их сокрушатся: то сей гнется, то оный одолевает, и так несколько минут; но наконец Ахилла сего гордого немца сломал и, закрутив ему ноги узлом, наподобие как подают в дворянских домах жареных пулярок, взял оные десять пудов да вдобавок самого сего силача и начал со всем этим коробом ходить пред публикой, громко кричавшею ему «браво». Дивнее же всего Ахилла сделал этому финал: «Господа! — обратился он к публике, — может, кто вздумает уверять, что я кто другой: так вы ему, сделайте милость, плюньте, потому что я просто мещанин Иван Морозов из Севска». Кто-то его, изволите видеть, будто просил об этом объяснении! Но, однако, я всем этим весьма со скуки позабавился. Ах, в чем проходит жизнь! Ах, в чем уже и прошла она! Идучи назад от сараев, где было представление, я впал в нервность какую-то и прослезился — сам о чем не ведая, но чувствуя лишь одно, что есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумаю молодые свои широкие планы и посравню их с продолженною мною жизнию моею! Мечтал некогда обиженный, что с достоинством провести могу жизнь

мою, уже хотя не за деланием во внешности, а за самоусовершенствованием собственным; но не философ я, а гражданин; мало мне сего: нужусь я, скорблю и страдаю без деятельности, и от сего не всегда осуждаю живые наклонности моего любезного Ахиллеса. Бог прости и благослови его за его пленительную сердца простоту, в которой все его утешает и радует. Сергею-дьячку сказал, что он врет про Ахиллу, и запретил ему на него кляузничать. Чувствую, что я со всею отеческою слабостию полюбил сего доброго человека.

14-го мая 1861 года. В какие чудесные дела может попадать человек по легкомыслию своему! Комплект шутников у нас полон и без дьякона Ахиллы, но сей, однако, никак не в силах воздержаться, чтобы еще не пополнять его собою. Городничий у тестя своего, княжеского управителя Глича, к шестерику лошадь торговал, а тот продать не желает, и они поспорили, что городничий добудет ту лошадь, и ударили о заклад. Городничий договорил за два рубля праздношатающегося мещанина Данилку, по прозвищу «комиссара», дабы тот уворовал коня у господина Глича. Прилично, видите, сие городничему на воровство посылать, хотя бы и ради потехи! Но что всего приличнее, это было моему Ахилле

выхватиться с своею готовностию пособлять Данилке в этом деле. Сергей-дьячок донес мне об этом, и я заблаговременно взял Ахиллу к себе и сдал его на день под надзор Натальи Николаевны, с которою мой дьякон и провел время, сбивая ей в карафине[55] сливочное масло, а ночью я положил его у себя на полу и, дабы он не ушел, запер до утра всю его обувь и платье. Утром же сегодня были мы все пробуждены некоторым шумом и тревогой: проскакала прямо к крыльцу городничего тройкой телега и в ней комиссар Данилка между двумя мужиками, кричащий как оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, чего он так кричит, и нашли, что Данилку освобождали от порт, начиненных стрекучею крапивой. Оказывается, что господин Глич его изловил, посадил в крапиву, и слуги его привезли сего молодца назад к пославшему его. Я указал дьякону, что если б и он разделял таковую же участь с Данилкой и приехал назад, как карась весь обложенный крапивой, приятно ли бы это ему было? Но он отвечал, что не дался бы — что хотя бы даже и десять человек на него напали, он бы не дался. «Ну, — говорю, — а если бы двадцать?» — «Ну,

[55] Примечания: 55
Графин (франц.).

а с двадцатью, — говорит, — уж нечего делать — двадцать одолеют» — и при сем рассказал, что однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой и одновременно с проходившею партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти не годных ягод и устремились овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до сорока, «и произошла, — говорит, — тут между нами великая свалка, и братца Финогешу убили». Как это наивно и просто! Что рассказ, то и событие! Ему «жизнь — копейка».

29-го сентября 1861 года. Приехал из губернии сын никитской просвирни Марфы Николаевой Препотенской, Варнава. Окончил он семинарию первым разрядом, но в попы идти отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, отчего не пожелал в духовное звание, коротко отвечал, что не хочет быть обманщиком. Не стерпев сего глупого ответа, я сказал ему, что он глупец. Однако, сколь ни ничтожным сего человека и все его мнения почитаю, но уязвлен его ответом, как ядовитой осой. Где мой проект о положении духовенства и средствах возвысить оное на достойную его степень, дабы глупец всякий над ним

не глумился и враг отчизны сему не радовался? Видно, правду попадья моя сказала, что, «может быть, написал хорошо, да нехорошо подписался». Встречаю с некоей поры частые упоминания о книге, озаглавленной «О сельском духовенстве» и, пожелав ее выписать, потребовал оную, но книгопродавец из Москвы отвечает, что книга «О сельском духовенстве» есть книга запрещенная и в продаже ее нет. Вот поистине гениальная чья-то мысль: для нас, духовных, книга о духовенстве запрещена, а сии, как их называют, разного сорта «нигилисты» ее читают и цитируют!.. Ну что это за наругательство над смыслом, взаправду!

22-го ноября. Ездил в губернию на чреду. При двух архиерейских служениях был сослужащим и в оба раза стоял ниже отца Троадия, а сей Троадий до поступления в монашество был почитаем у нас за нечто самое малое и назывался «скорбноглавым»; но зато у него, как у цензора и, стало быть, православия блюстителя и нравов сберегателя, нашлась и сия любопытная книжка «О сельском духовенстве». О, сколько правды! сколько горькой, но благопотребнейшей правды! Мню, что отец Троадий не все здесь написанное с апробацией и удовольствием читает.

14-го декабря. За ранней обедней вошел ко мне

в алтарь просвирнин сын, учитель Варнавка Препотенский, и просил отслужить панихиду, причем подал мне и записку, коей я особого значения не придал и потому в оную не заглянул, а только мысленно подивился его богомольности; удивление мое возросло, когда я, выйдя на панихиду, увидел здесь и нашу модницу Бизюкину и всех наших ссыльных поляков. И загадка сия недолго оставалась загадкой, ибо я тотчас же все понял, когда Ахилла стал по записке читать: «Павла, Александра, Кондратья…» Прекрасная вещь со мною сыграна! Это я, выходит, отпел панихиду за декабристов, ибо сегодня и день был тот, когда было восстание. Вперед буду умнее, ибо хотя молиться за всех могу и должен, но в дураках как-то у дураков дважды быть уж несогласен. Причту своему не подал никакого виду, и они ничего этого не поняли.

27-го декабря. Ахилла в самом деле иногда изобличает в себе уж такую большую легкомысленность, что для его же собственной пользы прощать его невозможно. Младенца, которого призрел и воспитал неоднократно мною упомянутый Константин Пизонский, сей бедный старик просил дьякона научить какому-нибудь пышному стихотворному поздравлению для

городского головы, а Ахилла, охотно взявшись за это поручение, натвердил мальчишке такое:

Днесь Христос родился,
А Ирод– царь взбесился:
Я вас поздравляю
И вам того ж желаю.

Нет, против него необходима большая строгость!

11-го января 1863 года. Лекарь, по обязанности службы, вскрывал одного скоропостижно умершего, и учитель

Варнава Препотенский привел на вскрытие несколько учеников из уездного училища, дабы показать им анатомию, а потом в классе говорил им: «Видели ли вы тело?» Отвечают: «Видели». — «А видели ли кости?»– «И кости, — отвечают, — видели». — «И все ли видели?» — «Все видели», — отвечают. «А души не видали?» — «Нет, души не видали». — «Ну так где же она?..» И решил им, что души нет. Я конфиденциально обратил на сие внимание смотрителя и сказал, что не премину сказать об этом при директорской ревизии.

Вот ты, поп, уже и потребовался. Воевал ты с расколом — не сладил; воевал с поляками — не

сладил, теперь ладь с этою дуростью, ибо это уже плод от чресл твоих возрастает. Сладишь ли?.. Погадай на пальцах.

2-го февраля. Болен жабой и не выхожу из дому, и уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и сконфуженный и со слезами от преподавания уроков вместо меня отказывается, а причина сему такая. Отец Захария в прошлый урок в третьем классе задал о Промысле и истолковал его, и стал сегодня отбирать заданное, но один ученик, бакалейщика Лялина сын, способнейший мальчик Алиоша, вдруг ответил, что «он допускает только Бога Творца, но не признает Бога Промыслителя». Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем сей юный богослов основывает свое заключение, а тот отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, неправосудно будто бы посланную всем за грехопадение одного человека. Отец Захария, вынужден будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы, по несовершенству ума нашего, всему сему весьма плохие судьи, и подкрепил свои слова указанием, что если бы мы во грехах наших вечны были, то и грех был

бы вечен, все порочное и злое было бы вечно, а для большего вразумления прибавил пример, что и кровожадный тигр и свирепая акула были бы вечны, и достаточно сим всех убедил. Но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей самый мальчик вошел туда и там при малютках опроверг отца Захарию, сказав: «А что же бы сделали нам кровожадный тигр и свирепая акула, когда мы были бы бессмертны?» Отец Захария, по доброти своей и ненаходчивости, только и нашелся ответить, что «ну, уж о сем люди умнее нас с тобой рассуждали». Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал; а я, как назло, все еще болен и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству, в коем подозреваю учителя Варнаву.

13-го января. Сколь я, однако, угадчив! Алиоша Лялин выпорон отцом за свое вольнодумное рассуждение и, плача под лозами, объявил, что сему вопросу и последующему ответу научил его учитель Препотенский. Негодую страшно; но лекарь наш говорит, что выйти мне невозможно, ибо у меня будто рецидивная angina, и затем проторю дорожку ad patres[56], а сего бы еще не хотелось.

---

[56] Примечания: 56
К предкам (лат.).

Писал смотрителю записку и получил ответ, что Препотенскому, в удовлетворение моего требования, сделано замечание. Да, замечание! за растление умов, за соблазн малых сих, за оскорбление честнейшего, кроткого и, можно сказать, примерного служителя алтаря — замечание, а за то, что голодный дьячок променял Псалтирь старую на новую, сажают семью целую на год без хлеба… О, роде лукавый!

18-го января. Препотенский, конечно, поощрился только этим замечанием и моего отца Захарию совсем заклевал. Этот глупый, но язвительный негодяй научил ожесточенного лозами Алиошу Лялина спросить у Захарии: «Правда ли, что пьяный человек скот?» — «Да, скот», — отвечал ничто же сумняся отец Захария. «А где же его душа в это время, ибо вы говорили-де, что у скота души нет?» Отец Захария смутился и ответил только то, что: «а ну погоди, я вот еще и про это твоему отцу скажу: он тебя опять выпорет». Для Господа Бога скажите, ведь становится серьезным вопросом: что делать с этим новым супостатом просвирниным сыном и научителем пакостей Варнавою.

19-го января. Старый бакалейщик Лялин вновь выдрал сына лозами и за сим вслед взял его совсем из училища в лавку, сказав, что «здесь не

училище, а разврат содомский». Ненавижу мою несносную горловую жабу, которая мне в эти минуты стиснула гортань. Вот этот успех Варнавин есть живой приклад, что такое может сделать одна паршивая овца, если ее в стадо пустят! Вот также и наука к тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый приклад дает Препотенский, второй — мой отец Захария. Ради просветителя Препотенского из школы детей берут, а отец Захария, при всей чистоте души своей, ни на что ответить не может. Вот когда уши мои выше лба хотят вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданин, что я не совсем дармоед и не обманщик? Чувствуешь ли? И ежели чувствуешь сие, то чувствуешь ли и то, что я хил, стар и отупел от всех оных «молчи»... А что еще там на смену мне растет? Думай о них, брате мой, думай о них, искренний мой и ближний, ибо уже ехидный враг всюду нас встал, и сей враг плоть от плоти нашея. Ныне он еще пока глуп и юродив, в Варнавкиной кожуре ходит, но старый поп, опытом наученный, говорит тебе: на страже стой и зорко следи, во что он перерядится. Где теперь Чемерницкий и оный мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнее стали с тех пор, как разговаривали в храме и пели

на крыльце «много ли это» вместо «многая лета»? Пойди ныне, лови! Сунься… Они тебя поймают.

21-го января. Скажешь себе слово под руку, да и сам не обрадуешься. Еще и чернило с достаточною прочностию не засохло, коим писал, что «лови их, они сами тебя поймают», как вдруг уже и изловлен. Сегодня пришел ко мне городничий Порохонцев и принес копию с служебной бумаги из Петербурга. Писано, что до сведения высшего начальства дошло о распространении в наших местах газеты «Колокол» и прочих секретных сочинений и что посему вменяется в обязанность распространение сих вещей строго преследовать; а подписано — наш «Чемерницкий»! Каков!

27-го. Я ужасно встревожен. С гадостным Варнавой Препотенским справы нет. Рассказывал на уроке, что Иона-пророк не мог быть во чреве китове, потому что у огромного зверя кита все-таки весьма узкая глотка. Решительно не могу этого снесть, но пожаловаться на него директору боюсь, дабы еще и оттуда не ограничилось все одним легоньким ему замечанием.

2-го февраля. Почтмейстер Тимофей Иванович, подпечатывая письма, нашел описание тугановского дела, списанного городничим для Чемерницкого, и все сему очень смеялись. На что

же сие делают, на что же и подпечатывание с болтовством, уничтожающим сей операции всякое значение, и корреспондирование революционеру от полицейского чиновника? Городничий намекал, что литераторствует для «Колокола». Не достойнее ли бы было, если бы ничего этого, ни того, ни другого, совсем не было?

14-го февраля. Я все еще болен и не выхожу. Читал книгу журнала, где в одной повести выводится автором поп. Рассказано, как он приехал в село и как он старается быть добрым и честным; но встречает к тому ежечасные препятствия. Хотя все это описано вскользь и без фундаментального знания нашего положения, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Настал час, чтобы светские люди посмотрели на нас, а мы в свою очередь в их соображения и стремления вникли. Какой смешной наш дьякон Ахилла! Видя, что я в болезни скучаю, и желая меня рассеять, привел ко мне собачку Пизонского, ублюдочку пуделя, коему как Ахилла скажет: «Собачка, засмейся!» — она как бы и вправду, скаля свои зубы, смеется. Опять сядет пред нею большущий дьякон на корточки и повторит: «Засмейся, собачка!» — она и снова смеется. Сколь детски близок этот Ахилла к природе, и сколь все

его в ней занимает!..

17-го февраля. Препотенский окончательно вывел меня из терпения. Я его и человеком более вовсе считать не могу после того, что он сделал, и о деяниях его написал не директору его, а предводителю Туганову. Что отродится от сего старого вольтерьянина — не знаю, но все-таки он человек земли, а не наемщик, и пожалеет ее. Варнавка делает, до чего только безумие довести может. За болезнию учителя Гонорского, Препотенскому поручено временно читать историю, а он сейчас же начал толковать о безнравственности войны и относил сие все прямо к событиям в Польше. Но этого мало ему было, и он, глумясь над цивилизацией, порицал патриотизм и начала национальные, а далее осмеивал детям благопристойность, представляя ее во многих отношениях даже безнравственною, и привел такой пример сему, что народы образованные скрывают акт зарождения человека, а не скрывают акта убийства, и даже оружия войны на плечах носят. Чего сему глупцу хочется? По правде, сие столь глупо, что и подумать стыдно, а я все сержусь. Мелочь сие; но я ведь мелочи одни и назираю, ибо я в мале и поставлен.

28-го февраля. Ого! Вольтерьянин-то мой не

шутит. Приехал директор. Я не вытерпел, и хотя лекарь грозил мне опасностью, однако я вышел и говорил ему о бесчинствах Препотенского; но директор всему сему весьма рассмеялся. Что это у них за смешливость! Обратил все сие в шутку и сказал, что от этого Москва не загорится, «а впрочем, — добавил он с серьезною миной, — где вы мне прикажете брать других? они все ныне такие бывают». И вышел я же в смешных дураках, как бесполезный хлопотун. Видно, так этому и быть следует.

1-го марта. И вправду я старый шут, верно, стал, что все надо мною потешаются. Пришли сегодня ко мне лекарь с городничим, и я им сказал, что здоровье мое от вчерашнего выхода нимало не пострадало; но они на сие рассмеялись и отвечали, что лекарь это шутя продержал меня в карантине, ибо ударился об заклад с кем-то, что, стоит ему захотеть, я месяц просижу дома. С этою целию он и запугивал меня опасностью, которой не было. Тьфу!

14-го мая. Препотенский, однако же, столь осмелел, что и в моем присутствии мало изменяется. Добыв у кого-то из раскольников весьма распространенную книжечку с видами, где антихрист изображен архиереем в нынешнем облачении,

изъяснял, что Христос был социалист, а мы, попы и архиереи, как сему противимся, то мы и есьмы антихристы.

20-го июля. Отлично поправился, проехавшись по благочинию. Так свежо и хорошо в природе, на людях и мир, и довольство замечается. В Благодухове крестьяне на свой счет поправили и расписали храм, но опять и здесь, при таком спокойном деле, явилось нечто в игривом духе. Изобразили в притворе на стене почтенных лет старца, опочивающего на ложе, а внизу уместили подпись: «В седьмый день Господь почил от всех дел своих». Дал отцу Якову за сие замечание и картину велел замалевать.

11 — го мая 1863 года. Позавчера служил у нас в соборе проездом владыка. Спрашивал я отца Троадия: стерта ли в Благодухове известная картина? и узнал, что картина еще существует, чем было и встревожился, но отец Троадий успокоил меня, что это ничего, и шутливо сказал, что «это в народном духе», и еще присовокупил к сему некоторый анекдот о душе в башмаках, и опять все покончили в самом игривом. Эко! сколь им все весело.

20-го июня. Ездил в Благодухово и картину велел соструга́ть при себе: в глупом народному

духу потворствовать не нахожу нужным. Узнавал о художнике; оказалось, что это пономарь Павел упражнялся. Гармонируя с духом времени в шутливости, велел сему художнику сесть с моим кучером на облучок и, прокатив его сорок верст, отпустил пешечком обратно, чтобы имел время в сей проходке поразмыслить о своей живописной фантазии.

12-го августа. Дьякон Ахилла все давно что-то мурлычит. Недавно узнал, что это он вступил в польский хор и поет у Кальярского, басом, польские песни. Дал ему честное слово, что донесу о сем владыке; но простил, потому что вижу, что это учинено им по его всегдашнему легкомыслию.

12-го октября. Был у нас на ревизии новый губернатор. Заходил в собор и в училище, и в оба раза, и в училище, и в церкви, непременно требовал у меня благословения. Человек русский и по обхождению и по фамилии. Очень еще молод, учился в сем особенном училище правоведения и из Петербурга в первый раз всего выехал, что сейчас на нем и заметно, ибо все его интересует. С особым любопытством расспрашивал о характере столкновений духовенства с властию предводительскою; но, к сожалению, я его лю-

бопытства удовлетворить не мог, ибо у нас что уездный Плодомасов, что губернский Туганов — мужи достойные, столкновений нет. Говорил, что копошенью поляков он не намерен придавать никакого значения, и выразился так: что «их просто надо игнорировать», как бы их нет, ибо «все это, — добавил, — должно стушеваться; масса их поглотит, и их следа не останется». При сем не без красноречия указал, что не должно ставить всякое лыко в строку, «ибо (его слова) все это только раздувает несогласие и отвлекает правительственных людей от их главных целей». При сем, развивая свою мысль в духе высшей же, вероятно, политики, заговорил о национальном фанатизме и нетерпимости.

14-го ноября. Рассказывают, что один помещик ездил к губернатору жаловаться на неисполнение крестьянами обязательств; губернатор, остановив поток его жалоб, сказал: «Прошу вас, говоря о народе, помнить, что я демократ».

20-го января 1863 года. Пишу замечательную и назидательную историю о суррогате. Сообщают такую курьезную повесть о первом свидании сего нового губернатора с нашим предводителем Тугановым. Сей высшей политики исполненный петербургский шпис и Вольтеру нашему отре-

комендовал себя демократом, за что Туганов на бале в дворянском собрании в глаза при всех его и похвалил, добавив, что это направление самое прекрасное и особенно в настоящее время идущее кстати, так как у нас уездах в трех изрядный голод и для любви к народу открыта широкая деятельность. Губернатор сему весьма возрадовался, что есть голод, но осерчал, что ему это до сих пор было неизвестно, и, подозвав своего правителя, сильно ему выговаривал, что тот его не известил о сем прежде, причем, как настоящий торопыга, тотчас же велел донести о сем в Петербург. Но правитель, оправляя перед ним свою вину, молвил, что замечаемый в тех уездах голод еще не есть настоящий голод; ибо хотя там хлеб и пропал, но зато изрядно «родилось просо». Отсюда и началась история. «Что такое просо?» — воскликнул губернатор. «Просо — суррогат хлеба», — отвечал ученый правитель, вместо того чтобы просто сказать, что из проса кашу варят, что, может статься, удовлетворило бы и нашего правоведа, ибо он должен быть мастер варить кашу. Но, однако, случилось так, что сказано ему «суррогат». «Стыдитесь, — возразил, услыхав это слово, вышнеполитик, — стыдитесь обманывать меня, когда стоит войти в любую фруктовую

лавку, чтобы знать, на что употребляется просо: в просе виноград возят!» Туганов серьезно промолчал, а через день послал из комиссии продовольствия губернатору список хлебных семян в России. Губернатор сконфузился, увидав там просо, и, призвав своего правителя, сказал: «Извините, что я вам тогда не поверил, вы правы, просо — хлеб». Всеискреннейше тебя, любезный демократ, сожалею! Немец хотя и полагал, что Николай Угодник овсом промышляет, но так не виноградничал.

6-го декабря. Постоянно приходят вести о контрах между предводителем Тугановым и губернатором, который, говорят, отыскивает, чем бы ткнуть предводителя за свое «просо», и, наконец, кажется, они столкнулись. Губернатор все за крестьян, а тот, Вольтер, за свои права и вольности. У одного правоведство смысл покривило, так что ему надо бы пожелать позабыть то, что он узнал, а у другого — гонору с Араратскую гору и уже никакого ни к каким правам почтения. У них будет баталия.

20-го декабря. Приехали на Святки семинаристы, и сын отца Захарии, дающий приватные уроки в добрых домах, привез совершенно невероятную и дикую новость: какой-то отставной

солдат, притаясь в уголке Покровской церкви, снял венец с чудотворной иконы Иоанна Воина и, будучи взят с тем венцом в доме своем, объяснил, что он этого венца не крал, а что, жалуясь на необеспеченность отставного русского воина, молил сего святого воинственника пособить ему в его бедности, а святой, якобы вняв сему, проговорил: «Я их за это накажу в будущем веке, а тебе на вот покуда это», и с сими участливыми словами снял будто бы своею рукой с головы оный драгоценный венец и промолвил: «Возьми». Стоит ли, кажется, такое объяснение какого-либо внимания? Но просу воздействовавшу рассуждено иначе, и от губернатора в консисторию последовал запрос: могло ли происходить таковое чудо? Разумеется, что консистория очутилась в затруднении, ибо нельзя же ей отвечать, что чудо невозможно; но к чему же, однако, это направляется? Предводитель Туганов по сему случаю секретно запротестовал и написал, что видит это действие неразумным и предпринимаемым единственно для колебания веры и для насмешки над духовенством. Таким образом, сей старый невер становится за духовенство, а обязанный защищать оное правоведец над ним издевается. Нет, кажется, и вправду уже грядет час, и ныне

есть, когда здравый разум будет не в состоянии усматривать во всем совершающемся хотя малейшую странность. Самое заступление Туганова, так как оно не по ревности к вере, а по вражде к губернатору, то хотя бы это, по-видимому, и на пользу в сем настоящем случае, но, однако, радоваться тут нечему, ибо чего же можно ожидать хорошего, если в государстве все один над другим станут издеваться, забывая, что они одной короне присягали и одной стране служат? Плохо-с!

9-го января 1864 года. Сам Туганов приезжал зачем-то в Плодомасово. Я не утерпел и поехал вчера повидаться и узнать насчет его борьбы и его протеста за Иоанна Воина. Чудно! Сей Туганов, некогда чтитель Вольтера, заговорил со мною с грустью и в наидруженнейшем тоне. Протест свой он еще не считает достаточно сильным, ибо сказал, «что я сам для себя думаю обо всем чудодейственном, то про мой обиход при мне и остается, а не могу же я разделять бездельничьих желаний — отнимать у народа то, что одно только пока и вселяет в него навык думать, что он принадлежит немножечко к высшей сфере бытия, чем его полосатая свинья и корова». Какая сухменность в этих словах, но я уже не возражал… Что уж делать! Боже! помози Ты хотя сему

неверию, а то взаправду не доспеть бы нам до табунного скитания, пожирания корней и конского ржания.

20-го мая. По части шутовства новое преуспеяние: по случаю распространившегося по губернии вредоносного поветрия на скот и людей, в губернских ведомостях напечатано внушение духовенству — наставлять прихожан, «чтобы крестьяне остерегались шарлатанского лечения знахарей и бабок, нередко расстраивающих здоровье навеки, а обращались бы тотчас за пособием к местным врачам и ветеринарам». А где же у нас сии «местные врачи и ветеринары»? Припоминаю невольно давно читанную мною старую книжечку английского писателя, остроумнейшего пастора Стерна, под заглавием «Жизнь и мнения Тристрама Шанди», и заключаю, что по окончании у нас сего патентованного нигилизма ныне начинается шандиизм, ибо и то и другое не есть учение, а есть особое умственное состояние, которое, по Стернову определению, «растворяет сердце и легкие и вертит очень быстро многосложное колесо жизни». И что меня еще более убеждает в том, что Русь вступила в фазу шандиизма, так это то, что сей Шанди говорил: «Если бы мне, как Санхе-Пансе, дали выбирать для себя

государство, то я выбрал бы себе не коммерческое и не богатое, а такое, в котором бы непрестанно как в шутку, так и всерьез смеялись». Ей-право опасаюсь; не нас ли, убогеньких, разумел сей штуковатый Панса, ибо все это как раз к нам подходящее, и не богаты и не тороваты, а уж куда как гораздо смешливы!

21-го мая. Помещик Плодомасов вернулся из столицы и привез и мне, и отцу Захарии, и дьякону Ахилле весьма дорогие трости натурального камыша и показывал небольшую стеклянную лампочку с горящею жидкостью «керосин», или горное масло, что добывается из нефти.

9-го июня 1865 года. Я допустил в себе постыдную мелочность с тростями, о которых выше писал, и целая прошедшая жизнь моя опрокинулась как решето и покрыла меня. Я сижу под этим решетом как ощипанный грач, которого злые ребята припасли, чтобы над ним потешаться. Вот поистине печальнейшая сторона житейского измельчания: я обмелел, обмелел всемерно и даже до того обмелел, что безгласной бумаге суетности своей доверить не в состоянии, а скажу вкратце: меня смущало, что у меня и у Захарии одинаковые трости и почти таковая же подарена Ахилле. Боже! на то ли я был некогда годен, чтобы за тро-

сточку обижаться или, что еще хуже, ухищряться об ее отличии? Нет, не такой я был, не пустяки подобные меня влекли, а занят я был мыслью высокою, чтоб, усовершив себя в земной юдоли[57], увидеть невечерний свет и возвратить с процентами врученный мне от Господа талант».

Этим оканчивались старые туберозовские записи, дочитав которые старик взял перо и, написав новую дату, начал спокойно и строго выводить на чистой странице: «Было внесено мной своевременно, как однажды просвирнин сын, учитель Варнава Препотенский, над трупом смущал неповинных детей о душе человеческой, говоря, что никакой души нет, потому что нет ей в теле видимого гнездилища. Гнев мой против сего пустого, но вредного человека был в оные времена умными людьми признан суетным и самый повод к сему гневу найден не заслуживающим внимания. Ныне новое происшествие: когда недавно был паводок, к городскому берегу принесло откуда-то сверху неизвестное мертвое тело. Мать Варнавки, бедненькая просвирня, сегодня сказала мне в слезах, что лекарь с городничим, вероятно по злобе к ее сыну или в насмешку

[57] Примечания: 57

Юдоль (церк. — слав.) — долина; в переносном смысле — мир горя, забот и суеты.

над ним, подарили ему оного утопленника, а он, Варнавка, по глупости своей этот подарок принял, сварил мертвеца в корчагах, в которых она доселе мирно золила свое белье, и отвар вылил под апортовую яблоньку, а кости, собрав, повез в губернский город, и что чрез сие она опасается, что ее драгоценного сына возьмут как убийцу с костями сего человека. Ее я, как умел, успокоил, а городничего просил объяснить: «для каких надобностей труп утонувшего человека, подлежащий после вскрытия церковному погребению, был отдан ими учителю Варнавке?» И получил в ответ, что это сделано ими «в интересах просвещения», то есть для образования себя, Варнавки, над скелетом в естественных науках. Пресмешно, какое рачение о науке со стороны людей, столь от нее далеких, как городничий Порохонцев, проведший полжизни в кавалерийской конюшне, где учатся коням хвост подвязывать, или лекарь-лгун, принадлежащий к той науке, члены которой учеными почитаются только от круглых невежд, чему и служит доказательством его грубейшая нелепица, якобы он, выпив по ошибке у Плодомасова вместо водки рюмку осветительного керосина, имел-де целую неделю живот свой светящимся. Но как бы там ни было, а сваренный

Варнавкой утопленник превратился в скелет. Кости Варнавка отвез в губернию к фельдшеру в богоугодное заведение. Сей искусник в анатомии позацеплял все эти косточки одну за другую и составил скелет, который привезен сюда в город и ныне находится у Препотенского, укрепившего его на окне своем, что выходит как раз против алтаря Никитской церкви. Там он и стоит, служа постоянным предметом сбора уличной толпы и ссоры и нестроений домашних у Варнавки с его простоватою матерью. Мертвец сей начал мстить за себя. Еженощно начал он сниться несчастливой матери сего ученого и смущает покой старухи, неотступно требуя у нее себе погребения. Бедная и вполне несчастливая женщина эта молилась, плакала и, на коленях стоя, просила сына о даровании ей сего скелета для погребения и, натурально, встретила в сем наирешительнейший отпор. Тогда она решилась на меру некоего отчаяния и в отсутствие сына собрала кости в небольшой деревянный ковчежец, и снесла оные в сад, и своими старческими руками закопала эти кости под тою же апортовою яблонью, под которую вылито Варнавкой разваренное тело несчастливца. Но все это вышло неудачно, ибо ученый сынок обратно их оттуда ископал, и на-

чалась с сими костями новая история, еще по сие время не оконченная. Просто смеху и сраму достойно, что из сего последовало! Похищали они эти кости друг у дружки до тех пор, пока мой дьякон Ахилла, которому до всего дело, взялся сие прекратить и так немешкотно приступил к исполнению этой своей решимости, что я не имел никакой возможности его удержать и обрезонить, и вот точно какое-то предощущение меня смущает, как бы из этого пустяка не вышло какой-нибудь вредной глупости для людей путных. А кроме того, я ужасно расстроился разговорами с городничим и с лекарем, укорявшими меня за мою ревнивую (по их словам) нетерпимость к неверию, тогда как, думается им, веры уже никто не содержит, не исключая-де и тех, кои официально за нее заступаются. Верю! По вере моей и сему верю и даже не сомневаюсь, но удивляюсь, откуда это взялась у нас такая ожесточенная вражда и ненависть к вере? Происходит ли сие от стремлений к свободе; но кому же вера помехой в делах всяческих преуспеяний к исканию свободы? Отчего настоящие мыслители так не думали?»

* * *

Отец Савелий глубоко вздохнул, положил перо, еще взглянул на свой дневник и словно еще раз общим генеральным взглядом окинул всех, кого в жизнь свою вписал он в это не бесстрастное поминанье, закрыл и замкнул свою демикотоновую книгу в ее старое место. Затем он подошел к окну, приподнял спущенную коленкоровую штору и, поглядев за реку, выпрямился во весь свой рост и благодарственно перекрестился. Небо было закрыто черными тучами, и редкие капли дождя уже шлепали в густую пыль; это был дождь, прошенный и моленный Туберозовым прошедшим днем на мирском молебне, и в теперешнем его появлении старик видел как бы знамение, что его молитва не бездейственна. Старый Туберозов шептал слова восторженных хвалений и не заметил, как по лицу его тихо бежали слезы, дождь все частил капля за каплей и, наконец, засеял, как сквозь частое сито, освежая влажною прохладой слегка воспаленную голову протопопа, который так и уснул, как сидел у окна, склонясь головой на свои белые руки.

Между тем безгромный, тихий дождь пролил, воздух стал чист и свеж, небо очистилось, и на

востоке седой сумрак начинает серебриться, приготовляя место заре дня иже во святых отца нашего Мефодия Песношского, дня, которому, как мы можем вспомнить, дьякон Ахилла придавал такое особенное и, можно сказать, великое значение, что даже велел кроткой протопопице записать у себя этот день на всегдашнюю память.

Глава шестая

Рассвет быстро яснел, и пока солнце умывалось в тумане за дымящимся бором, золотые стрелы его лучей уже остро вытягивались на горизонте. Легкий туман всполохнулся над рекой и пополз вверх по скалистому берегу; под мостом он клубится и липнет около черных и мокрых свай. Из-под этого тумана синеет бакша и виднеется белая полоса шоссе. На всем еще лежат тени полусвета, и нигде, ни внутри домов, ни на площадях и улицах, не заметно никаких признаков пробуждения.

Но вот на самом верху крутой, нагорной стороны Старого Города, над узкою крестовою тропой, что ведет по уступам кременистого обрыва к реке, тонко и прозрачно очерчиваются контуры

весьма странной группы. При слабом освещении, при котором появляется эта группа, в ней есть что-то фантастическое. Посредине ее стоит человек, покрытый с плеч до земли ниспадающим длинным хитоном, слегка схваченным в опоясье. Фигура эта появилась совершенно незаметно, точно выплыла из редеющего тумана, и стоит неподвижно, как привидение.

Суеверный человек может подумать, что это старогородский домовой, пришедший повздыхать над городом за час до его пробуждения.

Однако все более и более яснеющий рассвет с каждым мгновением позволяет точнее видеть, что это не домовой, и не иной дух, хотя в то же время все-таки и не совсем что-либо обыкновенное. Теперь мы видим, что у этой фигуры руки опущены в карманы. Из одного кармана торчит очень длинный прут с надвязанною на его конце пращой, или по крайней мере рыболовною лесой, из другого — на четырех бечевах висит что-то похожее на тяжелую палицу. Но вот шелохнул ветерок, по сонной реке тихо сверкнуло мелкой рябью, за узорною решеткой соборного храма встрепенулись листочки берез, и пустые складки широких покровов нагорной статуи задвигались тихо и открыли тонкие ноги в белых ночных

панталонах. В эту же секунду, как обнажились эти тонкие ноги, взади из-за них неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащие двум другим фигурам, скрывавшимся на втором плане картины. Услужливые руки эти захватили раздутые полы, собрали их и снова обернули ими тоненькие белые ноги кумира. Теперь стоило только взглянуть поприлежнее, и можно было рассмотреть две остальные фигуры. Справа виднелась женщина. Она бросалась в глаза прежде всего непомерною выпуклостью своего чрева, на котором высоко поднималась узкая туника. В руках у этой женщины медный блестящий щит, посредине которого был прикреплен большой пук волос, как будто только что снятых с черепа вместе с кожей. С другой стороны, именно слева высокой фигуры, выдавался широкобородый, приземистый, черный дикарь. Под левою рукой у него было что-то похожее на орудия пытки, а в правой он держал кровавый мешок, из которого свесились книзу две человеческие головы, бледные, лишенные волос и, вероятно, испустившие последний вздох в пытке. Окрест этих трех лиц совсем веяло воздухом северной саги. Но вот свет, ясное солнце всплыло еще немножко повыше, и таинственной саги как не бывало. Это просто три

живые, хотя и весьма оригинальные человека. Они и еще постояли с минуту и потом двинулись книзу. Опустясь шагов десять, они снова остановились, и тот, который был из них выше других и стоял впереди, тихонько промолвил:

— Смотри, брат Комарь, а ведь их что-то нынче не видно!

— Да, не видать, — отвечал чернобородый Комарь.

— Да ты получше смотри!

Комарь воззрился за реку и через секунду опять произнес:

— Нечего смотреть: никого не видать.

— А в городе, Господи, тишь-то какая!

— Сонное царство, — заметила тихо фигура, державшая медный щит под рукой.

— Что ты говоришь, Фелиси? — спросила, не расслышав, худая фигура.

— Я докладываю вам, Воин Васильевич, что в городе сонное царство, — проговорила в ответ женщина.

— Да, сонное царство; но скоро начнут просыпаться. Вот погляди-ка, Комарь, оттуда уж, кажется, кто-то бултыхнул?

Фигура кивнула налево к острову, с которого легкий парок подымался и тихо клубился под

мостом.

— Бултыхнул и есть, — ответил Комарь и начал следить за двумя тонкими кружками, расширявшимися по тихой воде. В центре переднего из этих кружков, тихо качаясь, вертелось что-то вроде зрелой, желтой тыквы.

— Ах он, каналья! Опять прежде нас бултыхнул, не дождавшись начальства.

— А вон и оттуда готов, — молвил бесстрастно Комарь.

— Может ли быть! Ты врешь, Комарище.

— А вон! поглядите, вон, идут уж над самою рекой!

Все три путника приложили ладони к бровям и, поглядев за реку, увидали, что там выступало что-то рослое и дебелое, с ног до головы повитое белым саваном: это «что-то» напоминало как нельзя более статую Командора и, как та же статуя, двигалось плавно и медленно, но неуклонно приближаясь к реке.

В эти минуты светозарный Феб быстро выкатил на своей огненной колеснице еще выше на небо; совсем разредевший туман словно весь пропитало янтарным тоном. Картина обагрилась багрецом и лазурью, и в этом ярком, могучем освещении, весь облитый лучами солнца, в вол-

нах реки показался нагой богатырь с буйною гривой черных волос на большой голове. Он плыл против течения воды, сидя на достойном его могучем красном коне, который мощно рассекал широкою грудью волну и сердито храпел темно-огненными ноздрями.

Все эти пешие лица и плывущий всадник стремятся с разных точек к одному пункту, который, если бы провести от них перекрестные линии, обозначился непременно на выдающемся посредине реки большом камне. В первой фигуре, которая спускается с горы, мы узнаем старогородского исправника Воина Васильевича Порохонцева, отставного ротмистра, длинного худого добряка, разрешившего в интересах науки учителю Варнаве Препотенскому воспользоваться телом утопленника. На этом сухом и длинном меценате надет масакового цвета шелковый халат, а на голове — остренькая гарусная ермолка; из одного его кармана, где покоится его правая рука, торчит тоненькое кнутовище с навязанным на нем длинным выводным кнутом, а около другого, в который засунута левая рука городничего, тихо показывается огромная, дочерна закуренная пенковая трубка и сафьяновый восточный кисет с охотницким ремешком.

У него за плечом слева тихо шагает его главный кучер Комарь, баринов друг и наперсник, давно уже утративший свое крестное имя и от всех называемый Комарем. У Комаря вовсе не было с собой ни пытальных орудий, ни двух мертвых голов, ни мешка из испачканной кровью холстины, а он просто нес под мышкой скамейку, старенький пунцовый коверчик да пару бычьих туго надутых пузырей, связанных один с другим суконною покромкой.

Третий лик, за четверть часа столь грозный, с медным щитом под рукой, теперь предстает нам в скромнейшей фигуре жены Комаря. «Мать Фелисата» — так звали эту особу на дворне — была обременена довольно тяжелою ношей, но вся эта ноша тоже отнюдь не была пригодна для битвы. Прежде всего она несла свое чрево, служившее приютом будущему юному Комаренку, потом под рукой у нее был ярко заблиставший на солнце медный таз, а в том тазе мочалка, в мочалке — суконная рукавичка, в суконной рукавичке — кусочек камфарного мыла; а на голове у нее лежала вчетверо сложенная белая простыня.

Картина самого тихого свойства.

Под белым покровом шедшая тихо с Заречья фигура тоже вдруг потеряла свою грандиозность,

а с нею и всякое подобие с Командором. Это шел человек в сапогах из такой точно кожи, в какую обута нога каждого смертного, носящего обувь. Шел он спокойно, покрытый до пят простыней, и когда, подойдя к реке, сбросил ее на траву, то в нем просто-напросто представился дебелый и нескладный белобрысый уездный лекарь Пуговкин.

В кучерявом нагом всаднике, плывущем на гнедом долгогривом коне, узнается дьякон Ахилла, и даже еле мелькающая в мелкой ряби струй тыква принимает знакомый человеческий облик: на ней обозначаются два кроткие голубые глаза и сломанный нос. Ясно, что это не тыква, а лысая голова Константина Пизонского, старческое тело которого скрывается в свежей влаге.

Пред нами стягивается на свое урочное место компания старогородских купальщиков, которые издавна обыкновенно встречаются здесь таким образом каждое утро погожего летнего дня и вместе наслаждаются свежею, утреннею ванной. Посмотрим на эту сцену.

Первый сбросил с себя свою простыню белый лекарь, через минуту он снял и второй свой по-

кров, свою розовую серпянковую сорочку[58], и вслед за тем, шибко разбежавшись, бросился кувырком в реку и поплыл к большому широкому камню, который возвышался на один фут над водой на самой средине реки. Этот камень действительно был центром их сборища.

Лекарь в несколько взмахов переплыл пространство, отделявшее его от камня, вскочил на гладкую верхнюю площадь камня и, захохотав, крикнул:

— Я опять прежде всех в воде! — И с этим лекарь гаркнул Ахилле: — Плыви скорей, фараон! Видишь ли ты его, чертушку? — опять, весело смеясь, закричал он исправнику и снова, не ожидая ответа от ротмистра, звал уже Пизонского, поманивая его тихонько, как уточку: — Гряди, плешиве! гряди, плешиве!

Меж тем к исправнику, или уездному начальнику, который не был так проворен и еще оставался на суше, в это время подошла Фелисата: она его распоясала и, сняв с него халат, оставила в одном белье и в пестрой фланелевой фуфайке.

Так этот воин еще приготовлялся к купанью, тогда как лекарь, сидя на камне и болтая в воде

---

[58] Примечания: 58
Серпянка — реденькая ткань.

ногами, вертелся во все стороны и весело свистал и вдруг неожиданно так громко треснул подплывшего к нему Ахиллу ладонью по голой спине, что тот даже вскрикнул, не от удара, а от громогласного звука.

— За что это так громко дерешься? — воскликнул дьякон.

— Не хватай меня за тело, — отвечал лекарь.

— А если у меня такая привычка?

— Отвыкай, — отозвался снова, громко свистя, лекарь.

— Я и отвыкаю, да забываюсь.

Лекарь ничего не ответил и продолжал свистать, а дьякон, покачав головой, плюнул и, развязав шнурочек, которым был подпоясан по своему богатырскому телу, снял с этого шнурочка конскую скребницу и щетку и начал усердно и с знанием дела мыть гриву своего коня, который, гуляя на чембуре, выгибал наружу ладьистую спину и бурливо пенил коленами воду.

Этот пейзаж и жанр представляли собою простоту старогородской жизни, как увертюра представляет музыку оперы; но увертюра еще не окончена.

Глава седьмая

На левом берегу, где оставался медлительный градоначальник, кучер Комарь разостлал ковер, утвердил на нем принесенную скамейку, покачал ее вправо и влево и, убедясь, что она стоит крепко, возгласил:

— Садитесь, Воин Васильевич: крепко!

Порохонцев подошел поспешно к скамье, еще собственноручно пошатал ее и сел не прежде, как убедясь, что скамья действительно стоит крепко. Едва только барин присел, Комарь взял его сзади под плечи, а Комарева жена, поставив на ковер таз с мочалкой и простыней, принялась разоблачать воинственного градоначальника. Сначала она сняла с него ермолку, потом вязаную фуфайку, потом туфли, носки, затем осторожно наложила свои ладони на сухие ребра ротмистра и остановилась, скосив в знак внимания набок свою голову.

— Что, Фелиси, кажется, уже ничего: кажется, можно ехать? — спросил Порохонцев.

— Нет, Воин Васильевич, еще пульсы бьются, — отвечала Фелисата.

— Ну, надо подождать, если бьются: а ты, Ко-

марь, бултыхай.

— Да я бултыхну.

— Ты бултыхай, братец, бултыхай! Ты оплыви разок, да и выйди, и поедем.

— Не был бы я тогда только, Воин Васильевич, очень скользкий, чтобы вы опять по-анамеднешнему не упали?

— Нет, ничего; не упаду.

Комарь сбросил с себя, за спиной своего господина, рубашку и, прыгнув с разбегу в воду, шибко заработал руками.

— Ишь как лихо плавает твой Комарище! — проговорил Порохонцев.

— Отлично, — отвечала Комариха, по-видимому нимало не стесняясь сама и не стесняя никого из купальщиков своим присутствием.

Фелисата, бывшая крепостная девушка Порохонцева, давно привыкла быть нянькой своего больного помещика, и в ухаживаниях за ним различие пола для нее не существовало. Меж тем Комарь оплыл камень, на котором сидели купальщики, и, выскочив снова на берег, стал спиной к скамье, на которой сидел градоначальник, и изогнулся глаголем.

Воин Васильевич взлез на него верхом, обхватился руками за шею и поехал на нем в воду.

Ротмистр обыкновенно таким образом выезжал на Комаре в воду, потому что не мог идти босою ногой по мелкой щебенке, но чуть вода начинала доставать Комарю под мышки, Комарь останавливался и докладывал, что камней уж нет и что он чувствует под ногами песок. Тогда Воин Васильевич слезал с его плеч и ложился на пузыри. Так было и нынче: сухой градоначальник лег, Комарь толкнул его в пятки, и они оба поплыли к камню и оба на него взобрались. Небольшой камень этот, возвышающийся над водой ровною и круглою площадью фута в два в диаметре, служил теперь помещением для пяти человек, из коих четверо: Порохонцев, Пизонский, лекарь и Ахилла — размещались по краям, усевшись друг к другу спинами, а Комарь стоял между ними в узеньком четыреугольнике, образуемом их спинами, и мыл голову своего господина, остальные беседовали. Пизонский, дергая своим кривым носом, рассказывал, что, как вчера смерклось, где-то ниже моста в лозах села пара лебедей и ночью под дождичек все гоготали.

— Лебеди кричали — это к чьему-то прилету, — заметил Комарь, продолжая усердно намыливать баринову голову.

— Нет, это просто к хорошему дню, — ответил

Пизонский.

— Да и кому к нам прилететь? — вмешался лекарь, — живем как кикиморы, целый век ничего нового.

— А на что нам новое? — ответил Пизонский. — Все у нас есть; погода прекрасная, сидим мы здесь на камушке, никто нас не осуждает; наги мы, и никто нас не испугает. А приедет новый человек, все это ему покажется не так, и пойдет он разбирать…

— Пойдет разбирать, зачем они голые сидят? — фамильярно перебил Комарь.

— Спросит: зачем это держат такого начальника, которого баба моет? — подсказал лекарь.

— А ведь и правда! — воскликнул, тревожно поворотясь на месте, ротмистр.

Комарь подул себе в усы, улыбнулся и тихо проговорил:

— Скажет: зачем это исправник на Комаре верхом ездит?

— Молчи, Комарище!

— Полюбопытствуют, полюбопытствуют и об этом, — снова отозвался кроткий Пизонский, и вслед за тем вздохнул и добавил: — А теперь без новостей мы вот сидим как в раю; сами мы наги, а видим красу: видим лес, видим горы, видим

храмы, воды, зелень; вон там выводки утиные под бережком попискивают; вон рыбья мелкота целою стаей играет. Сила Господня!

Звук двух последних слов, которые громче других произнес Пизонский, сначала раскатился по реке, потом еще раз перекинулся на взгорье и, наконец, несколько гулче отозвался на Заречье. Услыхав эти переливы, Пизонский поднял над своею лысою головой устремленный вверх указательный палец и сказал:

— Трижды сила Господня тебе отвечает: чего еще лучше, как жить в такой тишине и в ней все и окончить.

— Правда, истинная правда, — отвечал, вздохнув, ротмистр. — Вот мы с лекарем маленькую новость сделали: дали Варнаве мертвого человека сварить, а и то сколько пошло из этого вздора! Кстати, дьякон: ты, брат, не забудь, что ты обещал отобрать у Варнавки эти кости!

— Что мне забывать; я не аристократ, чтобы на меня орать сто крат; я что обещал, то и сделал.

— Как сделал? Неужто и сделал?

— А разумеется, сделал.

— Дьякон, ты это врешь, голубчик.

Ахилла промолчал.

— Что ж ты молчишь? Расскажи же, как ты это

отобрал у него эти кости? А? Да что ты, какого черта нынче солидничаешь?

— А отчего же мне и не солидничать, когда мне талия моя на то позволяет? — отозвался не без важности Ахилла. — Вы с лекарем нагадили, а я ваши глупости исправил; влез к Варнавке в окошко, сгреб в кулечек все эти кости…

— И что же дальше, Ахиллушка? Что, милый, дальше, что?

— Да вот тут бестолковщина вышла.

— Говори же скорей, говори!

— А что говорить, когда я сам не знаю, кто у меня их, эти кости, назад украл.

Порохонцев подпрыгнул и вскричал:

— Как, опять украдены?

— То есть как тебе сказать украдены? Я не знаю, украдены они или нет, а только я их принес домой и все как надо высыпал на дворе в тележку, чтобы схоронить, а теперь утром глянул: их опять нет, и всего вот этот один хвостик остался.

Лекарь захохотал.

— Чего ты смеешься? — проговорил слегка сердившийся на него дьякон.

— Хвостик у тебя остался?

— Ахилла рассердился.

— Разумеется, хвостик, — отвечал он, — а то это

что же такое?

Дьякон отвязал от скребницы привязанную веревочкой щиколоточную человеческую косточку и, сунув ее лекарю, сухо добавил: «На, разглядывай, если тебе не верится».

— Да разве у людей бывают хвостики?

— А то разве не бывают?

— Значит, и ты с хвостом?

— Я? — переспросил Ахилла.

— Да, ты.

Лекарь опять расхохотался, а дьякон побледнел и сказал:

— Послушай, отец лекарь, ты шути, шути, только пропорцию знай: ты помни, что я духовная особа!

— Нуда ладно! Тыскажи хоть, где у тебя астрагелюс?

Незнакомое слово «астрагелюс» произвело на дьякона необычайное впечатление: ему почудилось что-то чрезвычайно обидное в этом латинском названии щиколотки, и он, покачав на лекаря укоризненно головой, глубоко вздохнул и медленно произнес:

— Ну, никогда я не ожидал, чтобы ты был такой подлец!

— Я подлец?

— А разумеется, после того как ты смел меня, духовное лицо, такую глупость спросить, — ты больше ничего как подлец. А ты послушай: я тебе давеча спустил, когда ты пошутил про хвостик, но уж этого ты бойся.

— Ужасно!

— Нет, не ужасно, а ты в самом деле бойся, потому что мне уж это ваше нынешнее вольномыслие надоело и я еще вчера отцу Савелью сказал, что он не умеет, а что если я возьмусь, так и всю эту вольнодумную гадость, которая у нас завелась, сразу выдушу.

— Да разве astragelus сказать — это вольнодумство?

— Цыть! — крикнул дьякон.

— Вот дурак, — произнес, пожав плечами, лекарь.

— Цыть! — загремел Ахилла, подняв свой кулак и засверкав грозно глазами.

— Тьфу, осел; с ним нельзя говорить!

— А, а, я осел; со мной нельзя говорить! Ну, брат, так я же вам не Савелий; пойдем в омут?

И с этими словами дьякон, перемахнув в левую руку чембур своего коня, правою обхватил лекаря поперек его тела и бросился с ним в воду. Они погрузились, выплыли и опять погрузились. Хотя

по действиям дьякона можно было заключить, что он отнюдь не хотел утопить врача, а только подвергал пытке окунаньем и, барахтаясь с ним, держал полегоньку к берегу; но три человека, оставшиеся на камне, и стоявшая на противоположном берегу Фелисата, слыша отчаянные крики лекаря, пришли в такой неописанный ужас, что подняли крик, который не мог не произвесть повсеместной тревоги.

Так дьякон Ахилла начал искоренение водворившегося в Старгороде пагубного вольномыслия, и мы будем видеть, какие великие последствия повлечет за собою это энергическое начало.

Глава восьмая

Крик и шум, поднятый по этому случаю купальщиками, пробудил еле вздремнувшего у окна протопопа; старик испугался, вскочил и, взглянув за реку, решительно не мог себе ничего объяснить, как под окном у него остановилось щегольское тюльбюри, запряженное кровною серою лошадью. В тюльбюри сидела молодая дама в черном платье; она правила лошадью сама, а возле нее помещался рядом маленький казачок. Это была молодая вдова, помещица Александра

Ивановна Серболова, некогда ученица Туберозова, которую он очень любил и о которой всегда отзывался с самым теплым сочувствием. Увидав протопопа, молодая дама приветливо ему поклонилась и дружественно приветствовала.

— Александра Ивановна, примите дань моего наиглубочайшего почтения! — отвечал протопоп. — Всегдашняя радость моя, когда я вас вижу. Жена сейчас встанет, позвольте мне просить вас ко мне на чашку чая.

Но дама отказалась и сказала, что она приехала с тем, чтобы помолиться об усопшем муже, и просит Туберозова поспешить для нее в церковь.

— Готов к вашим услугам.

— Пожалуйста; вы начинайте обедню, а я заеду на минутку к старушке Препотенской, она иначе обидится.

С этими словами дама кивнула головой, и легкий экипажец ее скрылся. Протопоп Савелий начал спешно делать свой всегда тщательно содержимый туалет, послал девочку велеть ударить к заутрене и велел ей забежать за дьяконом Ахиллой, а сам стал пред кивотом на правило. Через полчаса раздался удар соборного колокола, а через несколько минут позже и девочка возвратилась, но возвратилась с известием, что дьякона

Ахиллу она не только не нашла, но что никому не известно и где он. Ждать было некогда, и отец Туберозов, взяв свою трость с надписью «Жезл Ааронов расцвел», вышел из дому и направился к собору. Не прошло затем и десяти минут, как глазам протопопицы, Натальи Николаевны, предстал дьякон Ахилла. Он был, что называется, весь вне себя.

— Маменька, — воскликнул он, — все, что я вчера вам обещал о мертвых костях, вышло вздор.

— Ну, я так тебе и говорила, что это вздор, — отвечала Наталья Николаевна.

— Нет, позвольте же, надо знать, почему этот вздор выходит? Я вчера, как вам и обещал, — я этого сваренного Варнавкой человека останки, как следует, выкрал у него в окне, и снес в кульке к себе на двор, и высыпал в телегу, но днесь поглядел, а в телеге ничего нет! Я же тому не виноват?

— Да кто ж тебя винит?

— То-то и есть: я даже впал в сомнение, не схоронил ли я их ночью да не заспал ли, но на купанье меня лекарь рассердил, и потом я прямо с купанья бросился к Варнаве, окошки закрыты болтами, а я заглянул в щелочку и вижу, что этот обваренный опять весь целиком на крючочке висит! Где отец протопоп? Я все хочу ему рас-

сказать.

Наталья Николаевна послала дьякона вслед за мужем, и шагистый Ахилла догнал Туберозова на полудороге.

— Чего это ты так… и бежишь, и пыхтишь, и сопишь, и топочешь? — спросил его, услышав его шаги, Савелий.

— Это у меня… отец Савелий, всегда, когда бежу… Вы разве не заметили?

— Нет, я этого не замечал, а ты отчего же об этом лекарю не скажешь, он может помочь.

— Ну вот, лекарю! Не напоминайте мне, пожалуйста, про него, отец Савелий, да и он ничего не поможет. Мне венгерец такого лекарства давал, что говорит: «только выпей, так не будешь ни сопеть, ни дыхать!», однако же я все выпил, а меня не взяло. А наш лекарь… да я, отец протопоп, им сегодня и расстроен. Я сегодня, отец протопоп, вскипел на нашего лекаря. Ведь этакая, отец протопоп, наглость… — Дьякон пригнулся к уху отца Савелия и добавил вслух: — Представьте вы себе, какая наглость!

— Ничего особенного не вижу, — отвечал протопоп, тихо всходя на ступени собора, — astragelus есть кость во щиколотке, и я не вижу, для чего ты мог тут рассердиться.

Дьякон сделал шаг назад и в изумлении воскликнул:

— Так это щиколотка!

— Да.

Ахилла ударил себя ладонью по лбу и еще громче крикнул:

— Ах я дурак!

— А что ты сделал?

— Нет, вы, сделайте милость, назовите меня, пожалуйста, дураком!

— Да скажи, за что назвать?

— Нет, уж вы смело называйте, потому что я ведь этого лекаря чуть не утопил.

— Ну, изволь, братец, исполняю твою просьбу: воистину ты дурак, и я тебе предсказываю, что если ты еще от подобных своих глупых обычаев не отстанешь, то ты без того не заключишь жизнь, чтобы кого-нибудь не угодить насмерть.

— Полноте, отец Савелий, я не совсем без понятий.

— Нет, не «полноте», а это правда. Что это в самом деле, ты духовное лицо, у тебя полголовы седая, а между тем куда ты ни оборотишься, всюду у тебя скандал: там ты нашумел, тут ты накричал, там то повалил, здесь это опрокинул; так везде за собой и ведешь беспорядок.

— Да что же такое, отец Савелий, я валяю и опрокидываю? Ведь этак круглым числом можно на человека невесть что наговорить.

— Постоянно, постоянно за тобой по пятам идет беспорядок!

— Не знаю я, отчего это так, и все же таки, значит, это не по моей вине, а по нескладности, потому что у меня такая природа, а в другую сторону вы это напрасно располагаете. Я скорее за порядок теперь стою, а не за беспорядок, и в этом расчислении все это и сделал.

И вслед за сим Ахилла скороговоркой, но со всеми деталями рассказал, как он вчера украл костяк у Варнавы Препотенского и как этот костяк опять пропал у него и очутился на старом месте. Туберозов слушал Ахиллу, все более и более раскрывая глаза, и, невольно сделав несколько шагов назад, воскликнул:

— Великий Господи, что это за злополучный человек!

— Кто это, отец Савелий? — с неменьшим удивлением воскликнул и Ахилла.

— Ты, искренний мой, ты!

— А по какой причине я злополучен?

— Кто, какой злой дух научает тебя все это делать?

— Да что такое делать?

— Лазить, похищать, ссориться!

— Это вы меня научили, — отвечал спокойно и искренно дьякон, — вы сказали: путем или непутем этому надо положить конец, я и положил. Я вашу волю исполнил.

Туберозов только покачал головой и, повернувшись лицом к дверям, вошел в притвор, где стояла на коленях и молилась Серболова, а в углу, на погребальных носилках, сидел, сбивая щелчками пыль с своих панталон, учитель Препотенский, лицо которого сияло на этот раз радостным восторгом: он глядел в глаза протопопу и дьякону и улыбался. Он, очевидно, слышал если не весь разговор, который они вели на сходах храма, то по крайней мере некоторые слова их. Но зачем, как, с какого повода появляется здесь бежавший храма учитель? Это удивляет и Ахиллу и Туберозова, с тою лишь разницей, что Ахилла не может отрешиться от той мысли: зачем здесь Препотенский, а чинный Савелий выбросил эту мысль вон из головы тотчас, как пред ним распахнулись двери, открывающие алтарь, которому он привык предстоять со страхом и трепетом. Прошел час; скорбная служба отпета. Серболова и ее дальний кузен, некто Дарьянов, напились у отца

Савелия чаю и ушли: Серболова уезжает домой под вечер, когда схлынет солнечный жар. Она теперь хочет отдохнуть. Дарьянов придет к ней обедать в домик старушки Препотенской; а отец Туберозов условился туда же прийти несколько попозже, чтобы напиться чаю и проводить свою любимейшую духовную дочь.

Но где же Ахилла и где Препотенский?

Учитель исчез из церкви, как только началась служба, а дьякон бежал тотчас, как ее окончил. Отцу Савелию, который прилег отдохнуть, так и кажется, что они где-нибудь носятся и друг друга гонят. Это был «сон в руку»: дьякон и Варнава приготовлялись к большому сражению.

Глава девятая

Тяжел, скучен и утомителен вид пустынных улиц наших уездных городов во всякое время; но особенно убийствен он своею мертвенностью в жаркий летний полдень. Густая серая пыль, местами изборожденная следами прокатившихся по ней колес, сонная и увядшая муравка, окаймляющая немощеные улицы к стороне воображаемых тротуаров; седые, подгнившие и покосившиеся заборы; замкнутые тяжелыми

замками церковные двери; деревянные лавочки, брошенные хозяевами и заставленные двумя крест-накрест положенными досками; все это среди полдневного жара дремлет до такой степени заразительно, что человек, осужденный жить среди такой обстановки, и сам теряет всякую бодрость и тоже томится и дремлет. В такую именно пору Валериан Николаевич Дарьянов прошел несколько пустых улиц и, наконец, повернул в очень узенький переулочек, который наглухо запирался старым решетчатым забором. За забором видна была церковь. Пригнув низко голову, Дарьянов вошел в низенькую калиточку на церковный погост. Здесь, в углу этого погоста, местилась едва заметная хибара церковного сторожа, а в глубине, за целым лесом ветхих надмогильных крестов, ютился низенький трехоконный домик просвирни Препотенской.

На погосте не было той густой пыли, которая сплошным слоем лежала по всему пространству городской площади и улиц. Тут, напротив, стлалась зеленая мурава, и две курицы, желавшие понежиться в пыли на солнечном припеке, должны были выйти для этого за калитку и лечь под ее порогом на улице. Здесь они закапывались в пыль, так что их почти нельзя было и заметить,

и лежали обыкновенно каждый день в полной уверенности, что их никто не побеспокоит; при появлении перешагнувшего через них Дарьянова они даже не шевельнулись и не тронулись, а только открыли по одному из своих янтарных глаз и, проводив сонным взглядом гостя, снова завели их выпуклыми серыми веками. Дарьянов прямо направился к калитке домика Препотенских и постучал в тяжелое железное кольцо. Ответа не было. Везде тишь: ни собака не тявкнет, ни голос человеческий не окликнет. Дарьянов постучал снова, но опять безуспешно. Тогда он, отложив всякую надежду кого-нибудь дозваться, прошел под жердочку в малину, которою густо оброс просвирнин домик, и заглянул в одно из его окон. Окна были закрыты от солнца ставнями, но сквозь неплотные створы этих ставен свободно можно было видеть все помещение. Это была комната большая, высокая, почти без мебели и с двумя дверями, из которых за одною виднелась другая, крошечная синяя каморочка, с высокою постелью, закрытою лоскутковым ситцевым одеялом.

Большая пустая комната принадлежала учителю Варнаве, а маленькая каморочка — его матери: в этом и состоял весь их дом, если не

считать кухоньки, в которой негде было поворотиться около загнетки.

Теперь ни в одной из этих комнат не было видно ни души, но Дарьянов слышал, что в сенях, за дверью, кто-то сильно работает сечкой, а в саду, под окном, кто-то другой не то трет кирпич, не то пилит терпугом какое-то железо. Еще более убежденный теперь, что стуком здесь никого не докличешься, Дарьянов перешел к забору, огораживавшему садик, и, отыскав между досками щелочку, начал чрез нее новое обозрение, но это было не так легко: у самого забора росли густые кусты, не дозволявшие разглядеть человека, производившего шум кирпичом или напилком. Дарьянов нашелся вынужденным взять другой обсервационный пункт. Ступив носком сапога на одну слегка выдавшуюся доску, а рукой ухватясь за верхний край забора, он поднялся и увидел маленький, но очень густой и опрятный садик, посредине которого руками просвирни была пробита чистенькая, усыпанная желтым песком дорожка. На этой дорожке прямо на земле сидел учитель Варнава. Он сидел, расставив вытянутые ноги, как делают это играющие в мяч дети. В ногах у учителя, между коленами, лежала на песке целая груда человеческих костей и лист синей

сахарной бумаги. Учитель держал в каждой своей руке по целому кирпичу и ожесточенно тер ими один о другой над бумагой. Пот лил ручьями по лицу Препотенского, несмотря на то, что учитель сидел в тени и не обременял себя излишним туалетом. Он был босой, в одной рубашке и панталонах, подстегнутых только одною подтяжкой.

— Варнава Васильевич! Отоприте мне, Варнава Васильевич! — закричал ему Дарьянов, но зов этот пропадал бесследно. Препотенский по-прежнему тер ожесточенно свои кирпичи, локти его ходили один против другого, как два кривошипа; мокрые волосы трепались в такт из стороны в сторону; сам он также качался, как подвижной цилиндр, и ничего не слыхал и ни на что не откликался.

Гость мог бы скорее добиться ответа у мертвых, почиющих на покинутом кладбище, чем у погруженного в свои занятия учителя. Угадывая это, Дарьянов более и не звал его, а прыгнул на забор и перелетел в сад Препотенского. Как ни легок был этот прыжок, но старые, разошедшиеся доски все-таки застучали, и пораженный этим стуком учитель быстро выпустил из рук свои кирпичи и, бросившись на четвереньки, схватил в охапку рассыпанные пред ним человеческие

кости. Препотенский, очевидно, был в большом перепуге, но не мог бежать. Не оставляя своего распростертого положения, он только тревожно смотрел в шевелившийся густой малинник и все тщательнее и тщательнее забирал в руки лежавшие под ним кости. В тот момент, когда пред учителем раздвинулись самые близкие ряды малины, он быстро вскочил на свои длинные ноги и предстал удивленным глазам Дарьянова в самом странном виде. Растрепанная и всклоченная голова Препотенского, его потное, захватанное красным кирпичом лицо, испуганные глаза и длинная полураздетая фигура, нагруженная человеческими костями, а с пояса засыпанная мелким тертым кирпичом, издали совсем как будто залитая кровью, делала его скорее похожим на людоеда-дикаря, чем на человека, который занимается делом просвещения.

— Ну, батюшка Варнава Васильевич, прилежно же вы работаете! Вас даже не дозовешься, — начал, выходя, гость, рассмотрев которого Варнава вдруг просиял, захлопал глазами и воскликнул:

— Так это вы! А я ведь думал, что это Ахилка.

И с этими словами учитель отрадно разжал свои руки, и целая груда человеческих костей рухнула на дорожку, точно будто он вдруг весь

сам выпотрошился.

— Ах, Валерьян Николаич, — заговорил он, — если бы вы знали, какие здесь с нами делаются дела. Нет, черт возьми, чтоб еще после всего этого в этой проклятой России оставаться!

— Батюшки! Что же это такое? Нельзя ли рассказать?

— Конечно, можно, если только… если вы не шпион.

— Надеюсь.

— Так садитесь на лавочку, а я буду работать. Сядьте ж, пожалуйста, мне при вас даже приятно, потому что все-таки есть свидетель, а я буду работать и рассказывать.

Гость принял приглашение и попросил хозяина рассказать, что у него за горе и с коих пор оно началось.

Глава десятая

— Горе мое, Валерьян Николаевич, началось с минуты моего рождения, — заговорил Препотенский, — и заключается это горе главным образом в том, что я рожден моею матерью!

— Утешьтесь, друг любезный, все люди рождены своими матерями, — проговорил, отирая со

лба пот, Дарьянов. — Один Макдуф был вырезан из чрева, да и то для того, чтобы Макбета не победил — женой рожденный.

— Ну да, Макбета!.. Какой там Макбет? Нам не Макбеты нужны, а науки; но что же делать, когда здесь учиться невозможно. Я Бог знает чем отвечаю, что и в Петербурге, и в Неаполе, и во всякой стране, если где человек захочет учиться, он нигде не встретит таких препятствий, как у нас. Говорят, Испания… Да что же такое Испания? В Испании Библий лютеранских нельзя иметь, но там и заговоры, и восстания, и все делается. Я уверен, что пусть бы там кто-нибудь завел себе кости, чтобы учиться, так ему этого не запретят. А тут с первого дня, как я завел кости, моя собственная родная мать пошла ко мне приставать: «Дай, дитя мое, Варнаша, я его лучше схороню». Кого это его, спрашивается? Что это еще за он? Почему эти кости он, а не она? Прав я или нет?

— Совершенно правы.

— Прекрасно-с! Теперь говорят, будто я мою мать честью не урезониваю. Неправда-с! напротив, я ей говорил: «Маменька, не трогайте костей, это глупо; вы, говорю, не понимаете, они мне нужны, я по ним человека изучаю». Ну а что вы с нею прикажете, когда она отвечает: «Друг мой,

Варнаша, нет, все-таки лучше я его схороню...» Ведь это же из рук вон!

— Уж именно.

— Да то ли еще одно: она их в поминанье записала-с!

— Будто?

— Честью вас уверяю! так и записано: «помяни Господи раба твоего имрека».

— Что вы за чудо рассказываете?

— Да вот вам и чудо, а из этого чуда скандал!

— Ну?

— Да, конечно-с! А вы как изволите рассуждать? Ведь это все имеет связь с церковью. Ведь отсюда целый ряд недоразумений и даже уголовщиной пахнет?

— Господи мой!

— Именно-с, именно вам говорю, потому что моя мать записывает людей, которых не знает как и назвать, а от этого понятно, что у ее приходского попа, когда он станет читать ее поминанье, сейчас полицейские инстинкты разыгрываются: что это за люди имреки, без имен?

— Вы бы ее уговорили не писать?

— Уговаривал-с. Я говорил ей: «Не молитеся вы, пожалуйста, маменька, за него, он из жидов». Не верит! «Лжешь, говорит, это тебя бес научает ме-

ня обманывать, я знаю, что жиды с хвостиками!» — «Никогда, говорю, ни у каких ни у жидов, ни у нежидов никаких хвостиков нет». Ну и спор: я как следует стою за евреев, а она против; я спорю — нет хвостов, а она твердит: есть! Я «нет», она «есть». «Нет», «есть!» А уж потом как разволнуется, так только кричит: «Кш-ш-шь, кш-ш-шь», да, как на курицу, на меня ладошами пред самым носом хлопает. Ну, представьте же вы себе, еще говорят, нужна свобода женщинам. Отлично-с, я и сам за женскую свободу; но это надо с толком: молодой, развитой женщине, которая хочет не стесняться своими действиями, давайте свободу, но старухам... Нет-с, я первый против этого и даже удивляюсь, как этого никто не разовьет в литературе. Ведь этим пользуются самые вредные люди. Не угодно ли вам попа Захария, и он вдруг за женскую эманципацию! Да, да-с, он за мою мать. «Ежели ты, говорит, имеешь право не верить в Бога, так она такой же человек и имеет право верить!» Слышите, такой же. Не будь этих взглядов, моя мать давно бы мне сдалась и уступила: она бы у меня и в церковь не ходила и бросила бы свое просвирничанье, а пошла бы к Бизюкиной в няньки, а это ее все против меня вооружают или Ахилка, или сам Туберозов.

— Ну полноте, пожалуйста!

— Да как же полноте, когда я на это имею доказательства. Туберозов никогда не любил меня, но теперь он меня за естественные науки просто ненавидит, потому что я его срезал.

— Как же это вы его срезали?

— Я сто раз его срезывал, даже на той неделе еще раз обрезал. Он в смотрительской комнате, в училище, пустился ораторствовать, что праздничные дни будто заключают в себе что-то особенное этакое, а я его при всех и осадил. Я ему очень просто при всех указал на математически доказанную неверность исчисления праздничных дней. Где же, говорю, наши праздники? У вас Рождество, а за границей оно уже тринадцать дней назад было. Ведь прав я?

— То есть двенадцать, а не тринадцать.

— Да, кажется что двенадцать, но не в том дело, а он сейчас застучал по столу ладонью и закричал: «Эй, гляди, математик, не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики!» Во-первых, что такое он здесь разумеет под словом *физики!..* Вы понимаете — это и невежество, да и цинизм, а потом я вас спрашиваю, разве это ответ?

Гость рассмеялся и сказал, что это хотя и ответ, но действительно очень странный ответ.

— Да как же-с! разумеется, глупо; но ведь этаких вещей идет целый ряд-с. И вот, например, даже вчера еще вечером иду я от Бизюкиной, а передо мною немножко впереди идет комиссар Данилка, знаете, тот шляющийся, который за два целковых ездил у Глича лошадь воровать, когда Ахилла масло бил. Я с Данилой и разговорился. «Что, говорю, Данило, где ты был?» Отвечает, что был у исправника, от почтмейстерши ягоды приносил, и слышал, как там читали, что в чухонском городе Ревеле мертвый человек без тления сто лет лежал, а теперь его велели похоронить. «Не знаю, насколько правды, что было такое происшествие, но только после там тоже и про вас говорка была», — сообщил мне Данило. Я, разумеется, встревожился, а он меня успокаивает: «Не про самих про вас, говорит, а про ваших мертвых людей, которых вы у себя содержите». Понимаете ли вы эту интригу! Я дал Данилке двугривенный: что ж делать? это не хорошо, но шпионы нужны, и я всегда говорю, что шпионы нужны, и мы с Бизюкиной в этом совершенно согласны. Без шпионов нельзя обойтись, вводя новые учения, потому что надо штудировать общество. Да-с, ну так вот… про что это я говорил? Да! Я дал Данилке двугривенный и говорю: рассказывай все. Он

мне и рассказал, что как прочитали эту газету, так дьякон и повел речь о моих костях. «Я, говорит, нарочно и газету эту принес, потому что на это внимание обращаю». А совсем врет, потому что он ничего никогда не читает, а в этой газете ему Данилка от Лялиных орехов принес. «Это, говорит, Воин Васильич, ваша с лекарем большая ошибка была дать Варнаве утопленника; но это можно поправить». Городничий, конечно, знает мой характер и говорит, что я не отдам, и я бы, конечно, и не отдал. Но Ахилла говорит: «У него, говорит, их очень просто можно отобрать и преспокойно предать погребению». Городничий говорит: «Не дать ли квартальному предписание, чтоб отобрать кости?» Но этот бандит: «Мне ничего, говорит, не нужно: я их сейчас без предписания отберу и уложу в гробик в детский, да и кончено».

Препотенский вдруг рванулся к костям, накрыл их руками, как наседка покрывает крылом испуганных приближением коршуна цыплят, и произнес нервным голосом:

— Нет-с, извините! пока я жив, это не кончено. И того с вас довольно, что вы все это несколько замедляете!

— Что же это такое «они» замедляют?

— Ну, будто вы не понимаете?

— Революцию, что ли?

Учитель прекратил работу и с усмешкою кивнул головой.

Глава одиннадцатая

— Отобрав эти сведения от Данилки, — продолжал Варнава, — я сейчас же повернул к Бизюкиной, чтоб она об этом знала, а через час прихожу домой и уже не застаю у себя ни одной кости. «Где они? кричу, где?» А эта госпожа, моя родительница, отвечает: «Не сердись, говорит, друг мой Варнашенька (очень хорошее имя, изволите видеть, дали, чтоб его еще переделывать в Варнашенекда в Черташенек), не сердись, говорит, их начальство к себе потребовало». — «Что за вздор, кричу, что за вздор: какое начальство?» — «А без тебя, говорит, отец дьякон Ахилла приходил в окно и все их забрал и понес». Нравится вам: «Начальство, говорит, потребовало, и Ахилла понес». — «Да вы, говорю, хоть бы мозгами-то, если они у вас есть, шевельнули: какое же дьякон начальство?» — «Друг мой, говорит, что ты, что ты это? да ведь он помазан!» Скажите вы, сделайте ваше одолжение! Вы вот смеетесь, вам это

смешно; но мне это, стало быть, не смешно было, когда я сам к этому бандиту пошел. Да-с; Ахилка говорит, что я трус, и это и все так думают; но я вчера доказал, что я не трус; а я прямо пошел к Ахилке. Я прихожу, он дрыхнет. Я постучал в окно и говорю: «Отдайте мне, Ахилла Андреич, мои кости!» Он, во-первых, насилу проснулся и, знаете, начинает со мною кобениться: «На что они, говорит, тебе кости? (Что это за фамильярное «ты»? что это за короткость?) Ты без костей складнее». — «Это, говорю, не ваше дело, как я складней». — «Нет; совсем напротив. Мое, говорит, это дело: я священнослужитель». — «Но вы же, говорю, ведь не имеете права отнимать чужую собственность?»– «А разве кости, говорит, это разве собственность? А ты бы, говорит, еще то понял, что этакую собственность тебе даже не позволено содержать?» А я отвечаю, что «и красть же, говорю, священнослужителям тоже, верно, не позволено: вы, говорю, верно, хорошенько английских законов не знаете. В Англии вас за это повесили бы». — «Да ты, — говорит, — если уж про разные законы стал рассуждать, то ты еще знаешь ли, что если тебя за это в жандармскую канцелярию отправить, так тебя там сейчас спустят по пояс в подпол да начнут в два пука пороть.

Вот тебе и будет Англия. Что? Хорошо тебе от этого станет?» А я ему и отвечаю: «Вы, говорю, все знаете, вам даже известно уже, во сколько пуков там порют». А он: «Конечно, говорит, известно: это по самому по простому правилу, кто сам претерпевал, тот и понять может, что с обеих сторон станут с пучьями и начнут донимать как наилучше». — «Прекрасная, — говорю, — картина»; а он: «Да, говорит, ты это заметь; а теперь лучше, брат, слушай меня, забудь про все свои глупости и уходи», и с этим, слышу, он опять завалился на свое логово. Ну, тут уже, разумеется, я все понял, как он проврался, но чтоб еще более от него выведать, я говорю ему: «Но ведь вы же, говорю, дьякон и в жандармах не служите, чтобы законы наблюдать». А он, представьте себе, ничего этого не понял, к чему это я подвел, и отляпал: «А ты почему, — говорит, — знаешь, что я не служу в жандармах? Ан у меня, может, и белая рукавица есть, и я ее тебе, пожалуй, сейчас и покажу, если ты еще будешь мне мешать спать». Но я, разумеется, уже до этого не стал дожидаться, потому что, во-первых, меня это не интересовало, а во-вторых, я уже все, что мне нужно было знать, то выведал, а потом, зная его скотские привычки драться… «Нет-с, говорю, не хочу и вовсе не интересуюсь

вашими доказательствами», и сейчас же пошел к Бизюкиным, чтобы поскорей рассказать все это Дарье Николаевне. Дарья Николаевна точно так же, как и я сейчас, и говорит, что она и сама подозревала, что они все здесь служат в тайной полиции.

— Кто служит в тайной полиции? — спросил Варнаву его изумленный собеседник.

— Да вот все эти наши различные людцы, а особенно попы: Савелий, Ахилла.

— Ну, батюшка, вы с своею Дарьей Николаевной, просто сказать, рехнулись.

— Нет-с; Дарью Николаевну на этот счет не обманешь: она ведь уж много вынесла от таких молодцов.

— Врет она, ваша Дарья Николаевна, — ничего она ни от кого не вынесла!

— Кто не вынес? Дарья Николаевна?!

— Да.

— Покорно вас благодарю! — отвечал с комическим поклоном учитель.

— А что такое?

— Помилуйте, да ведь ее секли, — с гордостью произнес Препотенский.

— В детстве; да и то, видно, очень мало.

— Нет-с, не в детстве, а всего за два дня до ее

свадьбы.

— Вы меня все больше и больше удивляете.

— Нечего удивляться: это факт-с.

— Ну, простите мое невежество, — я не знал этого факта.

— Да как же-с, я ведь и говорю, что это всякому надо знать, чтобы судить. Дело началось с того, что Дарья Николаевна тогда решилась от отца уйти.

— Зачем?

— Зачем? Как вы странно это спрашиваете!

— Я потому так спрашиваю, что отец, кажется, ее не гнал, не теснил, не неволил.

— Ну да мало ли что! Ни к чему не неволил, а так просто, захотела уйти — и ушла. Чего же ей было с отцом жить? Бизюкин ее младшего братишку учил, и он это одобрил и сам согласился с ней перевенчаться, чтоб отец на нее права не имел, а отец ее не позволял ей идти за Бизюкина и считал его за дурака, а она, решившись сделать скандал, уж, разумеется, уступить не могла и сделала по-своему… Она так распорядилась, что уж за другого ее выдавать нечего было думать, и обо всем этом, понимаете, совершенно честно сказала отцу. Да вы слушаете ли меня, Валерьян Николаевич?

— Не только слушаю, но с каждым вашим словом усугубляю мое любопытство.

— Оно так и следует, потому что интерес сейчас будет возрастать. Итак, она честно и прямо раскрыла отцу имеющий значение факт, а он ни более ни менее как сделал следующую подлость; он сказал ей: «Съезди, мой друг, завтра к тетке и расскажи еще это ей». Дарья Николаевна, ничего не подозревая, взяла да и поехала, а они ее там вдвоем с этою барыней и высекли. Она прямо от них кинулась к жандармскому офицеру. «Освидетельствуйте, говорит, и донесите в Петербург, — я не хочу этого скрывать, — пусть все знают, что за учреждение такое родители». А тот: «Ни свидетельствовать, говорит, вас не хочу, ни доносить не стану. Я заодно с вашим стариком и даже охотно помог бы ему, если б он собрался повторить». Ну что же еще после этого ожидать? Вот вам-с наша и тайная полиция. Родной отец, родная тетка, и вдруг оказывается, что все они не что иное, как та же тайная полиция! Дарья Николаевна одно говорит: «по крайней мере, говорит, я одно выиграла, что я их изучила и знаю», и потому, когда я ей вчера сообщил мои открытия над Ахилкой, она говорит: «Это так и есть, он шпион! И теперь, говорит, в нашем опасном положении самый

главный вопрос, чтобы ваши кости достать и по ним как можно злее учить и учить. Ахилка, говорит, ночью еще никуда не мог их сбыть, и вы если тотчас к нему прокрадетесь, то вы можете унести их назад. Одно только, — говорит, — не попадайтесь, а то он может вас набить…»

— Как «набить»?

— Это так она сказала, потому что она знает Ахилкины привычки; но, впрочем, она говорит: «Нет, ничего, вы намотайте себе на шею мой толстый ковровый платок и наденьте на голову мой ватный капор, так этак, если он вас и поймает и выбьет, вам будет мягко и не больно». Я всем этим, как она учила, хорошенько обмотался и пошел. Прихожу к этому скоту на двор во второй раз… Собака было залаяла, но Дарья Николаевна это предвидела и дала мне для собаки кусок пирожка. Я кормлю собаку и иду, и вижу, прямо предо мною стоит телега; я к телеге и все в ней нашел — все мои кости!

— Ну тут, конечно, скорей за работу?

— Уж разумеется! Я духом снял с головы Дарьи Николаевнин капор, завязал в него кости и во всю рысь назад.

— Тем эта история и кончилась?

— Как кончилась? Напротив, она теперь в са-

мом разгаре. Хотите, я доскажу?

— Ах, сделайте милость!

Глава двенадцатая

— Начну с объяснения того: как и почему я попал нынче в церковь? Сегодня утром рано приезжает к нам Александра Ивановна Серболова. Вы, конечно, ее знаете не хуже меня: она верующая, и ее убеждения касательно многого очень отсталые, но она моей матери кой-чем помогает, и потому я жертвую и заставляю себя с нею не спорить. Но к чему это я говорю? Ах да! как она приехала, маменька мне и говорит: «Встань, такой-сякой, друг мой

Варнаша, проводи Александру Ивановну в церковь, чтобы на нее акцизниковы собаки не бросились». Я пошел. Я, вы знаете, в церковь никогда не хожу; но ведь я же понимаю, что там меня ни Ахилла, ни Савелий тронуть не смеют; я и пошел. Но, стоя там, я вдруг вспомнил, что оставил отпертою свою комнату, где кости, и побежал домой. Прихожу– маменьки нет; смотрю на стену: нет ни одной косточки!

— Схоронила?

— Да-с.

— Без шуток, схоронила?

— Да полноте, пожалуйста: какие с ней шутки! Я стал ее просить: «Маменька, милая, я почитать вас буду, только скажите честно, где мои кости?» — «Не спрашивай, говорит, Варнаша, им, друг мой, теперь покойно». Все делал: плакал, убить себя грозился, наконец даже обещал ей Богу молиться, — нет, таки не сказала! Злой-презлой я шел в училище, с самою твердою решимостью взять нынче ночью заступ, разрыть им одну из этих могил на погосте и достать себе новые кости, чтобы меня не переспорили, и я бы это непременно и сделал. А между тем ведь это тоже небось называется преступлением?

— Да еще и большим.

— Ну вот видите! А кто бы меня под это подвел?., мать. И это бы непременно случилось; но вдруг, на мое счастие, приходит в класс мальчишка и говорит, что на берегу свинья какие-то кости вырыла. Я бросился, в полной надежде, что это мои кости, — так и вышло! Народ твердит. «Зарыть…» Я говорю: «Прочь!» Как вдруг слышу — Ахилла… Я схватил кости, и бежать. Ахилла меня за сюртук. Я повернулся… трах! пола к черту, Ахилла меня за воротник — я трах… воротник к черту; Ахилла меня за жилет — я трах… жилет пополам; он меня

за шею — я трах, и убежал, и вот здесь сижу и отчищаю их, а вы меня опять испугали. Я думал, что это опять Ахилла.

— Да помилуйте, пойдет к вам Ахилла, да еще через забор! Ведь он дьякон.

— Он дьякон! Говорите-ка вы «дьякон». Много он на это смотрит. Мне комиссар Данилка вчера говорил, что он, прощаясь, сказал Туберозову: «Ну, говорит, отец Савелий, пока я этого Варнаву не сокрушу, не зовите меня Ахилла-дьякон, а зовите меня все Ахилла-воин». Что же, пусть воюет, я его не боюсь, но я с этих пор знаю, что делать. Я решил, что мне здесь больше не жить; я кое с кем в Петербурге в переписке; там один барин устраивать одно предприятие, и я уйду в Петербург. Я вам скажу, я уже пробовал, мы с Дарьей Николаевной посылали туда несколько статеек, оттуда все отвечают: «Резче». Прекрасно, что «резче»; я там и буду резок, я там церемониться не стану, но здесь, помилуйте, духу не взведешь, когда за мертвую кость чуть жизнию не поплатишься. А с другой стороны, посудите, и там, в Петербурге, какая пошла подлость; даже самые благонамереннейшие газеты начинают подтрунивать над распространяющеюся у нас страстью к естественным наукам! Читали вы это?

— Кажется, что-то похожее читал.

— Ага! так и вы это поняли? Так скажите же мне, зачем же они в таком случае манили нас работать над лягушкой и все прочее?

— Не знаю.

— Не знаете? Ну так я же вам скажу, что им это такие пройдет! Да-с; я вот заберу мои кости, поеду в Петербург да там прямо в рожи им этими костями, в рожи! И пусть меня ведут к своему мировому.

Глава тринадцатая

— Ха-ха-ха! Вы прекрасно сделаете! — внезапно проговорила Серболова, стоявшая до этой минуты за густым вишневым кустом и ни одним из собеседников не замеченная.

Препотенский захватил на груди расстегнутую рубашку, приподнялся и, подтянув другою рукой свои испачканные в кирпиче панталоны, проговорил:

— Вы, Александра Ивановна, простите, что я так не одет.

— Ничего; с рабочего человека туалета не взыскивают; но идите, вас мать зовет обедать.

— Нет, Александра Ивановна, я обедать не пой-

ду. Мы с матерью не можем более жить; между нами все кончено.

— А вы бы постыдились так говорить, она вас любит!

— Напрасно вы меня стыдите. Она с моими врагами дружит; она мои кости хоронит; а я как-нибудь папироску у лампады закурю, так она и за то сердится…

— Зачем же свои папиросы у ее лампады закуриваете? Разве вам другого огня нет?

— Да ведь это же глупо!

Серболова улыбнулась и сказала:

— Покорно вас благодарю.

— Нет; я не вам, а я говорю о лампаде: ведь все равно огонь.

— Ну, потому-то и закурите у другого.

— Все равно, на нее чем-нибудь другим не угодишь. Вон я вчера нашей собаке немножко супу дал из миски, а маменька и об этом расплакалась и миску с досады разбила: «Не годится, говорит, она теперь; ее собака нанюхала». Ну, я вас спрашиваю: вы, Валерьян Николаич, знаете физику: можно ли что-нибудь нанюхать? Можно понюхать, можно вынюхать, но нанюхать! Ведь это дурак один сказать может!

— Но ведь вы могли и не давать собаке из этой

чашки?

— Мог, да на что же это?

— Чтобы вашу мать не огорчать.

— Да, вот вы как на это смотрите! По-моему, никакая хитрость не достойна честного человека.

— А есть лошадиную ветчину при старой матери достойно?

— Ага! Уж она вам и на это нажаловалась? Что ж, я из любознательности купил у знакомого татарина копченых жеребячьих ребер. Это, поверьте, очень вкусная вещь. Мы с Дарьей Николаевной Бизюкиной два ребра за завтраком съели и детей ее накормили, а третье — понес маменьке, и маменька, ничего не зная, отлично ела и хвалила, а потом вдруг, как я ей сказал, и беда пошла.

— Угостил, — отнеслась к Дарьянову, улыбнувшись, Серболова. — Впрочем, пусть это не к обеду вспоминается… Пойдемте лучше обедать.

— Нет-с, я ведь вам сказал, что я не пойду, и не пойду.

— Да вы на хлеб и на соль-то за что же сердитесь?

— Не сержусь, а мне отсюда отойти нельзя. Я в таком положении, что отовсюду жду всяких гадостей.

Серболова тихо засмеялась, подала руку Дарья-

нову, и они пошли обедать, оставив учителя над его костями.

Глава четырнадцатая

Просвирня Препотенская, маленькая старушка с крошечным личиком и вечно изумленными добрыми глазками, покрытыми бровями, имеющими фигуру французских апострофов, извинилась пред Дарьяновым, что она не слыхала, как он долго стучал, и непосредственно за сим пригнулась к нему над столом и спросила шепотом:

— Варнашу моего видели?

Тот отвечал, что видел.

— Убивает он меня, Валерьян Николаич, до бесконечности, — жаловалась старушка.

— Да Бог с ним, что вы огорчаетесь? Он молод; постареет, женится и переменится.

— Переменится… Нет, как его, дружок, возможно женить? невозможно. Он уж весь до сих пор, до бесконечности извертелся; в Господа Бога не верит до бесконечности; молоко и мясо по всем

постам, даже и в Страшную неделю[59] ест до бесконечности; костей мертвых наносил домой до бесконечности, а я, дружок мой, правду вам сказать, в вечернее время их до бесконечности боюсь; все их до бесконечности тревожусь…

Черненькие апострофы над глазками крошечной робкой старушки задвигались, и она, вздрогнув, залепетала:

— И кроме того, все мне, друг мой, видятся такие до бесконечности страшные сны, что я, как проснусь, сейчас шепчу: «Святой Симеон, разгадай мой сон», но все, если б я могла себя с кем-нибудь в доме разговорить, я бы терпела; а то возьмите же, что я постоянно одна и постоянно с мертвецами. Я, мои дружочки, отпетого покойника не боюсь, а Варнаша не позволяет их отпеть.

— Ну, вы на него не сердитесь — ведь он добрый.

— Добрый, конечно, он добрый, я не хочу на него лгать, что он зол. Я была его счастливая мать, и он прежде ко мне был добр даже до бесконечности, пока в шестой класс по философии перешел. Он, бывало, когда домой приезжал, и в церковь ходил, и к отцу Савелию я его водила, и

---

[59] Примечания: 59

Народное название Страстной недели — последней недели Великого поста.

отец Савелий даже его до бесконечности ласкали и по безделице ему кое-чем помогали, но тут вдруг — и сама не знаю, что с ним поделалось: все начал умствовать. И с тех пор, как приедет из семинарии, все раз от разу хуже да хуже, и, наконец, даже так против всего хорошего ожесточился, что на крестинах у отца Захарии зачал на самого отца протопопа метаться. Ах, тяжело это мне, душечки! — продолжала старушка, горько сморщившись. — Теперь опять я третьего дня узнала, что они с акцизничихой, с Бизюкиной, вдруг в соусе лягушек ели! Господи! Господи! каково это матери вынести? А что с голоду, что ль, это делается? Испорчен он. Я, как вы хотите, я иначе и не полагаю, что он испорчен. Мне отец Захария в «Домашней беседе» нарочно читал там: один благородный сын бесновался, десять человек удержать не могли. Так и Варнава! его никто не удержит. Робость имеет страшную, даже и недавно, всего еще года нет, как я его вечерами сама куда нужно провожала; но если расходится, кричит: «Не выдам своих! не выдам, — да этак рукой машет да приговаривает: — нет; резать всех, резать!» Так живу и постоянно гляжу, что его в полицию и в острог.

Просвирня опять юркнула, обтерла в кухне

платочком слезы и, снова появясь, заговорила:

— Я его, признаюсь вам, я его наговорной водой всякий день пою. Он, конечно, этого не знает и не замечает, но я пою, только не помогает, — да и грех. А отец Савелий говорит одно: что стоило бы мне его куда-то в Ташкент сослать. «Отчего же, говорю, еще не попробовать лаской?» — «А потому, говорит, что из него лаской ничего не будет, у него, — он находит, — будто совсем природы чувств нет». А мне если и так, мне, детки мои, его все-таки жалко… — И просвирня снова исчезла.

— Экое несчастное творение! — прошептала вслед вышедшей старушке молодая дама.

— Уж именно, — подтвердил ее собеседник и прибавил: — а тот болван еще ломается и даже теперь обедать не идет.

— Подите приведите его в самом деле.

— Да ведь упрям, как лошадь, не пойдет.

— Ну как не пойдет? Скажите ему, что я ему приказываю, что я агент тайной полиции и приказываю ему, чтоб он сейчас шел, а то я донесу, что он в Петербург собирается.

Дарьянов засмеялся, встал и пошел за Варнавой. Между тем учитель, употребивший это время на то, чтобы спрятать свое сокровище, чувствовал здоровый аппетит и при новом приглашении к

столу не без труда выдерживал характер и отказывался.

Чтобы вывести этого добровольного мученика из его затруднительного положения, посланный за ним молодой человек нагнулся таинственно к его уху и шепнул ему то, что было сказано Серболовой.

— Она шпион! — воскликнул, весь покрывшись румянцем, Варнава.

— Да.

— И может быть…

— Что?

— Может быть, ивы?..

— Да, и я.

Варнава дружески сжал его руку и проговорил:

— Вот это благодарю, что вы не делаете из этого тайны. Извольте, я вам повинуюсь. — И затем он с чистою совестью пошел обедать.

Глава пятнадцатая

Шутка удалась. Варнава имел предлог явиться, и притом явиться с достоинством. Он вошел в комнату, как жертва враждебных сил, и поместился в узком конце стола против Дарьянова. Между ними двумя, с третьей стороны, сидела

Серболова, а четвертая сторона стола оставалась пустою. Сама просвирня обыкновенно никогда не садилась за стол с сыном, не садилась она и нынче с гостями, а только служила им. Старушка была теперь в восторге, что видит перед собою своего многоученого сына; радость и печаль одолевали друг друга на ее лице; веки ее глаз были красны; нижняя губа тихо вздрагивала, и ветхие ее ножки не ходили, а все бегали, причем она постоянно старалась и на бегу и при остановках брать такие обороты, чтобы лица ее никому не было видно.

— Остановить вас теперь невозможно? — шутя говорил ей Дарьянов.

— Нет, невозможно, Валерьян Николаич, — отвечала она весело и, снова убегая, спешно проглатывала в кухоньке непрошеную слезу.

Гости поднимались на хитрость, чтоб удерживать старушку, и хвалили ее стряпню; но она скромно отклоняла все эти похвалы, говоря, что она только умеет готовить самое простое.

— Но простое-то ваше очень вкусно.

— Нет; где ему быть вкусным, а только разве для здоровья оно, говорят, самое лучшее, да и то не знаю; вот Варнаша всегда это кушанье кушает, а посмотрите какой он: точно пустой.

— Гм! — произнес Варнава, укоризненно взгля-

нув на мать, и покачал головой.

— Да что же ты! Ей-Богу, ты, Варнаша, пустой!

— Вы еще раз это повторите! — отозвался учитель.

— Да что же тут, Варнаша, тебе такого обидного? Молока ты утром пьешь до бесконечности; чаю с булкой кушаешь до бесконечности; жаркого и каши тоже, а встанешь из-за стола опять весь до бесконечности пустой, — это болезнь. Я говорю, послушай меня, сынок…

— Маменька! — перебил ее, сердито крикнув, учитель.

— Что ж тут такого, Варнаша? Я говорю, скажи, Варнаша, как встанешь утром: «Наполни, Господи, мою пустоту» и вкуси…

— Маменька! — еще громче воскликнул Препотенский.

— Да что ты, дурачок, чего сердишься? Я говорю, скажи: «Наполни, Господи, пустоту мою» и вкуси петой просвирки, потому я, знаете, — обратилась она к гостям, — я и за себя и за него всегда одну часточку вынимаю, чтобы нам с ним на том свете в одной скинии быть, а он не хочет вкусить. Почему так?

— Почему? вы хотите знать: почему? — извольте-с: потому что я не хочу с вами нигде в одном

месте быть! Понимаете: нигде, ни на этом свете, ни на каком другом.

Но прежде чем учитель досказал эту речь, старушка побледнела, затряслась, и две заветные фаянсовые тарелки, выскользнув из ее рук, ударились об пол, зазвенели и разбились вдребезги.

— Варнаша! — воскликнула она. — Это ты от меня отрекся!

— Да-с, да-с, да-с, отрекся и отрекаюсь! Вы мне и здесь надоели, не только чтоб еще на том свете я пожелал с вами видеться.

— Тс! тс! тс! — останавливала сына, плача, просвирня и начала громко хлопать у него под носом в ладони, чтобы не слыхать его отречений. Но Варнава кричал гораздо громче, чем хлопала его мать. Тогда она бросилась к образу и, махая пред иконой растопыренными пальцами своих слабых рук, в исступлении закричала:

— Не слушай его, Господи! не слушай! не слушай! — и с этим пала в угол и зарыдала.

Эта тяжелая и совершенно неожиданная сцена взволновала всех при ней присутствовавших, кроме одного Препотенского. Учитель оставался совершенно спокойным и ел с не покидавшим его никогда аппетитом. Серболова встала из-за стола и вышла вслед за убежавшей старушкой.

Дарьянов видел, как просвирня обняла Александру Ивановну. Он поднялся и затворил дверь в комнату, где были женщины, а сам стал у окна.

Препотенский по-прежнему ел.

— Александра Ивановна когда едет домой? — спросил он, ворочая во рту пищу.

— Как схлынет жар, — вымолвил ему сухо в ответ Дарьянов.

— Вон когда! — протянул Препотенский.

— Да, и у нее здесь еще будет Туберозов.

— Туберозов? У нас? в нашем доме?

— Да, в вашем доме, но не у вас, а у Александрины. Дарьянов вел последний разговор с Препотенским, отвернувшись и глядя на двор; но при этом слове он оборотился к учителю лицом и сказал сквозь едва заметную улыбку:

— А вы, кажется, все-таки Туберозова-то побаиваетесь?

— Я? Я его боюсь?

— Ну да; я вижу, что у вас как будто даже нос позеленел, когда я сказал, что он сюда придет.

— Нос позеленел? Уверяю вас, что вам это так только показалось, а что я его не боюсь, так я вам это нынче же докажу.

И с этим Препотенский поднялся с своего места и торопливо вышел. Гостю и в голову не прихо-

дило, какие смелые мысли родились и зрели в эту минуту в отчаянной голове Варнавы; а благосклонный читатель узнает об этом из следующей главы.

Глава шестнадцатая

Выйдя из комнаты, Препотенский юркнул в небольшой сарай и, сбросив здесь с себя верхнее платье, полез на сеновал, а оттуда, с трудом раздвинув две потолочины, спустился чрез довольно узкую щель в небольшой, запертый снаружи, амбарчик. В этом амбарчике был всякий домашний скарб. Тут стояли кадочки, наполы, висел окорочок ветчины, торчали на колках пучки чебору, мяты и укропу. Учитель ничего этого не тронул, но он взлез на высокий сосновый ларь, покрытый покатой крышей, достал с него большие и разлатые липовые ночвы, чистые, как стекло зеркального магазина, и тотчас же начал спускаться с ними назад в сарай, где им очень искусно были спрятаны злополучные кости.

За учителем никто решительно не присматривал, но он, как человек, уже привыкший мечтать об «опасном положении», ничему не верил; он от всего жался и хоронился, чтобы ему не вос-

препятствовали докончить свое предприятие и совершить оное в свое время с полною торжественностью. Прошло уже около часа с тех пор, как Варнава заключился в сарае, на дворе начало вечереть, и вот у утлой калиточки просвирнина домика звякнуло кольцо.

Это пришел Туберозов. Варнаве в его сарае слышно, как под крепко ступающими ногами большого протопопа гнутся и скрипят ступени ветхого крыльца; слышны приветствия и благожелания, которые он выражает Серболовой и старушке Препотенской. Варнава, однако, все еще не выходит и не обнаруживает, что такое он намерен устроить?

— Ну что, моя вдовица Наинская[60], что твой ученый сын? — заговорил отец Савелий ко вдове, выставлявшей на свое открытое крылечко белый столик, за которым компания должна была пить чай.

— Варнаша мой? А Бог его знает, отец протопоп: он, верно, оробел и где-нибудь от вас спрятался.

— Чего ж ему в своем доме прятаться?

— Он вас, отец протопоп, очень боится.

— Господи помилуй, чего меня бояться? Пусть

[60] Примечания: 60

В Евангелии от Луки (VII, 11–18) есть рассказ о жившей в городе Наине вдове, сына которой воскресил Христос.

лучше себя боится и бережет, — и Туберозов начал рассказывать Дарьянову и Серболовой, как его удивил своими похождениями вчерашней ночи Ахилла.

— Кто его об этом просил? Кто ему поручил? Кто приказывал? — рассуждал старик и отвечал: — никто, сам вздумал с Варнавой Васильичем переведаться, и наделали на весь город разговоров.

— А вы, отец протопоп, разве ему этого не приказывали? — спросила старушка.

— Ну, скажите пожалуйста: стану я такие глупости приказывать! — отозвался Туберозов и заговорил о чем-то постороннем, а меж тем уплыло еще полчаса, и гости стали собираться по домам. Варнава все не показывался, но зато, чуть только кучер Серболовой подал к крыльцу лошадь, ворота сарая, скрывавшего учителя, с шумом распахнулись, и он торжественно предстал глазам изумленных его появлением зрителей.

Препотенский был облачен во все свои обычные одежды и обеими руками поддерживал на голове своей похищенные им у матери новые ночвы, на которых теперь симметрически были разложены известные человеческие кости.

Прежде чем кто-нибудь мог решить, что может значить появление Препотенского с такою

ношей, учитель прошел с нею величественным шагом мимо крыльца, на котором стоял Туберозов, показал ему язык и вышел через кладбище на улицу.

Гости просвирни только ахнули и не утерпели, чтобы не посмотреть, чем окончится эта демонстрация. Выйдя вслед за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что учитель подвигался тихо, вразвал, и нес свою ношу осторожно, как будто это была не доска, укладенная иссохшими костями, а драгоценный и хрупкий сосуд, взрезь с краями, полный еще более многоценною жидкостью; но сзади их вдруг послышался тихий, прерываемый одышкой плач, и за спинами у них появилась облитая слезами просвирня.

Бедная старуха дрожала и, судорожно кусая кончики сложенных вместе всех пяти пальцев руки, шептала:

— Что это он? что это он такое носит по городу?

И с этим, уразумев дело, она болезненно визгнула и, с несвойственною ее летам резвостью, бросилась в погоню за сыном. Ветхая просвирня бежала, подпрыгивая и подскакивая, как бегают дурно летающие птицы, прежде чем им подняться на воздух, а Варнава шел тихо; но тем не

менее все-таки трудно было решить, могла ли бы просвирня и при таком быстром аллюре догнать своего сына, потому что он был уж в конце улицы, которую та только что начинала. Быть или не быть этому — решил случай, давший всей этой процессии и погоне совершенно неожиданный оборот.

В то самое время, как вдова понеслась с неизвестными целями за своим ученым сыном, откуда-то сверху раздалось громкое и веселое:

— Эй! ур-р-ре-ре: не бей его! не бей! не бей!

Присутствовавшие при этой сцене оглянулись по направлению, откуда происходил этот крик, и увидели на голубце одной из соседних крыш оборванца, который держал в руке тонкий шест, каким обыкновенно охотники до голубиного лета пугают турманов. Этот крикун был старогородский бирюч, фактотум[61] и пролетарий, праздношатающийся мещанин, по прозванию комиссар Данилка. Он пугал в это время своих турманов и не упустил случая, смеха ради, испугать и учителя. Цель комиссара Данилки была достигнута как нельзя более, потому что Препотенский, едва лишь услышал его предосте-

[61] Примечания: 61

Бирюч — глашатай; фактотум — человек, исполняющий чьи-либо поручения.

регающий клик, как тотчас же переменил шаг и бросился вперед с быстротой лани.

Шибко скакал Варнава по пустой улице, а с ним вместе скакали, прыгали и разлетались в разные стороны кости, уложенные на его плоских ночвах; но все-таки они не столько уходили от одной беды, сколько спешили навстречу другой, несравненно более опасной: на ближайшем перекрестке улицы испуганным и полным страха глазам учителя Варнавы предстал в гораздо большей против обыкновенного величине своей грозный дьякон Ахилла.

По пословице: впереди стояла затрещина, а сзади — тычок.

Глава семнадцатая

Чуть только бедный учитель завидел Ахиллу, ноги его подкосились и стали; но через мгновение отдрогнули, как сильно нагнетенные пружины, и в три сильных прыжка перенесли Варнаву через такое расстояние, которого человеку в спокойном состоянии не перескочить бы и в десять прыжков. Этим Варнава был почти спасен: он теперь находился как раз под окном акцизничихи Бизюкиной, и, на его великое счастье, сама ученая

дама стояла у открытого окна.

— Берите! — крикнул ей, задыхаясь, Препотенский, — за мной гонятся шпионы и духовенство! — с этим он сунул ей в окно свои ночвы с костями, но сам был так обессилен, что не мог больше двинуться и прислонился к стене, где тут же с ним рядом сейчас очутился Ахилла и, тоже задыхаясь, держал его за руку.

Дьякон и учитель похожи были на двух друзей, которые только что пробежались в горелки и отдыхают. В лице дьякона не было ни малейшей злобы: ему скорей было весело. Тяжко дыша и поводя вокруг глазами, он заметил посреди дороги два торчащие из пыли человеческие ребра и, обратясь к Препотенскому, сказал ему:

— Что же ты не поднимаешь вон этих твоих астрагелюсов?

— Отойдите прочь, я тогда подниму.

— Ну, хорошо: я отойду, — и дьякон со всею свойственною ему простотой и откровенностию подошел к окну, поднялся на цыпочки и, заглянув в комнаты, проговорил: — Послушайте, советница, а вы, право, напрасно за этого учителя заступаетесь.

Но вместо ожидаемого ответа от «советницы» Ахилле предстал сам либеральный акцизный

чиновник Бизюкин и показал ему голый череп скелета.

— Послушай, спрячь, сделай милость, это, а то я рассержусь, — попросил вежливо Ахилла; но вместо ответа из дома послышался самый оскорбительный хохот, и сам акцизный, стоя у окна, начал, смеясь, громко щелкать на дьякона челюстями скелета.

— Перебью вас, еретики! — взревел Ахилла и сгреб в обе руки лежавший у фундамента большой булыжный камень с непременным намерением бросить эту шестипудовую бомбу в своих оскорбителей, но в это самое время, как он, сверкая глазами, готов был вергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжал за руку, и знакомый голос повелительно произнес:

— Брось!

Это был голос Туберозова. Протопоп Савелий стоял строгий и дрожащий от гнева и одышки. Ахилла его послушал; он сверкнул покрасневшими от ярости глазами на акцизника и бросил в сторону камень с такою силой, что он ушел на целый вершок в землю.

— Иди домой, — шепнул ему, и сам отходя, Савелий. Ахилла не возразил и в этом и пошел домой тихо и сконфуженно, как обличенный в

шалости добронравный школьник.

— Боже! какой глупый и досадный случай! — произнес, едва переводя дух, Туберозов, когда с ним поравнялся его давешний собеседник Дарьянов.

— Да не беспокойтесь: ничего из этого не будет.

— Как не будет-с? будет то, что Ахиллу отдадут под суд! Вы разве не слыхали, что он кричал, грозя камнем? Он хотел их всех перебить!

— А увидите, что все это кончится одним смехом.

— Нет-с; это не кончится смехом, и здесь нет никакого смеха, а есть глупость, которою дрянные люди могут воспользоваться.

И протопоп, ускорив шаг, шибко пошел домой, выписывая сердитые эсы концом своей трости.

В следующей части нашей хроники мы увидим, какие все это будет иметь последствия и кто из двух прорицателей правее.

Часть вторая
Глава первая

Утро, наступившее после ночи, заключившей день Мефодия Песношского, обещало день погожий и тихий. Можно было ожидать даже, что он тих будет во всем: и в стихиях природы и в сердцах старогородских людей, с которыми мы познакомились в первой части нашей хроники. Этих убеждений был и сам протопоп. Вчерашняя усталость оказала ему хорошую услугу: он крепко спал, видел мирные сны и, проснувшись утром, рассуждал, что авось-либо вся его вчерашняя тревога напрасна, авось-либо Господь пронесет эту тучку, как он до сих пор проносил многие другие, от которых никому вреда не бывало.

«Да; мы народ не лиходейный, но добрый», — размышлял старик, идучи в полном спокойствии служить раннюю обедню за сей народ не лиходейный, но добрый. Однако же этот покой был обманчив: под тихою поверхностью воды, на дне, дремал крокодил.

Туберозов, отслужив обедню и возвратившись домой, пил чай, сидя на том самом диване, на

котором спал ночью, и за тем же самым столом, за которым писал свои «нотатки». Мать протопопица только прислуживала мужу: она подала ему стакан чаю и небольшую серебряную тарелочку, на которую протопоп Савелий осторожно поставил принесенную им в кармане просфору.

Сердобольная Наталья Николаевна, сберегая покой мужа, ухаживала за ним, боясь каким бы то ни было вопросом нарушить его строгие думы. Она шепотом велела девочке набить жуковским вакштафом[62] и поставить в угол на подносике обе трубки мужа и, подпершись ручкой под подбородок, ждала, когда протоиерей выкушает свой стакан и попросит второй.

Но прежде чем она дождалась этой просьбы, внимание ее было отвлечено необычайным шумом, который раздался где-то невдалеке от их дома. Слышны были торопливые шаги и беспорядочный говор, переходивший минутами в азартный крик. Протопопица выглянула из окна своей спальни и увидала, что шум этот и крик производила толпа людей, которые шли очень быстрыми шагами, и притом прямо направлялись к их дому. Они на ходу толкались,

---

[62] Примечания: 62
Трубочный табак петербургской фабрики Жукова.

размахивали руками, спорили и то как бы упирались, то вдруг снова почти бегом подвигались вперед.

«Что бы это такое?» — подумала протопопица и, выйдя в залу к мужу, сказала:

— Посмотри, отец Савелий, что-то как много народу идет.

— Народу, мой друг, много, а людей нет, — отвечал спокойно Савелий.

— Нет, в самом деле взгляни: очень уж много народу.

— Господь с ними, пусть их расхаживают; а ты дай-ка мне еще стаканчик чаю.

Протопопица взяла стакан, налила его новым чаем и, подав мужу, снова подошла к окну, но шумливой кучки людей уже не было. Вместо всего сборища только три или четыре человека стояли кое-где вразбивку и глядели на дом Туберозова с видимым замешательством и смущением.

— Господи, да уж не горим ли мы где-нибудь, отец Савелий! — воскликнула, в перепуге бросаясь в комнату мужа, протопопица, но тотчас же на пороге остановилась и поняла, в чем заключалась история.

Протопопица увидала на своем дворе дьякона Ахиллу, который летел, размахивая рукавами

своей широкой рясы, и тащил за ухо мещанина — комиссара Данилку.

Протопопица показала на это мужу, но прежде чем протопоп успел встать с своего места, дверь передней с шумом распахнулась, и в залу протоиерейского дома предстал Ахилла, непосредственно ведя за собой за ухо раскрасневшегося и переконфуженного Данилку.

— Отец протопоп, — начал Ахилла, бросив Данилку и подставляя пригоршни Туберозову.

Савелий благословил его.

За Ахиллой подошел и точно так же принял благословение Данилка. Затем дьякон отдернул мещанина на два шага назад и, снова взяв его крепко за ухо, заговорил:

— Отец Савелий, вообразите-с: прохожу улицей и вдруг слышу говор. Мещане говорят о дожде, что дождь ныне ночью был послан после молебствия, а сей (Ахилла уставил указательный палец левой руки в самый нос моргавшего Данилки), а сей это опровергал.

Туберозов поднял голову.

— Он, вообразите, говорил, — опять начал дьякон, потянув Данилку, — он говорил, что дождь, сею ночью шедший после вчерашнего мирского молебствия, совсем не по молебствию ниспо-

следовал.

— Откуда же ты это знаешь? — сухо спросил Туберозов.

Сконфуженный Данилка молчал.

— Вообразите же, отец протопоп! А он говорил, — продолжал дьякон, — что дождь излился только силой природы.

— К чему же это ты так рассуждал? — процедил, собирая придыханием с ладони крошечки просфоры, отец Туберозов.

— По сомнению, отец протопоп, — скромно отвечал Данилка.

— Сомнения, как и самомнения, тебе, невежде круглому, вовсе не принадлежат, и посему достоин делатель мзды своея, и ты вполне достойное по заслугам своим и принял. А потому ступай вон, празднословец, из моего дома.

Выпроводив за свой порог еретичествующего Данилку, протоиерей опять чинно присел, молча докушал свой чай и, только когда все это было обстоятельно покончено, сказал дьякону Ахилле:

— А ты, отец дьякон, долго еще намерен этак свирепствовать? Не я ли тебе внушал оставить твое заступничество и не давать рукам воли?

— Нельзя, отец протопоп; утерпеть было невозможно, потому что я уж это давно хотел доложить

вам, как он, вообразите, все против Божества и против бытописания, но прежде я все это ему, по его глупости, снисходил доселе.

— Да; когда не нужно было снисходить, то ты тогда снисходил.

— Ей-Богу, снисходил; но уж тогда он, слышу, начал против обрядности.

— Да; ну, ты тогда что же сделал?

Протопоп улыбнулся.

— Ну уж этого я не вытерпел.

— Да; таки надо было тебе с ним всенародно подраться?

— И что же от того, что всенародно, отец протопоп? Я предстою алтарю и обязан стоять за веру повсеместно. Святой Николай Угодник Ария тоже ведь всенародно же смазал…

— То святой Николай, а то ты, — перебил его Туберозов. — Понимаешь, ты ворона, и что довлеет тебе, яко вороне, знать свое «кра», а не в свои дела не мешаться. Что ты костылем-то своим размахался? Забыл ты, верно, что в костыле два конца? На силищу свою, дромадер, все надеешься!

— Полагаюсь-с.

— Полагаешься? Ну так не полагайся. Не сила твоя тебя спасла, а вот это, вот это спасло тебя, — произнес протопоп, дергая дьякона за рукав его

рясы.

— Что ж, отец протопоп, вы меня этим укоряете? Я ведь свой сан и почитаю.

— Что! Ты свой сан почитаешь?

С этим словом протопоп сделал к дьякону шаг и, хлопнув себя ладонью по колену, прошептал:

— А не знаете ли вы, отец дьякон, кто это у бакалейной лавки, сидючи с приказчиками, папиросы курит?

Дьякон сконфузился и забубнил:

— Что ж, я, точно, отец протопоп… этим я виноват, но это больше ничего, отец протопоп, как по неосторожности, ей право, по неосторожности.

— Смотрите, мол, какой у нас есть дьякон франт, как он хорошо папиросы муслит.

— Нет, ей право, отец протопоп, вообразите, совсем не для того. Что ж мне этим хвалиться? Ведь этою табачною невоздержностью из духовных не я же один занимаюсь.

Туберозов оглянул дьякона с головы до ног самым многозначащим взглядом и, вскинув вверх голову, спросил его:

— Что же ты мне этим сказать хочешь? То ли, что, мол, и ты сам, протопоп, куришь?

Дьякон смутился и ничего не ответил.

Туберозов указал рукой на угол комнаты, где

стояли его три черешневые чубука, и проговорил:

— Что такое я, отец дьякон, курю?

Дьякон молчал.

— Говорите же, потрудитесь, что я курю? Я трубку курю?

— Трубку курите, — ответил дьякон.

— Трубку? отлично. Где я ее курю? я ее дома курю?

— Дома курите.

— Иногда в гостях, у хороших друзей курю.

— В гостях курите.

— А не с приказчиками же-с я ее у лавок курю! — вскрикнул, откидываясь назад, Туберозов и, постучав внушительно пальцем по своей ладони, добавил: — Ступай к своему месту, да смотри за собою. Я тебя много, много раз удерживал, но теперь гляди: наступают новые порядки, вводится новый суд, и пойдут иные обычаи, и ничто не будет в тени, а все въяве, и тогда мне тебя не защитить.

С этим протопоп стал своею большущею ногой на соломенный стул и начал бережно снимать рукой желтенькую канареечную клетку.

«Тьфу! Господи милосердный, за веру заступился и опять не в такту!» — проговорил в себе

Ахилла и, выйдя из дома протопопа, пошел скорыми шагами к небольшому желтенькому домику, из открытых окон которого выглядывала целая куча белокуреньких детских головок.

Дьякон торопливо взошел на крылечко этого домика, потом с крыльца вступил в сени и, треснувшись о перекладину лбом, отворил дверь в низенькую залу.

По зале, заложив назад маленькие ручки, расхаживал сухой, миниатюрный Захария, в подряснике и с длинною серебряною цепочкой на запавшей груди.

Ахилла входил в дом к отцу Захарию совсем не с тою физиономией и не с тою поступью, как к отцу протопопу. Смущение, с которым дьякон вышел от Туберозова, по мере приближения его к дому отца Захарии исчезало и на самом пороге заменилось уже крайним благодушием. Дьякон от нетерпения еще у порога начинал:

— Ну, отец Захария! Ну… брат ты мой милесенький… Ну!..

— Что такое? — спросил с кроткою улыбкой отец Захария, — чего это ты, чего егозишься, чего? — и с этим словом, не дождавшись ответа, сухенький попик заходил снова.

Дьякон прежде всего весело расхохотался, а

потом воскликнул:

— Вот, друже мой, какой мне сейчас был пудромантель[63]; ох, отче, от мыла даже голова болит. Вели скорее дать маленький опрокидонтик?

— Опрокидонт? Хорошо. Но кто же это, кто, мол, тебя пробирал?

— Да разумеется, министр юстиции.

— Ага! Отец Савелий.

— Никто же другой. Дело, отец Захария, необыкновенное по началу своему и по окончанию необыкновенное. Я старался как заслужить, а он все смял, повернул Бог знает куда лицом и вывел что-то такое, чего я, хоть убей, теперь не пойму и рассказать не умею.

Однако же дьякон, присев и выпив поданную ему на тарелке рюмку водки, с мельчайшими подробностями передал отцу Захарии всю свою историю с Данилкой и с отцом Туберозовым. Захария во все время этого рассказа ходил тою же подпрыгивающею походкой и лишь только на секунду приостанавливался, по временам устранял со своего пути то одну, то другую из шнырявших по комнате белокурых головок, да когда дьякон совсем кончил, то он при самом

[63] Примечания: 63

Накидка, которую надевали во время бритья или причесывания; здесь — головомойка.

последнем слове его рассказа, закусив губами кончик бороды, проронил внушительное: «Да-с, да, да, да, однако ничего».

— Я больше никак не рассуждаю, что он в гневе, и еще…

— Да, и еще что такое? Подите вы прочь, пострелята! Так, и что такое еще? — любопытствовал Захария, распихивая с дороги детей.

— И что я еще в это время так неполитично трубки коснулся, — объяснил дьякон.

— Да, ну конечно… разумеется… отчасти оно могло и это… Подите вы прочь, пострелята!.. Впрочем, полагать можно, что он не на тебя недоволен. Да, оно даже и верно, что не на тебя.

— Да и я говорю то же, что не на меня: за что ему на меня быть недовольным? Я ему, вы знаете, без лести предан.

— Да, это не на тебя: это он… я так полагаю… Да уйдете ли вы с дороги прочь, пострелята!.. Это он душою… понимаешь?

— Скорбен, — сказал дьякон.

Отец Захария помотал ручкой около своей груди и, сделав кислую гримаску на лице, проговорил:

— Возмущен.

— Уязвлен, — решил дьякон Ахилла, — знаю:

его все учитель Варнавка гневит, ну да я с Варнавкой скоро сделаю и прочее и прочее!

И с этим дьякон, ничего в подробности не объясняя, простился с Захарией и ушел.

Идучи по дороге домой, Ахилла повстречался с Данилкой, остановил его и сказал:

— А ты, брат Данилка, сделай милость, на меня не сердись. Я если тебя и наказал, то совершенно по христианской моей обязанности наказал.

— Всенародно оскорбили, отец дьякон! — отвечал Данилка тоном обиженным, но звучащим склонностью к примирению.

— Ну и что ж ты теперь со мною будешь делать, что обидел? Я знаю, что я обидел, но когда я строг… Я же ведь это не нагло; я тебе ведь еще в прошлом году, когда застал тебя, что ты в сенях у исправника отца Савельеву ризу надевал и кропилом кропил, я тебе еще тогда говорил: «Рассуждай, Данила, по бытописанию как хочешь, я по науке много не смыслю, но обряда не касайся». Говорил я ведь тебе этак или нет? Я говорил: «Не касайся, Данила, обряда».

Данилка нехотя кивнул головой и пробурчал:

— Может быть, и говорили.

— Нет, ты, брат, не финти, а сознавайся! Я наверно говорил, я говорил: «не касайся обряда»,

вот все! А почему я так говорил? Потому что это наша жизненность, наше существо, и ты его не касайся. Понял ты это теперь?

Данила только отвернулся в сторону и улыбался: ему самому было смерть смешно, как дьякон вел его по улице за ухо, но другие находившиеся при этом разговоре мещане, шутя и тоже едва сдерживая свой смех, упрекали дьякона в излишней строгости.

— Нет, строги вы, сударь, отец дьякон! Уж очень не в меру строги, — говорили они ему.

Ахилла, выслушав это замечание, подумал и, добродетельно вздохнув, положил свои руки на плечи двух ближе стоящих мещан и сказал:

— Строг, вы говорите: да, я, точно, строг, это ваша правда, но зато я и справедлив. А если б это дело к мировому судье? — Гораздо хуже. Сейчас три рубля в пользу детских приютов взыщет!

— Ничего-с: иной мировой судья за это еще рубль серебра на чай даст.

— Ну вот видишь! нет, я, братец, знаю, что я справедлив.

— Что же за справедливость? Не Бог знает как вы, отец дьякон, и справедливы.

— Это почему?

— А потому, что Данила много ли тут виноват,

что он только повторил, как ему ученый человек сказывал? Это ведь по-настоящему, если так судить, вы Варнаву

Васильича должны остепенять, потому что это он нам сказывал, а Данила только сомневался, что не то это, как учитель говорил, дождь от естества вещей, не то от молебна! Вот если бы вы оттрясли учителя, это точно было бы закон.

— Учителя… — Дьякон развел широко руки, вытянул к носу хоботком обе свои губы и, постояв так секунду пред мещанами, прошептал: — Закон!.. Закон-то это, я знаю, велит… да вот отец Савелий не велит… и невозможно!

Глава вторая

Прошло несколько дней: Туберозов убедился, что он совершенно напрасно опасался, как бы несдержанные поступки дьякона Ахиллы не навлекли какие-нибудь судебные неприятности; все благополучно шло по-старому; люди разнообразили свою монотонную уездную жизнь тем, что ссорились для того, чтобы мириться, и мирились для того, чтобы снова ссориться. Покою ничто не угрожало; напротив, даже Туберозову был ниспослан прекрасный день, который он провел

в чистейшем восторге. Это был день именин исправницы, наступивший вскоре за тем днем, когда Ахилла, в своей, по вере, ревности, устроил публичный скандал с комиссаром Данилкой. Когда все гости, собравшиеся на исправницкий пирог, были заняты утолением своего аппетита, хозяин, подойдя случайно к окну, вдруг громко крикнул жене:

— Боже мой! Посмотри-ка, жена, какие к тебе гости!

— Кто же там, кто? — отозвалась исправница.

— А ты посмотри.

Именинница, а с ней вместе и все бывшие в комнате гости бросились к окнам, из которых было видно, как с горы осторожно, словно трехглавый змей на чреве, спускалась могучая тройка рослых буланых коней. Коренник мнется и тычет ногами, как старый генерал, подходящий, чтобы кого-то распечь: он то скусит губу налево, то скусит ее направо, то встряхнет головой и опять тычет и тычет ногами; пристяжные то вьются, как отыскивающие vis-a-vis[64] уланские корнеты, то сжимаются в клубочки, как спутанные овцы; малиновый колокольчик шлепнет колечком в

[64] Примечания: 64
Партнер в танцах (франц.).

край и снова прилип и молчит; одни бубенчики глухо рокочут, но рокочут без всякого звона. Но вот этот трехглавый змей сполз и распустился: показались хребты коней, махнул в воздухе хвост пристяжной; из-под ветра взвеяла грива; тройка выровнялась и понеслась по мосту. Показались золоченая дуга с травленою росписью[65] и большие старинные, бронзой кованные, троечные дрожки гитарой. На дрожках рядком, как сидят на козетках, сидели два маленькие существа: одно мужское и одно женское; мужчина был в темно-зеленой камлотовой шинели и в большом картузе из шляпного волокнистого плюша, а женщина в масаковом гроденаплевом салопе, с лиловым бархатным воротником, и в чепчике с коричневыми лентами.

— Боже, да это плодомасовские карлики! — Не может быть! — Смотрите сами! — Точно, точно! — Да как же: вон Николай-то Афанасьич, видите, увидел нас и кланяется, а вон и Марья Афанасьевна кивает.

Такие возгласы раздались со всех сторон при виде карликов, и все словно невесть чему обрадовались: хозяева захлопотали возобновлением

---

[65] Примечания: 65
С узорами, вытравленными по краске кислотой.

для новых гостей завтрака, а прежние гости внимательно смотрели на двери, в которые должны были показаться маленькие люди, и они, наконец, показались.

Впереди шел старичок ростом с небольшого восьмилетнего мальчика; за ним старушка немного побольше.

Старичок был весь чистота и благообразие: на лице его и следа нет ни желтых пятен, ни морщин, обыкновенно портящих лица карликов: у него была очень пропорциональная фигура, круглая как шар головка, покрытая совершенно белыми, коротко остриженными волосами, и небольшие коричневые медвежьи глазки. Карлица лишена была приятности брата: она была одутловата, у нее был глуповатый чувственный рот и тупые глаза.

На карлике Николае Афанасьевиче, несмотря на жаркое время года, были надеты теплые плисовые сапожки, черные панталоны из лохматой байки, желтый фланелевый жилет и коричневый фрак с металлическими пуговицами. Белье его было безукоризненной чистоты, и щечки его туго поддерживал высокий атласный галстук. Карлица была в шелковом зеленом капоте и большом кружевном воротнике.

Николай Афанасьевич, войдя в комнату, вытянул ручки по швам, потом приподнял правую руку с картузом к сердцу, шаркнул ножкой об ножку и, направясь враз-валец прямо к имениннице, проговорил тихим и ровным старческим голосом:

— Господин наш Никита Алексеич Плодомасов и господин Пармен Семенович Туганов от себя и от супруги своей изволили приказать нам, их слугам, принести вам, сударыня Ольга Арсентьевна, их поздравление. Сестрица, повторите, — отнесся он к стоявшей возле него сестре, и когда та кончила свое поздравление, Николай Афанасьевич шаркнул исправнику и продолжал:

— А вас, сударь Воин Васильевич, и всю честную компанию с дорогою именинницей. И затем, сударь, имею честь доложить, что, прислав нас с сестрицей для принесения вам их поздравления, и господин мой и Пармен Семенович Туганов просят извинения за наше холопье посольство; но сами теперь в своих минутах не вольны и принесут вам в том извинение сегодня вечером.

— Пармен Семеныч будет здесь? — воскликнул исправник.

— Вместе с господином моим Никитою Алексеичем Плодомасовым, проездом в Петербург, просят

простить вас, что заедут в дорожном положении.

В обществе по поводу этого известия возникла маленькая суета, пользуясь которою карлик подошел под благословение к Туберозову и тихо проговорил:

— Пармен Семенович просили вас быть вечером здесь.

— Скажи, голубчик, буду, — отвечал Туберозов.

Карлик взял благословение у Захарии. Дьякон Ахилла взял ручку у почтительно поклонившегося ему маленького человечка, который при этом, улыбнувшись, проговорил:

— Только сделайте милость, сударь, надо мною силы богатырской не пробуйте!

— А что, Николай Афанасьич, разве он того… здоров? — пошутил хозяин.

— Силу пробовать любят-с, — отвечал старичок. — Есть над кем? Над калечкой.

— А что ваше здоровье, Николай Афанасьич? — пытали карлика дамы, окружая его со всех сторон и пожимая его ручонки.

— Какое, государыни, мое здоровье! Смех отвечать: точно поросенок стал. Петровки[66] на дворе, — а я все зябну!

---

[66] Примечания: 66

Пост перед Петровым днем (12 июля по новому стилю).

— Зябнете?

— Да как же-с: вот можете посудить, потому что весь в мешок заячий зашит. Да и чему дивиться-то-с, государи мои, станем? Восьмой десяток лет ведь уж совершил ненужный человек.

Николая Афанасьича наперебой засыпали вопросами о различных предметах, усаживали, потчевали всем: он отвечал на все вопросы умно и находчиво, но отказывался от всех угощений, говоря, что давно уж ест мало, и то какой-нибудь овощик.

— Вот сестрица покушают, — говорил он, обращаясь к сестре. — Садитесь, сестрица, кушайте, кушайте! Чего церемониться? А не хотите без меня, так позвольте мне, сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начиночки из пирожка на блюдце… Вот так, довольно-с, довольно! Теперь, сестрица, кушайте, а с меня довольно. Меня и кормить-то уж не за что; нитяного чулка вязать, и того уже теперь путем не умею. Лучше гораздо сестрицы вязал когда-то, и даже бродери англез выплетал, а нынче что ни стану вязать, все петли спускаю.

— Да; бывало, Никола, ты славно вязал! — отозвался Туберозов, весь оживившийся и повеселевший с прибытием карлика.

— Ах, отец Савелий! Время, государь, время! — карлик улыбнулся и договорил, шутя: — А к тому же и строгости надо мной, ваше высокопреподобие, нынче не стало; избаловался после смерти моей благодетельницы. Что? хлеб-соль готовые, кров теплый, всегда ленюсь.

Протоиерей посмотрел со счастливою улыбкой в глаза карлику и сказал:

— Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую пред собою вижу, с которою умереть бы хотелось.

— А она, батушка (карлик говорил *у* вместо ю), она, сказка-то добрая, прежде нас померла.

— А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про боярыню-то свою, Марфу Андревну, забываешь? — вопрошал, юля около карлика, дьякон Ахилла, которого Николай Афанасьевич все как бы опасался и остерегался.

— Забывать, сударь отец дьякон, я уже стар, я уже и сам к ней, к утешительнице моей, служить на том свете давно собираюсь, — отвечал карлик очень тихо и с легким только полуоборотом в сторону Ахиллы.

— Утешительная, говорят, была эта старуха, — отнесся безразлично ко всему собранию дьякон.

— Ты это в каком же смысле берешь ее утеши-

тельность? — спросил Туберозов.

— Забавная!

Протопоп улыбнулся и махнул рукой, а Николай Афанасьевич поправил Ахиллу, твердо сказав ему:

— Утешительница, сударь, утешительница, а не забавница.

— Что ты ему внушаешь, Никола. Ты лучше расскажи, как она тебя ожесточила-то? Как откуп-то сделала? — посоветовал протопоп.

— Что, отец протопоп, старое это, сударь.

— Наитеплейше это у него выходит, когда он рассказывает, как он ожесточился, — обратился Туберозов к присутствующим.

— А уж так, батушка, она, госпожа моя, умела человека и ожесточить и утешить, и ожесточала и утешала, как разве только один Ангел Господень может утешить, — сейчас же отозвался карлик. — В сокровенную души, бывало, человека проникнет и утешит, и мановением своим всю благую для него на земли совершит.

— А ты, в самом деле, расскажи, как это ты ожесточен был?

— Да, расскажи, Николаша, расскажи!

— Что ж, милостивые государи, смеетесь ли вы или не смеетесь, а вправду интересуетесь об этом

слышать, но если вся компания желает, то уже я ослушаться не смею, расскажу.

— Пожалуйста, Николай Афанасьич, рассказывай.

— Расскажу, — отвечал, улыбнувшись, карлик, — расскажу, потому что повесть эта даже и приятна.

С этими словами карлик начал.

Глава третья

— Это всего было чрез год как они меня у прежних господ купили. Я прожил этот годок в ужасной грусти, потому что был оторван, знаете, от крови родной и от фамилии. Разумеется, виду этого, что грущу, я не подавал, чтобы как помещице о том не донесли или бы сами они не заметили; но только все это было втуне, потому что покойница все это провидели. Стали приближаться мои именины, они и изволят говорить: «Какой же, — говорят, — я тебе, Николай, подарок подарю?» «Матушка, — говорю, — какой мне еще, глупцу, подарок? Я и так всем свыше главы моей доволен». «Нет, — изволят говорить, — я думаю тебя хоть рублем одарить». Что ж, я отказываться не посмел, поцеловал ее ручку и говорю: «Мно-

го, — говорю, — вашею милостью взыскан», — и сам опять сел чулок вязать. Я еще тогда хорошо глазами видел и даже в гвардию нитяные чулки на господина моего Алексея Никитича вязал. Вяжу, сударь, чулок-то, да и заплакал. Бог знает чего заплакал, так, знаете, вспомнилось что-то про родных, пред днем Ангела, и заплакал.

А Марфа Андревна видят это, потому что я напротив их кресла на подножной скамеечке всегда вязал, и спрашивают: «Что ж ты это, — изволят говорить, — Николаша, плачешь?» «Так, — отвечаю, — матушка, что-то слезы так…» — да и знаете, что им доложить-то, отчего плачу, и не знаю. Встал, ручку их поцеловал, да и опять сел на свою скамеечку. «Не извольте, — говорю, — сударыня, обращать взоров ваших на эту слабость, это я так, сдуру, эти мои слезы пролил».

И опять сидим да работаем; и я чулок вяжу, и они чулочек вязать изволят. Только вдруг они этак повязали, повязали и изволят спрашивать: «А куда же ты, Николай, рубль-то денешь, что я тебе завтра подарить хочу?» «Тятеньке, — говорю, — сударыня, своему при верной оказии отправлю». «А если, — говорят, — я тебе два подарю?» «Другой, — докладываю, — маменьке пошлю». «А если три?» «Братцу, — говорю, — Ива-

ну Афанасьевичу».

Они покачали головкой да изволят говорить: «Много же как тебе, братец, денег-то надо, чтобы всех оделить! Этого ты, такой маленький, и век не заслужишь».

«Господу, — говорю, — было угодно меня таким создать», — да с сими словами и опять заплакал; опять сердце, знаете, сжалось: и сержусь на свои слезы и плачу. Они же, покойница, глядели, глядели на меня и этак молчком меня к себе одним пальчиком и поманули: я упал им в ноги, а они положили мою голову в колени, да и я плачу, и они изволят плакать. Потом встали, да и говорят: «Ты никогда не ропщешь, Николаша, на Бога?» «Как же, — говорю, — матушка, можно на Бога роптать? Никогда не ропщу!» «Ну, он, — изволят говорить, — тебя за это и утешит».

Встали они, знаете, с этим словом, велели мне приказать, чтобы к ним послали бурмистра Дементия в их нижний разрядный кабинет, и сами туда отправились. «Не плачь, — говорят, — Николаша! тебя Господь утешит».

И точно, утешил.

При этом Николай Афанасьевич вдруг заморгал частенько своими тонкими веками и, проворно соскочив со стула, отбежал в уголок, где утер

белым платочком глаза и возвратился со стыдливою улыбкой на свое место. Снова усевшись, он начал совсем другим, торжественным голосом, очень мало напоминавшим прежний:

— Встаю я, судари мои, рано: сходил потихоньку умылся, потому что я у них, у Марфы Андревны, в ножках за ширмой, на ковре спал, да и пошел в церковь, чтоб у отца Алексея после утрени молебен отслужить. Вошел я, сударь, в церковь и прошел прямо в алтарь, чтоб у отца Алексея благословение принять, и вижу, что покойник отец Алексей как-то необыкновенно радостны в выражении и меня шепотливо поздравляют с радостью. Я это отнес, разумеется, к праздничному дню и к именинам моим. Но что ж тут, милостивые государи, последовало! Выхожу я с просфорой на левый клирос, так как я с покойным дьячком Ефимычем на левом клиросе тонким голосом пел, и вдруг мне в народе представились и матушка, и отец, и братец Иван Афанасьевич. Батушку-то с матушкой я в народе еще и не очень вижу, но братец Иван Афанасьевич, он такой был… этакой гвардион, я его сейчас увидал. Думаю, это видение! Потому что очень уж я желал их в этот день видеть. Нет, не видение! Вижу, маменька, — крестьянка они были, — так и убиваются плачут.

Думаю, верно, у своих господ отпросились и издалека да пришли с своим дитем повидаться. Разумеется, я, чтобы благочиния церковного не нарушать, только подошел к родителям, к братцу, поклонился им в пояс, и ушел скорей совсем в алтарь, и сам уже не пел… Потому решительно скажу: не мог-с! Ну-с; так и заутреня и обедня по чину, как должно, кончились, и тогда… Вот только опять боюсь, чтоб эти слезы дурацкие опять рассказать не мешали, — проговорил, быстро обмахнув платочком глаза, Николай Афанасьевич. — Выхожу я, сударь, после обедни из алтаря, чтобы святителю по моему заказу молебен отслужить, а смотрю — пред аналоем с иконой стоит сама Марфа Андревна, к обедне пожаловали, а за нею вот они самые, сестрица Марья Афанасьевна, которую пред собой изволите видеть, родители мои и братец. Стали петь «святителю отче Николае», и вдруг отец Алексей на молитве всю родню мою поминает. Очень я был всем этим, сударь, тронут: отцу Алексею я, по состоянию своему, что имел, заплатил, хотя они и брать не хотели, но это нельзя же даром молиться, да и подхожу к Марфе Андревне, чтобы поздравить. А они меня тихонько ручкой от себя отстранили и говорят: «Иди прежде родителям поклонись!»

Я повидался с отцом, с матушкой, с братцем, и все со слезами. Сестрица Марья Афанасьевна (Николай Афанасьевич с ласковой улыбкой указал на сестру), сестрица ничего, не плачут, потому что у них характер лучше, а я слаб и плачу. Тут, батушка, выходим мы на паперть, госпожа моя Марфа Андревна достают из карманчика кошелечек кувшинчиком, и сам я видел даже, как они этот кошелечек вязали, да не знал, разумеется, кому он. «Одари, — говорят мне, — Николаша, свою родню». Я начинаю одарять: тятеньке серебряный рубль, маменьке рубль, братцу Ивану Афанасьевичу рубль, и все новые рубли, а в кошельке и еще четыре рубля. «Это, говорю, матушка, для чего прикажете?» А ко мне, гляжу, бурмистр Дементий и подводит и невестушку и трех ребятишек– все в свитках. Всех я, по ее великой милости, одарил, и пошли мы домой из церкви все вместе: и покойница госпожа, и отец Алексей, и я, сестрица Марья Афанасьевна, и родители, и все дети братцевы. Сестрица Марья Афанасьевна опять и здесь идут, ничего, разумно, ну, а я, глупец, все и тут, сам не знаю чего, рекой разливаюсь, плачу. Но все же, однако, я, милостивые государи, до сих пор хоть и плакал, но шел; но тут, батушка, у крыльца

господского вдруг смотрю, вижу, стоят три подводы, лошади запряжены разгонные господские Марфы Андревны, а братцевы две лошаденки сзади прицеплены, и на телегах вижу весь багаж моих родителей и братца. Я, батушка, этим смутился и не знаю, что думать. Марфа Андревна до сего времени, идучи с отцом Алексеем, все о покосах изволили разговаривать и внимания на меня будто не обращали, а тут вдруг ступили ножками на крыльцо, оборачиваются ко мне и изволят говорить такое слово: «Вот тебе, слуга мой, отпускная: пусти своих стариков и брата с детьми на волю!» и положили мне за жилет эту отпускную… Ну, уж этого я не перенес…

Николай Афанасьевич приподнял руки вровень с своим лицом и заговорил:

— «Ты! — закричал я в безумии, — так это все ты, — говорю, — жестокая, стало быть, совсем хочешь так раздавить меня благостию своей!» И тут грудь мне перехватило, виски заныли, в глазах по всему свету замелькали лампады, и я без чувств упал у отцовских возов с тою отпускной.

— Ах, старичок, какой чувствительный! — воскликнул растроганный Ахилла, хлопнув по плечу Николая Афанасьевича.

— Да-с, — продолжал, вытерев себе ротик,

карло. — А пришел-то я в себя уж через девять дней, потому что горячка у меня сделалась, и то-с осматриваюсь и вижу, госпожа сидит у моего изголовья и говорит: «Ох, прости ты меня, Христа ради, Николаша: чуть я тебя, сумасшедшая, не убила!» Так вот она какой великан-то была, госпожа Плодомасова!

— Ах ты, старичок прелестный! — опять воскликнул дьякон Ахилла, схватив Николая Афанасьевича в шутку за пуговичку фрака и как бы оторвав ее.

Карла молча попробовал эту пуговицу и, удостоверясь, что она цела и на своем месте, сказал:

— Да-с, да, я ничтожный человек, а они заботились обо мне, доверяли; даже скорби свои иногда мне открывали, особенно когда в разлуке по Алексею Никитичу скорбели. Получат, бывало, письмо, сейчас сначала скоро, скоро сами про себя пробежат, а потом и все вслух читают. Они сидят читают, а я пред ними стою, чулок вяжу да слушаю. Прочитаем и в разговор сейчас вступим: «Теперь его в офицеры, — бывало, скажут, — должно быть скоро произведут». А я говорю: «Уж по ранжиру, матушка, непременно произведут». Тогда рассуждают: «Как ты, Николаша, думаешь, ему ведь больше надо будет денег посылать». —

«А как же, — отвечаю, — матушка, непременно тогда надо больше». — «То-то, скажут, нам ведь здесь деньги все равно и не нужны». — «Да нам, мол, они на что же, матушка, нужны!» А сестрица Марья Афанасьевна вдруг в это время не потрафят и смолчат, покойница на них за это сейчас и разгневаются: «Деревяшка ты, скажут, деревяшка! Недаром мне тебя за братом в придачу даром отдали».

Николай Афанасьевич вдруг спохватился, страшно покраснел и, повернувшись к своей тупоумной сестре, проговорил:

— Вы простите меня, сестрица, что я это рассказываю?

— Сказывайте, ничего, сказывайте, — отвечала, водя языком за щекой, Марья Афанасьевна.

— Сестрица, бывало, расплачутся, — продолжал успокоенный Николай Афанасьевич, — а я ее куда-нибудь в уголок или на лестницу тихонечко с глаз Марфы Андревны выманю и уговорю. «Сестрица, говорю, успокойтесь; пожалейте себя, эта немилость к милости». И точно, горячее да сплывчивое сердце их сейчас скоро и пройдет: «Марья! — бывало, зовут через минутку. — Полно, мать, злиться-то. Чего ты кошкой-то ощетинилась, иди сядь здесь, работай». Вы ведь, сестрица,

не сердитесь?

— Сказывайте, что ж мне? сказывайте, — отвечала Марья Афанасьевна.

— Да-с; тем, бывало, и кончено. Сестрица возьмут скамеечку, подставят у их ножек и опять начинают вязать. Ну, тут я уж, как это спокойствие водворится, сейчас подхожу к Марфе Андревне, попрошу у них ручку поцеловать и скажу: «Покорно вас, матушка, благодарим». Сейчас все даже слезой взволнуются. «Ты у меня, говорят, Николай, нежный. Отчего это только, я понять не могу, отчего она у нас такая деревянная?» — скажут опять на сестрицу. А я, — продолжал Николай Афанасьевич, улыбнувшись, — я эту речь их сейчас по-секретарски под сукно, под сукно. «Сестрица! шепчу, сестрица, попросите ручку поцеловать!» Марфа Андревна услышу т, и сейчас все и конец: «Сиди уж, мать моя, — скажут сестрице, — не надо мне твоих поцелуев». И пойдем колтыхать спицами в трое рук. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-три-ти-ти, да мушка ж-ж-жу, ж-жу, ж-жу пролетит. Вот в какой тишине мы всю жизнь и жили!

— Ну, а вас же самих с сестрицей на волю она не отпустила? — спросил кто-то, когда карлик хотел встать, окончив свою повесть.

— На волю? Нет, сударь, не отпускали. Сестрица, Марья Афанасьевна, были приписаны к родительской отпускной, а меня не отпускали. Они, бывало, изволят говорить: «После смерти моей живи где хочешь (потому что они на меня капитал для пенсии положили), а пока жива, я тебя на волю не отпущу». — «Да и на что, говорю, мне, матушка, она, воля? Меня на ней воробьи заклюют».

— Ах ты, маленький этакой! — воскликнул в умилении Ахилла.

— Да, а что вы такое думаете? И конечно-с заклюют, — подтвердил Николай Афанасьевич. — Вон у нас дворецкий Глеб Степанович, какой был мужчина, просто красота, а на волю их отпустили, они гостиницу открыли и занялись винцом и теперь по гостиному двору ходят да купцам за грош «скупого рыцаря» из себя представляют. Разве это хорошо.

— Он ведь у нее во всем правая рука был, Николай-то Афанасьевич, — отозвался Туберозов, желая возвысить этим отзывом заслуги карлика и снова наладить разговор на желанную тему.

— Служил, батушка, отец протоиерей, по разумению своему служил. В Москву и в Питер покойница езжали, никогда горничных с собою

не брали. Терпеть женской прислуги в дороге не могли. Изволят, бывало, говорить: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчут, да в гостиницах по коридорам расхаживают, да знакомятся, а Николаша, говорят, у меня как заяц в угле сидит». Они ведь меня за мужчину вовсе не почитали, а все: заяц.

Николай Афанасьевич рассмеялся и добавил:

— Да и взаправду, какой же я уж мужчина, когда на меня, извините, ни сапожков и никакого мужского платья готового нельзя купить — не придется. Это и точно их слово справедливое было, что я заяц.

— Трусь! трусь! трусь! — заговорил, смеясь и оглаживая карлика по плечам, Ахилла.

— Но не совсем же она тебя считала зайцем, когда хотела женить? — отозвался к карлику исправник Порохонцев.

— Это, батушка Воин Васильич, было. Было, сударь, — добавил он, все понижая голос, — было.

— Неужто, Николай Афанасьич, было? — откликнулось разом несколько голосов.

Николай Афанасьевич покраснел и шепотом уронил:

— Грех лгать — было.

Все, кто здесь на это время находились, разом

пристали к карлику:

— Голубчик, Николай Афанасьич, расскажите про это?

— Ах, господа, про что тут рассказывать! — отговаривался, смеясь, краснея и отмахиваясь от просьб руками, Николай Афанасьевич.

Его просили неотступно; дамы брали его за руки, целовали его в лоб; он ловил на лету прикасавшиеся к нему дамские руки и целовал их, но все-таки отказывался от рассказа, находя его долгим и незанимательным. Но вот что-то вдруг неожиданно стукнуло о пол, именинница, стоявшая в эту минуту пред креслом карлика, в испуге посторонилась, и глазам Николая Афанасьевича представился коленопреклоненный, с воздетыми кверху руками, дьякон Ахилла,

— Душка! — мотая головой, выбивал Ахилла. — Расскажи, как тебя женить хотели!

— Скажу, все расскажу, только поднимитесь, отец дьякон.

Ахилла встал и, обмахнув с рясы пыль, самодовольно возгласил:

— Ага! А что-с? А то, говорят, не расскажет! С чего так не расскажет? Я сказал — выпрошу, вот и выпросил. Теперь, господа, опять по местам, и чтоб тихо; а вы, хозяйка, велите Николаше за

это, что он будет рассказывать, стакан воды с червонным вином, как в домах подают.

Все уселись, Николаю Афанасьевичу подали стакан воды, в который он сам впустил несколько капель красного вина, и начал новую о себе повесть.

Глава четвертая

— То, господа, было вскоре после французского замирения, как я со в Бозе почившим государем императором разговаривал.

— Вы с государем разговаривали? — сию же минуту перебили рассказчика несколько голосов.

— А как бы вы изволили полагать? — отвечал с тихою улыбкой карлик. — Да-с; с самим императором Александром Павловичем говорил и имел рассудок, как ему отвечать.

— Ха-ха-ха! Вот, Бог меня убей, шельма какая у нас этот Николаврa! — взвыл вдруг от удовольствия дьякон Ахилла и, хлопнув себя ладонями по бедрам, добавил: — Глядите на него — маленький, а между тем он, клопштос[67], с царем разговаривал.

---

[67] Примечания: 67
Здесь: малыш, клоп.

— Сиди, дьякон, смирно, сиди спокойно, — внушительно произнес Туберозов.

Ахилла показал руками, что он более ничего не скажет, и сел.

Рассказ начался снова.

— Это как будто от разговора моего с государем императором даже и начало имело, — спокойно заговорил Николай Афанасьевич. — Госпожа моя, Марфа Андревна, имела желание быть в Москве, когда туда ждали императора после всесветной его победы над Наполеоном Бонапарте. Разумеется, и я в этой поездке, по их воле, при них находился. Они, покойница, тогда уже были в больших летах и, по нездоровью своему, порядочно стали гневливы и обидчивы. Молодым господам по этой причине в дому у нас было скучно, и покойница это видели и много за это досадовали, а больше всех на Алексея Никитича сердились, что не так, полагали, верно у них в доме порядок устроен, чтобы всем весело было, и что чрез то их все забывают. Вот Алексей Никитич и достали маменьке приглашение на бал, на который государя ожидали. Марфа Андревна не скрыли от меня, что это им очень большое удовольствие доставило. Сделали они себе к этому балу наряд бесценный и для меня французу

портному заказали синий фрак аглицкого сукна с золотыми пуговицами, панталоны, — сударыни, простите, — жилет, галстук — все белое; манишку с гофреями и пряжки на башмаки, сорок два рубля заплатили. Алексей Никитич для маменькина удовольствия так упросили, чтоб и меня можно было туда взять. Приказано было метрдотелю, чтобы ввесть меня в оранжерею при доме и напротив самого зала, куда государь войдет, в углу где-нибудь между цветами поставить. Так это, милостивые государи, все и исполнилось, но не совсем. Поставил меня, знаете, метрдотель в угол у большого такого дерева, китайская пальма называется, и сказал, чтоб я держался и смотрел, что отсюда увижу. А что оттуда увидать можно? ничего. Вот я, знаете, как Закхей Мытарь, цап-царап, да и взлез на этакую маленькую искусственную скалу, взлез и стою под пальмой. В зале шум, блеск, музыка; а я хоть и на скале под пальмой стою, а все ничего не вижу, кроме как одни макушки да тупеи. Только вдруг все эти головы засуетились, раздвинулись, и государь с князем Голицыным прямо и входит от жара в оранжерею. И еще то, представьте, идет не только что в оранжерею, а даже в самый тот дальний угол прохладный, куда меня спрятали. Я так, сударыни, и засох. На

скале-то засох и не слезу.

— Страшно? — спросил Туберозов.

— Как вам доложить? не страшно, но как будто волненье.

— А я бы убег, — сказал, не вытерпев, дьякон.

— Чего же, сударь, бежать? Не могу сказать, чтобы совсем ни капли не испугался, но не бегал. А его величество тем часом все подходят, подходят; уже я слышу даже, как сапожки на них рип-рип-рип; вижу уж и лик у них этакий тихий, взрак ласковый, да уж, знаете, на отчаянность уж и думаю и не думаю, зачем я пред ними на самом на виду явлюсь? Только государь вдруг этак головку повернули и, вижу, изволили вскинуть на меня свои очи и на мне их и остановили.

— Ну! — крикнул, бледнея, дьякон.

— Я взял да им поклонился.

Дьякон вздохнул и, сжав руку карлика, прошептал:

— Сказывай же, сделай милость, скорее, не останавливайся!

— Они посмотрели на меня и изволят князю Голицыну говорить по-французски: «Ах, какой миниатюрный экземпляр! чей, любопытствуют, это такой?» Князь Голицын, вижу, в затруднительности ответить; а я, как французскую речь могу

понимать, сам и отвечаю: «Госпожи Плодомасовой, Ваше Императорское Величество». Государь обратился ко мне и изволят меня спрашивать: «Какой вы нации?» — «Верноподданный, — говорю, — вашего императорского величества». — «И русский уроженец?» — изволят спрашивать, а я опять отвечаю: «Из крестьян, — говорю, — верноподданный вашего императорского величества». Император и рассмеялись. «Bravo, — изволили пошутить, — bravo, mon petit sujet fidele»[68], — и ручкой этак меня за голову к себе и пожали.

Николай Афанасьевич понизил голос и сквозь тихую улыбку, как будто величайшую политическую тайну, шепотом добавил:

— Ручкой-то своею, знаете, взяли обняли, а здесь… неприметно для них пуговичкой обшлага нос-то мне совсем чувствительно больно придавили.

— А ты же ведь ничего… не закричал? — спросил дьякон.

— Нет-с, что вы, батушка, что вы? Как же можно от ласк государя кричать? Я-с, — заключил Николай Афанасьевич, — только как они выпустили меня, я поцеловал их ручку… что счастлив и

---

[68] Примечания: 68
Браво, браво, мой маленький верноподданный (франц.).

удостоен чести, и только и всего моего разговора с их величеством было. А после, разумеется, как сняли меня из-под пальмы и повезли в карете домой, так вот тут уж я все плакал.

— Отчего же после-то плакать? — спросил Ахилла.

— Да как же отчего? Мало ли отчего-с? От умиления чувств плачешь.

— Маленький, а как чувствует! — воскликнул в восторге Ахилла.

— Ну-с, позвольте! — начал снова рассказчик. — Теперь только что это случайное внимание императора по Москве в некоторых домах разгласилось, покойница Марфа Андревна начали всюду возить меня и показывать, и я, истину вам докладываю, не лгу, я был тогда самый маленький карлик во всей Москве. Но недолго это было-с, всего одну зиму…

Но в это время дьякон ни с того ни с сего вдруг оглушительно фыркнул и, свесив голову за спинку стула, тихо захохотал.

Заметя, что его смех остановил рассказ, он приподнялся и сказал:

— Нет, это ничего!.. Рассказывай, сделай милость, Николавра, это я по своему делу смеюсь. Как со мною однажды граф Кленыхин говорил.

— Нет-с, уж вы, сударь, лучше выскажитесь, а то опять перебьете, — ответил карлик.

— Да ничего, ничего, это самое простое дело, — возражал Ахилла. — Граф Кленыхин у нас семинарский корпус смотрел, я ему поклонился, а он говорит: «Пошел прочь, дурак!» Вот и весь наш разговор, чему я рассмеялся.

— И точно-с, смешно, — сказал Николай Афанасьевич и, улыбнувшись, стал продолжать.

— На другую зиму, — заговорил он, — Вихиорова генеральша привезла из-за Петербурга чухоночку Метту, карлицу еще меньше меня на палец. Покойница Марфа Андревна слышать об этом не могла. Сначала все изволили говорить, что это карлица не натуральная, а свинцом будто опоенная, но как приехали и изволили сами Метту Ивановну увидать, и рассердились, что она этакая беленькая и совершенная. Во сне стали видеть, как бы нам Метту Ивановну себе купить. А Вихиорша та слышать не хочет, чтобы продать. Вот тут Марфа Андревна и объясняют, что «мой Николай, говорят, умный и государю отвечать умел, а твоя, говорят, девчушка — что ж, только на вид хороша». Так меж собой обе госпожи за нас и спорят. Марфа Андревна говорят той: продай, а эта им говорит, чтобы меня продать. Марфа

Андревна вскипят вдруг: «Я ведь, — изволят говорить, — не для игрушки у тебя ее торгую: я ее в невесты на вывод покупаю, чтобы Николая на ней женить». А госпожа Вихиорова говорят: «Что ж, я его и у себя женю». Марфа Андревна говорят: «Я тебе от них детей дам, если будут», и та тоже говорит, что и они пожалуют детей, если дети будут. Марфа Андревна рассердятся и велят мне прощаться с Меттой Ивановной. А потом опять, как Марфа Андревна не выдержат, заедем и, как только они войдут, сейчас и объявляют: «Ну слушай же, матушка генеральша, я тебе, чтобы попусту не говорить, тысячу рублей за твою уродицу дам», а та, как назло, не порочит меня, а две за меня Марфе Андревне предлагает. Пойдут друг другу набавлять и набавляют, и опять рассердится Марфа Андревна, вскрикнет: «Я, матушка, своими людьми не торгую», а госпожа Вихиорова тоже отвечают, что и они не торгуют, так и опять велят нам с Меттой Ивановной прощаться. До десяти тысяч рублей, милостивые государи, доторговались за нас, а все дело не подвигалось, потому что моя госпожа за ту дает десять тысяч, а та за меня одиннадцать. До самой весны, государи мои, так тянулось, и доложу вам, хотя госпожа Марфа Андревна была

духа великого и несокрушимого, и с Пугачевым спорила, и с тремя государями танцевала, но госпожа Вихиорова ужасно Марфы Андревны весь характер переломили. Скучают! страшно скучают! И на меня все начинают гневаться! «Это вот все ты, — изволят говорить, — сякой-такой пентюх, что девку даже ни в какое воображение ввести не можешь, чтоб она сама за тебя просилась». — «Матушка, говорю, Марфа Андревна, чем же, говорю, питательница, я могу ее в воображение вводить? Ручку, говорю, матушка, мне, дураку, пожалуйте». А они еще больше гневаются. «Глупый, — говорят, — глупый! только и знает про ручки». А я уж все молчу.

— Маленький! маленький! Он, бедный, этого ничего не может! — участливо объяснял кому-то по соседству дьякон.

Карлик оглянулся на него и продолжал:

— Ну-с, так дальше — больше, дошло до весны, пора нам стало и домой в Плодомасово из Москвы собираться. Марфа Андревна опять приказали мне одеваться, и чтоб оделся в гишпанское платье. Поехали к Вихиорше и опять не сторговались. Марфа Андревна говорят ей: «Ну, хоть позволь же ты своей каракатице, пусть они хоть походят с Николашей вместе пред домом!» Генеральша

на это согласилась, и мы с Меттой Ивановной по тротуару против окон и гуляли. Марфа Андревна, покойница, и этому радовались и всяких костюмов нам обоим нашили. Приедем, бывало, они и приказывают: «Наденьте нынче, Николаша с Меттой, пейзанские костюмы!» Вот мы оба и являемся в деревянных башмаках, я в камзоле и в шляпе, а Метта Ивановна в высоком чепчике, и ходим так пред домом, и народ на нас стоит смотрит. Другой раз велят одеться туркой с турчанкой, мы тоже опять ходим; или матросом с матроской, мы и этак ходим. А то были у нас тоже медвежьи платьица, те из коричневой фланели, вроде чехлов сшиты. Всунут нас, бывало, в них, будто руку в перчатку или ногу в чулок, ничего, кроме глаз, и не видно, а на макушечках такие суконные завязочки ушками поделаны, трепятся. Но в этих платьицах нас на улицу не посылали, а велят, бывало, одеться, когда обе госпожи за столом кофе кушают, и чтобы во время их кофею на ковре против их стола бороться. Метта Ивановна пресильная была, даром что женщина, но я, бывало, если им дам хорошенько подножку, так оне все-таки сейчас и слетят, но только я, впрочем, всегда Метте Ивановне больше поддавался, потому что мне их жаль было по их

женскому полу, да и генеральша сейчас, бывало, в их защиту собачку болонку кличут, а та меня за голеняшки, а Марфа Андревна сердятся… Ну их совсем и с одолением! А то тоже покойница заказали нам самый лучший костюм, он у меня и теперь цел: меня одели французским гренадером, а Метту Ивановну маркизой. У меня этакий кивер медвежий, меховой, высокий, мундир длинный, ружье со штыком и тесак, а Метте Ивановне роб и опахало большое. Я, бывало, стану в дверях с ружьем, а Метта Ивановна с опахалом проходят, и я им честь отдаю, и потом Марфа Андревна с генеральшей опять за нас торгуются, чтобы нас женить. Но только надо вам доложить, что все эти наряды и костюмы для нас с Меттой Ивановной все моя госпожа на свой счет делали, потому что они уж наверное надеялись, что мы Метту Ивановну купим, и даже так, что чем больше они на нас двоих этих костюмов надевали, тем больше уверялись, что мы оба ихние; а дело-то совсем было не туда. Госпожа генеральша Вихиорова, Каролина Карловна, как были из немок, то они ничему этому, что в их пользу, не препятствовали и принимали, а уступать ничего не хотели. Пред самою весной Марфа Андревна ей вдруг решительно говорят: «Однако что же это такое мы

с тобою, матушка, делаем, ни Мишу, ни Гришу? Надо же, говорят, это на чем-нибудь кончить», да на том было и кончили, что чуть-чуть их самих на Ваганьково кладбище не отнесли. Зачахли покойница, желчью покрылись, на всех стали сердиться и вот минуты одной, какова есть минута, не хотят ждать: вынь да положь им Метту Ивановну, чтобы сейчас меня на ней женить! У кого в доме Светлое Христово Воскресенье, а у нас тревога, а к Красной горке[69] ждем последний ответ и не знаем, как ей и передать его. Тут-то Алексей Никитич, дай им Бог здоровья, уж и им это дело насолило, видят, что беда ожидает неминучая, вдруг надумались или с кем там в полку из умных офицеров посоветовались, и доложили маменьке, что будто бы Вихиоршина карлица пропала. Марфе Андревне все, знаете, от этого легче стало, что уж ни у кого ее нет, и начали они беспрестанно об этом говорить. «Как же так, расспрашивают, она пропала?» Алексей Никитич отвечают, что жид украл. «Как? какой жид?» — все расспрашивают. Сочиняем им что попало, так, мол, жид этакой каштановатый, с бородой, все видели, взял да понес. «А что же, — изволят

[69] Примечания: 69

Народное название первого воскресенья после Пасхи, в этот день обычно совершались бракосочетания.

спрашивать, — зачем же его не остановили?» Так, мол, он из улицы в улицу, из переулка в переулок, так и унес. «Да и она-то, рассуждают, дура какая, что ее несут, а она даже не кричит. Мой Николай ни за что бы, говорят, не дался». — «Как можно, говорю, сударыня, жиду сдаться!» Всему уж они как ребенок стали верить. Но тут Алексей Никитич вдруг ненароком маленькую ошибку дал или, пожалуй сказать, перехитрил: намерение их такое было, разумеется, чтобы скорее Марфу Андревну со мною в деревню отправить, чтоб это тут забылось, они и сказали маменьке: «Вы, — изволят говорить, — маменька, не беспокойтесь: ее, эту карлушку, найдут, потому что ее ищут, и как найдут, я вам сейчас и отпишу в деревню», — а покойница-то за это слово и ухватились: «Нет уж, говорят, если ищут, так я лучше подожду, я, главное, теперь этого жида-то хочу посмотреть, который ее унес!» Тут, сударь мои, мы уж и одного квартального вместе с собою лгать подрядили: тот всякий день приходит и врет, что «ищут, мол, ее, да не находят». Она ему всякий день синенькую[70], а меня всякий день к ранней обедне посылает в церковь Иоанну Воинственнику мо-

[70] Примечания: 70
Пятирублевка.

лебен о сбежавшей рабе служить…

— Иоанну Воинственнику? Иоанну Воинственнику, говоришь ты, молебен-то ходил служить? — перебил дьякон.

— Да-с, Иоанну Воинственнику.

— Ну так, брат, поздравляю тебя, совсем не тому святому служил.

— Дьякон! да сделай ты милость, сядь, — решил отец Савелий, — а ты, Николай, продолжай.

— Да что, батюшка, больше продолжать, когда вся уж почти моя сказка и рассказана. Едем мы один раз с Марфой Андревной от Иверской Божией Матери, а генеральша Вихиорова и хлоп на самой Петровке нам навстречу в коляске, и Метта Ивановна с ними. Тут Марфа Андревна все поняли и… поверите ли, государи мои, или нет, тихо, но горько в карете заплакали.

Карлик замолчал.

— Ну, Никола, — подогнал его протопоп Савелий.

— Ну-с, а тут уж что же: как приехали мы домой, они и говорят Алексею Никитичу: «А ты, сынок, говорят, выходишь дурак, что смел свою мать обманывать, да еще квартального приводил», — и с этим велели укладываться и уехали.

Глава пятая

Николай Афанасьевич обернулся на стульце ко всем слушателям и добавил:

— Я ведь вам докладывал, что история самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица, — добавил он, вставая, — засим и поедемте!

Марья Афанасьевна стала собираться; но дьякон опять выступил со спором, что Николай Афанасьевич не тому святому молебен служил.

— Это, сударь мой, отец дьякон, не мое дело знать, — оправдывался, отыскивая свой пуховой картуз, Николай Афанасьевич.

— Нет, как же не твое! Непременно твое: ты должен знать, кому молишься.

— Позвольте-с, позвольте, я в первый раз как пришел по этому делу в церковь, подал записочку о бежавшей рабе и полтинник, священник и стали служить Иоанну Воинственнику, так оно после и шло.

— Ой! если так, значит, плох священник…

— Чем? чем? чем? Чем так священник плох? — вмешался неожиданно отец Бенефактов.

— Тем, отец Захария, плох, что дела своего не

знает, — отвечал Бенефактову с отменною развязностию Ахилла. — О бежавшем рабе нешто Иоанну Воинственнику петь подобает?

— Да, да; а кому же, по-твоему? кому же? кому же?

— Кому? Забыли, что ли, вы? У ктиторова места лист в прежнее время был наклеен. Теперь его сняли, а я все помню, кому в нем за что молебен петь положено.

— Да.

— Ну и только! Федору Тирону, если вам угодно слышать, вот кому.

— Ложно осуждаешь: Иоанну Воинственнику они правильно служили.

— Не конфузьте себя, отец Захария.

— Я тебе говорю, служили правильно.

— А я вам говорю, понапрасну себя не конфузьте.

— Да что ты тут со мной споришь!

— Нет, это что вы со мной спорите! Я вас ведь, если захочу, сейчас могу оконфузить.

— Ну, оконфузь.

— Ей-Богу, душечка, оконфужу!

— Ну, оконфузь, оконфузь!

— Ей-Богу ведь оконфужу, не просите лучше, потому что я эту таблицу наизусть знаю.

— Да ты не разговаривай, а оконфузь, оконфузь, — смеясь и радуясь, частил Захария Бенефактов, глядя то на дьякона, то на чинно хранящего молчание отца Туберозова.

— Оконфузить? извольте, — решил Ахилла и, сейчас же закинув далеко на локоть широкий рукав рясы, загнул правою рукой большой палец левой руки, как будто собирался его отломить, и начал: — Вот первое: об исцелении от отрясовичной болезни — преподобному Марою.

— Преподобному Марою, — повторил за ним, соглашаясь, отец Бенефактов.

— От огрызной болезни — великомученику Артемию, — вычитывал Ахилла, заломив тем же способом второй палец

— Артемию, — повторил Бенефактов.

— О разрешении неплодства — Роману Чудотворцу; если возненавидит муж жену свою — мученикам Гурию, Самону и Авиву; об отогнании бесов — преподобному Нифонту; об избавлении от блудныя страсти — преподобной Фомаиде…

— И преподобному Моисею Угрину, — тихо подставил до сих пор только в такт покачивавшей своею головкой Бенефактов.

Дьякон, уже загнувший все пять пальцев ле-

вой руки, секунду подумал, глядя в глаза отцу Захарии, и затем, разжав левую руку, с тем чтобы загибать ею правую, произнес:

— Да, тоже можно и Моисею Угрину.

— Ну, теперь продолжай.

— От винного запойства — мученику Вонифатию…

— И Моисею Мурину.

— Что-с?

— Вонифатию и Моисею Мурину, — повторил отец Захария.

— Точно, — повторил дьякон.

— Продолжай.

— О сохранении от злого очарования — священномученику Киприяну…

— И святой Устинии.

— Да позвольте же, наконец, отец Захария, с этими подсказами!

— Да нечего позволять! Русским словом ясно напечатано: и святой Устинии.

— Ну, хорошо! ну, и святой Устинии, а об обретении украденных вещей и бежавших рабов (дьякон начал с этого места подчеркивать свои слова) — Феодору Тирону, его же память празднуем семнадцатого февраля.

Но только что Ахилла протрубил свое последнее

слово, как Захария тою же тихою и бесстрастною речью продолжал чтение таблички словами:

— И Иоанну Воинственнику, его же память празднуем десятого июля.

Ахилла похлопал глазами и проговорил:

— Точно; теперь вспомнил, есть и Иоанну Воинственнику.

— Так о чем же это вы, сударь отец дьякон, изволили целый час спорить? — спросил, протягивая на прощанье свою ручку Ахилле, Николай Афанасьевич.

— Ну вот поди же ты со мною! Дубликаты позабыл, вот из-за чего и спорил, — отвечал дьякон.

— Это, сударь, называется: шапка на голове, а я шапку ищу. Мое глубочайшее почтение, отец дьякон.

— «Шапку ищу»... Ах ты, маленький! — произнес, осклабляясь, Ахилла и, подхватив Николая Афанасьевича с полу, посадил его себе на ладонь и воскликнул: — как пушиночка легенький!

— Перестань, — велел отец Туберозов.

Дьякон опустил карлика и, поставив его на землю, шутливо заметил, что, по легкости Николая Афанасьевича, его никак бы нельзя на вес продавать; но протопопу уже немножко досадила суетливость Ахиллы, и он ему отвечал:

— А ты знаешь ли, кого ценят по весу?

— А кого-с?

— Повесу.

— Покорно вас благодарю-с.

— Не взыщи, пожалуйста.

Дьякон смутился и, обведя носовым бумажным платком по ворсу своей шляпы, проговорил:

— А вы уж нигде не можете обойтись без политики, — и с этим, слегка надувшись, вышел за двери.

Вскоре раскланялись и разошлись в разные стороны и все другие гости.

Николая Афанасьевича с сестрой быстро унесли окованные бронзой троечные дрожки, а Туберозов тихо шел за реку вдвоем с тем самым Дарьяновым, с которым мы его видели в домике просвирни Препотенской.

Перейдя вместе мост, они на минуту остановились, и протопоп, как бы что-то вспомнив, сказал:

— Не удивительно ли, что эта старая сказка, которую рассказал сейчас карлик и которую я так много раз слышал, ничтожная сказочка про эти вязальные старухины спицы, не только меня освежила, но и успокоила от того раздражения, в которое меня ввергла намеднишняя новая дей-

ствительность? Не явный ли знак в этом тот, что я уже остарел и назад меня клонит? Но нет, и не то; таков был я сыздетства, и вот в эту самую минуту мне вспомнился вот какой случай: приехал я раз уже студентом в село, где жил мои детские годы, и застал там, что деревянную церковку сносят и выводят стройный каменный храм… и я разрыдался!

— О чем же?

— Представьте: стало мне жаль деревянной церковки. Чуден и светел новый храм возведут на Руси и будет в нем и светло и тепло молящимся внукам, но больно глядеть, как старые бревна без жалости рубят!

— Да что и хранить-то из тех времен, когда только в спички стучали да карликов для своей потехи женили.

— Да; вот заметьте себе, много, много в этом скудости, а мне от этого пахнуло русским духом. Я вспомнил эту старуху, и стало таково и бодро и приятно, и это бережи моей отрадная награда. Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость! Для вас вот эти прутики старушек ударяют монотонно; но для меня с них каплет сладких сказаний

источник!.. О, как бы я желал умереть в мире с моею старою сказкой.

— Да это, конечно, так и будет.

— Представьте, а я опасаюсь, что нет.

— Напрасно. Кто же вам может помешать?

— Как можно знать, как можно знать, кто это будет? Но, однако, позвольте, что же это я вижу? — заключил протоиерей, вглядываясь в показавшееся на горе облако пыли.

Это облако сопровождало дорожный троечный тарантас, а в этом тарантасе сидели два человека: один– высокий, мясистый, черный, с огненными глазами и несоразмерной величины верхнею губой; другой — субтильный, выбритый, с лицом совершенно бесстрастым и светлыми водянистыми глазками.

Экипаж с этими пассажирами быстро проскакал по мосту и, переехав реку, повернул берегом влево.

— Какие неприятные лица! — сказал, отвернувшись, протопоп.

— А вы знаете ли, кто это такие?

— Нет, слава Богу, не знаю.

— Ну так я вас огорчу. Это и есть ожидаемый у нас чиновник князь Борноволоков; я узнаю его, хоть и давно не видал. Так и есть; вон они и

остановились у ворот Бизюкина.

— Скажите ж на милость, который же из них сам Борноволоков?

— Борноволоков тот, что слева, маленький.

— А тот другой что за персона?

— А эта персона, должно быть, просто его письмоводитель. Он тоже знаменит кой-чем.

— Юрист большой?

— Гм! Ну, этого я не слыхал о нем, а он по какой-то студенческой истории в крепости сидел.

— Батюшки мои! А как имя мужу сему?

— Измаил Термосесов.

— Термосесов?

— Да, Термосесов; Измаил Петров Термосесов.

— Господи, каких у нашего царя людей нет!

— А что такое?

— Да как же, помилуйте: и губастый, и страшный, и в крепости сидел, и на свободу вышел, и фамилия ему Термосесов.

— Не правда ли, ужасно! — воскликнул, расхохотавшись, Дарьянов.

— А что вы думаете, оно, пожалуй, и вправду ужасно! — отвечал Туберозов. — Имя человеческое не пустой совсем звук: певец «Одиссеи» недаром сказал, что «в минуту рождения каждый имя свое себе в сладостный дар получает». Но до

свидания пока. Вечером встретимся?

— Непременно.

— Так вот и прекрасно: там нам будет время добеседовать и об именах и об именосцах.

С этим протопоп пожал руку своего компаньона, и они расстались.

Туберозов пришел вечером первый в дом исправника, и так рано, что хозяин еще наслаждался послеобеденным сном, а именинница обтирала губкой свои камелии и олеандры, окружавшие угольный диван в маленькой гостиной.

Хозяйка и протопоп встретились очень радушно и с простотой, свидетельствовавшей о их дружестве.

— Рано придрал я? — спросил протопоп.

— И очень даже рано, — отвечала, смеясь, хозяйка.

— Подите ж! Жена была права, что останавливала, да что-то не сидится дома; охота гостевать пришла. Давайте-ка я стану помогать вам мыть цветы.

И старик вслед за словом снял рясу, засучил рукава подрясника и, вооружась мокрою тряпочкой, принялся за работу.

В этих занятиях и незначащих перемолвках с хозяйкой о состоянии ее цветов прошло не более

полчаса, как под окнами дома послышался топот подкатившей четверни. Туберозов вздрогнул и, взглянув в окно, произнес в себе: «Ага! нет, хорошо, что я поторопился!» Затем он громко воскликнул: «Пармен Семеныч? Ты ли это, друг?» И бросился навстречу выходившему из экипажа предводителю Туганову.

Глава шестая

Теперь волей-неволей, повинуясь неодолимым обстоятельствам, встречаемым на пути нашей хроники, мы должны оставить на время и старогородского протопопа и предводителя и познакомиться совершенно с другим кружком того же города. Мы должны вступить в дом акцизного чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли давно жданные в город петербургские гости: старый университетский товарищ акцизника князь Борноволоков, ныне довольно видный петербургский чиновник, разъезжающий с целию что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термосесов, также некогда знакомец и одномысленник Бизюкина. Мы входим сюда именно в тот предобеденный час, когда пред этим домом остановилась почтовая тройка, доставившая в

Старогород столичных гостей.

Самого акцизника в это время не было дома, и хозяйственный элемент представляла одна акцизница, молодая дама, о которой мы кое-что знаем из слов дьякона Ахиллы, старой просвирни да учителя Препотенского. Интересная дама эта одна ожидала дорогих гостей, из коих Термосесов ее необыкновенно занимал, так как он был ей известен за весьма влиятельного политического деятеля. О великом характере и о значении этой особы она много слыхала от своего мужа и потому, будучи сама политическою женщиной, ждала этого гостя не без душевного трепета. Желая показаться ему с самой лучшей и выгоднейшей для своей репутации стороны, Бизюкина еще с утра была озабочена тем, как бы ей привести дом в такое состояние, чтобы даже внешний вид ее жилища с первого же взгляда производил на приезжих целесообразное впечатление. Акцизница еще спозаранка обошла несколько раз все свои комнаты и нашла, что все никуда не годится. Остановись посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной, она в отчаянии воскликнула: «Нет, это черт знает что такое! Это совершенно так, как и у Порохонцевых, и у Дарьяновых, и у почтмейстера, словом, как у всех, даже, пожалуй,

гораздо лучше! Вот, например, у Порохонцевых нет часов на камине, да и камина вовсе нет; но камин, положим, еще ничего, этого гигиена требует; а зачем эти бра, зачем эти куклы, наконец зачем эти часы, когда в зале часы есть?.. А в зале? Господи! Там фортепьяно, там ноты… Нет, это решительно невозможно так, и я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной как-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мне Термосесов мог написать что-нибудь вроде того, что в умном романе «Живая душа» умная Маша написала своему жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара. Эта умная девушка прямо написала ему, что, мол, «после того, что я у вас видела, между нами все кончено». Нет, я этого не хочу. Я знаю, как надо принять деятелей! Одно досадно: не знаю, как именно у них все в Петербурге?.. Верно, у них там все это как-нибудь скверно, то есть я хотела сказать прекрасно… тфу, то есть скверно… Черт знает что такое. Да! Но куда же, однако, мне все это деть? Неужели же все выбросить? Но это жаль, испортится; а это все денег стоит, да и что пользы выбросить вещи, когда кругом, на что ни взглянешь… вон в спальне кружевные занавески… положим, что это в спальне, куда гости не заглянут… ну, а если

заглянут!.. Ужасная гадость. Притом же дети так хорошо одеты!.. Ну да их не покажут; пусть там и сидят, где сидят; но все-таки… все выбрасывать жаль! Нет, лучше уж одну мужнину комнату отделать.

И с этим молодая чиновница позвала людей и велела им тотчас же перенести все излишнее, по ее мнению, убранство мужнина кабинета в кладовую.

Кабинет акцизника, и без того обделенный убранством в пользу комнат госпожи и повелительницы дома, теперь совсем был ободран и представлял зрелище весьма печальное. В нем оставались стол, стул, два дивана и больше ничего.

«Вот и отлично, — подумала Бизюкина. — По крайней мере есть хоть одна комната, где все совершенно как следует». Затем она сделала на письменном столе два пятна чернилами, опрокинула ногой в углу плевальницу и рассыпала по полу песок… Но, Боже мой! возвратясь в зал, акцизница заметила, что она было чуть-чуть не просмотрела самую ужасную вещь: на стене висел образ!

— Ермошка! Ермошка! скорей тащи долой этот образ и неси его… я его спрячу в комод.

Образ был спрятан.

— Как это глупо, — рассуждала она, — что жених, ожидая живую душу, побил свои статуи и порвал занавески? Эй, Ермошка, подавай мне сюда занавески! Скорей свертывай их. Вот так! Теперь сам смотри же, чертенок, одевайся получше!

— Получше-с?

— Ну да, конечно, получше. Что там у тебя есть?

— Бешмет-с.

— Бешмет, дурак, «бешмет-с»! Жилетку, манишку и новый кафтан, все надень, чтобы все было как должно, — да этак не изволь мне отвечать по-лакейски: «чего-с изволите-с» да «я вам докладывал-с», а просто говори: «что, мол, вам нужно?» или: «я, мол, вам говорил». Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Не «понимаю-с», глупый мальчишка, а просто «понимаю», ю, ю, ю; просто понимаю!

— Понимаю.

— Ну вот и прекрасно. Ступай одевайся, у нас будут гости. Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Понимаю, дурак, понимаю, а не «понимаю-с».

— Понимаю.

— Ну и пошел вон, если понимаешь.

Озабоченная хозяйка вступила в свой будуар, открыла большой ореховый шкаф с нарядами и, пересмотрев весь свой гардероб, выбрала, что там нашлось худшего, позвала свою горничную и велела себя одевать.

— Марфа! ты очень не любишь господ?

— Отчего же-с?

— Ну, «отчего же-с»? Так, просто ни отчего. За что тебе любить их?

Девушка была в затруднении.

— Что они тебе хорошего сделали?

— Хорошего ничего-с.

— Ну и ничего-с, и дура, и значит, что ты их не любишь, а вперед, я тебя покорно прошу, ты не смей мне этак говорить: «отчего же-с», «ничего-с», а говори просто «отчего» и «ничего». Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Вот и эта: «понимаю-с». Говори просто «понимаю».

— Да зачем так, сударыня?

— Затем, что я так хочу.

— Слушаю-с.

— «Слушаю-с». Я сейчас только сказала: говори

просто «слушаю и понимаю».

— Слушаю и понимаю; но только мне этак, сударыня, трудно.

— Трудно? Зато после будет легко. Все так будут говорить. Слышишь?

— Слышу-с.

— «Слышу-с»… Дура. Иди вон! Я тебя прогоню, если ты мне еще раз так ответишь. Просто «слышу», и ничего больше. Господ скоро вовсе никаких не будет; понимаешь ты это? не будет их вовсе! Их всех скоро… топорами порежут. Поняла?

— Поняла, — ответила девушка, не зная, как отвязаться.

— Иди вон и пошли Ермошку.

«Теперь необходимо еще одно, чтоб у меня здесь была школа». И Бизюкина, вручив Ермошке десять медных пятаков, велела заманить к ней с улицы, сколько он может, мальчишек, сказав каждому из них, что они у нее получат еще по другому пятаку.

Ермошка вернулся минут через десять в сопровождении целой гурьбы оборванцев — уличных ребятишек.

Бизюкина оделила их пятаками и, посадив их в мужнином кабинете, сказала:

— Я вас буду учить и дам вам за это по пятачку. Хорошо?

Ребятишки подернули носами и прошипели:

— Ну дак что ж.

— А мы в книжку не умеем читать, — отозвался мальчик посмышленее прочих.

— Песню учить будете, а не книжку.

— Ну, песню, так ладно.

— Ермошка, иди и ты садись рядом.

Ермошка сел и застенчиво закрыл рот рукой.

— Ну, теперь валяйте за мною!

Как идет млад кузнец да из кузницы.

Дети кое-как через пятое в десятое повторили.

— «Слава!» — воскликнула Бизюкина.

— «Слава!» — повторили дети.

Под полой три ножа да три острых несет. Слава!

Тут Ермошка приподнял вверх голову и, взглянув в окно, вскрикнул:

— Сударыня, гости!

Бизюкина бросила из рук линейку, которою размахивала, уча детей песне, и быстро рванулась в залу.

Ермошка опередил ее и выскочил сначала в

переднюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Борноволокова и Термосесова. Молодая политическая дама была чрезмерно довольна собою, гости застали ее, как говорится, во всем туалете.

Глава седьмая

Князь Борноволоков и Термосесов, при внимательном рассмотрении их, были гораздо занимательнее, чем показались они мельком Туберозову.

Сам ревизор был живое подобие уснувшего ерша: маленький, вихрястенький, широкоперый, с глазами, совсем затянутыми какою-то сонною влагой. Он казался ни к чему не годным и ни на что не способным; это был не человек, а именно сонный ерш, который ходил по всем морям и озерам и теперь, уснув, осклиз так, что в нем ничего не горит и не светится.

Термосесов же был нечто напоминающее кентавра. При огромном мужском росте у него было сложение здоровое, но чисто женское: в плечах он узок, в тазу непомерно широк; ляжки как лошадиные окорока, колени мясистые и круглые; руки сухие и жилистые; шея длинная, но не с

кадыком, как у большинства рослых людей, а лошадиная — с зарезом; голова с гривой вразмет на все стороны; лицом смугл, с длинным, будто армянским носом и с непомерною верхнею губой, которая тяжело садилась на нижнюю; глаза у Термосесова коричневого цвета, с резкими черными пятнами в зрачке; взгляд его пристален и смышлен.

Костюмы новоприбывших гостей тоже были довольно замечательны. На Борноволокове надето маленькое серенькое пальто вроде рейт-фрака и шотландская шапочка с цветным околышем, а на Термосесове широкий темно-коричневый суконный сак, подпоясанный широким черным ремнем, и форменная фуражка с зеленым околышем и кокардой; Борноволоков в лайковых полусапожках, а Термосесов в так называемых суворовских сапогах.

Вообще Термосесов и шире скроен, и крепче сшит, и по всему есть существо гораздо более фундаментальное, чем его начальник. Фундаментальность эта еще более подкрепляется его отменною манерой держаться.

Ревизор Борноволоков, ступив на ноги из экипажа, прежде чем дойти до крыльца, сделал несколько шагов быстрых, но неровных, озираясь

по сторонам и оглядываясь назад, как будто он созерцал город и даже любовался им, а Термосесов не верхоглядничал, не озирался и не корчил из себя первое лицо, а шел тихо и спокойно у левого плеча Борноволокова. Лошадиная голова Термосесова была им слегка опущена на грудь, и он как будто почтительно прислушивался к тому, что думает в это время в своей голове его начальник. Бизюкина видела все это. Она наблюдала новоприезжих из-за оконной притолки и млела в недоумении: который же из этих двоих ревизор Борноволоков и который Термосесов? По ее соображениям выходило, что князь Борноволоков непременно этот большой, потому что он в форменной фуражке и с кокардой, а тот вон, без формы, в рейт-фрачке и пестренькой шапочке, — Термосесов, человек свободный, служащий по вольному найму. Хозяйку, кроме того, томил другой вопрос: как ей их встретить?.. Выйти навстречу?.. это похоже на церемонию. Ничего не делать, сидеть, пока войдут?.. натянуто. Книгу читать?.. Да, это самое естественное, читать книгу.

И она взяла первую попавшуюся ей в руки книгу и, взглянув поверх ее в окно, заметила, что у Борноволокова, которого она считала Термосесовым, руки довольно грязны, между тем как ее

праздные руки белы как пена.

Бизюкина немедленно схватила горсть земли из стоявшего на окне цветного вазона, растерла ее в ладонях и, закинув колено на колено, села, полуоборотясь к окну, с книгой.

В эту самую минуту в сенях послышался веселый, довольно ласковый бас, и вслед за тем двери с шумом отворились, и в переднюю вступили оба гостя: Термосесов впереди, а за ним князь Борноволоков.

Глава восьмая

Хозяйка сидела и не трогалась. Она в это время только вспомнила, как неуместен должен показаться гостям стоящий на окне цветок и, при всем своем замешательстве, соображала, как бы ловчее сбросить его за открытое окошко. Мысль эта так ее занимала, что она даже не вслушалась в первый вопрос, с которым отнесся к ней один из ее новоприезжих гостей, что ей и придало вид особы, непритворно занятой чтением до самозабвения.

Термосесов посмотрел на нее через порог и должен был повторить свой вопрос.

— Вы кто здесь, может быть, сама Бизюкина? —

спросил он, спокойно всовываясь в залу.

— Я — Бизюкина, — отвечала, не поднимаясь с места, хозяйка.

Термосесов вошел в зал и заговорил:

— Я Термосесов, Измаил, Петров сын, Термосесов, вашего мужа когда-то товарищ по воспитанию, но после из глупости размолвили; а это князь Афанасий Федосеич Борноволоков, чиновник из Петербурга и ревизор, пробирать здесь всех будем. Здравствуйте!

Термосесов протянул руку.

Бизюкина подала свою руку Термосесову, а другою, кладя на окно книгу, столкнула на улицу вазон.

— Что это; вы, кажется, цветок за окно уронили?

— Нет, нет; пустое… Это совсем не цветок, это трава от пореза, но уж она не годится.

— Да, разумеется, не годится: какой же шут теперь лечится от пореза травой. А впрочем, может быть еще есть и такие ослы. А где же это ваш муж?

Бизюкина оглянулась на ревизора, который, ни слова не говоря, тихо сел на диванчик, и отвечала Термосесову, что мужа ее нет дома.

— Нет! Ну, это ничего: свои люди — сочтемся.

Мы ведь с ним большие были приятели, да после из глупости немножко повздорили; но все-таки я вам откровенно скажу, ваш муж не по вас. Нет, не по вас, — тут и толковать нечего, что не по вас. Он фофан — и больше ничего, и это счастье его, что вы ему могли такое место доставить по акцизу; а вы молодчина и все уладили; и место мужу выхлопотали, и чудесно у вас тут! — добавил он, заглянув насколько мог по всем видным из залы комнатам и, заметив в освобожденном от всяких убранств кабинете кучу столпившихся у порога детей, добавил:

— А-а! да у вас тут есть и школка. Ну, эта комнатка зато и плохандрос: ну, да для школы ничего. Чему вы их, паршь-то эту, учите? — заключил он круто.

Ненаходчивая Бизюкина совсем не знала, что ей отвечать. Но Термосесов сам выручил. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к ребятишкам и, подняв одного из них за подбородок, заговорил:

— А что? Умеешь горох красть? Воруй, братец, и когда в Сибирь погонят, то да будет над тобой мое благословение. Отпустите их, Бизюкина! Идите, ребятишки, по дворам! Марш горох бузовать.

Дети один за другим тихо выступили и, перетянувшись гуськом через залу, шибко побежали по

сеням, а потом по двору.

— Что все эти школы? канитель!

— Я и сама это нахожу, — осмелилась вставить хозяйка.

— Да, разумеется; субсидии ведь не получаете?

— Нет; какая ж субсидия?

— Отчего ж? другие из наших берут. А это, вероятно, ваш фруктик? — вопросил он, указав на вошедшего нарядного Ермошку, и, не ожидая ответа, заговорил к нему:

— Послушайте, милый фруктик: вели-ко, дружочек, прислуге подать нам умыться!

— Это вовсе не сын мой, — отозвалась сконфуженная хозяйка.

Но Термосесов ее не слышал. Ухватясь за мысль, что видит пред собой хозяйского сына, он развивал ее, к чему его готовить и как его вести.

— К службе его приспособляйте. Чтобы к литературе не приохочивался. Я вот и права не имею поступить на службу, но кое-как, хоть как-нибудь, бочком, ничком, а все-таки примкнул. Да-с; а я ведь прежде тоже сам нигилист был и даже на вашего мужа сердился, что он себе службу достал. Глупо! отчего нам не служить? на службе нашего брата любят, на службе деньги имеешь; на службе влияние у тебя есть — не то что там, в этой

литературе. Там еще дарования спрашивают, а тут дарования даже вредят, и их не любят. Эх, да-с, матушка, да-с! служить сынка учите, служить.

— Да… Но, однако, мастерские идут, — заметила Дайка.

— Идут?.. Да, идут, — ответил с иронией Термосесов. — А им бы лучше потверже стоять, чем все идти. Нет, я замечаю, вы рутинистка. В России сила на службе, а не в мастерских — у Веры Павловны. Это баловство, а на службе я настоящему делу служу; и сортирую людей: ты такой? — так тебя, а ты этакой? — тебя этак. Не наш ты? Я тебя приневолю, придушу, сокрушу, а казна мне за это плати. Хоть немного, а все тысячки три-четыре давай. Это уж теперь такой прификс[71]. Что вы на меня так глазенками-то уставились? или дико без привычки эту практику слышать?

Удивленная хозяйка молчала, а гость продолжал:

— Вы вон школы заводите, что же? по-настоящему, как принято у глупых красных петухов, вас за это, пожалуй, надо хвалить, а как Термосесов практик, то он не станет этого делать. Термосесов говорит: бросьте школы, они вредны; народ, обу-

---

[71] Примечания: 71
Твердая цена (франц.).

чаясь грамоте, станет святые книги читать. Вы думаете, грамотность к разрушающим элементам относится? Нет-с. Она идет к созидающим, а нам надо прежде все разрушить.

— Но ведь говорят же, что революция с нашим народом теперь невозможна, — осмелилась возразить хозяйка.

— Да, и на кой черт она нам теперь, революция, когда и так без революции дело идет как нельзя лучше на нашу сторону… А вон ваш сынишка, видите, стоит и слушает. Зачем вы ему позволяете слушать, что большие говорят?

— Это совсем не мой сын, — ответила акцизница.

— Как не сын ваш: а кто же он такой?

— Мальчишка, слуга.

— Мальчишка, слуга! А выфранчен лихо. Пошел, нам умыться готовь, чертенок.

— Готово, — резко ответил намуштрованный Ермошка.

— А что же ты давно не сказал? Пошел вон!

Термосесов обернулся к неподвижному во все время разговора Борноволокову и, взяв очень ласковую ноту, проговорил:

— Позвольте ключ, я достану вам из сака ваше полотенце.

Но молчаливый князь свернулся и не дал ключа.

— Да полотенце вам, верно, подано, — отозвалась хозяйка.

— Есть, — крикнул из кабинета Ермошка.

— «Есть!» Ишь как орет, каналья.

Термосесов довольно комично передразнил Ермошку и, добавив: «от самый чистокровный нигилист!», пошел вслед за Борноволоковым в кабинет, где было приготовлено умыванье.

Первое представление кончилось, и хозяйка осталась одна, — одна, но с бездною новых чувств и глубочайших размышлений.

Бизюкина совсем не того ожидала от Термосесова и была поражена им. Ей было и сладко и страшно слушать его неожиданные и совершенно новые для нее речи. Она не могла еще пока отдать себе отчета в том, лучше это того, что ею ожидалось, или хуже, но ей во всяком случае было приятно, что во всем, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобного и укладливого. Это ей нравилось.

— Вот что называется в самом деле быть умным! — рассуждала она, не сводя изумленного взгляда с двери, за которою скрылся Термосесов. — У всех строгости, заказы, а тут ничего: все

позволяется, все можно, и между тем этот человек все-таки никого не боится. Вот с каким человеком легко жить; вот кому даже сладко покоряться.

Коварный незнакомец смертельно покорил сердце Данки. Вся прыть, которою она сызмлада отличалась пред своим отцом, мужем, Варнавкой и всем человеческим обществом, вдруг ее предательски оставила. После беседы с Термосесовым Бизюкина почувствовала неодолимое влечение к рабству. Она его уже любила — любила, разумеется, рационально, любила за его несомненные превосходства. Бизюкиной все начало нравиться в ее госте: что у него за голос? что в нем за сила? И вообще, какой он мужчина!.. Какой он прелестный! Не селадон, как ее муж; не мямля, как Препотенский; нет, он решительный, неуступчивый… настоящий мужчина… Он ни в чем не уступит… Он как… настоящий ураган… идет… палит, жжет…

Да; бедная Дарья Николаевна Бизюкина не только была влюблена, но она была неисцелимо уязвлена жесточайшею страстью: она на мгновение даже потеряла сознание и, закрыв веки, почувствовала, что по всему ее телу разливается доселе неведомый, крепящий холод; во рту у корня языка потерпло, уста похолодели, в ушах

отдаются учащенные удары пульса, и слышно, как в шее тяжело колышется сонная артерия.

Да! дело кончено! Где-то ты, где ты теперь, бедный акцизник, и не чешется ли у тебя лоб, как у молодого козленка, у которого пробиваются рога?

Глава девятая

Влюбленная Бизюкина уже давно слышала сквозь затворенную дверь кабинета то тихое утиное плесканье, то ярые взбрызги и горловые фиоритуры; но все это уже кончилось, а Термосесов не является. Неужто он еще не наговорился с этим своим бессловесным вихрястым князем, или он спит?.. Чего мудреного: ведь он устал с дороги. Или он, может быть, читает?.. Что он читает? И на что ему читать, когда он сам умнее всех, кто пишет?.. Но во время этих впечатлений дверь отворилась, и на пороге предстал мальчик Ермошка с тазом, полным мыльною водой, и не затворил за собою двери, а через это Дарье Николаевне стало все видно. Вон далеко, в глубине комнаты, маленькая фигурка вихрястого князька, который смотрел в окно, а вон тут же возле него, но несколько ближе, мясистый торс

Термосесова. Ревизор и его письмоводитель оба были в дезабилье. Борноволоков был в панталонах и белой как кипень голландской рубашке, по которой через плечи лежали крест-накрест две алые ленты шелковых подтяжек; его маленькая белокурая головка была приглажена, и он еще тщательнее натирал ее металлическою щеткой. Термосесов же стоял весь выпуклый, представляясь и всею своею физиономией и всею фигурой: ворот его рубахи был расстегнут, и далеко за локоть засученные рукава открывали мускулистые и обросшие волосами руки. На этих руках Термосесов держал длинное русское полотенце с вышитыми на концах красными петухами и крепко тер и трепал в нем свои взъерошенные мокрые волосы.

По энергичности, с которою приятнейший Измаил Петрович производил эту операцию, можно было без ошибки отгадать, что те веселые, могучие и искренние фиоритуры, которые минуту тому назад неслись из комнаты сквозь затворенные двери, пускал непременно Термосесов, а Борноволоков только свиристел и плескался по-утиному. Но вот Ермошка вернулся, дверь захлопнулась, и сладостное видение скрылось.

Однако Термосесов в это короткое время уже

успел окинуть поле своим орлиным оком и не упустил случая утешить Бизюкину своим появлением без вихрястого князя. Он появился в накинутом наопашь саке своем и, держа за ухо Ермошку, выпихнул его в переднюю, крикнув вслед ему:

— И глаз не смей показывать, пока не позову!

Затем он запер вплотную дверь в кабинет, где оставался князь, и в том же наряде прямо подсел к акцизнице.

— Послушайте, Бизюкина, ведь этак, маточка, нельзя! — начал он, взяв ее бесцеремонно за руку. — Посудите сами, как вы это вашего подлого мальчишку избаловали: я его назвал поросенком за то, что он князю все рукава облил, а он отвечает: «Моя мать-с не свинья, а Аксинья». Это ведь, конечно, все вы виноваты, вы его так наэмансипировали? Да?

И Термосесов вдруг совершенно иным голосом и самою мягкою интонацией произнес: «Ну, так да, что ли? да?» Это да было произнесено таким тоном, что у Бизюкиной захолонуло в сердце. Она поняла, что ответ требуется совсем не к тому вопросу, который высказан, а к тому, подразумеваемый смысл которого даже ее испугал своим реализмом, и потому Бизюкина молчала. Но Тер-

мосесов наступал.

— Да? или нет? да или нет? — напирал он с оттенком резкого нетерпения.

Места долгому раздумью не было, и Бизюкина, тревожно вскинув на Термосесова глаза, начала было робко:

— Да я не зн…

Но Термосесов резко прервал ее на полуслове.

— Да! — воскликнул он, — да! и довольно! И больше мне от тебя никаких слов не нужно. Давай свои ручонки: я с первого же взгляда на тебя узнал, что мы свои, и другого ответа от тебя не ожидал. Теперь не трать время, но докажи любовь поцелуем.

— Не хотите ли вы чаю? — пролепетала, как будто бы не слыхав этих слов, акцизница.

— Нет, этим меня не забавляй: я голова не чайная, а я голова отчаянная.

— Так, может быть, вина? — шептала, вырываясь, Дарья Николаевна.

— Вина? — повторил Термосесов, — ты — «слаще мирра и вина», — и он с этим привлек к себе мадам Бизюкину и, прошептав: — Давай «сольемся в поцелуй», — накрыл ее алый ротик своими подошвенными губами.

— А скажи-ка мне теперь, зачем же это ты

такая завзятая монархистка? — начал он непосредственно после поцелуя, держа пред своими глазами руку дамы.

— Я вовсе не монархистка! — торопливо отреклась Бизюкина.

— А по ком же ты этот траур носишь: по мексиканскому Максимилиану? — И Термосесов, улыбаясь, указал ей на черные полосы за ее ногтями и, отодвинув ее от себя, сказал: — Ступай вымой руки!

Акцизница вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нее всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно загрязнила их, чтобы только заслужить похвалу, но какие тут оправдания?.. Она бросилась в свою спальню, вымыла там свои руки и, выходя с улыбкой назад, объявила:

— Ну вот я и опять республиканка, у меня белые руки.

Но гость погрозил ей пальцем и отвечал, что республиканство — это очень глупая штука.

— Что еще за республика! — сказал он, — за это только горячо достаться может. А вот у меня есть с собою всего правительства фотографические карточки, не хочешь ли, я их тебе подарю, и мы их развесим на стенку?

— Да у меня они и у самой есть.

— А где же они у тебя? Верно, спрятаны? А? Клянусь самим сатаной, что я угадал: петербургских гостей ждала и, чтобы либерализмом пофорсить, взяла и спрятала? Глупо это, дочь моя, глупо! Ступай-ка тащи их скорее сюда, я их опять тебе развешу.

Пойманная и изобличенная акцизница снова спламенела до ушей, но вынула из стола оправленные в рамки карточки и принесла по требованию Термосесова молоток и гвозди, которыми тот и принялся работать.

— Я думаю, их лучше всего здесь, на этой стене, разместить? — рассуждал он, водя пальцем.

— Как вы хотите.

— Да чего ты все до сих пор говоришь мне вы, когда я тебе говорю ты? Говори мне *ты.* А теперь подавай мне сюда портреты.

— Это все муж накупил.

— И прекрасно, что он начальство уважает, и прекрасно! Ну, мы господ министров всех рядом под низок. Давай? Это кто такой? Горчаков. Канцлер, чудесно! Он нам Россию отстоял! Ну, молодец, что отстоял, — давай мы его за то первого и повесим. А это кто? ба! ба! ба!

Термосесов поднял вровень с своим лицом

карточку покойного графа Муравьева и пропел:

— Михайло Николаич, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

— Вы с ним разве были знакомы?

— Я?... то есть ты спрашиваешь, лично был ли я с ним знаком? Нет; меня Бог миловал, — а наши кое-кто наслаждались его беседой. Ничего; хвалят и превозносят. Он одну нашу барыню даже в Христову веру привел и Некрасова музу вдохновил. Давай-ка я его поскорее повешу! Ну, вот теперь и все как следует на месте.

Термосесов соскочил на пол, взял хозяйку за локти и сказал:

— Ну, а теперь какое же мне от тебя поощрение будет?

Бизюкиной это показалось так смешно, что она тихонько рассмеялась и спросила:

— За что поощрение?

— Аза все: за труды, за заботы, за расположение. Ты, верно, неблагодарная? — И Термосесов, взяв правую руку Бизюкиной, положил ее себе на грудь.

— Правда, что у меня горячее сердце? — спросил он, пользуясь ее смущением.

Но Дарья Николаевна была обижена и, дернув руку, сердито заметила:

— Вы, однако, уже слишком дерзки!

— Те-те-те-те! — «ви слиськом дельски», а совсем «не слиськом», а только как раз впору, — передразнил ее

Термосесов и обвел другую свою свободную руку вокруг ее стана.

— Вы просто наглец! Вы забываете, что мы едва знакомы, — заговорила, вырываясь от него, разгневанная Дарья Николаевна.

— Ни капли я не наглец, и ничего я не забываю, а Термосесов умен, прост, естественен и практик от природы, вот и все. Термосесов просто рассуждает: если ты умная женщина, то ты понимаешь, к чему разговариваешь с мужчиной на такой короткой ноге, как ты со мною говорила; а если ты сама не знаешь, зачем ты себя так держишь, так ты, выходит, глупа, и тобою дорожить не стоит.

Бизюкина, конечно, непременно желала быть умною.

— Вы очень хитры, — сказала она, слегка отклоняя свое лицо от лица Термосесова.

— Хитер! На что же мне тут хитрость? Разумеется, если ты меня любишь или я тебе нравлюсь…

— Кто же вам сказал, что я вас люблю?

— Ну, полно врать!

— Нет, я вам правду говорю. Я вовсе вас не люб-

лю, и вы мне нимало не нравитесь.

— Ну, полно врать вздор! как не любишь? Нет, а ты вот что: я тебя чувствую, и понимаю, и открою тебе, кто я такой, но только это надо наедине.

Бизюкина молчала.

— Понимаешь, что я говорю? чтоб узнать друг друга вполне — нужна рандевушка… с политическою, разумеется, целию.

Бизюкина опять молчала.

Термосесов вздохнул и, тихо освободив руку своей дамы, проговорил:

— Эх вы, жены, всероссийские жены! А туда же с польками равняются! Нет, далеко еще вам, подруженьки, до полек! Дай-ка Измаила Термосесова польке, она бы с ним не рассталась и горы бы Араратские с ним перевернула.

— Польки — другое дело, — заговорила акцизница.

— Почему другое?

— Они любят свое отечество, а мы свое ненавидим.

— Ну так что же? У полек, стало быть, враги — все враги самостоятельности Польши, а ваши враги — все русские патриоты.

— Это правда.

— Ну так кто же здесь твой злейший враг? Го-

вори, и ты увидишь, как он испытает на себе всю тяжесть руки Термосесова!

— У меня много врагов.

— Злейших называй! Называй самых злейших!

— Злейших двое.

— Имена сих несчастных, имена подавай!

— Один… Это здешний дьякон Ахилла.

— Смерть дьякону Ахилле!

— А другой: протопоп Туберозов.

— Гибель протопопу Туберозову!

— За ним у нас весь город, весь народ.

— Ну так что же такое, что весь город и весь народ? Термосесов знает начальство и потому никаких городов и никаких народов не боится.

— Ну, а начальство не совсем его жалует.

— А не совсем жалует, так тем ему вернее и капут; теперь только закрепи все это как следует: «полюби и стань моей, Иродиада!»

Бизюкина бестрепетно его поцеловала.

— Вот это честно! — воскликнул Термосесов и, расспросив у своей дамы, чем и как досаждали ей ее враги Туберозов и Ахилла, пожал с улыбкой ее руку и удалился в комнату, где оставался во все это время его компаньон.

Глава десятая

Ревизор еще не спал, когда к нему возвратился его счастливый секретарь.

Одетый в белую коломянковую жакетку, сиятельный сопутник Термосесова лежал на приготовленной ему постели и, закрыв ноги легким пледом, дремал или мечтал с опущенными веками.

Термосесов пожелал удостовериться, спит его начальник или только притворяется спящим, и для того он тихо подошел к кровати, нагнулся к его лицу и назвал его по имени.

— Вы спите? — спросил его Термосесов.

— Да, — отвечал Борноволоков.

— Ну где ж там да? Значит, не спите, если откликаетесь. — Да.

— Ну, это и выходит нелепость.

Термосесов отошел к другому дивану, сбросил с себя свой сак и начал тоже умащиваться на покой.

— А я этим временем, пока вы здесь дремали, много кое-что обработал, — начал он, укладываясь.

Борноволоков в ответ на это опять уронил

только одно *да,* но «да» совершенно особое, так сказать любопытное *да* с оттенком вопроса.

— Да, вот-с как да, что я, например, могу сказать, что я кое-какие преполезнейшие для нас сделал открытия.

— С этою дамой?

— С дамой? Дама– это само по себе, — это дело между-дельное! Нет-с, а вы помните, что я вам сказал, когда поймал вас в Москве на Садовой?

— Ох, да!

— Я вам сказал: «Ваше сиятельство, премилостивейший мой князь! Так со старыми товарищами нельзя обходиться, чтоб их бросать: так делают только одни подлецы». Сказал я вам это или не сказал?

— Да, вы это сказали.

— Ага! вы помните! Ну так вы тоже должны помнить, как я вам потом развил мою мысль и доказал вам, что вы, наши принцы egalite[72], обратясь теперь к преимуществам своего рода и состояния по службе, должны не задирать

[72] Примечания: 72

Во время Французской революции герцог Филипп Орлеанский (1747–1793), известный в истории под именем Филиппа Эгалите, и его сын, будущий французский король Луи-Филипп (1773–1850), отказались от своего титула и стали именоваться гражданами Эгалите (Равенство).

носов пред нами, старыми монтаньярами[73] и бывшими вашими друзьями. Я вам это все путем растолковал.

— Да, да.

— Прекрасно! Вы поняли, что со мной шутить плохо, и были очень покладисты, и я вас за это хвалю. Вы поняли, что вам меня нельзя так подкидывать, потому что голод-то ведь не свой брат и, голодая-то, мало ли кто что может припомнить? А у Термосесова память первый сорт и сметка тоже водится: он, еще когда вы самым красным революционером были, знал, что вы непременно свернете.

— Да.

— Вы решились взять меня с собою вроде письмоводителя… То есть, если по правде говорить, чтобы не оскорблять вас лестию, вы не решились этого сделать, а я вас заставил взять меня. Я вас припугнул, что могу выдать ваши переписочки кое с кем из наших привислянских братий.

— Ох!

— Ничего, князь не вздыхайте. Я вам что тогда сказал в Москве на Садовой, когда держал вас за пуговицу и когда вы от меня удирали, то и сейчас

---

[73] Примечания: 73

Горцы (франц.) — якобинцы, получившие это прозвание потому, что сидели в Конвенте на верхних местах.

скажу: не тужите и не охайте, что на вас напал Термосесов. Измаил Термосесов вам большую службу сослужит. Вы вон там с вашею нынешнею партией, где нет таких плутов, как Термосесов, а есть другие почище его, газеты заводите и стремитесь к тому, чтобы не тем, так другим способом над народишком инспекцию получить.

— Да-с.

— Ну так никогда вы этого не получите.

— Почему?

— Потому что очень неискусны: сейчас вас патриоты по лапам узнают и за вихор да на улицу.

— Гм!

— Да-с; а вы бросьте эти газеты да возьмитесь за Термосесова, так он вам дело уладит. Будьте-ка вы Иван Царевич, а я буду ваш Серый Волк.

— Да, вы Серый Волк.

— Вот оно что и есть: я Серый Волк, и я вам, если захочу, помогу достать и златогривых коней, и жар-птиц, и царь-девиц, и я учиню вас вновь на господарстве.

И с этим Серый Волк, быстро сорвавшись с своего логова, перескочил на кровать своего Ивана Царевича и тихо сказал:

— Подвиньтесь-ка немножко к стене, я вам кое-что пошепчу.

Борноволоков подвинулся, а Термосесов присел к нему на край кровати и, обняв его рукой, начал потихоньку речь:

— Хлестните-ка по церкви: вот где язва! Ею набольших-то хорошенько пугните!

— Ничего не понимаю.

— Да ведь христианство равняет людей или нет? Ведь известные, так сказать, государственные люди усматривали же вред в переводе Библии на народные языки. Нет-с, христианство… оно легко может быть толкуемо, знаете, этак, в опасном смысле. А таким толкователем может быть каждый поп.

— Попы у нас плохи, их не боятся.

— Да, это хорошо, пока они плохи, но вы забываете-с, что и у них есть хлопотуны; что, может быть, и их послобонят, и тогда и попы станут иные. Не вольготить им нужно, а нужно их подтянуть.

— Да, пожалуй.

— Так-с; стойте на том, что все надо подобрать и подтянуть, и благословите судьбу, что она послала вам Термосесова, да держитесь за него, как Иван Царевич за Серого Волка. Я вам удеру такой отчет, такое донесение вам сочиню, что враги ваши, и те должны будут отдать вам честь

и признают в вас административный гений.

Термосесов еще понизил голос и заговорил:

— Помните, когда вы здесь уже, в здешнем губернском городе, в последний раз с правителем губернаторской канцелярии, из клуба идучи, разговаривали, он сказал, что его превосходительство жалеет о своих прежних бестактностях и особенно о том, что допустил себя до фамильярности с разными патриотами.

— Да.

— Помните, как он упоминал, что его превосходительству один вольномысленный поп даже резкостей наговорил.

— Да.

— А ведь вот вы небось не спохватились, что этот поп называется Туберозов и что он здесь, в этом самом городе, в котором вы растягиваетесь, и решительно не будете в состоянии ничего о нем написать.

Борноволоков вдруг вскочил и, сев на кровати, спросил:

— Но как вы можете знать, что мне говорил правитель канцелярии?

— А очень просто. Я тогда потихоньку сзади вас шел. За вами ведь не худо присматривать. Но теперь не в этом дело, а вы понимаете, мы с

этого попа Туберкулова начнем свою тактику, которая в развитии своем докажет его вредность, и вредность вообще подобных независимых людей в духовенстве; а в окончательном выводе явится логическое заключение о том, что религия может быть допускаема только как одна из форм администрации. А коль скоро вера становится серьезною верой, то она вредна, и ее надо подобрать и подтянуть. Это будет вами первыми высказанная мысль, и она будет повторяться вместе с вашим именем, как повторяются мысли Макиавелли и Меттерниха. Довольны ли вы мною, мой повелитель?

— Да.

— И уполномочиваете меня действовать?

— Да.

— То есть как разуметь это «да»? Значит ли оно, что вы этого хотите?

— Да, хочу.

— То-то! А то ведь у вас «да» значит и да и нет.

Термосесов отошел от кровати своего начальника и добавил:

— А то ведь… нашему брату, холопу, долго бездействовать нельзя: нам бабушки не ворожат, как вам, чтобы прямо из нигилистов в сатрапы попадать. Я и о вас, да и о себе хлопочу; мне

голодать уже надоело, а куда ни сунешься, все формуляр один: «красный» да «красный», и никто брать не хочет.

— Побелитесь.

— Белил не на что купить-с.

— Зачем вы в Петербурге в шпионы себя не предложили?

— Ходил-с и предлагал, — отвечал беззастенчиво Термосесов, — но с нашим нынешним реализмом-то уже все эти выгодные вакансии стали заняты. Надо, говорят, прежде чем-нибудь зарекомендоваться.

— Так и зарекомендуйтесь.

— Дайте случай способности свои показать; а то, ей-богу, с вас начну.

— Скот, — прошипел Борноволоков.

— Мм-м-м-м-у-у-у! — замычал громко Термосесов. Борноволоков вскочил и, схватясь в ужасе за голову, спросил:

— Это еще что?

— Это? это черный скот мычит, жратвы просит и приглашает белых быть с ним вежливее, — проговорил спокойно Термосесов.

Борноволоков скрипнул в досаде зубами и завернулся молча к стене.

— Ага! вот этак-то лучше! Смирись, благород-

ный князь, и не кичись своею белизной, а то так тебя разрисую, что выйдешь ты серо-буро-соловый, в полтени голубой с крапинами! Не забывай, что я тебе, брат, послан в наказанье; я терн в листах твоего венца. Носи меня с почтеньем!

Умаянный Борноволоков задушил вздох и притворился спящим, а торжествующий Термосесов без притворства заснул на самом деле.

Глава одиннадцатая

Тою порой, пока между приезжими гостями Бизюкиной происходила описанная сцена, сама Дарья Николаевна, собрав всю свою прислугу, открыла усиленную деятельность по реставрации своих апартаментов. Обрадованная дозволением жить не по-спартански, она решила даже сделать маленький раут, на котором бы показать своим гостям все свое превосходство пред обществом маленького города, где она, чуткая и живая женщина, погибает непонятая и неоцененная.

Работа кипела и подвигалась быстро: комнаты прифрантились. Дарья Николаевна работала, и сама она стояла на столе и подбирала у окон спальни буфы белых пышных штор на розовом

дублюре[74].

Едва кончилось вешанье штор, как из темных кладовых полезла на свет божий всякая другая галантерейщина, на стенах появились картины за картинами, встал у камина роскошнейший экран, на самой доске камина поместились черные мраморные часы со звездным маятником, столы покрылись новыми, дорогими салфетками; лампы, фарфор, бронза, куколки и всякие безделушки усеяли все места спальни и гостиной, где только было их ткнуть и приставить. Все это придало всей квартире вид ложемента[75] богатой дамы demi-monde'а[76], получающей вещи зря и без толку.

На самый разгар этой работы явился учитель Препотенский и ахнул. Разумеется, он никак не мог одобрять «этих шиков». Он даже благоразумно не понимал, как можно «новой женщине», не сойдя окончательно с ума, обличить такую наглость пред петербургскими предпринимателями, и потому Препотенский стоял и глядел

---

[74] Примечания: 74
Подкладка (франц.).

[75] Примечания: 75
Квартира, жилище (франц.).

[76] Примечания: 76
Полусвет (франц.).

на всю эту роскошь с язвительной улыбкой, но когда не обращавшая на него никакого внимания Дарья Николаевна дерзко велела прислуге, в присутствии учителя, снимать чехлы с мебели, то Препотенский уже не выдержал и спросил:

— И вам это не стыдно?

— Нимало.

И затем, снова не обращая никакого внимания на удивленного учителя, Бизюкина распорядилась, чтобы за диваном был поставлен вынесенный вчера трельяж с зеленым плющом, и начала устраивать перед камином самый восхитительный уголок из лучшей своей мягкой мебели.

— Это уж просто наглость! — воскликнул Препотенский и, отойдя в сторону, сел и начал просматривать новую книгу.

— А вот погодите, вам за это достанется! — сказала ему вместо ответа Дарья Николаевна.

— Мне достанется? За что-с?

— Чтобы вы так не смели рассуждать.

— От кого же-с мне может достаться? Кто мне это может запретить, иметь честные мысли?..

Но в это время послышался кашель Термосесова, и Бизюкина коротко и решительно сказала Препотенскому:

— Послушайте, идите вон!

Это было так неожиданно, что тот даже не понял всего сурового смысла этих слов, и она должна была повторить ему свое приказание.

— Как вон? — переспросил изумленный Препотенский.

— Так, очень просто. Я не хочу, чтобы вы у меня больше бывали.

— Нет, послушайте… да разве вы это серьезно?

— Как нельзя серьезнее.

В комнате гостей послышалось новое движение.

— Прошу вас вон, Препотенский! — воскликнула нетерпеливо Бизюкина. — Вы слышите — идите вон!

— Но позвольте же… ведь я ничему не мешаю.

— Нет, неправда, мешаете!

— Так я же могу ведь исправиться.

— Да не можете вы исправиться, — настаивала хозяйка с нетерпеливою досадой, порывая гостя с его места.

Но Препотенский тоже обнаруживал характер и спокойно, но стойко добивался объяснения, почему она отрицает в нем способность исправиться.

— Потому что вы набитый дурак! — наконец вскричала в бешенстве madame Бизюкина.

— А, это другое дело, — ответил, вставая с места, Препотенский, — но в таком случае позвольте мне мои кости…

— Там, спросите их у Ермошки; я ему их отдала, чтоб он выкинул.

— Выкинул! — воскликнул учитель и бросился на кухню; а когда он через полчаса вернулся назад, то Дарья Николаевна была уже в таком ослепительном наряде, что учитель, увидав ее, даже пошатнулся и схватился за печку.

— А! вы еще не ушли? — спросила она его строго.

— Нет… я не ушел и не могу… потому что ваш Ермошка…

— Ну-с!

— Он бросил мои кости в такое место, что теперь нет больше никакой надежды…

— О, да вы, я вижу, будете долго разговаривать! — воскликнула в яростном гневе Бизюкина и, схватив Препотенского за плечи, вытолкала его в переднюю. Но в это же самое мгновение на пороге других дверей очам сражающихся предстал Термосесов.

Глава двенадцатая

— Ба, ба, ба! что это за изгнание? — вопросил он у Бизюкиной, протирая свои слегка заспанные глаза.

— Ничего, это один… глупый человек, который к нам прежде хаживал, — отвечала та, покидая Препотенского.

— Так за что же теперь его вон, — что он такое сневежничал?

— Решительно ничего, совершенно ничего, — отозвался учитель.

Термосесов посмотрел на него и проговорил:

— Да вы кто же такой?

— Учитель Препотенский.

— Чем же вы ее раздражили?

— Да ровно ничем-с, ровно ничем.

— Ну так идите назад, я вас помирю.

Препотенский сейчас же вернулся.

— Почему же вы говорите, что он будто глуп? — спросил у Бизюкиной Термосесов, крепко держа за обе руки учителя. — Я в нем этого не вижу.

— Да, разумеется-с, поверьте, я решительно не глуп, — отвечал, улыбаясь, Варнава.

— Совершенно верю, и госпожу хозяйку за

такое обращение с вами не похвалю. Но пусть она нам за это на мировую чаю даст. Я со сна чай иногда употребляю.

Хозяйка ушла распорядиться чаем.

— А вы, батюшка учитель, сядьте-ка, да потолкуемте! Вы, я вижу, человек очень хороший и покладливый, — начал, оставшись с ним наедине, Термосесов и в пять минут заставил Варнаву рассказать себе все его горестное положение и дома и на полях, причем не были позабыты ни мать, ни кости, ни Ахилла, ни Туберозов, при имени которого Термосесов усугубил все свое внимание; потом рассказана была и недавнишняя утренняя военная история дьякона с комиссаром Данилкой.

При этом последнем рассказе Термосесов крякнул и, хлопнув Препотенского по колену, сказал потихоньку:

— Так слушайте же, профессор, я поручаю вам непременно доставить мне завтра утром этого самого мещанина.

— Данил ку-то?

— Да; того, что дьякон обидел.

— Помилуйте, да это ничего нет легче!

— Так доставьте же.

— Утром будет у вас до зари.

— Именно до зари. Нет; вы, я вижу, даже молодчина, Препотенский! — похвалил Термосесов и, обратясь к возвратившейся в это время Бизюкиной, добавил: — Нет, мне он очень нравится, а если он меня с попом Туберозовым познакомит, то я его даже совсем умником назову.

— Я его терпеть не могу и вам не советую с ним знакомиться, — лепетал Варнава, — но если вам это нужно.

— Нужно, друг, нужно.

— В таком случае пойдемте на вечер к исправнику, там вы со всеми нашими познакомитесь.

— Пожалуй; я куда хочешь пойду, только ведь надо, чтобы позвали.

— О, ничего нет этого легче, — перебил учитель и изложил самый простой план, что он сейчас пойдет к исправнице и скажет ей от имени Дарьи Николаевны, что она просит позволения прийти вечером с приезжим гостем.

— Препотенский, приди, я тебя обниму! — воскликнул Термосесов.

— Да-с, — продолжал радостный учитель. — И они сами еще все будут довольны, что у них будет новый гость, а вы там сразу познакомитесь не только с Туберозовым, но и с противным Ахилкой и с предводителем.

— Препотенский! подойди сюда, я тебя поцелую! — воскликнул Термосесов, и когда учитель встал и подошел к нему, он действительно его поцеловал и, завернув налево кругом, сказал: — Ступай и действуй!

Гордый и совершенно обольщенный насчет своей репутации, Варнава схватил шапку и убежал.

Через час времени, проведенный Термосесовым в разговоре с Бизюкиной о том, что ни одному дураку на свете не надо давать чувствовать, что он глуп, учитель явился с приглашением для всех пожаловать на вечер к Порохонцеву и при этом добавил:

— А что касается интересовавшего вас мещанина Данилки, то я его уже разыскал, и он в эту минуту стоит у ворот.

Термосесов, еще раз поощрив Варнаву всякими похвалами, встал и, захватив с собою учителя, велел ему провести себя куда-нибудь в укромное место и доставить туда же и Данилку.

Препотенский свел Измаила Петровича в пустую канцелярию акцизника и поставил перед ним требуемого мещанина.

— Здравствуйте, гражданин, — встретил Данилку Термосесов. — Как вас на сих днях утром

обидел здешний дьякон?

— Никакой обиды не было.

— Как не было? Вы говорите мне прямо все, смело и откровенно, как попу на духу, потому что я друг народа, а не враг. Ахилла-дьякон вас обидел?

— Нет, обиды не было. Это мы так промеж себя все уже кончили.

— Как же можно все это кончить? Ведь он вас за ухо вел по улице?

— Так что же такое? Глупость все это!

— Как глупость? Это обида. Вы размыслите, гражданин, — ведь он вас за ухо драл.

— Все же это больше баловство, и мы в этом обиды себе не числим.

— Как же, гражданин, не числите? Как же не числите такой обиды? Ведь это, говорят, было почти всенародно?

— Да, всенародно же-с, всенародно.

— Так вы должны на это жалобу подать!

— Кому-с?

— А вот этому князю, что со мною приехал.

— Так-с.

— Значит, подаете вы жалобу или нет?

— Да на какой предмет ее подавать-с?

— Сто рублей штрафу присудят, вот на какой

предмет.

— Это точно.

— Так вы, значит, согласны. Ну, и давно бы так. Препотенский! садись и строчи, что я проговорю.

И Термосесов начал диктовать Препотенскому просьбу на имя Борноволокова, просьбу довольно краткую, но кляузную, в которой не было позабыто и имя протопопа, как поощрителя самоуправства, сказавшего даже ему, Даниле, что он воспринял от дьякона достойное по своим делам.

— Подписывай, гражданин! — крикнул Термосесов на Данилку, когда Препотенский дописал последнюю строчку.

Данилка встрепенулся.

— Подписывайте, подписывайте! — внушал Термосесов, насильно всовывая ему в руку перо, но «гражданин» вдруг ответил, что он не хочет подписывать жалобу.

— Что, как не хотите?

— Потому я на это не согласен-с.

— Как не согласен! Что ты это, черт тебя побери! То молчал, а когда просьбу тебе даром написали, так ты не согласен.

— Не согласен-с.

— Что, не целковый ли еще тебе за это давать,

чтобы ты подписал? Жирен, брат, будешь. Подписывай сейчас!

И Термосесов, схватив его сердито за ворот, потащил к столу.

— Я… как вашей милости будет угодно, а я не подпишу, — залепетал мещанин и уронил нарочно перо на пол.

— Я тебе дам «как моей милости угодно»! А не угодно ли твоей милости за это от меня получить раз десять по рылу?

Испуганный «гражданин» рванулся всем телом назад и залепетал:

— Ваше высокородие, смилуйтесь, не понуждайте! Ведь из моей просьбы все равно ничего не будет!

— Это почему?

— Потому что я уже хотел один раз подавать просьбу, как меня княжеский управитель Глич крапивой выпорол, что я ходил об заклад для исправника лошадь красть, но весь народ мне отсоветовал: «Не подавай, говорят, Данилка, станут о тебе повальный обыск писать, мы все скажем, что тебя давно бы надо в Сибирь сослать». Да-с, и я сам себя даже достаточно чувствую, что мне за честь свою вступаться не пристало.

— Ну, это ты сам себе можешь рассуждать о

своей чести как тебе угодно…

— И господа чиновники здешние тоже все знают.

— И пусть их знают, все твои господа здешние чиновники, а мы не здешние, мы петербургские. Понимаешь? — из самой столицы, из Петербурга, и я приказываю тебе, сейчас подписывай, подлец ты треанафемский, без всяких рассуждений, а то… в Сибирь без обыска улетишь!

И при этом могучий Термосесов так сдавил Данилку одною рукой за руку, а другою за горло, что тот в одно мгновенье покраснел, как вареный рак, и едва прохрипел:

— Ради Господа освободите! Все что угодно подпишу!

И вслед за сим, перхая и ежась, он нацарапал под жалобой свое имя.

Термосесов тотчас же взял этот лист в карман и, поставив пред носом Данилки кулак, грозно сказал:

— Гражданин, ежели ты только кому-нибудь до времени пробрешешься, что ты подал просьбу, то…

Данилка, продолжая кашлять, только отмахнулся перемлевшею рукой.

— Я тебе, бездельнику, тогда всю рожу раство-

рожу, щеку на щеку помножу, нос вычту и зубы в дроби превращу!

Мещанин замахал уже обеими руками.

— Ну а теперь полно здесь перхать. Але маршир[77] в двери! — скомандовал Термосесов и, сняв наложенный крючок с дверей, так наподдал Данилке на пороге, что тот вылетел выше приговоренного к крыльцу курятника и, сев с разлету в теплую муравку, только оглянулся, потом плюнул и, потеряв даже свою перхоту, выкатился на четвереньках за ворота.

Препотенский, увидя эту расправу, взрадовался и заплескал руками.

— Чего ты? — спросил Термосесов.

— Вы сильнее Ахилки! С вами я его теперь не боюсь.

— Дайне бойся.

Глава тринадцатая

Спустившиеся над городом сумерки осветили на улице, ведущей от дома акцизницы к дому исправника, удалую тройку, которая была совсем в другом роде, чем та, что подвозила сюда утром

---

[77] Примечания: 77
Пошел вон (искаж. франц. и нем.).

плодомасовских карликов. В корню, точно дикий степной иноходец, пригорбясь и подносясь, шла, закинув назад головенку, Бизюкина; справа от ней, заломя назад шлык, пер Термосесов, а слева — вил ногами и мотал головой Препотенский. Точно сборная обывательская тройка, одна — с двора, другая — с задворка, а третья — с попова загона; один пляшет, другой скачет, третий песенки поет. Но разлада нет, и все они, хотя неровным аллюром, везут одни и те же дроги и к одной и той же цели. Цель эту знает один Термосесов; один он работает не из пустяков и заставляет служить себе и учителя и акцизницу, но весело им всем поровну. Если Термосесов знает, чего ликует смелая и предприимчивая душа его, то не всуе же играет сердце и Дарьи Николаевны и Препотенского. Оба эти лица предвкушают захватывающее их блаженство, — они готовятся насладиться стычкой Гога с Магогом[78] — Тубе-розова с Термосесовым!..

Как возьмется за это дело ловкий, всесокрушающий приезжий и кто устоит в неравном споре?

Как вам угодно, а это действительно довольно интересно!

---

[78] Примечания: 78

Имеются в виду упоминаемые в Библии (Книга пророка Иезекииля) князь и народ. Здесь: в значении «противники».

Часть третья
Глава первая

Раньше чем Термосесов и его компания пришли на раут к исправнику, Туберозов провел уже более часа в уединенной беседе с предводителем Тугановым. Старый протопоп жаловался важному гостю на то самое, на что он жаловался в известном нам своем дневнике, и получал в ответ те же старые шутки.

— Что будет из всей такой шаткости? — морща брови, пытал протопоп, а предводитель, смеясь, отвечал ему:

— Не уявися, что будет, мой любезный.

— Без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих… Это… это сгубит Россию.

— А что ж, если ей нужно сгибнуть, так и сгубит, — ответил равнодушно Туганов и, вставши, добавил: — а пока знаешь что, пойдем к гостям: мы с тобою все равно ни до чего не договоримся — ты маньяк.

Протопоп остановился и с обидой в голосе спросил:

— За что же я маньяк?

— Да что же ты ко всем лезешь, ко всем пристаешь: «идеал, вера»? Нечего, брат, делать, когда этому всему, видно, время прошло.

Туберозов улыбнулся и, вздохнув кротко, ответил, что прошло не время веры и идеалов, а прошло время слов.

— Совершай, брат, дела.

— Дел теперь тоже мало.

— Что же нужно?

— Подвиги.

— Совершай подвиги. В каком только духе?

— В духе крепком, в дыхании бурном… Чтобы сами гасильники загорались!

— Да, да, да! Тебе ссориться хочется! Нет, отче: лучше мирись.

— Пармен Семенович, много слышу, сударь, нынче об этом примирении. Что за мир с тем, кто пардона не просит. Не гож этот мир, и деды недаром нам завещали «не побивши кума, не пить мировой».

— Ему непременно «побить»!

— А то как же? Непременно побить!

— Ты, брат, совсем бурсак!

— Да ведь я себя и не выдаю за благородного.

— Да тебе что, неотразимо, что ли, уж хочется пострадать? Так ведь этого из-за пустяков не де-

лают. Лучше побереги себя до хорошего случая.

— Бережных и без меня много; а я должен свой долг исполнять.

— Ну, уж не я же, разумеется, стану тебя отговаривать исполнять по совести свой долг. Исполняй: пристыди бесстыжих — выкусишь кукиш, прапорщик будешь, а теперь все-таки пойдем к хозяевам; я ведь здесь долго не останусь.

Протопоп пошел за Тугановым, бодрясь, но чрезвычайно обескураженный. Он совсем не того ожидал от этого свидания, но вряд ли он и сам знал, чего ожидал.

Глава вторая

Термосесов с Варнавой и либеральною акцизницей прибыли на раут в то время, когда Туганов с Туберозовым уже прошли через зал и сидели в маленькой гостиной. Другие гости расположились в зале, разговаривали, играли на фортепиано и пробовали что-то петь. Сюда-то прямо и вошли в это самое время Термосесов, Бизюкина и Варнава.

Хозяйка встретила их и поблагодарила Бизюкину за гостя, а Термосесова за его бесцеремонную

простоту.

— Мы люди простые и простых людей любим, — сказала она ему.

— А я самый и есть простой человек, — отвечал Термосесов и при этом поклонился очень низко, улыбнулся очень приветливо и даже щелкнул каблуком.

Видя это, Бизюкина, по совести, гораздо более одобряла достойное поведение Препотенского, который стоял — будто проглотил аршин. Случайно ли или в силу соображений, что вновь пришедшие гости люди более серьезные, которым неприлично хохотать с барышнями и слушать вздорные рассказы и плохое пение, хозяйка провела Термосесова и Препотенского прямо в ту маленькую гостиную, где помещались Туганов, Плодомасов, Дарьянов, Савелий, Захария и Ахилла.

Бизюкина могла ориентироваться, где ей угодно, но у нее недостало смелости проникнуть в гостиную вслед за своими кавалерами, а якшаться с дамами она не желала и потому села у двери.

Гостиная, куда вошли Препотенский и Термосесов, была узенькая комнатка; в конце ее стоял диван с преддиванным столом, за которым поме-

щались Туганов и Туберозов, а вокруг на стульях сидели: смиренный Бенефактов, Дарьянов и уездный предводитель Плодомасов. Ахилла не сидел, а стоял сзади за пустым креслом и держался рукою за резьбу. Бизюкина видела, как Термосесов, войдя в гостиную, наипочтительнейше раскланялся и… чего, вероятно, никто не мог себе представить, вдруг подошел к Туберозову и попросил себе у него благословения. Больше всех этим был удивлен, конечно, сам отец Савелий; он даже не сразу нашелся как поступить и дал требуемое Термосесовым благословение с видимым замешательством. А когда же Термосесов вдобавок хотел поцеловать его руку, то протопоп столь этим смутился, что торопливо опустил сильным движением свою и термосесовскую руку книзу и крепко сжал и потряс эту предательскую руку, как руку наилучшего друга.

Термосесов пожелал получить благословение и от Захарии, но смиренный Бенефактов оказался на сей раз находчивей Туберозова — он не только благословил, но и ничтоже сумняся сам поднес к губам проходимца свою желтенькую ручку.

Разошедшийся Термосесов направился было за благословением и к Ахилле, но этот, бойко шаркнув ногою, сказал гостю:

— Я дьякон-с.

Засим оба они пожали друг другу руки, и Ахилла предложил Термосесову сесть на то кресло, за которым стоял, но Термосесов вежливо отклонил эту честь и поместился на ближайшем стуле, возле отца Захарии, меж тем как верный законам своей рутинной школы Препотенский отошел как можно дальше и сел напротив отворенной двери в зал.

Таким выбором места он, во-первых, показывал, что не желает иметь общения с миром, а во-вторых, он видел отсюда Бизюкину; она, в свою очередь, должна была слышать все, что он скажет. Учитель чувствовал и сознавал необходимость поднять свои фонды, заколебавшиеся с приездом Термосесова, и теперь, усевшись, ждал только первого предлога завязать спор и показать Бизюкиной если уже не превосходство своего ума, то по крайней мере чистоту направления. Для искателей спора предлог к этому занятию представляет всякое слово, и Варнава недолго томился молчанием.

Глава третья

При входе новых гостей предводитель Плодомасов рассказывал Туберозову о современных реформах в духовенстве и возобновил этот разговор, когда Термосесов и Варнава уселись.

Уездный предводитель был поборник реформы, Туганов тоже, но последний вставил, что когда он вчера виделся с архиереем, то его преосвященство высказывался очень осторожно и, между прочим, шутил, что прекращением наследственности в духовенстве переведется у нас самая чистокровная русская порода.

— Это что же значит-с? — любопытствовал Захария.

Туганов ему объяснил, что намек этот на чистоту несмешанной русской породы в духовенстве касается неупотребительности в этом сословии смешанных браков. Захария не понял, и Туганов должен был ему помочь.

— Просто дело в том, — сказал он, — что духовные все женились на духовных же…

— На духовных-с, на духовных.

— А духовные все русские.

— Русские.

— Ну, и течет, значит, в духовенстве кровь чистая русская, меж тем как все другие перемешались с инородцами: с поляками, с татарами, с немцами, со шведами и… даже с жидами.

— Ай-ай-ай, даже с жидами! — тпфу, погань, — произнес Захария и плюнул.

— Да и шведы-то тоже «нерубленые головы», — легко ли дело с кем мешаться! — поддержал Ахилла.

Протопоп, кажется, побоялся, как бы дьякон не сказал чего-нибудь неподлежащего, и, чтобы замять этот разговор о национальностях, вставил:

— Да; владыка наш не бедного ума человек.

— Он даже что-то о каком-то «млеке» написал, — отозвался из своего далека Препотенский, но на его слова никто не ответил.

— И он юморист большой, — продолжал Туганов — Там у нас завелся новый жандармчик, развязности бесконечной и все для себя считает возможным.

— Да, это так и есть; жандармы все могут, — опять подал голос Препотенский, и его опять не заметили.

— Узнал этот господчик, — продолжал Туганов, — что у вашего архиерея никто никогда не обедал, и пошел пари в клубе с полицеймейсте-

ром, что он пообедает, а старик-то на грех об этом и узнай!..

— Ай-ай-ай! — протянул Захария.

— Ну-с; вот приехал к нему этот кавалерист и сидит, и сидит, как зашел от обедни, так и сидит. Наконец, уж не выдержал и в седьмом часу вечера стал прощаться. А молчаливый архиерей, до этих пор все его слушавший, а не говоривший, говорит: «А что же, откушать бы со мною остались!» Ну, у того уж и ушки на макушке: выиграл пари. Ну, тут еще часок архиерей его продержал и ведет к столу.

— Ах, вот это уж он напрасно, — сказал Захария, — напрасно!

— Но позвольте же; пришли они в столовую, архиерей стал пред иконой и зачитал, и читает, да и читает молитву за молитвой. Опять час прошел; тощий гость как с ног не валится.

«Ну, теперь подавайте», — говорит владыка. Подали две мелкие тарелочки горохового супа с сухарями, и только что офицер раздразнил аппетит, как владыка уже и опять встает. «Ну, возблагодаримте, — говорит, — теперь Господа Бога по трапезе». Да уж в этот раз как стал читать, так тот молодец не дождался да потихоньку драла и убежал. Рассказывает мне это вчера старик

и смеется: «Сей дух, — говорит, — ничем же изымается, токмо молитвою и постом».

— Он и остроумен и человек обращения приятного и тонкого, — уронил Туберозов, словно его тяготили эти анекдотические разговоры.

— Да; но тоже кряхтит и жалуется, что людей нет. «Плывем, говорит, по глубокой пучине на расшатанном корабле и с пьяными матросами. Хорони Бог на сей случай бури».

— Слово горькое, — отозвался Туберозов.

— Впрочем, — начал снова Туганов, — про ваш город сказал, что тут крепко. «Там, говорит, у меня есть два попа: один умный, другой — благочестивый».

— Умный, это отец Савелий, — отозвался Захария.

— Почему же вы уверены, что умный — это непременно отец Савелий?

— Потому что… они мудры, — отвечал, конфузясь, Бенефактов.

— А отец Захария вышли по второму разряду, — подсказал дьякон.

Туберозов покачал на него укоризненно головою. Ахилла поспешил поправиться и сказал:

— Отец Захария благочестивый, это владыка, должно быть, к тому и сказали, что на отца Заха-

рию жалоб никаких не было.

— Да, жалоб на меня не было, — вздохнул Захария.

— А отец Савелий беспокойный человек, — пошутил Туганов.

Минута эта представилась Препотенскому крайне благоприятною, и он, не упуская ее, тотчас же заявил, что беспокойные в духовенстве это значит доносчики, потому что религиозная совесть должна быть свободна. Туганов не постерегся и ответил Препотенскому, что свобода совести необходима и что очень жаль, что ее у нас нет.

— Да, бедная наша Церковь несет за это отовсюду напрасные порицания, — заметил от себя Туберозов.

— Так на что же вы жалуетесь? — живо обратился к нему Препотенский.

— Жалуемся на неверотерпимость, — сухо ответил ему Туберозов.

— Вы от нее не страдаете.

— Нет, горестно страдаем! вы громко и свободно проповедуете, что надо, чтобы веры не было, и вам это сходит, а мы если только пошепчем, что надо, чтобы лучше ваших учений не было, то…

— Да, так вы вот чего хотите? — перебил учи-

тель. — Вы хотите на нас науськивать, чтобы нас порешили!

— Нет, это вы хотите, чтобы нас порешили.

Препотенский не нашелся ответить: отрицать этого он не хотел, а прямо подтвердить боялся. Туганов устранил затруднение, сказав, что отец протопоп только негодует, что есть люди, поставляющие себе задачею подрывать в простых сердцах веру.

— Наипаче негодую на то, что сие за потворством и удается.

Препотенский улыбнулся.

— Удается это потому, — сказал он, — что вера роскошь, которая дорого народу обходится.

— Ну, однако, не дороже его пьянства, — бесстрастно заметил Туганов.

— Да ведь пить-то — это веселие Руси есть, это национальное, и водка все-таки полезнее веры: она по крайней мере греет.

Туберозов вспыхнул и крепко сжал рукав своей рясы; но в это время Туганов возразил учителю, что он ошибается, и указал на то, что вера согревает лучше, чем водка, что все добрые дела наш мужик начинает помолившись, а все худые, за которые в Сибирь ссылают, делает водки напившись.

— Впрочем, откупа уничтожены экономистами, — перебросился вдруг Препотенский. — Экономисты утверждали, что чем водка будет дешевле, тем меньше ее будут пить, и соврали. Впрочем, экономисты не соврали; они знают, что для того, чтобы народ меньше пьянствовал, требуется не одно то, чтобы водка подешевела. Надо, чтобы многое не шло так, как идет. А между тем к новому стремятся не экономисты, а одни… «новые люди».

— Да; только люди-то эти дрянные, и пошло черт знает что.

— Да, их уловили шпионы.

— Нет, просто мошенники.

— Мошенники-и!

— Да. Мошенники ведь всегда заключают своею узурпациею все сумятицы, в которые им небезвыгодно вмешаться. У нас долго возились с этими… нигилистами, что ли? Возилось с ними одно время и правительство, возится до сих пор и общество и печать, а пошабашат их не эти, а просто-напросто мошенники, которые откликнутся в их кличку, мошенники и превзойдут их, а затем наступит поворот.

Препотенский бросил тревожный взгляд на Бизюкину. Его смущало, что Туганов просто съе-

дает его задор, как вешний туман съедает с поля бугры снега. Варнава искал поддержки и в этом чаянии перевел взоры свои на Термосесова, но Термосесов даже и не смотрел на него, но зато дьякон Ахилла, давно дававший ему рукою знаки перестать, сказал:

— Замолчи, Варнава Васильич, — совсем не занятно!

Это взорвало учителя — тем более что и Туганов от него отвернулся. Препотенский пошел напролом.

Глава четвертая

Учитель соскочил с места и подбежал к Туганову, говорившему с Туберозовым:

— Извините, что вас перебью… но я все-таки… Я стою за свободу.

— И я тоже, — ответил Туганов, снова обращаясь к протопопу.

— Позвольте же-с мне вам кончить! — воскликнул учитель.

Туганов обернулся в его сторону.

— А вы знаете ли, что свобода не дается, а берется? — задал ему Варнава.

— Ну-с!

— Кто же ее возьмет, если новые люди скверны?

— Ее возьмет порядок вещей.

— И все-таки это, значит, не будет дано, а будет взято. Я прав. Это я сказал: будет взята!

— Да ведь тебе про то же и говорят, — отозвался из-за стула дьякон Ахилла.

— Но ведь это я сказал: будет взята!

— А вам про что же говорят, — поддержал дьякона в качестве одномышленника Термосесов, — Пармен Семенович вам про то и говорит, — внушал Термосесов, нарочно как можно отчетливее и задушевнее произнося имя Туганова.

— Однако мне пора, — шепнул, выходя из-за стола, Туганов и хотел выйти в залу, но был снова атакован Варнавой.

— Позвольте еще одно слово, — приставал учитель. — Мне кажется, вам, вероятно, неприятно, что теперь все равны?

— Нет-с, мне не нравится, что не все равны.

Препотенский остановился и, переждав секунду, залепетал:

— Ведь это факт — все должны быть равны.

— Да ведь Пармен Семенович вам это и говорит, что все должны быть равны! — отогнал его от

предводителя Термосесов с одной стороны.

— Позвольте-с, — забегал он с другой, но здесь его не допускал Ахилла.

— Оставь, — говорил он, — что ни скажешь — все глупость!

— Ах, позвольте, сделайте милость, я не с вами и говорю, — отбивался Препотенский, забегая с фронта. — Я говорю — вам, верно, Англия нравится, потому что там лорды… Вам досадно и жаль, что исчезли сословные привилегии?

— А они разве исчезли?

— Отойди прочь, ты ничего не знаешь, — сплавлял, отталкивая Варнаву, Ахилла, но тот обежал вокруг и, снова зайдя во фронт предводителю, сказал:

— О всяком предмете можно иметь несколько мнений.

— Да чего же вам от меня угодно? — воскликнул, рассмеявшись, Ту ганов.

— Я говорю… можно иметь разные суждения.

— Только одно будет умное, а другое — глупое, — отвечал Термосесов.

— Одно будет справедливое, другое — несправедливое, — проговорил в виде примирения предводитель.

— У Бога — и у Того одна правда! — внушал

дьякон.

— Между двумя точками только одна прямая линия проводится, вторую не проведете, — натверживал Термосесов.

Препотенский вышел из себя.

— Да это что ж? ведь этак нельзя ни о чем говорить! — вскричал он. — Я один, а вы все вместе льстите. Этак хоть кого переспоришь. А я знаю одно, что я ничего старинного не уважаю.

— Это и есть самое старинное… Когда же у нас уважали историю?

— Ну послушай! замолчи, дурачок, — дружественно посоветовал Варнаве Ахилла, а Бизюкина от него презрительно отвернулась. Термосесов же, устраняя его с дороги, наступил ему на ногу, отчего учитель, имевший слабость в затруднительные минуты заговариваться и ставить одно слово вместо другого, вскрикнул:

— Ой, вы мне наступили на самую мою любимую мозоль!

По поводу «любимой мозоли» последовал смех, а Туганов в это время уже прощался с хозяйкой.

Зазвенели бубенцы, и шестерик свежих почтовых лошадей подкатил к крыльцу тугановскую коляску, а на пороге вытянулся рослый гайдук

с английскою дорожною кисой[79] через плечо. Наступили последние минуты, которыми мог еще воспользоваться Препотенский, чтобы себя выручить, и он вырвался из рук удерживавших его Термосесова и Ахиллы и, прыгая на своей «любимой мозоли», наскочил на предводителя и спросил:

— Вы читали Тургенева? «Дым»... Это дворянский писатель, и у него доказано, что в России все дым: «кнута, и того сами не выдумали».

— Да, — отвечал Туганов, — кнут, точно, позаимствовали, но зато отпуск крестьян на волю с землею сами изобрели. Укажите на это господину Тургеневу.

— Но ведь крестьян с землей отняли у помещиков, — сказал Препотенский.

— Отняли? неправда. Государю принадлежит честь почина, а дворянству доблесть жертвы, — не вытерпел Туберозов.

— Велено, и благородное дворянство не смело ослушаться.

— Да оно и не желало ослушаться, — отозвался Туганов.

— Все-таки власть отняла крестьян.

---

[79] Примечания: 79
Кожаный мешок.

— И власть, и время. Александр Благословенный целую жизнь мечтал освободить крестьян, но дело не шло, а у остзейских баронов и теперь не идет.

— Потому что немцы умнее.

Туганов рассмеялся и, протянув руку Туберозову, сказал Варнаве с легким пренебрежением:

— Честь имею вам откланяться.

— Ничего-с, а я все-таки буду против дворян и за естественное право.

Беспокойство Препотенского заставило всех улыбнуться, и Туганов, будучи совсем на пути, еще приостановился и сказал ему:

— А самая естественная форма жизни это… это жизнь вот этих лошадей, что мне подали, но их, видите, запрягают возить дворянина.

— И еще дорогой будут кнутом наяривать, чтобы шибче, — заметил дьякон.

— И скотов всегда бьют, — поддержал Термосесов.

— Ну, опять все на одного! — воскликнул учитель и заключил, что он все-таки всегда будет против дворян.

— Ну так ты, значит, смутьян, — сказал Ахилла.

— Бездну на бездну призываешь, — отозвался

Захария.

— А вы знаете ли, что такое значит бездна бездну призывает? — огрызнулся Варнава. — Ведь это против вас: бездна бездну призывает, это — поп попа в гости зовет.

Это всем показалось забавным, и дружный хохот залил залу.

Один Туберозов гневно сверкнул глазами и, порывисто дернув ленту, на которой висел наперсный крест, вышел в гостиную.

— Старик-то у вас совсем маньяк сделался, — сказал, кивнув вслед ему, Туганов.

— И не говорите. Получит газеты и носится с ними, и вздыхает, и ни о чем хладнокровно не может рассуждать, — ответил Дарьянов.

— Они это слышат, — тихо прошептал Ахилла.

Савелий действительно все это слышал.

Туганов сошел с лестницы и усаживался в коляску. Его провожали хозяева, некоторые из гостей, Варнава и протопоп. Варнава был сильно ободрен; ему казалось, что после «бездны» фонды его быстро возвысились, и он, неожиданно смело схватив за рукав Туберозова, проговорил:

— Позвольте вас спросить: я третьего дня был в церкви и слышал, как один протопоп произнес слово «дурак». Что клир должен петь в то время,

когда протопоп возглашает «дурак»?

— Клир трижды воспевает: «учитель Препотенский», — ответил Савелий.

При этом неожиданном ответе присутствующие с секунду были в остолбенении и вдруг разразились всеобщим бешеным хохотом. Туганов махнул рукой и уехал в самом веселом настроении духа.

Глава пятая

Около Препотенского, как говорится, было кругом нехорошо. Даже снисходительные дамы того сорта, которым дорог только процесс разговора и для которых, что мужчины ни говори, лишь бы это был говор, и те им возгнушались. Зато Термосесов забирал силу и овладевал всеобщим вниманием. Варнава не успел оглянуться, как Термосесов уже беседовал со всеми дамами, а за почтмейстершей просто ухаживал, и ухаживал, по мнению Препотенского, до последней степени дурно; ухаживал за нею не как за женщиной, но как за предержащею властью.

За ужином Термосесов, оставив дам, подступил поближе к мужчинам и выпил со всеми. И выпил как должно, изрядно, но не охмелел, и тут же

внезапно сблизился с Ахиллой, с Дарьяновым и с отцом Захарией. Он заговаривал не раз и с Туберозовым, но старик не очень поддавался на сближение. Зато Ахилла после часовой или получасовой беседы, ко всеобщему для присутствующих удивлению, неожиданно перешел с Термосесовым на «ты», жал ему руку, целовал его толстую губу и даже сделал из его фамилии кличку.

— Вот, ей-Богу, молодчина этот Термосеска, — барабанил всем дьякон, — посудите, как мы нынче с ним вдвоем Варнавку обработали. Правда? Ты, брат Термосесушка, от нас лучше совсем не уезжай. Что там у вас в Петербурге, какие кондиции? А мы с тобой здесь зимою станем вместе лисиц ловить. Чудесно, брат! Правда?

— Правда, правда, — отвечал Термосесов и сам стал хвалить Ахиллу и называл его молодчиной. И оба эти молодчины снова целовались.

Когда пир был при конце и Захария с Туберозовым уходили уже домой, Термосесов придержал Ахиллу за рукав и сказал:

— А тебе ведь спешить некуда?

— Да, пожалуй что и некуда, — ответил Ахилла.

— Так подожди, пойдем вместе!

Ахилла согласился, а Термосесов предложил еще потанцевать под фортепиано, и танцевал прежде с почтмейстершей, потом с ее дочерями, потом еще с двумя или тремя другими дамами и, наконец, после всех с Бизюкиной, а в заключение всего обхватил дьякона, и провальсировал с ним, и, сажая его на место, как даму, поднес к губам его руку, а поцеловал свою собственную.

Никак не ожидавший этого Ахилла сконфузился и быстро вырвал у Термосесова руку, но тот над ним расхохотался и сказал:

— Неужто же ты думал, что я твою кучерскую лапу стану целовать?

Дьякон обиделся и подумал: «Ох, не надо бы мне, кажется, с ним якшаться!» Но как они сейчас вслед за этим отправились по домам, то и он не отбился от компании. Семейство почтмейстера, дьякон, Варнава, Термосесов и Бизюкина шли вместе. Они завели домой почтмейстершу с дочерьми, и здесь, у самого порога комнаты, Ахилла слышал, как почтмейстерша сказала Термосесову:

— Я надеюсь, что мы с вами будем видеться.

— В этом не сомневаюсь, — отвечал Термосесов и добавил: — вы говорили, что вам нравится, как у исправника на стене вся царская фамилия в

портретах?

— Да, мне этого давно очень, очень хочется.

— Ну так это я вам завтра же устрою.

И они расстались.

На дворе было уже около двух часов ночи, что для уездного города, конечно, было весьма поздно, и Препотенский, плетяся, размышлял, каким способом ему благополучнее доставиться домой, то есть улизнуть ли потихоньку, чтоб его не заметил Ахилла, или, напротив, вверяться его великодушию, так как Варнава когда-то читал, что у черкесов на Кавказе иногда спасаются единственно тем, что вверяют себя великодушию врага, и теперь он почему-то склонялся к мысли судить об Ахилле по-черкесски.

Но прежде чем Препотенский пришел к какому-нибудь положительному решению, Термосесов все это переиначил.

Глава шестая

Тотчас, как только они расстались с почтмейстершей, Термосесов объявил, что все непременно должны на минуту зайти с ним к Бизюкиной.

— Позволяешь? — отнесся он полуоборотом к хозяйке.

Той это было неприятно, но она позволила.

— У тебя питра какая-нибудь дома есть?

Бизюкина сконфузилась. Она как нарочно нынче забыла послать за вином и теперь вспомнила, что со стола от обеда приняли последнюю, чуть не совсем пустую бутылку хересу. Термосесов заметил это смущение и сказал:

— Ну, хоть пиво небось есть?

— Пиво, конечно, есть.

— Я знаю, что у акцизных пиво всегда есть. И мед есть?

— Да, есть и мед.

— Ну вот и прекрасно: есть, господа, у нас пиво и мед, и я вам состряпаю из этого такое лампопо, что… — Термосесов поцеловал свои пальцы и договорил: — язык свой, и тот, допивая, проглотите.

— Что это за ланпопо? — спросил Ахилла.

— Не ланпопо, а лампопо — напиток такой из пива и меду делается. Идем! — и он потянул Ахиллу за рукав.

— Постой, — оборонялся дьякон. — Какое же это ланпопо? Это у нас на похоронах пьют… «пивомедие» называется.

— А я тебе говорю, это не пивомедие будет, а лампопо. Идем!

— Нет, постой! — опять оборонялся Ахилла. — Я знаю это пивомедие… Оно, брат, опрокидонтом с ног валит… я его ни за что не стану пить.

— Я тебе говорю — будет лампопо, а не пивомедие!

— А лучше бы его нынче не надо, — отвечал дьякон, — а то назавтра чердак трещать будет.

Препотенский был тоже того мнения, но как ни Ахилла, ни Препотенский не обладали достаточною твердостью характера, чтобы настоять на своем, то настоял на своем Термосесов и забрал их в дом Бизюкиной. По мысли вожака, «питра» должна была состояться в садовой беседке, куда немедленно же и явилась наскоро закуска и множество бутылок пива и меду, из которых Термосесов в ту же минуту стал готовить лампопо.

Варнава Препотенский поместился возле Термосесова. Учитель хотел, нимало не медля, объясниться с Термосесовым, зачем он юлил около Туганова и помогал угнетать его, Варнаву.

Но, к удивлению Препотенского, Термосесов потерял всякую охоту болтать с ним и, вместо того чтоб ответить ему что-нибудь ласково, оторвал весьма нетерпеливо:

— Мне все равны: и мещане, и дворяне, и люди

черных сотен[80]. Отстаньте вы теперь от меня с политикой, я пить хочу!

— Однако же вы должны согласиться, что люди семинария воспитанского лучше, — пролепетал, путая слова, Варнава.

— Ну вот, — перебил Термосесов, — то была «любимая мозоль», а теперь «семинария воспитанского»! Вот Цицерон!

— Он это часто, когда разгорячится, хочет сказать одно слово, а скажет совсем другое, — вступился за Препотенского Ахилла и при этом пояснил, что учитель за эту свою способность даже чуть не потерял хорошее знакомство, потому что хотел один раз сказать даме: «Матрена Ивановна, дайте мне лимончика», да вдруг выговорил: «Лимона Ивановна, дайте мне матренчика!» А та это в обиду приняла.

Термосесов так и закатился веселым смехом, но вдруг схватил Варнаву за руку и, нагнув к себе его голову, прошептал:

— Поди сейчас запиши мне для памяти тот разговор, который мы слышали от попов и дворян. Понимаешь, насчет того, что и время пришло, и что Александр Первый не мог, и что в остзей-

---

[80] Примечания: 80

Здесь: члены цеховых объединений торговцев и ремесленников.

ском крае и сейчас не удается… Одним словом, все, все…

— Зачем же распространяться? — удивился учитель.

— Ну, уж это не твое дело. Ты иди скорей напиши, и там увидишь на что… Мы это подпишем и пошлем в надлежащее место…

— Что вы! что вы это? — громко заговорил, отчаянно замотав руками, Препотенский. — Доносить! Да ни за что на свете.

— Да ведь ты же их ненавидишь!

— Ну так что ж такое?

— Ну и режь их, если ненавидишь!

— Да; извольте, я резать извольте, но… я не подлец, чтобы доносы…

— Ну так пошел вон, — перебил его, толкнув к двери, Термосесов.

— Ага, «вон»! Значит, я вас разгадал: вы заодно с Ахилкой.

— Пошел вон!

— Да-с, да-с. Вы меня позвали на лампопо, а вместо того…

— Да… ну так вот тебе и лампопо! — ответил Термосесов и, щелкнув Препотенского по затылку, выпихнул его за двери и задвинул щеколду.

Смотревший на всю эту сцену Ахилла смутился

и, привстав с места, взял свою шляпу.

— Чего это ты? куда? — спросил его, снова садясь за стол, Термосесов.

— Нет; извините… Я домой.

— Допивай же свое лампопо.

— Нет; исчезни оно совсем, не хочу. Прощайте; мое почтение. — И он протянул Термосесову руку, но тот, не подавая своей руки, вырвал у него шляпу и, бросив ее под свой стул, закричал: — Сядь!

— Нет, не хочу, — отвечал дьякон.

— Сядь! тебе говорят! — громче крикнул Термосесов и так подернул Ахиллу, что тот плюхнул на табуретку.

— Хочешь ты быть попом?

— Нет, не хочу, — отвечал дьякон.

— Отчего же не хочешь?

— А потому, что я к этому не сроден и недостоин.

— Но ведь тебя протопоп обижает?

— Нет, не обижает.

— Да ведь он у тебя, говорят, раз палку отнял?

— Ну так что ж, что отнял?

— И глупцом тебя называл.

— Не знаю, может быть и называл.

— Донесем на него, что он нынче говорил.

— Что-о-о?

— А вот что!

И Термосесов нагнулся и, взяв из-под стула шляпу Ахиллы, бросил ее к порогу.

— Ну так ты, я вижу, петербургский мерзавец, — молвил дьякон, нагибаясь за своею шляпою, но в это же самое время неожиданно получил оглушительный удар по затылку и очутился носом на садовой дорожке, на которой в ту же минуту явилась и его шляпа, а немного подальше сидел на коленях Препотенский. Дьякон даже не сразу понял, как все это случилось, но, увидав в дверях Термосесова, погрозившего ему садовою лопатой, понял, отчего удар был широк и тяжек, и протянул:

— Вот так лампопо! Спасибо, что поучил.

И с этим он обратился к Варнаве и сказал:

— Что же? пойдем, брат, теперь по домам!

— Я не могу, — отвечал Варнава.

— Отчего?

— Да у меня, я думаю, на всем теле синевы, и болова голит.

— Ну, «болова голит», пройдет голова. Пойдем домой: я тебя провожу, — и дьякон сострадательно поднял Варнаву на ноги и повел его к выходу из сада. На дворе уже рассветало.

Отворяя садовую калитку, Ахилла и Препотен-

ский неожиданно встретились лицом к лицу с Бизюкиным.

Либеральный акцизный чиновник Бизюкин, высокий, очень недурной собой человек, с незначащею, но не злою физиономиею, только что возвратился из уезда. Он посмотрел на Ахиллу и Варнаву Препотенского и весело проговорил:

— Ну, ну, однако, вы, ребята, нарезались?

— Нарезались, брат, — отвечал Ахилла, — могу сказать, что нарезались.

— Чем же это вы так угостились? — запытал Бизюкин.

— Ланпопом, друг, нас там угощали. Иди туда в беседку: там еще и на твою долю осталось.

— Да кто же там? Жена? и кто с нею?

— Дионис, тиран сиракузский[81].

— Ну, однако ж, вы нализались!.. Какой там тиран!.. А вы, Варнава Васильич, уже даже как будто и людей не узнаете? — отнесся акцизник к Варнаве.

— Извините, — отвечал, робко кланяясь, Препотенский. — Не узнаю. Знако лицомое, а где вас помнил, не увижу.

---

[81] Примечания: 81

Дионисий — имя двух тиранов (изначальное значение «неограниченный правитель») сиракузских: Дионисия Старшего (правил в 406–367 годах до и. э.) и его сына Дионисия Младшего.

— Вон он даже, как он, бедный, уж совсем плохо заговорил! — произнес дьякон и потащил Варнаву с гостеприимного двора.

Спустя несколько минут Ахилла благополучно доставил Варнаву до дома и сдал его на руки просвирне, удивленной неожиданною приязнью дьякона с ее сыном и излившейся в безмерных ему благодарностях.

Ахилла ничего ей не отвечал и, придя домой, поскорее потребовал у своей Эсперансы медную гривну.

— Вы, верно, обо что-нибудь ударились, отец дьякон? — полюбопытствовала старуха, видя, как Ахилла жмет к затылку поданную гривну.

— Да, Эсперанса, я ударился, — отвечал он со вздохом, — но только если ты до теперешнего раза думала, что я на мою силу надеюсь, так больше этого не думай. Отец протопоп министр юстиции; он правду мне, Эсперанса, говорил: не хвались, Эсперанса, сильный силою своею, ни крепкий крепостью своею!

И Ахилла, опустив услужающую, присел на корточки к окну и, все вздыхая, держал у себя на затылке гривну и шептал:

— Такое ланпопо вздулось, что по-настоящему дня два показаться на улицу нельзя будет.

Глава седьмая

Протопоп возвратился домой очень взволнованный и расстроенный. Так как он, по причине празднества, пробыл у исправника довольно долго, то домоседка протопопица Наталья Николаевна, против своего всегдашнего обыкновения, не дождалась его и легла в постель, оставив, однако, дверь из своей спальни в зал, где спал муж, отпертою. Наталья Николаевна непременно хотела проснуться при возвращении мужа.

Туберозов это понял и, увидав отворенную дверь в спальню жены, вошел к ней и назвал ее по имени.

Наталья Николаевна проснулась и отозвалась.

— Не спишь?

— Нет, дружечка Савелий Ефимыч, не сплю.

— Ну и благо; мне хочется с тобой говорить.

И старик присел на краешек ее кровати и начал пересказывать жене свою беседу с предводителем, а затем стал жаловаться на общее равнодушие к распространяющемуся повсеместно в России убеждению, что развитому человеку «стыдно веровать». Он представил жене разные свои опасения за упадок нравов и потерю доброго

идеала. И как человек веры, и как гражданин, любящий отечество, и как философствующий мыслитель, отец Савелий в его семьдесят лет был свеж, ясен и тепел: в каждом слове его блестел здравый ум, в каждой ноте слышалась задушевная искренность.

Наталья Николаевна не прерывала возвышенных и страстных речей мужа ни одним звуком, и он говорил на полной свободе, какой не давало ему положение его ни в каком другом месте.

— И представь же ты себе, Наташа! — заключил он, заметив, что уже начинает рассветать и его канарейка, проснувшись, стала чистить о жердочку свой носик, — и представь себе, моя добрая старушка, что ведь ни в чем он меня, Туганов, не опровергал и во всем со мною согласился, находя и сам, что у нас, как покойница Марфа Андревна говорила, и хвост долог, и нос долог, и мы стоим как кулики на болоте да перекачиваемся: нос вытащим — хвост завязнет, а хвост вытащим — нос завязнет; но горячности, какой требует такое положение, не обличил… Ужасное равнодушие!

Наталья Николаевна молчала.

— И в дополнение ко всему меня же еще назвал «маньяк»!.. Ну скажи, сделай милость, к чему это такое название ко мне может относиться и после

чего? (Савелий продолжал, понизив голос.) Меня назвал «маньяком», а сам мне говорит… Я ему поставил вопрос, что все же, мол… мелко ли это или не мелко, то что я указываю, но все это знамения царящего в обществе духа. «И что же, мол, если теперь с этою мелочью не справимся, то как на-большие-то наши тогда думают справляться, когда это вырастет?» А он по этой, ненавистной мне, нашей русской шутливости изволил оповедать анекдот, который действительно очень подходящ к делу, но которого я, по званию своему, никому, кроме тебя, не могу и рассказать! Говорит, что был-де будто один какой-то офицер, который, вступив на походе в одну квартиру, заметил по соседству с собою замечательную красавицу и, пленясь ее видом, тотчас же, по своему полковому обычаю, позвал денщика и говорит: «Как бы, братец, мне с сею красавицей познакомиться?» А денщик помялся на месте и, как ставил в эту пору самовар, вдруг восклицает: «Дымом пахнет!» Офицер вскочил и бросился в комнату к сей прелестнице, говоря: «Ай, сударыня, у вас дымом пахнет, и я пришел вас с вашею красотой спасти от пламени пожара», и таким образом с нею познакомился, а денщика одарил и напоил водкой. Но спустя немалое время тот

же охотник до красоты, перейдя на другое место, также увидал красивую даму, но уже не рядом с собою, а напротив своего окна через улицу, и говорит денщику: «Ах, познакомь меня с сею дамой!», но тот, однако, сумел только ответить снова то же самое, что «дымом пахнет!» И офицер увидал, что напрасно он полагался на ум сего своего помощника, и желанного знакомства через него вторично уже не составил. Заключай же, какая из сего является аналогия: у нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие, издевка над родиной, в оценке людей, небрежение о святыне семейных уз, неразборчивость, а иносказательная красавица наша, наружная цивилизация, досталась нам просто; но теперь, когда нужно знакомиться с красавицей иною, когда нужна духовная самостоятельность… и сия красавица сидит насупротив у своего окна, как мы ее достанем? Хватимся и ахнем «Ах, мол, как бы нам с нею познакомиться!» А нескладные денщики что могут на сие ответить кроме того, что, мол, «дымом пахнет». Что тогда в этом проку, что «дымом пахнет»?

— Да, — уронила, вздохнув, Наталья Николаевна.

— Ну то-то и есть! Стало быть, и тебе это ясно:

кто же теперь «маньяк»? Я ли, что, яснее видя сие, беспокоюсь, или те, кому все это ясно и понятно, но которые смотрят на все спустя рукава: лишь бы-де по наш век стало, а там хоть все пропади! Ведь это-то и значит: «дымом пахнет». Не так ли, мой друг?

— Да, голубчик, это, верно, девчонка встала самовар ставить! — проговорила скороговоркой сонным голосом Наталья Николаевна.

Туберозов понял, что он все время говорил воздуху, не имеющему ушей для того, чтоб его слышать, и он поник своею белою головой и улыбнулся.

Ему припомнились слова, некогда давно сказанные ему покойною боярыней Марфой Плодомасовой: «А ты разве не одинок? Что же в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит, а все же чем ты болеешь, ей того не понять. И так всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих».

— Да, одинок! всемерно одинок! — прошептал старик. — И вот когда я это особенно почувствовал? когда наиболее не хотел бы быть одиноким, потому что… маньяк ли я или не маньяк, но… я решился долее ничего этого не терпеть и на что решился, то совершу, хотя бы то было до

дерзости…

И старик тихо поднялся с кровати, чтобы не нарушить покоя спящей жены, перекрестил ее и, набив свою трубку, вышел с нею на двор и присел на крылечке.

Глава восьмая

У Туберозова была большая решимость на дело, о котором долго думал, на которое давно порывался и о котором никому не говорил. Да и с кем он мог советоваться? Кому мог он говорить о том, что задумал? Не смиренному ли Захарии, который «есть так, как бы его нет»; удалому ли Ахилле, который живет как стихийная сила, не зная сам, для чего и к чему он поставлен; не чиновникам ли, или не дамам ли, или, наконец, даже не Туганову ли, от которого он ждал поддержки как от коренного русского барина? Нет, никому и даже ни своей елейной Наталье Николаевне, которой запах дыма и во сне только напоминает один самовар…

— Она, голубка, и во сне озабочена, печется одним, как бы согреть и напоить меня, старого, теплым, а не знает того, что согреть меня может иной уголь, горящий во мне самом, и лишь живая

струя властна напоить душевную жажду мою, которой нет утоления при одной мысли, что я старый… седой… полумертвец… умру лежачим камнем и… потеряю утешение сказать себе пред смертью, что… силился по крайней мере присягу выполнить и… и возбудить упавший дух собратий!

Старик задумался. Тонкие струйки вакштафного дыма, вылетая из-под его седых усов и разносясь по воздуху, окрашивались янтарною пронизью взошедшего солнца; куры слетели с насестей и, выйдя из закутки, отряхивались и чистили перья. Вот на мосту заиграл в липовую дудку пастух, на берегу зазвенели о водонос пустые ведра на плечах босой бабы; замычали коровы, и собственная работница протопопа, крестя зевающий рот, погнала за ворота хворостиной коровку; канарейка трещит на окне, и день во всем сиянии.

Вот ударили в колокол.

Туберозов позвал работника и послал его за дьячком Павлюканом.

«Да, — размышлял в себе протопоп, — надо уйти от себя, непременно уйти и… покинуть многозаботливость. Поищу сего».

На пороге калитки показалась молодая цы-

ганка с ребенком у груди, с другим за спиной и с тремя цеплявшимися за ее лохмотья.

— Дай что-нибудь, пан отец, счастливый, талантливый! — приступила она к Савелию.

— Что ж я тебе дам, несчастливая и бесталанная? Жена спит, у меня денег нет.

— Дай что-нибудь, что тебе не надо; за то тебе честь и счастие будет.

— Что же бы не надобно мне? А, а! Ты дело сказала, — у меня есть что мне не надо!

И Туберозов сходил в комнаты и, вынеся оттуда свои чубуки с трубками, бисерный кисет с табаком и жестянку, в которую выковыривал пепел, подал все это цыганке и сказал:

— На тебе, цыганка, отдай это все своему цыгану — ему это пристойнее.

Наталья Николаевна спала, и протопоп винил в этом себя, потому что все-таки он долго мешал ей уснуть то своим отсутствием, то своими разговорами, которых она хотя и не слушала, но которые тем не менее все-таки ее будили.

Он пошел в конюшню и сам задал двойную порцию овса паре своих маленьких бурых лошадок и тихо шел через двор в комнаты, как вдруг неожиданно увидал входившего в калитку рассыльного солдата акцизного Бизюкина. Солдат

был с книгой.

Протопоп взял из его рук разносную книгу и, развернув ее, весь побагровел; в книге лежал конверт, на котором написан был следующий адрес: «Благочинному Старогородского уезда, протопопу Савелию Туберкулову». Слово «Туберкулову» было слегка перечеркнуто и сверху написано: «Туберозову».

— Велели сейчас расписку представить, — сказал солдат.

— А кто это велел?

— Этого приезжего чиновника секретарь.

— Ну, подождет.

Протопоп понял, что это было сделано неспроста, что с ним идут на задор и, вероятно, имеют за что зацепиться.

«Что б это такое могло быть? И так рано… ночь, верно, не спали, сочиняя какую-нибудь мерзость… Люди досужие!»

Думая таким образом, Туберозов вступил в свою залитую солнцем зальцу и, надев круглые серебряные очки, распечатал любопытный конверт.

Глава девятая

Щекотливая бумага была нечто бесформенное, которым в неприятных, каверзливых выражениях, какими преизобилует канцелярский язык, благочинный Туберозов не то приглашался, не то вызывался «конфиденциально» к чиновнику Борноволокову «для дачи объяснений относительно важных предметов, а также соблазнительных и непристойных поступков дьякона Ахиллы Десницына».

— Фу ты, прах вас возьми, да уж это не шутка ли глупейшая?.. Неужто уж они вздумали шутить надо мною таким образом?!. Но нет, это не шутка: «Туберкулову»… Фамилия моя перековеркана с явным умыслом оскорбить меня и… и потом «соблазнительное и непристойное поведение» Ахиллы!.. Что все это такое значит и на что сплетается?.. Дабы их не потешить и не впасть в погрешность, испробуем метод выжидательный, в неясных случаях единственно уместный.

Протопоп взял перо и под текстом бесформенной бумаги написал: «Благочинный Туберозов, не имея чести знать полномочий требующего его лица, не может почитать в числе своих обязанно-

стей явку к нему по сему зову или приглашению», и потом, положив эту бумагу в тот же конверт, в котором она была прислана, он надписал поперек адреса: «Обратно тому, чьего титула и величания не знаю».

Кинув все это в ту же рассыльную книгу, в которой бумага была доставлена, он вышел на крыльцо и отдал книгу солдату; явившемуся длинному дьячку Павлюкану велел мазать кибитку и готовиться через час ехать с ним в уезд по благочинию, а работницу послал за Ахиллой.

Меж тем встала Наталья Николаевна и, много извиняясь пред мужем, что она вчера уснула во время его рассказа, начала собирать ему его обыкновенный путевой чемоданчик, но при этом была удивлена тем, что на вопрос ее: куда сунуть табак? протопоп коротко отвечал, что он больше не курит табаку, и вслед за тем обратился к вошедшему в эту минуту дьякону.

— Я сейчас еду по благочинию, а тебя попросил к себе, чтобы предупредить, — заговорил он к Ахилле, но тот его сейчас же перебил.

— Уж покорно вас благодарю, отец протоиерей, я уже предупрежден.

— Да; но это пока еще ничего: не очень-то я сего пугаюсь, но, пожалуйста, прошу тебя, будь ты

хотя в мое отсутствие посолиднее.

— Да уж теперь, отец протоиерей… хоть бы и вы не изволили говорить, так все кончено.

Туберозов остановился и посмотрел на него пристальным, проницающим взором. Фигура и лицо дьякона были не в авантаже; его густые природные локоны лежали на голове как сдвинувшаяся фальшивая накладка; правый висок был слишком далеко обнажен, левый закрыт до самого глаза.

Протопоп смекал, что б это такое еще могло случиться с неосторожным дьяконом, а тот, потупив глаза в свою шляпу, заговорил:

— Я еще вчера же, отец протопоп… как только пришел домой от Бизюкинши… потому что мы все от исправника к ней еще заходили, как вернулся, сейчас и сказал своей услужающей: «Нет, говорю, Эсперанса, отец Савелий справедлив: не надейся сильный на свою силу и не хвались своею крепостью».

Протопоп вместо ответа подошел к дьякону и приподнял рукой волосы, не в меру закрывшие всю левую часть его лица.

— Нет, отец Савелий, здесь ничего, а вот тут, — тихо проговорил Ахилла, переводя руку протопопа себе на затылок.

— Стыдно, дьякон, — сказал Туберозов.

— И больно даже, отец протопоп! — отвечал, ударив себя в грудь, Ахилла и горько заплакал, лепеча: — За это я себя теперь ежечасно буду угрызать.

Туберозов не подлил ни одной капли в эту чашу страдания Ахиллы, а, напротив, отполнил от нее то, что лилось через край; он прошелся по комнате и, тронув дьякона за руку, сказал:

— Помнишь ли, ты меня когда-то весьма хорошо укорял трубкой?

— Простите.

— Нет; я тебе за это благодарен и хотя особенно худого в этом курении не усматриваю и привычку к сему имел, но дабы не простирать речей, сегодня эту привычку бросил и все свои трубки цыганам отдал.

— Цыганам! — воскликнул, весь просияв, дьякон.

— Да; это тебе все равно, кому я их отдал, но отдай же и ты кому-нибудь свою удаль: ты не юноша, тебе пятьдесят лет, и ты не казак, потому что ты в рясе. А теперь еще раз будь здоров, а мне пора ехать.

И Туберозов уехал, а дьякон отправился к отцу Захарии, чтоб упросить его немедленно же под

каким-нибудь предлогом сходить к акцизному и узнать: из какого звания происходит Термосесов?

— А на что это тебе? — отвечал Бенефактов.

— Да надобно же мне знать, чьего он роду, племени и какого отца с матерью.

Захария взялся забрать эту необходимую для Ахиллы справку.

Глава десятая

В доме Бизюкина утро этого дня было очень неблагополучно: акцизница хватилась бывшего на ней вчера вечером дорогого бриллиантового колье и не нашла его. Прислуга была вся на ногах; хозяева тоже. Пропажу искали и в беседке, и по всему дому, и нигде не находили.

Борноволоков приступил к ревизии, а Термосесов был ожесточенно занят; он все возился около тарантасного ящика, служившего вместилищем его движимости. Достав отсюда из своей фотографической коллекции несколько карточек членов императорской фамилии, Термосесов почистил резинкой и ножичком те из них, которые ему показались запыленными, и потом, положив их в конвертик, начал писать письмо в Петербург к

какому-то несуществующему своему приятелю. Не зная планов Термосесова, объяснить себе этого невозможно. Он тут описывал красу природы, цвет розо-желтый облаков, и потом свою дружбу с Борноволоковым, и свои блестящие надежды на служебную карьеру, и наследство в Самарской губернии, а в конце прибавлял легкий эскиз виденного им вчера старогородского общества, которое раскритиковал страшно и сделал изъятие для одной лишь очтмейстерши. «Эта женщина, — писал он, — вполне достойна того, чтобы на ней остановиться. Представь, что тут даже как будто что-то роковое, я увидал ее и сразу почувствовал к ней что-то сыновнее. Просто скажу тебе, что, кажется, если б она меня захотела высечь, то я поцеловал бы у нее с благодарностью руку. А впрочем, я и сам еще не знаю, чем это кончится, у нее есть две дочери. Одна из них настоящая мать, да и другая, верно, будет не хуже. Кто, брат, знает, для чего неисповедимые судьбы сблизили меня с этим семейством высокоуважаемой женщины? Может быть, придется пропеть: «Ты прости, прощай, волюшка». Не осуждай, брат, а лучше, когда будешь ехать домой, закати и сам сюда на недельку! Кто, брат, знает, что и с тобой будет, как увидишь? Одному

ведь тоже жить не радостно, а тем паче теперь, когда мы с тобой в хлебе насущном обеспечены да еще людям помогать можем! Затем прощай покуда. Я тебе, впрочем, верно опять скоро буду писать, потому что я из лица этой почтенной почтмейстерши задумал сделать литературный очерк и через тебя пошлю его, чтобы напечатать в самом лучшем журнале. Твой Термосесов».

Адресовав письмо на имя Николая Ивановича Иванова, Термосесов погнул запечатанный конверт между двумя пальцами и, убедясь, что таким образом можно прочесть всю его приписку насчет почтмейстерши, крякнул и сказал: «Ну-ка, посмотрим теперь, правду ли говорил вчера Препотенский, что она подлепливает письма? Если правда, так я благоустроюсь».

С этим он взял письмо и карточки и пошел в почтовую контору. Кроме этого письма, в кармане Термосесова лежало другое сочинение, которое он написал в те же ранние часы, когда послал повестку Туберозову. В этом писании значилось: «Комплот демократических социалистов, маскирующихся патриотизмом, встречается повсюду, и здесь он группируется из чрезвычайно разнообразных элементов, и что всего вредоноснее, так это то, что в этом комплоте уже в

значительной степени участвует духовенство — элемент чрезвычайно близкий к народу и потому самый опасный. Результаты печальных промахов либеральной терпимости здесь безмерны и неисчислимы. Скажу одно: с тех пор как некоторым газетам дозволено было истолковать значение, какое имело русское духовенство в Галиции, и наши многие священники видимо стремятся подражать галицким духовным. Они уже не довольствуются одним исполнением церковных треб, а агитируют за свободу Церкви и за русскую народность.

Старогородский протопоп Савелий Туберозов, уже не однажды обращавший на себя внимание начальства своим свирепым и дерзким характером и вредным образом мыслей, был многократно и воздерживаем от своих непозволительных поступков, но, однако, воздерживается весьма мало и в сущности полон всяких революционных начал.

Не хочу предрешать, сколько он может быть вреден целям правительства, но я полагаю, что вред, который он может принести, а частию уже и приносит, велик бесконечно. Протопоп Туберозов пользуется здесь большим уважением у всего города, и должно сознаться, что он владеет несо-

мненным умом и притом смелостью, которая, будучи развита долгим потворством начальства, доходит у него до бесстрашия. Такой человек должен бы быть во всех своих действиях ограничен как можно строже, а он между тем говорит обо всем, нимало не стесняясь, и вдобавок еще пользуется правом говорить всенародно в церкви.

Этот духовный элемент, столь близкий к народу, с другой стороны, видимо начинает сближаться и со всею земщиной, то есть с поместным дворянством. Так, например, этот подозрительный протопоп Туберозов пользуется, по-видимому, расположением и покровительством предводителя Туганова, личность и взгляды которого столь вам известны. Г-н Туганов, быв здесь на вечере у здешнего исправника, говорил, что «от земли застят солнце», очевидно разумея под словом земля — народ, а под солнцем — монарха, но а кто же застит, то уже не трудно определить, да, впрочем, он и сам это объяснил, сказав в разговоре, что он человек земский, а «губернатор калиф на час». И наконец, кроме всего этого, когда ему один здешний учитель, Препотенский, человек совершенно глупый, но вполне благонадежный, сказал, что все мы не можем отвечать: чем и как Россия управляется? то он с наглою циничностью

отвечал: «Я, говорит, в этом случае питаю большое доверие к словам екатерининского Панина, который говорил, что Россия управляется милостью Божиею и глупостью народною». На все это имею честь обратить внимание вашего превосходительства и при сем считаю своею обязанностью свидетельствовать пред вашим превосходительством о незаменимых заслугах находящегося при мне вольнонаемного канцелярского служителя Измаила Петрова Термосесова, тонкой наблюдательности которого и уменью проникать во все слои общества я обязан многими драгоценными сведениями, и смею выразить ту мысль, что если бы начальству угодно было употребить этого даровитого человека к самостоятельной работе в наблюдательном роде, то он несомненно мог бы принесть пользу безмерную».

Идучи с этою бумагой, Термосесов кусал себе губы и вопрошал себя:

— Подпишет ли каналья Борноволоков эту штуку? Да ничего — хорошенько нажму, так все подпишет!

Глава одиннадцатая

Термосесов зашел сначала в контору, подал здесь письмо и потом непосредственно отправился к почтмейстерше. Они встретились друзьями; он поцеловал ее руку, она чмокнула его в темя и благодарила за честь его посещения.

— Помилуйте, мне вас надо благодарить, — отвечал Термосесов, — такая скука. Даже всю ночь не спал от страху, где я и с кем я?

— Да, она такая невнимательная, Дарья Николаевна, то есть не невнимательная, а не хозяйка.

— Да, кажется.

— Как же! она ведь все за книгами.

— Скажите, какие глупости! Тут надо смотреть, а не читать. Я, знаете, как вчера всех ваших посмотрел и послушал… просто ужас.

— Уж я говорила вчера дочерям: «Весело, — я говорю, — должно быть, было нашему заезжему гостю?»

— Нет; относительно этого ничего. Я ведь служу не из-за денег, а больше для знакомства с краем.

— Ах, так вы у нас найдете бездну материалов для наблюдения!

— Вот именно для наблюдения! А вот, кстати,

и те портреты, которые вы мне позволили принесть. Позвольте, я их развешу.

Почтмейстерша не знала, как ей благодарить.

— Это будет работа, которою я с удовольствием займусь, пока увижу ваших прекрасных дочерей… Надеюсь, я их увижу?

Почтмейстерша отвечала, что они еще не одеты, потому что хозяйничают, но что тем не менее они выйдут.

— Ах, прошу вас, прошу вас об этом, — умолял Термосесов, и когда обольщенная им хозяйка вышла, он стал размещать по стене портреты на гвоздях, которые принес с собою в кармане.

Туалет девиц продолжался около часа, и во все это время не являлась и почтмейстерша.

«Добрый знак, добрый знак, — думал Термосесов. — Верно, зачиталась моей литературы».

Но вот появились и предводимые матерью девицы. Измаил Петрович кинул быстрый и проницательный взгляд на мать. Она сияла и брызгала лучами восторга.

«Клюнула моего червячка, клюнула!»– мигнул себе Термосесов и удесятерил свою очаровательную любезность. Но чтобы еще верней дознаться, «клюнула» ли почтмейстерша, он завел опять речь о литературе и о своем дорожном альбоме

впечатлений и заметок.

— Портретов! Бога ради, более портретов! более картинок с натуры! — просила почтмейстерша.

— Да, я уж написал, как мне представилось все здешнее общество, и, простите, упомянул о вас и о вашей дочери… Так, знаете, немножко, вскользь… Вот если бы можно было взять назад мое письмо, которое я только что подал…

— Ах нет, на что же! — отвечала, вспыхнув, почтмейстерша.

«Клюнула, разбойница, клюнула!» — утешался Термосесов и настаивал на желании прочесть дамам то, что он о них написал. В зале долгое время только и слышалось: «Нет, на что же читать? мы вам и так верим!» и «Нет-с, почему же не прочесть?.. Вы мне, Бога ради, не доверяйтесь!»

Доводы Термосесова слишком соблазнительно действовали на любопытство девиц, из них то одна, то другая начали порываться сбегать к отцу в контору и принесть интересное письмо заезжего гостя.

Как почтмейстерша ни останавливала их и словами и знаками, они все-таки не понимали и рвались, но зато Термосесов понял все в совершенстве; письмо было в руках хозяйки, теперь его надо было взять только из ее рук и тем ее

самое взять в руки.

Термосесов, не задумываясь ни на одну минуту, сорвался с места и, несмотря на все удерживанья и зовы, бросился с предупредительностью в контору, крича, что он, наконец, и сам уже не властен отказать себе в удовольствии представить дамам легкие штрихи своих глубоких от них восторгов.

Удержать его стремительности не могли никакие просьбы, а письма в конторе действительно не было.

Глава двенадцатая

Измаил Петрович возвратился к дамам в крайнем смущении и застал их в еще большем. Девицы при его приходе обе вскочили и убежали, чтобы скрыть слезы, которые прошибли их от материнской гонки, но почтмейстерша сама осталась на жертву.

Термосесов стал перед нею молча и улыбался.

— Я вижу вас, — заговорила, жеманясь, дама, — и мне стыдно.

— Письмо у вас?

— Что делать? я не утерпела: вот оно.

— Это хорошо, что вы этим не пренебрегаете, — похвалил ее Термосесов, принимая из ее рук свое

запечатанное письмо.

— Нет, мне стыдно, мне ужасно стыдно, но что делать… я женщина…

— Полноте, пожалуйста! Женщина! тем лучше, что вы женщина. Женщина-друг всегда лучше друга-мужчины, а я доверчив, как дурак, и нуждаюсь именно в такой… в женской дружбе! Я сошелся с господином Борноволоковым… Мы давно друзья, и он и теперь именно более мой друг, чем начальник, по крайней мере я так думаю.

— Да, я вижу, вижу; вы очень доверчивы и простодушны.

— Я дурак-с в этом отношении! совершенный дурак! Меня маленькие дети, и те надувают!

— Это нехорошо, это ужасно нехорошо!

— Ну а что же вы сделаете, когда уж такая натура? Мне одна особа, которая знает нашу дружбу с Борноволоковым, говорит: «Эй, Измаил Петрович, ты слишком глупо доверчив! Не полагайся, брат, на эту дружбу коварную. Борноволоков в глаза одно, а за глаза совсем другое о тебе говорит», но я все-таки не могу и верю.

— Зачем же?

— Да вот подите ж! Как в песенке поется: «И тебя возненавидеть и хочу, да не могу». Не могу-с, я не могу по одним подозрениям переменять свое

мнение о человеке, но… если бы мне представили доказательства!., если б я мог слышать, что он говорит обо мне за глаза, или видеть его письмо!.. О, тогда я весь век мой не забыл бы услуг этой дружбы.

Почтмейстерша пожалела, что она даже и в глаза не видала этого коварного Борноволокова, и спросила: нет ли у Термосесова карточки этого предателя?

— Нет, карточки нет; но письмо есть. Вот его почерк.

И он показал и оставил на столе у почтмейстерши обрывок листка, исписанного рукой Борноволокова.

Глава тринадцатая

Эта вторая удочка была брошена еще метче первой, и пред вечером, когда Термосесов сидел с Борноволоковым и Бизюкиным за кофе, явился почтальон с просьбой, чтоб Измаил Петрович сейчас пришел к почтмейстерше.

— А, да! я ей дал слово ехать нынче с ними за город в какую-то рощу и было совсем позабыл! — отвечал Термосесов и ушел вслед за почтальоном.

Почтмейстерша встретила его одна в зале и, сжав его руку, прошептала:

— Ждите меня! я сейчас приду, — и с тем она вышла.

Когда почтмейстерша чрез минуту обратно вернулась, Термосесов стоял у окна и бил себя по спине фуражкой. Почтмейстерша осмотрелась; заперла на ключ дверь и, молча вынув из кармана письмо, подала его Термосесову.

Термосесов взял конверт, но не раскрывал его: он играл роль простяка и как будто ожидал пояснения, что ему с этим письмом делать.

— Смело, смело читайте, сюда никто не взойдет, — проговорила ему хозяйка.

Термосесов прочел письмо, в котором Борноволоков жаловался своей петербургской кузине Нине на свое несчастие, что он в Москве случайно попался Термосесову, которого при этом назвал «страшным негодяем и мерзавцем», и просил кузину Нину «работать всеми силами и связями, чтобы дать этому подлецу хорошее место в Польше или в Петербурге, потому что иначе он, зная все старые глупости, может наделать черт знает какого кавардаку, так как он способен удивить свет своею подлостью, да и к тому же едва ли не вор, так как всюду, где мы побываем, начинаются

пропажи».

Термосесов дочитал это письмо своего друга и начальника очень спокойно, не дрогнув ни одним мускулом, и, кончив чтение, молча же возвратил его почтмейстерше.

— Узнаете вы своего друга?

— Не ожидал этого! Убей меня Бог, не ожидал! — отвечал Термосесов, вздохнув и закачав головой.

— Я признаюсь, — заговорила почтмейстерша, вертя с угла на угол возвращенное ей письмо, — я даже изумилась… Мне моя девушка говорит: «Барыня, барыня! какой-то господин бросил письмо в ящик!» Я говорю: «Ну что ж такое?», а сама, впрочем, думаю, зачем же письмо в ящик? у нас это еще не принято: у нас письмо в руки отдают. Честный человек не станет таиться, что он посылает письмо, а это непременно какая-нибудь подлость! И вы не поверите, как и почему?., просто по какому-то предчувствию говорю: «Нет, я чувствую, что это непременно угрожает чем-то этому молодому человеку, которого я… полюбила, как сына».

Термосесов подал почтмейстерше руку и поцеловал ее руку.

— Право, — заговорила почтмейстерша с непритворными нервными слезами на глазах. —

Право… я говорю, что ж, он здесь один… я его люблю, как сына; я в этом не ошибаюсь, и слава Богу, что я это прочитала.

— Возьмите его, — продолжала она, протягивая письмо Термосесову, — возьмите и уничтожьте.

— Уничтожить — зачем? нет, я его не уничтожу. Нет; пусть его идет, куда послано, но копийку позвольте, я только сниму с него для себя копийку.

Термосесов сразу сообразил, что хотя это письмо и не лестно для его чести, но зато весьма для него выгодно в том отношении, что уж его, как человека опасного, непременно пристроят на хорошее место.

Списав себе копию, Термосесов, однако, спрятал в карман и оригинал и ушел погулять.

Он проходил до позднего вечера по загородным полям и вернулся поздно, когда уже супруги Бизюкины отошли в опочивальню, а Борноволоков сидел один и что-то писал.

— Строчите вы, ваше сиятельство! Уже опять что-то строчите? — заговорил весело Термосесов.

В ответ последовало одно короткое бесстрастное «да».

— Верно, опять какую-нибудь гадость сочиняете?

Борноволоков вздрогнул.

— Ну, так и есть! — лениво произнес Термосесов и вдруг неожиданно запер дверь и взял ключ в карман.

Борноволоков вскочил и быстро начал рвать написанную им бумажку.

Глава четырнадцатая

Жестоковыйный проходимец расхохотался.

— Ах, как вы всполошились! — заговорил он. — Я запер дверь единственно для того, чтобы посвободнее с вами поблагодушествовать, а вы все сочинение порвали.

Борноволоков сел.

— Подпишите вот эту бумажку. Только чур ее не рвать.

Термосесов положил пред ним ту бесформенную бумагу, в которой описал правду и неправду о Туберозове с Тугановым и положил себе аттестацию.

Борноволоков бесстрастно прочел ее всю от начала до конца.

— Что же? — спросил Термосесов, видя, что чтение окончено, — подписываете вы или нет?

— Я мог бы вам сказать, что я удивляюсь, но…

— Но я вас уже отучил мне удивляться! Я это

прекрасно знаю, и я и сам вам тоже не удивляюсь, — и Термосесов положил пред Борноволоковым копию с его письма кузине Нине, и добавил:

— Подлинник у меня-с.

— У вас!.. но как же вы смели?

— Ну, вот еще мы с вами станем про смелость говорить! Этот документ у меня по праву сильного и разумного.

— Вы его украли?

— Украл.

— Да это просто черт знает что!

— Да как же не черт знает что: быть другом и приятелем, вместе Россию собираться уничтожить и вдруг потом аттестовать меня чуть не последним подлецом и негодяем! Нет, батенька: это нехорошо, и вы за то мне совсем другую аттестацию пропишите.

Борноволоков вскочил и заходил.

— Сядьте; это вам ничего не поможет! — приглашал Термосесов. — Надо кончить дело миролюбив, а то я теперь с этим вашим письмецом, заключающим указания, что у вас в прошедшем хвост не чист, знаете куда могу вас спрятать? Оттуда уже ни полячишки, ни кузина Нина не выручат.

Борноволоков нетерпеливо хлопнул себя по

ляжкам и воскликнул:

— Как вы могли украсть мое письмо, когда я его сам своими руками опустил в почтовый ящик?

— Ну вот, разгадывайте себе по субботам: как я украл? Это уже мое дело, а я в последний раз вам говорю: подписывайте! На первом листе напишите вашу должность, чин, имя и фамилию, а на копии с вашего письма сделайте скрепу и еще два словечка, которые я вам продиктую.

— Вы… вы мне продиктуете?

— Да, да; я вам продиктую, а вы их напишите и дадите мне тысячу рублей отсталого.

— Отсталого!.. за что?

— За свой покой без меня.

— У меня нет тысячи рублей.

— Я вам под расписку поверю. Рублей сто, полтораста наличностью, а то я подожду… Только уж вот что: разговаривать я долго не буду: вуле-ву[82], так вуле-ву, а не вуле-ву, как хотите: я вам имею честь откланяться и удаляюсь.

Борноволоков шагал мимо по комнате.

— Думайте, думайте! такого дела не обдумавши не следует делать, но только все равно ничего не выдумаете: я свои дела аккуратно веду, — молвил

---

[82] Примечания: 82
Не желаете ли (франц.).

Термосесов.

— Давайте я подпишу, — резко сказал Борноволоков.

— Извольте-с!

Термосесов обтер полой перо, обмакнул его в чернило и почтительно подал Борноволокову вместе с копией его письма к петербургской кузине Нине.

— Что писать?

— Сейчас-с. Термосесов крякнул и начал:

— Извольте писать: «Подлец Термосесов».

Борноволоков остановился и вытаращил на него глаза.

— Вы в самом деле хотите, чтоб я написал эти слова?

— Непременно-с; пишите: «ПодлецТермосесов…»

— И вам это даже не обидно?

— Ведь все на свете обидно или не обидно, смотря по тому, от кого идет.

— Да; но говорите скорее, чего вы хотите далее; написал: «Подлец Термосесов».

— Покорно вас благодарю-с. Продолжайте.

Глава пятнадцатая

Секретарь, стоя за стулом Борноволокова, глядел через его плечо в бумагу и продолжал диктовать: «Подлец Термосесов непостижимым и гениальным образом достал мое собственноручное письмо к вам, в котором я, по неосторожности своей, написал то самое, что вы на этом листке читаете выше, хотя это теперь написано рукой того же негодяя Термосесова».

— Довольно?

— Нет-с, еще надо набавить. Извольте писать. «Как он взял письмо, собственноручно мною отданное на почту, я этого не могу разгадать, но зато это же самое может вам свидетельствовать об отважности и предприимчивости этого мерзавца, поставившего себе задачей не отступать от меня и мучить меня, пока вы его не устроите на хорошее жалованье. Заклинаю вас общим нашим благополучием сделать для него даже то, чего невозможно, ибо иначе он клянется открыть все, что мы делали в глупую пору нашего революционерства».

— Нельзя ли последние слова изменить в редакции?

— Нет-с; я как Пилат: еже писах — писах.

Борноволоков дописал свое унижение и отбросил лист.

— Теперь вот эту бумагу о духовенстве и о вредных движениях в обществе просто подпишите.

Борноволоков взял в руки перо и начал еще раз просматривать эту бумагу, раздумался и спросил:

— Что они вам сделали, эти люди, Туберозов и Туганов?

— Ровно ничего.

— Может быть, они прекрасные люди…

— Очень может быть.

— Ну так за что же вы на них клевещете? Ведь это, конечно, клевета?

— Не все, а есть немножко и клеветы!

— За что же это?

— Что же делать: мне надо способности свои показать. За вас, чистокровных, ведь дядья да тетушки хлопочут, а мы, парвенюшки, сами о себе печемся.

Борноволоков вздохнул и с омерзением подписал бумагу, на которой Термосесов строил его позор, Савелиеву гибель и собственное благополучие.

Термосесов принял подписанную ябеду и, скла-

дывая бумагу, заговорил:

— Ну, а теперь третье дело сделаем, и тогда шляпу наденем и простимся. Я заготовил векселек на восемьсот рублей и двести прошу наличностью.

Борноволоков молчал и глядел на Термосесова, опершись на стол локтями.

— Что же, в молчанку, что ли, будем играть?

— Нет; я только смотрю на вас и любуюсь.

— Любуйтесь, таков, какого жизнь устроила, и подпишите векселек и пожалуйте деньги.

— За что же, господин Термосесов? За что?

— Как за что? за прежние тайные удовольствия в тиши ночей во святой Москве, в греховном Петербурге; за беседы, за планы, за списки, за все, за все забавы, которых след я сохранил и в кармане и в памяти, и могу вам всю вашу карьеру испортить.

Борноволоков подписал вексель и выкинул деньги.

— Благодарю-с, — ответил Термосесов, пряча вексель и деньги, — очень рад, что вы не торговались.

— А то бы что еще было?

— А то бы я вдвое с вас спросил.

Термосесов, забрав все свои вымогательства, стал искать фуражку.

— Я буду спать в тарантасе, — сказал он, — а то тут вдвоем нам душно.

— Да, это прекрасно, но вы же, надеюсь, теперь отдадите мне мое собственное письмо?

— Гм! ну, нет, не надейтесь: этого в уговоре не было.

— Но на что же оно вам?

— Да этого в договоре не было.

И Термосесов рассмеялся.

— Хотите, я вам еще денег дам.

— Нет-с, я не жаден-с, с меня довольно.

— Фу, какая вы…

— Скотина, что ли? Ничего, ничего, без церемоний, я не слушаю и бай-бай иду.

— Так выслушайте же по крайней мере вот что: где бриллианты, которые пропали у Бизюкиной?

— А я почему это должен знать?

— Вы… вы были с ней где-то… в беседке, что ли?

— Что же такое, что был? Там и другие тоже были: учителишка и дьякон.

— Да; ну так скажите по крайней мере, не в моих ли вещах где-нибудь эти бриллианты спрятаны?

— А я почему могу это знать?

— Господи! этот человек меня с ума сведет! — воскликнул Борноволоков, заметавшись.

— А вы вот что… — прошептал, сжав его руку, Термосесов, — вы не вздумайте-ка расписывать об этом своим кузинам, а то… здесь письма ведь не один я читаю.

Глава шестнадцатая

Пропавшие бриллианты Бизюкиной, лампопо, поражение Ахиллы и Препотенского, проделки с Дарьей Николаевной и почтмейстершей, наконец, шах и мат, данные Борноволокову, — все это, будучи делом почти одних суток, немножко ошеломило самого Термосесова. Он чувствовал неодолимую потребность выспаться и, растянувшись на сене в тарантасе, спал могучим крепким сном до позднего утра. Прохладный сарай, в котором стоял экипаж, обращенный Термосесовым в спальню, оставался запертым, и Измаил Петрович, даже и проснувшись, долго еще лежал, потягивался, чесал пятки и размышлял.

В размышлениях своих этот фрукт нашего рассадника был особенно интересен с той стороны, что он ни на минуту не возвращался к прошлому и совершившемуся и не останавливался ни на одном из новых лиц, которых он так круто и смело обошел самыми бесцеремонными прие-

мами. Хотя это и может показаться странным, но позволительно сказать, что в Термосесове была даже своего рода незлобивость, смешанная с бесконечною нравственною неряшливостию нахала и пренебрежительностию ко всем людям и ко всяким мнениям. Он словно раз навсегда порешил себе, что совесть, честь, любовь, почтение и вообще все так называемые возвышенные чувства — все это вздор, гиль, чепуха, выдуманная философами, литераторами и другими сумасшедшими фантазерами. Он не отрицал, — нет, это было бы слишком спорно, — он просто знал, что ничего подобного нет и что потому не стоит над этим и останавливаться. Не менее странно относился он и к людям: он не думал, что предстоящая ему в данную минуту личность жила прежде до встречи с ним и хочет жить и после, и что потому у нее есть свои исторические оглядки и свои засматриванья вперед. Нет, по его, каждый человек выскакивал пред ним, как дождевой пузырь или гриб, именно только на ту минуту, когда Термосесов его видел, и он с ним тотчас же распоряжался и эксплуатировал его самым дерзким и бесцеремонным образом, и потом, как только тот отслуживал ему свою службу, он немедленно же просто позабывал его. На своем

ническом языке он простодушно говорил: «я кого обижу, после на него никогда не сержусь», и это было верно. Если бы теперь к нему под сарай зашел Ахилла или Препотенский, он мог бы заговорить с ними, нимало не смущаясь ничем происшедшим вчерашнею ночью.

Поймав Борноволокова, о котором давно было позабыл, он схватился за него и сказал: я на нем повисну! И повис. Встретив Бизюкину, он пожелал за ней приударить и приударил; занимаясь ее развитием черт знает для чего, он метнул мыслью на возможность присвоить себе бывшие на ней бриллианты и немедленно же привел все это в исполнение, и притом спрятал их так хитро, что если бы, чего Боже сохрани, Бизюкины довели до обыска, то бриллианты оказались бы, конечно, не у Термосесова, а у князя Борноволокова, который носил эти драгоценности чуть ли не на самом себе; они были зашиты в его шинели. О протопопе Туберозове Термосесов, разумеется, даже и совсем никогда не размышлял и при первых жалобах Бизюкиной на протопопа бросал на ветер обещания стереть этого старика, но потом вдохновился мыслью положить его ступенью для зарекомендования своих «наблюдательных способностей», и теперь никакие силы не отвлекли

бы его от упорного стремления к исполнению этого плана.

Если бы старый протопоп это знал, то такая роль для него была бы самым большим оскорблением, но он, разумеется, и на мысль не набредал о том, что для него готовится, и разъезжал себе на своих бурках из села в село, от храма к храму; проходил многие версты по лесам; отдыхал в лугах и на рубежах нив и укреплялся духом в лоне матери-природы.

А в городе в это время неустанными усилиями Термосесова была уже затравлена длинная петля. Жалоба мещанина Данилки возымела ход, ничтожное происшествие стало делом, требующим решения по законам.

Ахилла был в ужасе: он метался то туда, то сюда, всех спрашивая:

— Ах, браточки мои, куда меня теперь за Данилку засудят?

Суд был для него страшнее всего на свете.

Слухи о предстоящем судьбище поползли из города в уезд и в самых нелепейших преувеличениях дошли до Туберозова, который сначала им не верил, но потом, получая отовсюду подтверждения, встревожился и, не объехав всего благочиния, велел Павлюкану возвращаться в

город.

Глава семнадцатая

Шумные известия о напастях на дьякона Ахиллу и о приплетении самого протопопа к этому ничтожному делу захватили отца Савелия в далеком приходе, от которого до города было по меньшей мере двое суток езды.

Дни стояли невыносимо жаркие. От последнего села, где Туберозов ночевал, до города оставалось ехать около пятидесяти верст. Протопоп, не рано выехав, успел сделать едва половину этого пути, как наступил жар неодолимый: бедные бурые коньки его мылились, потели и были жалки. Туберозов решил остановиться на покорм и последний отдых: он не хотел заезжать никуда на постоялый двор, а, вспомнив очень хорошее место у опушки леса, в так называемом «Корольковом верху», решился там и остановиться в холодке.

Отсюда открывается обширная плоская покатость, в конце которой почти за двадцать с лишком верст мелькают золотые главы городских церквей, а сзади вековой лес, которому нет перерыва до сплошного полесья. Здесь глубокая

тишина и прохлада.

Утомленный зноем, Туберозов лишь только вышел из кибитки, так сию же минуту почувствовал себя как нельзя лучше. Несмотря на повсеместный жар и истому, в густом темно-синем молодом дубовом подседе стояла живительная свежесть. На упругих и как будто обмокнутых в зеленый воск листьях молодых дубков ни соринки. Повсюду живой, мягкий, успокаивающий мат; из-под пестрой, трафаретной листвы папоротников глядит ярко-красная волчья ягода; выше, вся озолоченная светом, блещет сухая орешина, а вдали, на темно-коричневой торфянистой почве, раскинуты целые семьи грибов, и меж них коралл костяники.

Пока Павлюкан в одном белье и жилете отпрягал и проваживал потных коней и устанавливал их к корму у растянутого на оглоблях хрептюга[83], протопоп походил немножко по лесу, а потом, взяв из повозки коверчик, снес его в зеленую лощинку, из которой бурливым ключом бил гремучий ручей, умылся тут свежею водой и здесь же лег отдохнуть на этом коверчике.

Мерный рокот ручья и прохлада повеяли здоро-

[83] Примечания: 83

Мешок, в который насыпается овес и который подвязывается к приподнятым оглоблям для кормления лошадей.

вым «русским духом» на опаленную зноем голову Туберозова, и он не заметил сам, как заснул, и заснул нехотя: совсем не хотел спать, — хотел встать, а сон свалил и держит, — хотел что-то Павлюкану молвить, да дрема мягкою рукой рот зажала.

Дремотные мечтания протопопа были так крепки, что Павлюкан напрасно тряс его за плечи, приглашая встать и откушать каши, сваренной из крупы и молодых грибов. Туберозов едва проснулся и, проговорив: «Кушай, мой друг, мне сладостно спится», снова заснул еще глубже.

Павлюкан отобедал один. Он собрал ложки и хлеб в плетенный из лыка дорожный кошель, опрокинул на свежую траву котел и, залив водой костерчик, забрался под телегу и немедленно последовал примеру протопопа. Лошади отца Савелия тоже недолго стучали своими челюстями; и они одна за другою скоро утихли, уронили головы и задремали.

Кругом стало сонное царство. Тишь до того нерушима, что из чащи леса сюда на опушку выскочил подлинялый заяц, сделав прыжок, сел на задние лапки, пошевелил усиками, но сейчас же и сконфузился: кинул за спину длинные уши и исчез.

Туберозов отрывался от сна на том, что уста его с непомерным трудом выговаривали кому-то в ответ слово «здравствуй».

«С кем я это здравствуюсь? Кто был здесь со мной?» — старается он понять, просыпаясь. И мнится ему, что сейчас возле него стоял кто-то прохладный и тихий в длинной одежде цвета зреющей сливы… Это казалось так явственно, что Савелий быстро поднялся на локти, но увидел только, что вон спит Павлюкан, вон его бурые лошади, вон и кибитка. Все это просто и ясно. Вон даже пристяжная лошадь, наскучив покоем, скапывает с головы оброть… Сбросила, отошла, повалялась, встала и нюхает ветер. Туберозов продолжает дремать, лошадь идет дальше и дальше; вот она щипнула густой муравы на опушке; вот скусила верхушку молодого дубочка; вот, наконец, ступила на поросший диким клевером рубеж и опять нюхает теплый ветер. Савелий все смотрит и никак не поймет своего состояния. Это не сон и не бденье; влага, в которой он спал, отуманила его, и в голове точно пар стоит. Он протер глаза и глянул вверх: высоко в небе над его головой плавает ворон. Ворон ли это или коршун? Нет. Нет, соображает старик, это непременно ворон: он держится стойче, и круги его шире…

А вот долетает оттуда, как брошенная горстка гороху, *ку-у-рлю.* Это воронье *ку-у-рлю,* это ворон. Что он назирает оттуда? Что ему нужно? Он устал парить в поднебесье и, может быть, хочет этой воды. И Туберозову приходит на память легенда, прямо касающаяся этого источника, который, по преданию, имеет особенное, чудесное происхождение. Чистый прозрачный водоем ключа похож на врытую в землю хрустальную чашу. Образование этой котловины приписывают громовой стреле. Она пала с небес и проникла здесь в недра земли, и тоже опять по совершенно особенному случаю. Тут будто бы некогда, разумеется очень давно, пал изнемогший в бою русский витязь, а его одного отовсюду облегла несметная сила неверных. Погибель была неизбежна; и витязь взмолился Христу, чтобы Спаситель избавил его от позорного плена, и предание гласит, что в то же мгновение из-под чистого неба вниз стрекнула стрела и взвилась опять кверху, и грянул удар, и кони татарские пали на колени и сбросили своих всадников, а когда те поднялись и встали, то витязя уже не было, и на месте, где он стоял, гремя и сверкая алмазною пеной, бил вверх высокою струей ключ студеной воды, сердито рвал ребра оврага и серебристым ручьем разбегался

вдали по зеленому лугу.

Родник почитают все чудесным, и поверье гласит, что в воде его кроется чудотворная сила, которую будто бы знают даже и звери и птицы. Это всем ведомо, про это все знают, потому что тут всегдашнее таинственное присутствие Ратая веры. Здесь вера творит чудеса, и оттого все здесь так сильно и крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, который ютится при его корне. Даже, по-видимому, совершенно умершее здесь оживает: вон тонкая сухая орешина; ее опалила молонья, но на ее кожуре выше корня, как зеленым воском, выведен «Петров крест», и отсюда опять пойдет новая жизнь. А в грозу здесь, говорят, бывает не шутка.

«Что же; есть ведь, как известно, такие наэлектризованные места», — подумал Туберозов и почувствовал, что у него как будто шевелятся седые волосы. Только что встал он на ноги, как в нескольких шагах пред собою увидал небольшое бланжевое облачко, которое, меняя слегка очертания, тихо ползло над рубежом, по которому бродила свободная лошадь. Облачко точно прямо шло на коня и, настигнув его, вдруг засновало, вскурилось и разнеслось, как дым пушечного жерла. Конь дико всхрапнул и в испуге понесся,

не чуя под собой земли.

Это была дурная вещь. Туберозов торопливо вскочил, разбудил Павлюкана, помог ему вскарабкаться на другого [84] коня и послал его в погоню за испуганною лошадью, которой между тем уже не было и следа.

— Спеши, догоняй, — сказал Савелий дьячку и, вынув свои серебряные часы, поглядел на них: был в начале четвертый час дня.

Старик сел в тени с непокрытою головой, зевнул и неожиданно вздрогнул; ему вдалеке послышался тяжелый грохот.

«Что бы это такое: неужто гром?»

С этим он снова встал и, отойдя от опушки, увидел, что с востока действительно шла темная туча. Гроза застигала Савелия одним-одинешенька среди леса и полей, приготовлявшихся встретить ее нестерпимое дыхание.

Опять удар, нива заколебалась сильней, и по ней полоснуло свежим холодом.

К черной туче, которою заслонен весь восток, снизу взмывали клубами меньшие тучки. Их будто что-то подтягивало и подбирало, как кулисы, и по всему этому нет-нет и прорежет огнем. Точно

---

[84] Примечания: 84
Телесного цвета.

маг, готовый дать страшное представление, в последний раз осматривает с фонарем в руке темную сцену, прежде чем зажжет все огни и поднимет завесу. Черная туча ползет, и чем она ближе, тем кажется непроглядней. Не пронесет ли ее Бог? Не разразится ли она где подальше? Но нет: вон по ее верхнему краю тихо сверкнула огнистая нить, и молнии замигали и зареяли разом по всей темной массе. Солнца уже нет: тучи покрыли его диск, и его длинные, как шпаги, лучи, посветив мгновение, тоже сверкнули и скрылись. Вихорь засвистал и защелкал. Облака заволновались, точно знамена. По бурому полю зреющей ржи запестрели широкие белые пятна и пошли ходенем; в одном месте падет будто с неба одно, в другом — сядет широко другое и разом пойдут навстречу друг другу, сольются и оба исчезнут. У межи при дороге ветер треплет колос так странно, что это как будто и не ветер, а кто-то живой притаился у корня и злится. По лесу шум. Вот и над лесом зигзаг; и еще вот черкнуло совсем по верхушкам, и вдруг тихо… все тихо! Ни молний, ни ветру: все стихло. Это тишина пред бурей: все запоздавшее спрятать себя от невзгоды пользуется этою последнею минутой затишья; несколько пчел пронеслось мимо Туберозова,

как будто они не летели, а несло их напором ветра. Из темной чащи кустов, которые казались теперь совсем черными, выскочило несколько перепуганных зайцев и залегли в меже вровень с землею. По траве, которая при теперешнем освещении тоже черна как асфальт, прокатился серебристый клубок и юркнул под землю. Это еж. Все убралось, что куда может. Вот и последний, недавно реявший ворон плотно сжал у плеч крылья и, ринувшись вниз, тяжело закопошился в вершине высокого дуба.

Глава восемнадцатая

Туберозов не был трусом, но он был человек нервный, а такими людьми в пору больших электрических разряжений овладевает невольное и неодолимое беспокойство. Такое беспокойство чувствовал теперь и он, озираясь вокруг и соображая, где бы, на каком бы месте ему безопаснее встретить и переждать готовую грянуть грозу.

Первым его движением было броситься к своей повозке, сесть в нее и закрыться, но чуть только он уместился здесь, лес заскрипел, и кибитку затрясло, как лубочную люльку. Ясно было, что это приют ненадежный: кибитка могла очень

легко опрокинуться и придавить его.

Туберозов выскочил из-под своего экипажа и бросился бегом в ржаное поле; крутивший встречь и с боков ветер останавливал его, рвал его назад за полы, и свистал, и трубил, и визжал, и гайгайкал ему в уши.

Туберозов бросился в ложбину к самому роднику; а в хрустальном резервуаре ключа еще беспокойнее: вода здесь бурлила и кипела, и из-под расходящихся по ней кругов точно выбивался наружу кто-то замкнутый в недрах земли. И вдруг, в темно-свинцовой массе воды, внезапно сверкнуло и разлилось кровавое пламя. Это удар молнии, но что это за странный удар! Стрелой в два зигзага он упал сверху вниз и, отраженный в воде, в то же мгновение, таким же зигзагом, взвился под небо. Точно небо с землею переслалось огнями; грянул трескучий удар, как от массы брошенных с кровли железных полос, и из родника вверх целым фонтаном взвилось облако брызг.

Туберозов закрыл лицо руками, пал на одно колено и поручил душу и жизнь свою Богу, а на полях и в лесу пошла одна из тех грозовых перепалок, которые всего красноречивее напоминают человеку его беззащитное ничтожество

пред силой природы. Реяли молнии; с грохотом несся удар за ударом, и вдруг Туберозов видит пред собою темный ствол дуба, и к нему плывет светящийся, как тусклая лампа, шар; чудная искра посредине дерева блеснула ослепляющим светом, выросла в ком и разорвалась. В воздухе грянуло страшное бббах! У старика сперло дыхание, и на всех перстах его на руках и ногах завертелись горячие кольца, тело болезненно вытянулось, подломилось и пало… Сознание было одно, — это сознание, что все рушилось. «Конец!» — промелькнуло в голове протопопа, и дальше ни слова. Протопоп не замечал, сколько времени прошло с тех пор, как его оглушило, и долго ли он был без сознания. Приходя в себя, он услыхал, как по небу вдалеке тяжело и неспешно прокатило и стихло! Гроза проходила. Савелий поднял голову, оглянулся вокруг и увидал в двух шагах от себя на земле нечто огромное и безобразное. Это была целая куча ветвей, целая вершина громадного дуба. Дерево было как ножом срезано у самого корня и лежало на земле, а из-под ветвей его, смешавшихся с колосом ржи, раздавался противный, режущий крик: это драл глотку давешний ворон. Он упал вместе с деревом, придавлен тяжелою ветвью к земле и, разинув широко пурпуровую

пасть, судорожно бился и отчаянно кричал.

Туберозов быстро отпрыгнул от этого зрелища таким бодрым прыжком, как бы ему было не семьдесят лет, а семнадцать.

Глава девятнадцатая

Гроза как быстро подошла, так быстро же и пронеслась: на месте черной тучи вырезывалась на голубом просвете розовая полоса, а на мокром мешке с овсом, который лежал на козлах кибитки, уже весело чирикали воробьи и смело таскали мокрые зерна сквозь дырки мокрой реднины. Лес весь оживал; послышался тихий, ласкающий свист, и на межу, звонко скрипя крыльями, спустилася пара степных голубей. Голубка разостлала по земле крылышко, черкнула по нем красненькою лапкой и, поставив его парусом кверху, закрылась от дружки. Голубь надул зоб, поклонился ей в землю и заговорил ей печально «умру». Эти поклоны заключаются поцелуями, и крылышки трепетно бьются в густой бахроме мелкой полыни. Жизнь началась. Невдалеке послышался топот: это Павлюкан. Он ехал верхом на одной лошади, а другую вел в поводу.

— Ну, отец, живы вы! — весело кричал он,

подъезжая и спешиваясь у кибитки. — А я было, знаете, шибко спешил, чтобы вас одних не застало, да как этот громище как треснул, я так, знаете, с лошади всею моею мордой оземь и чокнул… А это дуб-то срезало?

— Срезало, друг, срезало. Давай запряжем и поедем.

— Боже мой, знаете, силища!

— Да, друг, поедем.

— Теперь, знаете, легкое поветрие, ехать чудесно.

— Чудесно, запрягай скорей; чудесно.

И Туберозов нетерпеливо взялся помогать Павлюкану.

Выкупанные дождем кони в минуту были впряжены, и кибитка протопопа покатила, плеща колесами по лужам колеистого проселка.

Воздух был благорастворениейший; освещение теплое; с полей несся легкий парок; в воздухе пахло орешиной. Туберозов, сидя в своей кибитке, чувствовал себя так хорошо, как не чувствовал давно, давно. Он все глубоко вздыхал и радовался, что может так глубоко вздыхать. Словно орлу обновились крылья!

У городской заставы его встретил малиновый звон колоколов; это был благовест ко всенощ-

ной.

Глава двадцатая

Кибитка Туберозова въехала на самый двор.

— Господи, что я за тебя, отец Савелий, исстрадалася! — кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстречу мужу. — Этакой гром, а ты, сердце мое, был один.

— О, голубка моя, да я был на шаг от смерти!

И протопоп рассказал жене все, что было с ним у Гремучего ключа, и добавил, что отныне он живет словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и в сем видит себе и урок и укоризну, что словно никогда не думал о бренности и ничтожестве своего краткого века.

Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнув, проговорила: «А ты теперь покушать не хочешь ли?» — но видя, что муж в ответ на это качнул отрицательно головой, она осведомилась о его жажде.

— Жажда? — повторил за женою Савелий, — да, я жажду.

— Чайку?

Протопоп улыбнулся и, поцеловав жену в темя, сказал:

— Нет, истины.

— Ну что же? и благословен Бог твой, ты что ни учредишь, все хорошо.

— Да, ну, я буду умываться, а ты, мой друг, рассказывай мне, что тут делают с дьяконом. — И протопоп подошел к блестящему медному рукомойнику и стал умываться, а Наталья Николаевна сообщила, что знала об

Ахилле, и вывела, что все это делается не иначе, как назло ее мужу.

Протопоп молчал и, сделав свой туалет, взял трость и шляпу и отправился в церковь, где на эту пору шла всенощная.

Минут через пять, стоя в сторонке у жертвенника в алтаре, он положил на покатой доске озаренного закатом окна листок бумаги и писал на нем. Что такое он писал? Мы это можем прочесть из-под его руки.

Вот этот манускрипт, адресованный Савелием исправнику Порохонцеву: «Имея завтрашнего числа совершить соборне литургию по случаю торжественного дня, долгом считаю известить об этом ваше высокородие, всепокорнейше прося вас ныне же заблаговременно оповестить о сем с надлежащею распискою всех чиновников города, дабы они пожаловали во храм. А наипаче сие

прошу рекомендовать тем из служебных лиц, кои сею обязанностью наиболее склонны манкировать, так как я предопределил о подаваемом ими дурном примере донести неукоснительно по начальству. В принятии же сего ведения, ваше высокородие, всепокорно прошу расписаться».

Протоиерей потребовал рассыльную церковную книгу; выставил на бумаге нумер, собственноручно записал ее и тотчас же послал ее с пономарем по назначению.

Глава двадцать первая

Ночь, последовавшая за этим вечером в доме Савелия, напоминала ту, когда мы видели старика за его журналом: он так же был один в своем зальце, так же ходил, так же садился, писал и думал, но пред ним не было его книги. На столе, к которому он подходил, лежал маленький, пополам перегнутый листок, и на этом листке он как бисером часто и четко нанизывал следующие отрывочные заметки:

«Боже, суд Твой царевы даждь и правду Твою сыну цареву.

Обыденный приступ от вчерашнего моего по-

ложения под грозою. Ворон: как он спрятался от грозы в крепчайший дуб и нашел гибель там, где ждал защиту.

Сколь поучителен мне этот ворон. Там ли спасенье, где его чаем, — там ли погибель, где оной боимся?

Безмерное наше умствование, порабощающее разум. Ученость, отвергающая возможность постижения доселе постижимого.

Недостаточность и неточность сведений о душе. Непонимание натуры человека, и проистекающее отсель бесстрастное равнодушие к добру и злу, и кривосудство о поступках: оправдание неоправдимого и порицание достойного. Моисей, убивший египтянина, который бил еврея, не подлежит ли осуждению с ложной точки зрения иных либералов, осуждающих горячность патриотического чувства? Иуда-предатель с точки зрения “слепо почивающих в законе” не заслуживает ли награды, ибо он “соблюл закон”, предав учителя, преследуемого правителями? (Иннокентий Херсонский и его толкование.) Дние наши также лукавы: укоризны небеспристрастным против ухищрений тайных врагов государства. Великая утрата заботы о благе родины и, как последний пример, небреженье о молитве в день

народных торжеств, сведенной на единую формальность.

Толкование слов: *Боже, суд Твой царевы даждь* в смысле: *да тихое и мирное житие поживем* (ап. Павел). Сколь такое житие важно? Пример: Ровоам[85] после Соломона, окруженный друзьями и совоспитанными с ним и предстоявшими пред лицом его, лукаво представлявшими ему, что облегчение народу есть уничижение собственного его царева достоинства, и как он по их совету приумножил бедствия Израиля. *Отец мой наложи на вас ярем тяжек; аз же приложу к ярему вашему* (Кн. Царств 11, 12). Происшедшие от сего несчастия и разделение царства.

Ясно отсюда, что нам надлежит желать и молиться, дабы сердце царево не было ни в каких руках человеческих, а в руках Божиих.

Но мы преступно небрежем этою заботою, и мне если доводится видеть в такой день храм не пустым, то я даже недоумеваю, чем это объяснить? Перебираю все догадки и вижу, что нельзя этого ничем иным объяснить, как страхом угрозы моей, и отсель заключаю, что все эти молитвенники слуги лукавые и ленивые и молитва их не

[85] Примечания: 85

Сын и наследник царя Соломона (X в. до Р.Х.). При нем еврейское государство распалось на два царства: израильское и иудейское.

молитва, а наипаче есть торговля, торговля во храме, видя которую Господь наш И. Х. не только возмутился Божественным духом Своим, но и вземь вервие и изгна их из храма.

Следуя Его Божественному примеру, я порицаю и осуждаю сию торговлю совестью, которую вижу пред собою во храме. Церкви противна сия наемничья молитва. Может быть, довлело бы мне взять вервие и выгнать им вон торгующих ныне в храме сем, да не блазнится[86] о лукавстве их верное сердце. Да будет слово мое им вместо вервия. Пусть лучше будет праздней храм, я не смущу ся сего: я изнесу на главе моей Тело и Кровь Господа моего в пустыню и там пред дикими камнями в затрапезной ризе запою: *Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву*, да соблюдется до века Русь, ей же благодеял еси!

Воззвание заключительное: не положи ее, Творче и Содетелю! в посмеяние народам чужим, ради лукавства слуг ее злосовестливых и недоброслужащих».

---

[86] Примечания: 86
Смущается.

Глава двадцать вторая

Это была программа поучения, которую хотел сказать и сказал на другой день Савелий пред всеми собранными им во храме чиновниками, закончив таким сказанием не только свою проповедь, но и все свое служение церкви.

Старогородская интеллигенция находила, что это не проповедь, а революция и что если протопоп пойдет говорить в таком духе, то чиновным людям скоро будет неловко даже выходить на улицу. Даже самые друзья и приятели Савелия строго обвиняли его в неосторожном возбуждении страстей черни. На этом возбуждении друзья его сошлись с его врагами, и в одно общим хором гласили: нет, этого терпеть нельзя! Исключение из общего хора составляли заезжие: Борноволоков и Термосесов. Они хотя слышали проповедь, но ничего не сказали и не надулись.

Напротив, Термосесов, возвратясь от обедни, подошел со сложенными руками к Борноволокову и чрезвычайно счастливый прочел: «Ныне отпущаеши раба Твоего».

— Что это значит? — осведомился начальник.

— Это значит, что я от вас отхожу. Живите и

будьте счастливы, но на отпуске еще последнюю дружбу черкните начальству, что, мол, поп, про которого писано мной, забыв сегодня все уважение, подобающее торжественному дню, сказал крайне возмутительное слово, о котором устно будет иметь честь изложить посылаемый мною господин Термосесов.

— Черт вас возьми! Напишите, я подпишу.

Друзья уже совсем были готовы расстаться, но разлука их на минуту замедлилась внезапным появлением бледного и перепуганного мещанина Данилки, который влетел, весь мокрый и растерзанный, пред очи Борноволокова и, повалясь ему в ноги, завопил:

— Батюшка, сошлите меня, куда милость ваша будет, а только мне теперь здесь жить невозможно! Сейчас народ на берегу собравшись, так все к моей морде и подсыкаются.

И Данилка объяснил, что ему чуть не смертью грозят за то, что он против протопопа просьбу подал, и в доказательство указал на свое мокрое и растерзанное рубище, доложив, что его сию минуту народ с моста в реку сбросил.

— Превосходно!.. Бунт! — радостно воскликнул Термосесов и, надев посреди комнаты фуражку, заметил своему начальнику: — Видите, как де-

лают дела!

Термосесов уехал, а вслед за ним в другую сторону уехал и Борноволоков обнаруживать иные беспорядки.

Глава двадцать третья

В Старогороде проповедь Туберозова уже забывалась. Но к вечеру третьего дня в город на почтовой телеге приехала пара оригинальных гостей: длинный сухожильный квартальный и толстый, как мужичий блин, консисторский чиновник с пуговочным носом.

Это были послы по Савелиеву душу: протопопа под надзором их требовали в губернский город. Через полчаса это знал весь город, и к дому Туберозова собрались люди, а через час дверь этого дома отворилась, и из нее вышел готовый в дорогу Савелий. Наталья Николаевна провожала мужа, идучи возле него и склонясь своею голубиною головкой к его локтю.

Они оба умели успокоить друг друга и теперь не расслабляют себя ни единою слезой.

Ожидавший выхода протопопа народ шарахнулся вперед и загудел.

Туберозов снял шляпу, поклонился ниже пояса

на все стороны.

Гомон затих: у многих навернулись слезы, и все стали креститься.

Из-за угла тихо выехала спрятанная там, по деликатному распоряжению исправника, запряженная тройкой почтовая телега.

Протопоп поднял ногу на ступицу и взялся рукою за грядку, в это время квартальный подхватил его под локоть снизу, а чиновник потянул за другую руку вверх… Старик гадливо вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у куклы на проволочной пружине.

Наталья Николаевна подскочила к мужу и, схватив его руку, прошептала:

— Одну только жизнь свою пощади!

Туберозов отвечал ей:

— Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается «житие».

Часть четвертая
Глава первая

«Жизнь кончилась, и начинается житие», — сказал Туберозов в последнюю минуту пред отъездом своим к ответу. Непосредственно затем уносившая его борзая тройка взвилась на гору и исчезла из виду.

Народ, провожавший протопопа, постоял-постоял и начал расходиться. Наступила ночь: все ворота и калитки заперлись на засовы, и месяц, глядя с высокого неба, назирал на осиротелом протопоповском дворе одну осиротелую же Наталью Николаевну.

Она не спешила под кровлю и, плача, сидела на том же крылечке, с которого недавно сошел ее муж. Она, рыдая, бьется своею маленькою головкой о перила, и нет с ней ни друга, ни утешителя! Нет; это было не так. Друг у нее есть, и друг крепкий…

Пред глазами плачущей старушки в широко распахнувшуюся калитку влез с непокрытою курчавою головою дьякон Ахилла. Он в коротком толстом казакине и широких шароварах, нагру-

жен какими-то мешками и ведет за собой пару лошадей, из которых на каждой громоздится большой и тяжелый вьюк. Наталья Николаевна молча смотрела, как Ахилла ввел на двор своих лошадей, сбросив на землю вьюки, и, возвратившись к калитке, запер ее твердою хозяйскою рукой и положил ключ к себе в шаровары.

— Дьякон! Это ты сюда ко мне! — воскликнула, догадавшись о намерениях Ахиллы, Наталья Николаевна.

— Да, скорбная мати, я переехал, чтобы беречь вас. Они обнялись и поцеловались, и Наталья Николаевна пошла досиживать ночь в свою спаленку, а Ахилла, поставив под сарай своих коней, разостлал на крыльце войлок, лег навзничь и уставился в звездное небо.

Целую ночь он не спал, все думал думу: как бы теперь, однако, помочь своему министру юстиции? Это совсем не то, что Варнавку избить. Тут нужно бы умом подвигать. Как же это: одним умом, без силы? Если бы хоть при этом… как в сказках, ковер-самолет, или сапоги-скороходы, или… невидимку бы шапку! Вот тогда бы он знал, что сделать очень умное, а то… Дьякон решительно не знал, за что взяться, а взяться было необходимо.

Добравшись до самолета-ковра и невидимки-шапки, непривычный ни к каким умственным ухищрениям Ахилла словно освободился от непосильной ноши, вздохнул и сам полетел на ковре; он прошел, никем не видимый, в сапогах и в шапке к одному и к другому из важных лиц, к которым без этих сапог пройти не надеялся, и того и другого толкнул слегка сонного в ребра и начал им говорить: «Не обижайте попа Савелия, а то после сами станете тужить, да не воротите».

И вот, слыша невидимый голос, все важные лица завертелись на своих пышных постелях и все побежали, все закричали: «О, Бога ради, заступитесь поскорее за попа Савелия!» Но все это в наш век только и можно лишь со скороходами-сапогами и с невидимкою-шапкой, и хорошо, что Ахилла вовремя о них вспомнил и запасся ими. Благодаря лишь только им дьякон мог проникнуть в своей желтой нанковой рясе в такой светозарный чертог, сияние которого так нестерпимо ослепляет его, что он даже и не рад уже, что сюда забрался. Может быть, и тех бы мест довольно, где он уже побывал, но скороходы-сапоги расскакались и затащили его туда, где он даже ничего не может разглядеть от несносного света и, забыв про Савелия и про цель

своего посольства, мечется, заботясь только, как бы самому уйти назад, меж тем как проворные сапоги-скороходы несут его все выше и выше, а он забыл спросить слово, как остановить их…

— Загорюсь! ей-Богу, загорюсь! — кричал дьякон, прячась за мелькнувшее пред ним маленькое теневое пятнышко, и удивился, услышав из этого пятнышка тихий голосок Николая Афанасьевича:

— Полно вам, отец дьякон, спать да кричать, что вы загоритесь! Со стыда разве надо всем нам сгореть! — говорил карлик, заслоняя от солнца лицо дьякона своим маленьким телом.

Ахилла вскочил и, бросясь к ушату, выпил один за другим два железные ковша студеной воды.

— Что ты, Никола, о каком здесь стыде говоришь? — вопросил он, смачивая водой свои кудри.

— А где наш протопоп? А?

— Протопоп, душка Николавра, тю-тю, его вчера увезли…

— Что ж, сударь, «тю-тю»? Ведь нам надо его выручать.

— Голубчик, я и сам всю ночь про то думал, да не умею ничего придумать.

— Вот то-то и есть, камень в воду всяк бросит,

да не всяк-с его вытащит.

И Николай Афанасьевич, скрипя своими сапожками, заковылял в комнаты к протопопице, но, побыв здесь всего одну минуту, взял с собой дьякона и побрел к исправнику; от исправника они прошли к судье, и карлик с обоими с ними совещался, и ни от того, ни от другого ничего не узнал радостного. Они жалели Туберозова, говорили, что хотя протопоп и нехорошо сделал, сказав такую возбуждающую проповедь, но что с ним все-таки поступлено уже через меру строго.

А что теперь делать? Что предпринять? И вообще предпринимать ли и делать ли что-нибудь в защиту Туберозова? Об этом ни слова.

Карлик, слушая пространные, но малосодержательные речи чиновников, только вздыхал и мялся, а Ахилла глядел, хлопая глазами, то на того, то на другого и в помышлениях своих все-таки сводил опять все к тому, что если бы ковер-самолет или хотя волшебная шапка, а то как и за что взяться? Не за что.

— Одно, что я могу, — спохватился судья, — это написать письмо губернскому прокурору: он мой товарищ и, верно, не откажет сам посодействовать и походатайствовать за протопопа.

Исправнику это чрезвычайно понравилось, а

Николаю Афанасьевичу хотя оно и не понравилось, но он считал возражения неуместными.

Думали только о том, как послать письмо? Почта шла через два дня, а эстафета была бы, по мнению обоих чиновников, делом слишком эффектным, и притом почтмейстерша, друг Термосесова, которого, по указанию Ахиллы, все подозревали в доносе на Туберозова, могла бы писать этому деятелю известия с тою же эстафетой.

Услыша такое затруднение, дьякон тотчас же взялся все это уладить и объявил, что пусть только будет готово письмо, а уж он отвечает своею головой, что оно завтра будет доставлено по адресу; но способ, которым он располагал исполнить это, Ахилла удержал в секрете и просил ничего на этот счет не выпытывать у него.

Ему в этом не отказали, и дело сделалось. Пред вечером чиновник секретно передал дьякону ничего не значащее письмо, а через час после сумерек к дому отца Захарии тихо подъехал верхом огромный черный всадник и, слегка постучав рукой в окошко, назвал «кроткого попа» по имени.

Захария отворил раму и, увидав всадника, спросил:

— Это ты такой страшный?

— Тс! Строго блюдите тишину и молчание, — от-

вечал таинственно всадник, смиряя в шенкелях своего нетерпеливого коня.

Захария оглянулся вправо и влево по пустой набережной и прошептал:

— Куда же это ты и по какой надобности?

— Не могу вам ничего объяснить, потому что слово дал, — отвечал таинственно всадник, — но только, прошу вас, не ищите меня завтра и не спрашивайте, зачем я еду… Ну, да хоть слово дал, а скажу вам аллегорией:

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть,

и в шапке у меня —

Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея…

Поняли?

— Нет, ничего не понял.

— Так оно и следует по аллегории.

И с этим всадник, ударив себя кулаком в грудь, добавил:

— Но только знайте, отче Захарие, что это не казак едет, а это дьякон Ахилла, и что сердце мое за его обиду стерпеть не может, а разума в голове, как помочь, нет.

Проговорив это, дьякон пустил коню повода, стиснул его в коленях и не поскакал, а точно полетел, махая по темно-синему фону ночного неба своими кудрями, своими необъятными полами и рукавами нанковой рясы и хвостом и разметистою гривой своего коня.

Глава вторая

Николай Афанасьевич не напрасно ничего не ожидал от письма, с которым поскакал дьякон. Ахилла проездил целую неделю и, возвратясь домой с опущенною головой и на понуром коне, отвечал, что ничего из того письма не было, да и ничего быть не могло.

— Отчего это так? — пытали Ахиллу.

— Очень просто! Оттого, что отец Савелий сами сказали мне: «Брось эти хлопоты, друг; для нас, духовных, нет защитников. Проси всех, в одолжение мне, не вступаться за меня».

И дьякон более не хотел об этом и говорить.

— Что же, — решил он, — если уже нет промеж нас ни одного умного человека, который бы знал, как его защитить, так чего напрасно и суетиться? Надо исполнять его научение и не вмешиваться.

Ахилла гораздо охотнее рассказывал, в каком

положении нашел Туберозова и что с ним было в течение этой недели. Вот что он повествовал.

— Владыка к ним даже вовсе не особенно грозны и даже совсем не гневливы и предали их сему терзанию только для одной политики, чтобы не противоречить за чиновников светской власти. Для сего единственно и вызов отцу Савелию сделали, да-с! И отец Савелий могли бы и совсем эту вину с себя сложить и возвратиться, потому что владыка потаенно на их стороне… да-с! И им было от владыки даже на другой же день секретно преподано, чтоб они шли к господину губернатору, и повинились, и извинились, да-с! Но токмо отец Савелий, по крепкому нраву своему, отвечали строптиво… «Не знаю, говорит, за собой вины, а потому не имею в чем извиняться!» Этим и владыку ожесточили, да-с! Но и то ожесточение сие не особенное, потому владыка решение консисторское о назначении следствия насчет проповеди синим хером перечеркнули и все тем негласно успокоили, что назначили отца Савелия к причетнической при архиерейском доме должности, — да-с!

— И он ныне причетничествует? — спросил Захария.

— Да-с; читает часы и паремии, но обычая

своего не изменяют и на политичный вопрос владыки: «В чем ты провинился?» еще политичнее, яко бы по непонятливости, ответил: «В этом подряснике, ваше преосвященство», и тем себе худшее заслужили, да-с!

— О-о-ох! — воскликнул Захария и отчаянно замотал головкой, закрыв ручками уши.

— Наняли у жандармского вахмистра в монастырской слободке желтенькую каморочку за два с половиной серебра в месяц и ходят себе с кувшином на реку по воду. Но в лице и в позиции они очень завострились и наказали, чтобы вы, Наталья Николаевна, к ним всемерно спешили.

— Еду, завтра же еду, — отвечала плачущая протопопица.

— Да-с; только и всех новостей. А этот прокурор, к которому было письмо, говорит: «Скажи, не мое это дело, у вас свое начальство есть», и письма не дал, а велел кланяться, — вот и возьмите, если хотите, себе его поклон. И еще велел всем вам поклониться господин Термосесов; он встретился со мной в городе: катит куда-то шибко и говорит: «Ах, постой, говорит, пожалуйста, дьякон, здесь у ворот: я тебе штучку сейчас вынесу: ваша почтмейстерша с дочерьми мне пред отъездом свой альбом навязала, чтоб им стихи написать,

я его завез, да и назад переслать не с кем. Сделай милость, просит, отдай им, когда назад поедешь». Я думаю себе: враг тебя побери. «Давай», говорю, чтоб отвязаться, и взял.

Дьякон вынул из кармана подрясника тощий альбомчик из разноцветной бумаги и прочитал:

На последнем сем листочке
Пишем вам четыре строчки
В знак почтения от нас.
Ах, не вырвало бы вас?

— Вот его всем вам почтение, и примите оное, яко дань вам благопотребную.

И Ахилла швырнул на стол пред публикой альбом с почтением Термосесова, а сам отправился с дороги спать на конюшню.

Утром рано его разбудил карлик и, сев возле дьякона на вязанку сена, спросил:

— Ну-с, что же теперь, сударь, будем далее делать?

— Не знаю, Николаврa, ей-право, не знаю!

— Или на этом будет и квита? — язвил Николай Афанасьич.

— Да ведь, голубчик Никола… куда же сунешься?

— Куда сунуться-с?

— Да; куда ты сунешься? Ишь, всюду волки сидят.

— Ну, а я, сударь, старый заяц: что мне волков бояться? Пусть меня волки съедят.

Карлик встал и равнодушно протянул Ахилле на прощание руку, но когда тот хотел его удержать, он нетерпеливо вырвался и, покраснев, добавил:

— Да-с, сударь! Нехорошо! А еще великан!.. Оставьте меня; старый заяц волков не боится, пускай его съедят! — и с этим Николай Афанасьич, кряхтя, влез в свою большую крытую бричку и уехал.

Ахилла вышел вслед за ним за ворота, но уже брички и видно не было.

В этот же день дьякон выпроводил Наталью Николаевну к мужу и остался один в опальном доме.

Глава третья

Из умов городской интеллигенции Савелий самым успешным образом был вытеснен стихотворением Термосесова. Последний пассаж сего последнего и скандальное положение, в котором благодаря ему очутилась бойкая почтмейстерша

и ее дочери, совсем убрали с местной сцены старого протопопа; все были довольны и все помирали со смеху. О Термосесове говорили как «об острой бестии»; о протопопе изредка вспоминали как о «скучном маньяке».

Дни шли за днями; прошел месяц, и наступил другой. Город пробавлялся новостями, не идущими к нашему делу; то к исправнику поступала жалоба от некоей девицы на начальника инвалидной команды, капитана Повердовню, то Ахилла, сидя на крыльце у станции, узнавал от проезжающих, что чиновник князь Борноволоков будто бы умер «скорописною смертию», а Туберозов все пребывал в своей ссылке, и друзья его солидно остепенились на том, что тут «ничего не поделаешь». Враги протопопа оказались несколько лучше друзей; по крайней мере некоторые из них не забыли его. В его спасение вступилась, например, тонкая почтмейстерша, которая не могла позабыть Термосесову нанесенной ей тяжкой обиды и еще более того не могла простить обществу его злорадства и вздумала показать этому обществу, что она одна всех их тоньше, всех их умнее и дальновиднее, даже честнее.

К этому ей ниспослан был случай, которым она

и воспользовалась, опять не без тонкости и не без ядовитости. Она задумала ослепить общество нестерпимым блеском и поднять в его глазах авторитет свой на небывалую высоту.

Верстах в шести от города проводила лето в своей роскошной усадьбе петербургская дама, г-жа Мордоконаки. Старый муж этой молодой и весьма красивой особы в пору своего откупщичества был некогда восприемником одной из дочерей почтмейстерши. Это показалось последней достаточным поводом пригласить молодую жену старого Мордоконаки на именины крестницы ее мужа и при всех неожиданно возвысить к ней, как к известной филантропке и покровительнице церквей, просьбу за угнетенного Туберозова.

Расчет почтмейстерши был не совсем плох: молодая и чудовищно богатая петербургская покровительница пользовалась влиянием в столице и большим почетом от губернских властей. Во всяком случае, она, если бы только захотела, могла бы сделать в пользу наказанного протопопа более, чем кто-либо другой. А захочет ли она? Но для того-то и будут ее просить всем обществом.

Дама эта скучала уединением и не отказала сделать честь балу почтмейстерши. Ехидная

почтмейстерша торжествовала: она более не сомневалась, что поразит уездную знать своею неожиданною инициативой в пользу старика Туберозова — инициативой, к которой все другие, спохватись, поневоле примкнут только в качестве хора, в роли людей значения второстепенного.

Почтмейстерша таила эту сладкую мысль, но, наконец, настал и день ее осуществления.

Глава четвертая

День именин в доме почтмейстерши начинался, по уездному обычаю, утреннею закуской. Встречая гостей, хозяйка ликовала, видя, что у них ни у одного нет на уме ничего серьезного, что все заботы об изгнанном старике испарились и позабыты.

Гости нагрянули веселые и радостные; первый пришел «уездный комендант», инвалидный капитан Повердовня, глазастый рыжий офицер из провиантских писарей. Он принес имениннице стихи своего произведения; за ним жаловали дамы, мужчины и, наконец, Ахилла-дьякон.

Ахилла тоже был весел. Он подал имениннице из-под полы рясы вынутую просфору и произнес:

— Богородичная-с!

Затем на пороге появился кроткий отец Захария и, раскланиваясь, заговорил:

— Господи, благослови! Со днем Ангела Хранителя! — и тоже подал именинице в двух перстах точно такую же просфору, какую несколько минут назад принес Ахилла, проговорив: — Приимите Богородичную просфору!

Поклонившись всем, тихий священник широко распахнул полы своей рясы, сел, отдулся и произнес:

— А долгое-таки нынче служеньице было, и на дворе очень жарко.

— Очень долго.

— Да-с; помолились, слава Создателю!

И Захария, загнув на локоть рукав новой рясы, принял чашку чаю.

В эту минуту пред ним, улыбаясь и потирая губы, появился лекарь и спросил, сколько бывает Богородичных просфор за обедней?

— Одна, сударь, одна, — отвечал Захария. — Одна была Пресвятая наша Владычица Богородица, одна и просфора в честь Ее вынимается; да-с, одна. А там другая в честь мучеников, в честь апостолов, пророков…

— Так Богородичная одна?

— Одна; да-с, одна.

— А вот отец дьякон говорит, что две.

— Врет он-с; да-с, врет, — с ласковою улыбкой отвечал добродушный отец Захария.

Ахилла хотел отмолчаться, но видя, что лекарь схватил его за рукав, поспешил вырваться и пробасил:

— Никогда я этого не говорил.

— Не говорил? А какую же ты просфору принес?

— Петую просфору, — отвечал дьякон и, нагнувшись под стол, заговорил: — Что это мне показалось, будто я трубку здесь давеча видел…

— С ним это бывает, — проговорил, слабо вторя веселому смеху лекаря, отец Захария. — Он у нас, бывает, иногда нечто соплетет; но только он это все без всякой цели; да-с, он без цели.

Все утреннее угощение у именинницы на этот раз предположено было окончить одним чаем. Почтмейстерша с довольно изысканною простотой сказала, что у нее вся хлеб-соль готовится к вечеру, что она днем никого не просит, но зато постарается, чтобы вечером все были сыты и довольны и чтобы всем было весело.

И вот он и настал, этот достославный вечер.

Глава пятая

Семейство почтмейстерши встретило важную петербургскую гостью.

Большая, белая, вальяжная Мордоконаки осчастливила собрание, и при ней все как бы померкло и омизерилось. Сама Данка Бизюкина смялась в ее присутствии. Хозяйка не набирала льстивых слов и окружила гостью всеми интереснейшими лицами, наказав капитану Повердовне и Варнаве Препотенскому занимать гостью всемерно. Личности мало-мальски неудобные к беседованию были убраны. Эти личности были: голова, имевший привычку употреблять в разговоре поговорку: «в рот те наплевать»; старый кавказский майор, по поводу которого в городе ходила пословица: «глуп как кавказский майор», и с ними дьякон Ахилла. Эти три лица были искусно спрятаны в прохладном чулане, где стояли вина и приготовленная закуска. Эти изгнанники сидели здесь очень уютно при одной свечке и нимало не тяготились своим удалением за фронт. Напротив, им было здесь очень хорошо. Без чинов и в ближайшем соседстве с закуской, они вели самые оживленные разговоры и даже

философствовали. Майор добивался, «отчего бывает дерзость?», и объяснял происхождение ее разбалованностью, и приводил тому разные доказательства; но Ахилла возражал против множественности причин и говорил, что дерзость бывает только от двух причин: «от гнева и еще чаще от вина».

Майор подумал и согласился, что действительно бывает дерзость, которая происходит и от вина.

— Это верно, я вам говорю, — пояснил дьякон и, выпив большую рюмку настойки, начал развивать. — Я вам даже и о себе скажу. Я во хмелю очень прекрасный, потому что у меня ни озорства, ни мыслей скверных никогда нет; ну, я зато, братцы мои, смерть люблю пьяненький хвастать. Ей-право! И не то чтоб я это делал изнарочно, а так, верно, по природе. Начну такое на себя сочинять, что после сам не надивлюсь, откуда только у меня эта брехня в то время берется.

Голова и майор засмеялись.

— Право! — продолжал дьякон. — Вдруг начну, например, рассказывать, что прихожане ходили ко владыке просить, чтобы меня им в попы поставить, чего даже и сам не желаю; или в другой раз уверяю, будто губернское купечество меня в про-

тодьяконы просят произвесть; а то… — Дьякон оглянулся по чулану и прошептал: — А то один раз брякнул, что будто я в юности был тайно обручен с консисторского секретаря дочерью! То есть, я вам говорю, после я себя за это мало не убил, как мне эту мою продерзость стали рассказывать!

— А ведь дойди это до секретаря, вот бы сейчас и беда, — заметил майор.

— Да как же-с, не беда! Еще какая беда-то! — подтвердил дьякон и опять пропустил настойки.

— Да, я вам даже, если на то пошло, так еще вот что расскажу, — продолжал он, еще понизив голос. — Я уж через эту свою брехню-то раз под такое было дело попал, что чуть-чуть публичному истязанию себя не подверг. Вы этого не слыхали?

— Нет, не слыхали.

— Как же-с! Ужасное дело было; мог быть повешен по самому первому пункту в законе.

— Господи!

— Да-с; да этого еще-с мало, что голова-то моя на площади бы скатилась, а еще и семь тысяч триста лет дьякон в православия день анафемой поминал бы меня, вместе с Гришкой Отрепьевым и Мазепой!

— Не может быть! — воскликнул, повернувшись на своем месте, майор.

— Отчего же так не может? Очень просто бы было, если б один добрый человек не спас.

— Так вы, отец дьякон, это расскажите.

— А вот сейчас выпью водочки и расскажу.

Ахилла еще пропустил рюмочку и приступил к продолжению рассказа о своем преступлении по первому пункту.

Глава шестая

— Фортель этот, — начал дьякон, — от того зависел, что пред Пасхой я поехал в губернию, моя лошадь, да Сереги-дьячка, парой спрягли. Серега ехал за ребятенками, а я так; даже враг меня знает, зачем и поехал-то? Просто чтобы с знакомцами повидаться. Приехали-с мы таким манером под самый город; а там мост снесен, и паром через реку ходит. Народу ждет видимо-невидимо; а в перевозчицкой избе тут солдатик водкой шинкует. Ну, пока до очереди ждать, мы и зашли, да с холоду и выпили по две косушечки. А тут народу всякого: и послушники, и извозчики, и солдаты, и приказь — это уж самый вредный народ, — и нашей тоже братии духовенства. Знакомцы хорошие из нашей округи тож нашлись, ну, для соблюдения знакомства и еще по две

косушечки раздавили. А тут приказный, что к парому отряжен, и этакий шельма речистый, все нас заводить начал. Я говорю: «Иди, брат, откуда пришел, иди, ты нам не родня». А он: «Я, говорит, государю моему офицер!» Я говорю: «Я и сам, брат, все равно что штаб-офицер». — «Штаб-офицер, — он говорит, — поп, а ты ему подначальный». Я говорю, что у престола Божия точно что я ниже попа стою по моему сану, а в политике, говорю, мы оба равны. Спор пошел. Я разгорячился от этих самых от косушечек-то да и говорю, что, говорю, ты знаешь, строка ты этакая! Ты, я говорю, Божьего Писания понимать не можешь; у тебя кишок в голове нет. Ты вот, говорю, скажи, был ли хоть один поп на престоле? «Нет, говорит, не был». А, мол, то-то и есть, что не был. А дьякон был, и короною венчался. «Кто такой? Когда это, говорит, было?» — «То-то, мол, и есть *когда*? Я не арихметчик и этих годов в точности не понимаю, а ты возьми да в книгах почитай, кто таков был Григорий Отрепьев до своего воцарения заместо Димитрия, вот ты тогда и увидишь, чего дьяконы-то стоят?» — «Ну, то, говорит, Отрепьев; а тебе далеко, говорит, до Отрепьева». А я это пьяненький-то и брехни ему: «А почем, говорю, ты знать можешь, что далеко? А может быть, даже и

совсем очень близко? Тот, говорю, на Димитрия был похож, а я, може, на какого-нибудь там Франца-Венецыяна или Махмуда сдамся в одно лицо, вот тебе воцарюсь!»

Только что я это проговорил, как, братцы вы мои, этот приказный сделал сейчас крик, шум, свидетелей, бумаги. Схватили меня, связали, посадили на повозку с сотским и повезли. Да дай Господи вечно доброе здоровье, а по смерти Царство Небесное жандармскому полковнику Альберту Казимировичу, что в те поры у нас по тайной полиции был. Призвал он меня утром к себе, жену свою вызвал, да и говорит: «Посмотри, душечка, на самозванца!» Посмеялся надо мной, посмеялся, да и отпустил. «Ступай, говорит, отец Махмуд, а вперед косушки-то счетом глотай». Дай Бог ему много лет! — повторил еще раз отец дьякон и, еще раз подняв рюмочку с настойкой, добавил: — вот даже и сейчас выпью за его здоровье!

— Ну, это вы избавились от большой беды, — протянул майор.

— Да как же не от большой? Я потому и говорю: поляк — добрый человек. Поляк власти не любит, и если что против власти — он всегда снисходительный.

Около полуночи беседа этих трех отшельников была прервана; настало и их время присоединиться к обществу: их позвали к столу.

Когда немножко выпивший и приосанившийся дьякон вошел в залу, где в это время стоял уже накрытый к ужину стол и тесно сдвинутые около него стулья, капитан Повердовня взял Ахиллу за локоть и, отведя его к столику, у которого пили водку, сказал:

— Ну-ка, дьякон, пусти на дам хорошего глазенапа.

— Это зачем? — спросил дьякон.

— А чтоб они на тебя внимание обратили.

— Ну да, поди ты! стану я о твоих дамах думать! Чем мне, вдовцу, на них смотреть, так я лучше без всякого греха две водки выпью.

И, дав такой ответ, Ахилла действительно выпил, да и все выпили пред ужином по комплектной чарке. Исключение составлял один отец Захария, потому что у него якобы от всякого вина голова кружилась. Как его ни упрашивали хоть что-нибудь выпить, он на все просьбы отвечал:

— Нет, нет, освободите! Я ровно, ровно вина никакого не пью.

— Нынче все пьют, — уговаривали его.

— Действительно, действительно так, ну а я не могу.

— Курица, и та пьет, — поддерживал потчевавших дьякон Ахилла.

— Что ж, пускай и курица!.. Глупо это довольно, что ты, братец, мне курицу представляешь…

— Хуже курицы вы, отец, — укорял Ахилла.

— Не могу! Чего хуже курицы? Не могу!

— Ну, если уж вина никакого не можете, так хоть хересу для политики выпейте!

Захария, видя, что от него не отстают, вздохнул и, приняв из рук дьякона рюмку, ответил:

— Ну, еще ксересу так и быть; позвольте мне ксересу.

Глава седьмая

Бал вступал в новую фазу развития.

Только что все сели за стол, капитан Повердовня тотчас же успел встать снова и, обратившись к петербургской филантропке, зачитал:

Приветствую тебя, обитатель
Нездешнего мира!
Тебя, которую послал создатель,
Поет моя лира.

Слети к нам с высот голубого эфира,
Тебя ждет здесь восторг добродушный;
Прикоснись веществам сего пира,
Оставь на время мир воздушный.

Аристократка откупщичьей породы выслушала это стихотворение, слегка покраснев, и взяла из рук Повердовни листок, на котором безграмотною писарскою рукой с тысячью росчерков были написаны прочитанные стихи.

Хозяйка была в восторге, но гости ее имели каждый свое мнение как об уместности стихов Повердовни, так и об их относительных достоинствах или недостатках.

Мнения были различны: исправник, ротмистр Порохонцев, находил, что сказать стихи со стороны капитана Повердовни во всяком случае прекрасно и любезно. Препотенский, напротив, полагал, что это глупо; а дьякон уразумел так, что это просто очень хитро, и, сидя рядом с Повердовней, сказал капитану на ухо:

— А ты, брат, я вижу, насчет дам большой шельма! Но как бы там ни было, после стихов Повердовни всем обществом за столом овладела самая неподдельная веселость, которой почтмейстерша была уже и не рада. Говор не прекращался,

и не было ни одной паузы, которою хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорить о сосланном протопопе. Между тем гостья, по-видимому, не скучала, и когда заботливая почтмейстерша в конце ужина отнеслась к ней с вопросом: не скучала ли она? та с искреннейшею веселостью отвечала, что она не умеет ее благодарить за удовольствие, доставленное ей ее гостями, и добавила, что если она может о чем-нибудь сожалеть, то это только о том, что она так поздно познакомилась с дьяконом и капитаном Повердовней. И госпожа Мордоконаки не преувеличивала; непосредственность Ахиллы и капитана сильно заняли ее. Повердовня, услыхав о себе такой отзыв, тотчас же в ответ на это раскланялся. Не остался равнодушен к такой похвале и дьякон: он толкнул в бок Препотенского и сказал ему:

— Видишь, дурак, как нас уважают, а о тебе ничего. — Вы сами дурак, — отвечал ему шепотом недовольный Варнава.

Повердовня же минуту подумал, крепко взял Ахиллу за руку, приподнялся с ним вместе и от лица обоих проговорил:

Мы станем свято твою память чтить,

Хранить ее на многие и счастливые лета,

Позволь, о светлый дух, тебя молить:

Да услышана будет молитва эта!

И затем они, покрытые рукоплесканиями, сели.

— Вот видишь, а ты опять никаких и стихов не знаешь, — укорил Варнаву дьякон Ахилла; а Повердовня в эти минуты опять вспрыгнул уже и произнес, обращаясь к хозяйке дома:

Матреной ты наречена

И всем женам предпочтена.

Ура!

— Что это за капитан! Это совсем душа общества, — похвалила Повердовню хозяйка.

— А ты все ничего! — надоедал Варнаве дьякон.

— Все! все! Пусть исправник начинает!

— Давайте все говорить стихи!

— Все! все! Пусть исправник начинает!

— А что ж такое: я начну! — отвечал исправник. — Без церемонии: кто что может, тот и читай.

— Начинайте! Да что ж такое, ротмистр! ей-Бо-

гу, начинайте!

Ротмистр Порохонцев встал, поднял вровень с лицом кубок и, посмотрев сквозь вино на огонь, начал:

Когда деспот от власти отрекался,
Желая Русь, как жертву, усыпить,
Чтобы потом верней ее сгубить,
Свободы голос вдруг раздался,
И Русь на громкий братский зов
Могла б воспрянуть из оков.
Тогда, как тать ночной, боящийся рассвета,
Позорно ты бежал от друга и поэта,
Взывавшего грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все прегрешения сарматов
Принять я на душу готов,
Лишь только б русскому народу
Мог возвратить его свободу!
Ура!

— Все читают, а ты ничего! — опять отнесся к Препотенскому Ахилла. — Это, брат, уж как ты хочешь, а если ты пьешь, а ничего не умеешь

сказать, ты не человек, а больше ничего как бурдюк с вином.

— Что вы ко мне пристаете с своим бурдюком! Сами вы бурдюк, — отвечал учитель.

— Что-о-о-о? — вскричал, обидясь, Ахилла. — Я бурдюк?.. И ты это мог мне так смело сказать, что я бурдюк?!

— Да, разумеется, бурдюк.

— Что-о-о?

— Вы сами не умеете ничего прочесть, вот что!

— Я не умею прочесть? Ах ты, глупый человек! Да я если только захочу, так я такое прочитаю, что ты должен будешь как лист перед травой вскочить да на ногах слушать!

— Ну-ну, попробуйте, прочитайте.

— Дай прочитаю, и ты теперь кстати сейчас можешь видеть, что у меня действительно верхняя челюсть ходит…

И с этим Ахилла встал, обвел все общество широко раскрытыми глазами и, постановив их на стоявшей посреди стола солонке, начал низким бархатным басом отчетистое:

— «Благоденствен-н-н-ное и мир-р-рное житие, здр-р-ра-авие же и спас-с-сение… и во всем благ-г-гое поспеш-шение на вр-р-раги же поб-б-беду и одол-ление…»– и т д. и т. д.

Ахилла все забирался голосом выше и выше, лоб, скулы, и виски, и вся верхняя челюсть его широкого лица все более и более покрывались густым багрецом и потом; глаза его выступали, на щеках, возле углов губ, обозначались белые пятна, и рот отверст был как медная труба, и оттуда со звоном, треском и громом вылетало многолетие, заставившее все неодушевленные предметы в целом доме задрожать, а одушевленные подняться с мест и, не сводя в изумлении глаз с открытого рта Ахиллы, тотчас, по произнесении им последнего звука, хватить общим хором: «Многая, многая, мно-о-о-огая лета, многая ле-е-ета!»

Один Варнава хотел остаться в это время при своем занятии и продолжать упитываться, но Ахилла поднял его насильно и, держа его за руку, пел: «Многая, многая, мно-о-о-гая лета, многая лета!»

Городской голова послал Ахилле чрез соседа синюю бумажку.

— Это что же такое? — спросил Ахилла.

— Всей палате. Хвати «всей палате и воинству», — просил голова.

Дьякон положил ассигнацию в карман и ударил:

— «И вс-сей пал-лате и в-воинству их мно-о-огая лет-тта!»

Это Ахилла сделал, уже превзойдя самого себя, и зато когда он окончил многолетие, то петь рискнул только один привычный к его голосу отец Захария, да городской голова: все остальные гости пали на свои места и полулежали на стульях, держась руками за стол или друг за друга.

Дьякон был утешен.

— У вас редкий бас, — сказала ему первая, оправясь от испуга, петербургская дама.

— Помилуйте, это ведь я не для того, а только чтобы доказать, что я не трус и знаю, что прочитать.

— Ишь, ишь!.. А кто же тут трус? — вмешался Захария.

— Да, во-первых, отец Захария, вы-с! Вы ведь со старшими даже хорошо говорить не можете: заикаетесь.

— Это правда, — подтвердил отец Захария, — я пред старшими в таковых случаях, точно, заикаюсь. Ну а ты, а ты? Разве старших не боишься?

— Я?., мне все равно: мне что сам владыка, что кто простой, все равно. Мне владыка говорит: таки так, братец, а я ему тоже: так и так, ваше преосвященство; только и всего.

— Правда это, отец Захария? — пожелал осведомиться преследующий дьякона лекарь.

— Врет, — спокойно отвечал, не сводя своих добрых глаз с дьякона, Бенефактов.

— И он также архиерею в землю кувыркается?

— Кувыркается-с.

— Никогда! У меня этого и положения нет, — вырубал дьякон, выдвигаясь всею грудью. — Да мне и невозможно. Мне если б обращать на всех внимание, то я и жизни бы своей был не рад. У меня вот и теперь не то что владыка, хоть он и преосвященный, а на меня теперь всякий день такое лицо смотрит, что сто раз его важнее.

— Это ты про меня, что ли, говоришь? — спросил лекарь.

— С какой стати про тебя? Нет, не про тебя.

— Так про кого же?

— Ты давно ли читал новые газеты?

— А что ж там такого писали? — спросила, как дитя развеселившаяся, гостья.

— Да по распоряжению самого обер-протопресвитера Бажанова послан придворный регент по всей России для царской певческой басов выбирать. В генеральском чине он и ордена имеет, и даром что гражданский, а ему архиерей все равно что ничего, потому что ведь у государя и кучер,

который на козлах ездит, и тот полковник. Ну-с, а приказано ему, этому регенту, идти потаенно, вроде как простолюдину, чтобы баса при нем не надюжались, а по воле бы он мог их выслушать.

Дьякон затруднялся продолжать, но лекарь его подогнал.

— Ну что ж далее?

— А далее, этот царский регент теперь пятую неделю в нашем городе находится, вот что! Я и вижу, как он в воскресенье войдет в синей сибирке и меж мещанами и стоит, а сам все меня слушает. Теперь другой на моем месте что бы должен делать? Должен бы он сейчас пред царским послом мелким бесом рассыпаться, зазвать его к себе, угостить его водочкой, чаем попотчевать; ведь так? А у меня этого нет. Хоть ты и царский регент, а я, брат, нет… шалишь… поступай у меня по закону, а не хочешь по закону, так адью, мое почтенье.

— Это он все врет? — отнесся к отцу Захарии лекарь.

— Врет-с, — отвечал, по обыкновению спокойно, отец Захария. — Он немножко выпил, так от него уж теперь правды до завтра не услышишь, все будет в мечтании хвастать.

— Нет, это я верно говорю.

— Ну, полно, — перебил отец Захария. — Да тебе, братец, тут нечем и обижаться, когда у тебя такое заведение мечтовать по разрешении на вино.

Ахилла обиделся. Ему показалось, что после этого ему не верят и в том, что он не трус, а этого он ни за что не мог снесть, и он клялся за свою храбрость и требовал турнира, немедленного и самого страшного.

— Я всем хочу доказать, что я всех здесь храбрее, и докажу.

— Этим, отец дьякон, не хвалитесь, — сказал майор. — Особенно же вы сами сказали, что имеете слабость… прихвастнуть.

— Ничего, слабость имею, а хвалюсь: я всех здесь храбрее.

— Не хвалитесь. Иной раз и на храбреца трус находит, а другой раз трус чего и не ждешь наделает, да-с, да-с, это были такие примеры.

— Ничего, подавай.

— Да кого ж подавать-с? Позвольте, я лучше пример представлю.

— Ничего, представляйте.

Глава восьмая

— У нас, как я с Кавказа перевелся, — начал майор, — был полковник, превеселый начальник и службист. Саблю золотую имел за храбрость. Делали мы Венгерскую кампанию в сорок восьмом году. Ночью нужно было охотников послать, а тут попойка шла. Полковник и говорит: «Сколько охотников?» Адъютант отвечает: «Сто десять охотников». — «Ого! — говорит полковник, а сам в преферанс играет. — Это, говорит, много. Нет ли между ними трусов?» Адъютант говорит: «Нету». — «А если есть?» — «Не надеюсь, говорит, господин полковник». — «А нуте-ка, говорит, соберите их». Собрали. «Ну-ка, — говорит полковник, — попробуем. Кто самый храбрый? Кто за старшего?» Такой-то, Сергеев там, что ли, или Иванов. «Позвать, говорит, его сюда. Ты за старшего идешь?» — «Я, — говорит, ваше высокоблагородие». — «Ты не трус?» — «Никак нет, — говорит, ваше высокоблагородие». — «Не трус?» — «Нет». — «Ну, если не трус, потяни меня за ус». Солдатик стал, да и ни с места, и оробел. Кликнули другого, и другой тоже, третьего, и третий, и пятый, и десятый. Все трусами в этот

раз оказались.

— Ах, лукавый его возьми! Вот выдумщик! — воскликнул весело Ахилла. — «Трус, потяни меня за ус!» Ха-ха-ха!.. Это отлично! Капитан, пусть, друг, тебя учитель Варнава за ус тронет.

— Охотно, — отвечал капитан.

Препотенский отказывался, но его раздражили злыми насмешками над его трусостью, и он согласился.

Ахилла выставил на средину комнаты стул, и капитан Повердовня сел на этот стул и подперся в бока по-кавалерийски.

Вокруг него стали исправник, Захария, голова и майор.

Ахилла поместился у самого плеча Варнавы и наблюдал каждое его движение.

Учитель пыхтел, мялся, ежился и то робко потуплял глаза, то вдруг расширял их и, не шевелясь, двигался всем своим существом, точно по нем кверху полозьями ездили.

Ахилла, по доброте своей, ободрял его как умел, говоря:

— Да чего же ты, дурачок, испугался? Ты не бось: он не укусит, не робей.

И с этим дьякон послюнил себе концы пальцев, сердобольно поправил ими набегавшую на глаза

Варнавы косицу и добавил:

— Ну, хватай его сразу за ус!

Варнава тронулся, но дрогнул в коленах и отступил.

— Ну так ты трус, — сказал Ахилла. — А ты бы, дурачок, посудил: чего ты боишься-то?.. Смех!

Варнава посудил и расслабел еще хуже. А Повердовня сидит как божок и чувствует, что он «душа общества», и готовит обществу еще новый сюрприз.

— Ты трус, братец, трус. Презренный трус, понимаешь ли, самый презренный трус, — внушал на ухо учителю Ахилла.

— Что ж это, нехорошо: гости ждут, — замечал майор. Препотенский подумал и, указав пальцем на исправника, сказал:

— Позвольте, я лучше Воина Васильича потяну.

— Нет, ты не его, а меня, — настаивал Повердовня и опять засерьезничал.

— Трус, трус! — опять шепчут со всех сторон. Варнава это слышит, и по его лицу выступает холодный пот, по телу его бегут мурашки; он разнемогается нестерпимою, раздражающею немочью робости и в этой робости даже страшен становится.

Прежде всех это заметил близко за ним наблюдавший Ахилла. Видя острое сверкание глаз учителя, он кивал исправнику отойти подальше, а Захарию просто взял за рукав и, оттянув назад, сказал:

— Не стойте около него, отец: видите, он мечтает.

Варнава начал выступать. Вот он делает шаг, вот трепещущая рука труса шевельнулась, отделилась и стала подниматься тихо и медленно, но не к усам капитана, а неукоснительно прямо к лицу исправника.

Это постоянное стремление Варнавиной руки к исправничьей физиономии заставило всех улыбнуться.

— Черт его, братцы мои, знает, что в нем такое действует! — воскликнул Ахилла и, обратясь к исправнику, еще раз ему погрозил: отойди, мол, а то, видишь, человек смущается.

Но в это же краткое мгновенье Препотенский, зажмуря глаза, издалеча коснулся усов Повердовни: капитан на него страшно зарычал и неожиданно гавкнул по-собачьи. Варнава, не снеся этого, неистово вскрикнул и, кинувшись пантерою на исправника, начал в беспамятстве колотить кого попало.

Это был сюрприз, какого никто не ожидал, и эффект его был полнейший. Опрокинутая лампа, пылающий керосин, бегущие гости, ужас исправника и вопли Варнавы, отбивавшегося в углу от преследующего его привидения, — все это сделало продолжение пира невозможным.

Петербургская гостья уезжала, а Препотенский, хорошо знавший все ходы и переходы почтмейстерского помещения, пользуясь минутой проводов, бросился коридором в контору и спрятался там за шкафом.

Глава девятая

Почтмейстерша, нетерпеливо расхаживая в кофте по своей комнате, мысленно отыскивала, кто мог быть первым виновником совершившегося ужасного события. Кто затеял эту шутку?

— Нет, еще шутка ничего, — рассуждала она, — а кто пригласил Препотенского? Да и это не то, а кто меня с ним познакомил? Кто же, как не муженек мой… Приходит, вот-де, рекомендую тебе Варнаву Васильича! Ну, погоди же ты: задам я тебе Варнаву Васильича! Но только где же это мой муж? — вопросила она, оглядываясь. — Неужто он спит? Неужто он может спать после того,

что случилось? Ну, я этого не могу, — решила почтмейстерша и нетерпеливо выскочила в зал, где, по обыкновению, ночевывал почтмейстер, изгоняемый при домашних счетах из супружеской опочивальни. Но, к удивлению хозяйки, мужа ее здесь не было.

— А! это он от меня прячется; он теперь храпит на диване в конторе… Ну, да не будете же вы храпеть! — И почтмейстерша пустилась к конторе.

Почтмейстерша почти не ошиблась: муж ее действительно спал в конторе; но маленькая ошибка с ее стороны была лишь в том, что почтмейстер спал не на диване, как полагала она, а на столе. На диване же спал Препотенский, который после всего, что с ним здесь произошло, боялся идти домой, опасаясь, не подкарауливает ли его где-нибудь за углом Ахилла, и уговорил почтмейстера дозволить ему переночевать для безопасности. Почтмейстер на это согласился тем охотнее, что, видя жену свою в состоянии крайнего раздражения, он и сам находил выгоды иметь в эту пору около себя в доме чужого человека, и потому он не только не отказал Варнаве в ночлеге, но даже, как любезный хозяин, предоставил в его пользование стоявший в конторе диван, а сам лег на большом сортировальном столе и закрылся с

головой снятым с этого же стола канцелярским сукном.

Дверь из комнаты в контору, где спали почтмейстер и Препотенский, была заперта. Это еще более взбесило энергическую даму, ибо, по уставу дома, ни одна из его внутренних дверей никогда не должна была запираться от ее, хозяйкина, контроля, а в конторе почтмейстерша считала себя такою же хозяйкой, как и в своей спальне. И вдруг неслыханная дерзость!..

Почтмейстерша вскипела. Она еще раз потрогала дверь, Но дверь не отпирается: крючок постукивает, но сидит в петле, а между тем сквозь дверь слышно два дыхания. Два! Можно представить себе весь ужас, объявший сердце жены при таком внезапном открытии!

Оскорбленная в своих правах супруга кинулась назад по коридору и, вбежав в кухню, бросилась к столу. Долго она шарила впотьмах руками по большому ящику, в котором кишел рой прусаков, и, наконец, нашла именно то, что ей здесь было нужно.

Это был нож.

Огромный интерес, возбуждаемый этою строкой, заставляет на ней приостановиться, чтобы дать читателю приготовиться быть свидетелем

ужасного события.

Глава десятая

Животрепещущая дама, вооруженная большим кухонным ножом, засучив правый рукав своей кофты, прямо направилась к двери конторы и еще раз приложила ухо к створу. И сомнения никакого не было, что злосчастная пара наслаждается сном безмятежным: так и слышно, как один, более сильный субъект, гудет гусаком, а другой, нежнейший, выпускает придыханием протяжные «пхэ».

Почтмейстерша завела нож в дверной створ, приподняла крючок, и легкая тесовая дверка без всяких затруднений тихо скрипнула и отворилась.

Рассвет еще был далеко, и в комнате только чуть видны были едва сереющие окна, но привычный глаз различил здесь и стол с почтовыми вескими, и другой длинный стол в углу, и диван.

Держась левою рукой около стены, негодующая почтмейстерша направилась прямо к дивану и, щупая впотьмах руками, без больших затруднений отыскала храпуна, который лежал на самом краю и, немножко свесив голову, играл во всю

носовую завертку. Спящий ничего не слыхал и, при приближении почтмейстерши, храпнул даже с некоторым особенным удовольствием, как будто чувствовал, что всему этому скоро конец, что этим удовольствием ему уже более сегодня не наслаждаться.

Это так и случилось.

Не успел спящий сделать последней фиоритуры, как левая рука почтмейстерши сильно приподняла его за волосы, а правая, выбросив нож, дала ему нестерпимую оплеуху.

— Ммм… зачем же! зачем! — заговорил пробужденный храпун, но вместо ответа получил другую пощечину, потом третью, пятую, десятую, и все одна другой громче, одна другой сильнее и оглушительней.

— Ай, ай, ай, ай! — восклицал он, уклоняясь от сыпавшихся на него из непроглядной тьмы затрещин, которые вдруг сменились беззвучною, отчаянною трепкой и поволочкой.

— Мамчик! Что ты это, мамчик! ведь это не я, а Варнава Васильевич, — воззвал вдруг в это время со стола разбуженный и испуганный почтмейстер.

Почтмейстерша оторопела, выпустила из рук гривку Варнавы и, вскрикнув: «Да что же это вы,

разбойник, со мною делаете!», кинулась к мужу.

— Да; вот это я… это я! — услышал Варнава голос почтмейстера и, ничего не соображая в эту минуту, кроме необходимости бежать, быстро сорвался с дивана и, отыскав выходную дверь, выскочил в одном белье на улицу.

Он был избит очень серьезно и, обтерши себе рукавом лицо, заметил, что у него идет из носу кровь.

В это же время дверь тихо приотворилась, и почтмейстер тихо назвал Препотенского по имени.

— Здесь, — отвечал глухо Препотенский.

— Ваше платье, и извините.

Дверь снова захлопнулась, и на землю упало платье. Учитель стал подбирать его. Минуту спустя к его ногам через забор шлепнулись сапоги.

Варнава сел на землю и надел сапоги; потом вздел кое-как свое одеяние и побрел к дому.

На дворе начинало немножко светать, а когда Препотенский постучал в кольцо у калитки своего дома, стало даже и совсем видно.

— Боже, кто это тебя, Варначок, так изувечил? — вскрикнула, встретив запоздалого сына, просвирня.

— Никто-с, никто меня не изувечил. Ложитесь

спать. Это на меня впотьмах что-то накинулось.

— Накинулось!

— Ну да, да, да, впотьмах что-то накинулось, и только.

Старушка-просвирня зарыдала.

— Чего вы визжите! Не до вас мне.

— Это они, они тебя мучат!.. — заговорила, всхлипывая, старушка. — Да; теперь тебе уж не жить здесь больше, Варнаша.

— Кто они? — вскрикнул недовольный Препотенский.

Старушка указала рукой по направлению к пустым подставкам, на которых до недавнего времени висел скелет, и, прошептав: «Мертвецы!», она убежала, крестясь, в свою каморку.

Через день учитель Препотенский с отпуском и бедными грошами в кармане бежал из города, оставив причину своего внезапного бегства для всех вечною загадкой.

Глава одиннадцатая

Госпожа Мордоконаки возвратилась к себе тоже около того самого времени, когда доплелся домой изувеченный Варнава Препотенский.

Быстрая езда по ровной, крепкой дороге имела

на петербургскую даму то приятное освежающее действие, в котором человек нуждается, проведя долгое время в шуме и говоре, при необходимости принимать во всем этом свою долю участия. Мордоконаки не смеялась над тем, что она видела. Она просто отбыла свой визит в низменные сферы и уходила от них с тем самым чувством, с каким она уходила с крестин своей экономки, упросившей ее когда-то быть восприемницей своего ребенка.

В этом удобном состоянии духа она приехала домой, прошла ряд пустых богатых покоев, разделась, легла в постель и, почувствовав, что ей будто холодно, протянула руку к пледу, который лежал свернутый на табурете у ее кровати.

К удивлению своему, раскидывая этот плед, она заметила посредине его приколотую булавкой бумажку. Это был вчетверо сложенный тонкий почтовый листок.

Сонная красавица взглянула внимательнее на этот supplement[87] к ее пледу и посреди странных бордюрок, сделанных по краям листка, увидала крупно написанное русскими буквами слово «Парольдонер».

---

[87] Примечания: 87
Дополнение (франц.)

«Что бы это могло значить!» — подумала она и, выдернув булавку, развернула листок и прочитала:

> «Милостивая государыня! Извините меня, что я пред вами откровенный, потому что военный всегда откровенный. Душевно радуюсь и Бога благодарю, что вы отъезжаете устроить к ночи ваших любезных детей. Дай Боже им достигнуть такой цели, как матушка ихняя. Прошу вас покорнейше написать ответ. Если же вы находите, что Повердовня не заслужил расположения, то удостойте своим неземным подчерком, который будет оценен в душе моей.
>
> *Неземной я вас называю,*
> *Вы души моей кумир,*
> *Вам всю душу открываю, —*
> *В вас сокрыт волшебный мир.*
> *Капитан Повердовня».*

Мордоконаки расхохоталась, еще раз прочитала послание влюбленного капитана и, закрыв серебряным колпачком парафиновую свечку,

сладко уснула, подумав: «Bon Dieu, voila la veritable Russie!»[88]

Глава двенадцатая

В тот же самый день, когда в Старом Городе таким образом веселились, далеко, в желтой каморке ссыльного протопопа, шла сцена другого рода. Там умирала Наталья Николаевна.

По своей аккуратности и бережливости, протопопица все время своего пребывания при муже в его ссылке обходилась без прислуги и брала на себя труды, вовсе ей непривычные и непосильные. Добравшись до последней двадцатипятирублевой ассигнации в своей коробке, она испугалась, что у них скоро не будет ни гроша, и решила просить своего хозяина, жандарма, подождать на них за квартиру, пока выйдет им прощение. Жандарм на это согласился, и Наталья Николаевна, тщательно скрывая все это от мужа, искала всеми мерами отслужить чем-нибудь своему хозяину: она копала с его работницей картофель, рубила капусту и ходила сама со своим бельем на реку.

Ее годы и ее плохое здоровье этого не вынесли,

---

[88] Примечания: 88
Боже мой, вот она, настоящая Россия! (франц.)

и она заболела и слегла.

Протопоп осуждал ее хлопотливость и заботливость.

— Ты думаешь, что ты помогаешь мне, — говорил он, — а я когда узнал, что ты делала, так… ты усугубила муки мои.

— Прости, — прошептала Наталья Николаевна.

— Что прости? Ты меня прости, — отвечал протопоп и с жаром взял и поцеловал женину руку. — Я истерзал тебя моею непокорною нравностью, но хочешь… скажи одно слово, и я сейчас пойду покорюсь для тебя…

— Что ты, что ты! Никогда я не скажу этого слова! Тебя ли мне учить, ты все знаешь, что к чему устрояешь!

— К чести моей, друг, все сие переношу.

— И Боже тебе помогай, а обо мне не думай.

Протопоп опять поцеловал женины руки и пошел дьячить, а Наталья Николаевна свернулась калачиком и заснула, и ей привиделся сон, что вошел будто к ней дьякон Ахилла и говорит: «Что же вы не помолитесь, чтоб отцу Савелию легче было страждовать?» — «А как же, — спрашивает Наталья Николаевна, — поучи, как это произнести?» — «А вот, — говорит Ахилла, — что произносите: Господи, ими же веси путями спаси!» — «Господи,

ими же веси путями спаси!» — благоговейно проговорила Наталья Николаевна и вдруг почувствовала, как будто дьякон ее взял и внес в алтарь, и алтарь тот огромный-преогромный: столбы — и конца им не видно, а престол до самого неба и весь сияет яркими огнями, а назади, откуда они уходили, — все будто крошечное, столь крошечное, что даже смешно бы, если бы не та тревога, что она женщина, а дьякон ее в алтарь внес. «В уме ли ты, дьякон! — говорит она Ахилле, — тебя сана лишат, что ты женщину в алтарь внес». А он отвечает: «Вы не женщина, а вы сила!» и с этим не стало ни Ахиллы, ни престола, ни сияния, и Наталья Николаевна не спит, а удивляется, отчего же это все вокруг нее остается такое маленькое: вон самовар не как самовар, а как будто игрушка, а на нем на конфорочке яичная скорлупочка вместо чайника…

В это время вернулся из монастыря Туберозов и что-то ласково заговорил, но Наталья Николаевна так и замахала ему руками.

— Тише, — говорит, — тише: ведь я скоро умру.

Протопоп удивился.

— Что ты, Наташа, Бог с тобой!

— Нет, умру, дружок, умру: я уже вполовину умерла.

— Кто же тебе это сказал?

— Как кто сказал? Я уж все вполовину вижу.

Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел язык и говорит: «Ничего, простуда и усталость».

Туберозов хотел сказать, что больная все вполовину видит, да посовестился.

— Что ж, отлично, что ты ему не сказал, — отвечала на его слова об этом Наталья Николаевна.

— А ты все видишь вполовину?

— Да, вполовину; вон ведь это на небе, должно быть, месяц?

— Месяц в окно на нас с тобой, на старых, смотрит.

— А я вижу точно рыбий глазок.

— Тебе это все кажется, Наташа.

— Нет; это, отец Савелий, верно так.

Туберозов, желая разубедить жену, показал ей вынутую из коробки заветную двадцатипятирублевую ассигнацию и спросил:

— Ну, скажи: а это что такое?

— Двенадцать с полтиной, — кротко отвечала Наталья Николаевна.

Туберозов испугался: что это за притча непонятная, а Наталья Николаевна улыбнулась, взяла его за руку и, закрыв глаза, прошептала:

— Ты шутишь, и я шучу: я видела, это наша

бумажка; все маленькое… а вот зажмурюсь, и сейчас все станет большое, пребольшое большое. Все возрастают: и ты, и Николай Афанасьич, дружок, и дьяконочек Ахилла… и отец Захария… Славно мне, славно, не будите меня! И Наталья Николаевна заснула навеки.

Часть пятая
Глава первая

Карлик Николай Афанасьевич не один был поражен страшным спокойствием лица и дрогающею головой Туберозова, который медленно ступал по глубокой слякоти немощеных улиц за гробом своей усопшей жены Натальи Николаевны. В больших и молчаливых скорбях человека с глубокою натурой есть несомненно всеми чувствуемая неотразимая сила, внушающая страх и наводящая ужас на натуры маленькие, обыкшие изливать свои скорби в воплях и стенаниях. То чувствовали теперь и люди, которым было какое-нибудь дело до осиротелого старика, лишенного своей верной подруги. Когда могильная земля застучала по крышке гроба Натальи Николаевны и запрещенный протопоп обернулся, чтобы сойти с высокого отвала, все окружавшие его попятились и, расступись, дали ему дорогу, которою он и прошел один-одинешенек с обнаженною головой через все кладбище.

У ворот он остановился, помолился на образ в часовне и, надев свою шляпу, еще раз оглянулся

назад и изумился: перед ним стоял карлик Николай Афанасьевич, следовавший за ним от самой могилы в двух шагах расстояния.

На серьезном лице протопопа выразилось удовольствие: он, очевидно, был рад встрече со «старою сказкой» в такую тяжелую минуту своей жизни и, отворотясь в сторону, к черным полям, покрытым замерзшею и свернувшеюся озимою зеленью, уронил из глаз тяжелую слезу — слезу одинокую и быструю, как капля ртути, которая, как сиротка в лесу, спряталась в его седой бороде.

Карлик видел эту слезу и, поняв ее во всем ее значении, тихонько перекрестился. Эта слеза облегчила грудь Савелия, которая становилась тесною для сжатого в ней горя. Он мощно дунул пред собою и, в ответ на приглашение карлика сесть в его бричку, отвечал:

— Да, Николаша, хорошо, я сяду.

Они ехали молча, и когда бричка остановилась у жандармской хибары в монастырской слободке, Туберозов молча пожал руку карла и молча пошел к себе.

Николай Афанасьевич не следовал за ним, потому что он видел и понимал желание Туберозова быть с самим собою. Он навестил вдовца

только вечером и, посидев немного, попросил чайку, под тем предлогом, что он будто озяб, хотя главною его целию тут была попытка отвлечь Савелия от его горя и завести с ним беседу о том, для чего он, Николай Афанасьевич, приехал. План этот удался Николаю Афанасьевичу как нельзя лучше, и когда Туберозов, внося к себе в комнату кипящий самовар, начал собирать из поставца чашки и готовить чай, карлик завел издалека тихую речь о том, что до них в городе происходило, и вел этот рассказ шаг за шаг, день за день, как раз до самого того часа, в который он сидит теперь здесь, в этой лачужке. В рассказе этом, разумеется, главным образом получили большое место сетования города о несчастьях протопопа, печаль о его отсутствии и боязнь, как бы не пришлось его вовсе лишиться.

Протопоп, слушавший начало этих речей Николая Афанасьевича в серьезном, почти близком к безучастию покое, при последней части рассказа, касающейся отношений к нему прихода, вдруг усилил внимание, и когда карлик, оглянувшись по сторонам и понизив голос, стал рассказывать, как они написали и подписали мирскую просьбу и как он, Николай Афанасьевич, взял ее из рук Ахиллы и «скрыл на своей груди», старик вдруг

задергал судорожно нижнею губой и произнес:

— Добрый народ, спасибо.

— Он, наш народ, добрый, батушка, и даже очень добрый, но только он пока еще не знает, как ему за что взяться, — отвечал карлик.

— Тьма, тьма над бездною… но Дух Божий поверх всего, — проговорил протопоп и, вздохнув из глубины груди, попросил себе бумагу, о которой шла речь.

— А зачем она вам, государь отец протопоп, эта бумага? — вопрошал с лукавою улыбкой карлик. — Она кому надписана, тому и будет завтра подана.

— Дай мне… я хочу на нее посмотреть.

Карлик стал расстегивать свои одежды, чтобы докопаться до лежащей на его груди сумы, но вдруг что-то вспомнил и остановился.

— Дай же, дай! — попросил Савелий.

— А вы, батушка… ее не того… не изорвете?

— Нет, — твердо сказал Туберозов, и когда карла достал и подал ему листы, усеянные бисерными и вершковыми, четкими и нечеткими подписями, Савелий благоговейно зашептал:

— Изорвать… изорвать сию драгоценность! Нет! нет! с нею в темницу; с нею на крест; с нею во гроб меня положите!

И он, к немалому трепету карлика, начал проворно свертывать эту бумагу и положил ее на грудь себе под подрясник.

— Позвольте же, батушка, это ведь надо подать!

— Нет, не надо!

Туберозов покачал головой и, помахав отрицательно пальцем, подтвердил:

— Нет, Никола, не надо, не надо.

И с этим он еще решительнее запрятал на грудь просьбу и, затянув пояс подрясника, застегнул на крючки воротник.

Отнять у него эту просьбу не было теперь никакой возможности: смело можно было ручаться, что он скорее расстанется с жизнию, чем с листом этих драгоценных каракуль «мира».

Карлик видел это и не спеша заиграл на собственных нотах Савелия. Николай Афанасьевич заговорил, как велико и отрадно значение этого мирского заступничества, и затем перешел к тому, как свята и ненарушима должна быть для каждого воля мирская.

— Они, батушка, отец протопоп, в горести плачут, что вас не увидят.

— Все равно сего не минет, — вздохнул протопоп, — немного мне жить; дни мои все сочтены

уже вмале.

— Но я-то, батушка, я-то, отец протопоп: мир что мне доверил, и с чем я миру явлюсь?

Туберозов тронулся с места и, обойдя несколько раз вокруг своей маленькой каморки, остановился в угле пред иконой, достал с груди бумагу и, поцеловав ее еще раз, возвратил карлику со словами:

— Ты прав, мой милый друг, делай, что велел тебе мир.

Глава вторая

Николай Афанасьевич имел много хлопот, исполняя возложенное на него поручение, но действовал рачительно и неотступно. Этот маленький посланец большого мира не охладевал и не горячился, но как клещ впивался в кого ему было нужно для получения успеха, и не отставал. Савелия он навещал каждый вечер, но не говорил ему ничего о своих дневных хлопотах; тот, разумеется, ни о чем не спрашивал. А между тем дело настолько подвинулось, что в девятый день по смерти Натальи Николаевны, когда протопоп вернулся с кладбища, карлик сказал ему:

— Ну-с, батушка, отец протопоп, едемте, сударь,

домой: вас отпускают.

— Буди воля Господня о мне, — отвечал равнодушно Туберозов.

— Только они требуют от вас одного, — продолжал карлик, — чтобы вы подали обязательную записку, что впредь сего не совершите.

— Хорошо; не совершу… именно не совершу, поелику… слаб я и ни на что больше не годен.

— Дадите таковую подписку?

— Дам, согласен… дам.

— И еще прежде того просят… чтобы вы принесли покаяние и попросили прощения.

— В чем?

— В дерзости… То есть это они так говорят, что «в дерзости».

— В дерзости? Я никогда не был дерзок и других, по мере сил моих, от того воздерживал, а потому каяться в том, чего не сделал, не могу.

— Они так говорят и называют.

— Скажи же им, что я предерзостным себя не признаю.

Туберозов остановился и, подняв вверх указательный палец правой руки, воскликнул:

— Не наречен был дерзостным пророк за то, что он, ревнуя, поревновал о Вседержителе. Скажи же им: так вам велел сказать ваш подначальный

поп, что он ревнив и так умрет таким, каким рожден ревнивцем. А более со мной не говори ни слова о прощении.

Ходатай отошел с таким решительным ответом и снова ездил и ходил, просил, молил и даже угрожал судом людским и Божиим судом, но всуе дребезжал его слабеющий язык.

Карлик заболел и слег; неодолимость дела, за которое взялся этот оригинальный адвокат, сломила и его силу и его терпение.

Роли стариков переменились, и как до сих пор Николай Афанасьевич ежедневно навещал Туберозова, так теперь Савелий, напилив урочные дрова и отстояв в монастыре вечерню, ходил в большой плодомасовский дом, где лежал в одном укромном покойнике разболевшийся карлик.

Савелию было безмерно жаль Николая Афанасьевича, и он скорбел за него и, вздыхая, говорил:

— Сего лишь единственно ко всему бывшему недоставало, чтобы ты за меня перемучился.

— Батушка, отец протопоп, что тут обо мне, старом зайце, разговаривать? На что уж я годен? Нет, вы о себе-то и о них-то, о своем первосвященнике, извольте попечалиться: ведь они просят вас покориться! Утешьте их: попросите прощения!

— Не могу, Николай, не могу!

— Усиленно, отец протопоп, просят! Ведь они только по начальственному высокомерию об этом говорить не могут, а им очень вас жаль и неприятно, что весь город за вас поднялся… Нехорошо им тоже всем отказывать, не откажите ж и вы им в снисхождении, утешьте просьбой.

— Не могу, Николай, не могу! Прощение не потеха.

— Смиритесь!

— Я пред властью смирен, а что есть превыше земной власти, то надо мною властнее… Я человек подзаконный. Сирах вменил в обязанности нам пещись о чести имени, а первоверховный Павел протестовал против попранья прав его гражданства; не вправе я себя унизить ради просьбы.

Карлик был в отчаянии. Подзаконный протопоп не подавал ни малейшей надежды ни на какую уступку. Он как стал на своем, так и не двигался ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево.

Николай Афанасьевич не одобрял уже за это отца Савелия и хотя не относил его поведения к гордости или к задору, но видел в нем непохвальное упрямство и, осуждая протопопа, решился

еще раз сказать ему:

— Ведь нельзя же, батушка, отец Савелий, ведь нельзя же-с и начальства не пожалеть, ведь надо же… надо же им хоть какой-нибудь реваншик предоставить. Как из этого выйти?

— А уж это их дело.

— Ну, значит, вы к ним человек без сожаления.

— О, друже, нет; я его, сие скорбное начальство наше, очень сожалею! — отвечал, вздохнув, протопоп.

— Ну, так и поступитесь маленечко своим обычаем: повинитесь.

— Не могу, закон не позволяет.

Карлик мысленно положил отречься от всякой надежды чего-нибудь достичь и стал собираться назад в свой город. Савелий ему ничего не возражал, а, напротив, даже советовал уехать и ничего не наказывал, что там сказать или ответить. До последней минуты, даже провожая карлика из города за заставу, он все-таки не поступился ни на йоту и, поворотив с знакомой дороги назад в город, побрел пилить дрова на монастырский двор.

Горе Николая Афанасьевича не знало меры и пределов. Совсем не так он думал возвращаться, как довелось, и зато он теперь ехал, все вертясь

в своих соображениях на одном и том же предмете, и вдруг его посетила мысль — простая, ясная, спасительная и блестящая мысль, какие редко ниспосылаются и обыкновенно приходят вдруг, — именно как бы откуда-то свыше, а не из нас самих.

Карлик с десятой версты повернул в город и, явясь к начальству Савелия, умолял приказать протопопу повиниться.

Начальство в самом деле давно не радо было, что зацепило упрямого старика, и карлик, получив то, чего желал, внезапно предстал снова Туберозову и сказал:

— Ну-с, государь мой, гордый отец протопоп, не желали вы сдаваться на просьбу, так теперь довели себя до того, что должны оказать повиновение строгости: мне приказано вам сказать, что вам властию повелевают извиниться.

— Где же они повелевают мне стать пред ними на колени: здесь, или на площади, или во храме? — сухо спросил Туберозов. — Мне все равно: по повелению я все исполню.

Карлик отвечал ему, что никто от него никакого унижения не требует и что ему достаточно написать требуемое прошение на бумаге.

Туберозов тотчас же взял и написал кому и что

следовало, обозначив эту бумагу «Требованное всепокорнейшее прошение». Карлик заметил, что слово «требованное» здесь совершенно неуместно, но Савелий это решительно отверг и сказал:

— Ну, уж надеюсь, что тебе меня логике не повелено учить; я ей в семинарии научен: ты сказал, что от меня требуют, я и пишу «требованное».

Кончилось это для отца Савелия тем, что, наскучив с ним возиться, его отпустили, но за то, что всепокорнейшее прошение его было в то же время прошение «требованное», на нем последовала надпись, в силу которой упорный старик за эту «требованность» оставляем еще на полгода под запрещением.

Савелий этим нисколько не смутился и, поблагодарив всех, кого считал нужным благодарить, выехал с карликом домой после долгой и тягостной ссылки своей.

Глава третья

Во время дороги они мало разговаривали, и то заводил речи только Николай Афанасьевич. Стараясь развлечь и рассеять протопопа, сидевшего в молчании со сложенными на коленях руками в старых замшевых перчатках, он заговаривал

и про то и про другое, но Туберозов молчал или отзывался самыми краткими словами. Карлик рассказывал, как скучал и плакал по Туберозове его приход, как почтмейстерша, желая избить своего мужа, избила Препотенского, как учитель бежал из города, гонимый Бизюкиной, — старик все отмалчивался.

Николай Афанасьевич заговорил о домике Туберозова, что он опускается и требует поправки.

Протопоп вздохнул и сказал:

— Уже все это отныне для меня прах, и я гнушаюсь, что был к тому привязан.

Карлик повернул на то, что вот Ахилла все находит себе утешение и, скучая безмерно, взял к себе в дом из-под кручи слепого щеночка и им забавляется.

— Добро ему, пусть тешится, — прошептал протопоп.

Николай Афанасьевич оживился.

— Да-с, — начал он, — и скажу вам, батушка, сколько же с ними чрез эту собачку, по их характеру, произошло самых дивных историй. Выучили они эту собачку, как и прежних, смеяться; скажут: «Засмейся, собачка», — она и скалит зубенки; но впала им в голову мысль, как ее назвать?

— Ну не все ли будто равно псу, как его называ-

ют? — отозвался нехотя протопоп.

Карлик заметил, что рассказы об Ахилле спутник его слушал не так равнодушно, и пошел далее.

— Да-с; ну вот подите же! А по отца дьякона характеру, видите, не все равно, что село им в голову, то уж им вынь да положь. «Я, говорят, этого песика по особенному случаю растревоженный домой принес, и хочу, чтоб он в означение сего случая таким особенным именем назывался, каких и нет».

Протопоп улыбнулся.

— Ну-с, вот и приезжает он, отец Ахилла, таким манером ко мне в Плодомасово верхом, и становится на коне супротив наших с сестрицей окошек, и зычно кричит: «Николаша! а Николаша!» Я думаю: Господи, что такое? Высунулся в форточку, да и говорю: «Уж не с отцом ли Савелием еще что худшее, отец дьякон, приключилось?» — «Нет, говорят, не то, а я нужное дело к тебе, Николаша, имею. Я к тебе за советом приехал».

«Так пожалуйте же, мол, в комнаты, — не казаки же мы с вами сторожевые, чтобы нам перекликаться одному с коня, а другому с вышки». Так ведь куда тебе! — не хочет: «Мне, говорит, некогда, да я и не один».

«В чем же, кричу, дело-то? Говорите скорее, сударь, а то мне в форточке холодно, я человек зябкий». — «А ты, говорит, сызмальства по господским домам живешь, так должен ты все собачьи имена знать». — «Ну как, мол, можно все их имена знать; мало ли где как собак называют». — «Ну, кричит, скорей пересчитывай!» Я им и называю, что ведь названия, мол, даются все больше по породам, что какой прилично: борзые почаще все «Милорды», а то из наших простых, которые красивей, «Барбосы» есть, из аглицких «Фани», из курляндских «Шарлотки», французских называют и «Жужу» и «Бижу»; испанские «Карло», или «Катанья», или еще как-нибудь; немецкие «Шпиц»… Но отец дьякон меня на этом перебивают: «Нет, ты, говорит, скажи мне такое имя, чтобы ни у кого такого не было. Ты, изволят настаивать, должен это знать!» Как, думаю, их успокоить?

— Ну и как же ты его успокоил? — полюбопытствовал Туберозов.

— Да я, батушка, что же, я в ту пору стал очень в форточке-то зябнуть и, чтобы поскорее отделаться, говорю: «Знаю я, сударь, еще одну кличку, да только сказать вам ее опасаюсь». — «Нет, ничего, кричит, ничего, говори». «Звали, мол, у одного

барина собаку Каквас». А отец Ахилла-то вдруг и засмутились. «Что ты это за вздор, говорят, мелешь: или ты с ума сошел?» — «Нет, мол, я с ума не сходил, а я точно знаю, что в Москве у одного князя собаку звали Каквас». Ахилла Андреич вдруг как вскипят, разгневались и начали лошадь шпорить и к стене подскакивают, а сами кричат: «Разве тебе, бесстыдник ты этакий старый, можно это на меня сказать? Разве ты не знаешь, что мое имя крещеное и я священнослужитель?» Насилу их, батушка, успокоил и растолковал им, что это такое Каквас. Ну, тут уж зато они взыграли на коне и, вынув из-за пазухи из полушубка того щеночка, закричали: «Здравствуй, Каквасинька!» и понеслись радостные назад.

— Дитя великовозрастное, — проговорил, улыбнувшись, Савелий.

— Да-с, все бы им шутки.

— Не осуждай его: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало; тяжело ему ношу, сонную дрему, весть, когда в нем в одном тысяча жизней горит.

— Именно-с. Я и не знаю, как ему умирать?

— Я и сам этого не знаю, — пошутил протопоп, — он есть само отрицание смерти. Ну а что же с этим Каквасом?

— А что вы изволите полагать, с ним идет беда по сю пору, да и нельзя без нее. Отец дьякон какие же привычки себе изволили выдумать? Как только им делается по вас очень скучно, они в ту пору возьмут своего Какваску на руки и идут к почтовой станции, сядут на крылечко и ждут. Чуть какой-нибудь важный проезжий или дама какая останавливаются, а они сейчас: «Засмейся, собачка», та и смеется, каналья, а проезжим любопытство; спрашивают: «Батушка, как эту собачку звать?» А они: «Я, — говорит, — не батушка, а дьякон, — моего батушку собаки съели». А спросят: «Ну а как же вашу собачку звать?» — «А собачку, — отвечают, — зовут Каквас». И ссоры он из-за этого затевает постоянные и все говорит: «Я их теперь, — говорит, — всех этак постоянно в глаза буду собаками звать, и сам мировой судья мне ни лысого беса не сделает». И все это за вас, отец Савелий, мстит, а в каком соображении мстит — того не рассуждает. А вот отцу Захарии за него вышла неприятность: у них эту собачку благочинный увидали да спросили, как звать; а отец Захария говорит: «Зовут Каквас, Ваше Преподобие», и получили выговор.

Савелий рассмеялся до слез и, обтершись платком, проговорил:

— Бесценный сей прямодушный Захария. Сосуд Господень и молитвенник, какого другого я не видывал. Жажду обнять его.

Пред путешественниками вдруг с горы открылся родной город — город древний, характерный и полный для Туберозова воспоминаний, под мгновенным напором которых старик откинулся назад и зажмурился, как от сверкания яркого солнца.

Они велели ехать еще тише, чтобы не въезжать засветло, и в сумерки постучали в железное кольцо знакомых ворот. Послышался оклик: «кто там?», это был голос Ахиллы. Туберозов обтер пальцем слезу и перекрестился.

— Кто там? — переспросил еще Ахилла.

— Да кто же, как не я и отец Савелий, — отозвался карлик.

Дьякон взвизгнул, слетел со всех ступеней крыльца, размахнул настежь ворота, а сам вкатил клубом в бричку и, обхватив шею протопопа, замер.

Оба они, обняв друг друга в бричке, долго и жалостно всхлипывали, меж тем как карлик, стоя на земле, тихо, но благодатно плакал в свой прозябший кулачок.

Наконец дьякон, нарыдавшись, захотел гово-

рить. Он чуть было уже не спросил о Наталье Николаевне; но, спохватись, ловко переменил слово и, показывая протопопу на вертевшуюся возле его ног собачку, сказал:

— А вот это, батя, мой новый песик Какваска! Самая чудесная собачка. И как мы захотим, он нам сейчас засмеется. Чего о пустом скучать!

«О пустом», — с нестерпимою болью в сердце было повторил отец Савелий, но удержался и только крепко, во всю мочь, сжал Ахиллину руку.

Глава четвертая

Войдя в свой дом, где в течение довольно долгого времени оставался хозяином и единственным жильцом дьякон Ахилла, протопоп поцеловал стихийного исполина в сухой пробор его курчавой головы и, обойдя вместе с ним все комнатки, перекрестил пустую осиротелую кроватку Натальи Николаевны и сказал:

— Что же, друг: теперь нам с тобой уже не стоит и расходиться, — станем жить вместе!

— И очень извольте: рад, и готов, и даже сам так располагал, — отвечал Ахилла и опять обеими руками обнял протопопа.

Так они и остались жить вдвоем: Ахилла служил в церкви и домовничал, а Туберозов сидел дома, читал Джона Буниана, думал и молился.

Он показывался из дома редко, или, лучше сказать, совсем не показывался, и на вопросы навещавших его людей, почему он не выходит, коротко отвечал:

— Да вот… все… собираюсь.

Он действительно все собирался и жил усиленной и сосредоточенною жизнью самоповеряющего себя духа.

Ахилла отстранял его от всяких забот и попечений, и это давало старцу большое удобство собираться.

Но недолго суждено было длиться и этому блаженству. Ахиллу ждала честь: его брал с собою в Петербург архиерей, вызванный на череду для присутствования в синоде. Губернский протодьякон был нездоров.

Расставание дьякона с Туберозовым было трогательное, и Ахилла, никогда не писавший никаких писем и не знавший, как их пишут и как отправляют, не только вызвался писать отцу Туберозову, но и исполнял это.

Письма его были оригинальны и странны, не менее чем весь склад его мышления и жизни.

Прежде всего он прислал Туберозову письмо из губернского города и в этом письме, вложенном в конверт, на котором было надписано: «Отцу протоиерею Туберозову, секретно и в собственные руки», извещал, что, живучи в монастыре, он отомстил за него цензору Троадию, привязав его коту на спину колбасу с надписанием: «Сию колбасу я хозяину несу» и пустив кота бегать с этою ношею по монастырю.

Через месяц Ахилла писал из Москвы, сколь она ему понравилась, но что народ здесь прелукавый, и особенно певчие, которые два раза звали его пить вместе лампопо, но что он, «зная из практики, что такое обозначает сие лампопо, такой их певческой наглости только довольно подивился».

Еще немного спустя он писал уже из Петербурга: «Прелюбезный друг мой и Ваше Высокопреподобие отец Савелий. Радоватися. Живу чудесно на подворье, которое будет вроде монастырька, но соблазну ужас как много, потому что все равно что среди шумного города. Но по вас все-таки, несмотря на сию шумность, скучаю, ибо вместе бы если бы тут были, то отрадней бы гораздо всему вдвоем удивлялись. Советы ваши благие помню и содержу себя в постоянном у всех почте-

нии, на что и имеете примету в том московском лампопе, которого пить не захотел. Пью самую малость, да и то главнее всего для того, что через непитье опасаюсь, как бы хорошее знакомство не растерять. Хорошего здесь много, но дьяконов настоящих, как по-нашему требуется, нет; все тенористые, пристойные по-нашему разве только к кладбищам, и хотя иные держат себя и очень даже форсисто, но и собою все против нас жидки и в служении все действуют говорком, а нередко даже и не в ноту, почему певчим с ними потрафлять хорошо невозможно. Я же, как в этом сведущий, их моде не подражаю, а служу по-своему, и зато хоть и приезжий, но купечество приглашало меня в Гостиный ряд под воротами в шатре молебен служить и, окромя денежного подарения, за ту службу дали мне три фуляровые платка, какие вы любите, и я их вам привезу в гостинец. На здоровье! Скучаю я тоже немало, конечно по своей необразованности, да и потому, что отовсюду далеко. Из угощений здесь все больше кофий. Да я по дальности мало у кого и бываю, потому что надо все в сторону; я же езжу на пол-империале, а на нем никуда в сторону невозможно, но вы этого, по своей провинциальности, не поймете: сидишь точно на доме, на крышке

очень высоко, и если сходить оттуда, то надо иметь большую ловкость, чтобы сигнуть долой на всем скаку, а для женского пола, по причине их одежды, этого даже не позволяют. Извозчики же здесь, по замечанию, очень насмешливы, и буде наш брат духовный станет их нанимать, но жертвует очень дешево, то они сейчас один о другом выкрикают: «Напрасно, батюшка, с ним сели: он вчера священника в лужу вывалил», а потому и не ряжу их вовсе. Варнавку нашего однажды встретил, но не тронул, потому что и он и я оба ехали на встречных пол-империалах, и я ему только успел погрозить, да, впрочем, он здесь стал очень какой-то дохлый. Насчет же вашего несчастия, что вы еще в запрещении и не можете о себе на литургии молиться, то, пожалуйста, вы об этом нимало не убивайтесь, потому что я все это преестественно обдумал и дополнил, и Вседержитель это видит. Полагайтесь так, что хотя не можете вы молиться сами за себя из уездного храма, но есть у вас такой человек в столице, что через него идет за вас молитва и из Казанского собора, где спаситель отечества, светлейший князь Кутузов погребен, и из Исакиевского, который весь снаружи мраморный, от самого низа даже до верха, и столичный этот за вас богомолец я, ибо

я, четши ектению велегласно за кого положено возглашаю, а про самого себя шепотом твое имя, друже мой, отец Савелий, потаенно произношу, и молитву за тебя самую усердную отсюда посылаю Превечному, и жалуюсь, как ты напрасно пред всеми от начальства обижен. А ты особливо того слова, пожалуйста, себе и не думайте и не говорите, что «дни мои изочтены», потому что это нам с отцом Захарией будет со временем очень прискорбно и я тебя, честное слово, разве малым чем тогда переживу».

Засим следовала подпись: «Временно столичный за протодьякона своей епархии Старогородского уездного собора дьякон Ахилла Десницын».

Было и еще получено письмо от Ахиллы, где он писал, что «счастливым случаем таки свиделся с Препотенским и думал с ним за прошедшее биться, но вышел всему тому совсем другой оборот, так что он даже и был у него в редакции, потому что Варнава теперь уже был редактором, и Ахилла видел у него разных «литератов» и искренно там с Варнавой примирился. Примирению же этому выставлялась та причина, что Варнава стал (по словам Ахиллы) человек жестоко несчастливый, потому что невдавнях женился на здешней барышне, которая гораздо всякой дамы строже

и судит все против брака, а Варнаву, говорят, нередко бьет, и он теперь уже совсем не такой: сам мне открылся, что если бы не опасался жены, то готов бы даже за Бога в газете заступиться, и ругательски ругает госпожу Бизюкину, а особливо Термосесова, который чудесно было себя устроил и получал большое жалованье на негласной службе для надзора за честными людьми, но враг его смутил жадностью: стал фальшивые бумажки перепущать и теперь в острог сел». Наипаче же всего Ахилла хвалился тем, что он видел, как в театре представляли. «Раз (объяснял он), было это с певчими, ходил я в штатском уборе на самый верх на оперу «Жизнь за царя», и от прекрасного пения голосов после целую ночь в восторге плакал; а другой раз, опять тоже переряженный по-цивильному, ходил глядеть, как самого царя Ахиллу представляли. Но только на меня даже ни крошки не похоже: выскочил актер, весь как есть в латах, и на пятку жалится, а дай мне этакую сбрую, я бы гораздо громче разыграл. Остальная же игра вся по-языческому с открытостью до самых пор, и вдовому или одинокому человеку это видеть неспокойно».

И еще, наконец, пришло третье и последнее письмо, которым Ахилла извещал, что скоро

вернется домой, и вслед за тем в один сумрачный серый вечер он предстал пред Туберозова внезапно, как радостный вестник.

Поздоровавшись с дьяконом, отец Савелий тотчас же сам бросился на улицу запереть ставни, чтобы скрыть от любопытных радостное возвращение Ахиллы.

Беседа их была долгая. Ахилла выпил за этою беседой целый самовар, а отец Туберозов все продолжал беспрестанно наливать ему новые чашки и приговаривал:

— Пей, голубушка, кушай еще, — и когда Ахилла выпивал, то он говорил ему: — Ну, теперь, братец, рассказывай дальше: что ты там еще видел и что узнал?

И Ахилла рассказывал. Бог знает что он рассказывал: это все выходило пестро, громадно и нескладно, но всего более в его рассказах удивляло отца Савелия то, что Ахилла кстати и некстати немилосердно уснащал свою речь самыми странными словами, каких он до поездки в Петербург не только не употреблял, но, вероятно, и не знал!

Так, например, он ни к селу ни к городу начинал с того:

— Представь себе, голубчик, отец Савелий, какая комбынация (причем он беспощадно на-

пирал на «ы»).

Или:

— Как он мне это сказал, я ему говорю: ну нет, же ву пердю, это, брат, сахар дюдю.

Отец Туберозов хотя с умилением внимал рассказам Ахиллы, но, слыша частое повторение подобных слов, поморщился и, не вытерпев, сказал ему:

— Что ты это… Зачем ты такие пустые слова научился вставлять?

Но бесконечно увлекающийся Ахилла так нетерпеливо разворачивал пред отцом Савелием всю сокровищницу своих столичных заимствований, что не берегся никаких слов.

— Да вы, душечка, отец Савелий, пожалуйста, не опасайтесь, теперь за слова ничего — не запрещается.

— Как, братец, ничего? Слышать скверно.

— О-о! это с непривычки. А мне так теперь что хочешь говори, все ерунда.

— Ну вот опять.

— Что такое?

— Да что ты еще за пакостное слово сейчас сказал?

— Ерунда-с!

— Тьфу, мерзость!

— Чем-с?.. Все литераты употребляют.

— Ну, им и книги в руки: пусть их и сидят с своею «герундой», а нам с тобой на что эту герунду заимствовать, когда с нас и своей русской чепухи довольно?

— Совершенно справедливо, — согласился Ахилла и, подумав, добавил, что чепуха ему даже гораздо более нравится, чем ерунда.

— Помилуйте, — добавил он, опровергая самого себя, — чепуху это отмочишь, и сейчас смех, а они там съерундят, например, что Бога нет, или еще какие пустяки, что даже попервоначалу страшно, а не то спор.

— Надо, чтоб это всегда страшно было, — кротко шепнул Туберозов.

— Ну да ведь, отец Савелий, нельзя же все так строго. Ведь если докажут, так деться некуда.

— Что докажут? что ты это? что ты говоришь? Что тебе доказали? Не то ли, что Бога нет?

— Это-то, батя, доказали…

— Что ты врешь, Ахилла! Ты добрый мужик и христианин: перекрестись! что ты это сказал?

— Что же делать? Я ведь, голубчик, и сам этому не рад, но против хвакта не попрешь.

— Что за «хвакт» еще? что за факт ты открыл?

— Да это, отец Савелий… зачем вас смущать?

Вы себе читайте свою Буниану и веруйте в своей простоте, как и прежде сего веровали.

— Оставь ты моего Буниана и не заботься о моей простоте, а посуди, что ты на себя говоришь?

— Что же делать? Хвакт! — отвечал, вздохнув, Ахилла.

Туберозов, смутясь, встал и потребовал, чтоб Ахилла непременно и сейчас же открыл ему факт, из коего могут проистекать сомнения в существовании Бога.

— Хвакт этот по каждому человеку прыгает, — отвечал дьякон и объяснил, что это блоха, а блоху всякий может сделать из опилок, и значит, все-де могло сотвориться само собою.

Получив такое искреннее и наивное признание, Туберозов даже не сразу решился, что ему ответить; но Ахилла, высказавшись раз в этом направлении, продолжал и далее выражать свою петербургскую просвещенность.

— И взаправду теперь, — говорил он, — если мы от этой самой ничтожной блохи пойдем дальше, то и тут нам ничего этого не видно, потому что тут у нас ни книг этаких настоящих, ни глобусов, ни труб, ничего нет. Мрак невежества до того, что даже, я тебе скажу, здесь и смелости-то такой, как там, нет, чтоб очень рассуждать! А там я с лите-

ратами, знаешь, сел, полчаса посидел, ну и вижу, что религия, как она есть, так ее и нет, а блоха это положительный хвакт. Так по науке выходит…

Туберозов только посмотрел на него и, похлопав глазами, спросил:

— А чему же ты до сих пор служил?

Дьякон нимало не сконфузился и, указав рукой на свое чрево, ответил:

— Да чему и все служат: маммону. По науке и это выведено, для чего человек трудится, — для еды; хочет, чтоб ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы мы есть бы не хотели, так ничего бы и не делали. Это называется *борба* (дьякон произнес это слово без «ь») за *сушшествование.* Без этого ничего бы не было.

— Да вот видишь ты, — отвечал Туберозов, — а Бог-то ведь, ни в чем этом не нуждаясь, сотворил свет.

— Это правда, — отвечал дьякон, — Бог это сотворил.

— Так как же ты его отрицаешь?

— То есть я не отрицаю, — отвечал Ахилла, — а я только говорю, что, восходя от хвакта в рассуждении, как блоха из опилок, так и вселенная могла сама собой явиться.

У них бог, говорят, «кислород»… А я, прах его

знает, что он есть кислород! И вот видите: как вы опять заговорили в разные стороны, то я уже опять ничего не понимаю.

— Откуда же взялся твой кислород?

— Не знаю, ей-Богу… да лучше оставьте про это, отец Савелий.

— Нет, нельзя этого, милый, в тебе оставить! Скажи: откуда начало ему, твоему кислороду?

— Ей-Богу, не знаю, отец Савелий! Да нет, оставьте, душечка!

— Может быть, сей кислород безначален?

— А идол его знает! Да ну его к лешему!

— И конца ему нет?

— Отец Савелий!., да ну его совсем к свиньям, этот кислород. Пусть он себе будет хоть и без начала и без конца: что нам до него?

— А ты можешь ли понять, как это без начала и без конца?

Ахилла отвечал, что это он может.

И затем громко продолжал:

«Един Бог во Святой Троице спокланяемый, Он есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет».

— Аминь! — произнес с улыбкой Туберозов и, так же с улыбкой приподнявшись с своего места, взял Ахиллу дружески за руку и сказал:

— Пойдем-ка, я тебе что-то покажу.

— Извольте, — отвечал дьякон.

И оба они, взявшись под руки, вышли из комнаты, прошли весь двор и вступили на средину покрытого блестящим снегом огорода. Здесь старик стал и, указав дьякону на крест собора, где они оба столь долго предстояли алтарю, молча же перевел свой перст вниз к самой земле и строго вымолвил:

— Стань поскорей и помолись!

Ахилла опустился на колени.

— Читай: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя», — произнес Савелий и, проговорив это, сам положил первый поклон.

Ахилла вздохнул и вслед за ним сделал то же. В торжественной тишине полуночи, на белом, освещенном луною пустом огороде, начались один за другим его мерно повторяющиеся поклоны горячим челом до холодного снега, и полились широкие вздохи с сладостным воплем молитвы: «Боже! очисти мя грешного и помилуй мя», которой вторил голос протопопа другим прошением: «Боже, не вниди в суд с рабом твоим». Проповедник и кающийся молились вместе.

Над Старым Городом долго неслись воздыхания Ахиллы: он, утешник и забавник, чьи кантаты и

веселые окрики внимал здесь всякий с улыбкой, он сам, согрешив, теперь стал молитвенником, и за себя и за весь мир умолял удержать праведный гнев, на нас движимый!

О, какая разница была уж теперь между этим Ахиллой и тем, давним Ахиллой, который, свистя, выплыл к нам раннею зарей по реке на своем красном жеребце!

Тот Ахилла являлся свежим утром после ночного дождя, а этот мерцает вечерним закатом после дневной бури.

Старый Туберозов с качающеюся головой во все время молитвы Ахиллы сидел, в своем сером подрясничке, на крыльце бани и считал его поклоны. Отсчитав их, сколько разумел нужным, он встал, взял дьякона за руку, и они мирно возвратились в дом, но дьякон, прежде чем лечь в постель, подошел к Савелию и сказал:

— Знаете, отче: когда я молился…

— Ну?

— Казалося мне, что земля была трепетна.

— Благословен Господь, что дал тебе подобную молитву! Ляг теперь с миром и спи, — отвечал протопоп, и они мирно заснули.

Но Ахилла, проснувшись на другой день, ощутил, что он как бы куда-то ушел из себя: как будто

бы он невзначай что-то кинул и что-то другое нашел. Нашел что-то такое, что нести тяжело, но с чем и нельзя и неохота расставаться.

Это был прибой благодатных волн веры в смятенную и трепетную душу.

Ей надо было болеть и умереть, чтобы воскреснуть, и эта святая работа совершалась.

Немудрый Ахилла стал мудр: он искал безмолвия и, окрепну в, через несколько дней спросил у Савелия:

— Научи же меня, старец великий, как мне себя исправлять, если на то будет Божия воля, что я хоть на малое время останусь один? Силой своею я был горд, но на сем вразумлен, и на нее больше я не надеюсь…

— Да, был могуч ты и силен, а и к тебе приблизится час, когда не сам препояшешься, а другой тебя препояшет, — ответил Савелий.

— А разум мой еще силы моей ненадежней, потому что я, знаете, всегда в рассуждении сбивчив.

— На сердце свое надейся, оно у тебя бьется верно.

— А что ж я взговорю, если где надобно слово? Ведь сердце мое бессловесно.

— Слушай его, и что в нем простонет, про то

говори, а с сорной земли сигающих на тебя блох отрясай!

Ахилла взялся рукой за сердце и отошел, помышляя: «Не знаю, как все сие будет?» А безотчетное предчувствие внятно ему говорило, что он скоро, скоро будет один, и оставит его вся сила его, «и иной его препояшет».

Глава пятая

Жуткие и темные предчувствия Ахиллы не обманули его: хилый и разбитый событиями старик Туберозов был уже не от мира сего. Он простудился, считая ночью поклоны, которые клал по его приказанию дьякон, и заболел, заболел не тяжко, но так основательно, что сразу стал на край домовины[89].

Чувствуя, что смерть принимает его в свои объятия, протопоп сетовал об одном, что срок запрещения его еще не минул. Ахилла понимал это и разумел, в чем здесь главная скорбь.

Туберозову не хотелось умереть в штрафных, — ему хотелось предстать пред небесною властию разрешенным властию земною. Он продикто-

---

[89] Примечания: 89
Гроб.

вал Ахилле письмо, в котором извещал свое начальство о своем болезненном состоянии и умилительно просил снизойти к нему и сократить срок положенного на него запрещения. Письмо это было послано, но ответа на него не получалось.

Отец Туберозов молчал, но Ахилла прислушался к голосу своего сердца и, оставив при больном старике дьячка Павлюкана, взял почтовую пару и катнул без всякого разрешения в губернский город.

Он не многословил в объяснениях, а отдал кому следовало все, чем мог располагать, и жалостно просил исхлопотать отцу Туберозову немедленно разрешение. Но хлопоты не увенчались успехом: начальство на сей раз показало, что оно вполне обладает тем, в чем ему у нас так часто любят отказывать. Оно показало, что обладает характером, и решило, что все определенное Туберозову должно с ним совершиться, как должно совершиться все определенное высшими судьбами.

Ахилла было опять почувствовал припадок гнева, но обуздал этот порыв, и как быстро собрался в губернский город, так же быстро возвратился домой и не сказал Туберозову ни слова, но старик понял и причину его отъезда и прочел в его гла-

зах привезенный им ответ.

Пожав своею хладеющею рукой дьяконову, Савелий проговорил:

— Не огорчайся, друг.

— Дай, конечно, не огорчаюсь, — ответил Ахилла. — Мало будто вы в свою жизнь наслужились пред Господом!

— Благодарю Его… открыл мой ум и смысл, дал зреть Его дела, — проговорил старик и, вздохнув, закрыл глаза.

Ахилла наклонился к самому лицу умирающего и заметил на его темных веках старческую слезу.

— А вот это нехорошо, баточка, — дружески сказал он Туберозову.

— Чт… т… о? — тупо вымолвил старик.

— Зачем людьми недоволен?

— Ты не понял, мой друг, — прошептал слабо в ответ больной и пожал руку Ахиллы.

Вместо Ахиллы в губернский город снова поскакал карлик Николай Афанасьевич, и поскакал с решительным словом.

— Как только доступлю, — говорил он, — так уж прочь и не отойду без удовлетворения. Да-с; мне семьдесят годов и меня никуда заключить нельзя; я калечка и уродец!

Дьякон проводил его, а сам остался при боль-

ном.

Всю силу и мощь и все, что только Ахилла мог счесть для себя драгоценным и милым, он все охотно отдал бы за то, чтоб облегчить эту скорбь Туберозова, но это все было вне его власти, да и все это было уже поздно: Ангел смерти стал у изголовья, готовый принять отходящую душу.

Через несколько дней Ахилла, рыдая в углу спальни больного, смотрел, как отец Захария, склонясь к изголовью Туберозова, принимал на ухо его последнее предсмертное покаяние. Но что это значит?.. Какой это такой грех был на совести старца Савелия, что отец Бенефактов вдруг весь так взволновался? Он как будто бы даже забыл, что совершает таинство, не допускающее никаких свидетелей, и громко требовал, чтоб отец Савелий кому-то и что-то простил! Пред чем это так непреклонен у гроба Савелий?

— Будь мирен! будь мирен! прости! — настаивал кротко, но твердо Захария. — Коль не простишь, я не разрешу тебя…

Бедный Ахилла дрожал и с замиранием сердца ловил каждое слово.

— Богом живым тебя, пока жив ты, молю… — голосно вскрикнул Захария и остановился, не докончив речи.

Умирающий судорожно привстал и снова упал, потом выправил руку, чтобы положить на себя ею крест и, благословясь, с большим усилием и расстановкой произнес:

— Как христианин, я… прощаю им мое пред всеми поругание, но то, что, букву мертвую блюдя… они здесь Божие живое дело губят…

Торжественность минуты все становилась строже: у Савелия щелкнуло в горле, и он продолжал как будто в бреду:

— Ту скорбь я к престолу… Владыки царей… положу и сам в том свидетелем стану…

— Будь мирен: прости! все им прости! — ломая руки, воскликнул Захария.

Савелий нахмурился, вздохнул и прошептал: «Благо мне, яко смирил мя еси» и вслед за тем неожиданно твердым голосом договорил:

— По суду любящих имя Твое просвети невежд и прости слепому и развращенному роду его жестокосердие.

Захария с улыбкой духовного блаженства взглянул на небо и осенил лицо Савелия крестом.

Лицо это уже не двигалось, глаза глядели вверх и гасли: Туберозов кончался.

Ахилла, дрожа, ринулся к нему с воплем и, рыдая, упал на его грудь.

Отходящий последним усилием перенес свою руку на голову Ахиллы, и с этим уже громкий колоколец заиграл в его горле, мешаясь с журчаньем слов тихой отходной, которую читал сквозь слезы Захария.

Протопоп Туберозов кончил свое житие.

Глава шестая

Смерть Савелия произвела ужасающее впечатление на Ахиллу. Он рыдал и плакал не как мужчина, а как нервная женщина оплакивает потерю, перенесение которой казалось ей невозможным. Впрочем, смерть протоиерея Туберозова была большим событием и для всего города: не было дома, где бы ни молились за усопшего.

В доме покойника одна толпа народа сменяла другую: одни шли, чтоб отдать последний поклон честному гробу, другие, чтобы посмотреть, как лежит в гробе священник. В ночь после смерти отца Савелия карлик Николай Афанасьевич привез разрешение покойного от запрещения, и Савелий был положен в гробу во всем облачении: огромный, длинный, в камилавке. Панихиды в доме его совершались беспрестанно, и какой бы священник, приходя из усердия, ни надевал

лежавшую на аналое ризу и епитрахиль, чтоб отпеть панихиду, дьякон Ахилла тотчас же просил благословения на орарь и, сослужа, усердно молился.

На второй день было готово домовище и, по старому местному обычаю, доселе сохраняющемуся у нас в некоторых местах при положении священников в гроб, началась церемония торжественная и страшная. Собравшееся духовенство со свечами, в траурном облачении, обносило на руках мертвого Савелия три раза вокруг огромного гроба, а Ахилла держал в его мертвой руке дымящееся кадило, и мертвец как бы сам окаждал им свое холодное домовище. Потом усопшего протопопа положили в гроб, и все разошлись, кроме Ахиллы; он оставался здесь один всю ночь с мертвым своим другом, и тут произошло нечто, чего Ахилла не заметил, но что заметили за него другие.

Глава седьмая

Дьякон не ложился спать с самой смерти Савелия, и три бессонные ночи вместе с напряженным вниманием, с которым он беспрестанно обращался к покойнику, довели стальные нервы Ахиллы

до крайнего возбуждения.

В дьяконе замолчали инстинкты и страсти, которыми он наиболее был наклонен работать, и вместо них выступили и резкими чертами обозначились душевные состояния, ему до сих пор не свойственные.

Его вечная легкость и разметанность сменились тяжеловесностью неотвязчивой мысли и глубокою погруженностью в себя. Ахилла не побледнел в лице и не потух во взоре, а напротив, смуглая кожа его озарилась розовым, матовым подцветом. Он видел все с режущею глаз ясностью; слышал каждый звук так, как будто этот звук раздавался в нем самом, и понимал многое такое, о чем доселе никогда не думал.

Он теперь понимал все, чего хотел и о чем заботился покойный Савелий, и назвал усопшего мучеником.

Оставаясь все три ночи один при покойном, дьякон не находил также никакого затруднения беседовать с мертвецом и ожидать ответа из-под парчового воздуха, покрывавшего лицо усопшего.

— Баточка! — взывал полегоньку дьякон, прерывая чтение Евангелия и подходя в ночной тишине к лежавшему пред ним покойнику:

— Встань! А?.. При мне при одном встань! Не можешь, лежишь яко трава.

И Ахилла несколько минут сидел или стоял в молчании и опять начинал монотонное чтение.

На третью и последнюю ночь Ахилла вздремнул на одно короткое мгновение, проснулся за час до полуночи, сменил чтеца и запер за ним дверь.

Надев стихарь, он стал у аналоя и, прикоснувшись к плечу мертвеца, сказал:

— Слушай, баточка мой, это я теперь тебе в последнее зачитаю, — и с этим дьякон начал Евангелие от Иоанна. Он прошел четыре главы и, дочитав до главы пятой, стал на одном стихе и, вздохнув, повторил дважды великое обещание: «Яко грядет час и ныне есть, егда мертвии услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут».

Повторив дважды голосом, Ахилла начал еще мысленно несколько раз кряду повторять это место и не двигался далее.

Чтение над усопшим дело не мудрое; люди, мало-мальски привычные к этому делу, исполняют его без малейшего смущения; но при всем том и здесь, как во всяком деле, чтоб оно шло хорошо, нужно соблюдать некоторые практические приемы. Один из таких приемов заключается в том, чтобы чтец, читая, не засматривал в лицо

мертвеца. Поверье утверждает, что это нарушает его покой; опыт пренебрегавших этим приемом чтецов убеждает, что в глазах начинается какое-то неприятное мреянье: покой, столь нужный в ночном одиночестве, изменяет чтецу, и глаза начинают замечать тихое, едва заметное мелькание, сначала невдалеке вокруг самой книги, потом и дальше и больше, и тогда уж нужно или возобладать над собою и разрушить начало галлюцинации, или она разовьется и породит неотразимые страхи.

Ахилла теперь нимало не соблюдал этого правила, напротив, он даже сожалел, что лик усопшего закутан парчовым воздухом; но, несмотря на все это, ничто, похожее на страх, не смущало дьякона. Он, как выше сказано, все стоял на одном стихе и размышлял: «Ведь он уже теперь услышал глас Сына Божия и ожил… Я его только не вижу, а он здесь».

И в этих размышлениях дьякон не заметил, как прошла ночь и на небе блеснула бледною янтарною чертой заря, последняя заря, осеняющая на земле разрушающийся остаток того, что было слышащим землю свою и разумевающим ее попом Савелием.

Увидя эту зарю, дьякон вздохнул и отошел от

аналоя к гробу, облокотился на обе стенки домовища, так что высокая грудь Савелия пришлась под его грудью, и, осторожно приподняв двумя перстами парчовый воздух, покрывающий лицо покойника, заговорил:

— Батя, батя, где же ныне дух твой? Где твое огне-устое слово? Покинь мне, малоумному, духа твоего!

И Ахилла припал на грудь мертвеца и вдруг вздрогнул и отскочил: ему показалось, что его насквозь что-то перебежало. Он оглянулся по сторонам: все тихо, только отяжелевшие веки его глаз липнут и голову куда-то тянет дремота.

Дьякон отряхнулся, ударил земной поклон и испугался этого звука: ему послышалось, как бы над ним что-то стукнуло, и почудилось, что будто Савелий сидит с закрытым парчою лицом и с Евангелием, которое ему положили в его мертвые руки.

Ахилла не оробел, но смутился и, тихо отодвигаясь от гроба, приподнялся на колени. И что же? По мере того как повергнутый Ахилла восставал, мертвец по той же мере в его глазах медленно ложился в гроб, не поддерживая себя руками, занятыми крестом и Евангелием.

Ахилла вскочил и, махая рукой, прошептал:

— Мир ти! мир! я тебя тревожу!

И с этим словом он было снова взялся за Евангелие и хотел продолжать чтение, но, к удивлению его, книга была закрыта, и он не помнил, где остановился.

Ахилла развернул книгу наудачу и прочел: «В мире бе, и мир его не позна…»

«Чего это я ищу?» — подумал он отуманенною головой и развернул безотчетно книгу в другом месте. Здесь стояло: «И воззрят нань Его же прободоша».

Но в то время как Ахилла хотел перевернуть еще страницу, он замечает, что ему непомерно тягостно и что его держит кто-то за руки.

«А что же мне нужно? и что это такое я отыскиваю?.. Какое зачало? Какой ныне день?» — соображает Ахилла и никак не добьется этого, потому что он восхищен отсюда… В ярко освещенном храме, за престолом, в светлой праздничной ризе и в высокой фиолетовой камилавке стоит Савелий и круглым полным голосом, выпуская как шар каждое слово, читает: «В начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово». — «Что это, Господи! А мне казалось, что умер отец Савелий. Я проспал пир веры!., я пропустил святую заутреню».

Ахилла задрожал и, раскрыв глаза, увидал, что

он действительно спал, что на дворе уже утро; красный огонь погребальных свеч исчезает в лучах восходящего солнца, в комнате душно от нагару, в воздухе несется заунывный благовест, а в двери комнаты громко стучат.

Ахилла торопливо провел сухой рукой по лицу и отпер двери.

— Заснул? — тихо спросил его входящий Бенефактов.

— Воздремал, — ответил дьякон, давая дорогу входившему за отцом Захарией духовенству.

— А я… знаешь… того; я не спал: я сочинял всю ночь надгробное слово, — шепнул дьякону Бенефактов.

— Что же, сочинили?

— Нет; не выходит.

— Ну; это уж так по обыкновению.

— А знаешь ли, может быть, ты бы нечто сказал?

— Полноте, отец Захария, разве я ученый!

— Что же… ведь ты в стихаре… ты право имеешь.

— Да что же в том праве, отец Захария, когда дара и понимания не имею?

— А вы, сударь, возьмите-ка да поусерднее о даре помолитесь, он и придет, — вмешался ше-

потом карлик.

— Помолиться! Нет, друг Николаша, разве ты за меня помолись, а я от печали моей обезумел; мне даже наяву видения снятся.

— Что же, извольте, я помолюсь, — отвечал карлик.

Глава восьмая

Вот весь Старогород сопровождает тело Туберозова в церковь. Обедня и отпевание благодаря Ахилле производили ужасное впечатление; дьякон, что ни начнет говорить, захлебывается, останавливается и заливается слезами. Рыдания его, разносясь в толпе, сообщают всем глубочайшую горесть.

Только во время надгробного слова, сказанного одним из священников, Ахилла смирил скорбь свою и, слушая, тихо плакал в платок; но зато когда он вышел из церкви и увидел те места, где так много лет ходил вместе с Туберозовым, которого теперь несут заключенным в гробе, Ахилла почувствовал необходимость не только рыдать, но вопить и кричать. Дабы дать исход этим рвавшимся из души его воплям, он пел «Святый Бессмертный, помилуй нас», но пел с такой

силой, что слепая столетняя старуха, которую при приближении печального шествия внуки вывели за ворота поклониться гробу, вдруг всплеснула руками и, упав на колени, воскликнула:

— Ох, слышит это, слышит Господь, как Ахилла под самое небо кричит!

Но вот и обведенное рвом и обсаженное ветлами место упокоения — кладбище, по которому часто любил гулять вечерами Туберозов и о порядке которого он немало заботился. Гроб пронесли под перемет темных тесовых ворот; пропета последняя лития, и белые холсты, перекатившись через насыпь отвала, протянулись над темною пропастью могилы. Через секунду раздастся последний «аминь», и гроб опустится в могилу.

Но пред этим еще надлежало произойти чему-то, чего никто не ожидал. Много раз в жизнь свою всех удивлявший Ахилла почувствовал необходимость еще раз удивить старогородцев, и притом удивить совсем в новом роде. Бледный и помертвевший, он протянул руку к одному из державших холст могильщиков и, обратясь умиленными глазами к духовенству, воскликнул:

— Отцы! молю вас… велите повременить немного… я только некое самое малое слово

скажу.

Всхлипывающий Захария торопливо остановил могильщиков и, протянув обе руки к дьякону, благословил его.

Весь облитый слезами, Ахилла обтер бумажным платком покрытый красными пятнами лоб и судорожно пролепетал дрожащими устами: «В мире бе и мир его не позна»... и вдруг, не находя более соответствующих слов, дьякон побагровел и, как бы ловя высохшими глазами звуки, начертанные для него в воздухе, грозно воскликнул: «Но возрят нань его же прободоша», — и с этим он бросил горсть земли на гроб, снял торопливо стихарь и пошел с кладбища.

— Превосходно говорили государь отец дьякон! — прошептал сквозь слезы карлик.

— Се дух Савелиев бе на нем, — ответил ему разоблачавшийся Захария.

Глава девятая

После похорон Туберозова Ахилле оставалось совершить два дела: во-первых, подвергнуться тому, чтоб «иной его препоясал», а во-вторых, умереть, будучи, по словам Савелия, «живым отрицанием смерти». Он непосредственно и

торопливо принялся приближать к себе и то и другое. Освободившись от хлопот за погребальным обедом, Ахилла лег на своем войлоке в сеничном чулане и не подымался.

Прошел день, два и три, Ахилла все лежал и не показывался. Дом отца Туберозова совсем глядел мертвым домом: взойдет яркое солнце и осветит его пустынный двор — мертво; набежат грядой облачка и отразятся в стеклах его окон, словно замогильные тени, и опять ничего.

Наблюдая эту тишь, соседи стали жаловаться, что им даже жутко; а дьякон все не показывался. Стало сомнительно, что с ним такое?

Захария пошел его навещать. Долго кроткий старичок ходил из комнаты в комнату и звал:

— Дьякон, где ты? Послушай, дьякон!

Но дьякон не откликался. Наконец отец Захария приотворил дверь в темный чуланчик.

— Чего вы, отец Захария, так гласно стужаетесь? — отозвался откуда-то из темноты Ахилла.

— Да как, братец мой, чего? Где ты о сю пору находишься?

— Приотворите пошире дверь: я вот тут, в уголушке.

Бенефактов исполнил, что ему говорил Ахилла, и увидел его лежащим на примощенной к

стене дощатой кроватке. На дьяконе была ровная холщовая сорочка с прямым отложным воротником, завязанным по-малороссийски длинною пестрою тесьмой, и широкие тиковые полосатые шаровары.

— Что же ты так это, дьякон? — вопросил его, ища себе места, отец Бенефактов.

— Позвольте, я подвинусь, — отвечал Ахилла, перевалясь на ближайшую к стене доску.

— Что же ты, дьякон?

— Да, вот вам и дьякон…

— Да что ж ты такое?

— Уязвлен, — ответил Ахилла.

— Да чем же ты это уязвлен?

— Смешно вы, отец Захария, спрашиваете: чем? Тем и уязвлен. Кончиной отца протопопа уязвлен.

— Да, ну что ж делать? Ведь это смерть… конечно… она враждебна… всему естеству и помыслам преграда… но неизбежно… неизбежно…

— Вот я этою преградой и уязвлен.

— Ноты… ты того… мужайся… грех… потому воля… определение…

— Ну, когда ж я и определением уязвлен!

— Но что же ты это зарядил: уязвлен, уязвлен! Это, братец, того… это нехорошо.

— Да что же осталось хорошего! — ничего.

— Ну, а если и сам понимаешь, что мало хорошего, так и надо иметь рассудок: закона природы, брат, не обойдешь!

— Да про какой вы тут, отец Захария, про «закон природы»! Ну, а если я и законом природы уязвлен?

— Да что же ты теперь будешь с этим делать?

— Тс! Ах, Царь мой Небесный! Да не докучайте вы мне, пожалуйста, отец Захария, с своими законами! Ничего я не буду делать!

— Однако же, неужто так и будешь теперь все время лежать?

Дьякон промолчал, но потом, вздохнув, начал тихо:

— Я еще очень скорблю, а вы сразу со мной заговорили. О каком вы тут деле хотите со мной разговаривать?

— Да поправляйся скорей, вот что, потому что ведь хоть и в скорбех, а по слабости и есть и пить будем.

— Да это-то что, что про это и говорить? Есть-то и пить мы будем, а вот в этом-то и причина!

— Что, что такое? Какая причина?

— А вот та причина, что мы теперь, значит, станем об этом, что было, мало-помалу позабывать,

и вдруг совсем, что ли, про него позабудем?

— А что же делать?

— А то делать, что я с моим характером никак на это не согласен, чтоб его позабыть.

— Все, братец, так; а придет время, позабудешь.

— Отец Захария! Пожалуйста, вы мне этого не говорите, потому что вы знаете, какой я в огорчении дикий.

— Ну вот еще! Нет, уж ты, брат, от грубостей воздерживайся.

— Да, воздерживайся! А кто меня от чего-нибудь теперь будет воздерживать?

— Да если хочешь, я тебя удержу!

— Полноте, отец Захария!

— Да что ты такое? Разумеется, удержу!

— Полноте, пожалуйста!

— Да отчего же полноте?

— Да так; потому что зачем неправду говорить: ни от чего вы меня не можете удержать.

— Ну, это ты, дьякон, даже просто нахал, — отвечал, обидясь, Захария.

— Да ничуть не нахал, потому что я и вас тоже люблю, но как вы можете меня воздержать, когда вы характера столь слабого, что вам даже дьячок Сергей грубит.

— Грубит! Мне все грубят! А ты больше ничего как глупо рассуждаешь!

— А вот удержите же меня теперь от этого, чтоб я так не рассуждал.

— Не хочу я тебя удерживать, да… не хочу, не хочу за то, что я пришел тебя навестить, а ты вышел грубиян… Прощай!

— Да позвольте, отец Захария! Я совсем не в том смысле…

— Нет, нет; пошел прочь: ты меня огорчил.

— Ну, Бог с вами…

— Да, ты грубиян, и очень большой грубиян.

И Захарий ушел, оставив дьякона, в надежде, что авось тому надоест лежать и он сам выйдет на свет; но прошла еще целая неделя, а Ахилла не показывался.

— Позабудут, — твердил он, — непременно все они его позабудут! — И эта мысль занимала его неотвязно, и он сильнейшим образом задумывался, как бы этому горю помочь.

Чтобы вызвать Ахиллу из его мурьи, нужно было особое событие.

Проснувшись однажды около шести часов утра, Ахилла смотрел, как сквозь узенькое окошечко над дверями в чуланчик пронизывались лучи восходящего солнца, как вдруг к нему вбежал

впопыхах отец Захария и объявил, что к ним на место отца Туберозова назначен новый протопоп.

Ахилла побледнел от досады.

— Что же ты не рад, что ли, этому? — вопросил Захария.

— А мне какое до этого дело?

— Как какое до этого дело? А ты спроси, кто назначен-то?

— Да разве мне не все равно?

— Академик!

— Ну вот, академик! Вишь чему вы обрадовались! Нет, ей-Богу, вы еще суетны, отец Захария.

— Чего ты «суетный»? Академик[90] — значит умный.

— Ну вот, опять: умный! Да пусть себе умный: нетто мы с вами от этого поумнеем?

— Что же это, — стало быть, ученого духовенства не уважаешь?

— А разве ему не все равно, уважаю я его или не уважаю? Ему от этого ничего, а я, может быть, совсем о чем важнее думаю.

— О чем; позволь спросить, о чем?

— О вчерашнем.

---

[90] Примечания: 90

Здесь: священник, окончивший духовную академию — высшее духовное учебное заведение.

— Вот ты опять грубишь!

— Да ничего я вам не грублю: вы думаете, как бы нового встретить, а я — как бы старого не забыть. Что вы тут за грубость находите?

— Ну, с тобой после этого говорить не стоит, — решил Захария и с неудовольствием вышел, а Ахилла тотчас же встал, умылся и потек к исправнику с просьбой помочь ему продать как можно скорее его дом и пару его аргамаков.

— На что это тебе? — спрашивал Порохонцев.

— Не любопытствуй, — отвечал Ахилла, — только после, когда сделаю, тогда все и увидишь.

— Хоть скажи, в каком роде?

— В таком роде, чтобы про отца Савелия не скоро позабыли, вот в каком роде.

— Пусть отец Захария о нем чаще в слове церковном напоминает.

— Что отец Захария может напоминать? Нет, он нынче уже науки любит, а я… я по-старому человека люблю.

На этом кончились переговоры, и имущество Ахиллы, согласно его желанию, было продано.

Оставалось смотреть, что он теперь станет делать.

Дьякон получил за все ему принадлежавшее двести рублей; сунул оба билетика в карман

нанкового подрясника и объявил, что идет в губернию. Он уже отрубил себе от тонкой жердины дорожную дубинку, связал маленький узелок, купил на базаре две большие лепешки с луком и, засунув их в тот же карман, где лежали у него деньги, совсем готов был выступить в поход, как вдруг приехал новый протопоп Иродион Грацианский. Это был благообразный человек неопределенного возраста. По его наружному виду ему с одинаковым удобством можно было дать двадцать шесть лет, как и сорок.

Ахилла подошел к этому своему новому настоятелю и, приняв от него благословение, хотел поцеловать ему руку, но когда тот отдернул эту руку и предложил дружески поцеловаться, то Ахилла и поцеловался.

— Видишь, какой добрый! — говорил дьякону, провожая его через час, Захария.

— В чем же вы так скоро это, отец Захария, заключаете его доброcть? — отвечал небрежно Ахилла.

— Как же? даже не позволил тебе руки поцеловать, а устный поцелуй… это доброcть.

— А по-моему, это больше ничего как самая пустая поважность, — отвечал Ахилла.

Теперь он уже ожесточенно ревновал ново-

го протопопа к месту Савелия и придирался к нему, стараясь находить в нем все нехорошее, чтоб он никак не мог сравниться с покойным Туберозовым. Чем более новый протопоп всем старогородцам нравился, тем Ахилла ожесточеннее хотел его ненавидеть.

Глава десятая

На другой день новый протопоп служил обедню и произнес слово, в котором расточал похвалы своему предшественнику и говорил о необходимости и обязанности поминать и чтить его заслуги.

Ахилла и Захария слушали эту проповедь из алтаря, приелоня уши свои к завесе врат. Ахиллу возмущало, что новый протопоп так же говорит и что его слушают с неменьшим вниманием, чем Туберозова… и что он, наконец, заступается за Туберозова и поучает ценить и помнить его заслуги.

— К чему это? к чему это ему? — негодовал, идучи с Захарией из церкви, дьякон.

Он уже жестоко ненавидел нового протопопа за его успех в проповеди и лютовал на него, как ревнивая женщина. Он сам чувствовал свою

несправедливость, но не мог с собой совладать, и когда Захария, взявшись устыжать его, сказал, что Грацианский во всех своих поступках благороден, Ахилла нетерпеливо переломил бывшую в его руках палочку и проговорил:

— Вот это-то самое мне и противно-с!

— Да что же, разве лучше, если б он был хуже?

— Лучше, лучше… разумеется, лучше! — перебил нетерпеливо Ахилла. — Что вы, разве не знаете, что не согрешивый не покается!

Захария только махнул рукой.

Поход Ахиллы в губернский город все день ото дня откладывался: дьякон присутствовал при поверке ризницы, книг и церковных сумм, и все это молча и негодуя Бог весть на что. На его горе, ему не к чему даже было придраться. Но вот Грацианский заговорил о необходимости поставить над могилой Туберозова маленький памятник.

Ахилла так и привскочил.

— Это за что же ему «маленький» памятник, а не большой? Он у нас большое время здесь жил и свои заслуги почище другого кого оставил.

Грацианский посмотрел на Ахиллу с неудовольствием и, не отвечая ему, предложил подписку на сооружение Савелию памятника.

Подписка принесла тридцать два рубля.

Дьякон не захотел ничего подписать и резко отказался от складчины.

— Отчего же? Отчего ты не хочешь? — спрашивал его Бенефактов.

— Оттого, что суетно это, — отвечал Ахилла.

— А в чем вы видите эту суетность? — сухо вставил Грацианский.

— Да как же можно такому человеку от всего мира в тридцать два рубля памятник ставить? Этакий памятник все равно что за грош пистолет. Нет-с; меня от этой обиды ему увольте; я не подпишусь.

Вечером отец Захария, совершая обычную прогулку, зашел к Ахилле и сказал ему:

— А ты, дьякон, смотри… ты несколько вооружаешь против себя отца протопопа.

— Что?., тсс! Ах, говорите вы, пожалуйста, явственно. Что такое; чем я его вооружаю?

— Непочтением, непочтением, непокорством, вот чем: на памятник не согласился, ушел — руки не поцеловал.

— Да ведь он не желает, чтоб я у него руку целовал?

— Не желает дома, а то на службе… Это, братец, совсем другое на службе…

— Ах! вы этак меня с своим новым протопопом

совсем с толку собьете! Там так, а тут этак: да мне всех этих ваших артикулов всю жизнь не припомнить, и я лучше буду один порядок держать.

Дьякон пошел к новому протопопу проситься на две недели в губернский город и насильно поцеловал у него руку, сказав:

— Вы меня извините; а то я иначе путаюсь.

И вот Ахилла на воле, на пути, в который так нетерпеливо снаряжался с целями самого грандиозного свойства: он, еще лежа в своем чулане, прежде всех задумал поставить отцу Туберозову памятник, но не в тридцать рублей, а на все свои деньги, на все двести рублей, которые выручил за все свое имущество, приобретенное трудами целой жизни. Ахилла считал эти деньги вполне достаточными для того, чтобы возвести монумент на диво временам и народам, монумент столь огромный, что идеальный план его не умещался даже в его голове.

Глава одиннадцатая

Октябрьская ночь была холодна и сумрачна; по небу быстро неслись облака, и ветер шумел голыми ветвями придорожных ракит. Ахилла, все не останавливаясь, шел, и когда засерел осенний

рассвет, он был уже на половине дороги и смело мог дать себе роздых.

Он свернул с дороги к большому омету соломы, прилег за ним от ветра, закрыл полой голову и заснул. День был такой же, как ночь: холодное солнце то выглянет и заблещет, то снова занавесится тучами; ветер то свирепеет и рвет, то шипит змеей по земле. Пола, которою дьякон укутал свою голову, давно была сорвана с его головы и билась по ветру, а солнце, выскакивая из-за облаков, прямо освещало его богатырское лицо. Дьякон все спал. День уже совсем обогрелся, и в вытоптанном жнивье, в котором лежал Ахилла, уткнувшись головой в солому омета, показались последние запоздалые жильцы умершей нивы: на сапог Ахиллы всползла жесткая чернокожая двухвостка, а по его бороде, едва плетясь и вздрагивая, поднялся полуокоченевший шмель. Бедное насекомое, обретя тепло и приют в густой бороде дьякона, начало копошиться и разбудило его: Ахилла громко фыркнул, потянулся, вскочил, забросил за плечи свой узел и, выпив на постоялом дворе за грош квасу, пошел к городу.

К сумеркам он отшагал и остальные тридцать пять верст и, увидев кресты городских церквей, сел на отвале придорожной канавы и впервые

с выхода своего задумал попитаться: он достал перенедельничавшие у него в кармане лепешки и, сложив их одна с другою исподними корками, начал уплетать с сугубым аппетитом, но все-таки не доел их и, сунув опять в тот же карман, пошел в город. Ночевал он у знакомых семинаристов, а на другой день рано утром пришел к Туганову, велел о себе доложить и сел на коник в передней.

Прошел час и другой, Ахиллу не звали. Он уже не раз спрашивал часто пробегавшего мимо казачка:

— Дворецкий! что ж: когда меня позовут?

Но дворецкий даже и не считал нужным отвечать мужиковатому дьякону в пыльной нанковой рясе.

Не отдохнув еще как должно от вчерашнего перехода, Ахилла начал дремать, но как дрема была теперь для него не у места, то он задумал рассеяться едою, к чему недоеденные вчера куски лепешки представляли полную возможность. Но только что он достал из подрясника остаток этих лепешек и хотел обдуть налипший к ним сор, как вдруг остолбенел и потом вскочил как ужаленный и бросился без всякого доклада по незнакомым ему роскошным покоям дома. По случаю он попал прямо в кабинет предводителя

и, столкнувшись с ним самим лицом к лицу, воскликнул:

— Отцы! кто в Бога верует, пособите мне! Посмотрите, какое со мною несчастие!

— Что, что такое с тобою? — вопросил удивленный Туганов.

— Пармен Семеныч! что я, злодей, сделал! — вопиял потерявшийся от ужаса Ахилла.

— Что ты, убил кого, что ли?

— Нет; я бежал к вам пешком, чтобы вы мне хорошо посоветовали, потому что я хочу протопопу памятник ставить за двести рублей.

— Ну так что ж? Или у тебя отняли деньги?

— Нет, не отняли, а хуже.

— Ты их потерял?

— Нет, я их съел!

И Ахилла в отчаянии поднес к глазам Туганова исподнюю корку недоеденной лепешки, к которой словно припечен был один уцелевший уголок сторублевой бумажки.

Туганов тронул своими тонкими ногтями этот уголок и, отделив его от корки, увидал, что под ним ниже еще плотнее влип и присох такой же кусок другого билета.

Предводитель не выдержал и рассмеялся.

— Да; вот, как видите, все съел, — утверждал

дьякон, кусая в растерянности ноготь на своем среднем пальце, и вдруг, повернувшись, сказал:

— Ну-с, затем прошу прощения, что обеспокоил, прощайте!

Туганов вступился в его спасение.

— Полно, братец, приходить в отчаяние, — сказал он, — все это ничего не значит; мне в банке обменяют твои бумажки, а ты бери у меня другие и строй памятник попу Савелию, я его любил.

И с этим он подал Ахилле два новые сторублевые билета, а его объедки прибрал для приобщения к фамильным антикам.

Эта беда была поправлена, но начиналась другая: надо было сочинить такой памятник, какого хотел, но не мог никак сообразить Ахилла.

Он и эту беду поверг на воззрение Туганова.

— Я хочу, Пармен Семеныч, — говорил он, — чтобы памятник за мои деньги был как можно крепкий и обширный.

— Пирамиду закажи из гранита.

Туганов велел подать себе из шкафа одну папку и, достав оттуда рисунок египетской пирамиды, сказал:

— Вот такую пирамиду!

Мысль эта Ахилле страшно понравилась, но он усумнился, хватит ли у него денег на исполнение?

Он получил в ответ, что если двухсот рублей не хватит, то Туганов, уважая старика Туберозова, желает сам приплатить все, что недостанет.

— А ты, — молвил он, — будешь строитель, и строй по своему усмотрению, что хочешь!

— Вот уж это… — заговорил было, растерявшись, Ахилла, но вместо дальнейших слов ударил поклон в землю и, неожиданно схватив руку Туганова, поцеловал ее.

Туганов был тронут: назвал Ахиллу «добрым мужиком» и предложил ему поместиться у него на мезонине. Дьякон немедленно перешел от семинаристов на двор к предводителю и начал хлопотать о заказе камня. Он прежде всего старался быть крайне осторожным.

— Что такое? — говорил он себе, — ведь и вправду точно, куда я стремлюсь, туда следом за мной и все беспорядки.

И он молил Бога, хоть теперь, хоть раз в жизни, избавить его от всех увлечений и сподобить его исполнить предпринимаемое дело вполне серьезно.

Глава двенадцатая

Дьякон обошел всех известных в городе монументщиков и остановился на самом худшем, на русском жерновщике, каком-то Попыгине. Два монументщика из немцев рассердили дьякона тем, что все желали знать, «позволит ли масштаб» построить столь большую пирамиду, какую он им заказывал, отмеряя расстояние попросту шагами, а вышину подъемом руки.

Жерновщик Попыгин понял его короче: они все размерили шагами и косыми саженями, и уговорились они тоже на слове, ударили по рукам, и пирамида была заказана и исполнялась. Ахилла смотрел, как двигали, ворочали и тесали огромные камни, и был в восторге от их больших размеров.

— Вот этак-то лучше без мачтаба, — говорил он, — как хотим, так и строим.

Русский мастер Попыгин его в этом поддерживал.

Туганов выслушивал рапорты Ахиллы о движении работ и ни о чем с ним не спорил, ни в чем не противоречил. Он тешил этого богатыря памятником, как огорченного ребенка тешат

игрушкой.

Через неделю и пирамида и надписание были совсем готовы, и дьякон пришел просить Туганова взглянуть на чудесное произведение его творческой фантазии. Это была широчайшая расплюснутая пирамида, с крестом наверху и с большими вызолоченными деревянными херувимами по углам.

Туганов осмотрел монумент и сказал: «живет»; а дьякон был просто восхищен. Пирамиду разобрали и разобранную повезли на девяти санях в Старгород. На десятых санях сзади обоза ехал сам Ахилла, сидя на корточках, в засаленном тулупе, между четырех деревянных вызолоченных и обернутых рогожей херувимов. Он был в восторге от великолепия памятника, но к его восторгу примешивалось некоторое беспокойное чувство: он боялся, как бы кто не стал критиковать его пирамиды, которая была для него заветным произведением его ума, вкуса, преданности и любви к усопшему Савелию. Чтоб избежать критиканов, Ахилла решил довершить пышное сооружение как можно секретнее и, прибыв в Старгород ночью, появился только одному Захарии и ему рассказал все трудности, преодоленные им при исполнении пирамиды.

Но Ахилле не удалось собрать монумент в секрете. Разложенные на подводах части пирамиды Савелия на следующее же утро сделались предметом всеобщего внимания. Собравшиеся кучи горожан были особенно заинтересованы сверкавшими из рогож руками и крыльями золоченых херувимов; эти простые люди горячо спорили и не могли решить, какого свойства эти херувимы: серебряные они или позолоченные?

— Серебряные и позолоченные, а в середке бриллиантами наколоченные, — разъяснил им Ахилла, в это же самое время расталкивая сограждан, толпившихся вокруг собирателей пирамиды.

Докучали Ахилле и граждане высших сфер. Эти, как ему показалось, даже прямо нарочно пришли с злобною целию критиковать.

— Это просто я не знаю как и назвать, что это такое! Все, все, все как есть нехорошо. Ах ты Боже мой! Можно ли так человека огорчать? Ну, если не нравится тебе, нехорошо, — ну, потерпи, помолчи, уважь… ведь я же старался… Тьфу! Что за поганый народ — люди!

И не самолюбивый и не честолюбивый Ахилла, постоянно раздражаясь, дошел до того, что стал нестерпим: он не мог выносить ни одного слова о

Туберозове. Самые похвалы покойнику приводили его в азарт: он находил, что без них лучше.

— Что хвалить! — говорил он Бенефактову. — Вы, отец Захария, воля ваша, легкомысленник; вы вспоминаете про него словно про молоко в коровий след.

— Да я разве что худое про него говорю?

— Да не надо ничего про него говорить, теперь не такое время, чтобы про сильно верующих спорить.

— Ишь ты цензор какой! Значит, его и похвалить нельзя?

— Да что его хвалить? Он не цыганская лошадь, чтоб его нахваливать.

— Ты совершенно, совершенно несуразный человек, — говорил Захария, — прежде ты был гораздо лучше.

С другими Ахилла был еще резче, чем с Бенефактовым, и, как все, признав раздражительность Ахиллы, стали избегать его, он вдруг насел на одну мысль: о тщете всего земного и о смерти.

— Как вы хотите-с, — рассуждал он, — а это тоже не пустое дело-с вдруг взять и умереть и совсем Бог знает где, совсем в другом месте очутиться.

— Да тебе рано об этом думать, ты еще не скоро умрешь, — утешал его Захария.

— Почему вы это, отец Захария, предусматриваете?

— По сложению твоему… и уши у тебя какие… крепкие.

— Да по сложению-то и по ушам мне и самому, разумеется, пожалуй, ввек не умереть, а долбней бы добивать меня надо; но это… знаете, тоже зависит йот фантазии, и потому человек должен об этом думать.

И, наконец, дьякон впал взаправду в тягостнейшую ипохондрию, которую в нем стали и замечать, и заговорили, что он на себя смерть зовет.

С этих пор каморочка завещанного на школу протопопского дома, где до времени ютился философствующий

Ахилла, сделалась для одних предметом участливого или любопытного внимания, а для других местом таинственного страха.

Протоиерей Грацианский, навестив дьякона, упрекал его за добровольное изгнание и убеждал, что такое удаление от людей неблагоразумно, но Ахилла спокойно отвечал:

— Благоразумного уже поздно искать: он похоронен.

Лекарю Пуговкину, которого дьякон некогда

окунал и который все-таки оставался его приятелем и по дружбе пришел его утешить и уверять, что он болен и что его надо лечить, Ахилла вымолвил:

— Это ты, друг, правду говоришь: я всеми моими мнениями вокруг рассеян… Размышляю — не знаю о чем, и все… меня… знаешь, мучит (Ахилла поморщился и докончил шепотом) тоска!

— Ну да, у тебя очень возвышенная чувствительность.

— Как ты назвал?

— У тебя возвышенная чувствительность.

— Вот именно чувствительность! Все меня, знаешь, давит, и в груди как кол, и я ночью сажусь и долговременно не знаю, о чем сокрушаюсь и плачу.

Приехала навестить его духовная дочь Туберозова, помещица Серболова. Ахилла ей обрадовался. Гостья спросила его:

— Чем же это вы, отец дьякон, разболелись? Что с вами такое сделалось?

— А у меня, сударыня, сделалась возвышенная чувствительность: после отца протопопа все тоска и слезы.

— У вас возвышенные чувства, отец дьякон, — отвечала дама.

— Да… грудь спирает, и все так кажется, что жить больше незачем.

— Откуда вы это взяли, что вам жить не надо?

— А пришли ко мне три сестрицы: уныние, скука и печаль, и все это мне открыли. Прощайте, милостивая государыня, много ценю, что меня посетили.

И дьякон выпроводил ее, как выпроваживал всех других, и остался опять со своими «тремя сестрицами» и возвышенною чувствительностью.

Но вдруг произошло событие, по случаю которого Ахилла встрепенулся: событие это была смерть карлика Николая Афанасьевича, завещавшего, чтоб его хоронили отец Захария и Ахилла, которым он оставил за то по пяти рублей денег да по две пары чулок и по ночному бумажному колпачку своего вязанья.

Возвратясь с похорон карлика, дьякон не только как бы повеселел, а даже расшутился.

— Видите, братцы мои, как она по ряду всю нашу дюжину обирать зачала, — говорил он, — вот уже и Николай Афанасьевич помер: теперь скоро и наша с отцом Захарией придет очередь.

И Ахилла не ошибался. Когда он ждал ее встречи, она, милостивая и неотразимая, стояла уже

за его плечами и приосеняла его прохладным крылом своим.

Хроника должна тщательно сберечь последние дела богатыря Ахиллы — дела, вполне его достойные и пособившие ему переправиться на ту сторону моря житейского в его особенном вкусе.

Глава тринадцатая

Старгород оживал ввиду приближения весны: река собиралась вскрыться, синела и пучилась; по обоим берегам ее росли буяны кулей с хлебом и ладились широкие барки.

Из голодавших зимой деревень ежедневно прибывали в город толпы оборванных мужиков в лаптях и белых войлочных колпачках. Они набивались в бурлаки из одних податей и из хлеба и были очень счастливы, если их брали сплавлять в далекие страны тот самый хлеб, которого недоставало у них дома. Но и этого счастья, разумеется, удостоивались не все. Предложение труда далеко превышало запрос на него. Об этих излишних людях никто не считал себя обязанным заботиться, нанятые были другое дело — о них заботились. Их подпускали к пище при приставниках, которые отгоняли наголодавшихся

от котла, когда они наедались в меру. До отвала наголодавшимся нельзя давать есть, эти, как их называют, «жадники», объедаются, «не просиживают зобов» и мрут от обжорства. Недавно два такие голодные «жад-ника» — родные братья, рослые ребята с Оки, сидя друг против друга за котлом каши, оба вдруг покатились и умерли. Лекарь вскрыл трупы и, ища в желудке отравы, нашел одну кашу, кашей набит растянутый донельзя желудок, кашей набит был пищевод, и во рту и в гортани везде лежала все та же самая съеденная братьями каша. Грех этой кончины падал на приставника, который не успел вовремя отогнать от пищи наголодавшихся братьев — «жадников». Недосмотр был так велик, что в другой артели в тот же день за обедом посинели и упали два другие человека, эти не умерли только благодаря тому, что случился опытный человек, видавший уже такие виды. Объевшихся разделили донага и держали животами пред жарким костром. Товарищи наблюдали, как из вытапливаемых бурлаков валил пар, и они уцелели и пошли на выкормку.

Все это сцены, известные меж теми, что попадали с мякины на хлеб; но рядом с этим шли и другие, тоже, впрочем, довольно известные

сцены, разыгрываемые оставшимися без хлеба: ночами, по глухим и уединенным улицам города, вдруг ни с того ни с сего начали показываться черти. Один такой внезапный черт, в полной адской форме, с рогами и когтями, дочиста обобрал двух баб, пьяного кузнеца и совершенно трезвого приказного, ходившего на ночное свидание с купеческою дочерью. Ограбленные уверяли, что у черта, которому они попались в лапы, были бычьи рога и когти, совершенно как железные крючья, какими бурлаки, нагружая барки, шпорят кули. По городу никто не стал ходить чуть догорала вечерняя зорька, но черт все-таки таскался, его видели часовые, стоявшие у соляных магазинов и у острога. Он даже был так дерзок, что подходил к солдатам ближе, чем на выстрел, и жалостно просил у них корочки хлеба. Посланы были ночные патрули, и один из них, под командой самого исправника, давно известного нам Воина Порохонцева, действительно встретил черта, даже окликнул его, но, получив от него в ответ «свой», оробел и бросился бежать. Ротмистр, не полагаясь более на средства полиции, отнесся к капитану Повердовне и просил содействия его инвалидной команды к безотлагательной поимке тревожащего город

черта; но капитан затруднялся вступить в дело с нечистым духом, не испросив на то особого разрешения у своего начальства, а черт между тем все расхаживал и, наконец, нагнал на город совершенный ужас. В дело вмешался протоиерей Грацианский: он обратился к народу с речью о суеверии, в которой уверял, что таких чертей, которые снимают платки и шинели, вовсе нет и что бродящий ночами по городу черт есть, всеконечно, не черт, а какой-нибудь ленивый бездельник, находящий, что таким образом, пугая людей в костюме черта, ему удобнее грабить. На протопопа возгорелось сильное негодование. Уставщик раскольничьего молитвенного дома изъяснил, что в этом заключается ересь новой церкви, и без всякого труда приобщил к своей секте несколько овец из соборного стада. Черт отмстил Грацианскому за его отрицание еще и иным способом: на другой же день после этой проповеди на потолке, в сенях протопопского дома, заметили следы грязных сапогов. Разумеется, это всех удивило и перепугало: кто бы это мог ходить по потолку кверху ногами? Решено было, что этого никто иной не мог сделать, как черт, и протопоп был бессилен разубедить в этом даже собственную жену. Вопреки его увещаниям,

отважный демон пользовался полным почетом: его никто не решался гневать, но и никто зато после сумерек не выходил на улицу.

Однако черт пересолил, и ему за то пришлось очень плохо; на улицах ему не стало попадаться ровно никакой поживы. И вот вслед за сим началось похищение медных крестов, складней и лампад на кладбище, где был погребен под пирамидой отец Савелий.

Город, давно напуганный разными проделками черта, без всяких рассуждений отнес и это святотатство к его же вражеским проказам.

Осматривавшие кражу набрели, между прочим, и на повреждения, произведенные на памятнике Савелия: крест и вызолоченная главка, венчавшие пирамиду, были сильно помяты ломом и расшатаны, но все еще держались на крепко заклепанном стержне. Зато один из золоченых херувимов был сорван, безжалостно расколот топором и с пренебрежением брошен, как вещь, не имеющая никакой ходячей ценности.

Извещенный об этом Ахилла осмотрел растревоженный памятник и сказал:

— Ну, будь ты сам Вельзевул[91], а уж тебе это

---

[91] Примечания: 91
Сатана.

даром не пройдет.

Глава четырнадцатая

В следующую за сим ночь, в одиннадцатом часу, дьякон, не говоря никому ни слова, тихо вышел из дому и побрел на кладбище. Он имел в руке длинный шест и крепкую пеньковую петлю.

Никого не встретив и никем не замеченный, Ахилла дошел до погоста в начале двенадцатого часа. Он посмотрел на ворота; они заперты и слегка постукивают, колеблемые свежим весенним ветром. Черт, очевидно, ходит не в эти ворота, а у него должна быть другая большая дорога.

Ахилла взял в сторону и попробовал шестом рыхлый снег, наполнявший ров, которым окопано кладбище.

Палка, проткнув легкий ледяной налет, сразу юркнула и ушла до половины. Канава была глубиной аршина два с половиной, а с другой стороны этой канавы шел обмерзший и осклизший глинистый отвал.

Ахилла воткнул шест покрепче, оперся на него и, взвившись змеем, перелетел на другую сторону окопа. Эта воздушная переправа совершена была Ахиллой благополучно, но самый шест, на

котором он сделал свой гигантский скачок, не выдержал тяжести его массивного тела и переломился в ту самую минуту, когда ноги дьякона только что стали на перевале. Ахилла над этим не задумался; он надеялся найти на кладбище что-нибудь другое, что с таким же точно удобством сослужило бы ему службу при обратной переправе; да и притом его вдруг охватило то чувство, которое так легко овладевает человеком ночью на кладбище. Страшно не страшно, а на душе как-то строго, и все пять чувств настораживаются остро и проницательно. Ахилла широко вдохнул в себя большую струю воздуха, снял с головы черный суконный колпачок и, тряхнув седыми кудрями, с удовольствием посмотрел, как луна своим серебряным светом заливает «Божию ниву». На душе его стало грустно и в то же время бодро; он вспомнил старые годы своей минувшей удали и, взглянув на луну, послал ей шутливый привет:

— Здравствуй, казацкое солнышко!

Тишь, беспробудность, настоящее место упокоения! Но вот что-то ухнуло, словно вздох… Нет, это ничего особенного, это снег оседает. И Ахилла стал смотреть, как почерневший снег точно весь гнется и волнуется. Это обман зрения; это

по лунному небу плывут, теснясь, мелкие тучки, и от них на землю падает беглая тень. Дьякон прошел прямо к могиле Савелия и сел на нее, прислонясь за одного из херувимов. Тишь, ничем не нарушимая, только тени все беззвучно бегут и бегут, и нет им конца.

На дьякона стал налегать сон; он поплотней прислонился к пирамиде и задремал, но ненадолго; ему вдруг почудилось, как будто кто-то громко топнул; Ахилла открыл глаза: все было тихо, только небо изменилось; луна побледнела, и по серой пирамиде Савелия ползла одна длинная и широкая тень. Тучилось и пахло утром. Ахилла встал на ноги, и в эту минуту ему опять показалось, что по кладбищу кто-то ходит.

Дьякон обошел пирамиду: никого нет.

Есть как будто что-то похожее на недавние следы, но кто теперь отличит свежий след от вчерашнего, когда снег весь взялся жидким киселем и нога делает в нем почти бесформенную яму. В городе прокричали утренние петухи. Нет, верно, черта сегодня не будет…

Ахилла побрел назад к тому месту, где он перепрыгнул на кладбище. Без всякого затруднения нашел он этот лаз и без задумчивости взялся рукой за торчащий из канавы длинный шест, но

вспомнил, что он свой шест переломил… откуда же опять взялся целый шест?

«Диковина!» — подумал дьякон, и, удостоверясь, что шест ему не мерещится, а действительно стремит из канавы, он уже готов был на нем прыгнуть, как вдруг сзади через плечи на грудь его пали две огромные лапы, покрытые лохматою черною шерстью, с огромными железными когтями.

Черт!

Глава пятнадцатая

Ахилла быстро принагнулся в коленах и, подобравшись таким приемом под наседавшего на него черта, схватил его за лапы и дернул за них так сильно, что подбородок черта звонко ляскнул о маковку дьякона и так и прилип к ней. Не ожидавший такого исхода, черт отчаянно закопошился, но скоро, поняв тщету своих усилий, стих и, глухо застонав, повис за спиной у дьякона. Он не только не мог вырваться, но не мог даже произнести ни одного слова, потому что челюсти его были точно прессом прижаты к макушке Ахиллы. Все движения, какие черт мог делать, заключались в дрыганье ногами, но зато

ими демон воспользовался с адским коварством.

Ахилла, держа на себе черта с такою же легкостью, с какою здоровый мужик несет сноп гороху, сделал несколько шагов назад на кладбище и, разбежавшись, прыгнул через канаву, но лукавый черт воспользовался этим мгновением и ловко обвил своими ногами разметанные по воздуху ноги дьякона в тот самый момент, когда оба они были над канавой. Неожиданно опутанный Ахилла потерял баланс и рухнул вместе с своею ношей в холодную студень канавы.

От страшного холода он чуть было не разжал рук и не выпустил черта, но одолел себя и стал искать других средств к спасению. Но, увы! средств таких не было; гладкие края канавы были покрыты ледянистою корой, и выкарабкаться по ним без помощи рук было невозможно, а освободить руки значило упустить черта. Ахилла этого не хотел. Он попробовал кричать, но его или никто не слыхал, или кто и слышал, тот только плотнее запирался, дескать: «кого-то опять черт дерет».

Дьякон понял, что он не может надеяться ни на какую помощь от запуганного населения, но не выпускал черта и дрог с ним в канаве. Оба они окоченели и, может быть, оба здесь умерли бы, если б их не выручил случай.

Ранним утром к городской пристани тянулся обоз со спиртом. Проходя дорогой мимо кладбища, мужики заметили в канаве какую-то необыкновенную группу и остановились, но, разглядев в ней синее лицо человека, над которым сзади возвышалась рогатая морда черта, бросились прочь. Застывший Ахилла, собрав все силы и позвав мужиков, велел им смотреть за чертом, а сам вытащил из канавы руку и перекрестился.

— Это, ребята, крещеный! — крикнули мужики и, вытащив дьякона с чертом из канавы, всунули в утор одной бочки соломинку и присадили к ней окоченелого Ахиллу, а черта бросили на передок и поехали в город.

Потянув немножко спирту, дьякон вздрогнул и повалился в сани. Состояние его было ужасное: он весь был мокр, синь, как котел, и от дрожи едва переводил дыхание. Черт совсем лежал мерзлою кочерыжкой; так его, окоченелого, и привезли в город, где дьякон дал знак остановиться пред присутственными местами.

Здесь Ахилла снял черта с саней и, велев его внести в канцелярию, послал за исправником, а сам, спросив у сторожа сухую рубашку и солдатскую шинель, переоделся и лег на диване.

Город, несмотря на ранний час утра, был уже

взволнован новостию, и густая толпа народа, как море вокруг скалы, билась около присутственных мест, где жил в казенной квартире сам ротмистр Порохонцев. Народ, шумя, напирал и ломился на крыльцо, желая видеть и черта, который расколол херувима, да и дьякона, совершившего поимкой этого черта до сих пор никому не удавшийся подвиг. Сквозь эту толпу, несмотря на свой сан и значение, с трудом могли пробираться самые влиятельные лица города, как-то: протоиерей Грацианский, отец Захария и капитан Повердовня, да и то они пробились лишь потому, что толпа считала присутствие священников при расправе с чертом религиозною необходимостью, а капитан Повердовня протеснился с помощью сабельного эфеса, которым он храбро давал зуботычины направо и налево.

Этот офицер теперь тоже здесь был чрезвычайно необходим, и притом со всею своею храбростию, потому что городу угрожал бунт.

Глава шестнадцатая

Пока внизу люди кипели и волновались вокруг дома, скрывшего необычайное явление, не менее суеты происходило и в самом доме. Исправник,

ротмистр Порохонцев, выскочил в канцелярию в спальных бумазейных панталонах и фланелевой куртке и увидал, что там, скорчась в комочек на полу, действительно сидит черт с рогами и когтями, а против него на просительском диване лежит и дрожит огромная масса, покрытая поверх солдатской шинели еще двумя бараньими шубами: это был дьякон.

Над чертом в различных позах стояла вся старогородская аристократия, но лица не выражали ни малейшего страха от близости демона. Бояться было и нечего: всякий мог видеть, что этот черт был что-то жалкое, дрожащее от холода и обороченное кое-как в ветхие лохмотья старой войлочной бурки, подаренной когда-то, по совершенной ее негодности, дьяконом Ахиллой комиссару Данилке. На голове черта, покрытой тою же буркой, торчали скверно и небрежно привязанные грязною бечевкой коровьи рога, а у рук, обмотанных обрывками вывернутой овчины, мотались два обыкновенные железные крюка, которыми поднимают кули. А что всего страннее, так это то, что один из солдатиков, запустив черту за пазуху свою руку, вытащил оттуда на шнурке старый медный крест с давленною надписью: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его».

— Я вам говорил, что это обман, — заметил протоиерей Грацианский.

— Да, да; по костюму совершенно черт, а по образку совершенно не черт, — поддержал его Захария и, тотчас же подскочив к этому сфинксу, запытал: — Послушай, братец: кто ты такой? А? Слышишь, что я говорю?.. Любезный!.. А? Слышишь?.. Говори… А то сечь будем!.. Говори!.. — добивался Захария.

Но тут вступился исправник и принялся сам допрашивать черта, но также безуспешно.

Черт, начав отогреваться и приходя в себя, только тихо заворочался и, как черепаха, еще глубже ушел в свою бурку.

Из различных уст подавались различные мнения: как же теперь быть с этим чертом? Исправник полагал отослать его прямо в таком виде, как он есть, к губернатору, и опирался в этом на закон о чудовищах и уродцах; но всеобщее любопытство страшно восставало против этого решения и изобретало всякие доводы для убеждения исправника в необходимости немедленно же разоблачить демона и тем удовлетворить всеобщее нетерпеливое и жгучее любопытство.

Не спорили только два лица: это голова и отец Захария, но и то они не спорили потому, что

были заняты особыми расследованиями: голова, низенький толстый купец, все потихоньку подкрадывался к черту то с той, то с другой стороны и из изнавести крестил и затем сам тотчас же быстро отскакивал в сторону, чтобы с ним вместе не провалиться, а Захария тормошил его за рожки и шептал под бурку:

— Послушай, братец, послушай: ты мне одно скажи, это ты у отца протопопа вверх ногами по потолку ходил? Признайся, и сечь не будем.

— Я, — глухо простонал черт.

Это первое произнесенное демоном слово произвело в присутствующих неожиданную панику, которая еще увеличилась дошедшими до них в эту минуту дикими воплями народа снаружи. Потерявшая терпение толпа ломилась наверх, требуя, чтобы черт немедленно же был ей предъявлен, причем громогласно выражалось самое ярое подозрение, что полиция возьмет с черта взятку и отпустит его обратно в ад. В толпе нашлись люди, которые прямо предлагали высадить двери правления и насильно взять черта из рук законной власти. За угрозой почти непосредственно последовало и исполнение: раздались удары в двери; но ротмистр нашелся, что сделать: он мигнул квартальному, который

тотчас же выкатил пожарную трубу, взлез со шприцем на забор и пустил в толпу сильную холодную струю. Сигнал был дан, и пошла потеха. Народ на минуту отхлынул, раздались веселые крики, свистки и хохот, но через минуту все эти развеселившиеся люди вдруг принасупились, закусили губы и двинулись вперед. Холодная душь более никого не пугала: дверь затрещала, в окна полетели камни, а квартального стащили за ноги с забора и, овладев шприцем, окачивали его в глазах начальства. Исправник, а за ним и все бывшие с ним аристократы шарахнулись во внутренние покои и заперлись на замок, а не успевший за ними туда капитан Повердовня бегал по канцелярии и кричал:

— Господа! ничего!.. не робеть!.. С нами Бог!.. У кого есть оружие… спасайтесь!

И с этим, увидя растворенный канцелярский шкаф, он быстро вскочил в него и захлопнул дверцы; а между тем в комнату через разбитые окна еще ожесточеннее падали камни. У самого черта вырвался крик ужаса и отчаяния.

Глава семнадцатая

Минута была самая решительная: она ждала своего героя, и он явился. Шубы, которыми был закрыт всеми позабытый Ахилла, зашевелись, слетели на пол, а сам он, босой, в узком и куцем солдатском белье, потрошил того, кто так недавно казался чертом и за кого поднялась вся эта история, принявшая вид настоящего открытого бунта.

— Раздевайся! — командовал дьякон, — раздевайся и покажи, кто ты такой, а то я все равно все это с тебя вместе с родной кожей сниму.

И говоря это, он в то же время щипал черта, как ретивая баба щиплет ошпаренного цыпленка.

Одно мгновение — и черта как не бывало, а пред удивленным дьяконом валялся окоченевший мещанин Данилка.

Ахилла поднес его к окну и, высунув голову сквозь разбитую раму, крикнул:

— Цыть, дураки! Это Данилка чертом наряжался! Глядите, вот он.

И дьякон, подняв пред собою синего Данилку, сам в то же время выбрасывал на улицу одну за другою все части его убранства и возглашал:

— А вот его коготки! а вот его рожки! а вот вам и вся его амуниция! А теперь слушайте: я его допрошу.

И оборотя к себе Данилку, дьякон с глубоким и неподдельным добродушием спросил его:

— Зачем ты, дурачок, так скверно наряжался?

— С голоду, — прошептал мещанин.

Ахилла сейчас же передал это народу и непосредственно вслед за тем вострубил своим непомерным голосом:

— Ну, а теперь, православные, расходитесь, а то, спаси Бог, ежели начальство осмелеет, оно сейчас стрелять велит.

Народ, весело смеясь, стал расходиться.

Глава восемнадцатая

Начальство действительно «осмелело», выползло и приступило к распорядкам.

Мокрого и едва дышащего Данилку переодели в сухую арестантскую свиту и стали серьезно допрашивать. Он винился, что с голоду и холоду, всеми брошенный и от всех за свое беспутство гонимый, он ходил и скитался, и надумался, наконец, одеться чертом, и так пугал ночами народ и таскал, что откуда попало, продавал жиду и тем

питался. Ахилла все это внимательно слушал. Кончился допрос, он все смотрел на Данилку и ни с того ни с сего стал замечать, что Данилка в его глазах то поднимется, то опустится. Ахилла усиленно моргнул глазами, и опять новая притча. Данилка теперь становится то жарко-золотым, то белым серебряным, то огненным, таким, что на него смотреть больно, то совсем стухнет, и нет его, а меж тем он тут. Следить за всеми этими калейдоскопическими превращениями больно до нестерпимости, а закроешь глаза, все еще пестрее и еще хуже режет.

«Фу ты, что это такое!» — подумал себе дьякон и, проведя рукой по лицу, заметил, что ладонь его, двигаясь по коже лица, шуршит и цепляется, будто сукно по фланели. Вот минута забвения, в крови быстро прожгла огневая струя и, стукнув в темя, отуманила память. Дьякон позабыл, зачем он здесь и зачем тут этот Данилка стоит общипанным цыпленком и беззаботно рассказывает, как он пугал людей, как он щечился[92] от них всякою всячиной и как, наконец, нежданно-негаданно попался отцу дьякону.

— Ну, а расскажи же, — спрашивает его опять

---

[92] Примечания: 92
Отнимал.

Захария, — расскажи, братец, как ты это у отца протоиерея вверх ногами по потолку ходил?

— Просто, батюшка, — отвечал Данилка, — я снял сапоги, вздел их голенищами на палочку, да и клал по потолку следочки.

— Ну, отпустите же его теперь, довольно вам его мучить, — неожиданно отозвался, моргая глазами, Ахилла.

На него оглянулись с изумлением.

— Что вы это говорите? Как можно отпустить святотатца? — остановил его Грацианский.

— Ну, какой там еще святотатец? Это он с голоду. Ей-Богу отпустите! Пусть он домой идет.

Грацианский, не оборачиваясь к Ахилле, заметил, что его заступничество неуместно.

— Отчего же… за бедного человека, который с голоду… апостолы класы восторгали…

— Да что вы это? — строго повернулся протопоп. — Вы социалист, что ли?

— Ну, какой там «социалист»! Святые апостолы, говорю вам, проходя полем, класы исторгали и ели. Вы, разумеется, городские иерейские дети, этого не знаете, а мы, дети дьячковские, в училище, бывало, сами съестное часто воровали. Нет, отпустите его, Христа ради, а то я его все равно вам не дам.

— Что вы, с ума, что ли, сошли? Разве вы смеете!

Но дьякону эти последние слова показались столь нестерпимо обидными, что он весь побагровел и, схватив на себя свой мокрый подрясник, вскричал:

— А вот я его не дам, да и только! Он мой пленник, и я на него всякое право имею.

С этим дьякон, шатаясь, подошел к Данилке, толкнул его за двери и, взявшись руками за обе притолки, чтобы никого не выпустить вслед за Данилкой, хотел еще что-то сказать, но тотчас же почувствовал, что он растет, ширится, пышет зноем и исчезает. Он на одну минуту закрыл глаза и в ту же минуту повалился без чувств на землю.

Состояние Ахиллы было сладостное состояние забвенья, которым дарит человека горячка. Дьякон слышал слова: «буйство», «акт», «удар», чувствовал, что его трогают, ворочают и поднимают; слышал суету и слезные просьбы вновь изловленного на улице Данилки, но он слышал все это как сквозь сон, и опять рос, опять простирался куда-то в бесконечность, и сладостно пышет и перегорает в огневом недуге. Вот это она, кончина жизни, смерть.

О поступке Ахиллы был составлен надлежа-

щий акт, с которым старый сотоварищ, «старый гевальдигер»[93], Воин Порохонцев, долго мудрил и хитрил, стараясь представить выходку дьякона как можно невиннее и мягче, но тем не менее дело все-таки озаглавилось: «О дерзостном буйстве, произведенном в присутствии старогородского полицейского правления соборным дьяконом Ахиллою Десницыным».

Ротмистр Порохонцев мог только вычеркнуть слово «дерзостном», а «буйство» Ахиллы сделалось предметом дела, по которому рано или поздно должно было пасть строгое решение.

Глава девятнадцатая

Ахилла ничего этого не знал: он спокойно и безмятежно горел в огне своего недуга на больничной койке. Лекарь, принявший дьякона в больницу, объявил, что у него жестокий тиф, прямо начинающийся беспамятством и жаром, что такие тифы обязывают медика к предсказаниям самым печальным.

Ротмистр Порохонцев ухватился за эти слова и требовал у врача заключения: не следует ли

---

[93] Примечания: 93
Младший офицер, заведующий военной полицией.

поступок Ахиллы приписать началу его болезненного состояния? Лекарь взялся это подтвердить. Ахилла лежал в беспамятстве пятый день при тех же туманных, но приятных представлениях и в том же беспрестанном ощущении сладостного зноя. Пред ним на утлом стульчике сидел отец Захария и держал на голове больного полотенце, смоченное холодною водой. Ввечеру сюда пришли несколько знакомых и лекарь.

Дьякон лежал с закрытыми глазами, но слышал, как лекарь сказал, что кто хочет иметь дело с душой больного, тот должен дорожить первою минутой его просветления, потому что близится кризис, за которым ничего хорошего предвидеть невозможно.

— Не упустите такой минуты, — говорил он, — у него уже пульс совсем ненадежный, — и затем лекарь начал беседовать с Порохонцевым и другими, которые, придя навестить Ахиллу, никак не могли себе представить, что он при смерти, и вдобавок при смерти от простуды! Он, богатырь, умрет, когда Данилка, разделявший с ним холодную ванну, сидит в остроге здоров-здоровешенек. Лекарь объяснял это тем, что Ахилла давно был сильно потрясен и расстроен.

— Да, да, да, вы говорили… — у него возвышен-

ная чувствительность, — пролепетал Захария.

— Странная болезнь, — заметил Порохонцев, — и тут все новое! Я сколько лет живу и не слыхал такой болезни.

— Да, да, да… — поддержал его Захария, — утончаются обычаи жизни и усложняются болезни.

Дьякон тихо открыл глаза и прошептал:

— Дайте мне питки!

Ему подали металлическую кружку, к которой он припал пламенными губами и, жадно глотая клюковное питье, смотрел на всех воспаленными глазами.

— Что, наш орган дорогой, как тебе теперь? — участливо спросил его голова.

— Огустел весь, — тяжело ответил дьякон и через минуту совсем неожиданно заговорил в повествовательном тоне: — Я после своей собачонки Какваски… — когда ее мальпост колесом переехал… хотел было себе еще одного песика купить… Вижу в Петербурге на Невском собачея… и говорю: «Достань, говорю, мне… хорошенькую собачку…» А он говорит: «Нынче, говорит, собак нет, а теперь, говорит, пошли все понтера и сетера»… — «А что, мол, это за звери?..» — «А это те же самые, говорит, собаки, только им другое название».

Дьякон остановился.

— Вы это к чему же говорите? — спросил больного смелым, одушевляющим голосом лекарь, которому казалось, что Ахилла бредит.

— А к тому, что вы про новые болезни рассуждали: все они… как их ни называй, клонят к одной предместности — к смерти…

И с этим дьякон опять забылся и не просыпался до полуночи, когда вдруг забредил:

— Аркебузир, аркебузир… пошел прочь, аркебузир!

И с этим последним словом он вскочил и, совершенно проснувшись, сел на постели.

— Дьякон, исповедайся, — сказал ему тихо Захария.

— Да, надо, — сказал Ахилла, — принимайте скорее, — исповедаюсь, чтоб ничего не забыть, — всем грешен, простите, Христа ради, — и затем, вздохнув, добавил: — Пошлите скорее за отцом протопопом.

Грацианский не заставил себя долго ждать и явился. Ахилла приветствовал протоиерея издали глазами, попросил у него благословения и дважды поцеловал его руку.

— Умираю, — произнес он, — желал попросить вас, простите: всем грешен.

— Бог вас простит, и вы меня простите, — отвечал Грацианский.

— Да я ведь и не злобствовал… но я рассужденьем не всегда был понятен…

— Зачем же конфузить себя… У вас благородное сердце…

— Нет, не стоит сего… говорить, — перебил, путаясь, дьякон. — Все я не тем занимался, чем следовало… и напоследях… серчал за памятник… Пустая фантазия: земля и небо сгорят, и все провалится. Какой памятник! То была одна моя несообразность!

— Он уже мудр! — уронил, опустив головку, Захария. Дьякон метнулся на постели.

— Простите меня, Христа ради, — возговорил он спешно, — и не вынуждайте себя быть здесь, меня опять распаляет недуг… Прощайте!

Ученый протопоп благословил умирающего, а Захария пошел проводить Грацианского и, переступив обратно за порог, онемел от ужаса: Ахилла был в агонии и в агонии не столько страшной, как поражающей: он несколько секунд лежал тихо и, набрав в себя воздуху, вдруг выпускал его, протяжно издавая звук: «у-у-у-х!», причем всякий раз взмахивал руками и приподнимался, будто от чего-то освобождался, будто что-то скидывал.

Захария смотрел на это, цепенея, а утлые доски кровати все тяжче гнулись и трещали под умирающим Ахиллой, и жутко дрожала стена, сквозь которую точно рвалась на простор долго сжатая стихийная сила.

— Уж не кончается ли он? — хватился Захария и метнулся к окну, чтобы взять маленький требник, но в это самое время Ахилла вскрикнул сквозь сжатые зубы:

— Кто ты, огнелицый? Дай путь мне!

Захария робко оглянулся и оторопел, огнелицего он никого не видал, но ему показалось со страху, что Ахилла, вылетев сам из себя, здесь же где-то с кем-то боролся и одолел…

Робкий старичок задрожал всем телом и, закрыв глаза, выбежал вон, а через несколько минут на соборной колокольне заунывно ударили в колокол по умершем Ахилле.

Глава двадцатая

Старогородская хроника кончается, и последнею ее точкой должен быть гвоздь, забитый в крышку гроба Захарии.

Тихий старик не долго пережил Савелия и Ахиллу. Он дожил только до великого праздника

весны, до Светлого Воскресения, и тихо уснул во время самого богослужения.

Старогородской поповке настало время полного обновления.

Христианские легенды



Гора
Египетская повесть (по древним преданиям)

Этот анекдот совершенно древний. Такой случай нынче несбыточен, как сооружение пирамид, как римские зрелища – игры гладиаторов и зверей.

А.С. Пушкин. «Египетские ночи»

Глава первая

Очень давно в Александрии египетской, при римском господстве, жил знаменитый и славный художник по имени Зенон. Он с необыкновенным, тонким искусством делал из серебра и золота роскошную утварь и художественные вещи для женских уборов. По роду своих занятий он назывался «златокузнец». Происходило это в то время, когда в Александрии, в тесном друг с другом соседстве и в близком общении по делам, жило много людей разных вер, и всякий почитал свою веру за самую правильную и за самую лучшую, а чужую веру не уважал и порицал. Были

также и такие, которые, чтобы жить в мире и тишине, не оказывали свою веру, а держали ее в себе тайно и ни в какие споры не вступали.

Зенон златокузнец был потаенный христианин, но община александрийских христиан его своим не считала, и сам он держался от нее в отдалении. Ему было удобнее не сообщаться, потому что, наученный христианству каким-то сирийским зашельцем в Египет, Зенон не о всем мыслил совершенно так, как принято было без рассуждения другими христианами в Александрии. Поэтому и те немногие из открытых христиан, которые знали Зенона, почитали его стоящим на ложном пути; он к ним насильно не шел, но никогда с ними и не спорил, а жил сам по себе в отдалении, в тихом, прохладном загородном урочище за палестрою[94], на дынных огородах.

По художеству, которое тогда называлось «златокузнею», Зенону не было равного — не только в Александрии и в Фивах, но и в целом Египте. Браслеты, стяжки и головные уборы работы Зенона славны были даже в Антиохии. Все именитые женщины обоих этих роскошных городов на-

[94] Примечания: 94
Школа для мальчиков-подростков.

перебой непременно хотели иметь украшения, сделанные этим искусным мастером. Евреи из Антиохии делали ему большие заказы и, забирая себе его «златокузню», увозили его художественные произведения в свой город и там продавали по чрезвычайно высокой цене и наживали большие выгоды. Зенон был очень досуж и трудолюбив, но при всем том он не успевал исполнять всех делаемых ему заказов, и недосуг его простирался до того, что он не имел даже времени ни для каких удовольствий, и часто ему некогда было даже о себе подумать. Ему шел уже тридцать первый год, и он имел хороший достаток для того, чтобы жить безнуждно с семьею, а он все еще ходил холостой, был совершенно одинок и жил в своем уединенном, но хорошо устроенном доме за дынными огородами. В прислуге у него для помощи был один непомерной силы персианин, который был ему беззаветно преданным и верным слугою, хотя сам этот человек был язычник и ходил совершать таинства Митры.

Зенон был домосед и на свободе любил читать и размышлять о высоких вопросах. Проработав целый день, он только вечерами выходил за порог своей мастерской, садился на каменную скамейку под широколистным платановым де-

ревом и отсюда любовался вечерним закатом красного солнца за купы деревьев, читал сочинения о высоких предметах или катался по Нилу, сам управляя своею баркой под клетчатым шелковым парусом. По всем домашним делам Зенона в город ходил и справлял их персианин, однако в Александрии все знали Зенона, не исключая лиц именитых, и многие почитали за честь быть с ним в знакомстве, так как он в своем роде тоже был знаменит, — но Зенон был скромен и от почета всегда удалялся. Богатые щеголихи Александрии шли наперебой одна перед другою, чтобы иметь Зенона себе для услуг, и платили очень дорого, лишь бы только перещеголять друг друга, но их было много, а Зенон один, и потому это не помогало. Всем Зенон не мог услужить.

Тогда одна знатная дама вздумала присвоить себе искусство художника иначе.

Глава вторая

В Александрию приехала из Антиохии одна молодая и чрезвычайно красивая вдова, по имени Нефорис, или Нефора. Она была очень богата и до того избалована, что не знала меры своим прихотям и не переносила никакого возражения

и отказа. Воздерживаться и останавливаться в осуществлении каких бы то ни было желаний было для нее так несносно, что она об этом не хотела и думать, а цель ее, по приезде в Александрию, прежде всего заключалась в том, чтобы превзойти своею пышностью всех самых роскошных александрийских красавиц. Отказаться от этого суетного желания Нефора не согласилась бы ни за что на свете, так как вся Антиохия знала ее за самую изящную красавицу, которая своею роскошью и увлекательностью затмевала собою всех иных прекрасных женщин, блиставших красой и нарядами на празднествах в роще Дафны. Наряды Нефоры были прелестны, но чтобы сделать их еще более замечательными, она захотела иметь самый лучший, выкованный из золота убор, какой носили щеголихи в Александрии, но только непременно, чтобы он был лучше, чем все подобные уборы, какие до сих пор были сделаны. Она послала за Зеноном, но Зенон отказался прийти, сказав, что ему не-досужно. Нефора послала за ним второго посла и велела ему обещать Зенону такую плату, какую сам он захочет, но Зенон ответил послу: «Скажи твоей госпоже, что я работаю, сколько могу, и сверх силы моей не принимаю заказов. Всем угодить я не успею, а

наблюдаю очередь, и никакая богачка не может предложить мне ничего такого, что заставило бы меня отступить от справедливого порядка».

Когда посланные к Зенону во второй раз возвратились без успеха и передали ответ художника Нефоре, то эта избалованная и непривычная ни к каким возражениям модница впала в ужасную гневность и дошла до такого безумия, что велела подвергнуть безжалостному наказанию рабов, которых посылала к Зенону, а для себя приказала сейчас же оседлать белого мула и приготовить ей длинное и густое покрывало, в которое могла быть завернута вся ее фигура с головою.

Нефорис решилась сама отправиться к Зенону и во что бы то ни стало принудить художника сделать для нее самую красивую золотую диадему с самыми тонкими и изящными цепочками, скованными легко и усаженными перлами одной величины и одного цвета.

Оба приказания Нефоры были исполнены в точности: рабы ее, ходившие без успеха к Зенону, были наказаны ударами воловьей жилы, а ей был подан белый мул, покрытый роскошным ковром, с уздою из переплетенной широкой зеленой и желтой тесьмы, с золотистою сеткой на челке и с длинными кистями вместо вторых поводьев.

У этих поводьев стоял немой сириец из Тира, в ярко-красной, до пят его достигавшей, длинной одежде.

Нефора села на своего мула, и красный сириец повел красивое животное за поводья, не зная, куда его госпожа отправляется. Он только оглядывался на свою госпожу при поворотах и распутьях и следовал мановению ее опахала.

Глава третья

Как сказано выше, Зенон, удаляясь от шума, жил за городом в уединенной красивой местности, до которой было весьма далеко от жилища Нефоры. Дорога сюда шла сначала городом, потом тенистою аллеей, по которой не затихало очень сильное движение. Нефоре встречались рабы, несшие в паланкинах женщин, ее с грохотом обгоняли парные колесницы на мулах и на рослых конях с подстриженными гривами, а потом путь становился безлюдней и тише. Тут Нефора почувствовала свою неосторожность: она не знала дальше дороги к жилищу Зенона.

От аллеи начинались мелкие свертки по тропинкам в удолья, утонувшие в платановых рощах. У одного из этих свертков под ветвистым

деревом сидел старый амаликитянин и ел дыню; возле него жевал свою жвачку такой же старый верблюд. Нефора спросила у амаликитянина, не знает ли он, где живет Зенон, златокузнец.

— Я не здешний, — отвечал амаликитянин, — но поезжай далее, и ты увидишь под деревом девочку, которая пасет коз, — та здесь живет и всех знает — она тебе может сказать о том, кто тебе нужен.

Нефора дала знак сирийцу, и тот повел ее мула дальше.

Вскоре они увидали широколиственное дерево, под которым паслись четыре желтые козы, и посреди их сидела на траве простоволосая босая девочка в грубой рубашке из холста коричневого цвета.

Нефора спросила ее о Зеноне.

Босоногая девочка тряхнула своими синими кудрями и отвечала:

— Конечно, я знаю, где живет красивый и добрый Зенон. Я ношу ему молоко от наших коз, и он часто дарит мне дыни и виноград из своего сада. Ни добрей, ни красивей Зенона нет человека на свете. Поверни вправо по третьей тропинке, и ты увидишь поляну, с которой вдали заблестят воды Нила, а перед тобою прямо будет сад, в том саду

белый дом с пестрою крышей и большой медный аист над входом, — это и есть жилище Зенона.

Нефора взяла указанное ей направление, но опять скоро смешалась в извивах тропин и могла заблудиться. По счастию, ей встретился человек мрачного вида, с треугольным шрамом на лбу и с большою корзиной, в которой видны были плоды, фляга с питьем и большая красная рыба. Нефора спросила его о Зеноне, а человек ей отвечал:

— Я служитель Зенона, но я не могу возвратиться, чтобы проводить тебя к нему, потому что я поспешаю соединиться с своими единоверцами — мы идем справлять таинство Митры. Господин мой меня отпустил послужить моей вере и остался теперь один в своем доме. Обогни тот большой куст роз, и ты увидишь дорожку, которая прямо приведет тебя к его дому. Зенон теперь один, он занят работой, но дверь в его мастерскую открыта.

Сказав это, перс показал ей, как надо проехать через поляну, где зрели ароматные дыни, и Нефора, проехав меж сирени, жасминов и роз, увидала вдали, как катил воды Нил, а вблизи, в чаще кустов, стоял белый домик, и на нем, как живой, медный аист на белом фронтоне. Вокруг было все

тихо; синее небо расстилалось как ровно покрытый шатер; солнце горело, в воздухе стоял зной; на белом карнизе рядком сидели и пели черные дрозды. Вокруг дома было множество лилий и роз, а у самых стен и у белого мраморного порога лежали целые пласты зеленого диарита. Здесь было свежо, тихо и целомудренно: здесь жил художник.

Усталая от далекого переезда и от жара, Нефора сошла с седла и отослала мула и провожатого вдаль под дерево, а сама осталась перед открытою дверью Зенона. Теперь она, не переступая порога, могла видеть всю его мастерскую. Это была очень большая и высокая квадратная комната без окон; мягкий свет проникал в нее через потолок, сквозь фиолетовую слюду, отчего все вещи казались обвитыми как будто эфирною дымкой. Посередине комнаты на полированном красном порфире красовался бронзовый ибис, и из его клюва струилась свежая вода; стены окружены были колоннами и ровно окрашены красновато-коричневою краской, на которой резко выделялись белые мраморные и лепные фигуры, изображавшие людей и животных. Здесь были и легкие маски женщин, и тяжелые головы фараонов, и задумчивые морды верблюдов, и

хищные пасти крокодилов. Зенон, как большинство художников того давнего времени, знал не одну златокузню. Подобно известному со времен Амазиса художнику Феодору, Зенон был и архитектор, и плавильщик, и лепщик, и ваятель, и во всем он был мастер, и знаток, и любитель всякого изящества, о чем и не мудрено было заключить по его жилищу, перед которым теперь стояла Нефора, вдыхая оттуда прохладную свежесть и аромат, разливавшийся из красивых, яркою поливой покрытых тазов, в которых рос золотистый мускус и напоял всю атмосферу своим запахом. Посреди всех художественных произведений искусства, наполнявших покой, стоял сам художник.

Глава четвертая

Напомним, что Зенону шел тридцать первый год. Он родился в Милете от красивой гречанки и галла. Природа дала ему стройный стан, сильные руки, огромную массу белокурых волос и огненные черные глаза, в которых светилась самая пленительная доброта и благородная твердость. Он был в длинном хитоне из мягкой шелковой материи серого цвета, с бледно-розовыми кружками по краю, ноги его были обуты в легкие желтые

сандалии, а буйные русые волосы схвачены тонким золотым обручиком с бирюзою на лбу.

Он стоял спиной к двери, облокотись на подставку, на которой лежала глыба глины для лепки, и рассматривал с сосредоточенностью деталь своей модели.

— Зенон! — позвала его Нефора.

Он вздрогнул и оборотился. Нефора нашла, что лицо его прекрасно, и переступила к нему за порог в его мастерскую.

— Ты не должен сердиться, что я прихожу к тебе, художник. Меня привлекла к тебе твоя слава. Женщин влечет к себе слава, а ты славный художник. Я не здесь рождена и никогда тебя не видала, но слава твоя мне известна. У меня есть тоже слава моя, которая не стоит твоей: в Антиохии меня называли «звездою между красавиц», но я прихожу к тебе за советом: помоги мне, художник!

— В чем нужна тебе моя помощь?

— Прежде всего позволь мне быть твоею гостьей и дай отдохнуть мне у тебя от несносного зноя.

— Входи и будь моею гостьей.

Нефора вошла, сняла покрывало и села в широкое кресло, покрытое кожей пантеры.

Застигнутый так внезапно врасплох, «златокузнец» сразу ощутил себя как бы во власти посетившей его бойкой и настойчивой гостьи. Он подал воды ей и положил к ее ногам мягкую подушку, а сам стал перед нею и смотрел на нее, сложив свои руки на груди среди мягких складок хитона. Его поразила замечательная красота Нефорис, которая, спустив покрывало, явилась одетой так изящно к лицу, что природная прелесть ее лица блистала еще ярче. Небольшая на круглой шее головка Нефоры была покрыта широким и тонким кефье в голубых и белых полосах: мягкие складки этой искусно положенной, изящной повязки облегали, как воздух, ее лицо и черно-синие кудри. Кефье было перевязано желтым шнуром. Уши, руки и пальцы Нефоры были украшены серьгами, кольцами и браслетами, а на стройной шее лежало золотое ожерелье из множества мелких цепочек, и на конце каждой из них дрожали жемчужные перлы. Ресницы Нефоры были подведены по египетской моде, концы пальцев слегка подрумянены, а тонкие ногти напудрены розовым перламутром. Гибкий стан Нефоры охватывала легкая туника полосатой материи — розовой с белым, а вместо пояса ей служил золотистый шелковый шнур, у одной из

кистей которого висело маленькое зеркальце и такой же маленький сверленый из самоцветного камня флакон с пахучею индийской эссенцией. Но всего больше поражало необыкновенно живое и изменчивое выражение ее нежного и страстного лица, линии которого так часто менялись, что, казалось, их совсем уловить невозможно.

Усевшись небрежно в кресло, Нефора, не ожидая расспросов хозяина, сама рассказала ему, в чем ее надобность. Она сказала, что желает во что бы то ни стало иметь к предстоящей палестре[95] самую изящную диадему работы Зенона, а он ей отвечал, что это невозможно, ибо все время его до предстоящей палестры уже распределено им для исполнения других, ранее полученных заказов.

— А правду ли ты это говоришь? Можешь ли ты мне сказать: для кого именно ты теперь взялся работать?

— Я думаю, что это я вправе сказать, — отвечал неосторожно художник и назвал Родопис и Сефору, тех самых, которых всех сильнее Нефора желала превзойти своею красотой, появись в первый раз на александрийской палестре.

— Родопис и Сефора! — воскликнула Нефора. —

---

[95] Примечания: 95

Публичное состязание юношей из разных гимнастических школ в Древней Греции.

Неужто же я меньше их стою в очах человека, который способен ценить изящное в мире?

— Человек прежде всего должен исполнять то, что составляет его долг.

— Долг художника служить красоте, и я тебе даю к тому наилучшее средство. Зачем ты будешь напрасно тратить талант свой для плосколобой Родопис и скуластой Сефоры? Им все равно искусство твое не поможет, и они в диадемах твоих не станут изящней; но укрась ты Нефору, приложи красоту убора к ее красоте — палестра забудет ристанье, а заплещет моей красоте и твоему искусству, художник.

И когда Нефора увидала, что художник ей внимает, то она, чтобы не дать ему опомниться и еще сильнее преклонить его на свою сторону, решилась не выйти от него без того, чтобы не принудить Зенона изменить данному слову и тем более восторжествовать над Родопис и Сефорой. Нефора решила не только умолять Зенона и льстить ему вниманием и лаской, но даже прямо прельщать его своею красотой, с тем чтобы довести его до страстного увлечения и купить у него предпочтение себе хотя бы даже ценою своей чести.

«Тогда, — думала она, — он перестанет отказы-

ваться, и чего не хочет сделать мне за большие деньги, то сделает без всякой денежной платы, как для своей любовницы. Я этого желаю… У меня будет убор всех изящнее, а вреда чести моей от этого никакого не будет, потому что, наверное, никому даже и на мысль не придет, чтобы я, самая первая красавица, молодая и богатая вдова Нефорис, брака с которой искало и ищет столько знаменитых людей, отдалась из-за выгод уроженцу Милета… Никто не поверит, что я отдала себя златокузнецу за то, чтобы иметь его златокузню… чтоб унизить ею соперниц… Да, этому никто не поверит, и я тем смелее на это решаюсь».

К тому же… Зенон был красив и…

Нефора вдруг ощутила над собой его обаянье.

Все до сих пор искали внимания ее, — и вот человек, кого *она ищет*… Она предлагает себя… Она себя *продает*…

Это ей ново, и дико, и страстно желанно.

Нефора не размышляла, или ее рассудок был слишком сговорчив и вел ее к достижению того, чего ей желалось.

«Все равно я должна буду выйти замуж за какого-нибудь вельможу, которого я не буду любить, а пока я свободна, не вольна ли я сама располагать собой как хочу? Я хочу, я могу, я желаю здесь, в

этой тиши, внезапно купить себе ценою своей красоты услуги красавца Зенона. Так, мой художник, тебя ничто не спасет от соблазна моей красоты, и торжество мое над тобой неизбежно».

И Нефора, нимало не медля, начала стремиться к тому, чтобы осуществить свое намерение.

Глава пятая

Она сказала Зенону:

— Хорошо, я не хочу настаивать, чтобы ты портил твой честный обычай, но ты можешь помочь мне, оставаясь господином своих обещаний, которые дал Родопис и Сефоре.

— Я не вижу, как я могу это сделать.

— Я тебя научу, если только ты хочешь у меня научиться, — сказала с улыбкой Нефора.

— Учи, я охотно готов тебя слушать, — отвечал, также слегка улыбаясь, Зенон златокузнец.

— Сядь со мною рядом и слушай.

Зенон сел в стоявшее рядом другое кресло, а она взяла его за руку и сказала:

— Ты ведь дал слово не делать лишь новых уборов и не имеешь досуга на это. Я и просить тебя больше об этом не стану; но что ты скажешь на то, если можешь мне сделать удовольствие, не

нарушая своего слова?

— Тогда я сделаю все, чтобы не огорчить тебя понапрасну.

— Я не хочу ничего больше: здесь со мной мой пестрый персидский ларец, в котором лежат все мои драгоценности. Там много есть разных прекрасных вещей, которых здесь, в Александрии, на мне не видали. Я привезла их для того, чтобы ты их рассмотрел и обдумал: не возможно ли их смешать и привести их в такое соединение, чтобы из них, по изящному вкусу Зенона, вышел не худший убор для Нефоры?

— Ты это очень хорошо придумала! — воскликнул Зенон златокузнец.

— Я очень рада, что ты меня одобряешь, и с своей стороны награжу тебя всем, чего только захочешь.

Зенон понял смысл этих слов о награде и, встав с места, сказал:

— За простой совет и за легкую помощь по силам моим никакой мне награды не нужно.

— Отчего же?.. Проси!.. Или… если ты горд, то доверь мне самой оценить, чем с тобой расплачусь.

— Нет, оставь это!.. Мне довольно будет того, что я могу доставить тебе радость…

— Хорошо, пусть будет по-твоему! Выйди же

теперь к моему рабу, возьми у него мой ларец и принеси его сюда.

Зенон вышел, а Нефора погляделась в свое ручное зеркальце, которое было у кистей ее пояса, и улыбнулась довольною улыбкой.

Зенон возвратился с ларцом, который был не велик, но изящен и довольно тяжел.

— Благодарю, — сказала Нефора. — Теперь дай мне сюда на колени подушку и станем на ней раскладывать вещи.

Зенон исполнил и это, и когда золотые уборы и самоцветные камни в оправах были вынуты маленькою рукой Нефоры из ее узорного ларца и разложены ею по темной ковровой подушке, Зенон наклонился лицом к коленям гостьи и стал серьезно рассматривать амулеты, шпильки, браслеты и цепи, а Нефора меж тем рассматривала самого Зенона и любовалась грациозностью его движений и нежною прелестью его светло-русых кудрей, подстриженных и завитых на лбу по греческой моде.

Долго Зенон не мог ничего выбрать, но, наконец, взяв в руки один золотой амулет, изображающий солнечный диск с прямыми лучами, он задумался и потом соединил это с другим, меньшим диском, на котором было изображение сладострастной

богини Ма, с ее закрытыми глазами. Зенон весело взглянул на Нефору и сказал ей:

— Ты совершенно права: из этих вещей можно составить такой прекрасный убор, который способен будет затмить все другие уборы. Ты надень эти браслеты змеями на голые руки. Твои руки прекрасны.

— Ты находишь, что они хороши?

— О да, твои руки прекрасны, и я бы охотно слепил их из воска.

— Что же, слепи. Я рада, что мое тело вдохновляет Зенона.

— Положи диадему с маленьким диском и богиню Ма на лоб, а большой диск укрепи на груди, чтобы лучи его утопали и местами бы вырывались из-под складок туники. Надень светло-зеленого цвета тунику или цвета зреющей вишни на солнце… Вишневый цвет тебе, кажется, больше будет идти в этом уборе… Жрец Ма всегда имеет посох из вишни…

— Как ты хорошо это знаешь. Ма тебя за это должна наградить, как богиня.

— Сейчас мы все кончим: я тебе все рассказал, что надо сделать. Ты понимаешь: надо тончайшие рясны цепочек спустить с диадемы к лучам большого диска на груди, и ими тебя, как богиню,

броней опоясать… И ты будешь сама, как Ма-богиня, прекрасна.

— И ты мне все это сделаешь, Зенон?

— Нет, и тебе это не нужно. То, что нужно тебе, всякий другой сделает так же, как я, но я более не господин моего времени — я дал слово не брать никакой другой работы, и мне жаль, что я должен тебя огорчить.

— Ты не хочешь, так прощай же, Зенон.

С этим Нефора так быстро встала, что подушка соскользнула с ее колен и все драгоценности ее упали на ковер и рассыпались к ее ногам.

— Как ты неосторожна, — сказал Зенон и нагнулся к полу, чтобы подобрать рассыпанные вещи; но едва он начал распутывать из покрывала маленькую стройную ножку Нефоры, обутую в темную кожаную сандалию с золотым тиснением по краю подошвы, как нога эта скользнула и судорожно вытянулась.

Зенон склонился и, к удивлению своему, увидал, что все лицо Нефоры быстро покрывалось страшною бледностью, а прекрасные глаза ее меркли.

— Что с тобою? — вскричал он.

— Я не знаю, — тихо и медленно отвечала ему ослабевшим голосом Нефора. — Я ехала слишком

долго в седле… я слишком устала… меня чересчур долго жгло палящее солнце, а здесь прохладно, я теперь вдруг себя чувствую дурно… Помоги мне, Зенон! Я задыхаюсь…

Она сделала движение, чтобы подняться, и заговорила еще скорее и тревожнее:

— Уведи меня! Здесь мускус… розы… жасмин… Все деревья здесь так сильно пахнут… Этот свет сквозь лиловую слюду раздражает меня… я его не сношу… я не привыкла к Египту… Света мне!., воздуха!., чистого воздуха дай мне скорее!

Вскрикнув это, она поднялась, взмахнула, как будто впотьмах чего-то искала, руками и с меркнущим взором тотчас же упала на руки Зенона.

Зенон подхватил ее, как дитя, на одну руку, а другою рукой дернул за шелковый шнур, и от движения этого шнура одна панель в красной стене его мастерской сейчас же раздвинулась. За нею открылся вход в высокую, очень просторную комнату, куда встревоженный Зенон и пошел, держа на своих руках сомлевшую Нефору. Глаза ее были теперь совершенно закрыты, голова опустилась, и все тело ослабло.

Глава шестая

Комната, в которую Зенон внес Нефору, была совсем не похожа на ту, из которой он ее вынес. Это была большая, высокая столовая, стены которой были гладко отделаны кедром, издававшим самый тонкий и едва заметный здоровый, смолистый запах; в ней были четыре больших окна, из которых открывался широкий вид на меланхолический Нил, а по ту сторону вод в отдалении темнели спаржевые поля.

Через открытые сверху донизу окна и отпертую дверь на террасу сюда обильно тек чистый воздух, не насыщенный ничем раздражающим и наркотизирующим. Солнце не сверкало в глаза, и только синее небо да синие воды тихо отражали на всем свой ровный и спокойный оттенок.

Убранство покоя состояло из нескольких низких и широких диванов, покрытых мягкими стегаными матрацами из нежной овечьей шерсти, накинутыми сверху еще более нежными двусторонними египетскими коврами. Перед каждым диваном были поставлены маленькие столики и табуреты, а посередине комнаты помещался большой стол на львиных лапах, и на

этом столе стоял завтрак, который приготовил Зенону ушедший праздновать таинства Митры служитель.

Зенон бережно опустил Нефору на один из диванов, до которого свободнее доходила струя воздуха, подложил ей под голову и под плечи подушки, расстегнул тунику на ее груди и выбежал в смежную комнату, где была его спальня. Отсюда он принес флакон с индийскою эссенцией и, капнув одну каплю этой эссенции на предсердие Нефоры, провел тихо рукою и подул, чтоб эфирная жидкость быстрее испарялась. Потом он облегчил голову гостьи и ослабил цветные ремни у ее сандалий.

Попечения его были успешны: едва он облегчил стяжки, стеснявшие тело Нефоры, и стал повевать на нее ее же большим опахалом, к ней начали возвращаться ее чувства и сознание — вскоре длинные ресницы ее стали шевелиться, а тонкие ноздри вздыматься дыханием, и, наконец, оба ее изменчивые глаза неуловимого цвета открылись. Она обвела в недоумении незнакомый покой и спросила:

— Где я? — и, получив от Зенона ответ о том, где она и каким случаем попала в эту комнату, Нефора начала сожалеть, что наделала Зенону столько

хлопот. Она укоряла себя, зачем пустилась в непривычный ей путь на муле, а не в носилках, и, протянув руку художнику, заключила:

— Прости мне то беспокойство, которое я тебе сделала.

Он просил ее, чтоб она об этом не думала, а она отвечала:

— Я не могу об этом не думать, потому что в этот несносный жар, мне кажется, я буду не в силах сделать обратно далекий путь на седле.

— И это тоже пусть тебя не беспокоит, — отвечал ей Зенон. — Тебе нет нужды терзать себя в такой жар на седле. Отдохни здесь у меня в прохладе, сколько тебе угодно, а когда тени на земле станут длиннее, я сам отвезу тебя спокойно до твоего дома на моей нильской барке, которая стоит здесь же у берега под моим садом.

Нефора благодарила его и осталась.

— Хотя мне это и совестно, — сказала она, — но ты сам видишь, как я ослабела. Я не могу ехать на своем муле и не должна посылать за носилками, чтобы не возбудить этим многих напрасных толков.

— Я все это понимаю, — отвечал Зенон, — и ты не беспокойся, ты не будешь предметом никаких толков. Моя пестрая барка со всех сторон окрыта

густыми занавесами, и тебя никто не увидит, а я сам буду ею управлять.

— Это прекрасно, — отвечала Нефора, — но в таком случае пожалей и моего бедного мула и невольника, которые будут напрасно ждать меня на жаре у твоего дома.

— Это правда, — отвечал Зенон, — и если ты позволишь, я сейчас же отпущу домой и человека и бедное животное.

— Не откажи мне в этом, я прошу тебя.

— Охотно, — отвечал Зенон и сейчас же вышел, а Нефора приподнялась с дивана и подошла к одному из открытых окон. Перед нею открылся на пологом скате к реке прекрасно содержанный сад, разбитый по-египетски радиусами от центра, который обозначался фонтаном у небольшого обелиска из красного гранита, а в конце одной из дорожек была такая же гранитная лестница. К одному из столбов этой лестницы была прикована бронзовою цепью роскошная, очень пестро, по-египетски раскрашенная нильская барка. На носу ее красовался огненнокрасный крылатый грифон, а на корме — завязанный в узел хвост какого-то морского чудовища. Посредине барки был паланкин, где на бронзовых прутьях висели в густых складках полы мягкой полосатой мате-

рии — синей с белым.

Нетрудно было понять, что это и есть нильская барка Зенона, на которой он любил вечерами кататься под клетчатыми шелковыми парусами по Нилу.

Она отличалась от всех других барок, стоявших у берега, не только по богатству, но и по изяществу отделки, в котором, как во всем окружающем Зенона, выражался его художественный вкус.

Он сам и все, что при нем есть, — все это было прекрасно, и все пленяло Нефору, и она все более и более волновалась от прилива страстных ощущений.

Придя просто с тем, чтобы заставить художника сделать себе убор и в нем превзойти на палестре каких-то соперниц, Нефора сама для себя неприметно увлеклась вспыхнувшим чувством любви к красавцу Зенону и, никого до сих пор не любя, вся предалась необузданной страсти.

— Пусть, — говорила она, глядя на Нил, но Нила не видя, — пусть совершится судьба… Пусть, пусть это будет… Я собой не владею и владеть не желаю… Все, кто искал улыбки Нефоры, — судьба за вас всех нынче мне отомстила: я уязвлена страстью, я сегодня впервые люблю. Другой такой случай может не быть: я остаюсь здесь одна с ним,

и хочу здесь сгореть, и сгорю в объятиях Зенона.

Глава седьмая

В то время, когда Нефора рассуждала таким образом, глядя в открытое окно на картину, которая застилалась от нее ее влюбленною мечтой, возвратился Зенон; он сказал ей, что мул и немой проводник им уже отправлены домой, а самой Нефоре Зенон предложил сесть за стол и подкрепить себя пищей и прохладным напитком из воды и вина.

— Затем, — сказал он, — ты отдыхай здесь в покое, пока схлынет жар, а я буду работать.

Нефора на все согласилась, и когда они сели с Зеноном к столу и он просил ее испробовать мясо, фрукты и прохладное смешение из антильского вина с водой и ягодным соком, Нефора, по эллинскому обычаю, предложила выслушать от нее, кто она и откуда и зачем появилась в Египте.

Зенон от этого не смел отказаться и, чтобы не показать себя невежливым перед гостьей, отвечал ей:

— Повесть твоя усладит слух мой: говори, а я принесу воск и буду лепить из него то, что мне нужно, — и он принес воск и начал его мять на

дощечке, а Нефора близко села с ним рядом и начала говорить о себе.

Она упомянула Зенону сначала о своей родине в далекой Фракии, откуда она была увезена в детстве в Антиохию и выросла там при беспрестанных тревогах по поводу быстрых и частых перемен в положении ее родителей, а потом она рассказала, как была отдана замуж за старого и очень безнравственного византийского вельможу, который понуждал ее к постыдным для женщины поступкам в угоду высшего вельможи, от которого зависело его служебное повышение, и как она воспротивилась этому и много за то претерпела, а потом, когда муж ее умер, оставив ей большое богатство, она, по любви к независимости и свободе, не захотела вернуться в свою эллинскую семью, ибо ей противна подчиненность безгласных в семье эллинских женщин, а переселилась из Антиохии в Египет, где женщины не находятся в таком порабощении, как у эллинов. Здесь она хочет быть госпожою своих поступков и сама надеется выбрать себе достойного мужа.

— Ты хорошо сделала, что соблюла свою непорочность, — отвечал ей уклончиво Зенон.

Она промолчала.

Зенон взглянул на нее и удивился, как изменчивый цвет ее глаз то разгорался, то гас, обозначая быстроту душевных движений.

Она еще колебалась, но страсть одолела и стыд и рассудок.

— Да, — сказала она, — но этих похвал я вперед не желаю, я молода и не хочу быть «богиней», как ты меня назвал: теперь я хочу быть любима так просто, как смертную женщину может любить простой, смертный мужчина. Да, я полюблю в тот же миг, как только увижу того, который может быть мил мне.

— Что же, ты, верно, его и найдешь.

Нефора опять замолчала; ноздри ее изящно выгнутого носа быстро двигались, а уста открывали белые зубы, но, наконец, она не выдержала и сказала:

— Я уже нашла его, Зенон.

— Вот и прекрасно: если он любит тебя, ты вступишь в супружество, и я желаю тебе быть счастливой.

— Благодарю за желание, — живо сказала Нефора, — но я слишком много страдала и слишком долго ждала этого, чтобы теперь ожидать еще дольше. Я томлюсь желанием скорее, в мгновенье, забыть мое горе в объятиях того, чьих

лобзаний уста мои жаждут.

Она встала и с детскою, избалованною улыбкой бросилась к Зенону и закричала:

— К тебе, Зенон, к тебе, мой художник, влечет меня сердце и страшная сила рокочущей крови… Для чего ты встаешь? Куда ты отходишь? Дай мне любви, дай мне лобзаний, забвенья и счастья, или я потеряю рассудок.

Но Зенон ее не слушал; он отступил от нее и даже самый звук ее слов удалял от своего слуха, устраняя рукой и повторяя:

— Ты не знаешь, что ты говоришь. Опомнись! опомнись!..

— Я и знать не хочу ничего, кроме того, что я тебя полюбила!

Зенон вздвинул плечами и, сжав на груди свои руки, сказал:

— Несчастная женщина! ты в себе разум и стыд женский затмила!

— Возврати же скорее мне мой разум! — прошептала Нефора и, положив на плечи ему свои обнаженные руки, судорожно вздрогнула и замерла в поцелуе.

Зенон хотел ее отстранить, но в очах его помутилось, сердце упало, и он едва простонал:

— Нефора! Нефора!

А она меж поцелуев ему отвечала:

— Я не богиня, Зенон… Я страстная смертная женщина, Зенон… Лобзай же меня и дай мне скорей миг блаженства!

— Миг! — воскликнул Зенон. — Миг вместо союза на целую жизнь — это нечестное дело, Нефора… Отбрось этот миг и не дай мне несчастья унизить себя и тебя с собою вместе!

Нефора взглянула на него с гневом и сказала:

— Что это! ты оскорбляешь меня!

— Нет, я тебя возвышаю. Я чту в тебе женщину больше, чем эллин и сын Мицраима.

— Я не хочу слушать ничьих рассуждений, когда мне их не надо!

— Нельзя жить без рассуждения.

— Отчего?

— Ты не поймешь.

— Нет, я уже все поняла… Ты любишь другую.

— Ты ошибаешься: я не люблю никого так, как ты хочешь.

— Так ты, значит, глупец!

— Нет, я — христианин.

— Христианин!.. Ах, ты христианин! Так вот что!.. Христиане — это те, которых все презирают и гонят!.. Это те, которых учитель хотел, чтобы люди отрекались от счастья любить; но ведь это,

Зенон, безрассудно — бороться с природой. Ее одолеть невозможно, да и зачем это нужно?.. Ты мой, Зенон, да? Ты пылаешь любовью ко мне, ты не в силах противиться мне, я люблю тебя, Зенон, я тебя призываю! — и с этим она рванулась к нему, и уста ее соединились с его устами.

Зенон почувствовал, словно море зашумело в его ушах и будто пламя блеснуло у него перед глазами: его клонило в ее объятиях, как клонит трость под дыханием бури, но вдруг на корме пробудился повелевающий волнам и буре. Зенон увидал его, отстранил от себя страстные руки Нефоры, рванулся к столу, и теперь Нефоре как будто блеснуло между нею и Зеноном… что-то как нож и кровавое пламя, а Зенон уже стоял и шатался, держась сзади руками за стол. По лицу его струилась кровь, а в глазу его стремила рукоятка ножа. Лезвие было в глазе, а другой глаз глядел на Нефору с тихим укором, а уста, бледнея, шептали кому-то, но только не ей:

— Благодарю тебя, что ты не погнушался мной и явил свою власть над моей страстной природой. Мой глаз едва не соблазнил меня, но я сделал то, что ты повелел, и… теперь нет этого глаза.

Проговорив это, Зенон зашатался и упал, и нож вывалился из его раны, а кровь орошала его лицо

и струилась на пол.

Нефора не издала ни одного звука: глаза ее, устремленные на Зенона, остолбенели в безмолвном ужасе, и она выбежала отсюда, оставив здесь и свое покрывало, и все свои драгоценности.

Глава восьмая

Вышеописанное происшествие было делом самого короткого времени и случилось так неожиданно и было столь противоположно настроению Нефоры, что она совершенно растерялась и обезумела. Когда она опомнилась на воздухе, то увидела, что теперешнее собственное ее положение было очень затруднительно. О своих драгоценностях Нефора не вспомнила, но к ужасу, который охватил ее при виде того, что с ужасною твердостью сделал над собой Зенон, сейчас же присоединилась забота: как бы ей скрыться отсюда и возвратиться домой незамеченною? Она была далеко от своего дома, а проводник и мул были отпущены; слуги Зенона не было дома; пешком к себе Нефора не могла возвращаться потому, что ноги ее дрожали и подкашивались; кроме того, она стыдилась идти по улицам без покрывала в своем слишком кра-

сивом уборе.

Безотчетно или, может быть, только с одним желанием избежать встреч на улицах, она бросилась через сад к берегу Нила, где стояла у пристани барка Зенона.

Здесь была полная тишина и безлюдье, но, окинувши глазом берег, Нефора заметила невдалеке низкую хижину, сбитую из топтанного тростника, смешанного с нильскою глиной. Она направилась к этому убогому жилищу и постучала рукой в окно. Оттуда выглянул человек, весь измаранный в угольной пыли. Он был египтянин.

Нефора дала ему золотой браслет с своей руки и сказала, чтоб он нашел какое-нибудь средство отвезти ее незаметно в город.

— Пожалуй, я могу это сделать, — отвечал египтянин, принимая ее дар, — если только ты согласишься плыть со мною в моей угольной барке.

— Хорошо, если нет другого способа, я согласна плыть в угольной барке, но я не хочу, чтобы меня в ней видели, а я потеряла мое покрывало.

— Там есть угольный мешок: я тебя прикрою.

— Но это ужасно.

— Да, он грязненек, и если ты его боишься, я

положу на дно барки пустую кадку, и ты можешь согнуться и скрыть под нею свою голову.

Нефора на это согласилась.

Угольщик исполнил все, за что взялся, и Нефора совершила продолжительное и неудобное передвижение по Нилу в тяжелой и грязной угольной толстодонной барке, лежа под угольной кадкой. Едва лишь к вечеру достигла она своего жилища, куда взошла, дождавшись темноты, вся перемазанная грязью и угольной пылью. Нефора, разумеется, удивила всех рабов и рабынь своим возвращением в таком плачевно-бедственном виде и была в ужасном расстройстве; она сейчас же вымылась и слегла в постель, а ночью у нее началась горячка: она срывалась с кровати и начинала неистово бегать и плакать, рвала на себе свои прекрасные черные кудри, царапала щеки и, забыв осторожность, кричала:

— Мщенье Зенону! мщенье всем христианам!

Испуганные рабыни сочли ее за одержимую злым духом и призвали к ней знатную египетскую вспомогательную бабу Бубасту, которая долго смотрела в лицо ей и слушала ее безумные крики, а потом сказала Нефоре:

— Я вижу, какой-то змей уязвил твое сердце… Скажи мне, кто смел пренебречь твоею красо-

той?

— О да, я пренебрежена, — отвечала Нефора, — и я должна раздавить этого змея.

— Так и будет. Царь Амазис мудро изрек, что яд обиженной женщины острее змеиного яда. Кому хочешь мстить?

— Христианскому Богу и всем христианам в Египте.

— Хорошо. Я сама горю мщением ко всем пришельцам в Египте. Мое имя — баба Бубаста, я нынче старуха, лекарка; но я была молода и любила; мой муж томится давно в каменоломнях Пилака, и сердце мое каждый день слышит, как он двигает гранитные глыбы, в цепях, которые наложил на него жестокий правитель… О, я ненавижу пришельцев и новую веру, я рада им мстить: я пойду искать яд и приду к тебе, госпожа, когда яд мой поспеет.

Происшествие с Зеноном имело последствием то, что ни одна из женщин, для которых он спешил окончить заказы, не получили ожидаемых уборов к палестре. Это была первая неисправность с его стороны, и служитель Зенона, перс, отнес щеголихам их камни и золото, объявив, что его господин, славный художник Зенон, имел большое несчастье потерять глаз и теперь долго

не надеется возвратить себе способность к работе. Потом перс явился также к Нефоре и доставил ей ее покрывало и ларец с ее драгоценностями.

Нефора была не рада возвращению своих вещей, потому что это заставляло ее опасаться: не откроется ли ее участие в ослеплении глаза Зенона, но перс не сказал ей ни слова, и она больше ниоткуда не слыхала ничего о Зеноне.

И художник и слуга его хранили о всем происшедшем молчание. Слуга, по всей вероятности, и вовсе не знал, как это несчастье случилось с Зеноном. Нефора никуда не выходила из своего дома, но в душе ее по-прежнему горели в темном смешении обида отвергнутой страсти и жажда отомстить за себя Зенону. Она не знала только, какое бы измыслить ему самое жестокое мщение. Она не раз вспоминала о той египетской знахарке, бабе Бу баете, которая обещала ей дать страшное средство отомстить ненавистным для них христианам, но думала, что Бу баста сказала это слово ей просто в утеху и потом позабыла о своем обещании. Но это было не так: старая египтянка ждала только времени и не упустила случая воспользоваться им, как только к тому представилась возможность.

Глава девятая

Прошел год. В это время много людей родилось и много умерло; одни дела людские вновь замышлялись, другие были окончены и позабыты. Было забыто и то, как к прошлым палестрам некстати и неизвестно от какого несчастья окривел всем в Александрии известный красавец, художник Зенон златокузнец. Он долго болел, но потом поправился и теперь носил через голову на одном глазе голубую повязку, которая не только не безобразила его лица, но, казалось, придавала ему еще новую привлекательность. Зенон и при одном глазе работал так же изящно, как прежде, и опять все с тою же неизменною добросовестностью, которою дорожил ранее. Теперь он бы мог успеть сделать желанный убор для Нефоры, но антиохийка, разумеется, не обращалась ни с каким заказом к Зенону.

С нею с тех пор тоже кое-что случилось. Красота и богатство Нефоры не оставляли ее в затмении, и старый правитель Александрии, человек жадный и исполненный многих низких страстей, пожелал соединить Нефору браком с своим старшим сыном, который имел столь малый ум, что,

побывав во многих отдаленных странах и истратив на это путешествие большое богатство, по возвращении своем не умел рассказать ни о чем им виденном, кроме как о величине яйца птицы строфокамила[96]. Отец, не желая второй раз награждать глупого сына, искал обеспечить его огромным богатством Нефоры посредством брака с нею, и Нефора, к совершенному удивлению многих, отвечала согласием на это искательство; но вскоре за тем, когда дала уже слово, она начала откладывать свадьбу день за день и не только сказывалась нездоровою, но и в самом деле сильно разнемоглась, и ни один из лекарей, которых присылал к ней правитель, не мог узнать, что у нее за болезнь и какими лекарствами можно помочь ей.

Она ни на что особенно в своем здоровье не жаловалась, но вся изнемогала, лицо ее худело, глаза блекли, — она не занималась ни нарядами, ни плетением волос, не надевала драгоценностей и не посещала знакомых и даже мало была в своих комнатах. Ей было несносно под крышей, и она искала уединения в саду, где все под стать ее расположению было грустно и как бы дремало:

---

[96] Примечания: 96
Страуса.

фонтан бил лениво, пестрые бабочки перелетали с одного цветка на другой тоже лениво; но скоро и это начало беспокоить Нефору. Но вот настала еще иная пора. Садовые акантусы и желтые мимозы, живые ограды из разноцветной сирени, жасмина и роз, высокие пальмы, акации и бальзамовые деревья — все цвело, благоухало и жужжало, наполненное кипучею жизнью насекомых. Этот прилив жизни стал иначе смущать и тревожить Нефору; ей казалось даже, что золотые рыбки в каменном бассейне фонтана слишком живо и громко плескались. Нефора удалялась к обширному огороду и там, часто останавливаясь над грядами махрового мака, срывала с него пышные цветы и, обрывая лепестки их, клала их на ладонь, дула на них и ударяла другою ладонью, шепча тихо устами: «полюбит» или «нет»? И если маковый лепесток разрывался с треском, она улыбалась и расцветала душою, была весела, ела, спала и дарила наряды служанкам, но жениха своего к себе не впускала; если же лепесток вяло сжимался у ней между ладоней, она его сбрасывала с рук и тут же сама садилась на землю и долго и горько плакала навзрыд, как ребенок. Служанки не раз находили Нефору лежащею на черной земле между больших янтарных шаров,

какими казались созревшие ароматные дыни, и отсюда служанки приносили свою госпожу домой в бесчувственном состоянии. Сначала они давали знать о тяжких припадках Нефоры правителю, и тот тотчас же присылал врачей и своего сына, но как искусство врачей оказывалось бессильным, а сына правителя Нефора совсем не желала видеть и даже тяготилась его приближением к ней издалека, то женщины, по суеверию своему, при новом жестоком припадке Нефоры опять призвали к ней бородатую бабу Бубасту с плоским лбом и большими ушами.

Баба омыла лицо ей нильскою водой и сказала.

— Яд, который змей излил в твое сердце, жесток, но ты должна быть сильна, чтоб отмстить и ему и всем христианам. Приближается время отмщения: старые боги Египта приходят нам на помощь, чтобы сгубить ненавистную новую веру. Мщение пришельцам пришло, близок конец для всех христиан в Александрии.

— Всех? — задумчиво переспросила Нефора.

— О да, всех или как можно больше, в том числе ведь будет раздавлен и змей, который отравил твою жизнь.

Нефора посмотрела на плоский лоб и на уши бабы Бубасты, и вспомнила другие лица старых

египтян, ненавидевших христианскую веру, и, содрогнувшись, сказала:

— Я желаю отомстить за себя; но когда ты говоришь со мной об отмщении, мне страшно слушать. Ты стара — за что тебе их так ненавидеть?

— Ого!.. Я стара!.. Это правда, — отвечала, покачав головой, Бубаста, причем длинные и широкие серьги в ее ушах запрыгали. — Я стара, но я сказала тебе, мой старый муж томится в каменоломнях, я ем хлеб, который зарабатываю себе моими руками, и мои сыновья и сыновья моих дочерей тоже трудятся — из них есть ткачи и канатчики, и кожевенники, и все они едва питались своими трудами, а христиане теперь завели у себя мастерские в особых огражденных местах, где они молятся, а другие их за это кормят, и они на даровом хлебе берут работу дешевле нашего… Наши руки не могут более доставать работою столько, сколько нужно на пропитание… Проклятие им, пора с ними расчесться… Старый Пеох видел, как черный ибис плясал на берегу, глядясь в воду. Запляшут они — скоро запляшут! Время отмщения близко. Цари Египта проснутся и встанут в своих пирамидах, скрепленных кровавым потом своих прежних рабов… Замечай… скоро

уж водная ночь [97], а наш Нил не хочет поднять своих вод, чтобы оросить в этот год нивы Египта. Глаза всех людей напрасно следят на раскаленном небе за полетом голубя с радостною вестью с верховьев, что вода начинает подниматься в Мемфисе…

— Да, — продолжала Бубаста, схватывая нежную руку Нефорис своей сильною и грубою рукой, — да, вода не поднимается. Цари Египта, которые спят в пирамидах Гизеха, не пускают к нам Нил за то, что мы дали волю жить у нас пришельцам, людям разных вер и особенно христианам, у которых ленивые люди находят себе пропитание в их общинах… Им хорошо, и они мешают нам делать работу за настоящую цену. Смерть им — смерть без пощады всем им, спускающим цену! Они слишком усилились, они завели здесь старейшин, — называют одного патриархом, другого епископом, — вера их входит в моду, и скоро, быть может, все знатные люди станут держаться их веры… но ты меня вовсе не слушаешь — тебе все равно, какие боги управляют Египтом, но народу нужно, чтобы с ним в добром согласии жил старый Нил. Когда Нил

---

[97] Примечания: 97

«Водная ночь» — 27 июня. — *Прим. авт.*

разольется и оросит нивы Египта, тогда исчезнет унылость народа; тогда все пристани в устьях заблещут яркими флагами чужих кораблей; войдут большие египетские суда с отрадными изображениями ибисовых голов, и понесутся далеко песни звонкоголосых певцов с Дельты; для наших красавиц привезут роскошные ткани из Мальты, из Сардинии камни, с Кипра мед и вино, от эллинов масло, мастику и изделия из бронзы, и пестрые паруса из веселого Тира, и ливанские кедры, без которых нет материала для строек в безлесном Египте; а от нас купят дорогою ценой хлеб и тонкий папирус, и кружева из Саиса, и мемфисские колесницы, которых нет прочнее и легче на свете… Но не разливается Нил, и вот, вместо всего этого оживления нынче все охватило сном смерти: река что день больше мелеет — начинается общий страх голода и люди уже стали болеть за Мемфисом. Вчера еще прилетел голубь с известием, что за Сауной и в Фивах пошли темные пятна на людях — страшное бедствие близится; через три дня настанет водная ночь, и если в эти три дня и три ночи не захочет священный наш Нил подниматься, то мы поднимем народ и все пойдем к правителю, чтобы он повелел выйти от нас христианам, или мы сбросим их в Нил, и

тогда это будет для всех для них отмщение. Но ведь ты, может быть, не хотела бы, чтобы они все до одного потонули? Ты одного, может быть, хотела бы оставить на свете?

— Да, — отвечала Нефора, — я бы хотела оставить одного из христиан дольше других на земле, но для того только, чтобы он видел посрамление и гибель других и только тогда бы погиб, когда я наслажусь над ним моим мщением.

— Расскажи мне, чем он оскорбил тебя, и я пойду к тайным жрецам, и мы тогда изберем ему страшное мщение, а твоим словом дорожит правитель; ты изукрась себя лучшим убором, пойди к нему, плачь за народ наш и проси его сделать, что мы тебе скажем, и мщение твое совершится над тем, кто тебя оскорбил, и над всеми людьми его веры.

Нефора же находилась в таком страшном расстройстве, что как бы в забытьи рассказала бабе Бубасте все, что было у ней год назад в жилище Зенона.

Баба Бубаста, выслушав повесть, всплеснула руками, и серьги у ней опять зазвенели, болтаясь по щекам.

— Боги! — воскликнула баба, — виданное ли дело, чтобы человек чужеверец смел бы так дерзко

отвергнуть квитовое яблоко[98], которое подала ему такая красивая женщина? Отказаться от этого для какого-то учителя, который отнимает у людей лучшие сладости жизни! Это безумие! Ты отмщена будешь страшно, Нефора, и едва только три дня пройдет, как это случится. Будь дома и верь мне, что как я сказала, так и будет.

С этим баба Бубаста покрылась темным коричневым платом и удалилась.

Глава десятая

Баба Бубаста простилась с Нефорой и, опираясь на палку, прошла через Ворота Луны и Хептастаду на остров Фаррос, где на северном берегу у пристани Морских Разбойников жили звездочеты — любители всякой мудрости, о которых говорили, что они знают тайные науки и могут видеть то, что от прочих обыкновенных людей сокрыто в природе. Здесь, на этом Фарросе, ближе к молу Александра, жили те, которые переводили на греческий язык священные книги евреев, и здесь же, ближе к пристани Разбойников, жили те, которые считали библейские книги за со-

---

[98] Примечания: 98
Айва — символ любви в Древнем Египте.

брание недостойных жидовских выдумок. И вот тут-то, в отдалении, у самого северного берега, жил одиноко в просторной пещере темнолицый мемфит, по имени Пеох. Это был старый, типический египтянин — старый потомок старых понтифов, человек с плоским лбом, выдающимися скулами и очень большими ушами. Он был больной человек: его сводил в комок ревматизм и безобразил катар век; глаза его слезились и впали, а ресницы растопырились, и беловатый круг отделял яблоко глаза от век. Современные египтяне из черни считали Пеоха за большого ревнителя веры и ходили к нему за советами, как к человеку, наделенному остротою проницательного ума, изощренного непримиримою ненавистью ко всему, что несогласно со стариною. Пеох одинаково непримиримо ненавидел все веры, которые были несогласны с верой древних египтян, и готов был вредить каждому иноверцу; но как в то время, о котором идет наш рассказ, охотнее всех прочих преследовали христиан, то Пеох изощрил себя и на то, как можно на всяком шагу и на всякий раз сделать досаду и зло христианам. Это же тогда было и нетрудно, ибо поводы к тому, чтобы нападать на христиан и грабить их, находились ежечасно. Какие бы где

ни случились общественные бедствия: пожары или землетрясения, потопление судов и обвалы путей, неурожаи или повальные болезни — все это считали случившимся по вине христиан. К их обвинению равно удобно служили и сильные разливы Тибра в Риме и недостаточный подъем вод в Ниле в Египте; равно к их же винам относили и всякие иные редкие и необыкновенные явления в природе. Все неблагоприятное принимали как знак неудовольствия богов, обижавшихся будто на то, что теперь среди их давних поклонников живут иноверные люди, которые не воздают старым богам поклонения, а молятся как-то иначе, по-своему, — почитают какого-то распятого Назареянина и совершают что-то таинственное его кровью. На что нужна им эта кровь? Они говорят, будто они ею спасаются от своих врагов. Тогда кто враги их? Очевидно, это те, кто не разделяет их странной веры. Следовательно, вот кого они и хотят пересилить и погублять кровью распятого. И им это удается: говорят, что они брызгают кровь по ветру, и оттого на людях выступают прыщи и сыпи, гноятся глаза, пухнут подшейные железы и гниет в глотках; они капнут каплю крови на землю, и подымется мошкара, которая точит все огурцы и дыни и набивается детям во рты и в

глаза, и все огурцы и дыни пропадают и тлеют, и цыплята, которые их наклюются, шелудивеют, теряют перья и зачичкаются, а у людей глаза заслезятся и станут слепнуть…

И когда только случались обычные здесь несчастья в таком роде, сейчас всех охватывал суеверный страх и все искали причины несчастия на христианах и затевали на них погромы — людей били, а имущество расхищали и разбрасывали. Правители знали, что христиане только терпимы, но никому не желанны, и потому смотрели на бесчинства над ними сквозь пальцы; они не только не защищали горячо людей христианской веры, но даже нередко радовались, что нищие и раздраженные невежды, вместо того чтоб негодовать на безучастное правительство, срывали на христианах свой гнев и тем утоляли свое раздражение. Если же случалось, что христиан успевали сильно побить и разорить, тогда правители унимали победителей и ссылали их зачинщиков в каменоломни, а от награбленного ими имущества сами пользовались доброю частью. От высших же и далеких властей местные правители строгой ответственности за христиан не опасались, потому что люди эти были в презрении. Если и были случаи, что за обиды,

сделанные христианам, спрашивали объяснений, то областные правители всегда находили много причин для оправдания, а чаще всего представляли, что христиане сами виноваты, что они имеют какие-то таинственные обряды, особятся от всех прочих и возбуждают тем против себя всеобщую ненависть. Таким образом, снисхождение к народным бесчинствам над христианами часто принималось за благоразумную государственную терпимость, которую областной наместник предотвращал будто большее бедствие, способное, пожалуй, перейти в угрожающее политическое восстание.

Христиане не считались столь драгоценными, чтобы из-за них строго взыскивать, и потому погромы, случавшиеся в общинах отдаленных христиан, нередко с тяжкими мучительствами, убийствами и с самым обидным издевательством над их верою, проходили без всяких наказаний или с наказаниями столь легкими, что над ними смеялись. Чаще же погромы даже совсем оставались неизвестными в Византии и в Риме.

Глава одиннадцатая

Бунты и восстания всего легче затеваются при унынии и страхе.

Когда вода в Ниле стояла низко в ту пору года, когда ей уже было время разлиться, тогда по всей стране египетской от Филэ до Александрии ощущалось повсеместное терзательное беспокойство: все страшились бесхлебья и ходили унылые и раздраженные, многие надевали печальные одежды с неподрубленными краями, передвигали пояса с чресл высоко на грудь — к месту вздохов, нетерпеливые женщины рвали на себе волосы, а задумчивые мужчины безмолвно смотрели унылыми глазами с повисшими на ресницах слезами.

При мрачном настроении египетских характеров все это облекало страну в ужас. То самое было и теперь, в пору нашей повести. К тому же положение, как рассказала Бубаста, осложнялось появлением множества болезней. Почтовые голуби, пущенные с верховьев течения реки из Гелиополя, Мемфиса и Фив, приносили в Александрию самые удручающие известия: вся Фиваида и Гептаноммида, и Нижний Египет слились в

одну скорбь и в один стон — люди голодали, слепли, боялись друг друга и искали кого бы сделать ответственным за претерпеваемое бедствие.

Наконец, к удовольствию многих, виновные были найдены, и это, как всегда, были христиане. Правоверные египтяне уже побили в Гелиополе христианских ткачей, и то же досталось колесникам и стекольным выдувальщикам в Мемфисе. И они этого заслужили за то, что они испортили цены ткачам и колесникам, взявшись работать дешевле, чем работают все вольные люди в Египте. Им было можно дешевить, потому что они живут общинами и получают приношения от богатых людей одной с ними веры, но кто живет своим трудом и приношений не получает, тому по такой дешевой цене ни прясть, ни ткать, ни ободья гнуть невозможно. А потому этого терпеть нельзя, это надо остановить, а для того, чтобы остановить, самое простое дело — избить христиан, отнять их имущество, поломать их станки и самих их бросить в воду. Священный Нил, кстати, принимает это за жертвоприношение, и у старых людей есть приметы, что вода в Ниле тогда начинает подниматься.

Теперь было прекрасное время играть на этих страстях.

Баба Бубаста пошла к мемфиту Пеоху за тем, чтобы возвестить ему, что народ в негодовании и что у нее есть лицо, которое пылает местью против христианина и может поставить правителя в такое благоприятное положение, что тот вынужден будет мирволить народным бесчинствам. Пеох сидел в тени, прислонясь спиною к скале, и выслушивал то, что, стоя перед ним, говорила ему Бубаста. Он, впрочем, и сам уже знал о всеобщем унынии оттого, что долго не начинается разлив Нила, но его обрадовало, что Бубаста заручилась содействием Нефоры, которая может обезоружить правителя, и всякие издевки над христианами сойдут у египтян с рук, не причиня им никаких жестоких возмездий.

— Ты умная женщина, — отвечал Пеох. — Эти люди должны пострадать за наши несчастия.

— Да, но как это начать? Ты ведь повсюду славен, мудрый Пеох; ты за своею лампадой прочел все священные свитки; ты знаешь и свет нашей истинной веры, и знаешь тоже всю ложь всех прочих учений, а мы чужих вер не знаем — мы только от чистого сердца их ненавидим. Будь головой на плечах, под которыми трепещет и поет народное сердце священного Кемми: научи нас, что надобно делать, чтобы христиане полу-

чили всесветный позор и безвозвратную гибель? Скажи нам, что такое мы могли бы требовать от христиан, чтобы это было в их же законе и чтобы могло показать всем бессилье их веры и посрамить их?

Пеох улыбнулся, погладил рукой грязного прирученного ихневмона[99] и сказал:

— Хорошо, я вам покажу, как посадить лягушку на дерево, но смотрите вы: уже долой с дерева ее не спустите!

— О, мы ее не спустим!

Глава двенадцатая

Старый Пеох посмотрел в молчании в свою лампаду и сказал бабе Бубаете:

— Ты не ложно сказала, Бу баста: я действительно знаю и свою правую веру, и все суеверия чужие, и всех богов суеверных. Я могу судить и о эллинском Зевсе, и об Ормузде и Аримане фарсийских, и о Егове, мстительном боге бывших рабов наших — евреев, а также и о том бедняке, который был распят и которого почитают за бога себе христиане. Мы их уловим на его же словах:

---

[99] Примечания: 99
Африканский мангуст.

он говорил, что кто будет верить как он учил, то такой человек если скажет горе: «сдвинься», то будто гора тронется с места и бросится в воду. С кровли правителя вашего по направлению к закату видна гора Адер. Если христиане добры, то пусть они для спасения всех умолят своего бога, чтобы Адер сошла с своего места и, погрузившись в Нил, стала плотиной течению. Тогда воды Нила подымутся вверх и оросят изгоревшие нивы. Если же христиане не сделают так, чтобы стронулась гора Адер и загородила течение Нила, это им будет вина. Тогда всякому видно станет, что или вера их — ложь, или они не хотят отвратить общего бедствия, и тогда пусть пронесутся в Александрии римские крики: «Christianos ad leones!»[100]

— Ты мудрый, ты очень мудрый, Пеох, — отвечала, простерши к Пеоху руки и опять зазвонивши серьгами, баба Бубаста. — Народ наш завтра же пойдет к правителю требовать, чтобы он заставил христиан сдвинуть гору.

И с этими словами баба Бубаста простилась с мемфитом Пеохом и побежала к тем из египтян, кого знала за самых больших коноводов народ-

---

[100] Примечания: 100
Христиан ко львам! (лат.)

ных, и подбивала их, чтобы они внушали народу, что в неразлитии Нила виновны христиане.

Скоро от этого сделалось всеобщее волнение, о котором тотчас же узнал правитель, и оно его очень обеспокоило, так как он не знал, чем его утишить. Баба же Бубаста побежала к Нефоре и, распалив в ней хитрыми словами оскорбление и ревность, убедила ее идти к правителю и просить его, чтобы он снизошел к горю народа и к его надежде получить облегчение через молитву христиан, которая может двинуть гору и запрудить ею Нил, чтобы вода поднялась и оросила пажити.

Нефора, в которой быстро воспламенялись страсти и сменялись движения, легко поддалась этим словам и, скоро одевшись с большою пышностью, поспешила в дом правителя, чтобы исполнить то, чему ее научила баба Бу баста.

Глава тринадцатая

Правитель в это время находился в смущении от дошедших до него слухов о волнении в народе. Бу баста успела взбунтовать всю александрийскую чернь рассказами о вине христиан, и многие, по ее научению, побежали на Фаррос

к мемфиту Пеоху, чтобы услыхать от него подтверждение слов Бубасты, а другие собрались в огромном числе и двинулись к дому правителя.

Когда Нефора приблизилась к дому этого вельможи, она увидела густую толпу людей, окруживших плотною массой его палаты. Огромная толпа поражала своею массой и своею пестротой: она состояла из купцов в белых одеждах с разноцветною бахромой и страшного множества полунагих кирпичников, горшечников, рыбаков, лодочников, ткачей, шерстобитов, благовонщиков, листопродавцев, рогожников, зерночистителей, Масленников, мусорщиков, омывателей ног, опахальщиков и стекольных выдувальщиков. У большинства этих людей все одеяние состояло из одних коротких фартуков или кое-каких лохмотков, подвешенных на узеньких поясочках. Это были люди, страшные своею решимостью и тем, что им терять нечего. С ними здесь было их все, — при них находились и их жены, пряхи в коротких накидках, и совсем голые дети, и собаки, и кошки. Особенно много было детей. Из них одних, которые меньше, женщины несли на своих плечах или у груди, а других, постарше, тащили за собою за руки. Между маленькими детьми у многих глаза были залиты гноем, и все эти дети

жалобно кричали и плакали, а те, которые были постарше, беспрестанно толкались, ссорились и дрались между собою за объедки. Множество собак и кошек, которые не отставали от своих хозяев, делали то же самое: они шныряли под ногами и ощетинивались друг на друга, то завывая, то фыркая и заводя между собою ожесточенные схватки. Нои этого было мало. Как бы нарочно для увеличения шума и усиления тревожности в нескольких местах из толпы раздавались призывные звуки: здесь храпела бактрийская боевая труба, на нее откликался гудением сирийский бубен, а в третьем месте колотил арийский барабан. Все это и перекликалось, и сзывало еще большее скопление народа. Биченосцы правителя в желтых туниках и в высоких колпаках напрасно махали своими раскрашенными в клетку палками. Сильные шерстобиты или не обращали на них никакого внимания, или даже переламывали их палки и швыряли обломки в лицо биченосцам.

Все это волнение покрывалось общим воплем, в котором только иногда можно было уловить отдельные слова:

— Нил не поднимает вод!.. Мы погибаем от голода… Христиане перебивают работы… Хорошо

им дешевить, когда они живут подаянием!.. Пускай же они за нас молятся... Пошли их сдвинуть в Нил гору, чтобы река разлилась!

Нефора с величайшим трудом едва могла проникнуть в своих носилках через эту толпу. Главный вход в дом был закрыт, и она вошла в чертоги правителя через известную ей потаенную дверь, которую открыл ей хорошо знавший ее привратник, после чего и эта дверь опять тотчас же была заперта. Стража со всех сторон охраняла все входы.

Правитель находился в большом смущении и перепуге. Он не знал, что ему делать: отражать народ силою он не мог, а снизойти к неблагоразумному требованию черни считал за недостойное. Правителя окружала вся его семья, и тут же в среднем покое был его глупый сын, толстоносый Дуназ, и его ближайшие подначальные лица: все они подавали ему различные советы, но он все их мнения слушал, но ни на что не решался. Увидев же входящую Нефору, он обрадовался ее приходу и живо воскликнул:

— Вот дорогая нежданная гостья, чей приятный приход приносит мне радость! О, как я тебе благодарен, Нефора, что ты решилась навестить дом мой в такую тревожную и досадительную мину-

ту! Этим ты доказала мне свою дружбу, и я прошу тебя сказать мне: что ты думаешь обо всем происходящем среди глупой и презренной черни? Я знаю, что тебе дан острый ум, и я хочу на него полагаться: я даю тебе при всех мое слово, что я решусь только на то, что ты мне присоветуешь.

Нефора отвечала, что ей известно все, что происходит, и что она не находит в этом положении ничего безысходного.

— Что же бы ты сделала на моем месте?

— Я бы их всех обманула.

— Прекрасно; но как это сделать?

— Исполни их желание: вопроси христиан, могут ли они своею верой сдвинуть гору и положить ее в Нил, пока он разольется от Филэ и до моря.

— Полно, Нефора, кто ж может заставить двигаться горы?

— Христиане, правитель, могут. Старый Пеох, который знает все веры, сам это читал в их христианском учении.

— Старый Пеох!.. Он это все и наделал в глупом народе, и, клянусь, он достоин настоящего египетского удара деревянным колом в упрямый затылок.

— Тебе что за дело? Пускай и Пеох получит свое в свое время.

— А если христиане не сдвинут горы?

— Что ж за беда? Народ над ними слегка посмеется, может быть, их даже немножко и поколотит. Им это будет урок, чтобы они не кичились… Они станут скромнее, а ни в Византии, ни в Риме за них не станут сильно вступаться. Народ в огорчении своем ищет, на ком бы сорвать это горе, и на мысль ему пришли христиане. Их ведь пока здесь немного, и они не в великом почете… Дай их народу! Ты даже должен так сделать, чтобы не вызвать бунт повсеместно, потому что теперь почтовые голуби, конечно, полетели уже в Он, в Мемфис, и в Аканф, и в Гермополь, и в Абид, и в Фивы. Поверь мне, что вскоре восстание охватит целый Египет, и тогда будут большие несчастия, которых тебе не простит император, и ты будешь смещен. Предотврати же малою уступкой и малою жертвой очень великие беды. А если ты этого не хочешь, то и я не хочу исполнять данного слова и не пойду за твоего сына Дуназа.

Рассуждение Нефоры было согласно с тем, что думал и сам правитель. Он и сам не видал никакого другого выхода и готов был на уступку, но еще продолжал немножко колебаться, как вдруг случилось новое обстоятельство, которое понудило правителя подчиниться внушениям Нефоры.

В то самое время, как Нефора с ним говорила, на площади, со стороны Игл Клеопатры, показались три замечательные фигуры, которых и вид и движения — все было необыкновенно.

Это были три человека, из которых двое очень высокого роста, а третий толстяк. Все они были в длинных и тонких белых одеждах, в широких шейных украшениях и головных повязках, гладко прилегающих ко лбу, к вискам и к пышным черным фальшивым локонам, достигавшим до самых их спин. Темные лица их были спокойны и серьезны, а походка их тверда и величественна. В руках у каждого из трех были длинные посохи, у двух, которые шли по краям, посохи были из пахучего дерева с неочищенною корой, и на каждом посохе наверху белый и голубой цветок лотоса; но у того, который шел в середине, посох был из серебра, а наверху из золота изображение нильского крокодила с раскрытою пастью и с перьями страуса. Кроме того, на груди у него сиял священный амулет из сапфира. От их длинных одежд, фальшивых волос и от всего, что было при них, распространялся чрезмерно сильный запах мускуса.

Это были жрецы, «столпы нерушимой веры народной», над которой отовсюду надвигались

давления чужеземной образованности. Вавилоняне и римляне им были ненавистны почти вровне так же, как греки.

Глава четырнадцатая

Толпа, увидев жрецов, тотчас же расступилась перед ними, и они прошли через нее совершенно свободно. Чего никакими усилиями не могли достичь правительские биченосцы, то вдруг сделалось само собою при появлении длинноволосых париков и костыля с разинутою пастью крокодила. Жрецы шли через толпу как по улице, ни до кого не касаясь; они даже не поднимали кверху своих опущенных и полуприкрытых веками глаз. Движения их были сурово сдержанны и исполнены удивительной плавности: жрецы точно не входили, а вплыли на широкое мраморное крыльцо правителевых палат и прямо приткнулись вплотную телом и лицами к его тяжелым бронзовым дверям. Все трое враз они ударили в эти двери своими посохами и остановились, не шевелясь и не повторяя удара. Они точно влипли в медь и как будто знали, что они должны вскоре ее проникнуть на какой-то всенизвергающей волне. Волна эта неслась за ними и несла их.

Народ хлынул за своими жрецами и напер так сильно, что мгновенно сдавил и себя и жрецов. Раздались страшные крики одних, которые наступали, и других, которых в толпе давили.

Этот крик не то ужаснул, не то ободрил бывших в доме правителя. Глупый сын правителя, толстолобый Дуназ, даже широко оскалил зубы и, смеясь, сказал:

— Ага! Вот им и конец!

— Кому? — спросила Нефора.

— Тем, от которых так сильно пахнет мускусом, что я даже здесь слышу через окна этот запах. Где мускус, там всегда недалека колесница смерти.

— Да, это правда, — отвечала Нефора и указала рукою в окно, из которого теперь можно было видеть, что в том конце площади, между Игл Клеопатры, где за минуту стояли жрецы, теперь показался стенобойный таран на колесах, и народ бросился, чтобы подпрягаться к канатам и тащить стенобой к правительским бронзовым дверям.

Дуназ, и его отец, и все остолбенели, а Нефора махнула из окна своим голубым покрывалом, и когда после этого знака крик на мгновенье затих, она сказала народу:

— Отступите с крыльца… Правитель сейчас

примет ваших жрецов и сделает все, что можно сделать, чтобы Нил скорее разлился.

Народ отступил от крыльца, а жрецы вошли в открытые для них двери и через малое время вышли из дома правителя и объявили собравшимся людям, что правитель сейчас же пошлет к христианскому патриарху и повелит ему исполнить то, о чем просит встревоженный народ, то есть сделать общее моление о том, чтобы сдвинуть гору.

Люди послушались жрецов: опять на иной лад захрапела труба, загудел бубен и залопотал барабан, и бунтовщики стали расходиться. Площадь опустела, и толпы отодвинулись к окраинам, за Некропольские ворота и к Лохиасу, но возбуждение в духе оставалось по-прежнему и ежеминутно снова готово было ожесточиться и проявить себя. Люди сидели кучками за ристалищем и по берегам канала и ожидали вестей, что будет сделано по их просьбе. Почтовые голуби действительно были пущены жрецами, как предполагала Нефора, и несли возбудительные полоски тонкого папируса в Он, Мемфис, Абид и Фивы, до Карнака и Луксора. Александрийские вести быстро долетели до ушей вещей статуи Мемнона, и Амгиготеп заговорил на рассвете.

Возбуждение в Александрии только временно было сдержано уступчивостью правителя, но оно не было угашено, и правитель теперь находил за самое лучшее действовать не прямо, а с хитростью: он в одно и то же время послал императору донесение о беспорядках, которые произвела чернь, и просил поддержать его присылкою вспомогательной военной силы, а в ожидании этого пособия решился мирволить народным требованиям настолько, чтобы пожертвовать им спокойствием и, может быть, жизнью нескольких христиан. Он знал, что христиане не пользовались особым расположением у правительства, которое еще склонно было почитать их за людей, вредных общественному благоустройству; сам же правитель ненавидел александрийского Патриарха, который был очень умный и ловкий человек, имел в столице могущественных друзей и крепко удерживал их расположение посредством таких александрийских пурпуровых ковров, о которых еще Феокрит писал, что они «нежнее сна и легче пуха».

Эти ковры делались руками христиан, живших в общине на общественные приношения, и потому обходились Патриарху гораздо дешевле, чем мог иметь их от вольных мастеров правитель.

Поэтому им было трудно равняться в приношениях и в жертвах.

Вообще правитель давно опасался возраставших средств Патриарха и, завидуя ему, досадовал, что в его руках не было никаких средств превзойти Патриарха, располагавшего такими дарами, которые высоко ценили завоеватели Египта.

Глава пятнадцатая

Чтобы дать удовлетворение взбунтовавшейся черни и сделать затруднительным положение Патриарха, правитель тотчас же позвал одного из своих приближенных, велел ему взять в руки букет цветов и идти к христианскому Патриарху с поручением рассказать ему все, что случилось, и вопросить его: действительно ли есть в учении христиан такое уверение, что по вере их гора может сдвинуться и идти в воду? Если же Патриарх скажет, что это есть, то просить Патриарха, чтобы он для всеобщего блага всех жителей египетской страны повелел своим пресвитерам начать об этом общее моление и сам принял в том участие.

Патриарх же еще ранее знал обо всем, что происходит в городе, и, имея в свите правителя подкупных людей, которые тоже любили ковры

«нежнее сна и легче пуха», постоянно был ими обо всем извещаем. Так, известился он также заранее и о наряженном к нему посольстве и, в ожидании посла с букетом, удалился в свою пышную баню и, раздевшись, сел в широкую круглую ванну, над которою в потолке пестрым мрамором были выложены слова: «Мы веруем в единое божество Иисуса Христа и в воскресение тела».

Правительский посол застал его в ванне, окруженного аколуфами[101] и отроками, которые держали в руках небольшие сосуды с ароматным нардом[102] и большие легкие опахала из павлиновых перьев, и потому посол был принят не скоро, а ждал долго, стоя в приемной с своим букетом. Когда же это показалось послу слишком продолжительным, то он просил доложить Патриарху, что прислан наспех, и угрожал возвратиться к правителю, не дождавшись ответа.

Патриарх тогда вышел из ванны, вытерся нардом, надел золотые сандалии и, покрывшись белым хитоном, принял посланного, сидя на диване и освежая лицо прохладною водой с ароматом фиалки. Вокруг Патриарха стояли его

---

[101] Примечания: 101
Церковнослужители.

[102] Примечания: 102
Благовонный сок.

аколуфы и отроки, махавшие опахалами. От посла взяли принесенный им по обычаю букет «говорящих цветов», в знак миролюбивости посольства, и писание, в котором правитель изъяснял ему, в чем заключается дело, и потом тут же укорял его за то, что христиане ткачи и ковершики раздражают рабочих, принимая в свои общины всяких ленивых и ничтожных людей, которые приходят просить крещения без всяких убеждений, единственно из-за одного того, чтобы жить в общине на счет верующих, и потом, пользуясь общественными приношениями в виде хлеба, и мяса, и рыб, эти даром накормленные люди могут работать дешевле, чем прочие трудолюбивые мастера, имеющие на своем содержании целые семейства. Из этого правитель выводил всю народную ненависть к христианам, которую он хотя и осуждал в лице бунтовщиков, но не находил у себя средств теперь твердою рукой подавить этот бунт, прежде чем к нему придет подкрепление. А потому, пока обстоятельства изменятся, он просил Патриарха, если вера христианская дает средство сдвинуть гору, то назначить для успокоения волнующихся людей общественное моление у подножия горы Адер, чтобы она пошла с места и, став поперек

течения Нила, сделала запруду, от которой бы образовался повсеместный разлив.

Патриарх же еще раньше обмыслил, что затею, которую выдумал хитрый Пеох, прямо отклонить невозможно; а пока он сидел в своей ванне, на дворе его слуги все приготовили к тому, чтобы он мог сейчас же уехать из города. Послу же он отвечал, что хотя и сам Гомер ошибался, но что для веры нет ничего невозможного, он же, Патриарх, имеет только общее, высшее попечение, а в Александрии им поставлен отдельный епископ, и потому пусть к тому и идут и ему пусть скажут, чтобы он сделал все, что нужно.

Аколуф скоро написал от Патриарха правителю грамоту в этом смысле и вручил это писание послу вместе с букетом из белых роз и персидской сирени из патриаршего сада. Посол взял ответ и цветы и отправился с тем ответом к правителю, а Патриарх сию же минуту оделся, взял свои драгоценности и свою свиту и поскакал на быстрых мулах вон из города через Ворота Солнца, а за стеною повернул к востоку, надеясь в каком-либо из семи нильских гирл найти греческую трирему или быстроходный чужеземный корабль и бежать на нем от возмущенной страны и от коварного правителя, с надеждою отплатить ему

издали за его издевательство.

Правитель почти немедленно же узнал об отбытии Патриарха и страшно разгневался; он послал за ним погоню, но это было бесполезно, потому что никто не знал, куда Патриарх повернул за Воротами Солнца. Тогда правитель вскричал:

— Он недаром привел в ответе своем, что «и Гомер ошибался»; я никак не ожидал того, что он сделал, и ошибся не хуже Гомера.

И затем он позвал воинов и велел им взять епископа и привести его к себе.

Епископ жил далеко на окраине и не знал, что сделал Патриарх.

Когда воины пришли за епископом, то он спокойно играл в шахматы с одной знатной прихожанкой и удивился всему, что услыхал, и начал говорить, что он лицо подчиненное и ничего не смеет без Патриарха; но когда ему сказали, что Патриарх выставил его лицом самостоятельным в Александрии, а сам неизвестно куда уехал, то епископ заплакал.

Послы же не дали ему долго сокрушаться; они взяли и повезли его в закрытой колеснице к правителю, который прямо и бесцеремонно вопросил его: действительно ли в учении христианском сказано, что с христианскою верой

возможно сдвинуть гору? И когда правитель получил в ответ, что упоминание об этом действительно есть, то он не захотел ничего больше слушать, а сказал:

— Вот я тебе назначаю сроку три дня. В эти три дня я дам всем неимущим работу и буду платить им за то, что они станут строить скамьи для сидений и лавки для продавцов вокруг горы Адер, а для вас, христиан, я оставлю свободное место среди всех скамей от горы и до самого Нила. Собери всех своих самых лучших людей, у которых ты знаешь самую крепкую веру, и явитесь там рано утром отныне на третий день. Смотрите, молитесь, как вам по вере вашей надо молиться, но чтобы гора непременно сошла с своего места и опустилась в воду; а если вы этого не сделаете, вам будет худо. Весь народ из Александрии выйдет, чтобы смотреть на вас, и ваше дело — сделать так, чтобы от этого вышло торжество вашей веры или стыд. Если гора пойдет и река поднимется, народ оценит помощь, какую вы окажете всей стране этою услугой. Если же вы гору Адер не сдвинете, то всем ясно будет, что вы не хотели сделать добра, которое можете сделать, и, стало быть, вы не друзья людям, среди которых живете. Тогда я вас защищать не могу, и пусть с вами бу-

дет то, чего вы в глазах народа достойны. Теперь я велю тебя и других старейших ваших до времени строго стеречь, и если вы сами добровольно не пойдете делать моление к горе, то я прикажу вас привести туда подневольно. За ослушание вы испытаете на себе силу гнева скорбящих людей, которых вы раздражили, а я приложу на вас всю строгость кары законной: я возьму все, что вы имеете, в казну императора, а самих вас всех взрослых пошлю в цепях и с колесами на шеях на вечные работы в каменоломни. Да, из вас ни один не будет забыт — вы все, без исключения, пойдете с связанными руками на юг, ближе к земле глупого народа Куш[103], и за поясом у каждого из вас будет заткнут приговор, которым будет определено, по скольку ударов воловьею жилой этого человека будут бить эфиопы каждый день трижды — поутру, в полдень и на ночь. Итак, все вы останетесь там в каменоломнях, пока камениcтая пыль сотлит ваше тело.

Глава шестнадцатая

Окончив эту обидную речь, правитель велел

---

[103] Примечания: 103
Эфиопия.

подать в руки епископа очиненную для писания трость и приказал ему написать ею имена всех известных ему христиан, живущих в Александрии, причем пригрозил, что если хотя одно имя будет утаено, то он поступит с епископом так, как будто он был уже узник в каменоломнях.

Епископ оробел, принял дрожащей рукой трость и в испуге начертал имена всех, кого имел основание почитать христианами, но, несмотря на то что он старался не позабыть ни одного надежного человека, правитель ему не поверил и заставил его поклясться, что он никого не укрыл. Опасаясь ответственности, епископ еще вспоминал и еще много дописывал, но боялся поклясться, не надеясь на свою старую память, и стал плакать. Имени Зенона не было в епископском списке.

Правитель сжалился над епископом и отпустил его, строго сказав:

— Не рыдай. Если ты ошибся и не всех записал, то я тебе это прощу: и Гомер ошибался. Оставь здесь списанье имен твоих христиан и иди собирай этих и других, которых ты мог позабыть; я по три раза на день буду присылать к тебе на двор узнавать, сколько вас соберется, чтобы идти сдвинуть гору. А сейчас пошлю во все концы

города глашатых с трещотками объявить всему народу, что общее желание будет исполнено и пусть никто не унывает, а все пусть собираются идти к горе Адер смотреть, как она сойдет с своего места и запрудит Нил.

Правитель понял свою выгоду и заботился только о поддержании веселых надежд в умах встревоженного и упавшего духом населения, но положение епископа было другое.

Епископ поклонился, сложив в знак покорности на груди свои руки, и вышел, обливаясь слезами. Он не в состоянии был и думать о том, что ему задано и что надо начать делать. Как ему выходить самому и как выводить всех записанных в список на такое испытание, которое коварный и мстивый Пеох выдумал, конечно, только затем, чтобы получить возможность осмеять христианскую веру всенародно в глазах тысяч зрителей?

Волею и неволею прежде всего ему приходило на мысль то, что почел за самое лучшее выше над ним стоящий Патриарх, и это притом казалось самым благоразумным и легким; но ведь тот же самый Патриарх всем советовал помнить, что «и Гомер ошибался».

Епископ решился искать совета самых предан-

ных ему людей и, возвратясь домой, сейчас же рассказал ужасную новость ожидавшей его знатной прихожанке. Эта именитая женщина очень встревожилась и сейчас же разослала рабов к другим знатным прихожанам просить их прийти немедленно в дом ее на необходимый совет. Знатные прихожане скоро собрались и, выслушав рассказ, все пришли в большой ужас, но, вместо того чтобы ободрить епископа благоразумными и острыми советами, они стали укорять его, для чего он написал имена их. Он же отвечал им:

— Неужто вы лучше хотели бы, чтобы я лгал или явился ослушником власти?

Они на это коротко ответили, что это не их дело, и все были унылы и толковали только о том, что коварная выдумка Пеоха грозит ущербом и разорением для всех их имущественных дел и даже самую жизнь их ставит в опасность от разъяренного народа. Кончили же они тем, что стали укорять епископа:

— С какой стати ты переписал одних нас — людей именитых, и теперь одних нас сюда собрал? Это противно вере: перед Богом все люди равны, как знатные, так и незнатные. Мы не хотим гордиться перед незнатными и бедными и ослушаться Божьей воли. Оставь решение до завтрего

утра, и когда у тебя завтра утром на заре ударят в медную доску, мы хотим собраться все вместе с простолюдинами христианской веры — может быть, в их простых умах найдется больше, чем у нас, и веры, и разума, и смелости.

Епископ на это согласился, и когда, после тревожно проведенной засим ночи, ударил утром в доску, то увидел, что двор его стал наполняться чернородьем из Малой Гавани и других отдаленных предместий, но из вчерашней знати, которая хотела здесь сойтись с чернородьем, теперь не было ни одного человека.

Епископ узнал в толпе рабов некоторых из этих отсутствующих и спросил, скоро ли господа их прибудут, но рабы только качали головами и тихо шептали:

— Не жди их напрасно; они не придут. Они теперь уже далеко.

Но епископ все-таки ждал, пока люди на его дворе стали томиться голодом и, подтягивая туже и выше свои пояса, начали щелкать зубами, и, уныло глядя на епископа, все стали просить хлеба. Епископ разослал всех своих аколуфов и опахальщиков, чтобы торопить знатных, но аколуфы и опахальщики возвратились и сказали, что знатных нет никого в городе. Тогда при таком

ужасном известии и при виде томлений народа от голода епископ послал самого любимого своего опахальщика к знатной прихожанке просить ее, чтобы она приходила сама и прислала как можно скорее корзины с хлебом для простонародья, но опахальщик вернулся назад с пустыми руками и сказал, что не застал в доме знатной прихожанки никого, кроме одного болезненного раба, который сообщил ему, что госпожа его минувшей ночью, как только осталась одна, сейчас же собралась и со всеми лучшими из слуг своих выехала ночью на шести колесницах по Канопской улице.

Епископ сдвинул плат, покрывавший его голову, себе на лицо и, всплеснув руками, воскликнул:

— О, какое коварство! Я так ошибся, как и Гомер не мог ошибаться!

Глава семнадцатая

Скорбь епископа о побеге всех именитых друзей была велика, но он не мог предаваться ей долго в отчаянии: собранный на его дворе черный народ настойчиво требовал пищи, и епископ поспешил немедленно распустить со двора народ, пригласив всех опять прийти завтра и обещаясь всем,

что с утра на дворе будут для всех изготовлены в изобилии пища и питье с растворенным вином. Сам же епископ спешно вышел другим выходом, которым двор его соединялся с домом знатной прихожанки, и обошел все ее покои, но нигде не находил никого живого, а везде замечал в покинутых вещах беспорядок и следы торопливых сборов к побегу. Наконец на ларце, в котором лежали шахматы, епископ нашел связанный лентой папирус, а в нем извещение, что госпожа, опасаясь тревожных событий, отбывает на время в Пелузу и увозит с собою свои удобоподвижные драгоценности; а все запасы житниц своих и дома оставляет епископу в его полную власть и употребление.

Тут же в шахматном ларце были положены и ключи от скарбниц и житниц с надписями на слоновых дощечках, под каким ключом что сохраняется.

Это теперь было кстати, потому что отпущенный народ по особым причинам не мог оставить епископский двор. Епископ взял ключи и отослал их домой с опахальщиком, а сам пошел к другим из тех знатных прихожан, которые вчера вечером обиделись, зачем епископ их записал, и разошлись, обещаясь собраться поутру вместе

с простолюдинами, но не собрались. Но из них тоже никого не было дома: все они побросали дома и ключи от скарбниц и от житниц на волю епископа, а сами извещали оставленными записками, что отбывали к портам, кто в Каноп, кто в Саис, кто в Мендес, кто в Пелузу, куда всех раньше устремилась прихожанка.

Обойдя все дома людей знатных, епископ везде заставал одно и то же и набрал такое множество ключей, что едва мог нести их, а опахальщики не спешили к нему на помощь, и когда епископ пришел домой, то уже не мог нигде отыскать ни одного аколуфа, ни опахальщика. Так заразительно и быстро распространялся страх и влечение к побегу, начатое знатными, имевшими наготове мулов и колесницы, и дома за городом, и друзей, и родственников в Саисе и Пелузе, и свои корабли во всех семи нильских гирлах. Зато черный народ, все ткачи, шерстобиты, кирпичники и стекольные выдувальщики были по-прежнему на дворе и кричали, что они голодны и не могут выйти, потому что ворота с улицы заперты и к ним приставлена стража.

Епископ вдруг становился богатым обладателем всего, что покинули ему бежавшие знатные люди; но на что теперь ему было все это богат-

ство, когда оставалось всего лишь два дня до того, когда надо идти сдвигать гору Адер и заграждать ею Нил?

Епископ бросил ткачам и шерстобитам ключи от съестных амбаров и показал потаенный ход на соседний двор, а когда народ устремился туда, чтобы утолять свой голод, епископ швырнул и другие ключи от других скарбниц и житниц на каменный пол и оттолкнул их ногою.

«На что, — думал он, — мне теперь все это изобилие, когда я оставлен всеми именитыми людьми и скоро должен буду претерпеть муку с одними невеждами рыбаками, ткачами и шерстобитами?»

Но вскоре он оправился, встал и быстро пошел в свою конюшню посмотреть, напоен ли и не стоит ли без пищи его мул и крепки ли у его копыт медные подковы?

Стойло было пусто.

Епископ только развел руками… Мул ведь, конечно, не сам своею волей бросил спокойное стойло и ясли, полные сочного корма… Кто ему наложил и епископское седло с бахромой и уздечку с кистями и не позабыл даже шелковой плетки?

Епископ, однако, недолго оставался в этом со-

стоянии, потому что кто-то неожиданно коснулся рукою до его плеча и чей-то беспечный и насмешливый голос сказал ему:

— Ты, верно, пришел сюда посмотреть, крепки ли подковы у твоего мула?

— А тебе что за дело? — отозвался епископ.

— Мне до тебя есть дело, потому что я прислан за тобою от правителя, и при мне здесь есть воины и биченосцы. Правитель разгневан, что ты не доставил ему в течение дня донесений о том, как идет у вас приготовление к тому, чтобы передвинуть верою гору.

Епископ же отвечал:

— Я не имею о чем доносить, потому что от меня все бегут, и, мне кажется, я скоро останусь совершенно один.

— Это не наше дело, — отвечал правительский посол. — Мы пришли за тобой, иди объясняться с правителем.

Сказав это, посол указал мановением глаз на епископа биченосцам, и те сейчас же положили шнуры на запястья его рук и повели его под охраною к правителю.

Глава восемнадцатая

Правитель, согласившись дозволить сделать зрелище из того, как христиане выйдут сдвигать гору, был сам недоволен, что он уступил волнению взбунтовавшейся черни, и искал средства заглушить в себе досаду. Он старался веселиться в сообществе своих приятелей, и в то время, когда к нему повели епископа, правитель вкушал вечернюю трапезу с своею семьей и с именитыми гостями, в числе которых была и Нефора. Все они помещались в большой столовой комнате, которая представляла собою соединение эллинской красоты формы с египетскою пестротой и яркостью красок. Стены были выложены изразцами, разделанными живописью по греческой моде. Краски были изумительно живы. Столовая была совсем без потолка. Он заменялся подвижною шелковою тканью, которая сдвигалась и раздвигалась на кольцах, ходивших на бронзовых прутьях. Днем, когда солнце горело на небе, это полотно было задернуто, а к вечерней трапезе его открывали. Теперь, после знойного дня, ткань была отдернута, и над головами людей, вкушавших яства в этой роскошной столовой, величественно

синело высокое небо с множеством звезд. Свет луны заходил сюда только откосом, серебря один угол покоя.

От канделябров и ламп, горевших на столе, далекое бесконечное пространство вверху казалось черною бездной, в которой звезды висели как огненные шары. Внизу на столе были разнообразные яства и питья; тут стояли и, дымясь, распространяли аппетитный запах огромнейшие жаркие из верблюжьего мяса, красноперые рыбы, драгоценные хиосские подносы и вазы, на которых были красиво уложены отборные фрукты: винные ягоды, финики, виноград и янтарные дыни, нежный сыр на фигурных тарелках из поливанной глины, два превосходно исполненные серебряные улья работы Зенона, наполненные медом, и посередине этих двух ульев работы того же Зенона высокое серебряное украшение, похожее на жертвенник греческих храмов, — все обвитое миртами и розами. Наверху жертвенника дымилась ароматная курильница, и тут же стояла большая серебряная чаша с вином, растворенным водою. Вокруг этой чаши стояли кубки в виде звериных и птичьих голов. Общество было веселое. Были изящные женщины и молодые мужчины; все находились в веселом, остроумном

настроении и шутили насчет того празднества, которое так неожиданно устраивается послезавтра; оно послужит и для успокоения народа и для их развлечения. Христиане, которые осуждены принять страдательную роль, могут себя чувствовать, как им придется. Один кто-то сказал:

— Кто бы какое мнение ни имел о презренных людях, к которым принадлежат наши ткачи и шерстобиты, но должно признаться, что они должны будут доставить для

нас самое необыкновенное увеселение. Ристалища, без сомнения, представляют много изящества и грациозной отваги, но все мы это уже много раз видели, и это утратило новизну. Между тем сдвинуть гору одною верой– это совершенно ново и необыкновенно, и я поднимаю фиал за остроумных ткачей и шерстобитов.

Другой отвечал:

— Чернь всегда останется чернью, и похвалы, которые сейчас сказаны, принадлежат не ей, а старому Пеоху, который живет на Фарросе.

— И это еще не так, — вмешался сын правителя, толстый Дуназ, — всем удовольствием, которое ожидает нас, мы обязаны прекрасной невесте моей Нефоре, потому что это она уговорила моего отца согласиться сделать уступку требованиям

черни и вывести христиан к горе Адер. Какая счастливая мысль! Два дня назад чернь была без работы, а теперь тысячи рук строят там наскоро прекрасный амфитеатр для зрителей, и в городе оживление: все мулы наняты, все пирожники и фруктовщики, рыбаки и продавцы вина в городе готовят в страшном изобилии свои произведения для публики. Завтра туда собираются цветочницы, певцы и фокусники — там будет множество веселых шатров с цветами, питьем и едою, а послезавтра, утром на ранней заре, там будет все население Александрии, чтобы смотреть, как эти смешные люди с их верою в распятого Бога будут сдвигать с места гору и поведут ее в Нил.

— Да, сын мой Дуназ в своих словах приблизился к правде, — отозвался правитель, — но Дуназ еще недостаточно оценил все, что сделала прекрасная Нефора, которую я нетерпеливо жду назвать моею дочерью. Ее ум поистине равен ее чрезвычайной красоте и потому только не превосходит ее, что это уж невозможно. Мы обязаны прелестной Нефоре не только тем, что она доставляет нам и всему народу веселое препровождение времени насчет христиан, но мы ей обязаны и нашею безопасностью.

До сих пор у нас был бы всеобщий бунт, кото-

рому я не мог бы воспрепятствовать с тем малым числом воинов и биченосцев, которых имею в моем распоряжении. Они едва в состоянии сдерживать порядок только при обыкновенных обстоятельствах, а при таком народном волнении, какое вдруг обнаружилось третьего дня и, без сомнения, с быстротою развилось бы повсеместно, эти силы оказались бы ничтожными. К тому же мои расстилатели ковров сегодня утром перехватили голубей, на которых нашли извещения, что огромные толпы рабочего народа двинулись к Александрии из Гермополя, и завтра, без сомнения, мы уже увидим их толстодонные барки. Толпы эти выйдут на берег и ринутся к моим палатам, но скамьи, которые строят теперь амфитеатром у Адера, остановят их и изменят их направление. Гермопольцы не увидят того, что ожидают: в городе нашем нет ни уныния, ни воплей. Люди работают топорами и обойными инструментами; всем им дается высокая плата; ковры и все обойные материи вздорожали вдвое против своей цены; все люди оживились, веселы и работают, а впереди ожидают еще большего веселья, и оно для них будет если не в том, что христиане в самом деле сдвинут для них гору и положат ее поперек Нила, то по крайней мере

всем будет весело смотреть, как эти самохвалы будут напрасно молиться по своему обычаю и потом к вечеру должны будут сознаться в своем бессилии…

— Но тогда народ может броситься на этих людей и произведет кровопролитие, а после опять начнется волнение, которое будет угрожать гибелью всем нам, состоятельным людям, — перебил один из гостей.

— Нет, — отвечал спокойно правитель, — это могло бы случиться в таком разе, если бы к мудрости и богатой жертве великодушной Нефоры не было присоединено частицы и моей старческой опытности в управлении народом. Я не хочу скрыть здесь от вас, что Нефора сделала более, чем вы знаете: она не только убедила меня в благоразумии этой меры, но и дала средства для ее исполнения: казна моя была пуста, и я не мог бы предпринять всех расходов, которые потребовались на то, чтобы дать щедрый заработок всем занятым теперь перестройками людям, но Нефора дала на это средства.

— Возможно ли? Мы этого не знали! — воскликнули гости, обращаясь к Нефоре, которая сидела меж ними в задумчивости и хранила молчание.

— Да, вы этого не знали, — продолжал прави-

тель, — но я вам теперь выдаю ее тайну и вместе с тем открываю мою собственную тайну, которая должна успокоить вас за вашу безопасность и великодушную Нефору за целость истраченных ею на общую пользу значительных денег.

— Я не забочусь об их возвращении, — проронила Нефора.

— Да, ты об этом не думаешь, я верю тебе, но я, к удивлению моему, замечаю однако, что ты сегодня печальна.

— Мое настроение не зависит от денег.

— Верю тебе, но ты скоро будешь моею семьянкой, и я ни за что не допустил бы тебя изнурять свое богатство, если бы не имел твердой надежды возвратить тебе с лихвою все, что ты дала мне за эти издержки. Посрамление, которому подвергнутся у Адера христиане, не принесет гибели никому, кроме самих этих ненавистных суеверов. Народ не будет иметь никакой возможности грабить богатых людей, потому что мною потребован флот с вспомогательным войском, и десять судов в полдень сегодня прошли уже в виду Балбетинского гирла. Паруса их велики, и им ветер попутен, — они идут скоро, и завтра они будут у Канопа, а в то время, когда весь народ из города выйдет смотреть, как христиане пойдут

двигать гору, войска обогнут Лохиас и войдут в город. Возвращающиеся толпы, — каков бы ни был исход дела с горою, — будут остановлены и обезоружены; на другой день над ними будет произведен суд, все главные виновники восстания будут выведены с смертными приговорами за поясом на Гейту и преданы казни, а их имущество взято в казну, и от него отделится то, что нужно, чтобы возвратить издержанные сегодня деньги Нефоры.

— Это прекрасно! Ты мудрый и справедливый правитель, — воскликнули многие разом, — и нам теперь ничто более не мешает предаваться безмятежному веселию в твоем доме, в этой прекрасной столовой, в которую с высоты неба смотрят звезды и, верно, завидуют ясным очам прекрасной Нефоры. Поднимаем фиалы за очи Нефоры и за счастье Дуназа.

Когда же тост был выпит, правитель, улыбнувшись, сказал:

— Веселитесь и пейте, славьте красу и разум Нефоры: никому никакой опасности нет, а смешное для общей забавы уже началось: Патриарх и все сколько-нибудь богатые люди из содержавших христианскую веру бежали, ловкий предатель из епископских слуг известил моего

жезлоносца, что и епископ сейчас сам приходил на свою конюшню, чтобы осмотреть подковы у своего мула… Конечно, и он хотел потребовать наступающею ночью услуг от этого животного, но я этого не допустил, потому что это угрожало опасностью — оставить зрителей без актеров. Я послал людей, чтоб епископа привели сюда, а из города не велел выпускать ни одного христианина, но всех их собирать на епископский двор, откуда все они разом должны будут идти совершать моление у Адера.

В это время жезлоносец доложил правителю о приходе епископа, которого все пировавшие пожелали видеть, и он был введен в столовую и оставлен стоять на ногах перед пирующими за столом гостями, в числе которых была и Нефора. Молодая женщина быстро устремила на старика острые и проницающие взгляды, как будто она хотела прочесть по его лицу что-то такое, на что не давали ответа обстоятельные объяснения правителя.

Глава девятнадцатая

Епископ чувствовал свое унизительное положение и отвечал коротко и неохотно, что и

было понятно, так как все вопросы, которые ему предлагали сам правитель и его гости, очевидно клонились к тому, чтобы усилить и без того затруднительное положение вопрошаемого и сделать предметом насмешек и шуток как его самого, так и тех людей, за веру и упование которых он был здесь представителем. Особенно в этом отличался Дуназ, искавший возможности понравиться Нефоре своею наглостью над беззащитным и потерявшимся стариком; но Дуназ достиг этим совершенно противоположного: Нефоре не нравились его издевательства, может быть, особенно потому, что в них старался отличиться противный ей жених, и она сказала:

— У этого человека на руках строгое дело, и он должен иметь в сборе все свои силы, а потому, если я смею просить, то я бы просила отпустить его к его месту, так как его вид и воображение об участи, ожидающей людей его веры, совсем не располагают меня к веселью.

Епископ услыхал эти слова, взглянул на Нефору и произнес с достоинством:

— Благодарю тебя, сострадательная госпожа, и молюсь, чтобы Бог милосердия совершил для тебя самое благое из твоих желаний.

А Нефора встала с места, позвала свою рабыню,

опустила руку в висевший у ее пояса длинный желтый шелковый кисет и, достав оттуда горсть золота, подала ее епископу с словами:

— Возьми от меня для своих бедных.

— Не беспокойся, — отвечал благодарно, отстраняя ее руку, епископ, — те, которые идут со мною, все приготовились скоро умереть, и нам теперь не надо золота.

— Значит, вы не надеетесь сдвинуть гору? — спросил Дуназ.

Епископ молчал.

— Ты, однако, еще не отчаивайся, — вмешался правитель. — Ты помни слова, что «иногда и Гомер ошибался».

— Я ни в чем не отчаиваюсь.

— Вот это прекрасно, но прослушай, пожалуйста, список, в который ты сам записал всех лучших людей вашей веры, и скажи мне: неужто они все до одного так единомысленны, что разом успели оставить Александрию? Где все они делись?

— Я их не видел и знаю только одно, что дома их пусты.

— Иди же и береги тех остальных, кто остался; ты мне за них отвечаешь. Завтра я пришлю к твоему дому отряд биченосцев, чтобы сопровождать

вас к горе Адер. Иди!

Епископ поклонился и вышел, но Нефора, дав ему отдалиться от прочих, нагнала его у двери и сказала:

— Старик! я должна тебя предупредить: ты ошибся.

— В чем?

Епископ подумал, стараясь припомнить, и ответил:

— Ручаюсь тебе, что я никого с умыслом не скрывал и других христиан не помню.

— Нет, я вижу, что ты одного укрываешь!

— Скажи мне, как его имя?

— Его имя Зенон.

— Зенон!

— Да!.. Он знаменитый художник… Его всякий знает в Александрии, и не знать его невозможно.

— Ах, это кривой Зенон, златокузнец?

— Ты как будто насилу вспомнил его?

— Конечно, так это и есть: я его едва знаю.

— Как! ты едва знаешь Зенона, которого знает вся Александрия?

— Языческая Александрия!

— Почему же только одна «языческая»?

— Он делает ваятельные изображения.

— Но разве это дурно?

— Христианину непристойно этим заниматься.

— Почему же? Разве искусство унижает христианина?

— Так постановил отец Агапит.

— Но ведь это безумно!

— Так постановил отец Агапит.

— Однако все ж Зенон вашей веры?

— Нет, мы его своим не считаем.

— Как нет? Разве он не верит учению Распятого?

— Ты, госпожа, не можешь об этом судить.

— Я сужу по тому, что видела, а я видела большое доказательство тому, что Зенон — христианин. Посылай скорее за Зеноном, спеши за ним сам, зови его с собою.

— Он не пойдет.

— Нет, он пойдет, и если только гора может сдвинуться и пойти, то один Зенон ее и сдвинет. Но чтобы тебя убедить, жди меня: я приду к тебе и расскажу тебе больше.

Епископ ушел и не послал за Зеноном, а знатные гости продолжали пировать, пока в темном небе начали бледнеть звезды и посеребренный луною угол пропал, слившись в один полумрак с остальными частями верхнего карниза. Гости

хотя пили хиосское и фалернское вино в смешении с водой, но чувства их быстро отяжелели. Дуназу показалось раз, что луна исчезла. Он об этом сказал, и над ним посмеялись. Правителю тоже показалось, будто на его лысый череп, разгоряченный вином, капнула холодная капля, но он только посмотрел на небо и, боясь быть смешным, никому не сказал об этом.

Глава двадцатая

Утро следующего дня, который предшествовал сдвиганию горы христианами и вступлению войск для усмирения жителей, было пасмурное, что редко случается в эту пору года в Египте. Дул ветерок, и по небу слегка обозначались зачатки перистых облачков. Людям, которые собирались к Адеру, было легко и удобно отправляться туда и там устраиваться.

От города до Адера, по направлению к Канопскому гирлу Нила, было день пути. Путь этот совершали как прогулку для большого удовольствия. В огромной толпе чисто египетского народа было множество заезжих разностранцев и оседлых чужеземных нашельцев. По дороге люди подвигались бесконечною вереницей; одни

ехали на ослах, другие на верблюдах, третьи в колесницах, запряженных мулами, но всего более было пешеходов. Шли старцы и взрослые мужчины и женщины. Последние тащили с собою нагих детей. Торговцы несли или везли на ручных тележках тяжелые корзины с рыбами, с пряным испеченным мясом, с душистыми пряничными орехами и с овощами, состоявшими большею частью из огромнейших огурцов до фута длиною и из громадных дынь, достигавших до пуда весом. Плоды эти были переложены листьями крапивы величиною в две человеческие ладони. Другие несли на головах огромные поливные сосуды почти в рост человека. Узкие горла этих сосудов были заткнуты тоже свежими листьями крапивы и обвязаны пузырем. В этих сосудах содержалось сирийское вино, которое хотя было и грубо, но на простой вкус нравилось не хуже, чем людям высшего класса нравилось вино из Хиоса или от подошвы Везувия. Пекари двигали перед собою длинные ручные тележки с хлебами, у иных наверху были привязаны таганы, и котлы, и мешки с рисом и чесноком, чтобы варить на месте похлебку. Все собиралось пить и веселиться и торопилось на место, чтобы занять лучшую позицию. С некоторыми были легкие переносные

шатры. Для богачей шатры были уже устроены ранее высланною к Адеру прислугой, а большинство тащило свои легкие шатры на ослах за собою. Особенно выделялись группы, состоявшие из полу нагих плясунов на канате и фокусников, которые тут же на ходу глотали живых змей и делали мимоходом другие удобные представления, но всех больше интересовали собою нарядные цветочницы, вокруг которых неотступно вилась резвая молодежь, увлекаясь прелестями и весельем этих нестрогих и прелестных красавиц. Самые знатные юноши, вырвавшись из города, где их стесняли приличия, здесь чувствовали себя на свободе и не хотели уже ничем стесняться, а, напротив, предавались самым необузданным увлечениям своего возраста и темперамента. Цветочницы все были молодые женщины египетского типа, с плосковатыми лбами, но живые, веселые, иногда остроумные, красивые, с стройным станом, приятно округленными формами и замечательно упругим телом. Все они, как жрицы одного сладострастного культа, были в белых полупрозрачных одеждах с яркими цветными каймами, и одежды эти держались у них только на одном левом плече, оставляя все руки и правую грудь вовсе открытыми. Но, впрочем, и все

остальное их тело сквозило из-под легкой прозрачной материи и раздражало взгляд молодежи, рыскавшей среди них на своих панонских конях, украшенных перьями. Когда приближались к ним эти блестящие молодые люди, цветочницы им улыбались и предлагали им купить у них венки и букеты из апельсинных цветов и фиалок и вместе с тем подбрасывали перед ними квитовое яблоко, служившее символом любви. Юноши плескали от восторга руками, и покупали цветы, и старались поймать и разломить брошенное им квитовое яблоко. Цветочницы подвигались вперед не спеша, останавливались, разбивали наскоро маленькие и очень легкие шелковые шатры, из которых каждый мог укрыть только двух человек. Под этими шатрами оставались на столько времени, сколько нужно было, чтобы съесть вдвоем квитовое яблоко.

Потом маленький шатер снова свертывали и клали на спину осла, юноша отъезжал в сторону на своем панонском коне с остриженною гривой, а цветочница присоединялась к своему табору, где подруги ее встречали рукоплесканиями и снабжали ее новыми цветами и новым целым квитовым яблоком.

Так весело шли, подвигаясь к горе Адер, несмет-

ные толпы всякого рода жителей Александрии, поспешавшие стать у Канопского гирла Нила накануне дня, за которым должна наступить последняя водная ночь. Эти люди хотели прийти заблаговременно, устроиться табором, и пропировать долгий вечер в свежей атмосфере реки, и вкусить здесь все, что им могли предоставить свобода и покров темной ночи.

Знатные люди, которым их положение не дозволяло смешаться с толпою в этом веселом кануне, должны были выехать сюда только вечером, чтобы прибыть на заре и прямо занять места на огромном амфитеатре, построенном из бревен и досок, обитых пестрыми тканями и коврами. Христиан же предположено было выслать под прикрытием воинов и биченосцев в полдень, так, чтоб они прибыли к горе Адер ранее правителя и знатных особ и не имели возможности устроить какой-нибудь фальши, а равно не имели бы основания и жаловаться на то, что им недостаточно дано времени помолиться.

Глава двадцать первая

По возвращении домой после пира у правителя, где Нефора виделась и говорила с епископом, она

бросилась в постель, но, несмотря на поздний час ночи, не могла заснуть: известие о том, что отвергшего ее художника Зенона нет в числе христиан, которые должны явиться передвигателями горы и подвергнуться, по всем вероятиям, всеобщему посмеянию, поразило Нефору и отогнало от нее покой. Значит, все, что она затеяла и устроила для отмщения Зенону, сделано напрасно; Зенона это ничто не коснется, а причинит тревогу и гибель только другим людям, совсем посторонним, которые лично перед Нефорою ни в чем не виноваты, а художник Зенон останется жить в прежнем покое!.. И Пеох и Бубаста своего достигнут, но Нефора ничего не достигнет — она кругом обманута, и все через свою собственную необстоятельность. Проклятие! Могла ли она этого ожидать? И что это у них за различия, которых невозможно понять?..

Рабыня-христианка, которая была нянькой Нефоры, много говорила ей в детстве о своем Боге, Который распят в Иерусалиме. Нефора любила слушать, как Он *всех* сожалел и *всем* завещал, чтобы никто не делал другому зла. Нефора плакала вместе с рабыней, когда та говорила, как Его выгоняли, много раз хотели убить и, наконец-таки, убили. Он был целомудрен и добр и завещал,

чтобы все любили друг друга и прощали обиды. Она думала, что в том все и дело. Кажется, так живет и Зенон: что Тот сказал, этот Его завета слушается. То же, о чем говорил епископ, ей совсем ново и непонятно. Это как будто что-то другое, и между тем это портит весь план Нефоры. Зенон ускользает… Завтра последний день. Завтра под вечер надо ехать к Адеру. Нефора отдала уже приказание своему домоправителю изготовить ей колесницы, и ее рабыни разостлали на широких коврах роскошный наряд, который будет украшать ее на одном из передних мест амфитеатра. Нефора хотела перехитрить всех: и Пеоха, и Дуназа, и Бубасту, и самого правителя. Уверенная в том, что гора не сойдет с своего места и не пойдет в воду, она была, несомненно, уверена и в том, что когда вера христиан будет этим унижена, то раздраженный и отчаянный народ бросится на христиан и станет бросать их в Нил. Пеох и Бубаста дадут к этому знак, и дело будет сделано, а в то самое время, как эти погибнут умилостивительною жертвой, Зенон будет спасен, потому что Нефора купила для него тайную охрану и помощь главы биченосцев. Его увезут к ней в ее имение, дальше Пелузы, и она его найдет там. Ведь она его любит, она хочет только унизить его веру, для

которой он оскорбил ее, отвергнув предложенную ему любовь. У нее никто не отыщет Зенона; она его утаит от всех, он будет ее невольник, ее раб и… ее любовник… Или она будет его томить, терзать, мучить и… Она не знает сама, чем это кончится, но это даст цену всей ее жизни… И вот вдруг и совершенно неожиданно после того, что она узнала от епископа, все это выйдет не так. Напрасно утопят много людей, а Зенон останется с своею особенною верой, которая, по уверению епископа, совсем даже и не то, что их настоящая христианская вера. И эта ошибка непоправима — времени нет… Теперь и природа и люди уснули, и Нефора должна тоже уснуть, чтобы завтра тело ее было бодро и сильно, а лицо ее ясно… Она должна скрыть от всех свою досадную ошибку, и… она будет спать. Она обняла рукой любимую кошку, закрыла глаза и перестала обо всем думать. В мыслях Нефоры наступила минута бездеятельности и пустоты, но сейчас же опять прорезалось определенное понятие: ей жарко — кошка слишком сильно согрела ей грудь. Нефора отстранила рукой кошку, и из пушистой шерсти зверка сверкнули и тихо щелкнули две маленькие красные искры. Молодая женщина переложила кошку к своим ногам, и искры снова

блеснули. Нефора обернулась лицом к стене и снова старалась заснуть, но в стене под ковром что-то шуршало. Духота увеличивалась; откуда-то доносилось докучное блеяние верблюжонка, и в ответ ему слышались трескучие крики старого верблюда. Не то, так другое постоянно мешало Нефоре заснуть. Едва умолкли верблюды, раздался противный голос павлина. Нефора протянула руку к шелковому шнуру и отдернула занавес; серебряные колокольчики, подшитые на бахроме, мелодически пророкотали и открыли широкое окно с каменною рамой. На небе уже рассветало. Утренний воздух сообщил Нефоре бодрость, и у нее явилась смелая мысль еще раз попытаться сделать Зенона причастным к тому, что ожидалось. Она позвала служанку, быстро оделась и велела как можно скорее подвести ей к крыльцу оседланного мула.

Глава двадцать вторая

Когда Нефора вышла и села в седло, было еще серо и в городе не слышно было никакого движения, только глинистые голуби оправлялись спросонья на пестрой голубятне и тоскливо ворковали, как будто они были чем-то недовольны.

Нефора покрылась темным покрывалом и велела проводнику вести мула по дороге к Мареотидскому озеру, где на берегу, в известной ей местности, жил христианский епископ.

На одном повороте мимо глаз Нефоры что-то мелькнуло, и в то же время проводник на нее оглянулся значительным взглядом.

— Что это? — спросила Нефора.

— Это нильские ласточки.

— Так что же?

— Они поспешают… и держатся близко к земле…

— Что ж это значит?

— Это бывает, когда… Но позволь, госпожа, я слышу большое движение… Позволь переждать здесь минуту… Народ нынче ночью принес в жертву черного ягненка у фаросской пещеры Пеоха и теперь провожает старца… Смотри, вон уже видно — там из-за угла выступает высокий белый верблюд под роскошным ковром, на нем едет темный старик — это Пеох. Смотри, как он, видимо, свят, как изнеможденно его тело. Обрати внимание: лоскуты у его препоясья подвязаны тростником и осокой, но и этот утлый пояс на нем не порвется. Пеох много лет уже не выходил из своей фаросской пещеры и теперь едет, конечно,

к Канопскому гирлу, куда удаляется вся Александрия, чтобы смотреть, как суеверные люди, верующие в распятого Бога, будут сдвигать гору Адер. Народ ночевал у пещеры Пеоха и теперь сопровождает его толпою: тебя могут обидеть, если ты не повелишь мне остановиться и подождать, чтобы не переходить дороги святому человеку.

— Остановись и пропусти их.

И Нефора видела, как перед нею проследовал на белом верблюде темнолицый, исхудалый, лобастый мемфит, окруженный несметною толпой самой набожной черни. Здесь были люди, которые не искали легкомысленных увеселений в ранее вышедшем таборе. В этой суровой толпе не было ни назойливых продавцов рыбы, ни веселых канатных плясунов, ни фокусников, ни красивых цветочниц с их легкими ширмами на маленьких осликах. Пеоха провожала фанатическая толпа мрачно глядевших полу нагих мужчин и женщин, которые беспрестанно поднимали над своими головами грудных детей, чтобы они могли видеть Пеоха. Через это дети должны исцелиться от боли глаз и от грыж, которыми многие из них страдали от крика.

Нефора видела и изнеможденное темное тело нагого мемфита и страшный взгляд его глаз с

больными веками и сверкавшими белками.

В этой толпе опять тоже было много собак и кошек, а сзади всех, верхом на старом верблюде, сидела баба Бубаста, перед нею на седле был взвязан еще живой черный баран с вызолоченными рогами, среди которых сверкал привязанный жертвенный нож.

Это было животное для второй, благодарственной жертвы, когда месть совершится у Канопского гирла.

Баба Бубаста узнала Нефору, показала ей рукою на нож и сказала:

— Мсти за себя, а в каменоломне услышат о мщенье Бубасты.

Глядя на бабу Бубасту, всякий мог бы признать справедливое замечание египетского царя Амазиса: «Жены Египта мстивы и смелы: легче иметь дело с раздраженною львицей, чем с обиженной египтянкой».

Глава двадцать третья

Нефора, пропустив шествие, достигла жилища епископа, которое охраняли воины, имевшие приказание от правителя: впускать только тех, кто сам назовет себя христианином, или же тех,

кого доставят сюда под надзором полицейские биченосцы, которым приказано было везде разыскать христиан, чтобы у Адера кружок их не был мал и незаметен. И биченосцы исполняли данное им повеление. Хотя добровольно объявляться христианами никто не приходил, но двор епископский был полон насильно согнанных людей обоего пола, которые страшно сетовали, и плакали, и бранили епископа. Он же сидел, склонив голову, и не только не отвечал на обиды, но даже, казалось, и не замечал, что вокруг него происходит. Лицо его было пасмурно и горько. Он так же, как Нефора, совсем не спал минувшую ночь, и нервы его после сильного возбуждения пришли в состояние притупленности. В таком же приблизительно состоянии были и сидевшие близ него пресвитеры и диаконы, из которых последние беспрестанно отлучались, чтобы давать людям пищу.

Чтобы пройти на двор епископа, Нефоре оставалось одно средство — назвать себя христианкой, что она и сделала, и воины, сторожившие вход во двор, тотчас же ее пропустили, оставив снаружи под деревом ее мула и провожатого.

Пробиваясь через толпу людей, теснившихся в неопределенном и раздраженном состоянии

на дворе, Нефора видела множество плачущих женщин и детей, и сердце ее сжалось; но когда она с усилием достигла в покои епископа и увидала его окаменелое равнодушие, это ее даже удивило. Увидев Нефору, он не выразил никакого особенного движения и тотчас же перевел глаза на другой предмет и стал потирать одну о другую свои старческие руки.

— Я пришла к тебе по важному делу, — заговорила, несколько поспешая и оглядываясь по сторонам, Нефора.

Епископ молчал.

— Я хотела бы сказать тебе что-то наедине.

— Разве ты христианка?

— Да, я христианка.

— Но… мне кажется… я видел тебя вчера на пиру у правителя… Ты была его гостьей.

— Да, ты меня видел. Я там была… я хотела все знать, что они думают сделать.

— Что же ты хочешь?

— Я страшусь за то, что с вами случится, если вы не сдвинете гору.

Окружавшие епископа пресвитеры, услыхав такие сердобольные слова, тихо толкнули друг друга и прошептали:

— Ее надо выслушать.

— Говори же при них; они все хотят тебя слушать! — отозвался епископ.

Нефора, увидав, что епископ не избегает присутствующих, и сама не стала таиться и заговорила открыто:

— Я удивляюсь тому, что не вижу между вами человека, который вам мог бы оказать всего более пользы в эту пору.

— Кто же он такой? Вероятно, он не наш или он теперь отрекся?

— Нет, он предан христианскому учению, и он не таков, чтобы отречься.

— Назови же скорей его имя.

— Художник Зенон.

И едва лишь Нефора произнесла это имя, как все заговорили наперебой:

— Как! знаменитый Зенон златокузнец!

— Зенон, приятель знатных людей!

— Первый мастер в Египте! Зенон, в котором живет душа Феодора, скульптора царя Амазиса!

— Зенон, кривой, с повязкой на левом глазу, который он потерял вдруг от неизвестной причины.

— Да, да, да; это он, тот самый Зенон — Зенон златокузнец, которого знает и привечает вся знать, в котором воскресло искусство скульпто-

ра царя Амазиса, это Зенон с голубою повязкой на левом глазу, который он утратил вдруг и от никому не известной причины. Он скрывает эту причину…

— Да, да; он не говорит о ней никому!

— Вот в том-то и дело! Он должен ее скрывать… А я ее знаю! — сказала Нефора.

— Она знает причину, которую от всех скрывает Зенон! Слушайте!

— Это любопытно.

— Но это не идет теперь к нашему положению и к нашему делу.

— Нет, именно это идет теперь к вашему делу. Зенон тот человек, который вам нужен… Зенон вас может спасти!

— Что она говорит? Что говорит вам госпожа? — закричали на дворе люди, толпившиеся у веранды, на которой Нефора говорила с епископом и пресвитерами, и многие стали всходить на ступени.

— Не толпитесь сюда, иначе вы всех нас собьете с места! — закричал один из пресвитеров. — Стойте смирно, и я расскажу вам, в чем дело. Эта госпожа — христианка; она пришла сюда к нам сама, без принуждения, и говорит, что знает человека, который может сделать, чтобы гора

сдвинулась с места и пошла в воду…

Но едва лишь пресвитер сказал это, послышался гул голосов, и все люди бросились на террасу и закричали:

— Пусть она всем нам говорит!.. Мы не хотим погибать, мы все хотим слышать, что она скажет!

Терраса покрылась людьми, пресвитеры были смяты, а епископ, покинув свое кресло с высокой спинкой, поспешно скрылся в двери внутренних комнат. Нефора же мгновенно встала на его опустевшее кресло и, взявшись одною рукой за верхнее украшение его спинки, подняла другую свою руку кверху и громко сказала:

— Молчите!

Гул народа утих, и все замолчали.

— Хороша я? — спросила Нефора.

Ей никто ничего не ответил.

— Я не прельщать вас пришла, но хочу рассказывать вам о деле.

— Ты прекрасна!

— Ты прельстишь кого хочешь! — раздались голоса из народа.

— Ты даже можешь заставить забыть страх в виду неминуемой смерти, — произнес голос вблизи самого кресла, на котором стояла Нефора.

— Но все это бессильно было над тем, кого я назову вам: Зенон художник пренебрег моею красотой для слов вашего Бога… Он оттолкнул меня, и чтобы не видеть моей красоты, которую я ему отдавала, он вонзил при мне нож себе в глаз. Вот отчего окривел ваш великий Зенон златокузнец, вот как сильна его вера. Зовите скорее его, и если не ложно, что человек с верою может сдвинуть гору, то Зенон сдвинет гору.

— Да, да, кто так тверд, как Зенон, тот сдвинет гору!.. Где же он, где? Мы призываем Зенона!

Тогда Нефора сказала диакону:

— Напиши поскорее известие Зенону и брось свиток со стены моему рабу, который стоит с оседланным мулом под деревом по ту сторону запертых ворот. Пусть он спешит к Зенону, не жалея мула, и вы увидите, что, прежде чем придут биченосцы, чтобы гнать вас оцепленными веревкою к Адеру, Зенон будет здесь и сердца ваши утешатся, а я остаюсь с вами залогом моего обещания.

Все так и сделалось, как сказала Нефора. Волнение народа было так велико, что ни епископ, ни пресвитеры уже ни во что не вступались, и над всем положением царила Нефора, на которую все хотели смотреть и ее слушали. Диакон нашел

трость и папирус и написал дрожащею рукой: «Зенон! Люди в смертной беде тебя призывают. Приди, облегчи или раздели с ними их участь». Раб Нефоры с этою запиской поехал к Зенону, и все стали ждать: придет ли художник и будет ли приход его вовремя, прежде чем прибудет отряд биченосцев, которые выгонят их к горе Адер.

Глава двадцать четвертая

Встревоженные люди беспрестанно меняли свое настроение, переходя от надежды к отчаянию: то они верили, что Зенон придет и при нем, как при человеке, который хорошо знаком всем знатным людям, суровость правителя изменится; то говорили: «Что может заставить Зенона покинуть спокойную жизнь и отдать себя добровольно нашей печальной судьбе?» Епископ и его приближенные люди тоже считали это совсем невозможным, тем более что они и не считали Зенона за христианина.

— Он, — рассуждали они, — знает, что мы с ним не согласны. Ему нет дела до чуда, которого от нас требуют. Он не пойдет с нами на муки.

В этих сомнениях прошло довольно времени, и уныние усиливалось, а за час до полудня люди,

глядевшие в город со стены, замахали руками и закричали:

— Идут биченосцы!.. — и многие упали в страхе на землю.

Но один человек, который не успел соскочить вместе с другими, заметил, что с другой стороны во весь скок несся верхом на красно-гнедом коне молодой статный всадник с непокрытою головой, остриженною по греческой моде, и с повязкой через левое око.

— Братья! — воскликнул увидевший всадника человек, — мы спасены: к нам скачет Зенон златокузнец.

И Зенон в самом деле опередил биченосцев, бросил поводья коня, соскочил и вскричал громко страже:

— Откройте двери и впустите меня: я — христианин; я хочу быть с теми, которые будут страдать!

Ворота раскрылись, и стража впустила Зенона.

Толпа христиан мгновенно его окружила, и все старались ему наперерыв говорить, а он не мог никому отвечать и шел между ними спокойно и тихо всем повторял:

— Не бойтесь!.. Христос среди нас… Почтим слова Его послушаньем… Умрем за нашего Учителя!

— Умрем, если нужно, умрем! — прокатилось в народе.

Зенон стал обнимать и целовать людей направо и налево.

Нефора смотрела на Зенона с высоты террасы и любовалась спокойствием его походки и движений его рук, которыми он то обнимал, то ласкал людей, бросавшихся к нему со стенаньем и воплями.

Душа этого человека точно не знала страха, и Нефоре казалось, что она видит не мученика, который готовится встретить скоро унижение и смерть, а актера — так всякое движение Зенона было красиво и нежно, а в то же время исполнено достоинства и силы.

Увидев Нефору, Зенон на мгновенье остановился. Присутствие ее здесь удивило его, но он тотчас же оправился, поднял руку к своему выколотому глазу, поправил повязку и пошел безостановочно дальше в покои, где был епископ. Там Зенон оставался минуту и, снова выйдя на террасу, сказал:

— Братья и сестры! если силен и бодр дух, в вас живущий, пусть нас не ведут — пойдем лучше сами. Я известен правителю и сейчас пойду к нему и упрошу его, чтобы он дозволил нам идти к горе Адеру одним, без надзора его биченосцев.

— Это зачем же? — проговорило несколько голосов.

— Для того чтобы все видели, что мы идем доброю волей, а не по принуждению.

Люди молчали, но из толпы вышел один шерстобит, по имени Малафей, и, лукаво взглянувши в лицо Зенона, сказал:

— Я тебя понимаю. Иди и проси. Поклянись, что мы пойдем сами.

— Я не знаю, как ты меня понимаешь, но я клясться не стану. Нам не дозволено клясться, но я скажу, что мы не унизим имени Христова.

Тогда все закричали:

— Да, да! прекрасно! Иди, брат наш Зенон, иди и давай за нас слово, что мы не посрамим имени Христова.

— Но только вернешься ли ты сам к нам? — спросил Малафей-шерстобит.

Зенон побледнел и отвечал:

— У меня нет ни жены, ни детей, которых бы я мог вам оставить заложниками; но я не лгу: я — христианин.

— Страх действует на всякого, и было бы лучше, если бы ты оставил заложника.

— Я остаюсь залогом, что Зенон вернется! — вскричала Нефора.

Зенон на нее оглянулся и молвил:

— Благодарю тебя. Мне нужен всего только один час времени. Но если случится…

— Если ты через час не вернешься, пусть они растерзают меня на этом помосте, — досказала Нефора.

Зенон протянул ей руку и пожал ее сердечным пожатием.

Стража выпустила Зенона с одним из биченосцев, но еще до истечения часа художник вернулся один, имея в руках папирус, на котором для христиан написан был пропуск к горе без всякого караула.

Биченосцы перед ним раскрыли ворота, и они вышли свободно. Впереди шел больной епископ, а его под руки поддерживали Зенон и женщина в темном покрове.

Это была Нефора.

Пока они шли городом, она не поднимала с головы своего покрывала, и многие спрашивали, кто это такая? Христиане же, проходя, отвечали: это новая христианка! Но потом сами себя вопрошали: где и когда эта женщина крестилась? Как ее христианское имя? Зенон должен знать о ней все, но неизвестно и то, где принял веру Зенон… Только теперь неудобно было их расспрашивать,

так как они идут впереди бодрее всех и на их плечи опирается ослабевший епископ…

Глава двадцать пятая

Меж тем как свободно вышедшие христиане пошли к Адеру, перед вечером из Александрии выступала в том же направлении к Канопскому гирлу третья группа путешественников. Эта опять представляла собою совсем не то, что шумный табор ткачей, и шерстобитов, и веселых зрителей с фокусниками, плясунами и цветочницами, и не то, что представляла собою вышедшая вторая кучка приунывших христиан. Теперешняя группа отличалась важностью: это были знатные лица и их свита.

Впереди всех показались из ворот на канопской дороге египетские и греческие воины, взаимно ненавидевшие друг друга; за ними купцы в однообразных одеждах с пестрою бахромой. За купцами — египетские жрецы в более длинных, но тоже однообразных белых одеждах с драгоценными перевязями, в однообразных же широких шейных украшениях, в повязках и с фальшивыми черными локонами, ниспадавшими на их шеи и на спины. За длинноволосыми жрецами,

также в строгом порядке, шли другие жрецы, у которых головы были тщательно выбриты. За этими, отступя, шел старший жрец, у которого сиял на груди сапфирный амулет.

У всех жрецов в руках были длинные серебряные посохи с белыми цветами лотоса в набалдашнике; у старшего жреца посох был золотой, и серебряный цветок лотоса окружен был пуком страусовых перьев. От их одежд и париков далеко разносился запах мускуса. За жрецами шли чиновники, а потом факелоносцы, биченосцы, расстилатели ковров, жезлоносцы, виночерпии и хлебодары, а за этими следовали на мулах однообразно раскрашенные двухколески, на которых помещались ярко расцвеченные корзины и бочонки; за хлебодарами выступали в огромных высоких колпаках родовспомогатели и глазные врачи, за ними — одеватели и раздеватели, потом торжественные певцы и народные танцовщицы, более скромные, чем цветочницы, но одетые, впрочем, без лифов, в одних лишь прозрачных и легких коротеньких юбках; потом сотрапезники, вместе обоего пола, в свободных и разнообразных нарядах и с иною свободой движений, но с однообразием веявшей около них атмосферы мускуса. За этою чрезвычайно большою вереницей пеших

людей следовал сам правитель на прекрасном низейском коне, у которого хвост и грива были подстрижены, а сам конь весь искусно выкрашен голубою краской.

Сам правитель был в красном с золотом широком и длинном плаще, а седло, и узда, и поводья его коня все тиснены золотом и с золотою бахромой.

За ним следовала его колесница из черного дерева с слоновою костью, с серебряным дышлом и такою же серебряною оковкой колес. В эту колесницу была впряжена четверка вороных коней — прямых и чистокровных потомков коней фараонов. Их сбруя была из золотистого шелка, а их остриженные гривы и челки покрыты тончайшими золотыми сетками работы Зенона. Эта колесница была пуста, потому что она была приготовлена для Нефоры, но Нефоры никто не мог отыскать перед выездом, и ее внезапное исчезновение смущало правителя и было предметом толков у знати. За пустою колесницей Нефоры следовало множество других, также парадных закрытых колесниц, в которых ехали женщины, и потом музыканты и барабанщики, и сзади всех, опять в высоких колпаках, — биченосцы, которые равнодушно щелкали своими длинными

палками направо и налево, где шел какой-нибудь спор или просто раздавался сколько-нибудь оживленный говор в толпе, собравшейся посмотреть на шествие знатных.

Глава двадцать шестая

Огромный город теперь казался почти опустевшим. Многие дома совсем были заперты, в других оставались только больные да слуги, оставленные для присмотра. Огни везде рано погасли, и скоро настала повсеместная тишина. Луна светила над совершенно опустевшими улицами, в созвездии Пса ярко горел Сириус; на круглую площадь между Воротами Солнца и Воротами Луны вышли три звездочета в длинных желтых хитонах. Двое из них были глубокие старцы, а третий немного моложе.

Они долго смотрели на небо, где сверкал Сириус, потом на принесенные с собою таблицы, и потом все враз хлопнули ладонями и вытянули вперед свои руки, как будто бы что-то от себя отстраняли. Так обыкновенно египтяне молились. Затем звездочеты вздохнули, произнесли слово «поздно» и, подхватив полы своих одежд, пошли быстро к своим домам и крепко закрыли за собой

свои двери.

В обширных опустелых палатах правителя отдавало теперь чем-то невыносимо жутким. Когда оставшийся при доме правителя хлебодар, старый раб из Вавилона, вошел в столовую, чтобы убирать не съеденные гостями кушанья и недопитые вина, ему показалось, что по стенам открытой столовой движутся тени. Или это луна светит нынче совсем необыкновенно.

— Да, — сказал он себе, — что-то неладно на небе. Не это ли самое и служит причиной, что я чувствую тяжесть и ощущаю во рту горький вкус хрена? Или, быть может, это оттого, что я все эти дни очень много хлопотал и сегодня встал очень рано?.. Какие ненавистные люди эти христиане! Для чего, в самом деле, они сбавляют цены на работу и делают тем неприятности нам, серьезно занятым людям? Впрочем, теперь я могу о них позабыть и попировать один на свободе: вино особенно хорошее, цельное вино от Везувия, вкусно, только никогда бы не надобно портить его водою по греческой моде. Хорошее вино должно помогать во всех случаях жизни. Я сяду на место моего господина и буду пробовать хорошие вина из его чаши.

И он не стал портить водою вина по греческой

моде, а, усевшись в покойное кресло своего господина, подвинул к себе сосуды с фалернским, хиосским, антильским и кипрским вином и начал лечиться от горького вкуса. Предавшись сравнению достоинства разных вин, он не заметил, как в этом занятии время быстро летело и беспорядок на небе усиливался. Серебристый свет луны все слабел и вдруг совершенно исчез, и на темя хлебодара, которое было так же голо, как темя его господина, капнула холодная капля. Хлебодар отер рукой эту каплю и шутливо подумал: «О, Ариман, Ариман, для чего ты так сердишься? Не плюй на меня, дай мне насладиться моим положением. И тоже выпусти, пожалуйста, опять луну на небо… Я еще совершу в твою честь возлияние… Вот и хорошо!..»

Луна, в самом деле, снова светила. Хлебодар это видел, но зато в голове у него стоял звон, а в воздухе что-то шумело. Чтобы поправить свое состояние, хлебодар выпил еще большой кубок вина, и это его так успокоило, что он склонил голову на руки и, зевнув крепко, уснул сразу. И хорошо ему спалось! Ему снилось веселое детство, знойное солнце долины Евфрата, Кунакай, путь десяти тысяч греков, красивые отроки с открытыми шеями и веселыми глазками, он бегал

с ними, ловил их, но они смеялись над ним и от него убегали, но вдруг их игры увидала его жена египтянка и кинулась на него в неистовом безумии. Властолюбивая и ничем не сдерживаемая, как все египтянки, она совершает над ним что-то ужасное: он чувствует, как она его треплет так, что и земля колеблется под его ногами и стол дрожит под его головою, а кругом все грохочет, все полно огня и воды, огонь смешался с водою, и в таком неестественном соединении вместе наполняют открытую комнату, а мокрое небо, как гигантская тряпка, то нависнет, то вздуется, то рвется, то треплет, хлопая и по нем и по сосудам с вином, и все разбивает вдребезги, все швыряет впотьмах — и блюда и кубки, и сопровождает свое неистовство звоном колокольчиков, пришитых к краям сдвижной занавески, и треском лопающейся мокрой шелковой материи.

К сожалению, все это не был сон; все это происходило на деле, хотя не совсем так, как казалось в опьяневшей голове хлебодара. Страшнейшая гроза и ужаснейший ливень, о каких люди не имеют понятия в Европе и которые составляют редчайшие явления в Египте, разразились над Александрией. Ужасная туча примчалась на крыльях разрушительной бури — молнии реяли во

всех направлениях, а в промежутках их не было видно ни зги. Хлебодар не мог различить: была ли теперь ночь или утро; вода лилась потоком, было темно, и ветер хлестал по всей комнате сорванною с прутьев потолочною занавесой. На плитах пола бушевала вода по колено, и в ней плавали подушки с сидений и разная домашняя утварь. Под мокрою занавесой можно было задохнуться. Хлебодар взвыл отчаянным голосом и бросился искать спасения под крытым порталом.

Здесь он спрятался за колонны и замер, снова утратив сознание от страха.

Недаром, значит, вчера в пьяных глазах Дуная исчезала луна, недаром капнула капля воды на голову пировавшего правителя; недаром беспокойно перекликались ночью верблюды, мешавшие спать спокойно Нефоре; не без причины ее проводник обратил внимание на низко летевших нильских ласточек. Все они чувствовали приближение могущественного явления, которого не ожидали люди и которое звездочеты отметили «поздно» и поспешили запереть свои двери.

Когда пронесся ужасный ураган и ливень стал утихать, хлебодар очнулся, вышел на двор и стал, прислонясь на колеблющихся ногах к стене, и так

оставался долгое время, глядя вокруг помутившимися глазами и оттопырив вперед толстые губы.

Ничего он не узнавал из того, что привык видеть, выходя по утрам обозревать домовитый двор своего именитого господина: всегда обыкновенно стройное хозяйство представляло теперь полный хаос. На дворе плавали скамьи, двери, запасные колесницы и разная рухлядь, а также забитые дождем и утонувшие куры и павлины, и в числе этих разных плавающих мертвых птиц хлебодар заметил тоже утонувшего письмоносного голубя.

Хлебодар по вдохновению почувствовал что-то недоброе: он сейчас же спустился по колено в воду, взял птицу в руки, отыскал у нее под шейкою слюдяную трубку, и, достав из нее крошечную полоску папируса, прочитал ее и, закричав благим матом, кинулся бежать к домику, где было его жилище.

Здесь он нашел помощь у своей жены, которая с перепуга и радости, что видит мужа живого, изо всей силы ударила его по голове и, вырвав из его рук слюдяную цидулку, прочла в ней очень короткое, но роковое известие: «Суда разбиты в виду Лохиаса».

Теперь и жена оттопырила губы точно так же,

как муж, и точно так же, как он, села против него на скамейку, и оба шептали друг другу:

— Что теперь будет?

Наконец на хлебодара нашло осенение, он встал, приложил ко лбу палец и, подумав, ответил:

— Я не знаю, что будет, но я догадался, что это было!

— А что именно было? — спросила жена.

— Было то, что христиане сдвинули гору!

— Ты, верно, до сих пор еще пьян?

— Да. Ты в этом совершенно так же не ошибаешься, как я не ошибаюсь в том, что они сдвинули гору.

Глава двадцать седьмая

Толпы народа, выступившие раньше, чем вышел великолепный двор правителя, пришли к назначенной горе не одновременно и расположились различно. Веселая толпа, имевшая среди себя цветочниц, музыкантов, продавцов рыбы и фокусников, пришла не первая. Ее опередили люди, приплывшие сюда на судах, которые стояли уже на реке в виду горы Адер. Богатые люди, приплывшие на ярко раскрашенных су-

дах, с крокодилами на носах и под парусами пурпурного и голубого цвета, разместились в амфитеатре; а бедные люди, приплывшие на толстодонных ладьях под парусами из серого или коричневого полотна, расположились прямо на земле. Это был огромный чернорабочий лагерь, в стороне от обитых коврами деревянных скамей и навесов, устроенных для ожидаемой большой публики. Чернь и гуляки, которые дошли сюда табором, не искали сближения со знатью. Они находили в самих себе довольно всего, что нужно было для их забавы и радости. Табор их теперь представлял чрезвычайно большое оживление: здесь пылали костры, кипели котлы с рыбой, пили вино и плясали; фокусники лили из одного сосуда воду и кровь, пускали из рукава лебедей, а когда народ слишком надвигал на них и стеснял их арену, они бросали на землю вишневые жезлы, собранные из мелких штучек, искусно нанизанных на тонкую струну, и когда брали эти жезлы искусною рукой за конец, то жезлы изгибались и вертелись, как змеи. Народ разбегался с криком и хохотом. Два или три эфиопа из «дрянного народа Куш» водили красивых и проворных верблюдов из породы «мегари» и заставляли их танцевать. На тех, кто не умел

оценить искусства верблюдов, эти ученые животные умели плюнуть, и это тоже возбуждало всеобщий хохот. Но танцы мегари больше всего привлекали только детей и женщин. Мужчины всякого возраста наперебой рвались к палаткам цветочниц. В широко раскинувшемся таборе слышались самые разнообразные музыкальные звуки: здесь гудели сильные мидийские трубы, там раздавалась нежная фригийская флейта; в третьем месте бряцали иудейские кимвалы и рокотали арфы, можно было отличать также звуки пафлагонских тамбуринов, сирийских бубнов, индийских раковин и арийских барабанов. Среди пришлых горожан ходили крестьяне из ближних мест; эти были одеты в неподпоясанные длинные рубашки и носили в кувшинах на продажу свежую воду. Появились так же, как на ристалище, закладчики: они тихо разъезжали на старых ослах с мешками монет и с таблицами, на которых спорщики, державшие пари за ту или за другую сторону, записывали предлагаемые заклады. Между закладчиками были эллины, персы и евреи; все они были совершенно равнодушны к тому, что случится, и предлагали идти об заклад и за то, что гора двинется, и за то, что она не двинется. Записывали и другие заклады,

за то, например, разрешит ли правитель избить всех христиан, когда гора не пойдет, или он велит бросить в Нил только одного из них — самого главного, а остальных всех пошлет с приговорами за поясами в гранитные каменоломни Ассуна. Одни держали заклады за одно, а другие — за другое. Портовый международный город выдвинул весь свой пестрый сброд, и все это, вместе с сверканием огней, конским ржанием и с криками разгулявшегося на просторе народа производило опьяняющее впечатление. Все это поднималось и рдело, как воспаленный нарыв, которому нужно где-то прорваться. Ночь улетала в диком разгуле; многие, упившись вином, спали у догоравших костров, другие еще не спали, но и не замечали, как на небе несколько раз скралась луна. Надо было еще что-нибудь, чтобы совсем отвести глаза в темный угол. И вот это случилось. Под шелковою палаткой одной из цветочниц послышался раздирающий вопль, и вслед за тем что-то тяжелое рухнуло между палаток. Это один человек могучею рукой убил другого и выбросил на землю его мертвое тело. Послышался крик: «Убивают эллины!» — другим показалось, будто «убивают эллинов». Мгновенно призывные крики покрыли все музыкальные звуки, сверкнули

ножи, люди бросились друг на друга, биченосцы спросонья напрасно старались восстановить покой и порядок. Беспощадно убиваемые люди падали под ударами эллинских ножей и еще больше под ударами тупых египетских кольев. И все это произошло в густой тьме, при сильном шуме налетевшей внезапно бури и при ужасном, необыкновенном треске, который раздался с реки, где стояли прибывшие плоскодонные суда с ибисовыми носами и длинными рыбьими хвостами вместо кормы. Страшный ветер развел большое волнение, и суда взметались, ударяясь одно о другое: их ибисовые носы и рыбьи хвосты ломались, а высокие мачты, качаясь, махали неубранными парусами как сражающиеся великаны. Наконец, зареяли молоньи, загремел гром и ударил ливень, как будто целый океан упал с неба на землю. С гор помчались сокрушительные потоки, в долинах все обхватило и залило водою.

Пеох и его изуверы, которые обошли общее место и удалились в ров, где хотели быть скрыты до времени, когда христиане примут тот срам, для которого Пеох научил их вывести, подверглись самой большой опасности. Их черный ягненок с жертвенным ножом между рогами был у них отнят мутными волнами, и самим им угрожала

смерть в тех же волнах, хлынувших со всей горы Адер.

Знатные путники еще не достигли горы, когда разразилась буря. Ливень застал их на открытом поле, где они были облиты и лежали в воде, не чая конца наводнению.

В положении христиан было нечто гораздо более сложное.

Глава двадцать восьмая

Отряд христиан шел, так сказать, истаивая. От самых Канопских ворот, через которые они вышли из города, число следующих за епископом все уменьшалось, а число отстающих увеличивалось. Одни падали на землю и говорили, что не могут дальше идти от болей в ногах или от рези в желудке, а другие просто садились и плакали. Не было никакой возможности заставить их идти далее. Шерстобит Малафей подал мнение, чтобы для страха другим пришибить притворщиков камнем, но Зенон за них заступался и говорил, что никого не надо неволить. Он говорил, что дело не во множестве людей, а в силе духа, который движет ими, приводил в пример, как Гедеон оставил всех пивших пригоршнями, а взял с собой

только одних лакавших воду по-песьи.

Тогда Малафей-шерстобит повернулся и пошел назад, а с ним вместе то же самое сделали и другие, незадолго перед этим стремившиеся побивать камнями тех, которые, ослабевая от страха, отставали ранее. В числе возвратившихся с Малафеем были также некоторые пресвитеры. Остальные же христиане в небольшом числе шли целый день и к ночи достигли Канопского гирла. Тут и стоит гора Адер. Она с одной стороны возвышается холмистым плоскогорьем, а с другой, обращенной к реке, у нее крутой гребень, выступы, рвы и обрывы. Точно как будто она когда-то уже ползла в реку, но остановилась. С пологой стороны она покрыта редкой порослью по супеску, а сторона, обращенная к реке, вся совершенно безжизненна. Здесь пластами лежат плитняк, глина, мелкий кремень и черная галька, а местами есть также прослойки и других землистых пород, то темные, то иссера-желтые, то совсем беловатые. Местами изнутри выпирает крошистый камень, а местами будто, как ребра, рядами наставились гранитные глыбы. Их основания утонули в темно-красной глине, а верхи их присыпаны песком и в щепы распавшимся камнем. Здесь, без сомнения, когда-то происходило

какое-то сильное передвижение веществ — все куда-то ползло и остановилось.

Когда христиане пришли, Зенон спросил епископа, что он посоветует делать, — но епископ ему отвечал:

— Ага! Какой ты почтительный, Зенон! Ты обращаешься ко мне как к пастырю. Жалко, что я избегал тебя ранее, но теперь я сам, сын мой, похож на овцу, и вдобавок еще на такую, которую посередине зимы взяли и остригли. Одни меня оставили, а другие кое-как еще идут с нами, но совсем не за мною, а за тобою. Я дрожу от изнеможения и ужаса, в груди моей холод, а голова моя горит, как у пекаря, который стоит перед печкой. Что ты меня спрашиваешь?.. Я так слаб, что ребенок может меня свалить с ног… Ты считай так, что я уже умер, и делай что знаешь, и если окажутся люди, которые захотят тебя слушать, то пусть они тебя и слушают, а я буду как мертвый.

— Ты позабудь обо мне и ради этих унылых людей дай им скорей вразумление, как укрепить себя в духе и что начать делать. Иначе ты можешь увидеть, что и они разбегутся.

Но епископ ответил:

— Ты напрасно меня пугаешь тем, что я могу увидеть. Я уже умер. Малафей-шерстобит мне

шептал, что я мог увидеть тебя мертвым, но я не такой — я не захотел это видеть и теперь всего охотнее закрою мои глаза, чтобы совсем ничего не видеть. Я уже умер: я отойду в сторону и буду молиться.

Три оставшиеся пресвитера хотели подражать епископу: они тоже чувствовали себя умершими и намеревались удалиться для молитвы, но народ окружил их и в смятении требовал, чтобы они молились при всех и научили бы всех остальных, как лучше молиться, чтобы гора непременно сдвинулась и пошла, а если она не пойдет, так чтобы были налицо виноватые. Тут и пошли разномыслы и споры: одни люди говорили, что всего лучше стоять распростерши руки в воздухе, изображая собою распятых, а другие утверждали, что лучше всего петь молитвенные слова нараспев и стоять по греческой, языческой привычке, воздев руки кверху, в готовности принять с неба просимую милость. Но и тут опять нашлись несогласия: были такие, которым казалось, что надо воздевать вверх обе ладони, а другим казалось, что вверх надо воздевать только одну правую ладонь, а левую надо преклонять вниз, к земле в знак того, что полученное с небес в правую руку будет передано земле левою; но иным память изменяла

или они были нехорошо научены, и эти вводили совсем противное и настаивали, что правую руку надо преклонять к земле, а левую — воздевать к небу. Увидав, что в такую роковую минуту людьми овладел беспокойный и неразрешимый спор, Зенон поспешил поскорее к епископу в ту сторону, куда тот отдалился, и хотел просить его разрешить все недоумения, но ночь была темна, и он не нашел молившегося в темноте епископа, а когда шел назад, то споривше и ссорившиеся люди окружили его и стали кричать:

— Ну, если ты свят, то скажи нам, как надо молиться.

— Кто вам сказал, что я свят? Я вовсе не свят, и даже, наоборот, я очень грешен.

— Нет, мы тебе в этом не верим: ты себе выколол глаз, и теперь ты один среди всех здесь спокоен. Ты не пугаешься смерти. Скажи-ка нам, как молиться? Если нужно враспев, то мы все станем петь, а если говором выговаривать, то будем говором читать молитвы. Говори скорее, ждать некогда, мало уж времени осталось, чтоб молиться.

Тогда Зенон, не желая ничем прибавлять розни, коротко ответил ближе стоявшим, что он имеет обычай молиться в благоговейном молчании, но

не осуждает и тех, которые любят поднимать к небу и глаза и руки, нужно только, чтобы руки молящихся были чисты от корысти, а душа — свободна от всякого зла и возносилась бы к небу с мыслью о вечности. Тогда в ней исчезает страх за утрату кратковременной земной жизни и… гора начинает двигаться…

— Вот нам теперь это и надо, чтобы не было страха, пока гора двинется с места.

Сам же Зенон тихо отделился от толпы и, скрываемый темнотою египетской ночи, пошел к вершине горы.

Отойдя так далеко, как можно сильною рукой два раза перебросить швырковый камень, он сел на землю и, обняв руками колена, стал призывать в свою душу необходимое в решительную минуту спокойствие. Он вспоминал Христа, Петра, Стефана и своего учителя, как они проводили свои предсмертные минуты, и укреплял себя в решимости завтра ранее всех взойти одному на гребень горы, призвать мужество в душу свою, стать на виду собравшегося народа и ожидать, что будет.

«Пусть меня поразит стрела, — подумал Зенон, — и, может быть, тогда им довольно будет моей смерти, и другие будут свободны, а я буду

счастлив; я совершу свое дело».

От того места, где сидел теперь Зенон, до самого верха горы, откуда был виден табор, амфитеатр и река Нил, осталось тоже не больше, как два переброса.

Оттуда доносился до слуха его звук музыкальных инструментов, и трещоток, и пиршественные нетрезвые клики, а с другой стороны, оттуда, где остались христиане, ветерок наносил греческий напев молитв, которые тянули пресвитеры.

Вдруг Зенон, погруженный в глубокую думу, вздрогнул от неожиданного прикосновения нежной руки к его волосам.

Глава двадцать девятая

Зенон поднял голову и увидал возле себя Нефору.

— Что тебе опять от меня нужно? — спросил ее Зенон.

— Раньше мне нужна была твоя любовь, а с той поры, когда ты отверг меня, мне стала нужна твоя гибель.

— Да простит тебе небо злое желание; но если тебе нужна была моя гибель, для чего ты губишь не меня одного, а такое множество других лю-

дей?

— Я ненавижу всех людей твоей веры: я хочу, чтобы все вы сразу были осмеяны в том, во что вы верите, и это уже достигнуто.

— Может быть, ты еще ошибешься.

— Ну, оставь вздор! Разве все самые лучшие люди ваши не сомневаются; разве они не разбежались, а остальные не ищут возможности скрыться? И ты сам теперь отдалился разве не с тою же целью, чтобы скрыться от прочих и спасти свою жизнь? Я тебя понимаю — ты должен сильно страдать, видя свою ошибку и слабость своих единоверцев, и я рада, что дождалась этого и могу спасти тебя: следуй скорее за мною. Я приготовила все, чтобы спасти тебя от позора и смерти.

— А тебе разве известно, что нас непременно ждет смерть и позор?

— Без сомнения! — отвечала Нефора, — ведь гора не пойдет с своего места и не загородит Нила, чтобы поднять его воды, а разгневанный народ побьет вас камнями или побросает в реку. Бежим, следуй за мною: любовь моя скроет тебя и будет твоим утешением!

И она сильно тянула за руку Зенона.

— Я не намерен бежать! — ответил Зенон, от-

страняя руку Нефоры.

Она остановилась.

— Что же ты хочешь делать?

— Я исполню мой долг и умру, если нужно.

Нефора опустилась и села возле него на землю и проговорила:

— Тогда и я здесь останусь с тобою.

— Для чего?

— Для того, что я люблю тебя, — жизнь без тебя мне несносна. Знай: я в отчаянии обещала правителю выйти замуж за его сына, а между тем я не в силах исполнить это обещание. Умереть с тобою мне отраднее, чем жить с ненавистным Дуназом. Пусть берут мое богатство, но себя я не отдам и умру вместе с тобою.

Зенон взял ее руку и тихо сказал:

— Я должен бы благодарить тебя за такие чувства; но если ты любишь меня, то я стану просить тебя сделать другое.

— Говори, я все для тебя сделаю!

В голосе Нефоры стали слышаться слезы.

— Если небу угодно, чтобы через час мы погибли, то умоляю тебя, не губи себя вместе со мною и не выходи замуж за человека, в котором нет ни рассудка, ни доброго сердца. Сделай другое.

— Что же я должна сделать?

— После нас останется много сирот и старцев, которых пошлют в цепях в каменоломни, — останься жить и живи долго для них. Подай мне эту милостыню… обещай мне это, Нефора, и я счастливо умру, передав тебе любовь мою к страдающим людям!

При слове «любовь» Нефора вздрогнула и прошептала:

— Повтори.

— Что?

— Еще раз повтори это слово. О Зенон! Если б ты знал, как для меня сильно слово «любовь»!

— Конечно, я это знаю, Нефора. Любовь обнимает всех в одном сердце.

— Отчего же ты не любил меня, Зенон?

— Я не мог принять той любви, которая принуждала меня пренебречь послушанием к словам моего учителя и забыть его просьбы для удовольствий плоти, но теперь, когда ты не та, какою была, а иная, когда ты укрепляешь, а не расслабляешь дух мой и обещаешь отдать себя делам любви, — теперь я люблю тебя, сострадательная Нефора.

Нефора схватила обеими руками руки Зенона и вскричала:

— Ты взял мое сердце… Я сделаю все, чего ты

желаешь, я стану жить с тобой для добра, но лучше всего… все-таки бежим отсюда: в толпе есть люди, которые нас укроют, мы уйдем, и я буду твоею рабой.

— Рабой? Для чего же, Нефора? Ты теперь любишь людей без различия их породы и веры; ты готова служить им, ты одного со мной духа, ты сестра мне, мой друг… Если хочешь, будь моя невеста… Я счастлив, я не боюсь ничего и умру, благословляя тебя за то, что ты восхитила меня твоим чудным порывом, но я не побегу, я не скроюсь от тех, кто несчастлив, и… я скажу тебе больше: я не дам унизить насмешкой его… того, кого я зову моим учителем и моим господином… Довольно его унижали! Если я даже останусь один — что, быть может, случится, — я один взойду на гребень горы: пусть видят, что кто его любит, тот ему верит.

— Но для чего это нужно?

— Это нужно *для счастья людей,* потому что в учении его сокрыт путь ко всеобщему счастию, но чтобы идти этим путем… надо верить, Нефора, — надо сдвинуть в жизни что тяжелее и крепче горы, и для того надо быть готовым на все, не считая, сколько нас: один или много.

— Ты не будешь один, — отвечала Нефора, и в

ее голосе почувствовались волнение и слезы.

Зенон опять взял ее за руку и сказал ей:

— Но отчего ты смутна и зачем грусть в твоем голосе?

— Я боюсь отвечать тебе правду.

— Не бойся, ответь.

— Он… этот твой учитель стал и стоит между мною и тобою… Ты его любишь больше меня… Он меня от тебя отстраняет…

Зенон покачал головою.

— Нет, Нефора, — сказал он, — тот, кого я люблю, тот, кто мог быть знатен и предпочел быть нищим, мог уничтожить своих врагов и вместо того молился за них, — он никого не разлучает, он соединит нас и научит любви, возвышающей душу и сердце!

— Я не хочу такой любви.

— Отчего?

— Она никогда не может удовлетворить сердце женщины.

— Ты ошибаешься. Слушай меня терпеливо. Мы с тобою в земле фараонов. Ночь сокрывает от нас места, на которые я мог бы тебе указать и сказать: там город Он, там пирамиды Гизеха,

которые видели Юзуф и Зулейка[104]. Зулейка любила Юзуфа мятежною страстью, такою же, какой ты дала над собою волю однажды. Она не боялась уронить себя и своего мужа этою любовью. Юзуф был прекрасен. Он был, конечно, красивей меня. Об этом дошла до нас их чудесная повесть. Когда знатные женщины укоряли Зулейку за то, что она любит Юзуфа, она дала этим женщинам по ножу и по апельсину, и когда они стали чистить свои апельсины, Зулейка кликнула своего «раба». Юзуф вошел, и все женщины обрезали себе руки и уронили свои апельсины… Но Юзуф тогда не любил прекрасную Зулейку, и его не влекло к ней потому, что

Юзуф не любил лжи и обмана. Зулейка отомстила ему и погубила его. Ему это стоило более глаза. Юзу фа сокрыла темница, а Зулейка стала томиться и плакать, и когда умер ее муж, она бросила дом свой и жила в шалаше, оплакивая свою жестокость и повторяя имя Юзу фа… И когда об этом услышал Юзуф, тогда согрелось сердце его, и он пришел к Зулейке в ее тростниковый шалаш и сказал: «Ты добра, голубица моя, и будь

[104] Примечания: 104

Зенон рассказывает историю Иосифа и жены Понтифара так, как она передается в египетских преданиях и в «Коране» Магомета (Коран, гл. XII, стр. 21– 111). — *Прим. авт.*

мне женой». Неужто такая любовь, по-твоему, хуже угарного чада туманящей страсти, которая быстро пройдет и оставит одно сожаление? Любовь же того, кто может сказать: «всем ты добра, моя голубица», — обещает разумную жизнь, а не пыл… Суди же, что лучше? Вот и ты теперь… кротка и добра… ты не мятешься о том, чтобы всех превзойти на собрании убором; ты меня слушаешь тихо и, может быть… скажешь: «Друг мой, Зенон! я в себе чувствую новое сердце. Будь силен и ничем не смущайся. Пусть будет что будет: иди, куда тебя повлекут — на смерть или в каменоломни, — Нефора твой друг: она останется жить, она будет матерью всех несчастных сирот, которых оставят погубленные христиане»…

— Оставь! о, оставь! я все это сделаю, и все для тебя.

— Нет, для того, кого я люблю больше себя и кому я хочу быть послушен во всем, что мне ясно и что непонятно.

— Пусть будет и так! Твой друг я и раба твоего господина!

Зенон привстал, тихо поцеловал Нефору в голову и сказал:

— Теперь все совершилось, гора тронулась с места.

— Да, — отвечала Нефора, — и мне показалось, что земля под ногами как будто качнулась…

— Ты очень устала, нам время расстаться. Рассвет должен быть близко. Сереет, и я замечаю вдали крестьянина в спаржевом поле. Прощай, друг мой Нефора, возвратись скорей в город и обо мне не заботься: я делаю то, что я должен делать; я не боюсь каменоломен: я художник, и меня не заставят катать гранит, а я буду выделывать гаторовы[105] головы… и я буду счастлив там, далеко в изгнании, я буду вспоминать о тебе и буду радоваться, что ты стала не та, какою была, что ты любишь людей и живешь для того, чтобы делать добро людям. Еще раз прощай и не следуй за мною… Но что это такое?.. Теперь вдруг и мне показалось, что вправду земля под ногами вогнулась и опять поднялась!

— Да, да! трясется земля!

— Ия слышу гул… что-то трещит в глубине под горою… И когда собрались эти тучи! Огонь и вода падают с неба!..

Это была гроза — столь редкое явление под безоблачным небом Египта, что Нефора ее даже не

---

[105] Примечания: 105
Гатор (Хатор) — богиня неба в египетской мифологии.

могла представить, но Зенон читал Страбона[106] и сейчас же узнал это явление, и вспомнил, как оно при своей редкости в Египте бывает сильно и страшно. Да и размышлять ни о чем не оставалось времени, потому что на них полил такой сплошной ливень, под которым только и осталось скорее упасть ниц. Вода лилась не каплями и не ручьями, а цельным, сплошным потоком, молнии реяли, гром грохотал, и земля содрогалась, пухла и вновь вздымалась и гудела.

Кричавший верблюд, и ночные капли в доме правителя, и танцевавший на берегу черный ибис — все оправдали свои приметы: над землей Мицраима повторилась гроза и ливень Страбона…

Зенон, поверженный ниц, помышлял только о том: если таково здесь на горе, что нельзя встать и нельзя сделать шага, то что же теперь должно происходить в долинах, куда должны устремиться сбегающие с гор воды!..

Глава тридцатая

Более часа водный океан из воздуха переливал-

---

[106] Примечания: 106
Греческий историк I века, автор «Географии».

ся страшным потоком на землю; но едва стало тише, Зенон встал, поднял под локти бесчувственную Нефору, прислонил ее к камню и сам бросился на гребень горы. Он опасался, чтобы не опоздать и не прийти последним туда, где всем было должно собраться; но когда он взбежал, то увидал, что никого из христиан еще не было, а сам он не узнал внизу знакомой картины: земля вся исчезла, а Нил был необъятен, как безбрежное море. По мутным волнам неслись опрокинутые челноки, плыли хижины и целые пальмы, вывороченные с корнями, а у самой подошвы горы множество человеческих существ боролись и лезли один на плечи другого, как раки в глиняном горшке…

Зенон упал на колени и вскрикнул:

— Небесный Отец! пощади всех живущих. Ты дал им понять, что Тебе все возможно, низведи же в сердца их любовь к другим людям!

И когда он молился, он почувствовал, что гора взбухала, как губка, кремнистые ребра ее впадали, а мягкая осыпь выпячивалась, и покрывавшие ее плиты лопались и крошились… И вдруг все всколебалось, оскретки мелких камней брызнули, как из пращи, и сыпучие оползни сунулись и поползли вниз целыми пластами.

— Зенон, гора движется! — услыхал Зенон у себя за плечами, и на руки его с высоты упала Нефора.

Зенон оглянулся и увидал, что огромный отломок горы, на котором стоял он, отделился и летит по скользкому склону в воду.

— Будь Твоя воля над нами! — прошептал Зенон и прижал к своей груди сомлевшую Нефору.

И глыба с обоими с ними катилась, а из волн и из расщелин горы люди кричали:

— Гора идет!.. Гора идет!!! Велик Бог христианский! Сдвинул гору художник Зенон-златокузнец!

Глава тридцать первая

Как только ударил гром и полил страшный ливень, все расположившиеся у горы люди, чувства которых не были совсем омрачены пьянством, мгновенно вскочили и бросились бежать в обход горы и здесь на ее тыловой стороне встретили кучку христиан, мимо которых потоки сбегали обширным рвом. Правитель убегал впереди всех, несясь вскачь на своей колеснице, в которую был впряжен один конь его, а другой неизвестно чей. У одной из расщелин он увидал вылезавшего из

оврага Пеоха и закричал ему:

— Ты видишь — гора идет!

— Вижу, — мрачно ответил Пеох.

— Говори же скорее: как в христианском учении сказано, что надо сделать, чтобы остановить гору?

— Увы, в их учении сказано только, как «сдвинуть гору», но ничего не сказано, как ее остановить.

— Зачем же ты этого не сказал нам ранее?

Все подхватили слово правителя и закричали:

— Да, зачем ты не сказал нам об этом? Проклятый мудрец! ты погубил нас!

Пеох засверкал воспаленными глазами и поднял руку, чтобы швырнуть в оскорбителей своею палкой, но в то же мгновение покатился к ногам правителя, пораженный ударом кола в затылок…

Правитель испугался и погнал скорее своих разномастных коней к христианскому стану и закричал им:

— Друзья мои! молитесь, чтобы гора стала!

Христиане же были в растерянности и, оставаясь до сих пор с другой стороны горы, противоположной той, где появились Зенон и Нефора, не видали ничего того, что произошло у обрывов,

и отвечали:

— Ах, господин, для чего ты к нам все придираешься? Мы еще не совсем согласились, как молиться, чтобы гора двинулась, а ты уже требуешь новое, чтобы мы остановили гору.

Правитель махнул на них рукою и поехал далее, сказав им:

— Гора уже идет, бегите скорее вверх, и вы увидите оттуда, что совершилось.

Тогда все христиане устремились на верх горы, откуда раньше спустились Зенон и Нефора, и увидели удивительную и совершенно новую картину, вовсе не ту, которую видел правитель, а иную: гора с водой встретились… глинистый оползень, на котором спустились Зенон и Нефора, стал над самою поверхностью воды… К ним подплыла барка с шелковым парусом, на которой стоял персианин, служитель Зенона. Он взял в барку Зенона и Нефору, и барка снова отплыла. Поверхность воды более уже не бурлила, а была спокойна и гладка. Кроме барки Зенона, по реке плавали голубые и белые цветы лотоса, а над водою, ближе к берегам, носились стаи птиц, чайки и морские вороны, и жадно выхватывали во множестве нагнанных рыб; ближе к берегам плыли и толкались золотые шары огромнейших

дынь… и вдруг все сразу заметили продолговатый плес, в средине которого казалось что-то похожее на ивовое бревно в кожуре… Крокодил!..

Появление крокодила было верною приметой, что Нил полон, крокодил всегда приходил вестником от болот Филэ и Сиу на.

И действительно, навстречу правителю скакал из города вестник с письмом, которое еще до грозы принес голубь из Мемфиса: Нил разлился, и жители Фив уже вышли на кровли.

Оставалось веселиться и радоваться: урожай обеспечен, и вина христиан была позабыта на время. Стан весь снимался. Слуги в топкой грязи, как могли, ловили и запрягали коней и седлали ослов и верблюдов. Все перемокшие и измученные люди при взошедшем ярком солнце ободрились и стали снова шутить и смеяться и потянулись к городу…

Все остатки погибших шатров, и людей, и животных убирал Нил… Зенона и Нефоры здесь уже не было, и о них не вспоминал и не справлялся никто. Все спешили домой… Христиане были успокоены и, к довершению радости, по возвращении в Александрию нашли своего Патриарха, который еще ранее их успел возвратиться в свои палаты. Правитель захотел его увидеть и послал

за ним колесницу, но Патриарх отвечал:

— Колесница так же удобно может доставить ко мне правителя, как и меня к нему, а дорога от меня до него так же длинна, как от него до меня. Пусть он придет ко мне, если хочет.

Глава тридцать вторая

Правитель тотчас же сел на колесницу, приехал к Патриарху и сказал ему:

— Извини меня, я не был уверен, что твоя святость уже дома.

— Наше смирение всегда близко и всегда далеко от того, кто чего заслуживает, — ответил Патриарх.

— Знает, конечно, твоя святость, какой все приняло оборот? Вера ваша теперь здесь у всех в почтении.

— Воскрес Бог, и враги Его тают.

— Да, коварный Пеох убит тупым колом от руки своих же единоверцев, бабу Бубасту задушили.

Патриарх промолчал: его слова не стоила баба Бубаста, но правитель о ней продолжал, что ей забили рот и нос глиною и что теперь много разноверных людей просятся к сдвинувшим гору.

— Я этого ожидал, — сказал Патриарх.

— А я не ожидал этого и сознаюсь со стыдом, что я очень ошибся.

Патриарх улыбнулся и тихо заметил:

— Что делать? и Гомер ошибался.

— Да, я ошибся, и теперь прошу твою святость — давай помиримся: мы можем быть очень полезны друг другу.

— Ну, мне кажется, что нашему смирению теперь уже никто не нужен.

— А пусть твое всеблаженство вспомнит, что и Гомер ошибался.

Патриарх это вспомнил.

И они остались вдвоем изрядное время, беседуя без аколуфов и опахальщиков.

В этот же день к пресвитерам приходило много людей, желавших креститься, и епископ не знал, как ему поступить: ждать ли, когда их, по обыкновенному порядку, наставят катехизаторы, или, ввиду необыкновенных обстоятельств, крестить, нимало не медля, всех, кто пожелает.

— В этом я предоставляю тебе избирать то, что полезнее, — отвечал Патриарх.

Народ толпами шел к пресвитерам, прося их крестить. Крепкие же суеверы, настоящие «Рем-ен-Кеми», смотрели на это сумрачно и тихо шептали друг другу, что «это должно быть…

Распятый Бог победит всех богов Кеми[107], и имя пророка Палестины пронесется по волнам священного Яро[108]... Это слышали птицы, которые ночуют в гнездах, устроенных ими в ушах статуи Аменготепа[109]»...

Глава тридцать третья

Ошибся в своих расчетах и толстый Дуназ. Нефора изменила свое решение и не пошла за него замуж, да она и не была ему больше желанна, потому что богатство ее истощилось: она отпустила всех своих рабов на волю, и все свое состояние, которое было нужно Дуназу, она раздала тем, которые обедняли и не могли содержать свои семьи. Дуназ стал искать другую невесту с большим состоянием и нашел ее. Нефора же жила в скромной доле, благотворя бедным и учреждая школы для детей, где их учили полезным наукам и ремеслам. Слух о поступках ее скоро достиг до

---

[107] Примечания: 107

Кеми — древнее название Египта. Рем-ен-Кеми — человек из Египта. — *Прим. авт.*

[108] Примечания: 108

Яро — Нил. — *Прим. авт.*

[109] Примечания: 109

Аменготеп — Мемнон. — *Прим. авт.*

Зенона, и тогда художник снова пришел к ней и сказал:

— С тобою мир Божий, который превыше всего: ты возлюбила добро; зачем нам быть розно? Иди в дом мой, и будем вместе жить для пользы тех, кому можем оказать помощь. Будь женою моей, Нефора!

И это так сделалось. Зенон и Нефора стали супругами и жили долго и были людям полезны и Богу любезны. Зенон по-прежнему занимался своим художеством и никогда не порицал ничьей веры и своею верою не возносился. Однажды, когда он был призван для некоторых работ в патриархию, Патриарх, сделав ему заказы, спросил его:

— Кем ты, Зенон, наставлен и утвержден в твоей вере?

— Я в ней еще совсем не наставлен, — ответил Зенон.

— Как это так?

— Она мне открывается мало-помалу и не всегда во мне равномерна: порою она едва брезжит — как мерцание рассвета, а порою ярко горит и тогда все мне осветит.

— Значит, ты слаб еще в вере.

— О, весьма слаб.

— Что же ты не стараешься сделать ее постоянно крепкою?

Зенон задумался.

— Скажи: о чем ты думаешь? — вопросил его Патриарх.

— Я вспомнил слова Амазиса: тетива на луке слаба, пока на нее не наложат стрелу и рукой ее не натянут. Когда же нужно, чтобы она напряглась, она напряжется и сильно ударит; но если ее постоянно тянуть и держать в напряжении, она истончает и сила ее ослабеет. Я боюсь, чтобы мне не утратить и то, что хоть порою мне дается от Неба.

Лев старца Герасима
(Восточная легенда)

Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «Мне ничто не страшно», но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.

Стал Герасим с разными людьми советоваться: как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие — другое, но все это было Герасиму не по мыслям.

Тогда один христианин сказал ему:

— Ты хорошо сделаешь, если поступишь со своим богатством, как советует Иисус Христос: ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай

тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.

Герасим послушался, он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.

Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.

Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери да ползали змеи.

Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову:

«Отдай все и иди за Мною», — и больше не о чем беспокоиться.

Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.

Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться. «Ну, — думает раз в большой жар Герасим, — мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, — думает Герасим, — в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».

Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы, — как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах… Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а невдалеке от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший ослик и

тяжко вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет.

Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: «Этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного».

Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился.

Ослик ожил и поднялся на ножки.

Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его к себе, и думал: «Помучусь я еще с ним — окажу ему пользу».

Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривою, от сытости валяется и хвостом по земле хлопает.

Герасим подумал: «Ну, должно быть, мой конец: наверно, этот лев сейчас вскочит и растерзает и

меня, и осленка». А лев их не тронул, и Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду.

Набрал тоже Герасим по пути острых сучьев и сделал из них ослику загородочку, у самой своей норки. «Тут ему будет ночью свежо и спокойно», — думал старец, да и не угадал.

Как только на дворе стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик.

Герасим выглянул и видит, что давешний страшный лев потряс первую сытость и пришел съесть его осла, но это ему не удалось: прыгнув с разбега, лев не заметил ограды, и воткнул себе в пах острый сук, и взревел от невыносимой боли.

Герасим выскочил и начал вынимать из раны зверя острые спицы.

Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул, а потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей водою.

Там у родника он связал кожу мешком, набрал ее полну воды и пошел опять к своей норе.

Лев во все это время не тронулся с места, потому

что раны его страшно болели.

Герасим стал омывать раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршне, и лев лакал ее воспаленным языком с ладони, а Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся.

Повторилось то же на другой день и на третий, стало льву легче, а на четвертый день как пошел Герасим с ослом к роднику, смотрит — приподнялся и лев и тоже вслед за ними поплелся.

Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое: старик, лев и осленок.

У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на вольной воде, и лев совсем освежел, а когда Герасим пошел назад, и лев опять пошел за ним.

Стал старик жить со своими зверями.

У старца выросли тыквы, он начал их сушить и делать из них кувшины, а потом стал относить эти кувшины к источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды. Так жил Герасим и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И лев тоже нашел себе службу: когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерег его осла. Жили они так изрядное время, и некому было на них удивляться, но раз увидали

эту компанию проходившие караваном путники и рассказали про них в жилых местах по дорогам, и сейчас из разных мест стали приходить любопытные люди: всем хотелось смотреть, как живет бедный старик и с ним ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали у Герасима:

— Открой нам, пожалуйста, какою ты силою это делаешь? Верно, ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо: лев лежит рядом с осликом.

А Герасим отвечал:

— Нет, я самый обыкновенный человек, и даже, признаюсь вам, что я еще очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел: все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.

— Чем же ты обидел?

— Хотел разделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а наместо того они все перессорились.

— Зачем же ты их умнее не поровнял?

— Да вот то-то оно и есть, что ровнять-то трудно тех, кои сами не ровняются; я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать себе ничего против других лишнего, —

вот и спокойно было бы.

Люди закивали головами.

— Эге! — сказали, — да это старик-то дурасливый, а между тем все-таки же удивительно, что у него лев осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживем мы с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит.

Остались с ними три человека.

Герасим их не прогонял, только сказал:

— Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо всем работать, а то придет несогласие, и я вас тогда забоюсь и уйду.

Три согласились, но на другой же день при них случилась беда: когда они спали, заснул тоже и лев и не слыхал, как проходившие караваном разбойники накинули на ослика петлю и увели его с собою.

Утром люди проснулись и видят: лев спит, а ослика и следа нет.

Три и говорят старцу Герасиму:

— Вот ты и в самом деле дождался того, что тебе давно следовало: зверь всегда зверем будет, вставай скорей — твой лев съел наконец твоего осла и, верно, зарыл где-нибудь в песок его кости.

Вылез Герасим из своей меловой норы и видит, что дело похоже на то, как ему трое сказывают.

Огорчился старик, но не стал спорить, а взвалил на себя верблюжий мех и пошел за водою.

Идет, тяжко переступает, а смотрит — за ним вдалеке его лев плетется; хвост опустил до земли и головою понурился.

«Может быть, он и меня хочет съесть? — подумал старик. — Но не все ли равно мне, как умереть? Поступлю лучше по Божью завету и не стану рабствовать страху».

И пришел он, и опустился к ключу, и набрал воды, а когда восклонился — видит, лев стоит на том самом месте, где всегда становился осел, пока старец укреплял ему на спину мех с водою.

Герасим положил льву на спину мех с водою и сам на него сел и сказал:

— Неси, виноватый.

Лев и понес воду и старца, а три пришельца как увидели, что Герасим едет на льве, еще пуще дивились. Один тут остался, а двое из них сейчас же побежали в жилое место и возвратились со многими людьми. Всем захотелось видеть, как свирепый лев таскает на себе мех с водою и дряхлого старца.

Пришли многие и стали говорить Герасиму:

— Признайся нам, — ты или волшебник, или в тебе есть особливая сила, какой нет в других

людях?

— Нет, — отвечал Герасим — я совсем обыкновенный человек, и сила во мне такая же, как у вас у всех. Если вы захотите, вы все можете это сделать.

— А как же этого можно достигнуть?

— Поступайте со всеми добром да ласкою.

— Как же с лютым быть ласково, — он погубит.

— Эко горе какое, а вы об этом не думайте и за себя не бойтесь.

— Как же можно за себя не бояться?

— А вот так же, как вы сидите теперь со мной и моего льва не боитеся.

— Это потому нам здесь смело, что ты сам с нами.

— Пустяки — что я от льва за защита?

— Ты от зверя средство знаешь и за нас заступишься.

А Герасим опять отвечал:

— Пустяки вы себе выдумали, что я будто на льва средство знаю. Бог Свою благость дал мне, чтобы в себе страх победить — я зверя обласкал, а теперь он мне зла и не делает. Спите, не бойтесь.

Все полегли спать вокруг меловой норки Герасима, и лев лег тут же, а когда утром встали, то увидели, что льва нет на его месте!.. Или его кто

отпугнул, или убил и зарыл труп его ночью.

Все очень смутились, а старец Герасим сказал:

— Ничего, он, верно, за делом пошел и вернется.

Разговаривают они так и видят, что в пустыне вдруг закурилась столбом пыль и в этой пронизанной солнцем пыли веются странные чудища с горбами, с крыльями: одно поднимается вверх, а другое вниз падает, и все это мечется, и все это стучит и гремит, и несется прямо к Герасиму, и враз все упало и повалилося, как кольцом, вокруг всех стоявших; а позади старый лев хвостом по земле бьет.

Когда осмотрелись, то увидали, что это вереница огромных верблюдов, которые все друг за друга привязаны, а впереди всех их — навьюченный Герасимов ослик.

— Что это такое сделалось и каким случаем?

А было это вот каким случаем: шел через пустыню купеческий караван; на него напали разбойники, которые ранее угнали к себе Герасимова ослика. Разбойники всех купцов перебили, а верблюдов с товарами взяли и поехали делиться. Ослика же они привязали к самому заднему верблюду. Лев почуял по ветру, где идет ослик, и бросился догонять разбойников. Он настиг

их, схватил за веревку, которою верблюды были связаны, и пошел скакать, а верблюды со страха перед ним прыгают и ослика подкидывают. Так лев и пригнал весь караван к старцу, а разбойники все с седел свалились, потому что перепуганные верблюды очень сильно прыгали и невозможно было на них удержаться. Сам же лев обливался кровью, потому что в плече у него стремила стрела.

Все люди всплеснули руками и закричали:

— Ах, старец Герасим! Твой лев имеет удивительный разум!

— Мой лев имеет плохой разум, — отвечал, улыбаясь, старец, — он мне привел то, что мне вовсе не нужно! На этих верблюдах товары великой цены. Это огонь! Прошу вас, пусть кто-нибудь сядет на моего осла и отведет этих испуганных верблюдов на большой путь. Там, я уверен, теперь сидят их огорченные хозяева. Отдайте им все их богатство и моего осла на придачу, а я поведу к воде моего льва и там постараюсь вынуть стрелу из его раны.

И половина людей пошли отводить верблюдов, а другие остались с Герасимом и его львом и видели, как Герасим долго вытягивал и вынул из плеча зверя зазубренное острие.

Когда же возвратились отводившие караван, то с ними пришел еще один человек средних лет, в пышном наряде и со многим оружием, и, завидя Герасима, издали бросился ему в ноги.

— Знаешь ли, кто я? — сказал он.

— Знаю, — отвечал Герасим, — ты несчастный бедняк.

— Я страшный разбойник Амру!

— Ты мне не страшен.

— Меня трепещут в городах и в пустыне, — я перебил много людей, я отнял много богатств, и вдруг твой удивительный лев сразу умчал весь наш караван.

— Он зверь и потому отнимает.

— Да, но ты нам все возвратил и прислал еще нам своего осла на придачу… Возьми от меня по крайней мере хоть один шатер и раскинь его, где хочешь, ближе к воде, для твоего покоя.

— Не надо, — отвечал старец.

— Отчего же? Для чего же ты так горд?

— Я не горд, но шатер слишком хорош и может возбуждать зависть, а я не сумею его разделить со всеми без обиды, и увижу опять неровность, и стану бояться. Тогда лев мой уйдет от меня, а ко мне придет другой жадный зверь и опять приведет с собой беспокойство, и зависть, и дележ, и

упреки. Нет, не хочу я твоих прохладных шатров, я хочу жить без страха.

Легенды о совестном Даниле

Пристрастие недальновидно, а ненависть вовсе ничего не видит.

Исидор Пелусиот

Легко тому, чье сердце не знает состраданья, но пусть он, однако, не радуется, ибо его постигнет жестокое мучение и оно начнет терзать его тогда, когда он будет уже не в состоянии исправить свою вину. Огонь геенский, по моему суждению, есть не что иное, как позднее раскаяние.

Исаак Сирин

Полторы тысячи лет тому назад на Востоке, близ Синайской горы, жил в маленьком ските молодой человек, по имени Данила. Скит в тогдашнее время не был похож на нынешние русские скиты, где живут монахи, у которых есть храмы и готовое содержание. В старое время на Востоке скитом называли несколько хижинок, чаще несколько пещерок в горе, да вокруг тесное огражденное место, где ютились три или четыре человека, собравшиеся по единомыслию, чтобы

жить вдали от соблазнов. Люди эти вели строгую жизнь и питались трудами своих рук. Церквей у них не было и не было тоже и священников, и долгое время скитниками не управляло никакое начальство.

Скиты устраивались легко и не скрывали в себе никаких драгоценностей, а располагались они часто близко к самому рубежу крещеной земли, чтобы иметь возможность научать христианской вере «варваров». Варварами называли некрещеных людей, которых было еще много повсюду. Много их кочевало и в жарких степях близ Синая.

Порубежные скитники от варваров не скрывались, а, напротив, сами искали случая встречаться с ними, чтобы говорить им о благе, которое может миру дать Христово учение. Они старались убедить варваров, что Бог есть Отец всех людей и что воля Его заключается в том, чтобы все люди жили в любви и чтобы никто не делал друг другу никакого зла, а если кого обидят, чтобы он не мстил, но старался бы заплатить за обиду добром и победил зло любовью, ибо только одна любовь обнаруживает зло и побеждает его. Варвары же по дикости своей не понимали и не верили, что все люди равно достойны сострадания и что

прощение обид может привести мир на землю. Они надеялись на силу и часто нападали на ближайших скитников, а как скитники были бедны и взять у них было нечего, то варвары забирали самих их к себе в неволю, угоняли в степи и там заставляли пленников стеречь своих коней, ослов и верблюдов, стричь овец и сушить навоз с бурьяном на топливо.

Случилось, что варвары напали и на тот скит на Синае, где жил Данила. Сколько здесь было старых людей — они всех перебили, а Данилу, как человека молодого и годного к работе, взяли с собою, связали ему ноги, посадили на верблюда и увезли очень далеко в степь, а там приставили его караулить стада от зверей и от хищников.

Данила служил своим пленителям долго, научился ихнему языку и перекочевывал с ними с места на место несколько лет. Он их веру не порочил, они не мешали ему верить по-своему и, замечая, как он живет с ними честно, до того в нем уверились, что совсем не стали за ним смотреть, а во всем на него полагались, будто как на своего человека. Данила несколько раз мог бросить порученные ему стада, сесть на коня и ускакать, но ни разу на это не покусился. А потом Данила стал замечать, что варвары как

будто стали любить слушать, как он рассуждает по-христиански, и во многих суждениях начали сами и говорить, и делать с ним согласно. Стало Даниле и жить хорошо, и начал он разуметь, что он живет с чужими людьми не без пользы, потому что наводит их на хорошее последование доброму учению. Но раз прискакал на своем коне один варвар, бывший на рубеже, и объявил, что крещеные прислали через него за Данилу выкуп и что теперь Данилу надо отпустить.

Данила очень обрадовался, что может вернуться к своим, но как остался он последнюю ночь в степи под шатром, стало ему жалко и варваров. «Вот, — думалось ему, — только что некоторые из них начали было по-доброму рассуждать и поступать с другими милостивее, а вот я теперь уйду — они опять все позабудут и обратятся к старинной злобе. Мне бы их беречь в добре, а я ухожу… Ведь это и есть мое дело, для которого я оставил дом и стал жить в ските, откуда пленен был». Но желание жить в обществе своих людей христианской веры все-таки стало сильнее этих суждений, и Данила решился уйти. А варвары поделили между собою присланный выкуп, дали Даниле тыкву воды и белого пшена и послали двух верховых, чтобы проводить его до рубежа,

откуда он без опасения может один идти к крещеным.

Данила благополучно воротился к себе за рубеж и стал жить прежнею скитскою жизнью. Но это недолго продолжалось: через полгода наскакали на их скит другие темнолицые варвары, и опять угнали Данилу в плен, и заставили его сушить навоз для огня и сторожить овец, коней и верблюдов.

Даниле теперь гораздо досаднее сделалось, чем в первый раз, да и жить ему с этими варварами показалось хуже, потому что с прежними он был уже обвыкшись и они с ним были ласковее, а эти его не знали и не заботились о нем, а показали, что делать, и оставили без присмотра.

Он стал все больше скучать и рассуждать, что варвары владеют им совсем неправильно, потому что он уже раз выкуплен, и, улучив удобное время, покинул все, что ему доверено, и убежал. И опять благополучно перебрался за рубеж крещеной земли и пришел в скит; но варвары скоро его хватились, вскочили на коней, прискакали к скиту, всю огорожу развалили, все пещерки поразметали и старых людей побили, а Данилу опять в плен повели пешим, прицепив его веревкою за шею к верблюжьему седлу. Для того

же, чтобы Данила не останавливался, а скорее поспевал за верблюдом, сзади его ехал молодой варвар и колол Данилу острым копьем в спину. Подвигался Данила немощными ногами, стеная, и на след его по пескам капала его кровь.

Идучи за этим караваном, Данила вспоминал свои два прежние плена и плакал, что ни в первый, ни во второй раз над ним никогда такого свирепого тиранства не было, и почувствовал он в себе против своих мучителей несносное озлобление, особенно против того молодого сильного варвара, который был черен, как мурин[110], и ехал верхом на вороном коне в самом хвосте каравана и подгонял Данилу копьем в спину.

Поднимался против него в Даниле после каждого поранения такой дух мести, что если бы сила его взяла, то он так бы на этого варвара и бросился и убил бы его.

А озлобляющий Данилу молодой эфиоп все едет в высоком седле и белыми зубами скрипит, а глазами ворочает и все Данилу копьем колет.

Привели варвары Данилу на свое становище, где у них шатры раскинуты и большой и мелкий скот пасется. Тут они слезли с коней, и жены, и

---

[110] Примечания: 110

Мурин — чёрный человек, эфиоп. В некоторых церковных книгах муринами называются также бесы (Иер. 46, 9). — *Прим. авт.*

дети к ним из-под шатров выбежали, одни у них стали коней и верблюдов принимать и расседлывать, а другие пшено в котлах заварили, и вот все стали есть и Даниле вареного пшена на лопухе бросили, а сами разговаривают, что надо им это становище завтра кинуть и на другое идти, потому что здесь вокруг трава жаром спалена и скоту голодно.

Данила же, долго жив между варварами, понимал их разговор и думал: «Ну, если завтра меня опять идти на ногах погонят, то я не могу, и пусть они лучше сразу убьют меня мечом или пикою».

Но за ночь вышла перемена: тот самый черный варвар, который гнал Данилу, разболелся страшной горячкой, так что жена его копала руками холодную глину и обкладывала ему голову. Тогда другие сказали:

— Оставим им один шатер здесь и пленника с ними. Прикуем ему на ногу колодку, и пусть он им тут работает, а жена пусть за мужем смотрит, пока он поправится.

Данила же радовался, что он отдохнет и раны его хоть немножко заживут.

Так караван и отбыл, а один шатер остался на старом месте и при нем конь, верблюд и осел, и при них настороже Данила, а к нему за ногу

приклепали на цепи толстое и тяжелое полено, с которым насилу можно было ноги двигать.

Между варварами, как и между крещеными, но непросвещенными людьми, есть такие суеверные, которые будто в Бога верят, а сами любят примечать приметы и выводить от них причины вещей по своим догадкам. Жене варвара привиделось во сне, будто Данила принес им несчастие, и она сказала это мужу и детям, и стали вместе еще жесточе озлоблять Данилу. А напослед эта варварка сказала своему мужу:

— Только ему и жить на свете, что до твоей смерти. Если же ты умрешь, то обещаюсь тебе, что я убью этого пленника, который принес нам несчастие, и зарою его в песке у ног твоих. Это и будет за тебя отомщение.

Данила как услыхал это, так стал думать, что теперь ему делать? Время для размышления было очень коротко, а меч на его погубление близок и отточен на обе стороны. Прошел еще день, и больному стало хуже, а вдобавок в шатре не хватало воды. Только больному давали пить, и то понемножку, а эфиопка сама не пила и Даниле пить не давала, но при всем том все-таки к вечеру осталось воды в запасном кубане на самом донышке. Данилу не хотели послать по воду, чтобы

он не ушел, да он и не знал, где надо искать колодезь, а потому поднялась сама эфиопка. Взяла она горластый муравленый кубан на плечо, а грудного мальчишку подцепила покромкой за спину и пошла к колодцу, а колодезь от шатра был на полдня пути. За собою она повела также осленка с пустыми мехами, а за мехами к хвосту посадила на костреце старшую девочку. Данила остался один при шатре, чтобы стеречь коня и верблюда и помочь повернуться больному варвару. Больной же метался в жару и гневался без порядка, спрашивая с Данилы то одно, то другое, и прежде чем пленник успевал исполнить один его приказ, он ему заказывал другое наново. Данила и за верблюдом и за конем смотрел, и отмахивал камышовым листом острых желтых мух, которые садились на покрытое болезненным потом лицо эфиопа, и пек для него в раскаленных камнях у поднятой полы шатра катышки из просяной муки. А жар палестинский такой, что и здоровому его нет силы вытерпеть, не только больному, и эфиоп все просит пить, и когда всю последнюю воду выпил, то стал говорить, будто ее выпил Данила.

В большом раздражении варвар потянулся, достал из накаленных камней один и бросил его

горячий Даниле в лицо, а Данила же, не стерпев боли, схватил другой камень и так треснул им эфиопа по голове, что тот и не вскрикнул, а протянулся ничком и руки и ноги врозь растопырил.

Данила его приподнял и увидал, что у него уже язык в зубах закусился и один глаз выскочил, и у виска на жиле мотается, и на Данилу смотрит.

Данила понял, что эфиоп убит, и сейчас же подумал: «Ну, теперь мне пропасть, если я не скроюсь прежде, чем вернется эфиопка!»

Хоть она женщина, но, однако, для Данилы она была страшна, потому что у него на ногах прикована колодка и ему несвободно защищаться.

Он положил колодную цепь на один камень, а другим стал колотить по звеньям, и цепь разбил, а мотавшееся на ней тяжелое полено с ноги сбросил; и сначала зарезал ножом верблюда, достал у него в брюхе воды. Вода была не мутная, но склизкая, как слюна, но Данила, однако, напился ею, а потом сел на варварова коня и помчался по пустыне. Несся он на коне в том направлении, в каком, по его приметам, надо было держать к крещеной земле.

Проскакал Данила по знойной степи весь день до вечера, не щадя скакуна, и сам ничего не ел и все боялся: в ту ли он сторону едет, куда нужно?

Ночью, когда вызвездило, он поднял лицо к небу и стал соображать по созвездию Ремфана, где рубеж крещеной земли, но в это время добрый конь аравийский под ним храпнул, затрясся и упал на землю, придавив Даниле голень ноги.

Данила едва выпутался и стал побуждать коня подняться, но он не поднимался. Зашел Данила ему с головы и видит, что у него ясный месяц в утомленных больших глазах играет и отражает, как один брат убивает другого.

Данила понял, что конь уже никогда больше не встанет, и пошел дальше пеший.

Шел он всю ночь и, мало заснув, на заре опять поднялся и шел до полуденного зноя, и вдруг стал чувствовать, что ноет у него придавленная голень и изнемогают все его силы от усталости, от жажды и голода.

Пошел он еще через большую потугу, разнемогся еще более и упал с ног долой, и все перед ним помутилось и в очах, и в разуме, и пролежал он так незнаемый час, доколе почувствовал прохладу и, раскрыв глаза, увидал над собою созвездие Ремфана и все другие звезды в густой синеве ночного аравийского неба.

Шевельнул Данила руками и ногами, а ни ноги, ни руки его не слушают, — только одна память

ясно светит. Вспомнил Данила, откуда он ушел, и куда стремится, и как он шел из первого и изо второго плена, и насколько последний, третий плен, был для него тягостнее; в первый раз он мог научить людей доброму, да ушел и не научил, а во второй раз доверия лишился, а в третий с ним уже обращались немилостиво и все ему шло хуже до той поры, пока он убил камнем варвара, зарезал ножом верблюда, задушил усталостью чужого коня, и теперь вот он сам в таком положении, что его или хищный зверь растерзает или встречный варвар опять в новый плен возьмет, а там когда эфиопка возвратится в шатер и увидит убитого мужа, то как она начнет ужасно стенать, как будет биться и проклинать его, который сделал ее вдовою, а детей ее сиротами… А сам эфиоп лежит перед ним, как и прежде, растопырив руки и ноги, и косит на Данилу оторванным глазом. И сделалось от этого взгляда Даниле так жутко и страшно, что он поспешил закрыть свои глаза, но темный эфиоп в нем внутри отражается. Не грозится, не ропщет и о детях не тоскует, а только тихо устами двигает.

«Что такое он мне говорит?» — подумал Данила, а эфиоп в нем отвечает:

— Я, брат, теперь в тебе поживу.

После того опять забылся и опять через неизвестное время пришел в себя Данила, и было это на вечерней заре, а первое, что он ощутил, это с ним вместе пробудился в нем и эфиоп.

Данила стал осуждать себя: зачем он убил эфиопа?

— Если бы не было это противно духу Божию, не болел бы во мне дух мой и черный эфиоп не простерся бы во всю мою совесть. Заповедь Божия пряма: «не убей». Она не говорит: «не убей искреннего твоего, но убей врага твоего», а просто говорит «не убей», а я ее нарушил, убил человека и не могу поправить вины моей. Учил я других, что все люди братья, а сам поступил как изверг — освирепел как зверь, и пошел громоздить зло против зла, и сделал и убийство, и хищничество, и разорение, и соделал, что жена человека стала вдовой, а дети его сиротами… И за то я чувствую, что осужден я в духе моем и приставлен ко мне простирающийся во мне истязатель. Встану скорей и пойду назад в пустыню, откуда бежал, найду шатер варвара и его вдову и сирот, — повинюся перед нею в убийстве и отдам себя на ее волю: если хочет, пусть обратит меня в раба, и я буду вечно трудиться для нее и ее сирот, а если хочет — пусть отдаст меня на суд кровных своих,

и приму от них отмщение.

Сказав это себе, Данила поднялся и пошел на дрожащих ногах в обратную сторону, а эфиоп был с ним и говорил:

— Иди, Данила, на рабство и на казнь, — иди, не опаздывай, чтобы не было тебе еще что-нибудь худшее, потому что ты убил человека, ты расхитил его имение и сделал жену его вдовою, а детей его сиротами. Не ищи оправдания ни в какой хитрости, потому что не дозволено убивать никого.

И еще шел Данила и увидал падаль загнанного им варварского коня, над которым теперь сидели орлы и рвали его внутренности…

Но сколько он дальше ни шел не находил ни шатра, ни верблюда, а стал чувствовать, что силы его оставляют и все следы и приметы пустыни в глазах его путаются.

Видит Данила вокруг себя махровые крины и белоснежные лилии, а между них человечьи и верблюжьи следы и туда и сюда по степи перекрещены во все стороны, и надо всем то свет сверкнет, то вихорь завьется, а в нем самом, в глубине его духа, будто тьма застилает все и обнимает его эфиоп, и валит его как ком в изветренную горячую пыль, и сам в нем ложится и засыпает…

«О, горе! — подумал Данила, — это ведь ангел тьмы посылается в плоть мне! Какое есть от него избавленье?»

Не придумал он себе избавления, и не скоро после этого открыл опять свои глаза Данила, а открывши, долго не мог опознаться: в каком он месте находится. Чувствует он в воздухе палящий зной, на небе горит огнем жгучее солнце, но он заслонен от припека, — кто-то прибрал его в тень, — он лежит на сухом тростнике под окопцем. В окопце прохладно за оградой из сложенных камней, по камням ползут желтые плети тыквы, а как раз против его глаз белый меловой срез и в нем узкий вход в меловую пещерку, возле входа сидит на коленях старичок и плетет руками корзинку.

Старичок как заметил его пробуждение — сейчас и заговорил ласковым голосом:

— Будь благословен Господь, возвращающий тебя к жизни. Сейчас я подам тебе воды.

Данила спросил:

— Как твое имя, авва?

— Имя мое — грешник, — отвечал старичок, — но не тревожь себя разговором, укрепись, и тогда побеседуем. А пока знай, что ты находишься среди христиан на богошественной горе Синае, а это

моя пещерка, где я прожил уже сорок лет, а привез тебя сюда христианский караван, который поднял тебя сожженного солнцем и лишенного чувств в дикой пустыне.

Когда же Данила обмогнулся, он рассказал пустыннику все, что с ним было, ничего не утаив, и выразил скорбь свою и жалобу: как мучит его совесть за убийство человека, и стал просить у старца совета.

Старец же ему отвечал:

— Я простой, бедный грешник и не умудрен, чтобы подавать советы, где нужно большое познанье. Нас, неученых, стали теперь вразумлять Патриархи. Иди в Александрию к Тимофею — он в сане великом и знает, как судить всякое дело.

Данила встал и пошел в далекий путь в Александрию, где в ту пору сидел на патриаршем престоле Тимофей Элур[111].

Данила пошел к Патриарху.

Патриарх был занят тем, как в это время стояли церковные споры Византии с Римским папою, и, выслушав бедного пришлеца, сказал ему:

— Что ты напрасно нудишь себя и без дела до-

---

[111] Примечания: 111

Элур (греч.) — вертун, перемётчик, вертихвост. Он был монофизит, но подделывался по обстоятельствам, к чему выгоднее представлялось (см. Гассе «Церковная история»), — *Прим. авт.*

кучаешь пустяками нашему смирению. Ты был в неволе насилием, и в том, что ты убил некрещеного варвара, тебе нет никакого греха.

— Но меня мучит моя совесть — я заповедь помню, которою никого убивать не позволено.

— Убийство варвара к тому не подходит. Это не то, что убийство человека, а все равно что убийство зверя; а если боишься ответа — иди в храм убежный.

Но Данила искал не того и не утешили его слова Тимофея.

— Может быть, правду о нем говорят, что он неправо держит учение Христово. Не пощажу трудов моих и пойду в Рим к папе, — он, верно, иначе рассудит и научит меня, что мне сделать.

Пришел Данила в Рим и удостоился предстать папе, который собирался тогда в Византию и обдумывал, как согласить то, что ранее объявили за несогласное[112].

Папа его выслушал и говорит:

— Тебе хорошо сказал Патриарх Александрийский, — я с ним в другом не соглашаюсь, а в этом согласен: убийство варвара — это совсем не то,

---

[112] Примечания: 112

Папа Римский упоминается в старых книгах, употребляемых в русском старовериии, которое к «старому Риму» относится с уважением. — *Прим. авт.*

что запрещено заповедью. Иди с миром.

— Благодарю, твое святейшество, но только яви мне милость — укажи во святом Христовом Евангелии то место, где это так изъясняется?

— Для чего это тебе? Как ты смеешь не верить папе!

— Прости мне, — ответил Данила, — слух мой слова твои слышит, и хочу тебе верить, но совесть не принимает: с часа убийства я вижу ее в черноте эфиопа и через то не могу быть в мире.

Папа опалился на Данилу и сказал ему выйти вон.

Данила удалился, но все чувствовал, что мира в нем нет, что совесть его по-прежнему говорит то же самое, что внимал с первого раза в пустыне, и ни папа, ни патриарх его эфиопа не умыли.

«Нельзя мне так это дело оставить, — подумал Данила, — эти оба священства теперь сильно заняты другим — как им друг друга оспорить, но ведь, кроме их, есть еще и другие Патриархи, которые, может быть, иначе умствуют. Мне не сладить с собою и я себя не пожалею: пойду ко всем Патриархам, в Ефес и в Иерусалим, в Царьград и в Антиохию. Который-нибудь из сидящих на престолах патриархов умудрит меня и скажет, как я могу убелить терзающего меня эфиопа».

Пошел Данила в Ефес, добился свидания с тамошним Патриархом и открыл ему об убийстве варвара и об ответах Александрийского Патриарха и Римского папы и, кланяясь, сказал ему:

— Помилуй меня, святой отец, — дай мне средство утолить муки моей совести. Папа и святейший Тимофей тебе не указ, ты сам напоен Божественной мудрости и зришь в тайны Божии: капни каплю благоразумия твоего в мой бедный разум, скажи, что мне делать?

Ефесский Патриарх отвечал, что он, конечно, имеет свой дар проницать в тайны смотрения, не пытая ума у Тимофея и папы, но на тот счет, о чем Данила просит, он согласен и с Тимофеем, и с папою: убить варвара вовсе не противно учению христианскому.

— Вот я только в этом и хочу удостоверения: покажи мне это в слове Христовом.

Патриарх Ефесский не показал, а сказал: «Что тебе еще надо! Ты невежда», — и не захотел с Данилою больше разговаривать, а отпустил его, как и прежние, с миром.

Отправился Данила в Царьград, в Иерусалим и в Антиохию и исповедывал свою совесть Патриархам Цареградскому, Иерусалимскому и Антиохийскому, и все они, хотя об ином, чего

Данила и понять не старался, рассуждали друг с другом не сходно, но насчет убийства человека другой веры все были одного мнения: все сказали, что убить иноверца и обидчика — это вовсе не грех и что Даниле совсем не о чем скорбеть, что он убил варвара.

— Но что же мне сделать с эфиопом! Вы не знаете, как черен и смраден эфиоп, который живет в моей совести, — говорил им Данила.

А они ему отвечали:

— Перестань мыть этого эфиопа, — это все равно что бороздить огонь и варить камни.

Данила не знал больше высокоосвященных владык и с горя решился идти в свой город, откуда был родом, чтобы предстать там своему князю и просить над собою суда за убийство.

И когда Данила лег спать в эту ночь, он увидел в полусне совесть свою: она уже не была так черна, как мурин, а показалась ему смуглою, как дитя, рожденное от эфиопки и эллина.

Добрался Данила до своего города и, не разыскивая сродников, стал похаживать около княжего терема, с надеждою увидать кого-нибудь из княжеских отроков и просить их привести его перед лицо князя.

Отроки спали, а заметил Данилу княжий при-

спешник и закричал на него:

— Что ты здесь, не тяг[113] ленивый, болтаешься. Верно, устал и оголодал от праздности и пришел сюда обнюхивать кухонные очаги у князя! Здесь нет для тебя лакомых снедей!

А Данила ответил:

— Я не ищу обонять очаги, чтобы насытиться лакомых снедей, и совсем не забочусь о моем внутреннем мешке. Если бы я хотел откармливать себя, как птицу, жиреющую впотьмах неведения, я не обошел бы столько, сколько обошли мои ноги.

Приспешник подумал: быть может, это отец Мартиан, который в два года обежал сто шестьдесят четыре города, скрываясь от женщин, и все-таки везде их находил, — и он закинул за плечи свой фартук и положил ложку, которою снимал пену, и сказал:

— Я, пожалуй, налью тебе сочного варева и отрежу печеного мяса, а ты съешь поскорей и расскажи мне: как ты от женщин бежал и как они за тобой гнались и каким родом тебя соблазняли.

Данила ответил, что он ни взвара, ни мяса не хочет и женщины ему нигде жить не мешали.

---

[113] Примечания: 113
Слабосильный.

— Так чего ж тебе нужно и зачем ты пришел?

— Я убил человека и мучаюсь от этого в совести. Я уже обошел всех Патриархов и папу и всем каялся.

— Вот ты счастливец, сколько ты видел святыни. Это не то, что я, несчастный, верчусь у моего очага. Хочешь, я тебя угощу крылом красной птицы, а ты мне скажи поскорей, что сказали тебе Патриархи и папа?

— Они мне сказали, что на мне нет греха за убийство, но я этого не чувствую и пришел теперь к князю.

— А это ты и напрасно сделал, — сказал приспешник. — Я от природы охотник все знать и скажу тебе прямо, что если тебе не удовольнил своим прощением Патриарх, носящий образ великого Марка, то может ли князь что-нибудь тебе сделать. Он тебе не простит убийства.

— Вот я того-то и желаю, — отвечал Данила.

— Ты хочешь получить смертное наказание?

— Я хочу получить то, чего я достоин, чтобы дух мой отстрадал свою вину и очистился.

— А это тоже любопытное дело: у князя есть судбищное место, где он садится и разбирает народ. Ты погложи здесь вот эту лепешку, а я разбужу княжьих отроков и приду послушать,

когда князь разберет твое дело: велит ли он тебя распять на дереве или прикажет тебя отвести на потраву в зверинец.

Приспешник побежал сказать о Даниле княжим отрокам, а те взяли его, отвели к темничному стражу и велели держать под крепким караулом, пока князь захочет судить людей и тогда его потребует.

Набили Даниле на шею тяжелую колодку и бросили его в яму надолго.

Дожидался Данила в яме княжьего суда не день, не два и не месяц, а много лет; во все это время князь был то на ловах, то в боях, на пирах и в ристаньях, но, наконец, раз он воротился в свой стольный город и, всеми иными делами наскучив, захотел рассудить ожидавших его связней[114]. Вышел для этого князь из терема и сел на свое место, а отроки начали подводить к нему одного за другим виноватых и сказывать на них вины, какими кто преступился.

Князь всех рассудил и приказал, кто кому должен заплатить и кого за какую провинность чем наказать надо, а когда дело дошло до Данила, то отроки о нем сказали:

---

[114] Примечания: 114
Узников.

— Этот старый человек, которого видишь (ибо Данила уже состарился) явился сам на твой суд по своей доброй воле. Он сказывает на себя убийство человека, а где и над кем он то убийство сделал, это он тебе одному откроет.

Князь удивился, что Данила уже стар и слаб, так что едва ли он мог с кем-нибудь сильничать и кого-нибудь убить.

А Данила ему отвечает:

— Это я состарился, княже, от моего греха. Истерзала меня совесть, в которой я много лет волочу эфиопа, но когда я сделал убийство, я тогда был еще молод. Дозволь рассказать тебе все и рассуди меня, как бы я только вчера сделал мой грех.

— Хорошо, — сказал князь, — я тебе это обещаю.

Данила и рассказал князю все и прибавил, как он ходил ко всем Патриархам и к папе и что они ему отвечали.

— Что же: неужели тебя это не облегчило? — вопросил князь.

— Нет, мне стало еще тяжелее.

— Отчего?

— Оттого, княже, что я начал думать: не закрыли б от глаз наших слово Христово слова

человеческие, тогда отбежит от людей справедливость и закон христианской любви будет им все равно как бы неизвестен. Я боюсь соблазна и не ищу далее вразумления от освященных, а предстал пред тобою и прошу себе кары за смерть человека.

И Данила упал и простерся перед князем на землю.

Князь же, взглянув на Данилу пристальным взглядом и видя на лице его слезы и терзающую скорбь, отвечал:

— Старик, ты смутил меня. Давно не видал я того, что на лице твоем вижу: вот ты имеешь добрую совесть, и я вижу, что ее носить не легко. Рад бы тебе я помочь, но суда Патриархов я отменять не могу, а, как князь, в своем смысле еще нечто добавлю. Если бы ты убил человека нашего княжества и святой веры нашей, тогда я бы тебя осудил к платежу или к казни на смерть, но как же я тебя осужу, когда ты убил врага-супостата, некрещеного варвара! Не они ли, скажи, делают из-за рубежа набеги на княжество наше, не они ли угоняют наш скот и уводят людей? Как же нам их жалеть?.. По-моему, ты хорошо сделал, что убил одного варвара, а еще бы лучше сделал, если бы убил семерых варваров, тогда бы ты от меня

еще большей хвалы был бы достоин.

Данила же, услыхав это княжее слово, ощутил в груди своей живую бодрость и сказал:

— О, князь! хорошо ты говоришь об угнатом скоте, но жалко, что о забытом Христе плохо знаешь: меч изощряешь, мечом погубляешь и сам от меча можешь погибнуть.

И стал Данила вдруг горячо говорить из Христовых словес о врагах, и так пронял всех, что князь поник головою и все его слушал, а потом сказал:

— Иди, авва, слово твое верно, да в нас не местится[115], ибо наше благочестие со властию сопряжено и страхом ограждается, — и, не глядя на Данилу, князь поднялся и пошел к себе в терем, а отрокам своим велел хорошо накормить Данилу, дать ему одежду и отпустить куда хочет. Но Данила велел сказать поклон князю, но ни хлеба ни соли есть не стал и одежды не принял, и не пошел в город, потому что там все в заботах, как в волнах на тонувшем корабле заливаются, а пошел за город, как был, в своем рубище. Пройдя много, он очутился в далеком, безмолвном и возвышенном месте, откуда перед ним открывалась безбрежная степь. Душе Данилы здесь стало

---

[115] Примечания: 115
Не вмещается.

легче, чем было в Риме, и в Византии, и перед судилищем князя; жизнь его быстро пробегала теперь перед ним, как скороход на площади, и он всю ее снова увидел. Он припомнил, как отбежал бодрый от рук матери, а до теперешней черты достиг утомленный, и на зло себе слышит, что все его горе совсем будто и не горе, никто его не осуждает за то, что он убил человека иной веры и иной державы, а еще все ему в ладоши плещут, но зато эфиоп его своего места держится: он только мало посветлел, но сидит в нем по-прежнему.

— Немилосердный ты! — воскликнул, ударив себя в грудь, Данила. — Куда я тебя ни носил, кому я тебя ни показывал, никто мне не дал средства убелить твое безобразие: чего же ты от меня хочешь?

А эфиоп ему отвечал:

— Слепец ты, бедный Данила! Как это ты во столько лет не умел узнать: кто тебе друг и кто недруг? Я твой друг, потому что я не даю тебе покоя, а ты себе враг, потому что ты ищешь забыть меня. Без меня ты мог бы остаться с обольщением, которое бы тебя погубило.

Данила подумал и понял, что гнетущую его совесть взаправду надо считать не за кару неумолимого Бога, а за доброе напоминание, не допу-

стившее Данилу до легкого усыпления себя, и он обрадовался и, заплакав от счастия, воскликнул:

— Как благ Ты, о Боже, меня наказуя! Но где же, о, где взять нецеленья тому, кто угасил светильник жизни, не им запаленной?

— Как пролитой на землю воды не сберешь обратно в кувшин, так не возвратишь и жизнь тому, у кого ее отнял, — прозвучал эфиоп. — И ты должен был это знать и, сделав зло, не тратить силы и время на разговоры, а должен был делать дело.

— Но что же я могу делать?

— Смотри не так высоко, а пониже.

Данила встрепенулся и стал вглядываться вдаль по земле. Опять он видит ту же сухую степь, но зато впереди себя, и невдалеке, замечает что-то ни на что не похожее. Лежит что-то такое не имеющее вида, — что-то одного цвета с пылью, не живое и не мертвое, — будто как ком земли, а меж тем содрогается.

Данила встал и пошел к этому неподобию и увидел зловонного прокаженного человека, у которого уши, и нос, и персты на руках и ногах — все отпало, и череп обнажился, и глаза выпали, — а зияла только одна пустая пасть на месте рта, и оттуда исходит невыразимый смрад и сип-

лое шипение.

«Кто его сюда занес и кто его здесь поит и кормит? — подумал Данила. — Но пока не вижу того, кто о нем заботится, пойду, принесу для него пищи и напою его водою».

Отыскал Данила воды и принес в пригорошнях и с ужасом стал вливать ее в пасть прокаженному, а потом остался ждать того, кто придет и уберет его на ночь. Но никто не приходил, а меж тем спустилася тьма и сделался резкий холод, и прокаженный начал ежиться и щелкать пастью. Это было так страшно, что не только сердце, но все кости в Даниле затрепетали, и он вдруг понял, что ему надо делать, и сказал себе:

— Вот мне урок и работа. За то, что я смел считать Бога бессильным изменить к добру живую душу варвара и убил его, я должен отдать мою жизнь тому, кто без надежды страдает. Стану служить этому безнадежному трупу, доколе в нем тлеет угасающий уголь его жизни.

И Данила снял с себя, какое на нем было, ветхое лох-мотье и одел им прокаженного, а сам остался голый. Потом он опять нашел воду и еще раз напоил больного из своих ладоней; потом отыскал в глине ущелинку, раскопал ее пошире руками и снес туда прокаженного. К телу Данилы

прилипали струпья и гной прокаженного, но ему не было скверно и он не боялся заразиться. Он нашел дело и стал жить около прокаженного, ходя днем на торг, на поденщину, а ввечеру приносил прокаженному пищу. Так и шло, пока узнали, что он сообщается с прокаженным, и не стали его пускать в город. Тогда он насеял бобов, они скоро взросли, и Данила, и прокаженный — оба ими питались.

Когда же прокаженный совсем распался и жизнь его оставила, тогда Данила понял, что ему надлежало бы начать с первой минуты, когда он совершил грех, убив варвара, но теперь он был уже стар и не мог принести людям такой пользы, какую мог бы приносить в хорошей поре своей.

— О, Данила! Данила! — сказал он себе, — не драть бы тебе взоры высоко, а давно глядеть бы по земле, да искать, кому ты мог быть полезен. А теперь вот и издыхай, как старый пес: ты уже никому ни на что не годишься.

— О, авва, авва! Как я тебя ищу, и как ты мне нужен! — прозвучал к нему голос, и Данила увидал перед собою юношу в пышной одежде.

— Авва, — начал он, — я пришел к тебе издалече: я был большой грешник.

— Что же делать. Исправься.

— Да, я узнал, в чем ученье Христа, и хочу жить по его примеру.

— Ты блажен, — отвечал Данила.

— Я расстался с людьми и пришел к тебе, чтобы быть твоим учеником.

— Если тебя коснулася любовь Христа, то тебе уже непристойно быть ничьим учеником.

— Так ты, по крайней мере, хоть однажды поруководи меня.

— Хорошо. Только будь мне послушен.

— Ей, авва, буду.

— Оставайся при одном учении Христа и иди служить людям.

Невинный Пруденций
(Легенда)
Глава первая

В первых веках христианства в одном из торговых поселков на берегу Средиземного моря жили два купца, которых звали Алкей и Гифас. Оба они ходили в море на одном небольшом корабле, который теперь назвали бы ладьею. Они вели торговлю вместе, а иногда также вместе нападали на небольшие суда и грабили их. Последнее свое занятие, то есть разбойничество, Алкей и Гифас скрывали, но оно было прибыльнее торговли. От такого двойного промысла оба купца сделались богаты и жили в достатке. У них были самые лучшие дома во всем поселении и при домах сады и теплые бани.

Гифас был старше Алкея и имел жену Ефросину, тоже уже пожилую женщину, и сына Пруденция, а Алкей был моложе Гифаса на десять лет и недавно женился на молодой и очень красивой, доброй и рассудительной девушке, которую звали Мелита.

Мелита приходилась племянницею жене Гифа-

са, Ефросине, и жила с нею в такой же дружбе, как Гифас с Алкеем, а сын Гифаса, миловидный отрок Пруденций, был любимцем обеих семей — своей собственной и семьи Алкея. Пруденций жил в обоих домах, как у себя, пользуясь заботами матери своей Ефросины и полезными внушениями Алкеевой жены, молодой и прекрасной гречанки Мелиты.

Когда Алкей и Гифас по условиям своего промысла ходили надолго в море, жены их, пожилая Ефросина и молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вместе все свободное время, какое им оставалось от их ручного труда и необходимых забот по хозяйству.

Ефросина была очень домовитая женщина, старого языческого воспитания, и заботилась только об одном житейском: она не умела грамоте, но зато лучше Мелиты заготовляла копченое мясо, фрукты и рыбы; а Мелита пришла сюда из города, где занималась науками и нежными работами, требующими искусства и вкуса для их производства. Поэтому Ефросине не раз приходилось подавать Мелите полезные советы и оказывать помощь в хозяйстве, а благородная Мелита, в благодарность за это, старалась оказывать взаимные услуги Ефросине. Она вышивала головные по-

кровы для самой Ефросины и делала узорочные коймы к легким, эфирным туникам, в которые Ефросина любила одевать свое единственное и долгожданное дитя, отрока Пруденция, отличавшегося замечательною стройностью и красотою.

Пруденций был статен и смугл, с горячим матовым цветом лица, с большими черными глазами, глядевшими из-под черных ресниц, при черных бровях и густых кудрях цвета ореха.

Он был очень нежен и ловок в движеньях, застенчив, страстен и скромен, — и через это он каждому казался приятным и милым.

Самое лучшее, чем Мелита могла заслужить Ефросине, это было обучить Пруденция грамоте и тем из известных Мелите искусств, которые шли к полу мальчика по условиям тогдашнего быта.

Глава вторая

Мелита научила Пруденция читать и писать, петь и играть на цевнице, шибко бегать и бросать в цель металлические кружки и кольца.

Так как Гифас и Алкей прожили век в своем полудиком, не столько торговом, сколько разбойничьем поселке, то они не знали никаких подобных изящных упражнений и развили свои

силы прямо в суровой борьбе с морем, но Ефросине нравилось, чтобы Пруденций был воспитан нежнее и ближе к тогдашней моде.

В упражнениях Пруденция в силе и ловкости с ним состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и ее молодая черная рабыня-финикиянка Марема, которую тоже звали короче Мармэ.

Когда Мелита начала заниматься воспитанием Пруденция, ему тогда исполнилось всего двенадцать лет, но он был так крупен и строен, что походил уже на мальчика лет пятнадцати; а Мелита, которой шел в это время семнадцатый год, была столь моложава, что ее можно было принять за пятнадцатилетнюю невесту. Довольная, и в то же время воздержная жизнь и умеренность во всех наслаждениях, при свободе от болезней деторождения, так сберегли прекрасное тело юной Мелиты, что при встрече с нею всякий незнакомец легче всего почел бы ее за юную девушку, а не за молодую жену пожилого человека, каков был ее муж, косой и в обхождении грубый Алкей.

Также девственно чист, и беспечен, и весел был ее живой, острый ум, живший в ладу с добрым сердцем и прекрасным, твердым и ровным ха-

рактером.

Научая Пруденция бегать по правилам бега, легкая Мелита сама становилась с ним рядом на мету и бежала, нередко обгоняя его и приходя первой на противоположную мету, где становилась, оборачиваясь к нему лицом и собирая тонкими пальцами черные кудри, рассыпавшиеся по белому лбу, орошенному потом.

Также вместе они метали и диски и кольца, а судьею их была темнолицая рабыня Мармэ, которую Мелита содержала не как служанку, в подобострастье, а как подругу — в любви, и сама находила ее приятной по душевным качествам и прекрасной по телу, отличавшемуся гармоничною стройностью и ровным агатовым блеском.

Так занималась Мелита Пруденцием целых два года, а в конце третьего года в среде этих людей случилось несчастие.

Глава третья

После нескольких бурных дней, проведенных Алкеем и Гифасом в море, — Алкей возвратился один на своей ладье.

Это было вечером, когда все жители в селении спали. Алкей вошел в свой дом, двери которого

ему открыла Марема и испугалась, заметив на лице своего господина страшное выражение. Алкей тотчас же приказал служанке удалиться, а сам вошел к жене и открыл ей, что Гифас погиб в море.

Эта новость поразила и в то же время удивила Мелиту, которая имела некоторые понятия об условиях морского быта, и она стала расспрашивать мужа: как могло случиться, что судно сохранилось в целости и сам Алкей сохранил себя в безопасности, а Гифас погиб!

— Это было так, — отвечал Алкей, — что на нас напали две ладьи грабителей, и мы долго от них оборонялись, но я бил сильнее и мог защищаться, а Гифас не успел уклониться от одного удара в голову и упал в воду с раздробленным черепом.

— А как же ты мог спастись?

— Я увидал, что мне одному уже нельзя защищаться, и бросился в воду, чтобы меня тоже почли убитым. В воде я схватился руками за киль и держался до тех пор, пока грабители, опустошив нашу лодку, кинули ее на произвол ветра. Тогда я снова вскарабкался в лодку, поставил порванные паруса и, взяв руль, достиг кое-как до нашего берега.

Мелита выслушала рассказ мужа и ничего ему

более не возражала, но Алкей заметил по лицу жены, что она как будто сомневается в его рассказе, и, отведя свои глаза от ее взора, добавил:

— Я не могу теперь говорить тебе в подробностях, как все это случилось, да ты и не могла бы всего понять, потому что это совсем не то, что твоя музыка или твои вышиванья, а я тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала мне необходимую помощь: облегчи мне чрезвычайно тяжелое дело.

— О, сделай милость: я готова сделать все, что в силах, — отвечала Мелита.

Тогда Алкей ей открылся, что он, человек неустрашимый в борьбе с морем и разбойниками, очень боится видеть женское горе и слушать стенания и вопли, и для того он просит Мелиту, чтобы она пошла к Ефросине и открыла ей ужасную новость о смерти ее мужа и о погибели значительной доли их состояния, бывшего в лодке.

Мелита сказала, что она это сделает, и поручивши Мармэ позаботиться о том, чтобы вытопить баню для мужа, сама оделась и пошла тихо к вдове Ефросине.

Вдова Ефросина, получив от Мелиты печальную весть о смерти Гифаса, предалась обычному плачу и стенаньям, а потом надела одежды вдов-

ства и, покрыв голову платом с неподрубленным краем, сказала Мелите:

— Теперь я не могу спать во всю ночь, и, обнявшись с сыном, мы до утра будем плакать с ним о Гифасе; а утром рано я пошлю Пруденция обойти все наше селение и позвать всех на берег моря на то самое место, с которого муж мой Гифас в последний раз отплыл вместе с Алкеем. Ты же Алкею скажи, чтобы он в тот же час пришел на то место и всем рассказал, как все это случилось, что муж мой погиб, а Алкей один живым возвратился. Я теперь в таком огорчении, что ничего сама понять не могу, и не в силах придумать, что мне делать с судном, в котором есть половинная доля Гифаса и только другая половина принадлежит Алкею. Пусть весь народ из селения соберется, пусть все люди услышат печальную повесть, как ее Алкей нам расскажет, и затем пускай люди обсудят, как нам жить дальше или как нам удобнее рассчитаться и разделиться с Алкеем.

Мелита нашла желание вдовы Ефросины совершенно основательным и, возвратившись домой, известила об этом Алкея. Он принял это спокойно, как человек, у которого совесть чиста и которому нечего опасаться рассказать перед всеми о том, что случилось.

Он поблагодарил жену за то, что она приняла на себя тяжесть объявления горя вдове Ефросине, и уснул крепким сном в объятиях Мелиты. Но его крепкий сон, однако, не раз прерывался какой-то тревогой, и дремотный голос Алкея прямо на ухо Мелите называл имя Пруденция.

Глава четвертая

Люди селения собрались у пристани и сели — одни на желтом песке, а другие — на серых камнях, а вдову Ефросину посадили на опрокинутую лодку, и тут же у ног ее сел красивый сын ее, невинный Пруденций. И мать и сын были босы и в печальных одеждах с неподрубленным краем.

Посредине круга, который образовали собою люди, усевшиеся перед опрокинутой лодкой, на которой поместили Ефросину, стоял Алкей и рассказывал, как было дело, что напали на них в море неизвестные люди и одолели их и товар их заграбили, а Гифаса убили и бросили в море.

Словом, Алкей сказал людям то же самое, что раньше сказал он жене, и рассказ его на всех произвел такое же неясное впечатление, как на Мелиту. И когда речь Алкея была кончена, все мужчины остались на время в молчании, а

потом один из них, самый старейший в селении, молвил: — Я бы так рассудил, что в море бывают всякие беды, и что случилось с Гифасом, того уж теперь не поправить, а надобно думать о вдове Ефросине и об отроке, сыне Гифаса, которые остались в живых и которых здесь видим все перед собою, босых и в печальных одеждах с неподрубленным краем. Пусть, находясь нынче в царстве теней, Гифас не будет смущаться за то, что здесь будет с ними и с их достоянием, которого нам нельзя разделить безобидно между Алкеем и сыном Гифаса. Пусть все, что у них вместное было там, и останется общим, пока отрок Пруденций достигнет возраста мужа, и тогда они сами разделятся с Алкеем, а до тех пор пусть все по-старому останется вместе, и корабль и товары, где они что поместили на время на пристанях дальних.

В людях прокатило рокотом тихим:

— Да, это самое лучшее. Все так согласны, и пусть так и будет, ежели только вдова Ефросина на это согласна. Вдова сидела с поникшей головою и отвечала:

— Я горем убита и полагаюсь на общее мнение.

Тогда все решили, что Алкей должен взять к себе в дело Пруденция и обучить его торговле и всей морской жизни, а когда Пруденций придет

в возраст, тогда с ним разделить все, что нажито вместе с Гифасом и что вперед им придется еще к нажитому прибавить.

Против этого только вдова Ефросина заметила, что сын ее еще очень молод, чтобы вверять его морю и обрекать на все случайности; но Пруденций едва это услышал, как сам стал проситься, чтобы мать его отпустила с Алкеем, и вдова Ефросина согласилась его отпустить, а Алкей не имел никаких оснований для того, чтобы уклониться от приема Пруденция, подал ему руку и сказал:

— Клянусь богами, я рад, что люди решили, чтобы ты стал мне товарищем вместо своего отца. А тебе, госпожа Ефросина, я здесь обещаю, перед всеми людьми и перед небом, что я всегда буду помнить, как тебе дорог твой единственный сын, и стану жалеть и беречь его юные силы. Ты же не бойся: и море не всегда ведь сурово — оно часто даже хранит от зол человека, особенно юность, в пору которой скоро вступит Пруденций; воздух и море дадут ему крепость мышц и смелость духа, и, что не меньше того драгоценно, — они сохранят его целым от ранних соблазнов любви, расслабляющих тело и душу. А затем он увидит много иноземных чудес, искусится в познанье людей, усвоит себе познанья в торговле, и тебе будет

отрадно видеть, как через него в дом твой снова польются достатки, и когда он в свободное время присядет у твоего очага, ты сама, поворачивая над углями вертел с дымящимся мясом, насладишься тем, как будут все Пруденция слушать.

Глава пятая

Ефросина более не возражала, и Пруденций ушел в море с Алкеем, и с этой поры мореходство стало для него постоянным занятием, в котором он в самом деле скоро окреп, так что в пятнадцать лет был похож на семнадцатилетнего юношу, а в семнадцать совсем смотрел взрослым мужчиной, и был он красив на удивленье и при этом стыдлив и совсем целомудрен.

Алкею не было выгоды выхаживать Пруденция, и он втайне очень бы рад был от него избавиться, чтобы сокрыть все свои пути и места, где у него были в чужих портах склады, но он не хотел, чтобы Пруденций исчез так же, как исчезнул Гифас, потому что одинакие случаи два раза кряду могли повести к подозрению, и суд простых рыбаков родного поселка мог быть слишком суров для Алкея, но Алкей сделал все, что только мог, чтобы растлить душу Пруденция, и когда

они заходили в чужие порты, Алкей его поощрял пить вино и оставлял в сообществе соблазнительных женщин, которым обещал хорошую цену за то, чтобы отогнать от Пруденция скромность и увлечь его в порочную страстность. Но все это было напрасно: какой-то хранительный гений до того неприкосновенно охранял юношу от всех соблазнов и поползновений, свойственных его возрасту, что сами соблазнительницы, которым Алкей предавал целомудренного юношу, дали ему название «Невинный Пруденций».

Но отчего же он, при всей своей юности и красоте, поражавшей множество женщин, был так недоступен никаким их соблазнам?

Женская влюбленность в Пруденция доходила до таких безумных проявлений, что раз, когда ему и Алкею случилось пристать на мысе у города Книда, самая красивая девушка этого городка кинула в Пруденция из-за скалы острым бронзовым осколком и, не попав в голову, так тяжело ранила его в плечо, что он упал, обливаясь кровью, а она в это же время бросилась в море.

Рана, нанесенная безумною книдянкою, была очень тяжела и так долго не заживала, что Алкей привез Пруденция к вдове Ефросине больного, в перевязках, и случай этот, огласившись в целом

поселке, восстановил в памяти многих случай с Гифасом и дал повод нехорошо говорить об Алкее.

Разговоры в таком роде распространялись быстро и прежде всех дошли до слуха темнолицей невольницы Мармэ, которая, как сказано выше, была молодая и в своем роде тоже очень красивая девушка и очень любила Мелиту.

— Госпожа! — сказала она, находясь вдвоем вечером в бане с Мелитой. — В народе разносят очень странные речи; мой долг предупредить тебя о том, что в этих речах, кроме сына вдовы Ефросины, много такого, что касается тоже тебя и твоего мужа, а моего господина, Алкея.

— Что же это такое?

— Вот что: все знают, что красивый Пруденций пришел уже в самый расцвет своей красоты и здоровья, а меж тем он до сих пор остается невинней ребенка…

— Да, быть может, это и так, но ведь это меня нимало не касается, и я думаю, мне об этом совсем лишнее знать…

— О нет, это не лишнее для тебя, госпожа!

— А я могу тебя уверить, усердная Марема, что это до меня совершенно не касается и даже нимало меня не занимает.

— Это тебя должно занимать!

— Почему?

— Неужели ты не понимаешь?

— Не понимаю и откровенно скажу, это мне совсем неприятно… Для чего мне знать эти вести о том, как себя держит Пруденций? Для чего все вы стараетесь сделать мне все это известным?

— Кто же все, госпожа?

— Например, вдова Ефросина.

— Ага! это понятно. А еще кто, госпожа, говорил с тобой об образе жизни стыдливого сына Гифаса?

— Представь, мне говорил это муж мой Алкей.

— Сам Алкей?

— Да.

— Он тоже имеет причины.

— Он мне их не сказал.

— И это понятно.

— А мне ничто не понятно, — отвечала Мелита и тотчас же добавила с доброй улыбкой: — а если Мармэ известно более, чем ее госпоже, то это потому, что тут, верно, есть что-нибудь, что касается больше Мармэ, чем Мелиты.

— О, совсем наоборот, — также с улыбкой отвечала Марема, — не я, а ты, моя госпожа, живешь в целомудренном сердце невинного Пруденция.

— Что говоришь ты!.. Опомнись, что ты сказала, Марема!

— Я сказала только то, что для меня очевидно и что как раз так и есть, как я сказала. И поверь мне, госпожа, что это не мне одной кажется так.

— Кто же еще смеет так думать?

— Смеет!.. Ты смешно говоришь: для чего тут особая смелость? Всякий, даже против желания, должен подумать о том, что перед ним является с такой же очевидностью, как страстная влюбленность в тебя невинного Пруденция.

— Ты клевещешь разом на всех нас, Мармэ, и я бы хотела, чтобы ты выпустила это из своей головы и никогда более к подобному разговору не возвращалась.

— Запретить говорить мне ты можешь, и я буду тебе повиноваться, но «выпустить из головы»... Нет, ты требуешь невозможного дела!.. И притом, если я буду молчать, я не открою тебе всего, что угрожает...

— Кому?

— Кому? Странный вопрос! Всем, кто тебе дорог: Алкею, Мелите, вдове Ефросине и самому невинному Пруденцию, который не может жить долго без перелома в душе его, если не произойдет отвлечения его мыслей куда-нибудь вдаль от

всего, что слилось для него в одном сладостном звуке твоего имени. О госпожа! Или ты в самом деле дитя, несмотря на довольно долгие годы замужества с Алкеем, или же ты самая большая и искусная притворщица в свете!.. Разве не видишь ты, как он глядит на тебя, так, что всякому видно, что он постоянно весь полон тобою…

— Я этого не вижу.

— Ты не видишь, но вижу я, и видит мать его, вдова Ефросина, у которой он спит, положив голову ей на колени, а уста его в тихом бреду произносят шепотом сладчайшее слово: «Мелита»… Вдова Ефросина тоже ведь женщина, и она не может не догадаться, что это значит… Я думаю, что если бы твой муж, засыпая у тебя на коленях, стал тихо шептать имя посторонней женщины, то хотя бы это имя значило не более, чем имя Маремы, — ты бы догадалась, что господин мой зовет меня не для таких услуг, которые я обязана исполнить ему все при твоем лицезренье.

— Право, я никогда об этом не думаю.

— Верю! И зачем бы ты стала думать, когда твое сердце нимало не уязвлено страстью…

— Что ты хочешь сказать? — перебила Мелита, — или, по-твоему, я не люблю своего мужа?

— Нет; ты любишь Алкея, как мужа, и на муж-

нину долю этого чувства довольно; но Алкей ведь недаром имеет такие глаза, которые могут сразу в разные стороны видеть… Зачем он тебе рассказал про стыдливость этого юноши, который пламенеет к тебе первою страстью?.. О, я не была при том, как вы об этом говорили, но я будто слышу вкрадчивый тон Алкеева голоса; я знаю наверно, как он с шуткой мешал яд своих подозрений…

— Алкей это все рассказал мне в самом деле смеясь.

— И ты приняла его смех за веселость!.. Ты верила ему, что он шутит?!

— Почему же не верить?

— О, это забавно! Однако это сохранило тебя от большей опасности; но она все-таки придет: я вижу мрачный огонь в разлете скошенных зрачков твоего мужа, и не как твоя рабыня, а как друг твой, у которого все благополучия сопряжены с твоею жизнью, — я заклинаю тебя, Мелита: сними повязку с твоих прекрасных глаз — вглядись в то, что произошло, с отвагой женщины, понимающей опасность, и обдумаем, что нам делать, чтобы не произошло бедствия.

— В каком роде беды ты ожидаешь, Марема?

— В том самом роде, в каком кончилось дело жизни Гифаса.

— О, справедливое Небо! Неужто и ты, Мармэ, подозреваешь…

— Что ты, что ты, моя госпожа! Я столько же склонна что-нибудь подозревать, сколько желаю быть продана от тебя в каменоломни на скалы, но я тебе указываю в ту сторону, где небо краснеет и откуда слышится приближение бури… Будь осторожна… не выдай себя Алкею ни звуком, ни взглядом.

— Да мне нечего и скрывать… Я учила Пруденция — правда, по дружбе моей к вдове Ефросине, и ласкала его тогда как ребенка, но я не сказала ему шепотом ни одного слова, никогда я не обвела его взором нежнее, чем должна смотреть дружба, и я уверена, что если вдова Ефросина спросит Пруденция, то и он ей не скажет, чтобы я была виновата в тех чувствах, о которых ты мне теперь рассказала… Я же при встрече скажу ему, чтобы он перестал обо мне думать, что это тяжело мне… обидно… и… если только все правда, что ты говорила, то он будет напрасно тратить свои лучшие годы…

— Отчего?

— Как отчего?

— Ты разве не женщина?

— Да, я женщина… но что же следует дальше?

Марема улыбнулась и сквозь улыбку сказала:

— Мы все чутки сердцем… а ты так сострадательна…

— Ну, и мне его жалко!

Марема махнула рукою и ответила скоро:

— Ах, госпожа моя! — только и нужно: сожаленье к мужчине нас отдает в его руки!

Глава шестая

Мелита не сразу ответила на последние слова Маремы: она, вероятно, чувствовала, что в них есть доля правды, но потом она привела свои чувства в порядок и сказала:

— Опасного много на свете: может быть, что и сожаленье ведет нас к дурному; но я не боюсь этого.

— Что же, ты разве зачарована? Теперь улыбнулась Мелита и ответила:

— Да!

— Какие же чары тебя защищают?

— Я христианка… я неспособна к обманам и знаю, что нет и не может быть счастья во лжи.

— Конечно, конечно!.. Ну, а если бы боги Аида призвали к себе моего господина…

— Что ты опять говоришь мне, Мармэ! В каком

ты бесстыдном теперь настроении!

— Нет, ты скажи: в каком настроении ты чувствовала бы себя, оставшись свободною, молодою вдовою… когда нежная страсть такого красавца юноши, как Пруденций, не казалась бы тебе тем, чем кажется нынче? Ах, я уверена, что вы с ним скоро пришли бы сжечь жертву ваших сердец у алтаря Гименея.

— Никогда!

— Почему, моя госпожа?

— Во-первых, потому, что я христианка.

— Я очень плохо понимаю различия в верах! Для меня все религии сходны в одном: все мешают любить столько, сколько б хотелось!

Но эти слова привели Мелиту в такое сильное расстройство, что она стала еще больше укорять Мармэ за вольности в ее рассуждениях…

— Ты говоришь мне про приязнь, которую ты ко мне будто чувствуешь, — сказала Мелита, — а высказываешь такие мысли, которые пристали бы разве коварной смутьянке, желающей сбить замужнюю женщину с пути ее долга. Но этого, я надеюсь, со мной никогда не случится: от этого меня сохранит именно то святое учение, в постижении которого я стараюсь найти смысл жизни. Не улыбайся, Мармэ. Христианское учение от-

крывает человеку, в чем смысл жизни, и научает его управлять своими страстями. Ты не раз говорила мне, что я облегчила тебе твою долю тем, что обращаюсь с тобою не как с рабыней, а как с равной мне женщиной; а ведь это произошло оттого, что наш учитель велел нам в каждом человеке видеть нашего брата, и потому мне отрадно и сладко называть тебя моею «сестрою» и устроить тебе покой и довольство. Но дальше согласие наше идти не может, потому что ты почитаешь себя вправе брать у жизни все, что только возможно схватить, а я рассуждаю иначе.

— О, конечно, схватить все, что можно! — перебила Мармэ. — Для чего упускать свое счастие?

— Счастие!.. Это неясное слово, Марема. Кто может сказать: в чем счастье?.. Для тебя это, быть может, достиженье того, что тебе сейчас нравится, а для… другой…

— Ты хочешь сказать, для христианки?

— Может быть, да. Для нее лучшая радость — вовсе не в том, чтобы вырвать у жизни сейчас все, что возможно, а в том, чтобы идти в тишине к тому, что может создать общую радость.

Мармэ засмеялась и, отмахиваясь ладонями, молвила:

— Эге-ге! Это все старые песни! Ты оттого так

рассуждаешь, что ты слишком спокойно любишь мужа и не имеешь от него детей. Когда бы Алкей был способен внушить тебе более жаркие чувства или бы ты имела детей, то поверь, что ты бы на все посмотрела иначе и стала желать своего, а не общего счастья.

И Мармэ живо рассказала Мелите, как живительно действует счастье быть любимым тем, кого любишь, и как естественно заботиться о своих детях. Она представила эту заботу такой жаркой, с которою совсем невозможно сравнить ровного участия всеобщей любви безразлично ко всем людям целого мира.

Но Мелита стояла на своем и снова ей возразила, что она не имеет нужды в особенных чувствах к людям, родным ей только по крови, и что для нее гораздо желательнее иметь благоволение *ко всем людям*, как это внушено в учении, сделавшем ее христианкою. Тогда Мармэ пожала с улыбкой своими смуглыми плечами и сказала:

— Спор наш, я вижу, ни к чему не приведет. Оставим все это времени, а теперь покуда помни лишь то, что я тебе сообщала: муж твой ревнует тебя к сыну вдовы Ефросины, и ты должна это знать и отстранить с пути своего все, что может усилить тревогу.

— «Усилить тревогу»! Тревога ни из-за чего!.. Тревога, в которой я ничем не виновата, но которой тем не менее должна я бояться!.. И вот это-то все вы называете жизнью! Нет, жизнь совершенно в ином, и я не перестану искать ее, где надо.

— Ищи! — отвечала, кончая беседу, Мармэ, — но еще лучше будь готова встретить то, что она может бросить тебе на твой путь совсем неожиданного.

— Пускай будет так. Я терпеливо выслушала все, что ты мне сказала от доброго сердца, и теперь я строже стану настороже у моих чувств.

Глава седьмая

Эта беседа с Мармэ глубоко врезалась в сердце Мелиты и заставила ее передумать о вещах, на которых она до сих пор не останавливалась. По живости своего молодого темперамента и чистоте своих помыслов она никак не могла допустить, чтобы Пруденций, который был моложе ее на пять лет и с которым она всегда обходилась как с милым ребенком, незаметно для нее загорелся к ней такою неукротимою страстной любовью, для которой в их положении не могло быть никакого исхода. И вот теперь ей говорят, что это, однако,

свершилось… До сих пор Мелита этого не замечала, но теперь, после указаний Мармэ, она сама стала припоминать глубокие вздохи невинного Пруденция и его долгие взгляды, которые он устремлял на нее, забывая обо всем окружающем, причем иногда не слышал, как его зовет мать или кличут другие.

Против воли своей Мелита начала верить, что она имела несчастие внушить страсть юноше и что если это не пройдет, то возможно, что Пруденций совсем не захочет жениться, и тогда дом его матери останется пуст и вдова Ефросина станет укорять Мелиту в увлечении сына — в чем она нисколько не виновата.

И в самом деле, вдова Ефросина уже начала глядеть на Мелиту не прежними глазами, и когда, после рассказанной выше беседы, Алкей и Пруденций отправились надолго в море, вдова Ефросина не стала более скрывать своего неудовольствия на Мелиту и однажды сказала ей:

— Ты, однако, иссушила сердце моего ребенка.

— Боже! — отвечала Мелита, — неужто ты, Ефросина, склонна верить, что мне доставило бы удовольствие путать смысл твоего сына!

— Я не верю ничьим словам, но я сама вижу его терзания и сама за него терзаюсь.

— Но что я могу сделать для того, чтобы не было этих терзаний?

Ефросина покачала головою и, наморщив лоб, проговорила:

— Да; я знаю, ты ничего не можешь сделать в его пользу, но… но я все-таки страдаю, Мелита, и мне тяжело тебя видеть.

С этим вдова Ефросина ушла, а Мелита возвратилась к себе, раздосадованная на роковое стечение обстоятельств, и не находила в себе никакой вины: она не увлекала Пруденция в сети своей красоты. Она проверяла также свои собственные чувства к юноше и вполне убедилась, что Пруденций не составляет для нее никакой исключительности, — что он ей мил и жалок не более, как многие другие, для которых она готова бы сделать всякую посильную услугу и радостью которых могла бы радоваться. Но ни для кого в свете не хочет она нарушить верности мужу. Нельзя же этим служить для утешения вдовы Ефросины!

И при таких рассуждениях Мелите постоянно представлялось, что в жизни, — чтобы прожить так, как должно, — надо иметь со многими людьми нелады и борьбу, а при таком положении нет ни покоя, ни счастия. Стоит ли вводить себя в

такую борьбу для того, чтобы захватить чего-нибудь приятного немножко побольше, чем есть у других. Все это ведь на очень короткое время быстро минующей жизни. Нет, это не стоит. Без сравнения лучше жить, борясь с собою, — надо себя исправлять, освобождая себя от таких страстей, которые влекут к разладу с милосердием и человеколюбием… Мелита стала вспоминать одну из подруг своего детства, белокурую Эрминию, которая была всех изящнее и красивее среди сверстниц, а выбрала себе самую суровую долю: она так настроила свой дух дошедшим до них «галилейским учением», что заботы о своем личном счастии показались ей совсем не достойными никакого труда, и она отказалась от замужества и пошла служить больным в одной общине в Лиде.

Нравственный облик этой Эрминии и серьезный путь ею для себя избранной жизни теперь беспрестанно приходили на мысли печальной Мелите и мирили ее с жизнью. Она соображала тот и другой путь, которым возможно идти, и находила, что на всех этих путях нужно вести битвы за все и со всеми и что спокоен и тих тот только путь, на который люди не лезут толпою и где никого не надо ронять с ног, чтобы самому

завладеть чьей-нибудь долею так называемых радостей жизни… Это он-то и есть путь «галилейского пророка» и путь тех, кто верит в истинность его учения… Вот что Мелита и предпочла бы всему, что имеет. Это путь отречения от личных радостей — путь жизни, преданной благу других…

И когда Мелита, обойдя мысленно все, что ей представлялось в жизни, доходила опять до того, что избрала вспоминаемая ею подруга, она всегда чувствовала в себе наитие мира и покоя, — она ничего не боялась, и смотрела смело вперед, и верила, что в этом одном настроении человек ближе всего к истинной цели своего воплощения.

Если бы какие-нибудь перемены в жизни Мелиты были возможны и если бы они зависели от ее выбора, то она бы всему предпочла не быстро преходящую любовь с избранником сердца, а она сейчас бы встала и пошла бы искать свою подругу Эрминию и стала бы с нею делить ее служение немощным старикам и покинутым детям в той же Лиде или в другой местности мира, где люди также все бьются друг с другом из-за личного счастья и оставляют без внимания тех, которые ослабели и искалечились в этой ужасной борьбе.

Где бы было возможно принести себя в такую жертву, чтобы облегчить людское горе и положить начало новому направлению жизни, Мелита сейчас же бы встала и ушла туда… И тогда с ней неразлучно была бы та совершенная радость, которую она и теперь уже ощущала, но которой в нынешнем ее положении мешала неодолимая боязнь, что вдруг подвернется такой или другой случай, и удалит ее от избранного верного настроения, и начнет переполнять душу ее тревогою, страхом и подозрениями…

О, эти подозрения! Мелита знала им цену: когда еще жив был Гифас, ей мимо воли случилось услыхать один разговор их с Алкеем об островке, где у них есть им одним только известная пещера и в ней хранятся их сокровища и их преступные тайны… С этих пор Мелита всегда подозревала, что они не только товарищи по торговле, но что они оба — грабители и убийцы… И это сделалось источником вечного страха и терзаний Мелиты, — она с этих пор подозревала, что и все другие люди в поселке думают о Гифасе и о ее муже Алкее как о разбойниках, а смерть Гифаса и общий приговор взять в дело Пруденция еще более утвердили Мелиту в подозрении, что всем уже известен преступный род жизни Алкея и

что все к этому так равнодушны только потому, что и сами они в нравственной жизни недалеко отошли от Алкея с Гифасом… И теперь, конечно, этим же недостойным путем будет проходить свою жизнь невинный Пруденций… Ведь Алкей, конечно, ведет себя и при нем так же, как вел при Гифасе, и Пруденций, без сомнения, знает уже, что у них где-то в группе прибрежных скал есть островок с пещерой… и там какие-то сокровища и еще что-то, о чем Мелита сама не имела точных понятий… Она никогда не спрашивала об этой тайне мужа и не говорила о своих догадках Мареме, потому что Мелите стыдно было признаться, что она подозревает своего мужа в разбойничестве, а Марема… Ах, Марема, несмотря на свою преданность Мелите, сама гораздо больше близка душою к тем, чьи поступки и страсти так ужасают Мелиту…

И оттого еще ужаснее горе Мелиты, что ей не с кем облегчить свою душу, которая вдруг начала тяжко томиться — точно она будто чуяла вблизи предстоящее новое горе. Все это надобно было скрывать, и Мелита скрывала. Чтобы думать в тиши или плакать, не боясь пустых замечаний о том, что «стыдно грустить», Мелита начала часто уходить на обрывистый берег моря и подолгу

сидела там, охватив руками колени и глядя в бесконечную даль, откуда она точно вызывала на сцену действия последнее искушение, которое и не умедлило своим приходом.

Глава восьмая

Раз, когда Мелита сидела над облюбованным ею обрывом морского берега, из-за столпившихся вдалеке темных скал показалась лодка, с которой были убраны все паруса, кроме одного старого, на котором она едва подвигалась. Вместо флажка наверху мачты был надет головной колпак из черного войлока.

Если бы Мелита не была слишком сильно погружена в свои размышления, уводившие ее к желанию резкого перелома в своей жизни, то она бы непременно заметила эту лодку, и по ее печальной оснастке она поняла бы, что на этом судне случилось какое-то большое несчастие. Но Мелита видела лодку, и ее грязный парус, и войлочный черный колпак наверху ее мачты и всему этому не придала никакого значения.

Она должна бы заметить и то, что лодка, бывшая, конечно, в далеком плавании, входила в пристань в необычное время и держала курс свой

не прямо к поселку, а нарочно проходила между скалами и пристала у одной из них, завязав канат у торчащего рогом обломка утеса.

С лодки сошел кто-то, покрытый коричневым полотном, и, ничего не взяв с судна, скрылся где-то под берегом, а потом, через час или несколько больше, опять возвратился к лодке вдвоем с закутанной женщиной, которая едва лишь ступила на лодку, как страшно вскрикнула и, отпихнув от себя сопровождавшего ее мужчину, упала в море, но сейчас же выплыла на берег и убежала.

Это Мелита уже заметила, потому что женский крик был слишком громок и страшен, но она тотчас же потеряла из вида эту фигуру и зато тем более была поражена, когда через малое время эта же самая фигура, в том же мокром платье, но в лице Маремы, подбежала к Мелите и, упав перед ней с сжатыми руками, завопила сквозь слезы:

— О, моя бедная госпожа! Прокляни и продай меня, как злую вестницу, в жестокие руки! я достойна этого за то горе, какое мне суждено тебе возвестить.

При первых же словах Маремы сердце Мелиты переполнилось предчувствием жесточайшего несчастия, и она ей сказала:

— Умоляю тебя, говори мне скорей, что случи-

лось, и не бойся моего гнева — моя вера не дает места гневу.

— О да, — отвечала Марема, — теперь тебе наступил час показать твоей бедной и темной рабе, сколько света и силы может дать человеку твоя вера!

— Я постараюсь, чтобы ты не получила о ней через меня дурного понятия; говори, что должна я узнать!

— Твой муж… вон, видишь, там, у скалы… это лодка его… моего господина Алкея, и… в ней на дне, около мачты, на вершине которой поднят черный колпак, лежит покрытое парусом… бездыханное тело.

— Пруденция! — воскликнула громко Мелита и сейчас же заломила над головою руки и стала повторять сквозь рыдания: — Бедное дитя! Неужели Алкей убил его в ревности! О, злополучный невинный Пруденций!

Но Марема, дав несколько времени проплакать Мелите и как бы освоиться с горем, взяла ее тихо за руки и, переводя их к своему сердцу, сказала:

— Нет, Мелита! Ты напрасно плачешь о юноше, ты должна оборотить к себе горе другой стороною: погиб не Пруденций, а тот, чья смерть тебя оставляет вдовою.

Мелита вдруг воздержала свои слезы и остановила сухой, огненный взгляд на Мареме:

— Умер муж мой, Алкей?!

— Да, госпожа.

— И там, внизу, у скалы его тело?

— Да, оно в лодке… тело Алкея… Я его видела и прокляла рок, судивший мне возвестить тебе это несчастие.

— Оставь говорить о проклятиях и веди меня скорей к лодке!

Марема положила себе на плечо руку Мелиты, и обе женщины пошли спешной походкою к морю и скоро стали у лодки, на которой не было никакого груза, а только у основания мачты лежал небрежно брошенный парус.

— Вот это здесь, — тихо сказала Марема и затем с участием спросила: — Если ты можешь видеть и прикажешь открыть…

Но Мелита, вместо ответа, сама нагнулась и едва приподняла угол серого полотна с синей каймою, как увидала мертвое лицо Алкея с выдавшимися косыми глазами и тремя страшными колотыми ранами в черепе… Раны были посреди темени, все три кругловатые, каждая величиною с вишню, и все рядом одна от другой на расстоянии пальца… Их не нужно было ощупывать,

чтобы сказать, что все они равномерно глубоки и все три смертельны.

Мелита склонилась к голове мужа и долго смотрела в его глаза, а потом, когда подняла лицо свое, увидала, что прямо перед нею, по другую сторону паруса, стоял в печальном платье и с печальным лицом невинный Пруденций.

Увидя его открытое лицо, хранившее до сих пор на себе следы целомудрия и духовной чистоты, Мелита вздохнула и тихо промолвила:

— Ты знаешь, конечно, что о тебе скажут люди, когда увидят несчастное тело Алкея?

— Да, знаю, — ответил Пруденций, — люди скажут, что это я нанес смертельные раны Алкею.

— И что же ты им ответишь в свое оправдание? Я ведь не знаю, как ты искусен во лжи. Или, быть может, ты для того и привез сюда тело Алкея, чтобы перед всеми признаться в убийстве и рассказать, для чего это сделал?

— Нет, — отвечал ей невинный Пруденций. — Я не для того привез сюда тело Алкея, чтобы изощряться во лжи или делать над ним признания в убийстве. Я привез его для того, чтобы ты могла видеть хоть мертвого мужа и могла его оплакать и схоронить как жена. А когда меня спросят о смерти Алкея, я безо лжи расскажу о ней всю

сущую правду.

Слушая эти слова, Мелита смотрела острым и пристальным взглядом в глаза Пруденция и получила в глубине своего духа безотчетное удостоверение, что Пруденций ничем не повинен в смерти Алкея…

Это ей было отрадно, и душа ее успокоилась, насколько это было возможно в теперешнем случае.

— Если ты прав, — отвечала она, — то и спеши скорей принести свое оправданье: я и Марема останемся здесь у мертвого тела Алкея. Ты же иди поскорее в селение, позови свою мать, вдову Ефросину, и вызови всех старых и молодых людей на берег моря, на то место, где Алкей говорил перед людьми о кончине отца твоего, Гифаса. Я и Марема приведем туда лодку с телом, а вы все наломайте ветвей, на которых можно поднять и нести тело Алкея, и когда оно будет поднято, ты перед всеми должен сказать, как случилась гибель Алкея и кто нанес ему эти три равномерные раны.

Пруденций ей тихо кивнул головою, и, скоро достигнув селения, снял рожок, который висел на суке старого дуба, и протрубил для всех три призыванья, чтобы все шли скорей на собранье.

Глава девятая

Услышав рожок, люди тотчас же стали выходить из домов и, поправляя одежды, стали направляться к тому месту, где еще так недавно все выслушивали повесть Алкея о смерти Гифаса. Здесь и теперь, так, как и тогда, стояла на песке опрокинутая килем вверх старая лодка.

Все это было на пол перелета стрелы от старого дуба, под которым теперь стоял Пруденций. И он продолжал здесь стоять, пока на берегу около лодки собрались почти все взрослые люди селения, а из-за загиба пологого мыса показалась на море лодка, которую гнали на веслах Мелита с Маремой.

Пруденций, который ожидал появления на море этой лодки, прежде всех ее и заметил, и он тотчас же снял с дерева рог, висевший на скрученном лыке, и надул его так, что рог зараз издал, кроме общего призывного звука, еще особый сигнал, который мог иметь условное значение для друзей трубача или его семейных.

Собравшиеся люди не упустили заметить этот сигнал, и один молвил другому:

— Пруденций, наверно, хочет сказать что-то

необыкновенное.

— Почему ты так думаешь?

— Он кому-то дает сигнал на священном рожке.

— Это он зовет сюда свою мать.

— О да! Вон она и выходит — вдова Ефросина.

— Значит, они еще не видались?

— Так надо думать.

— Любопытно! Пруденций, конечно, желает, чтобы мать его была здесь при том, для чего он сзывает селенье; но что это такое он хочет сказать?

— Услышим.

— Уж, конечно, услышим. Вон к берегу тянется лодка… Эге! Да это знакомая лодка Алкея. Ее, еще года нет, снаряжал и опять недавно раскрасил Гифас, а теперь… смотри, что такое?.. Лодку ведут на веслах две женщины…

Ах, ведь это Мелита с своею рабыней, сидонянкой Маремой… Ну, у этой руки из бронзы, но все-таки женщинам не пристать сюда близко… Здесь вязкая тина и внизу в разных местах, не на одной глубине, острые камни… Ага! вот хорошо догадался Пруденций: он сбежал к морю и вошел в воду… Ну, немножко измокнет, а зато он взял лодку за канат и подведет ее к берегу… Ишь, как

он весь изогнулся под лямкой!

— И зато какой чудный стан!..

— Да, уж Пруденций, известно, совершенный красавец. Говори, что кто хочет, а им ведь недаром гордится наше селение, и я думаю, если бы боги не имели зависти к красоте смертных, то нельзя было бы ни понять и ничем объяснить, как они могли допустить соединение Мелиты с раскосым Алкеем, после чего Мелита остается бесплодной, тогда как ее следовало бы соединить с Пруденцием…

— Ага! это правда.

— Да, уж тогда было бы можно ручаться, что Мелита не тосковала бы и не осталась бы бесплодной, а взору человеческому был бы дан для услады самый красивый ребенок.

— Да, я думаю тоже, что если бы Мелита была помоложе и была бы свободна, — она не сочла бы для себя за большое обременение ласки Пруденция, и тогда-то, пожалуй, ты прав, что второй Купидон мог бы родиться где-нибудь в нашем незнатном селении; но ведь Мелита постарше Пруденция, и муж ее, косоглазый Алкей, долговечен: все его предки всегда достигали маститого века.

Но в это мгновенье у лодки, подвинутой к бере-

гу, раздался голос Пруденция:

— Почтенные люди и ты, о, нежно любимая мать моя, вдова Ефросина! Еще в очень недавнее время отсюда отплыли вдвоем: отец мой, отважный Гифас, с бесстрашным Алкеем. Так они много раз отправлялись вместе вдвоем и всегда вместе вдвоем возвращались, но в этот последний раз случилось иначе: в этот раз возвратился один только смелый Алкей и открыл здесь, на этом месте, всем вам, и мне, сыну Гифаса, и вдове отца моего Ефросине, что отец мой сделался жертвою моря.

Все люди слушали это вступление о вещах, всем им известных, и напряженно смотрели на Пруденция и на Мелиту с Маремой, стоявших по-прежнему в лодке. В толпе проносилось:

— Что он хочет сказать?.. Для чего в лодке стоят Мелита с служанкой?.. Пруденций, быть может, узнал что-нибудь и задумал теперь обвинить в преступленье Алкея?

А Пруденций вместо того вдруг зарыдал и, рыдая, воскликнул:

— Посмотрите же, что нынче сталось с самим бесстрашным Алкеем!

Пруденций сдвинул лежащий на дне лодки парус и, приподняв труп Алкея, добавил:

— Вот он, Алкей! Он убит. Подходите и смотрите: на его темени рядом три одинакие ранки. От каждой из них человек должен был умереть непременно, а Алкей получил все три раны в одно мгновение ока.

— Где и как он мог получить их? — зашумели, толпясь на берегу и отчасти входя в воду, люди.

— Ты должен все объяснить, — кричали другие.

— Да, ты за него отвечаешь.

— И ты можешь быть в подозрении; ты мстил ему за Гифаса!

— Или завидовал красоте несравненной Мелиты!

— О, воздержитесь! — воскликнул Пруденций. — Вы не опоздаете оскорблять меня обвинениями и после того, когда я все изложу вам, как был о дело. Дело же в том, что Алкей и упредивший его на пути в царство теней отец мой Гифас не только занимались торговлей, но они… они тоже нападали на другие суда и грабили их и топили…

На всю массу слушателей это не произвело особенно сильного впечатления и даже, кажется, никого не удивило, кроме одной Мелиты, которая вскрикнула: «Мой муж был разбойник!» — и,

подняв кверху руки, упала головою на плечо Маремы.

Пруденций же продолжал говорить и рассказал, что он не верит словам Алкея, как погиб Гифас, что это, наверное, было как-то иначе, но что он никогда не думал мстить за это Алкею, а сам Алкей получил свои раны от гвоздей, предательски вбитых в днище плывшей византийской триремы, под которую Алкей поднырнул, с тем чтобы тихо взобраться на ее борт и задушить сонного кормщика, а остальных сонных людей сбросить в море; но эта трирема была для них проклятой ловушкой: когда они встретились с ней перед рассветом, люди на ней только притворялись спящими, а вовсе не спали; а дно самой триремы было утыкано острыми спицами, из которых три сразу же вонзились в темя Алкея, так что белый гребень набежавшей волны в то же мгновенье и сразу весь окрасился Алкеевой кровью…

Затем следовал рассказ о том, как притворно спавшие на трирем византийские греки злорадно захохотали и, оттолкнув от себя шестом тело Алкея, уплыли в море, а осиротевший Пруденций остался один и с трудом изловил Алкеево тело, втащил его в ладью и привез сюда, чтобы

оно было предано погребению и чтобы видели все, что ему нет нужды ничего скрывать в этом несчастном деле, полагающем конец торговому товариществу двух их домов.

Пруденций закончил словами:

— Кто-то сказал, что на меня есть подозрение!.. Что же, судите меня! Я не боюсь ничего, я приготовился к смерти, но я невинен в смерти Алкея.

Народ, выслушав все это, оставался в недоумении и обнаруживал разногласие: одним казалось, что Пруденций действительно не виновен в смерти Алкея, а другие думали, что Алкей убит его рукою, именно из мести за отца или, быть может, и от любви к Мелите. И тогда постановили: опять положить тело Алкея в лодку и туда же поместить Пруденция и, в сопровождении двух молодых людей и двух старцев, послать труп и подозреваемого к прорицательнице, жившей на отдаленном острове. Там поручалось старцам вопросить прорицательницу над головою Алкея: виновен ли Пруденций в его убийстве? И если вещая дева скажет, что Пруденций виновен, то тогда старцы, отблагодарив прорицательницу, снова войдут в ладью вместе с Пруденцием, и когда удалятся настолько, что берег сделается не виден, тогда старцы велят юношам завернуть

Пруденция вместе с трупом Алкея в парус и потом обмотать их бечевою и бросить их вместе в море.

Глава десятая

Нельзя описать, какой страшный плач сделала вдова Ефросина, когда услыхала такое решение. И она не одна плакала, — с нею стонали и другие женщины, потому что многим жаль было невинного Пруденция. Стонала и рвалась также и Марема, но Мелита не стонала и не рвала на себе ни волос, ни платья, а только побледнела и долго стояла в молчании на одном месте, но потом, когда ладья с телом Алкея, с Пруденцием и с сопровождающими их двумя старцами и двумя юношами отвалила от берега, Мелита подошла к Ефросине и сказала ей:

— Наши вопли и слезы ничему не помогут; вместо того чтобы здесь изнурять свои силы, сядем скорее в другую ладью и поедем следом за ними. Может быть, прорицательница, увидя твое материнское горе, склонит к нему свой слух и даст старцам ответ, который послужит к тому, что люди признают невинность Пруденция.

Ефросина на это легко согласилась, и через самое малое время после того, как ладья с телом

Алкея скрылась из глаз, от той же пристани отошла другая ладья, нанятая Мелитою у немого Тромеда, и на этой ладье, у кормила которой стоял сам Тромед, помещались Ефросина и Мелита с своей верной Маремой.

И прошло всего двое суток, как на третий день к вечеру жители селения увидали, что обе ладьи опять возвращались, и ладья немого Тромеда опережала большую ладью, принадлежавшую прежде Алкею с Гифасом. На передней ладье, рулем которой правил Тромед, а парусами Марема, посередине сидел юный Пруденций, а с двух сторон его — Ефросина и Мелита.

С берега видели ясно, что Ефросина внушала что-то сыну с большим увлечением, а он ее радостно слушал и с видимым счастьем сжимал своими руками ее обе руки, а Мелита сидела в раздумье и, пустив руку за борт, держала в ней камышинку, листья которой играли с дробившейся волною. В лодке Алкея оба юноши и оба старца были спокойны: на всех на них нынче были надеты венки из белых пупавок в знак того, что их головы свободны от гнета всякой тягостной мысли, и на их мачте не было уже более черного войлочного колпака, а вместо него красовалась зеленая ветка оливы.

Ясно было, что вещая дева объявила невинным Пруденция и что труп Алкея, как не нужный более ни для каких расследований, спущен был в море и теперь все возвращаются в покое и в мире.

Все догадались, что сейчас наступает веселый, радостный вечер, что вдова Ефросина, наверно, не станет скупиться, а жарко растопит очаг в своем доме и угостит всех так изобильно, как она может. О, она не поскупится справить веселый праздник за спасение сына.

Так это и сделалось: лодки пристали; старцы и юноши объявили, что Пруденций невинен и что при этом случилось еще одно пречудесное дело… Вышло так, что когда вдова Ефросина вместе с Мелитой хотели поднять Пруденция от ног прорицательницы, то вещая дева вдруг как будто проснулась, — лицо ее озарилось улыбкой, и она, взяв за руки Мелиту и Пруденция, вложила одну в другую их руки…

Тут все, кто это слушал, заплескали руками и запели: «Эвое! Эвое!» — и начали обнимать и целовать и Мелиту и Пруденция, и поздравлять вдову Ефросину, и радоваться, что союз Мелиты с Пруденцием исполнит их счастием и устранит всякий вопрос о разделе имущества, так как с этих

пор все равно, что Пруденциево, что Мелитино. И все, распивая вино, которое выставила Ефросина, и обоняя запах мяса и рыб, которые жарились на вертелах, и сладостный пар черносливных полив, кипевших в огромных сосудах, — все без уговора стали считать себя вправе смотреть на Пруденция и на Мелиту как на супругов, для соединения которых все решено самою судьбою, и теперь только потребно какое-то недолгое время, чтобы брак их признать совершенным.

Невинный Пруденций был наверху своего счастия и еще усугубил свою всегдашнюю почтительную скромность перед Мелитой, а вдова Ефросина даже терялась от радости и изливалась в приветах и в ласках ко всем, кто подходил к ее очагу, чтобы брать мясо, и рыбу, и похлебки; в радостном духе была и Марема, которая помогала Ефросине в угощении и, нося на плече кувшины с вином, наполняла им чаши. Одна лишь Мелита не изменяла своей задумчивости и не отвечала ни на какие намеки, а как бы витала теперь где-то далеко отсюда, и когда гости, заметив на небе признак приближающегося утра, начали расходиться, Мелита вздрогнула и, взглянув в знакомые лица Маремы и вдовы Ефросины, сказала:

— О, кто бы вы ни были, отведите меня куда-нибудь в тихое место!

Такое обращение к Мареме и Ефросине, как к незнакомым, очень удивило обеих женщин, и они, переглянувшись друг с другом, подумали: не выпила ли Мелита с жажды ошибкою цельного вина, или не потеряла ли она рассудка при морском переезде на лодке или при быстром охлаждении воздуха.

Марема попробовала руки Мелиты, и, чувствуя, что они холодны, окутала ее голову и стан покрывалом вдовы Ефросины, и, обвив ее стан своею рукою, повела ее к дому.

Как провожая Мелиту, так и укладывая ее дома в постель, Марема все время была в полной уверенности, что госпожа ее недомогает от множества смешанных чувств, над которыми забирает самое высшее положение и самую большую силу любовь ее к прекрасному и невинному Пруденцию; а потому, чтобы сказать Мелите что-нибудь самое радостное и способное вызвать в ней оживление, Марема, покрывши Мелиту ночным одеялом, нагнулась к ее лицу и, поцеловав ее в лоб, прошептала ей на ухо:

— Спи, и пусть тебе снится тот, к кому рвется с любовью твое разрешенное от клятв сердце!

А когда Мелита промолчала, то потом Марема распрямилась и ласково спросила ее:

— Скажи мне, ты не сердишься за то, что я позволяю себе немножко читать в твоем сердце?

— Нет, — отвечала Мелита, — я не сержусь.

— Значит, я угадала…

— Нет, это не значит, что ты угадала. Я не сержусь на тебя, потому что ни на кого не должно сердиться, а сердце мое действительно неспокойно, и действительно оно с каждым днем все становится более полно любви, но это любовь совсем не к тому, о ком ты помышляешь…

— Как, разве невинный Пруденций не один… Неужто же он должен будет отнимать у кого-нибудь свое место в сердце Мелиты?

А Мелита ей ответила:

— Успокойся, Марема! И ты, и невинный Пруденций имеете свое место в сердце Мелиты…

— О, я не говорю о себе! — перебила Марема.

— Дай мне докончить! И ты, как и он, живете и будете жить в моем сердце, потому что я люблю вас обоих, как стремлюсь и желаю любить всех людей в мире. Из вас никому не нужно ни у кого отнимать ваше место в моем сердце, но *владеть* им, — *повелевать* моему сердцу и *править им* с властительной силой и властью будет только

один…

— Кто же это такой? Я его знаю или не знаю?

Мелита ласково ей улыбнулась и сказала:

— И знаешь, и нет.

— Кто же это такой?

— Иисус Галилейский.

Марема положила большие пальцы обеих рук себе на уши и, закрыв остальными перстами свои глаза, затрясла головою в знак того, что она ничего в этом не понимает ни одним из своих чувств. Но Мелита привлекла ее к себе, уложила рядом с собою в постель и, лаская ее, стала ей говорить, что жизнь на земле ей не представляется целью, достойною забот и стараний; что все радости жизни слишком быстротечны и оставляют после себя одну пустоту и страданье, что «союз сердец», который воспевают певцы, нимало не надежен, если он основан на влечениях страсти, что как бы ни укрепляли такой союз, он никогда и ни от чего не получит всегдашней прочности, а истинен и крепок один лишь союз — это союз тех людей, которые сопрягают себя под одно иго по схожести мыслей и по согласию в разумении жизни…

— И вот, — добавила Мелита, после долгого развития своих соображений в этом духе, — вот тот союз, о котором можно говорить как о прочном

благе — об исполнении закона жизни земной, учрежденной для приготовления нас к какой-то другой, высшей цели, нам неизвестной. Но кто же из нас всех так единомыслен и так схоже настроен, чтобы слиться друг с другом? Я надеюсь, что это не я и не невинный Пруденций. Разве ему мир и назначение в нем человека представляется тем же, чем мне?

— О, это было бы страшно, Мелита!

— Быть может. А мне кажется страшно другое… страшно соединиться на одном ложе с человеком, с которым меня ничто не соединяет духовно, а разве только одно бунтованье плоти и крови… О, как ужасно и страшно, должно быть, проснуться после этой опьяняющей ночи, что вы называете вашей «любовью»!.. Как надо будет дрожать, чтобы плодом этих объятий не явилися дети, о научении которых мать должна будет спорить с их же отцом!

— Зачем же все спорить, Мелита?

— Затем, что нельзя с равнодушьем глядеть, если детей ведут не к тому, что серьезно и свято, что воспитывает дух в человеке и «ставит его господином над зверем, живущим в самом человеке»… О, как это страшно! как это страшно!

— Однако же ты ведь была женою Алкея и

могла бы не раз сделаться матерью рожденных тобою детей. Мелита вздохнула и отвечала:

— Могла!.. Ты права: я была женою человека, с которым у меня не было ничего общего в мыслях. Я стала женою Алкея ребенком, когда сама не имела тех мыслей о жизни, какие имею теперь. И не хочешь ли ты меня укорить за то, что я с ним жила, и не бежала из его дома, и не раздражала его гнева уклонением от его ласк и объятий, которые я должна была принимать, раз назвавшись женою! Да, я все это снесла, и все это было мне тяжело, но я понимала, что Алкей не виноват в том, что в его глазах свет светился иначе, чем он засветился в моем взгляде! Когда нам пели брачные гимны, я его не могла предупредить об этом и так же точно не должна была его оставить, пока он мог быть моим мужем… Но теперь, когда не по моей воле все это минуло, теперь, когда я свободна и вижу ясную цель в моей жизни, я не хочу утомлять дух мой в обязательствах брака с мужчиной… Я не считаю призваньем и долгом вызвать несколько новых детей, чтобы было кому собирать ракушки и камни на берегу моря… Напрасно вы думаете, что я соглашусь связать с кем-нибудь мое право отдать себя с этим телом и кровью на пользу вечного духа, жизнь которого

я в себе ощущаю… О, какие вы дети! О, какие вы несмыелейные, бедные дети!.. Встань, о Марема, — встань, друг мой!.. Ты уже друг мой, а не рабыня, — рабство беззаконно, я тебя отпускаю и… я постараюсь, чтобы ты получила все то, в чем ты видишь счастье… Целуй меня просто, как друга, и, если любишь меня, сослужи сама мне еще одну величайшую службу… Встань, о Марема! Спеши ко вдове Ефросине… говори ей… проси… убеждай… что Мелита не может… она не годится быть подругой Пруденция… Иди!

И Марема действительно встала и вышла, но она была в сильном волнении и побежала ко вдове Ефросине, а когда разбудила вдову, то сказала ей с замирающим сердцем:

— Случилось еще очень большое несчастье!

— Дом ваш сгорел?

— Нет, но Мелита, моя госпожа… помрачилась в рассудке.

— О боги! о боги! Зачем так всесильна над нами любовь!

— Ужасно!

— Скажи же скорее, что она говорит?.. Она не дождется Пруденция?.. Да? Говори же!

— Она говорит… совсем против брака.

— С Пруденцием?

— С кем бы то ни было.
Ефросина вскричала:
— О боги, какое безумье! Но это минует.

Глава одиннадцатая

Так несродно было пониманию вдовы Ефросины и юной Маремы все то, что им сказала молодая христианка Мелита. Обе женщины не могли допустить, чтобы человек, сохраняющий здравый рассудок в своей голове, мог иметь о значении жизни и о главном назначении женщины такие, по их мнению, безумные понятия, какие начала высказывать высоко настроенная Мелита… И из того, что это случилось так неожиданно, вдруг, вскоре после того, как молодая вдова Алкея пережила столько внезапных потрясений, опытная в жизни мать Пруденция, пожилая вдова Ефросина, имела вполне достаточные, по ее мнению, основания вывесть, что в Мелите произошла не твердая и ясно обдуманная перемена в образе мыслей, а просто забурлил на время какой-то бурный порыв, дающий ее мыслям болезненное и беспорядочное направление.

А как Мелита очень нравилась вдове Ефросине за ее красоту, добрый нрав и изящную домо-

витость и Ефросина знала, что ее сын, юный Пруденций, давно страстно любит Мелиту и уста его, наяву и в сонной дремоте, только и шепчут драгоценное юноше имя Мелиты, то известие, принесенное Маремою, все-таки сильно встревожило вдову Ефросину, и она просила Марему никому более в селении не рассказывать о том, что она слышала от находившейся в особенном, возбужденном состоянии Мелиты.

— Для чего ее подвергать общим насмешкам и осуждению? Пусть лучше это пройдет и позабудется, как забываются многие молодые грезы… Большой опасности нет. Слава богам, в селении не завелось еще других людей, опоенных этим мечтательным учением, которое принесли какие-то жиды из какой-то своей далекой и никому не нужной Галилеи. Мелита одна где-то наслышалась об этом учении от своей какой-то подруги и вот теперь бредит… Эта жизнь будто только и стоит внимания, как воспитание себя к какой-то иной жизни, о которой мы не можем судить, потому что она так не схожа с тем, что видим, как не похож желудь на дуб, который может из желудя выйти… Но ведь все это вздор, и Мелита не удержится в этом настроении, и оно скоро заменится другим, более жизненным и более

свойственным молодой красавице, к которой горит нежною страстью такой совершенный красавец, как невинный Пруденций!.. Ведь она давно о нем думает!.. Не она ли, Мелита, научила его многим знаниям; она развила в нем и ловкость и силу и часто сама любовалась им и сама с ним состязалась и в беге и в других упражнениях… И разве не она виновата, что в нем зародилась любовь к ней как к женщине и сердце Пруденция давно уж горит страстным огнем, который, без сомнения, вспыхнет еще сильнее теперь, когда Алкей удалился в область Аида… Ведь недаром же там, перед послами народа, вещая дева соединила их руки над телом Алкея!.. Разве может же быть, чтобы теперь Мелита сама все это пожелала разрушить? Разве возможно молодой и столь красивой вдове, бывшей женою сурового мужа, каков был мореходец Алкей, отказаться от страстных ласк и объятий такого нежного юноши, как невинный Пруденций?..

Ведь он так изящен, так нежен, что один отказ Мелиты принять его к себе мужем наверное и без малейшего сомнения убьет его!.. Да, убьет его, самого стройного и красивого, самого доброго и достаточного юношу на всем побережье! Неужто это — то, совсем отвлеченное и малопонятное?..

Неужто есть такая странная вера, которая может побудить женщину отвергнуть влюбленного в нее молодого красавца, как невинный Пруденций? Нет, это все пустяки! Нужно только скорее дело свести к поцелуям! Скорее украсить цветами алтарь бога любви, скорее заставить Мелиту принести жертву Гимену.

Всеми такими соображениями и надеждами вдова Ефросина вдохновила пылкую душу темнокожей Маремы, девушки, возраст которой достиг самой огневой поры, и Ефросина вдруг увидела, как этот огонь всюду светит во всем теле Маремы, разливаясь прямо из-под черных волнистых волос на ее гладкий лоб, брови, полные неги глаза, на шею, на дрожащие плечи и грудь, которая волной заходила под легким покровом.

Ефросина теперь точно в первый раз увидала Марему и только теперь почувствовала, что эта темнолицая девушка тоже прекрасна, и хотя красота ее совсем не такова, как красота Мелиты, но зато… здесь дух не поведет распри с плотью и кровью… Эта, наверно, не станет укорять природу за однообразие общих всем людям желаний!

И вдова Ефросина сама не уследила за собою, как она увлеклась страстной красотою Маремы: она коснулась слегка обеими руками ее плеч и

потом улыбнулась и, быстро отодвинув ее от себя, воскликнула:

— Ну что это, право, как ты красива, Марема! Вообрази, что до этой минуты я тебя будто совсем не видала!

— Вот как! — отозвалась шутливо Марема. — У нас в Финикии, откуда я родом, есть много красавиц; быть может, и мать моя тоже была из красивых.

— А ты ее не видала?

Марема молча отрицательно покачала головою.

— И вовсе не знаешь ее?

— И вовсе не знаю. Иначе бы я не была продана сюда в рабство.

— Да, да, да! — молвила, точно будто в себе самой, Ефросина. — И знаешь ли, друг мой Марема, ты уж слишком хороша для рабыни… Мелита, может быть, и не делала ошибки, что держала тебя, пока она была замужем за Алкеем. К нему она была равнодушна, и ты не могла возбуждать в ней ревности, но когда мужем ее станет сын мой Пруденций… Вот уж тогда я ей не посоветую этого… Ты не безопасна… Под одной крышей с тобою всякой жене должно быть тревожно… Ты опьяняешь… от тебя чем-то веет… Я боюсь — это,

быть может, одуряющий запах заколдованного корня…

Марема расхохоталась, а Ефросина всерьез продолжала ворчать:

— Нет, право… Бедный Пруденций!.. не гляди на него этими жгучими глазами, Марема!.. Я постараюсь тебе найти добрую госпожу, которая заплатит за тебя Мелите хорошую цену и будет с тобой хорошо обращаться.

— А разве у той госпожи нет мужа?

— Есть, но он уже очень стар.

— Это тем лучше: тем он скорее возненавидит свою старую жену и станет гнуться к коленам красивой невольницы… И тогда эта добрая госпожа, к которой ты хочешь меня устроить, исцарапает ногтями лицо Маремы и продаст меня еще худшей мегере. Так-то вот трудно устроить со мною. Но ты, о вдова Ефросина, не беспокойся: знай, что не невольница больше… Марема свободна. Мелита подарила мне волю.

— Давно ли?

— Сегодня же ночью, когда ей казались так скучны все повторения в супружеской жизни. Тут она захотела, чтобы и для меня не повторялись терзанья неволи. Да, я свободна, вдова Ефросина, и считаю земную любовь разнополых людей вы-

сочайшей усладою жизни… Я могла бы… и даже хотела бы принести мое тело в жертву при храме Изиды или могу дать внучат матери красивого и сильного юноши, но… ты знаешь… и во мне есть смущенье…

— Чем же ты смущена?

— А вот тем самым, что происходит с Мелитой…

— Что ж тебе кажется?

Марема двинула своим смуглым плечом и, взявши за обе руки вдову Ефросину, пригнулась к ее лицу и сказала ей тихо и внятно:

— Мне иногда тоже кажется… что *он* где-то есть…

— Кто?

— Тот, кто научил ее знать что-то такое, чего мы не знаем.

— Так пусть она это покажет.

— Она еще не нашла… а все хочет искать, чего мы не ищем… Кто он, который дает ей эту силу терпеть все, что посылается в жизни, и отказываться от всего, что привязывает к этой жизни… Зачем она налагает на себя узы, а меня одаряет свободой?.. О, Ефросина! Что, если Мелита правей нас!.. Что, если мы не все целиком здесь на земле начались и не здесь кончимся, что, если взаправ-

ду здесь только школа или гостиница?.. Как тогда стыдно!.. Как тогда страшно! Я хочу когда-нибудь это проникнуть… хочу это понять… И я все, что мне нужно, пойму… Не верь, вдова Ефросина, что одни только старцы под длинными тогами могут понять, в чем настоящий смысл жизни… В то же самое время, когда я слышу своими ушами, как шумит моя кровь и стучит мое сердце, я слышу и что-то другое… что-то такое, что, вероятно, еще явственней слышала моя госпожа и что ее сделало…

— Сумасшедшей на время, ты хочешь сказать?

— Да!.. Я, впрочем, не знаю… я не знаю, что хочу я сказать. Мне кажется, и я будто брежу.

Ефросина погладила Марему по плечу и сказала:

— И впрямь обе вы очень молоды, и обеим вам что-то представляется, чего вовсе нет… Вы очень долго жили одни, без супружеских ласк… Все это нам, старухам, знакомо. Поусердствуйте браку, нарожайте побольше детей да хорошенько вскормите их молоком вашей груди — вот вам и будет настоящий смысл жизни. А теперь иди, Марема, к Мелите и скажи ей, что к ней скоро приду и принесу ей вкусную рыбу. Мы с ней сегодня же кончим о браке… Бедный Пруденций и без того

ожидал ее ласк слишком долго и слишком тяжко томится.

В это мгновение до слуха женщин, как нарочно, достиг из-за толстого занавеса томительный бред Пруденция:

— О, не удаляйся… не удаляйся, Мелита!.. Яви мне милосердие… стань твоею ногою на этот лист, который растет у тропинки… Коснися его твоею ногою, чтобы бедный Пруденций мог лобызать его после… Сделай, чтоб я получил облегчение в моих тягостных муках! Я возьму этот лист и покрою его лобзаниями… я оботру им мои слезы, которыми плачу о тебе днем и ночью, скрывая от всех, о чем я действительно плачу, и… затем… я положу этот лист на мое сердце… чтобы оно перестало биться… перестало жить… потому что жизнь без тебя для меня исполнена муки, и на свете нет никого, кто бы для меня что-нибудь значил… Я ухожу… я… исчезаю, Мелита!

— Каково это слышать матери! — воскликнула вдова Ефросина.

— Даже и не матери это слышать ужасно! — ответила вся в волненье Марема, и обе они разошлись в разные стороны: Ефросина к базару, где продавали рыбу, а Марема — к дому Мелиты.

Глава двенадцатая

Ефросина явилась к Мелите, как обещалась, скоро и с вкусным блюдом из рыбы, и как только пришла, так сразу же начала с ней разговоры, клонящиеся к тому, чтобы получить от Мелиты согласие на брак с Пруденцием. Она хотела кончить с этим как можно скорее и думала, что Мелита не станет упорствовать; но Ефросина ошиблась в своих соображениях.

Напрасно вдова Ефросина подводила, что теперь у них в двух домах, связанных старинною дружбою, остался только один мужчина, молодой и невинный Пруденций, что они обе, то есть Ефросина и Мелита, должны его поберечь, так как он нужен им обеим. И что самое лучшее, им всем соединиться и жить одним общим хозяйством. Пусть Пруденций возьмет себе кормщика в долю и уходит в море и снова возвращается, а они будут его ждать и сделают для него возвращение домой радостным и счастливым.

— А недостатков бояться не надо, — продолжала говорить Ефросина, — Пруденций уже знает все места, где что покупали и что продавали Гифас и Алкей, и поведет дело, как оно шло. Я уж стара, и

мне не нужны ни запястья, ни кольца, ни цепи — я все их отдам тебе с радостью, чтобы ты их прибрала вместе с твоими и надевала, когда что захочешь. А кроме того… Кроме того (Ефросина понизила голос), правда иль нет, но была молва в людях, будто б Гифас и Алкей в самом деле иногда разбивали чужие ладьи и овладевали насильно чужим имуществом. И что они отнимали, то все отвозили на маленький островок, а островок этот где-то затерт среди скал и никому, кроме их, не известен. До островка этого, говорят, очень трудно добраться среди острых камней и бурных протоков, но сам по себе остров будто пригоден для жизни — покрыт зеленью, имеет источник сладкой воды, бегущей сверху из камня, и в середине одна над другой две пещеры — одна с таким входом, что вровень с землею, а в другую влезть очень трудно… В верхней пещере у них издавна устроено уютное жилище, в котором Алкей и Гифас жили и скрывались, высматривая в море добычу. Отсюда они выплывали, нападали и грабили и потом вдруг исчезали с награбленным. Пещеры эти не рытые, а они сами образовались, и та из них, которая была в самом верху, на обрыве высокой скалы, была так тщательно скрыта, что ее ни за что не откроет ничей посторонний глаз,

а пробраться в нее можно, только приставивши жердь, скрытую в потаеннейшем месте на дне темного ущелья. Стоит же только принять и убрать эту жердь, и эта верхняя пещера делается недоступною. Но зато она невелика в сравнении с нижней, в которой за много лет совместных трудов Алкея с Гифасом собрано много добра — много запасов пшена, и фруктов сушеных, и рыбы сушеной, и бочонков с разными винами и оливковым и ореховым маслом; но, кроме того, есть и тюки, и целые скрыни с одеждой и утварью, есть и кожи, и пурпур, и все, о чем только можно подумать.

— Да, и все это чужое… и на всем этом слезы и кровь тех, у кого это отняли, — перебила Мелита.

— Ну да, разумеется, те, у кого это было отнято, — они, может быть… и плакали… да ведь уж это все было давно…

— А все-таки было.

— Ну, было, конечно.

— А их не жалели и грабили… да и жизни лишили их…

— Может быть.

— Нет, не «быть может», а это наверное так было! А их матери, и жены, и дети, конечно, их ждали… толпились, рыдали и проклинали зло-

действо… наших мужей… Алкея с Гифасом!

— Ну, вот ты опять куда все повернула, Мелита!

— Я не знаю, как можно сюда не сворачивать… Не виновата я, что мой дух все туда глядит, куда вы не хотите смотреть. Я смотрю, что со смерти Гифаса прошло уж три года, и в это время Алкей ходил в море с твоим сыном… Бедный Пруденций! бедный, невинный Пруденций… Он молчит, он скрывает, но, конечно, и он все это же самое делал, что делал Алкей, — он помогал настигать людей в море, отнимать у них вино, фрукты, хлеб и другие товары, а самих людей топить в волнах… и бить их веслом, если они выплывают…

— Ах, Мелита, ведь и все так и в жизни, как в море, — один бьет и топит другого!

— Это правда! И вот это у вас называется «жить»!.. Вечно следить друг за другом, гнаться, отнимать и присваивать все, что только можно перебить из рук друг у друга, и все это прятать в недоступных местах… Для кого?.. для чего?.. Нет, я не спорю, что такова вся наша жизнь — на воде и на суше, но я не годна к ней; я ее не хочу… Я не стану бороться за большую долю чего бы то ни было в жизни. И теперь я могу все это сделать, потому что кончина Алкея меня разрешила от

всех обещаний.

Тогда вдова Ефросина обняла ее и прямо сказала ей, что она пришла к ней для того, чтобы просить ее согласиться на новый брак со страстно влюбленным в нее Пруденцием, но Мелита воскликнула:

— Как! опять брак!.. Опять снова обеты и снова заботы об их исполнении? О, никогда и ни за что на свете!

— Но чем же противен тебе сын мой Пруденций?

— Твой сын мне ничем не противен, но мне противны обязательства нового брака.

— Почему же?

— Я не считаю за лучшее в жизни думать всегда об угождениях мужу.

— Что же может быть лучше этого?

— Что лучше этого?.. Жить для общего блага, а особливо тех, кому трудно живется на свете. В этом есть воля Отца нашего, Бога.

— Боги желают, чтобы люди жили и размножались.

Мелита молчала.

— В самом деле, что превзойдет воспитание честных граждан в своих детях?

— Помощь всем детям чужим вырастать при

меньших страданиях.

— Ты говоришь непонятные и неприятные мысли, Мелита!

— Я говорю простые самые мысли.

— Ты хочешь остаться одна?

— Зачем же? Я буду при тех, кому могу сделать услугу или пользу.

— Так вот и начни: сделай услугу, проникнись сожаленьем к тоске и страданиям страстно влюбленного в тебя моего сына! Тронься стенаниями невинного Пруденция, который так много терпит, потому что весь женский род для него воплощается в одной только Мелите…

— Ах, оставь это, вдова Ефросина! Кто жаждет того, чего жаждет сын твой, тот не иссохнет от жажды.

— Да, — продолжала вдова, — вот как Мелита жестока! Мелита не внемлет ему и даже не чувствует никакого состраданья к слезам, которые текут по сморщенным щекам ее тетки и матери Пруденция, бедной вдовы Ефросины.

Мелита взглянула на Ефросину и увидала, что в самом деле все лицо ее мокро и по щекам быстро бегут потоками слезы.

— Это жестоко со стороны вас обоих, — сказала Мелита.

Но Ефросина закачала головою и сказала:

— И это ты же говоришь о жестокости!

— Да, это я говорю о вашей жестокости и не укоряю вас, но только хочу, чтобы вы меня поняли. Вот теперь я скажу, в чем вы жестоки: я верю, что людям дано средство жить веки веков и что от человека зависит войти в эту вечную жизнь или угаснуть в пределах короткого часа, пока наша свеча горит здесь на земле. Вот так мне дано, что дух мой проснулся от природного сна, и, проснувшись, он слышит голос, который его громко зовет, и велит ему бросать долой с себя всякие путы… Мой дух хочет бежать туда, откуда слышен ему зов, а вы опять хотите мне спутать ноги страстными привязанностями и навязывать мне обеты, которых я давать не могу, потому что… я не могу никому обещаться…

— Неужели же ты чувствуешь себя такою непостоянною?

— Да что ты пристаешь ко мне с постоянством! В чем надо застыть… в каком постоянстве? Я сегодня такая, как есть, а, быть может, завтра же дух мой увидит еще что-нибудь шире, и когда подрастут его крылья, он устремится куда-нибудь выше и дальше… в вечность!..

— Чего же и лучше! — перебила ее Ефроси-

на, — вот и пожертвуй собою — соверши счастье Пруденция, который так страстно влюблен в тебя и так ужасно страдает, что теряет различие между тем, что видит въяве и что ему грезится в мучительных снах. Бедный ребенок! Воображенье его с тобою не расстается ни на минуту, а уста его постоянно шепчут имя Мелиты. Бедный Пруденций! Сгорая огнем юных желаний, уста его лобзают воздух, в котором он чувствует тебя сквозь стены и скалы… О, сжалься! сжалься над ним! Сжалься над обоими нами, Мелита!

Так окончила свой разговор страстной просьбой вдова Ефросина и, обливаясь слезами, с простертыми руками бросилась на землю перед ногами Мелиты.

Положение Мелиты было очень тягостно, но она, однако, не склонилась к просьбам вдовы Ефросины и хотя старалась показать ей свое сожаление и участие, но не подавала никаких надежд к согласию на брак.

— Как! — воскликнула тогда Ефросина. — Неужто ты желаешь быть непреклонна даже в том случае, если Пруденций умрет или утратит рассудок?

— Для чего говорить о том, чего еще не случилось? — отвечала с подавляемым в себе нетерпе-

ньем Мелита.

— Разве ты почитаешь за невозможное, чтобы человек утратил рассудок от мучений любви?.. Ведь это бывает.

— О, бывает, конечно! — отвечала Мелита, — но бывает потому, что люди сами отдают себя в жертву своим грубым желаниям и не хотят им противиться.

— А ты думаешь, что этим желаниям можно противиться?

— О, еще бы!.. Конечно…

Но в это самое время до слуха обеих женщин достигли громкие крики Маремы, которая бежала к дому и кричала издали:

— Госпожа Ефросина! Госпожа Ефросина! Спеши скорей к дому… у тебя случилось большое несчастие! Пруденций стал умываться и вдруг ударился об пол и теперь катается с пеной у рта и рыкает, как львенок… Мы его впятером насилу держали, а горшечник Агав обложил ему голову мокрою глиной, но спеши, госпожа, — это все едва ли поможет… Бедный Пруденций, бедный Пруденций! Он едва ли воротится к жизни.

Глава тринадцатая

Услышав о таком жесточайшем страдании сына, вдова Ефросина только молча бросила взгляд, полный укора, Мелите и, позабыв свои годы, побежала домой, где терзался Пруденций; а Марема меж тем рассказала Мелите подробнее, как все это случилось. Она повторила ей все то, что уже знаем, и потом прибавила тихо:

— Напрасно скрывать, что он все это терпит от томленья жестокого чувства, которым весь к тебе полон. Ты, как природа, властвуешь над всем его существом… Шесть человек нас с Агавом, который подоспел к нам, были не в состоянии сладить с демоном, который напряг мышцы юноши и вспенил в нем кровь до того, что все уста его облилися розовой пеной; но едва я закрыла его помутившиеся глаза твоим покрывалом, которое несла на плечах, чтобы вымыть его у источника, Пруденций вдруг стих и зашептал:

«Мелита!.. близко Мелита!.. боги!., пусть я умру прежде, чем она удалится!..»

— И, прости меня, госпожа, — заключила Марема, — он так страдал, что я не могла взять у него твое покрывало… Пусть ему будет немножечко

легче… Он обмотал в него свои руки и прижал его к сердцу, и мало-помалу в нем судороги стихли… он, может быть, даже… уснет или…

— Что?

— Перейдет без новых страданий в царство теней. Мелита поднялась с места и сказала:

— Пойдем туда вместе!

— Как!.. ты хочешь идти туда… в дом Ефросины, где лежит несчастный Пруденций, с головою, горящей в огне и обложенной мокрою глиной?

— Ну да, конечно!

— Зачем же пойдешь ты туда?

— Зачем?.. Там страдает человек, и я хочу идти туда.

— Конечно, не с тем, чтобы усилить его страдание?.. Ты не отнимешь у него свое покрывало? Ты не гневаешься на меня, что я там оставила эту ткань?

Мелита отвечала, что она нимало не сердится на Марему, а, напротив, даже рада, что та оставила покрывало, сделавшее какое-то удовольствие капризу больного Пруденция, и добавила, что ей все равно, что об ней станут говорить или думать в селении, что все это не стоит одной минуты человеческого страдания, если ему есть средство помочь.

— О, госпожа моя! — радостно вскричала Марема. — Идем же скорее, скорее спешим в этот дом плача! Ты властна в целой природе милого юноши, и одного звука твоего голоса, одного твоего приближения будет довольно, чтобы возвзвать Пруденция к жизни, если только мы успеем вбежать под кров Ефросины ранее, чем совсем остановится движение сердца в груди ее сына.

— Поспешим!

— Поспешим! поспешим!

И они обе схватились за руки и обе ровно и шибко побежали, — одна ясная, как день, другая темная, как южная ночь… Их волосы веялись в воздухе, и за ними тихо расстилалось дыхание жизни.

— О, ты спасешь его!., ты спасешь! — шептала, сжимая на бегу руку Мелиты, Марема…

— Может быть… — отвечала ей с тихим пожатьем Мелита.

И что же случилось?

Прежде чем быстрые ноги Мелиты и Маремы достигли жилища вдовы Ефросины, ужасный припадок оставил Пруденция: он спокойно вздохнул, сел среди пола, на котором лежал, улыбнулся счастливой улыбкой и, протянув вперед руки, воскликнул:

— Боги! хвала вам вовеки… Сердце Мелиты исполнилось жалости… Мелита встала… Мелита спешит, чтобы капнуть росинкой участья на мое сгоревшее сердце… Вот она, вот! Откройте скорее завесу!

И как голос Пруденция звучал уверенностью и силой, то желанье его тотчас же исполнили, а когда завеса была распахнута, тогда все увидали перед нею раскрасневшуюся от быстрой ходьбы прекрасную Мелиту, а за нею не менее красивую в своем роде Марему.

— Вместо одной облегчительницы — к тебе спешат две, — прошептали сторонние женщины, стоявшие возле Пруденция.

Он же теперь похож был больше всего на ребенка, у которого только что унялись жестокие муки, от воспоминания о которых ему в одно время и сладко и больно.

Пруденций сидел и смотрел в лица пришедших и повторял, как дитя, улыбаясь:

— Вот и она… Мелита… Марема!

Глава четырнадцая

Вдова Ефросина была несказанно рада, что Мелита пришла к ней и сама воочию могла убе-

диться, как тяжко страдает Пруденций и как облегчение его мук прямо зависит от Мелиты, и Мелита все это видела, не спорила с нею. Доказательства были слишком очевидны, и Мелите сделалось ясно, что ей не оставалось никакой возможности жить в своем доме в одном и том же селении, где был дом вдовы Ефросины. Здесь она будет постоянно встречать Пруденция, и это станет усиливать его мучительную страсть, которой она отвечать не желает. Каждый человек в этом селении непременно станет укорять ее за жестокость и будет говорить о ее глупом упрямстве, так как заботу о сохранении в себе ничем не плененного духа во все времена люди желали считать за «упрямство». А притом до безумия достигшая страсть Пруденция заставляла бояться, как бы он в один из подобных порывов не посягнул на свою жизнь, и тогда горю осиротелой вдовы Ефросины не будет предела, а доброй Мелите не снесть вида всех этих бедствий, в которых все непременно станут ее считать виноватой. Еще оставалось ей разве одно: тайно покинуть дом и селение и скрыться навеки… Мелита на это была готова, она бы устроилась жить с единомысленною ей подругою детства, христианкой Эрминией, но ведь Пруденций мог ее всюду преследовать и вез-

де нарушал бы ее покой и продолжал бы губить свою жизнь. Надо было отыскать иной, более удобный для всех выход из этого положения, и Мелита решилась непременно выдумать что-нибудь более удовлетворительное и, обдумав, привести свое решение в действие, какие бы оно ни представляло трудности.

В таком настроении она предстала перед влюбленными глазами исступленного Пруденция, и когда удостоверилась, что он успокоился и может ее понимать, она подала ему руку и спокойно сказала:

— Не предавайся отчаянию, добрый Пруденций. Ты не будешь вечно томиться так, как до сих пор томился. С этой поры я не буду тебя избегать и стану думать, как сделать тебя счастливым, а тебя умоляю: имей ко мне веру и немножко терпенья. Я тоже сильно взволнована, и дух мой нуждается в отдыхе и покое. Дай мне побыть в тишине с самою собою только три дня, а на четвертый день приходи перед вечером на берег моря, где стоит наша лодка, и там я скажу тебе, какое придет мне решение, и оно будет твердо настолько, что ты можешь на него положиться. Пока же, на три дня, яви мне приязнь — будь покоен.

— О, не три дня, а три года я готов ждать твоего

слова, — ответил, оживившись, Пруденций. — Лишь бы ты меня не отвергла… лишь бы мне было чего ожидать.

— Ну, три года — слишком долгое время. Через три года ты сам меня можешь отвергнуть, так как я тебя старше… Нет, ты три дня подожди, и это будет довольно.

— Я отвергну тебя! О, боги! о, разразите меня, справедливые боги, если это возможно, чтобы в сердце моем кто-нибудь заменил образ Мелиты!..

— Не клянися, Пруденций, ничем и не зови во свидетели богов, о природе которых тебе ничего не известно. Пусть лучше время само покажет нам, каковы мы и чего мы достойны.

— Согласен, согласен! — воскликнул Пруденций. — Целая вечность докажет тебе, что ты для меня всего дороже на свете и что нет ничего, что я предпочел бы тебе на минуту.

— Ну, жди же!

И она дружески простилась с ним и с матерью, вдовой Ефросиной, и ушла к себе в дом свой с Маремой, оставив вдову и Пруденция успокоенными и готовыми ожидать через три дня ее решения.

Решения этого стали ждать с любопытством и все прочие люди в селенье, потому что всем было

любопытно: не хитрит ли Мелита, притворяясь, будто она не желает взять себе мужем несравненной красоты юношу, который страстно влюблен в нее и моложе ее на три года.

— Что-то измыслит Мелита? Каков ее ум и в чем ее хитрость?

Три дня пролетели для всех в любопытном ожидании: в эти три дня Мелита была безвыходно дома, а Пруденций поправился от своих жестоких припадков и на четвертый день перед вечером вышел на берег моря и увидал, что здесь его ожидают Мелита с Маремой.

Глава пятнадцатая

Когда они свиделись, Мелита сказала Пруденцию:

— Все идет хорошо: мы теперь быстро приблизимся к цели осуществления наших желаний.

— Я не помню себя от счастия, что желания наши согласны! — воскликнул весь озарившийся счастьем Пруденций.

— Я сказала не так, — отвечала Мелита, — но все равного, что ты почитаешь за высшее счастье, все будет зависеть от тебя самого…

— Значит, оно все равно что достигнуто.

— Нет еще — раньше, чем ты будешь моим мужем, ты должен исполнить три мои просьбы.

— Я готов исполнить их бесконечное множество.

— Нет, всего только три. Прежде всего я не хочу быть здесь предметом вниманья для всех, ни теперь, когда ты станешь выполнять мои просьбы, ни после, когда может случиться, что я должна буду выполнить твою волю и заплатить мой долг за твое послушание моими услугами и женскою лаской.

— О, говори только скорее, что нужно! Если ты хочешь скрыться отсюда… если желаешь уйти от всех глаз…

— Да, почти что от всех… Пусть с нами будет только Марема, но чтоб не было даже вдовы Ефросины… Ее беспокойная нежность может испортить все, что должно совершиться в тишине уединения и покоя.

— Хорошо! Я обещаю тебе это за мать: она так меня любит, что на все согласится, а что касается до самой возможности скрыться от всех в никому не известное и недоступное место, то я владею для этого такою возможностью, лучше которой нельзя услыхать в самой затейливой сказке.

И влюбленный Пруденций сам, без расспросов

Мелиты, рассказал ей о цветущем ущелье в скале, сокрытой среди других неприступных скал, где у них есть две пещеры, богатые склады запасов для жизни, ручей сладкой воды, стадо коз и хохлатые куры.

— Туда никто не может прийти, — добавил Пруденций, — кроме двух тех, которые оставили нас и живут нынче в темном царстве теней; один только я знаю небезопасный и узкий пролив, которым можно пробраться к этой скале и отыскать в ней наше ущелье. Если ты хочешь самого неприкосновенного уединения…

— С тобой и Маремой! — перебила Мелита, тихо кладя свою руку в руку Пруденция.

— О, ты меня исполняешь восторгом! Итак, если ты доверяешься мне и не боишься проплыть на ладье узким и бурным протоком, в котором я знаю каждый камень, то стоит тебе сказать, когда ты желаешь отплыть, и — все будет готово.

— Прекрасно, — пусть это будет готово завтра, как сядет солнце. Но прежде ты возвратись сегодня домой и расскажи своей матери, на что мы решились. Я хочу знать, что она на все это согласна, и хочу поручить ей свой дом и хозяйство, так как Марема уедет со мной в ваше ущелье и дом мой станется пуст. Потом позови завтра утром

глиномята Агава и сам приходи с ним, и перенесите из дома в ладью мою кровать, и постель, и скрыни с уборами, и прочую утварь, и съестные запасы, которые здесь будут не нужны, а там пригодятся… Я все хочу взять и увезть, чтобы это все пошло там на пользу, так как мы, может быть, проживем там очень долгое время…

Пруденций слушал все это в величайшем восторге и с совершенным вниманьем, а при последних словах прижал страстно к груди руки Мелиты и прошептал одним придыханьем:

— О, я уверен, что никто никогда не умел пролить одним словом столько восторгов, сколько ты проливаешь их в мое сердце!

Она посмотрела на него благостным взглядом, как мать на ребенка, и тихо ему улыбнулась, и отвечала:

— О, мой невинный Пруденций! Не хвали меня много, мне трудно слушать твои похвалы. Будем более делать… станем спешить… не будем терять ни минуты. Я сейчас возвращусь с Маремой домой и стану спешить, чтоб уложить все мои вещи, а ты иди к матери, расскажи ей, что мы решились уехать отсюда и там, вдалеке от людей, совершить то, что должно совершиться. Скажи от меня вдове Ефросине, что дух мой полон участия

к ней и к тебе и что я ничего так еще не желала, как желаю того, чтобы увидеть всех вас в том положенье, к которому все вы теперь наиболее сродны.

Сказав это, Мелита встала и пошла к селению, держа одною рукою за руку Пруденция, а другою Марему, и так они дошли до того места, где тропы к домам их разделялись.

Здесь Мелита опустила руку Пруденция; еще раз сказала ему, как он должен говорить с своей матерью, и сама удалилась к себе вместе с Маремой, и действительно, обе женщины вместе всю ночь провели в том, что уложили в мешки и в укладки все, что было ценного в доме Алкея. Все запасы были тоже упакованы в корзины, а из прохладных ям достали меха с вином и сыры и все это также приготовили к отправке. К рассвету все было готово, и на стене большого покоя остался висеть на острой рыбьей кости один только широкий пояс Алкея, убранный золотою чеканкою и драгоценными камнями, да простая тростниковая дудка, в которую Мелита всунула свернутый туго в трубку папирус, на котором перед самым рассветом успела начертать несколько строк.

В этих строках было сказано: «Я получила свободу и не хочу потерять ее снова, но меня по-

сетило испытанье, которого я не могу избежать. Я надеюсь однако, что дух мой сохранит свою силу и что любовную страсть, которая зажглася в другом против моего желания, мне удастся смирить в нем с помощью той же грубой природы, которой он подчиняет свой дух. Если я над всем этим восторжествую, я отыщу путь к тебе и приду к тебе, чтобы окончить свой срок на земле вместе с тобою, позабыв о себе и служа вместе с тобою другим, по веленью Того, чье священное слово зажгло в нас свет разуменья и веру в вечную жизнь нашего духа».

Когда же Мелита вложила папирус в полый тростник, она залепила концы его воском и повесила дудку на стену у драгоценного пояса и тотчас же, обернувшись, увидала, что у дверей, с перстами на устах, стояла Марема.

— Ты за мною следишь и подсматриваешь, — с тихой улыбкой сказала Мелита.

— Нет, — отвечала Марема, — я не слежу за тобою и не стану никому тебя выдавать, но я по всему замечаю, что ты задумала какую-то хитрость, которая поведет дело совсем не к тому, что ты обещаешь Пруденцию.

— А расскажи-ка мне, если ты знаешь, — что я ему обещала?

— Ты обещала, что нынешней ночью ты, он и я уедем отсюда на дикую скалу в неизвестном ущелье, в которой сокроемся надолго…

— Это все так и будет; вечерние звезды увидят нас на ладье нашей в море.

— Тогда я смущена еще больше… тогда в уме у тебя есть что-то такое, чего я уж вовсе не в силах понять, если ты мне не скажешь.

— Ах, друг мой Марема, ты отгадала! До времени я тебе не скажу ничего и беру с тебя слово, что ты не станешь ни о чем меня более спрашивать. Это будет мне от тебя самою лучшей расплатой. Не любопытствуй, Марема, ни о чем: все, что должно случиться, из всех посторонних одна ты только увидишь, но не здесь, не теперь и не сразу. Я ничего никому злого не мыслю, и Пруденций примет на долю свою то, что сам для себя предпочтет. Я отдаюсь в его волю… Но ты отгадала — он должен будет мне доказать, что в самом деле влеченье, которое он ко мне чувствует, сильнее всего и никаким более грубым влечением заменено быть не может. В этом он должен меня убедить так, чтобы во мне не было места никакому сомненью, и ты, добрый друг мой Марема, должна мне в этом помочь, потому что это для меня имеет слишком большое значение.

Не откажи мне, Марема!

— О! — отвечала с чувством Марема, — можешь ли ты во мне сомневаться, Мелита! Я так хорошо знаю твой разум и доброе сердце, что мне не нужно бороться с собою, чтобы дать тебе самые страшные клятвы послужить тебе всем, чем ты захочешь. Я знаю, что ты никому не сделаешь зла, как не делала его мне во все время, пока я была твоею рабыней. Что бы ты ни сказала, Марема сделает все, не поддаваясь никаким своим собственным чувствам… Клянусь…

— Довольно! — перебила Мелита, — не клянися ничем: клясться нельзя, потому что все мы во власти всемогущего Бога. Я тебе верю без клятв и не скрываюсь больше, что в уме моем есть замысел, о котором до времени не хочу сказать никому и исполнить который могу только при твоей помощи.

— Верь же, что помощь моя тебе принадлежит беззаветно и…

— И довольно! довольно, Марема! — воскликнула Мелита, и бывшая госпожа и рабыня обняли друг друга и остались так на мгновенье. Так их и застала тихо вошедшая к ним вдова Ефросина, за которою сзади входили Пруденций и горшечник Агав с длинными жердями, из которых должно

было сделать носилки для переноса имущества Мелиты в ладью.

Глава шестнадцатая

Вслед за этим сейчас же сделали носилки и начали переносить вещи в ладью. Дело это справляли Пруденций с Агавом горшечником, а им помогала Марема, которая для этого часто отлучалась к лодке. В доме же оставались вдвоем вдова Ефросина с Мелитой, из которых последняя приготовляла у очага обед для работающих при нагрузке ладьи, а мать Пруденция ей помогала и в промежутках между занятиями говорила с ней о том, как она понимает затеянное Мелитою дело.

Вдове Ефросине казалось, что Мелита уезжает с ее сыном потому, что Пруденций ей мил, но она очень стыдлива и уж слишком высоко подняла свою целомудренную славу; теперь ей не хочется здесь перед всеми показать свою склонность, но там она, никем не стесняемая, отдастся любви на свободе и со всем пылом долго сдержанной страсти. И, будучи в этом убеждена, вдова Ефросина смотрела на сборы совершенно спокойно. Мелита же ей не говорила ничего положительного, но не раз просила ее сохранять это спокойствие

постоянно, даже тогда, если от них очень долго не будет известий.

— Пусть их не будет хоть год! — отвечала вдова Ефросина, — я так истерзалась, видя долго мучения сына, что готова снести на себе все томления долгой безвестности, лишь бы могла быть уверена, что таких безнадежных терзаний, какие он снес, вперед он сносить уж не будет.

— На этот счет будь вполне уверена: такими терзаниями, какими томился Пруденций, он больше томиться не будет, — отвечала Мелита.

— В одном только этом я и хочу быть уверена.

— Так это и будет; но ты сказала, что готова пробыть без вестей целый год.

— Я это сказала… И что же, ежели тебе это нужно…

— Да, это именно может быть нужно…

Вдова Ефросина погрозила пальцем Мелите и сказала с улыбкою:

— Знаю…

— Что же ты знаешь?

— Через год… я, быть может, увижу прелестного внука!.. Что же, это прекрасно… Тогда и конец всем людским разговорам о твоем прежнем муже Алкее… Я тебя понимаю: такие, как ты, всегда любят сильно, но скромно. Боги вам в помощь,

сожгите одни там цветы Гименею на камне, и пусть свидетельницею ваших брачных обетов будет Марема… А потом, год пройдет, я обниму вас и внука, и тогда попечемся мы и о Мареме… Добрая девушка. Она стоит доброго мужа.

— И наверно найдет его, — подсказала Мелита.

— Я то же думаю. Мы на нее до сих пор все както глядели совсем без вниманья, а вчера, когда я с ней говорила, мне вдруг показалось, что Марема ведь очень красива.

— Еще бы, еще бы она не красива! И умна, и добра, и красива, и имеет горячее сердце… И притом, что за силы и какое здоровье!.. О, она стоит превосходного мужа, и то, что ты получила о ней хорошее мнение, приносит мне огромное счастье. Я рада, что отправляюсь отсюда в полном согласье с тобою.

И в таких-то согласных беседах у них прошел целый день; все были веселы, съели вместе вкусный обед, и перед вечером Пруденций и Марема понесли из дома к ладье последнюю ношу, а Мелита осталась с глиномятом Агавом, чтобы закрыть входы, и тут-то Мелита сняла со стены широкий пояс Алкея, усыпанный камнями, и тростниковую дудку и, показав пояс Агаву, сказала:

— Способен ли ты оценить, чего может стоить эта вещь, если ее отнести в большой город и продать там, где есть богатые люди?

Агав отвечал:

— Оценить такую драгоценную вещь я не могу, но знаю, что если бы я триста лет кряду мял глину и наделал

горшков целую гору, то все это не составило бы и половины цены каждого из этих светящих камней.

— Так вот же, тебе вовсе не надо триста лет мять твою глину и наделывать гору горшков: исполни одно порученье, которое я хочу тебе дать, и этот пояс пусть будет твоею наградой. А что в словах моих нет ни обмана, ни шутки, так бери эту вещь сию же минуту и спрячь ее у себя под одеждой. А кстати, пихни вместе с нею туда эту дудку, и когда мы уедем, ты брось свою глину, — горшков ведь у всех здесь довольно в селенье.

— О, слишком довольно! — отвечал, засмеявшись, Агав, — я уж не знаю, кому продавать и то, что имею в запасе.

— Так и оставь их. Пускай жена твоя продает дома горшки тем, у кого свои перебьются, а ты пойди к Клазомену и там, в этом городе, отыщи подругу моих детских лет, имя которой Эрминия,

и отдай ей эту дудку.

— Хорошо; а потом что я еще должен сделать?

— Только всего.

— Отыскать госпожу Эрминию и отдать ей эту дудку, и только всего?

— И только всего.

— Что же, она должна заиграть на этой дудке?

Мелита улыбнулась на шутку Агава и отвечала так же шутливо:

— Дудка сама заиграет, что нужно. Впрочем, можешь сказать Эрминии, что ты меня видел, и при каких обстоятельствах, как мы расстались. И за это возьми себе пояс и продай его, где тебе это удастся, а потом возвращайся домой и доживай свои старые годы, не терзаясь нуждою.

— Что же, в самом деле я это сделаю! Клянусь богами, я сделаю это! — воскликнул горшечник. — Я отыщу госпожу Эрминию и расскажу ей, как было все дело. Пусть-ка она тогда заиграет об этом на дудке.

И с этим горшечник Агав спрятал пояс и дудку, и они оба с Мелитою вышли из опустевшего дома Алкея; а когда они приблизились к лодке, то уже застали, что Марема сидела на веслах, обнажив до плечей свои крепкие руки, а Пруденций, вырвавшись из долгих объятий вдовы Ефросины,

распускал косой длинный парус на рее.

Мелита тоже скоро простилась с вдовой Ефросиной и спрыгнула с берега в лодку.

Марема шевельнула веслами — нагруженная ладья слегка зашуршала днищем по песку, а потом, достигши свободной волны, покачнулась, ветер надул паруса, и между отъезжавшими и остающеюся Ефросиной и Агавом вдруг удлинилось расстояние…

Переговариваться с лодки на берег стало невозможно, но зато до слуха вдовы и Агава теперь доносилось стройное пение: это была песнь любви, которой слова и напев ее тотчас узнали и вдова и горшечник… Пели стройно два голоса, Пруденций с Маремой.

И песня их тоже стихала и замирала в пространстве, но вот, обойдя острый мыс и пологую отмель, ладья переставила парус и будто подвинулась ближе, и с нее опять на мгновение донеслись звуки пения, но совершенно иного, которого ни слова, ни напев не были знакомы вдове Ефросине. Пел один ровный и торжественный голос.

— Это голос Мелиты! — сказала вдова Ефросина.

— Да, и мне кажется тоже, — ответил Агав.

— Что же это за незнакомая песня?

— Это?... Мне кажется... Это будто похоже на гимн, который я слышал однажды, когда мы бросали со скалы на каменья тех забавных людей, которые нас уверяли, будто тот не умрет, кто станет жить на земле так, как учил жить их пророк галилейский.

Глава семнадцатая

Во всю ночь ярко светила луна и дул благоприятный для пловцов ветер. Хорошо знавший все морские приметы, Пруденций смело и ловко правил ладьею, которая, таким образом, держала прямой путь к тому таинственному пункту, куда Пруденций увозил Мелиту и Марему для того, чтобы там, по прихоти первой из них, исполнить ее испытания и заслужить себе ее любовь.

От селения, где жили Алкей и Гифас, до скалы, где им пришлось отыскивать скрытый приют для склада своих хищений, при попутном ветре было полторы суток ходу. Путь во все время держали такой, что не теряли из вида берегов, хотя шли то ближе к земле, то отдаляясь в море там, где было много камней и плыть вблизи берегов было опасно.

Среди второй ночи пловцы достигли пролива, за которым, как лес, возвышались серые каменистые скалы, не имевшие, по-видимому, ни растительности, ни обитателей. Они сначала были меньше и начинались камнями, которые невысоко возвышались над водой, но потом толпились и возвышались то дальше, то выше, и некоторые из этих скал казались довольно большими и сложными по очертанию.

Проход между ними был чрезвычайно опасен, и его мог предпринять только такой человек, кому путь этот хорошо известен и кто обладает большой ловкостью и силой.

Пруденций всем этим обладал в совершенстве, и обе женщины могли им любоваться, как он, почти обнаженный, стоя на корме, проводил ладью между режущих камней, то подпираясь длинным шестом, то вонзая багор в расщелины или хватаясь им за уступы. Но, наконец, были два места, где плыть казалось совсем невозможно, потому что ни упереться, ни ухватиться было не за что, а страшная быстрота крутила ладью и уносила ее на острые скалы; но тут Пруденций вдруг нырнул в воду и через одно мгновение снова выплыл наверх, держа в руках скользкий и опутанный водорослями канат. Перебирая этот

канат, он ловко перетянул ладью через стремнину, которую никак бы нельзя было перейти ни под ветром, ни на веслах. Так же точно прошли и вторую стремнину, за которою недалеко была уже и самая цель мореходцев.

Тут в очень стесненной группе скал была одна такая, которая с первого взгляда ничем не отличалась от прочих, но на самом деле она имела существенную разницу по странной игре природы, устроившей в этой скале одну под другой три террасы, обращенные к полдню, и на средней из них — обширную расщелину, за которою на поляне, поросшей кустами, были две пещеры, одна внизу, а другая на значительной высоте, так что в нее можно было взойти, только приставляя длинную суковатую жердь, заменявшую лестницу, которую, по миновании надобности, опять отнимали и клали в купы зеленого диарита, где она и лежала так, что была незаметна. С той стороны, куда выходила площадка и входы обеих пещер, больше не было скал и открывалось безбрежное море. У подошвы скалы была маленькая, но очень удобная бухточка, в форме сандалии. Ладья заходила в нее легко и помещалась в ней удобно и совсем незаметно.

Пруденций пристал в эту бухту и, высадив

Мелиту с Маремой, повел их наверх, где были пещеры.

В нижней пещере было большое жилье, разделенное натуральными столбами скалы на несколько удобных покоев, из которых два были убраны коврами и кожами и представляли во всех отношениях здоровое и удобное помещение.

Эту нижнюю пещеру Пруденций предоставил в распоряжение Мелиты и Маремы, а сам начал жить в верхней пещере, которая была потеснее нижней и представляла собственно разбойничий тайник, но, однако, и в ней был здоровый, чистый воздух и хорошая постель из циновок.

Запасов же и разной утвари в нижней пещере было накоплено столько, что пять человек смело могли продовольствоваться здесь целый год.

Мелита и Марема благодарили Пруденция за доставленное им удобство в помещении и, утомленные длинным морским переходом, тотчас же легли спать и проспали очень долго, а проснувшись, когда солнце уже высоко взошло и играло по сверкающей зыби моря, были в восхищении от свежести воздуха и обширного вида на море. А меж тем недалеко в стороне от входа в их пещеру был уже разведен огонь, возле него положена ко-

за с полу снятою кожей и сосуд со свежей водою.

Все это, без сомнения, приготовил Пруденций.

Увидав это, женщины стали смотреть: где же находится теперь сам Пруденций, которого они желали поблагодарить за его заботы о них, но Пруденция не было видно. Тогда Мелита с Маремой принялись хозяйничать около очага, и только что сняли кожу с козы и, распластав ее мясо, стали одни части варить, а другие втыкали на прутья, чтоб жарить, как вдруг появился Пруденций. Он шел, обливаясь потом и таща на себе по круче от моря с ладьи тяжелую ношу.

— Ну, что ты за милый хозяин! — увидев его, закричала Марема.

— И я скажу то же, — поддержала Марему Мелита. Пруденций улыбался счастливой улыбкой и, опустив ношу, подошел к женщинам, чтобы сказать им утреннее приветствие.

Потом они стали обедать, а после пошли осмотреть скалу и нашли на ней, кроме двух пещер, помещенных одна над другою, и открытое пространство, покрытое зеленью, с возвышениями, по которым пощипывали травку прирученные козы. Здесь с высоты каскадом падал прозрачный ручей.

— Это прекрасное место! — восклицала Маре-

ма, резвясь как ребенок. — Я не хотела бы никогда удаляться отсюда.

При этом она наклонилась к уху Мелиты и добавила:

— Особенно в том случае, если бы я могла здесь жить не одна, а с таким человеком, который бы… мне… нравился, что ли… и которого любовь моя могла бы делать счастливым.

Мелита пожала ей руку и отвечала:

— Что же!.. Все это может случиться…

— Откуда ж!

— Не унывай: в природе возможно многое, что по взгляду кажется трудным и даже совсем невозможным.

Но Марема расхохоталась и сказала:

— Ну, я знаю, однако, одно, что совсем невозможно.

— Что же это такое?

— Невозможно, чтобы смуглая кожа Маремы могла затмить лилейную белизну чудесного тела Мелиты.

— О, если только дело за этим, то это очень возможно, и в такой возможности ты, может быть, удостоверишься гораздо скорее, чем ты могла бы подумать.

А как эта перемолвка произошла между жен-

щинами с уха на ухо, то она не могла не возбудить любопытство в Пруденции, что Мелита тотчас же заметила и сказала ему:

— Не удивляюсь я, добрый Пруденций, что тебе интересно, о чем мы между собою рассуждаем с Маремой, и думаю, что тебе будет еще любопытнее, когда ты узнаешь, что все, о чем мы говорили, касается до тебя. Скажи нам, каково твое мнение: хотел ли бы ты, чтобы целую жизнь остаться на этой скале, и как бы ты хотел проводить свою жизнь?

Пруденций ответил, что он считал бы за самое лучшее счастие остаться здесь навсегда с тою женщиной, которую любит, и желал бы проводить жизнь только в том, чтобы наслаждаться ее любовью, забыв обо всем остальном на свете.

Мелита улыбнулась и сказала ему:

— У меня и Маремы несхожие мнения, и то, которое ты теперь высказал, ближе всего ко мненью Маремы, а со мною совсем несогласно.

Пруденций вместе с Маремою стали просить ее, чтобы она сказала им свое мнение, а она им отвечала:

— Здешнее место прекрасно, но такая любовь, которая отделяет двух человек от всех прочих людей и погружает их в одни наслажденья друг

другом, мне совершенно противна. Я даже вовсе не понимаю: какое в такой любви может быть счастие? Я думаю, что это совсем не стоит имени любви, что это совсем что-то другое, на чем невозможно воспитать дух свой и прожить жизнь в мире с своей совестью. Я бы хотела, чтобы с нами здесь были другие и чтобы все мы могли быть друг другу полезны; я думаю, в этом должен быть смысл человеческой жизни, а не в том, чего могут достичь и низшие твари, не владеющие человеческим рассудком.

И между ними начался разговор, в котором они все трое, сидя над морем в зелени диаритов[116], приняли оживленное участие, и незаметно трое разделились на два мнения: Мелита оставалась при своем, развивая мысль о необходимости общей любви ко всем людям, при которой нельзя отрешаться от общенья с другими, а Марема и Пруденций, увлекаясь идеями личного счастья, уходили в этом настроении все дальше и дошли, наконец, до того, что сказали, что нет и не может быть высшей любви, как та, которая довольна своим избранным предметом — одним им согрета и занята и до других ни до кого нет ей дела.

---

[116] Примечания: 116
Горная порода.

Когда разговор дошел до этого, Мелита улыбнулась, не стала более спорить, а шутливо свела руку Пруденция с рукою Маремы и сказала им:

— Я очень рада, что вы друг с другом согласны.

Пруденций и Марема этим смутились, и в один из последовавших затем дней, когда Марема помогала Пруденцию разгружать внизу лодку, а он взносил тяжести наверх к пещерам, у которых Мелита готовила на очаге обед, Пруденций, опустив на землю ношу, промолвил Мелите:

— Я до сих пор все не перестаю думать о бывшем у нас в первый день разговоре… Он как будто отстраняет меня от тебя, к которой влечет меня сердце и от одного приближенья к которой вся кровь во мне пылает, как пламя.

— Кровь!.. Ты все о крови, Пруденций. Бунтование крови проходит… Гораздо надежнее то, что может жить вечно и не остынет от времени.

— Что же это, Мелита?

— Сродство нашего духа… согласье в желаниях, одинаковость окончательной цели!

Но Пруденций покачал головой и сказал с укоризной:

— Мелита! Мелита! что тебе за охота говорить все такие мудреные вещи! Не будет ли проще, если нас свяжет не дух, а то, чем обыкновенно

мужчину и женщину соединяет природа?

— Нет, — отвечала Мелита, — это слишком уж просто.

— О, доверимся ей… Отдайся, Мелита, всесильной природе, она никогда не обманет.

— Нет, она-то скорее всего и обманет.

— Природа обманет?

— Нуда!

— Никогда.

— Ну, не станем перекидывать наши слова без средств доказать их. Ты помнишь, конечно, наш уговор: «три дня испытания».

— Без сомнения, помню и заранее торжествую победу любви моей над упрямством капризной Мелиты.

— Прекрасно! Но воздержись — не спеши с торжеством. Я у тебя не отнимаю надежды, но впереди будут три дня испытания… *Три только дня!..* Но зато в эти три дня ты должен мне повиноваться во всем.

— Очень рад… только, однако, когда же начнешь ты свои испытания?.. Я желаю, чтобы это было скорее.

— Сейчас, если хочешь.

— Я замираю в восторге.

— Прекрасно: теперь вечереет, а через три дня

в эту же пору я буду твоею женою… или…

— Кончай же!

— Или я ею не буду.

— В каком же то случае?

— В том случае, если ты сам от меня не откажешься и что-нибудь предпочтешь моим ласкам.

— О, сделай милость! Это одно, чего я никогда для тебя не сделаю, хотя бы на меня восстали все демоны ада и все силы природы.

— Ну вот уж: «все *силы природы*»! Зачем такой смелый вызов! Быть может, и одной «силы природы» будет довольно.

— Начинай испытанье! Говори, что я сейчас должен делать.

— Во-первых, ты от меня удалишься сию же минуту в свое помещенье в верхней пещере.

— Ну, и что мне там делать?

— Пока ничего.

— Как это пока?

— Пока тебе станет хотеться думать более о самом себе, чем обо мне.

— Ну, оставь это!.. Никогда этого не будет.

— Всходи же в пещеру.

— Ну, хорошо, — я всхожу.

Пруденций стал подниматься по лестнице и,

достигнув до входа в свою верхнюю пещеру, обернулся и с веселою улыбкою вскрикнул:

— Эвое! Я уже начал мое испытание и на один миг стал ближе к обладанью Мелитой.

— Обладай же сначала собою, — отвечала Мелита, отнимая лестницу и спуская ее по откосу на вторую площадку.

— Я заперт! — смеялся Пруденций.

— Теперь жди, пока я тебя позову, стоя в ожиданье тебя у брачного ложа.

И с этим Мелита скрылась в своей нижней пещере.

Глава восемнадцатая

Вскоре после того, как скрылась Мелита, по тропинке от моря стала подниматься Марема. Пруденций издали ее заметил и стал говорить ей:

— Ах, порадуйся за меня, Марема! Мелита уже начала мое испытание, и через три дня она должна будет сдержать свое слово — она сделается моею женою.

— Это славная вещь! А в чем же будет состоять твое испытание?

— А вот в точности я этого до сих пор не знаю,

право; до сих пор она мне ничего не сказала, кроме того, чтобы я думал о ней и ожидал терпеливо какого-то ее слова; а уж какое это будет слово — не знаю.

«Что за затеи у этой Мелиты?» — подумала, покачав головою, Марема и, войдя в пещеру, тотчас же хотела расспросить Мелиту: что далее будет? Но Мелита лежала, закрывши глаза, и спала, или притворилась спящей, и Марема будить ее не решилась; а когда она снова вышла, чтобы взять несколько хвойных веток и выкурить их дымом насекомых, она увидала, что Пруденций стоял наверху во входе своей пещеры и на него светила луна, а он улыбался и сказал ей:

— Скажи привет мой Мелите, Марема.

А Мареме не хотелось ему отвечать, — так ей сделалось его жалко и грустно видеть его, как птицу в клетке.

До полуночи Марема не могла сомкнуть глаз, а за полночь она слышала, как Мелита вышла и возвратилась не скоро, а когда возвратилась, то прежде, чем лечь, подошла и нагнулась над изголовьем Маремы и, увидав, что Марема не спит, откинулась вновь и сказала сурово и твердо:

— Ни во что не мешайся и ни о чем меня не расспрашивай… Поверь мне, что я не жестокая

женщина и не хочу ничьих напрасных мучений, а я делаю то, что нужно для нашего общего счастия. Умоляю тебя: верь мне, как верила, и ни о чем не расспрашивай больше.

— Пусть будет так, как ты хочешь.

И едва забрезжился свет, Мелита разбудила Марему и позвала ее вместе с нею идти, чтобы докончить выгрузку лодки; а когда они туда сошли, то Марема увидела, что Мелита одна здесь работала ночью, а теперь они взялись за дело вдвоем и трудились так безотступно, что к вечеру все, что привезено было в лодке, было втащено на берег, и облегченная ладья поднялась и закачалась в своей маленькой бухте.

Во весь день Мелита с Маремою не возвращались в пещеру, и когда стало темнеть, они еще оставались у моря. Марема не раз порывалась уйти, но Мелита ее удерживала, и они стали подниматься наверх только тогда, когда луна утонула за скалы и вокруг сделалось темно.

Тогда они тихо проникли в свою пещеру, не замеченные Пруденцием, и не зажигали огня, чтобы выгонять насекомых, а улеглись каждая на своем месте впотьмах…

И Мелита, казалось, сейчас же заснула, но Марема начала что-то искать, и потом стала есть,

и, сделавши несколько глотков, вдруг вскрикнула, как бы приняла что-то пронзительное или острое.

Тогда оказалось, что и Мелита не спала, потому что она живо вскочила и спросила в испуге:

— Что с тобою случилось?

Марема сразу ничего не отвечала, но когда Мелита повторила вопрос, та ей ответила как бы из какого-то отдаленья:

— Со мной ничего не случилось… но я не хочу более есть, потому… что… я все теперь поняла… Пруденций без пищи!..

Мелита ей не отвечала ни слова.

Ночь прошла беспокойно, в прерывистых грезах. Обеим женщинам казалось, как будто они видят Пруденция и слышат его шаги, и вот он весь исхудал, глаза его округлились… он глядит беспокойно… Мелита! Мелита! скорей задавай ему дело!

А оно уже было задано.

Утром на третьи сутки Мелита вовсе не вышла. Из пещеры показалась одна только Марема, и Пруденций сторожил ее появление.

— Здравствуй! Здравствуй, Марема! — закричал он ей пострадавшим, но еще веселым голосом. Прошли уже две ночи и день, как я ожидаю здесь

своего заслуженного права прижать к моему верному сердцу милую Мелиту. Теперь уже недолго осталось мне ждать, но зачем она медлит, зачем до сих пор мне не скажет: в чем я должен выдержать мое испытанье. Или ты, может быть, с тем теперь вышла, чтобы сказать мне, что я должен сделать? Говори же скорее: я утомился здесь ожидать приказанья Мелиты…

— Мелита мне ничего не сказала, — отвечала Марема, стараясь не глядеть на Пруденция, который при самом беглом взгляде на него показался ей изнуренным и страшным.

— Куда же идешь ты?

— Я иду… чтобы поймать удою рыбу и поискать в расщелинах птичьих яиц… Завтра ведь к вечеру Мелита готовит свадебный пир…

— Ах, она уж готовит! Прекрасно, прекрасно… Иди же скорей, лови рыбу… и яйца есть по утесам… А Мелита, верно, выйдет сама и скажет мне, что должен я сделать… Мне, кстати, очень хочется есть.

— Я ворочусь и скажу ей, что ты хочешь есть.

— Нет, не надо, Марема. Я ей дал слово, что не буду ее ни о чем просить, пока она меня кликнет… Уходи, куда ты идешь… мне нужно терпенье.

И Марема ушла, а Пруденций остался один и

снова весь целый день протомился в затворе; он то поджидал Мелиту, то ее кликал, но все это было напрасно — Мелита не показалась ему ни на мгновение ока. Она целый день безустанно разбирала все перенесенные с ладьи вещи и с таким вкусом убрала пещеру, что ее можно было принять за очень благоустроенное жилище человека со вкусом. В переднем, большом помещении был накрыт большой стол, уставленный множеством дорогой и прекрасной посуды, а вдали за столбом, обвитым цветными тканями, возвышалось пышно убранное ложе под голубою завесой и с лампами у изголовья.

Все это требовало много искусства и вкуса, и трудно было произвести такое превращение в один день; но Мелита не жалела труда, и он один, вероятно, помог ей не слыхать жалобных стонов Пруденция, который с полудня уже утратил терпение и звал Мелиту, крича ей, что он чувствует мучительный голод.

— Мелита! — кричал он, — Мелита! для чего ты забываешь, что я человек и что голод желудка дает знать о себе беспрестанно… Говори мне скорее, какое я тебе должен дать доказательство, что я ни с чем не сравню твою любовь… или я здесь умру от голода.

Но Мелита все убирала покои и не пришла к нему на его зов, и Пруденций так протомился до вечера, когда увидал возвращающуюся Марему и закричал ей:

— Мои мучения превзошли уже всякую меру…

— Ты старайся не думать…

— Ах, не могу! не могу я не думать — голод жесточе всевозможных мучений… Я боюсь, что я не доживу до утра…

— Старайся уснуть… пусть во сне тебе снится Мелита.

— Ах, я уже пробовал спать… и во сне то же самое снится… Есть хочу, есть хочу! Страшно, Марема, мне, страшно! У тебя там где-нибудь, верно, есть птичьи яйца — брось мне одно из них, я умираю.

— Не смею, — отвечала Марема и скоро скользнула в пещеру, которая была освещена многими огнями и поразила Марему своим неожиданным великолепием.

— Что это будет? — спросила Марема.

— Завтра здесь будет свадебный пир, — отвечала Мелита.

— Свадебный пир!.. О, Мелита! остерегись, чтобы это не был похоронный обед.

И, сказав это, Марема присела и, опустив руки

и голову, зарыдала.

— О чем ты так плачешь? — спросила Мелита.

— Я сейчас видела Пруденция и слышала его стоны… Его мучает голод, и он умирает.

— Но ведь его раньше мучил еще иной голод…

— Нет, голод желудка страшнее всякого другого томленья.

— Полно, Марема. Ведь и я тоже не ем. Марема достала из-за туники яйцо морской птицы и сказала:

— Я целый день провела безуспешно и насилу достала всего два яйца. Одно, признаюсь тебе, съела сырое, и оно мне от голода показалося вкусно. Съешь ты это другое. Его просил у меня Пруденций, но я не дала ему.

— И мне оно тоже не нужно: я терплю то же, что терпит Пруденций! — и с этим словом Мелита взяла из рук Маремы яйцо и бросила его об пол.

— Здесь есть много съестного, — добавила она, — но я ничего не касалась. Я по себе размеряю, что он может снести без вреда для его жизни. Ляг и усни, а завтра с утра станем готовить обед, и ввечеру разрешится все, что так долго и мучительно длилось.

Глава девятнадцатая

И вот прошла ужасная ночь, которая всем показалась долга бесконечно и всех истомила. Настало тяжелое утро. Обе женщины рано проснулись, и Марема тотчас же выбежала, чтобы взглянуть на Пруденция. Юноша изменился в эту последнюю ночь сильнее, чем во все протекшее время: лицо его сделалось серое и маленькое, оба глаза ввалились и казались совершенно круглыми, а губы почернели, и из-за них виднелись два ряда белых зубов, как будто ослабнувших в деснах, и воспаленный язык и гортань… Гол од его догрызал, — Пруденций уже не имел сил и стонать; он сидел, прислонясь ко входу, и тихо качался, придавливая исхудалыми руками опустошенный живот.

Напрасно Марема хотела его утешить и говорила ему о близости счастья в обладанье Мелитою, — Пруденций не отвечал ей ни слова.

Когда же Марема сказала об этом Мелите, та отвечала:

— Это так должно быть! Когда зло не хотят победить рассудком, то оно побеждается страданиями. Но не будем говорить об этом, а давай

скорее приготовлять все лучшие кушанья, какие умеем.

И они отобрали из всех запасов все, что было лучшего, и стали готовить все блюда, какие умели. Это требовало немало трудов, и приготовления еще не были совсем кончены, когда солнце стало спускаться за скалы. Тогда Мелита сказала Мареме:

— Оставим на время мяса и плоды — пусть хорошенько томятся на углях, а мы пойдем под ручей — омоемся свежей струею воды и оденем лучшие наши одежды.

Марема пошла с нею и удивилась, что когда они вышли из-под обливанья, то Мелита открыла принесенную скляницу драгоценных духов и неожиданно вылила всю ее поровну на свои волосы и на волосы Маремы, и при этом сказала:

— Я хочу сделать так, чтобы мы обе имели вид невест. И затем, возвратившись в пещеру, Мелита стала спешить уборкой стола — расставила кувшины с разноцветным вином; разложила фрукты на листьях, и подливы к мясам, и загородки из теста в глиняных блюдах; а потом засветила огни, открыла постель и стала между ней и столом, одетая в самые пышные платья, а Мареме сказала:

— Приставь скорей лестницу и поди и скажи

Пруденцию, что я его приглашаю сойти.

Марема исполнила это в одно мгновение, но когда она вошла в верхнюю пещеру к Пруденцию, то увидала его в ужасном изнурении — он уже не сидел, а лежал и на вопросы мог отвечать очень не скоро и очень невнятно. Он только тихо махал рукою и давал чувствовать, что для него ничто не важно, кроме голода, которым он истомился.

Долгоожидаемое приглашение Мелиты нимало его не оживило и не обрадовало.

— Ведь это настал час твоей радости! — говорила ему Марема, но он только отмахнулся рукою и, обратясь в сторону, прошептал:

— Куда… же… ты дела… яйцо… морской чайки?

— Что тебе теперь до яйца чайки… тебя ожидает роскошный стол и… еще больше роскошные ласки Мелиты!.. Встань скорее на ноги — я помогу тебе сойти с лестницы.

Он стал подниматься, но закачался, упал и сказал:

— Я не в силах.

Тогда живая Марема схватила Пруденция, как дитя, на свои сильные руки, снесла его с лестницы, опустила на землю и, дав ему оправиться, подвела его под руки ко входу в освещенную пещеру, где в сиянье огней стояла блестящая кра-

сотой и убором Мелита. Она встретила Пруденция с ласковой улыбкой и сказала ему ласковым голосом:

— Привет мой тебе, господин мой Пруденций! Входи и будь здесь властелином всего, что ты видишь. Ты перенес испытанье, и зато я даю тебе надо мною всякое право… Пир изготовлен… последние блюда скоро поспеют на тихом огне, и брачное ложе готово… и я жду моего господина!

При этом Мелита протянула обе руки к Пруденцию, но он отвернулся от нее и, поведя вкруг как бы утратившими зоркость глазами, нетерпеливо воскликнул:

— Подожди!.. и скажи мне: где же это яйцо дикой птицы?

— Я разбила его, — отвечала Мелита. — Поди отдохни, господин мой, на ложе… Ведь я сама его стлала для тебя, моего господина… А после ты будешь есть самые вкусные кушанья.

— Ах, это все пустяки!.. Подавай мне сейчас все, что там кипит или печется!

— Кушанье все еще не готово.

— А это же что здесь такое дымится в глиняном блюде?

— Это подлива к бобам и загородки из теста для разваренного мяса…

— Вот я и съем сейчас всю эту подливу и все загородки из теста…

И он потянул к себе блюдо с подливой и начал лакать ее и грызть загородки, не обращая никакого внимания на Мелиту, которая этим временем все удалялась тихо назад и, наконец, вовсе исчезла, так что с этой поры Пруденций и Марема напрасно искали ее на утесе. С нею вместе ушла и ладья, которая была спрятана в бухте, и теперь Пруденций с Маремой были отрезаны от всего остального мира.

Они напрасно обегали со всех сторон скалу и искали Мелиту, — она, без сомнения, оставила их и скрылась, а они остались вдвоем и не видели никого третьего до тех пор, пока возле Маремы сразу раздались два голоса двух новорожденных ею близнецов… В этот день Пруденций, сошедший вниз с свертком белья, которое он должен был вымыть для своих двух близнецов и для Маремы, — заметил на море точку, которая как будто переменяла свое место… А еще через несколько дней Пруденций увидал, что на глине скалы над самою бухтою было начертано чем-то острым: «Мелита приветствует Пруденция и Марему с детьми их и желает им согласия и добродетельной жизни». Еще же через месяц

Пруденций увидел ладью еще ближе и видел, что на ней были две женщины и что к ней из-за скал подошла другая ладья и на эту перешла одна из двух женщин, и теперь та лодка, на которой сидели две женщины, стала удаляться, а та, на которой осталась одна, приближалась к утесу.

Пруденций скоро узнал по окраске, что эта лодка его и Алкея, которая исчезла с той ночи, как удалилась

Мелита… Пруденций сказал об этом Мареме, которая сидела тут же, возле него, на берегу моря и держала на каждом из своих колен по здоровому смуглому ребенку, из которых каждый завладел одной грудью своей матери и так жадно сосал, что молоко выбегало у него обратно из уст и крупными белыми каплями скользило по смуглой груди Маремы… Но Марема теперь этого не замечала, потому что она следила за лодкой, и вдруг вскричала:

— Радуйся, милый Пруденций!.. К нам приближается мать твоя, вдова Ефросина… Мы не останемся одни здесь, и наши дети не будут жить дикарями.

— Да, — отвечал ей Пруденций, — и я теперь вижу: это мать моя, вдова Ефросина!.. Кто передал ей нашу ладью и кто указал ей путь к нам?

— Конечно, Мелита. Это она удалилась на другой ладье с своим другом Эрминией… Они христианки.

Пруденций задумался и, следя за приближением лодки, которою, несмотря на свои годы, хорошо еще правила вдова Ефросина, сказал, склоняясь к Мареме:

— Вот все, кто страстно любит наслаждения жизни, всегда рассуждают, что будто галилейское учение не годится для жизни… А припомни-ка все, что было с нами, и выйдет, что вперед дальше всех видела одна Мелита. Я перед нею так малодушен, что не мог бы идти с нею рядом. Как хорошо, что она не связала себя узами брака с таким посредственным человеком, как я!.. При разности взглядов и мыслей мы не нашли бы в союзе согласья и мира, а с тобой мы счастливы… Ее дух слишком высок и серьезен — он слишком беспощадно побеждает плоть. Ты же и я… мы смотрим проще… Я не знаю, как это случилось, как я все любил так сильно Мелиту, и теперь вижу, что она не сродна мне, а ты мне гораздо милее Мелиты… Я хотел скрываться здесь вечно с Мелитой, — потом мне так хорошо было здесь же с тобой, и теперь… я, однако же, радуюсь, что мать моя нас разыскала и мы не останемся в

вечной разлуке с людьми… Весь круг мыслей во мне перешел, — все переделалось с нами именно так, как говорила Мелита. Верно, надо ей верить во всем.

— Да, она умная женщина.

— Надо считать дух, а не плоть владыкою жизни и жить не для тех чувств, которые научают нас особиться от всех прочих людей…

— Правда, Пруденций.

— Пусть так и будет, и когда мы уклонимся от этого… пусть мы сами не будем на своей стороне. Если мы погрешим, то не станем извинять себя и делать себе пояса из листьев, потому что прятаться — это хуже, чем несть порицание, которого заслуживаешь.

— Я согласна, — отвечала Марема.

— Да, всегда мы с тобою согласны! Какое это счастие для обоих нас!..

— И для наших обоих детей, — показала Марема на близнят, которых уж издали увидала бабушка их, вдова Ефросина, и начала улыбаться всем и в конце, бросив весло, закричала:

— Вот так ребята! Этаких я еще не встречала.

Прекрасная Аза

Любовь покрывает множество грехов.
(1 Пет. 4, 8)

В первых веках христианства в Александрии египетской жила одна очень молодая и очень красивая девушка, египтянка, по имени Аза. За ее красоту ее называли «Прекрасною Азой». Она была круглая сирота. Родители ее умерли, едва только она вышла из детства, и оставили ей большое богатство. Аза имела благоустроенный дом и обширный виноградный сад по скату к реке Нилу. Наследства, которое получила Аза, достаточно было бы, чтобы ей прожить целую жизнь в полном довольстве, но молодая египтянка была чрезвычайно добра и участлива ко всякому человеческому горю и ничего не жалела для того, чтобы помочь людям, которые находились в бедствии. Через это с нею произошел следующий роковой случай.

Раз перед вечером, когда схлынул палящий египетский жар, Аза пошла с своими служанками купаться к Нилу. Она выкупалась и, освеженная, покрывшись легким покрывалом, тихо возвра-

щалась к себе назад через свой виноградник. Служанки ее этим временем оставались еще на реке, чтобы убрать купальные вещи.

Вечер после знойного дня был прелестный; работники, окончив свое дело, ушли, и виноградник был пуст. Аза могла быть уверена, что она одна в своем саду, но вдруг, к удивлению своему, она заметила в одной куртине[117] присутствие какого-то незнакомого ей человека. Он как будто скрывался и в то же время торопливо делал что-то у одного плодовитого дерева. Можно было подумать, что он рвал плоды и оглядывался, боясь, как бы его не поймали вертоградари.

Египтянке пришло на мысль подойти ближе к незнакомцу с тем, чтобы помочь ему скорее нарвать больше плодов и потом тихо проводить его через ход, выводивший на берег Нила, к купальне. С этою целью Аза и пошла к незнакомцу.

Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что этот незнакомец не срывал плоды, а делал что-то совсем другое: он закреплял для чего-то шнур к суку старого дерева. Это показалось Азе непонятно, и она притаилась, чтобы видеть, что будет дальше, а незнакомец сделал из шнура

---

[117] Примечания: 117
Отдельная часть сада.

петлю и вложил в нее свою голову… Еще одно мгновение, и он удавился бы в этой петле, из которой слабой девушке не по силам было бы его вынуть, а пока она успела бы позвать на помощь людей — удавленник успел бы умереть… Надо было помешать этому немедленно.

Египтянка закричала: «Остановись!» — и, бросясь к самоубийце, схватилась руками за петлю веревки.

Незнакомец был пожилой человек, эллин, с печальным лицом и в печальной одежде, с неподрубленным краем. Увидав египтянку, он не столько испугался, сколько пришел в досаду и сказал ей:

— Какое несчастие! Злой демон, что ли, выслал тебя сюда, чтобы остановить мою решимость?

— Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь так прекрасна? — отвечала ему египтянка.

— Может быть, жизнь и прекрасна для тебя и для подобных тебе, которые живут в полном довольстве. Раньше и я находил в ней хорошее, но нынче судьба от меня отвернулась, и жизнь моя составляет мне несносное бремя: ты не права, что мешаешь мне умереть. Иди отсюда своею дорогою и оставь мне возможность вылезть по моей веревке вон из этой житейской ямы, где я не

хочу более терзаться между грязью и калеными угольями.

Девушка не соглашалась его оставить и сказала:

— Я не позволю тебе удавиться: я закричу, и сейчас прибегут мои люди. Лучше возьми свой шнурок под одежду и поди за мною в мой дом; расскажи мне там твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это сделаю, а если оно в самом деле так беспомощно, как ты думаешь, тогда… выходи от меня с своим шнуром куда хочешь: я тебе ни в чем не помешаю, и ты еще не опоздаешь тогда повиснуть на дереве.

— Хорошо, — отвечал незнакомец, — и как мне ни тяжело медлить на земле, но ты мне кажешься такою участливою, в глазах твоих столько ума, а в голосе ласки, что я тебе хочу повиноваться. Вот же шнур мой спрятан под моею одеждой, и я готов идти за тобою.

Египтянка привела отчаянного незнакомца в свой благоустроенный дом, приказала служанке подать фрукты и прохладительное питье и, усадив гостя среди мягких подушек на пышном ковре, вышла, чтобы переменить свое купальное платье на другое. Когда же Аза возвратилась, то она села тут же, рядом с гостем, а за ними стали

две черные служанки и легким движением шелковых кистей начали приводить в колебание спускавшееся с потолка огромное напитанное ароматами опахало из больших пестрых перьев.

Египтянка желала как можно скорее узнать горестную историю незнакомца, что он и исполнил. Рассказ его был прост и немногосложен. Покусившийся на самоубийство эллин недавно еще имел большое состояние, но потерпел неудачи в делах и до того задолжал, что не мог рассчитаться с своим заимодавцем. В этом затруднении он прибегнул к состраданию заимодавца, но это было напрасно: богач соглашался оказать ему снисхождение, только не иначе, как на одном ужасном условии.

— В чем же заключается это условие? — спросила египтянка.

— Я не могу сказать тебе этого при твоих слугах.

Аза велела служанкам удалиться.

— У меня есть дочь, девушка твоих лет, по имени Ио. Она так же, как ты, стройна станом и прекрасна лицом, а о сердце ее суди, как можешь, по следующему. Заимодавец мой, большой и безнравственный сластолюбец, сказал мне: «Отдай мне твою Ио на ложе, и тогда я освобожу тебя от

темницы, иначе ты задохнешься в колодке». Я оскорбился и не хотел слышать об этом. Это было мне тем более тяжко, что у моей бедной Ио есть жених. Он беден, но имеет возвышенный ум, и дочь моя горячо его любит с самого детства; кроме того, и жена моя не снесет такого бесчестья, чтобы дочь наша стала наложницею. Но беда настигает беду. Представь себе новое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мне тихо: «Отец, я все знаю… я уже не ребенок… я решилась, отец… Чтобы на твою старую шею не набили колодку… Прости мне, отец… я решилась…»

Ио зарыдала, и я вместе с нею рыдал еще больше и стал ее отговаривать, но она отвечала: «Любовь к тебе и к матери, которая не снесет твоего унижения, во мне теперь говорит сильней любви к моему жениху: он молод, — продолжала она, глотая бежавшие слезы, — он полюбит другую и с ней пусть узнает счастье супружеской жизни, а я… я твоя дочь… я дочь моей матери… вы меня воспитали… вы стары… Не говори мне больше ни слова, отец, потому что я твердо решилась».

Притом она пригрозила, что если я буду ей противоречить, то она не станет ждать завтрашнего дня, когда заимодавец назначил мне срок, а уйдет к нему сию же минуту.

Незнакомец отер набежавшие на лицо его слезы и кончил:

— Что еще скажу тебе дальше? Но имеет решительный нрав и нежно нас с матерью любит… Что она порешила, против того напрасно с ней спорить… Я упросил ее только подождать до завтра и солгал ей, будто имею еще на кого-то надежду… День целый я ходил как безумный, потом возвратился домой, обнял мою жену, обнял нежную Но и оставил их вместе, взяв тихонько шнурок, и побежал искать уединенного места, где мог бы окончить мои страдания. Ты мне помешала, но зато облегчила горе мое своим сердобольным участием. Мне мило видеть лицо твое, прекрасное и доброе, как лицо моей Но. Пусть благословит тебя небо, а теперь прощай и не мешай мне: я пойду и покончу с собою. Когда я не буду в живых, Но не станет бояться колодки, которую могут набить на шею ее отцу, и она выйдет замуж за своего жениха, а не продаст себя ради отца богачу на бесчестное ложе.

Египтянка внимательно выслушала весь рассказ незнакомца, а потом сказала, глядя ему твердо в лицо:

— Я понимаю во всем твою милую дочь, и мне нравится Но — она добрая девушка.

— Тем это тяжелей для меня, — отвечал незнакомец.

— Я понимаю и это; но скажи мне, сколько ты должен заимодавцу?

— О, очень много, — отвечал незнакомец и назвал очень знатную сумму.

Это равнялось всему состоянию египтянки.

— Приди ко мне завтра — я дам тебе эту сумму.

Незнакомец изумился: он и радовался, и не мог верить тому, что слышал, а потом стал ей говорить, что он даже не смеет принять от нее такую огромную помощь. Он напомнил ей, что долг его составляет слишком значительную сумму, и просил ее подумать, не подвергает ли она себя слишком большой жертве, которой он даже не в состоянии и обещать возвратить ей.

— Это не твое дело, — отвечала египтянка.

— Притом же, — сказал он, — припомни и то, что я из другого народа — я эллин и другой с тобой веры.

Аза на мгновенье опустила ресницы своих длинных, как миндалины, глаз и отвечала ему:

— Я не знаю, в чем твоя вера: это касается наших жрецов; но я верю, что грязь так же марает ногу гречанки, как и ногу всякой иной, и одинаково каждую жжет уголь каленый. Не смущай меня,

грек; По покорила себе мое сердце — иди обними твою дочь и жену и приди ко мне завтра.

А когда незнакомец ушел, Аза тотчас же опять взяла свое покрывало и пошла к богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цену все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу.

Через малое же время, когда прошел срок сделанного заклада, ростовщик пришел с закладною и взял за себя все имущество Азы, а она должна была оставить свой дом и виноградник и выйти в одном бедном носильном платье. Теперь у нее не было ни средств, ни приюта.

Скоро увидели ее в этом положении прежние знакомые ее родителей и стали говорить ей:

— Ты безумная девушка, Аза: смотри, до чего тебя довела твоя безрассудная доброта!

Аза отвечала, что ее доброта не была безрассудна, потому что теперь она лишь одна потерпит несчастье, а без этого погибало целое семейство. Она рассказала им все о несчастье эллина.

— Так ты вдвое безумна, если сделала это все для людей чужой веры!

— Не порода и вера, а *люди* страдали, — ответила Аза.

Услыхав такой ответ, знакомые почувствовали

против Азы еще большее раздражение.

— Ты хочешь блистать своей добротою к чужеверным пришельцам, ну так живи же как знаешь, — и все предоставили ее судьбе, а судьба приготовила ей жестокое испытание.

Аза не могла избежать тяжких бедствий по причинам, которые крылись в ее воспитании: она совсем не была приготовлена к тому, чтобы добывать себе средства своими трудами. Она имела молодость, красоту и светлый, даже проницающий ум и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное, девственное тело ее было слабо для того, чтобы исполнять грубые работы, — береговые поденщицы ее отгоняли; она не могла носить ни корзин с плодами, ни кирпичи на постройки, и когда она хотела мыть белье на реке, то зола из сгоревшего нильского тростника разъедала ее нежные руки, а текучая вода производила на нее головокружение, так что она упала в воду, и ее, полуживую, без чувств, вытащили из Нила.

Аза очутилась в отчаянном положении. Она была в мокром платье и голодная. С ней поделилась сухою ячменной лепешкой береговая блудница — одна из тех, которые во множестве бродили по берегам Нила, поджидая проходивших здесь

вечером чужеземных матросов (на-вклиров); одна эта женщина поделилась с Азой на ночь своею циновкой, она же прикрыла ее и от стужи ночной своею сухою одеждой, а потом… Аза стала такою же, как эта, — прибрежной блудницей.

Все, знавшие Азу, от нее отвратились — она погибала. Иногда она приходила в свой бывший виноградник, под то самое дерево, на ветвях которого хотел удавиться избавленный ею незнакомец, и вспоминала его рассказ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, как она поступила: пусть страдает она, но зато Ио и ее старики спасены!.. Это радовало Азу и давало ей силу терпеть ее унижение; но в другие минуты она была близка к отчаянию и готова была броситься в Нил. Тогда она садилась над кручей на красном, как огустелый ком крови, песчаном холме и размышляла о том: неизбежно ли так всегда должно быть, чтобы добрые были между грязью и каленьми угольями?

Или будь безучастен к горю людскому, или утони в горе сам? Третий выбор — плетись между грязью и углем. Для чего же тогда нашим сердцам дано знать сострадание? Или небо жестоко? Зачем оттуда никто не сойдет и не укажет, как людям сделать жизнь свою лучше, чтоб отверженных

не было и чтоб не было гордых, пресыщенных и нищих? О, если б снизошел оттуда такой великий учитель! Если был бы такой человек, как бы она, бедная Аза, хотела рыдать у его ног и во всю жизнь исполнять все, что он ей прикажет.

В таком настроении Аза однажды тихо брела вдоль берега Нила по уединенному месту и не встречала сегодня даже буйных мореходцев. Она уже два дня не ела и чувствовала мучительный голод. В глазах у Азы мутилось. Она подошла к реке и нагнулась, чтобы напиться, но сейчас же отскочила в испуге: так самой ей показалось страшно ее изнуренное лицо с померкнувшим взглядом. А так недавно еще никто не решался ее иначе назвать, как «прекрасная Аза».

— О, я понимаю теперь, что это значит. Я уже больше не «прекрасная Аза» — я страшна даже самым потерянным людям! Голод приблизился, мучительный голод… но я не ропщу… Я посылаю последний привет мой небу, которое внушило мне решенье любить других больше себя, и с тем умираю!

Она бросилась к реке, чтобы утонуть, и непременно бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удержал за плечо, и она, оглянувшись, увидала перед собою пожилого человека, скромного вида

и в чужестранной одежде.

Аза приняла его за одного из чужестранцев, приходящих на это место с целями, о которых ей было известно, и сказала ему:

— Оставь меня в покое: я не хочу идти сегодня с тобою.

Но чужеземец не отошел, а взглянул на нее ласково и сказал ей:

— Напрасно думаешь, сестра моя, что я был намерен сказать тебе что-либо дурное. Мне показалось, что ты в каком-то боренье с собою.

— Да; я вынимаю ноги из грязи и хочу ступить на горячие уголья. Это требует силы.

— Ты очень слаба.

— Я два дня не ела.

— Так ешь же скорее: со мною есть хлеб и печеная рыба.

Чужеземец поспешно перебросил из-за спины холщовую сумку и подал Азе рыбу, и хлеб, и флягу воды, отращенной с вином.

Аза стала есть, запивая глотками воды, отращенной с вином, а когда первый мучительный голод ее был утолен, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала:

— Нехорошо, что я ем твою пищу, ты путешествуешь, и тебе нужен запас для себя.

— Не беспокойся, сестра, я могу потерпеть, и поверь, что терпеть гораздо отрадней, чем видеть терпящих.

Аза вздрогнула.

— Чужестранец! — сказала она, — ты меня накормил и хорошо говоришь… но зачем ты два раза уже назвал меня своею *сестрою*? Разве не понимаешь ты, кто я такая?

— Ты такое ж создание Бога, как я, и сестра мне. Какое мне дело, чем житейское горе и жестокость людей тебя теперь сделали.

Аза вперила в него свои глаза, опять засверкавшие бывалым огнем, и вскричала:

— Ты жжешь меня своими словами: ты, быть может, посланник богов?

— Я такой же простой человек, как и ты, но все мы посланы сюда Богом, чтобы оказать друг другу любовь и помогать друг другу в горе.

— Но если ты простой человек, то кто научил тебя так говорить, что сердце мое горит и трепещет?

— Сядем здесь вместе, и я расскажу тебе, кто научил меня так говорить.

Несчастная Аза еще больше смутилась.

— Как? — сказала она, — ты хочешь сидеть со мной рядом! Тебя могут увидеть с блудницей

почтенные люди, и что ты им скажешь тогда в оправдание?

— Я скажу им, что *тот*, который всех их почтенней, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

— Кто ж это был он?.. Я о таком не слыхала… но ты о нем говоришь, и слова твои льют новую жизнь в мое сердце… Может быть, он-то и есть твой учитель?!

— Ты не ошиблась: это *он* мой учитель.

Аза заплакала.

— Как ты счастлив, как ты счастлив, чужестранец! Где же он, где этот небесный посланник?!

— Он с нами.

— С нами!., со мною!.. Не смейся над бедною Азой!.. Аза несчастна… Скажи мне, где он, — я побегу… Я стану его умолять… и, быть может, он даст мне новую жизнь.

Чужеземец сам взволновался.

— Успокойся, — сказал он, — ты ее будешь иметь — новую жизнь, — развяжись только с старой, — развяжись скорей с тем, что гнетет тебя в прошлом.

— Слушай же, кто я такая! — воскликнула с оживлением Аза и рассказала все, что с ней было, и когда повесть ее была кончена, она добавила в

свое оправдание: — Говорят, будто мне надлежало иначе размыслить, но я не могла: мое сердце тогда одолело рассудок.

— Кто кладет руку на плуг и сам озирается вспять, тот не пахарь. Не жалей о том, как ты поступила.

Аза потупила взор и сказала:

— Я не о том сожалею… но мне тягостно думать о том, что было после…

— После того, когда ты совершила святейшее дело любви, — прервал ее чужестранец, — после того, когда ты позабыла себя для спасенья других… оставь сокрушения эти!.. Когда каленое уголье жжет ноги, ноги ползут в холодную грязь, но любовь покрывает много грехов и багровые пятна белит, как волну на ягненке… Подними лицо твое вверх… Прими от меня привет христианский и знай, что он, к кому душа твоя рвется, перстом на сыпучем песке твой грех написал и оставил смести его ветру.

Аза подняла лицо свое и плакала, а христианин глядел на нее, колени его незаметно согнулись, он поклонился ей в ноги и тихо промолвил:

— Живая! живая!

Утешенье совершилось — пришла новая жизнь в смущенную душу Азы. Христианин раскрыл

ей в коротких словах ученье Христово и снова закончил похвалой ее сердцу, но Аза непременно хотела знать, есть ли люди, живущие по этому учению, во взаимной любви, при которой нет ни осуждения, ни зла, ни нищеты.

— Они были, — отвечал христианин.

— Отчего же не все таковы и теперь?

— Это трудно, сестра.

— В чем же тут трудность?

— Слушай, как они жили.

Христианин прочел ей на память места из Деяний:

«У *множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее, и каждый день единодушно пребывали в храме и вместе… принимали пищу в веселии и простоте сердца*» (Деян. 4,32; 2,46).

— Как это прекрасно! — воскликнула Аза.

— Но как это трудно.

«Так Иоссия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения» — левит, родом из Кипра, у которого было свое поместье, — продал его и принес деньги к ногам апостолов».

После многих сумрачных дней лицо Азы осветилось отрадной улыбкой: Варнава отдал поместье,

и назвали его: «сын утешения»...

Аза выше подняла лицо и сказала:

— Это нетрудно.

— Так иди же отсюда, куда я тебя научу, и расскажи тем людям, к которым придешь, все, что ты мне рассказала.

Чужеземец назвал ей место, где сходятся христиане Александрии, и кто их епископ.

Аза, ни минуты не медля, встала и пошла по его указанию.

Когда Аза пришла, ее сейчас же узнал один клирик и сказал ей:

— Мне знакомо лицо твое: ты очень похожа на блудницу, которая часто ходила на берегу Нила?

— Я сама и есть та блудница, — отвечала Аза, — но я не хочу возвращаться туда, где ты мог меня видеть, — я хочу быть христианкой. Я все готова исполнить, что нужно.

Ей сказали, как надо поститься, она пошла и долго постилась, питаясь тем, что ей давали из сострадания. Наконец она изнемогла и пришла снова с просьбой крестить ее и принять со всеми в общение. Клирики сказали ей: ты должна принести при всех покаяние.

— Да, я затем и пришла, чтобы сказать всем, как дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что

скоро умру. Прошу вас: скажите епископу, что я прошу скорее принять меня в общение.

Клирики сказали епископу, а тот велел назначить Азе катехизатора, который должен был протолковать ей Символ и все догматы веры и потом удостоверить ее познания, и тогда Азу будут крестить.

Но Аза этого не дождалась; нетерпеливое желание ее получить христианское имя и жить с христианами вместе снедало ее; она жаловалась и плакала, «а все пренебрегли ею».

Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка лежала больная «в малой хлевине», туда к ней среди ночи вошли «два светлые мужа» и одели ее в белые «крестильные ризы». В них и осталось на земле мертвое тело Азы, а живой дух ее отлетел в обитель живых.

Кончина Азы, одетой в крестильные ризы, сделала затруднение клирикам: они недоумевали, по какому обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно пришел тот чужестранец, который говорил с усопшею Азою у берега Нила. Он был философ и пресвитер сирийский, друг Исаака-сирийца — он вернулся сюда с дороги по внушению духа. Он наклонился над Азой и стал читать христианские молитвы, а пока он молил-

ся, тело Азы зарыли в землю, но сириец еще долго стоял и смотрел вдаль — он что-то думал, он был в восторге и двигал устами.

Его спросили:

— Верно, ты видишь что-нибудь чудное?

— Да, — отвечал он, — я вижу, как будто бы небо отверзто… и туда… кто-то входит…

— Неужто блудница?

— О нет!.. блудницу вы закопали в грязи — я вижу… как легкая струйка с каленого угля сливается с светом — мне кажется, это восходит *дочь утешенья.*

Сказание о Федоре-христианине и о друге его, Абраме-жидовине
Глава первая

В греческом городе Византии, прежде чем этот город стал называться Константинополем, а у русских Царь-градом, жили два соседа. Один был еврей, а другой — крещеный из потаенных[118]; еврей содержал ветхозаветную веру пророка Моисея[119], а крещеный разумно соблюдал свою христианскую веру. Оба соседа жили исправно, а промыслами занимались различными: еврей делал золотые и серебряные вещи, а христианин имел корабли и посылал их с товарами за море. По соседству они друг другу ничем не досаждали и имели обыкновение никогда друг с другом о вере не спорить. Кто из них в какой вере родился, тот в такой и пребывал, и свою веру перед другим не превозносил, а чужую не унижал и не порочил. Оба рассуждали так: «Кому что в рассуждении веры от Бога открыто — такова, значит, воля

---

[118] Примечания: 118
Тайно исповедовавших христианство.

[119] Примечания: 119
Иудаизм.

Божия». И так они в добром согласии прожили много лет счастливо.

У обоих этих соседей было по сыну, которые родились в один год. Христианин своего сына потаенно окрестил и назвал Федором, а еврей своего, по еврейскому закону, в восьмой день обрезал и назвал его Абрамом.

Тогда в Царьграде главною верой была еще вера языческая. Христиане и евреи, которые жили между язычниками, старались себя явно не оказывать, чтобы не дразнить язычников и не накликать на себя неудовольствие. А потому как крещение Федора, так и обрезание Абрама отцы их сделали в домах своих без угощения, потихоньку, при одних своих близких родных.

Оба соседа, получив от Бога потомство, были очень рады. Христианин говорил:

— Добрый сосед! Дай Бог, чтобы сыновья наши жили между собою так же ладно, как мы между собою прожили.

И еврей сказал то же самое:

— Дай Бог, сосед, но я думаю, что дети наши должны жить еще согласнее, потому что они от нас, отцов своих, имеют добрый пример, что в согласии заключается удобье и счастье, а в несогласии– всякое беспокойство и разорение.

Глава вторая

Когда мальчики, Федор и Абрам, подросли до той поры, что их стали манить совместные игры и забавы, то обе матери — и христианка, и жидовка — начали выносить на огород и сажать их вместе, чтобы они забавлялись, а большим не мешали. А огороды у еврея и у христианина были рядом, бок о бок, и, по тогдашней простоте, ничем не были разгорожены. Вынесет еврейка, посадит своего Абрамку, — и христианка принесет своего Федю и тоже посадит его рядом на траве под большой розовый куст; надают им каких попало детских забавок, чтоб играли, а сами пойдут каждая к своим делам по домашеству. Но всегда, бывало, и одна, и другая строго-настрого детям наказывали, чтобы играли мирно и весело, как хотят, а ссориться чтобы не смели. Ежели же в чем-нибудь не сумеют поладить, то чтобы не жаловались, а сами между собою мирились.

В таком простом, но добром научении мальчики выросли и сжились друг с другом так, что любили один другого совершенно как два согласные родные брата. Даже и более, потому что между родными братьями по крови бывают

иногда несогласие и зависть, а у Федора с Абрамом ничего подобного не было. Что одному было любо, то и другому нравилось. А что один из них был окрещен, а другой обрезан, этого они совсем не знали. За занятиями и недосугами родители их оставляли им это без растолкования, да дети даже еще и не уразумели бы в своем возрасте, в чем тут разница. В невинном детском мало-мыслии, они вместе играли и, наигравшись вместе, обнявшись, засыпали на травке, спрятав головы под один и тот же розовый куст, в котором копошились золотые пчелки, а детей не трогали, все равно как христианина, так и жид овина.

Но вот Федор и Абрам подросли и настало время посылать их в школу. А это случилось, когда в Константинополе язычество приканчивалось и была уже объявлена главною вера христианская. Идольские капища тогда разоряли или переделывали на церкви и на городских стенах, над воротами, стали писать образа, чтобы всякий, проходя, кланялся и молился.

В эту пору многое стали заводить на иной лад, и некоторые учителя начали изъяснять высшему правительству, что христианину и еврею вместе ходить в одну школу не годится, а непременно надо разделять детей порознь, чтоб они с ма-

лолетства не смешивались, потому что, будто, вместе им нельзя дать согласного научения, так как у евреев главный закон веры — от Моисея, человека Божия, а у других — от Христа. Мы их Ветхий закон признаем, но только к нему от своего Нового Завета добавку делаем, а евреи думают, что им добавки не надо, а довольно и одно то соблюсти, что в старом законе от Моисея показано.

Глава третья

Матери Федора и Абрама не твердо разумели, что их религии подробно касается, а знали поженски одно наружное. Знали они, например, что жидовкам в свое время надо в ванну лазить и окунаться по обязанности, а крещеным женщинам заведено мыться, только когда понадобится; или что христианам можно есть свинину, а жидам свиное мясо запрещено и не позволено. Прочего же, что есть главное в том и в другом законе, они до тонкости не понимали и молились по-своему, каждая про себя, как была научена в детстве. Больше же всего обе они жили с тою заботой, чтобы в соседстве по домашеству им одной от другой было как можно удобнее и чтобы не оказать никакой друг другу помехи.

Старый, потаенный христианин и еврей, как настало время их мальчикам учиться, не захотели их разлучать, и чтобы в этом не было помехи, свели Федора и Абрама к одному мастеру, который и научил их греческой грамоте. Оба мальчика хорошо занялись и так полюбили грамоту, что рвались к ней в несытость. Мало им было того, чему в школе у мастера научатся, а они еще, как придут домой, опять и дома тоже продолжали заниматься. Как только поедят, сейчас опять сойдутся на огороде, сядут под деревцем, обоймутся и опять вместе читают — про разные страны и про разные веры. Одну за другою, много книг они прочитали, и все с хорошею памятью, так что мастер обоих их хвалил и всем другим в пример ставил. Одобрял он их и за науку и хвалил за добронравие, так как они вышли дети тихие, согласные и ласковые.

Так Федор и Абрам росли своим родным на утешение, а посторонним в хороший пример.

Глава четвертая

Отцы и матери Федора и Абрама, каждый на своем языке и по своей вере, благодарили Бога, что мальчики так умны и послушны, и радова-

лись их согласию. В обеих семьях соседского сына привечали наравне с своим: Федор ли прибежит к Абрамовым родителям, старый еврей и еврейка были с ним ласковы, все равно как с своим, и так же точно, если Абрам приходил к товарищу, то и Федоровы отец с матерью обращались с Абрамом всегда ласково, только свининой его не угощали.

А мастер, к которому Федор и Абрам ходили учиться книжной мудрости, был грек еще старого эллинского научения и сам вышел из старинных философских школ. Его звали Панфил. Он был человек справедливый и умный и в детях старался насадить и укрепить ту же самую любовь к справедливости. Он не только учил их по книгам, но и на словах давал всем правильное наставление к жизни, чтобы никто один другого не уничижал и никто друг над другом ничем не превозносился, потому что если есть в ком что-нибудь более превосходное, чем в другом, то это в человеке не есть его собственное и им при рождении не выслужено, а от Бога даром ему пожаловано. Ни красотой тела, ни природой родителей своих, ни их богатством и знатностию, ничем у Панфила ученики друг перед другом не хвастались. И через это, хотя в школе у Панфила было много детей из всего «разсеяния», то есть разных вер, но все они

были приучены жить как дети одного Отца, Бога, создавшего небо и землю, и всяческое дыхание — эллина же и иудея.

Поучившись книжному мастерству, дети вместе шли по домам, весело между собою говоря и играя, особенно Федор с Абрамом, которые сжились, как братья. Но вдруг вышло новое повеление, чтобы школам не быть для всех вместе, по-старому, а чтобы разделиться по верам. Так и стали заводить. И тогда над всеми школами уставили особливый досмотр следить, чтобы дети одни с другими не мешались, и поставлены были особые смотрители, которых называли «младопитателями».

Начали младопитатели все смотреть, во все вникать и обо всем распытывать, — не только чему мастера в своих школах учат, но и что родители своим детям дома внушают. Захотели враз все переделать, за единый вздох.

Один такой младопитатель утвердился над тою школой, где учились Федор с Абрамом, и начал он у Панфила спрашивать:

— Объясни мне, Панфил, как ты веруешь и какую веру превозносишь, а какую опровергаешь?

Панфил отвечал:

— Господин, произволением Творца людям не

одинаково явлено, во что верить, и у нас между всех есть много разных вер, и не в этом зло, а зло в том, что каждый из людей почитает одну свою веру за самую лучшую и за самую истинную, а другие без хорошего рассуждения порочит. А как я сам всех вер не знаю, то об истине их во всей полноте судить не могу, и я потому ни одной веры против другой не унижаю и ни одну не превозношу, так как это до меня совсем не касающее.

Младопитатель удивился.

— Зачем же, — говорит, — ты этак лукаво умствуешь? Это так нельзя.

Панфил отвечает:

— Так я, по крайней мере, ни в какую ошибку никого не ввожу.

— Что за важная вещь ошибиться? Все ошибаются — это можно покаянием исправить; но мы знаем истину и должны ее всем оказать. Надо, чтобы между людьми было по их верам разделение.

— Для этого, — отвечает Панфил, — у всякого в своей вере есть наставники, которые всех разделить постараются, а в училище я только о том забочусь, чтоб у детей в постижении разума никакого разделения не было, а больше крепли любовь и согласие.

Младопитатель не похвалил.

— Это, — говорит, — у тебя нехорошо от ученых рассуждений развилось. Надо так, чтобы всякий отрок от младых ногтей особо себя понимал и жил всяк по своей вере.

Мастер не согласился и сказал:

— Я этого внушать не могу.

Стали друг другу отвечать и спорить, но согласиться не могли: и у одного и у другого на все нашлись доказательства.

Младопитатель только тем взял верх, что сказал:

— Ты меня должен слушаться: я — начальник, и твои рассуждения мне знать не нужно.

Тогда Панфил ответил:

— Хорошо, если все по твоей воле должно делаться, то тебе действительно от рассудка приводить нечего; но ты помилосердствуй — не понуждай меня разлучать детей. Мои ученики еще молоды, и у них слабый, лысый размысл ребячий. Когда они придут в возраст и разумом окудрявятся, тогда они сами, по своим смыслам в вере, разберутся, а пусть добрый навык согласия детского при них останется.

Младопитатель опалился гневом:

— Что такое есть земное согласие?! Надо дости-

гать истины.

А Панфил опять просит.

— Да ты взгляни, — говорит, — на ребяток-то: ведь они теперь все еще молоды летами и умом все лысы, не крепки, — ничего того, что больших понятий требует, они понимать еще не могут. Помилосердуй, пожалуйста, оставь разделение их надольше, а пока пусть они все вместе учатся, пусть от младых ногтей обыкнут соблюдать мир душевный и друг к другу общую любовь. Тогда и разница в особливых понятиях не разъединит сердец их.

Младопитатель головой замотал.

— Нам твое рассуждение, — говорит, — теперь не под стать. Мы теперь заводим все по-своему, и скоро во всем свете все будет только по-нашему. Что мы хотим, то всякий должен от самых молодых ногтей постичь и это передо всеми на вид оказывать. А ежели кто рассуждает так, как ты судишь, то тот теперь к делу ненадежен, и я тебе так учить не позволю.

Панфил подул в свою бороду, вздохнул и молвил:

— Значит, быть по-твоему. На тебе власть, и я тебе покоряюсь. Не позволяешь мне так вести, как я умею, то и не надо: я свою школу прикончу

и учеников отпущу.

— Да, отпусти, — отвечал младопитатель, — а чтоб и другим не повадно было, я твои двери на семь печатей припечатаю.

И припечатал. Школа прикрылась. А Панфил созвал детских отцов и говорит:

— Вот вышел такой приказ, которого я исполнить не могу, и младопитатель школу мою припечатал. Ведите теперь каждый свое дитя к другим мастерам по разделению веры вашей. У меня они худу не научились, а там дай им Бог научиться еще лучшему.

Пожалели отцы, что надо брать детей от кроткого Панфила, однако подчинились, чему надо, и развели детей в другие школы, каждый по разделению вер своих.

Глава пятая

Мальчики Федор и Абрам тут только впервые разлучились. Отвели Федора в особливую школу для христиан, где был учитель, который почитал себя всех праведнее, а Абрама отец свел в хедер[120] к жиду, который считал себя всех умнее

---

[120] Примечания: 120

Еврейская начальная религиозная школа.

и из всех созданных чище. Он весь жидовский талмуд выучил и наизусть знал все правила, по которым все люди другой веры почитаются «погаными».

Оба новые учителя на самом первом шагу сказали своим ученикам, чтобы никто с учениками из чужих школ и в шутку не баловал, а если кто не послушается и станет играть, тому в школе лозой пригрозили.

А чтобы дать детям растолкование, один сказал:

— Бог только с одними с нами в самом лучшем роде обходится и одно наше все чистое, а всех других Бог гораздо меньше нас любит, и все другие — поганые, а все, что при них есть, это тоже все поганое. Что у них есть, все надо отнять да снести освятить и потом себе взять. Тогда оно очистится, а самому с погаными после того опять не знаться. Кто же с ними по простоте поведется, тот сам опоганится, и Бог за него не станет заступаться, а я без всякого милосердия лозой застегаю, а потом отдам его другому начальнику, а другой отдаст его еще третьему, и дойдет до того, что ему на свете живым не остаться. А потом его после смерти еще на том свете опять будут медным веником в огненной бане парить и посадят на

раскаленный железный стул и все будут мучить бесконечные веки.

Другой учитель не уступил этому и тоже одно свое все чистым называл, а чужое все испоганил, и также отданных ему в науку ребят обещался до смерти избить, а после смерти лишить их всех радостей.

Как в первый раз ученики вышли из школ, где услыхали такие наставления, так и почувствовали, что на них взаправду рознь есть. Вместо того чтобы по-ребячьи друг с другом водиться на воле, они сейчас же вспомнили учительское наставление и начали друг против друга становиться и покрикивать:

— Не подходи: ты — поганый.

А другие отвечали: ты сам — поганый.

Федор слышал, как это говорили про Абрама, а Абрам слышал, как поганили Федора.

Глава шестая

Вернувшись домой, Федор и Абрам в первый раз не знали, можно ли им по-прежнему вместе сойтись.

Похватавши хлебца у матерей, побежали они по привычке на огород, на то самое место, где

всегда игрывали; но друг до друга не добежали, а стали одаль, как будто между ними какая-нибудь разметка была положена.

Стоят, жуют и один на другого исподлобья посматривают, а ближе не подходят.

Наконец, один заговорил.

— Нам, — говорит, — теперь заказано, чтобы с вами не водиться.

А другой отвечает:

— И нам то же самое.

Помолчали.

— Про вас наш учитель говорил, что вы — поганые.

— И наш про вас говорил, что вы — поганые.

— Нет, мы не поганые — нам наш Бог особливый закон дал, нам свинью есть нельзя, а вы едите.

— А вы ее отчего не едите?

— Я не знаю.

Опять помолчали.

— А что она, свинья, вкусная или нет?

— Если мать ее с черносливом и маслиной испечет, так она очень вкусная.

Абрам задумался. Ему давно приводилось нюхать носом у Федора, как сладко пахнет свинина с черносливом, и у него теперь под языком защекотало.

Абрам плюнул и сказал:

— Поганое!

Федор говорит:

— Моя мать не печет поганого… А у нас школа лучше вашей.

Отвечает Абрам:

— А наша еще лучше вашей. У нас меламед[121] в сивых кудрях и все знает.

— И наш все знает!

— Наш про вас знает, что вы — поганые, а мы — чистые.

— Да это и наш говорит, что вы — поганые.

— Ну, так погоди, я об этом отцу скажу.

Оба рассказали отцам, а потом сошлись и опять перекоряться начали:

— Отец говорит, что ваш учитель пустяки врет.

— А мой отец говорит, что ваш учитель пустяки врет.

Пошли с этих пор всякий день считаться и скоро после того Федор и Абрам, от рождения своего дружные, начали друг друга поталкивать да с кулаками один на другого наскакивать.

— Ах ты жид! — говорит один.

---

[121] Примечания: 121
Учитель еврейской школы.

А другой отвечает:

— Ах ты, гой изуверный!

Пошло дальше в том же роде и у других. Где только встретятся дети разноверных отцов, так уж им и неохота друг с другом в лад между собою забавляться, а охотнее стало мануться, чтобы друг друга осмеять да выругать, и притом непременно как-нибудь самым обидным манером, чтобы чужой веры или отца с матерью коснуться.

Все еще понимали в разности вер очень мало, и то одно только самое поверхностное, а спорили очень много и часто заканчивали свои споры драками.

Глава седьмая

Из-за детей вскоре и отцы начали ссориться, и сами тоже стали учить детей, чтобы не сходились.

— Через вас, дескать, теперь только стала распря.

Федорова мать и Абрамова мать пошли раз на огороды, чтобы поискать сыновей, и видят, что их сыновья стоят друг против друга на меже и толкаются, а у самих у обоих глаза горят и оба друг на друга кулачонки сучат.

Один покрикивает: «Подойди-ка, подойди!» — и другой– тоже.

Матери их развели. Всякая взяла себе под рукав своего и говорят:

— Удивительно, отчего прежде они никогда не ссорились. Это, верно, твой моего задирать начал.

А другая отвечает:

— С какой стати берешь на моего говорить? Мой всегда смирный, а это твой задирает.

Начали спорить: «твой — этакой», а «твой — этакой», и разругались.

— Чтоб нога твоего, — говорит, — на наш огород не вступала.

И другая сказала то же.

И взяла одна камней набрала и стежку проложила, чтобы за этот рядок Федор с Абрамом и переступать не могли. А другая говорит:

— Я сама еще рядок камешков подброшу.

Стали камни швырять, да, в сердцах, одна камнем в соседку попала. Та завизжала.

Кинулись друг на дружку и начали одна на другой платье рвать да в глаза плеваться. Дети за ними. Сделалась драка, и поднялся такой большой шум, что услыхали другие соседи и тоже выскочили на огород смотреть, как две бабы

дерутся, а ребятишки им помогают. Услыхали, наконец, и отцы Федора и Абрама, что их жены и сыновья дерутся, и прибежали и стали их разнимать, да вместо того сами подрались. А соседи, которые видели драку, глядят через заборы и руками пока не вмешиваются, но стараются помогать молитвами.

А потом те и другие не вытерпели, перелезли через загородки и стали каждый своими кулаками подсоблять, и вышло общее побоище.

Пришли военные и их разогнали, и тех, кто начал драку, за клин посадили и ноги им в колодки забили, а правителю доложили, что все эти люди за веру ссорятся.

Правитель велел христианина выпустить, а жида еще побить и с него штраф взять, чтобы другим не повадно было с крещеными ссориться.

Прежних соседских ладов между Федоровым отцом и Абрамовым с сей поры как и не было. Вместо приязни настало такое неудовольствие, что из них ни один друг на друга и смотреть не мог без гнева. А чтобы вперед еще драки не было, они разгородились высоким каменным забором так, чтобы никто на соседское место и заглядывать не мог. Так прежние добрые соседи состарились и в распре друг с другом померли.

Глава восьмая

А время шло вперед, как ему Богом указано, и Федор, и Абрам выросли, отучились и стали хозяйствовать. Оба они продолжали дела, которыми их отцы занимались.

Федор торговал с заморскими городами, а Абрам золотые и серебряные вещи делал. Оба жили в достатках, но друг с другом по-прежнему, как в детстве было дружно, уже не сходились, пока пришел один особый случай.

Гулял раз Федор в праздничный день в загородном месте, за рощами над заливом, и видит, что несколько человек из тех, с которыми он вместе в одной школе учился, напали на Абрама, отняли у него золотые кольца и самого его бьют да приговаривают:

— Вот как тебе, жид, чтобы ты наш праздник почитал и не смел бы работать и ходить с непочтением.

Федору вспомнилось детство и жалко стало Абрама: за что его обижают? Федор и вмешался.

— Для чего, — говорит, — вы его обижаете? Какое зло он вам сделал?

А те отвечают:

— Он нашей вере непочтение сделал.

— Какое же непочтение?

— Он в наш праздник работу разносит и, как шел мимо ворот, где лик написан, головы не открыл.

А Федор, так как знал Евангелие и закон еврейской набожности, то и говорит:

— Вы не в праве поступаете. Работать никогда не грех. Сказано: если у тебя овца упадет в яму, разве ее, хоть и в праздник, не вытащишь? И за непоклон головы вы с него напрасно взыскиваете: это не обида, потому что по-нашему перед святыней надо голову открыть, а по-ихнему обычаю это как раз наоборот уставлено: у них надо перед святыней непременно с покрытой головой быть, а открыть голову — значит непочтение.

Это действительно так было, как объяснял Федор, но ему не поверили, и все заговорили:

— Ты врешь — как можно перед святыней покрывши голову быть, это ты выдумываешь!

А Федор отвечает:

— Нет, я верно знаю и говорю правду.

— А почему тебе такая правда известна, а нам неизвестна? Мы все в одном месте учились. А Федор отвечает:

— Я ранее школы дома об их вере в книжках

читал.

— Ага… Ну, так ты, — говорят, — верно и сам потаенный жид.

И набежало еще со всех сторон много людей, справлявших праздник, и стали спрашивать:

— Что здесь за шум и за что ссорятся?

А прежние стали скоро, частоговоркой, рассказывать, что вот поймали жида с непочтением, а Федор хотя и крещеный, но за жидовскую веру заступается и свою ниже ставит. А те люди, не разобравши дальше, отвечают Федору:

— Ты виноват!

— Чем?.. Я никому зла не сделал.

— Как, — говорят, — зла не сделал! А разве ты за жида не заступился?

Федор не солгал и хотел рассказать, из-за чего вышло то дело, в котором он заступился за Абрама, но его перебили и все закричали:

— Это все равно: если ты жидовский обычай оправдываешь и с своими равняешь, то это все равно что ты жидовскую веру хвалишь. Примите же и честь одинаковую.

И стали все бить их обоих вместе — и Абрама, и Федора.

Избили их и оставили обоих в роще, в темном месте.

Глава девятая

Федор с Абрамом долго пролежали тут без памяти, а ночью, при прохладе, пришли понемножку в себя и стали, друг на друга опираючись, ползти домой. А как они добрались перед светом до дому, то Абрам сказал Федору:

— Друг Федор! Ты оказал мне правду и милосердие. Я твой должник буду на всю мою жизнь, а еще мне всего дороже то, что ты человек справедливый и Бога больше, чем людей, боишься.

Федор ответил:

— Друг Абрам, это и не должно быть иначе — так нам Иисус Христос велел, а я хочу быть Его ученик.

Абрам говорит:

— Да, но не все ученики твоего Учителя понимают Его учение так, как ты.

— Что же делать, — отвечал Федор. — Ведь и у евреев то же самое: внушения человеческие для многих закрывают заповеди Божеские.

— Правда, — молвил Абрам и, вздохнув, добавил:

— Поймут ли когда-нибудь все люди истину, что Творец не желает в них разделения?

— Поймут все, только не в одно время.

— Приблизь, Господь, это время.

Федор улыбнулся.

— Вот, — говорит Абрам, мы с тобой в детях друг друга любили, когда вместе играли и вместе под одним кустом спали, а потом люди нас заставили врознь быть. А сейчас ты, я думаю, не заметил, что сталось: мы ведь вместе одною молитвой к Богу помолились!..

Абрам говорит:

— Пусть живет в вас дух Учителя вашего, а не иных, кои имя Его знают, да духа Его не имеют.

После этого они стали опять приятелями, и, по старой, детской привычке, находили большое удовольствие, чтобы после трудов друг с другом постоять и поговорить.

В дома они один к другому не входили, потому что боялись, чтобы через это не увеличить молву, которая про них была пущена. Про Федора свои говорили, будто он потому за жида заступался, что сам втайне предается жидовству и даже на молитве по-жидовски скачет; а про Абрама жиды сочиняли, что он свиное ухо съел, и Моисеев закон оставляет, и тайно к христианам пристал, чтобы войти в милость у властителей. И обоим им и от семейных, и от своих общественных лю-

дей выпадали досадные попреки.

А на самом деле ничего этого не было. Федор и Абрам — оба оставались по вере, как были: кто в которой родился, тот в той и пребывал. И как они в детстве своем никогда не спорили, чья вера лучше или богоугоднее, так же и теперь никаких споров о вере не заводили. Напротив, они как бы крепче уверились, что и в одной, и в другой вере во всех отношениях можно себя руководствовать, если только понимать веру правильно и не иметь лукавых замыслов и вредных для мира привычек.

А когда они в этом укрепились, то если у них после того заходил разговор, то он только в тихую и приятную беседу обращался.

Федор сказал раз Абраму:

— Мне жалостно видеть, сколько через споры о вере сделалось распрей в людях.

А Абрам ему ответил:

— Этому так и следует быть. Если очи наши не на одинаковую даль и не на равную высь видеть могут, то кольми паче понимание не одинаково все постигать может, а должно разнствовать. Если бы это не было угодно Богу, то все бы люди одинаково все видели и одинаково понимали, но Бог не так создал, а создал различие в понимании.

Оттого и разные веры.

Федор согласился.

— Это так, — говорит, — но только распри, которые через это настают, душе моей тягостны.

— Распри, — отвечал Абрам, — тоже от непонимания, что все веры к одному Богу ведут. Кто умный богочтитель, тот во всякой вере пожелает почтить ее истину.

Опять согласился Федор.

— Да, — говорит, — я давно думаю, что вот и твои единоверцы напрасно негодуют на Христа. Они сами не понимают, что Он одно добро желал сделать всем людям, и за то и убит от злобы непонимавших.

Абрам согласился.

— Слов нет, что твоя правда, — сказал Абрам. — Муж Галилейский, о Котором ты говоришь, честен, свят и премудр, а не понимают Его не только худые из Моисеевых учеников, которые мнят тем ненавидением службу приносить Богу, но не понимают многие и твои единоверцы, и это тем жалче, что сии даже Богом его почитают, а Его доброго святого учения и по человечеству не исполняют. Жалей, друг мой Федор, об этом, ибо через это вы другим не можете открыть Иисуса во всей силе Его побеждающего Завета и иных о

себе смущаете и заставляете сомневаться в вере вашей.

Федор вздохнул и сказал:

— Абрам, ты меня борешь!

А Абрам отвечал:

— И ты меня борешь! Не спорить надо о Боге, а стараться жить в мире.

Абрам приложил большие персты своих рук к главам и голосно, по-жидовски пропел:

— «Умейн!», — т. е. «аминь», или, по-нашему, «истинно».

Федор обнял его изо всей силы и, прижав к сердцу, прошептал:

— Он теперь среди нас.

Абрам говорит:

— Ну так что ж? Побудь с нами, муж Галилейский!

Федор растрогался и заплакал:

— Побудь! — молит. — Останься! Мы сотворим Тебе сеню[122].

А Абрам опять ударил:

— «Умейн!»

И так точно разговоры о вере никогда не смущали согласия Абрама и Федора. Они опять ходили

---

[122] Примечания: 122
Дадим приют.

в свой разгороженный огород и, подмостившись на скамейках, беседовали через стену, но только ненадолго этого стало.

Вере, надежде и любви скоро пришло испытание.

Федор и Абрам стали мирны, да вокруг их все уже иным духом взялось и все, что случится, оборачивалось им в смущение.

Глава десятая

У Федора начались разные беды — и все одна за другою. Одна беда точно вела за собою другую. Федор сначала сделался нездоров и долго лежал, а потом стали у него болеть дети, и ни один не выздоровел, а все друг за другом умерли, а потом умерла и его молодая жена, которую он любил и имел от нее большую помощь в хозяйстве.

Федор в этих горестях ослабел душою и стал неаккуратно смотреть за делами, а его наемные люди, хоть они были и крещеные, а не пожалели его и этим его несчастием воспользовались и много расхитили. После же всего один его должник, которому Федор верил, как брату, сильно его обманул и присягнул, что долг ему отдал.

Федорово хозяйство ото всего этого сильно по-

шатнулось, и он закручинился. А люди стали о нем толковать и со всех сторон ему говорили:

— Раздумайся: за что так тебя Бог наказывает? Верно это на тебя посылается за то, что ты живешь в дружбе с жидом — врагом веры христианской.

Федор таким внушениям не верил и слов этих не любил слушать, а отвечал:

— Вы мне не утешение делаете, а одну досаду. Вы сами не знаете, что говорите: нам Христос никого не позволил ненавидеть, а всех приказал любить.

— Только, — говорят, — не жидов.

А Федор отвечает:

— Этого в Евангелии не сказано.

— Жид — враг нашей вере.

— Он враждует, если не понимает, чему учит наша вера, а глядя на нас, о ней судит. Это мы виноваты, потому что мы еще злы и не исправляемся и не живем по Христову наставлению. Сосед Абрам никогда мне моей веры не порочил и даже об учении Христовом рассуждает с почтением; а если бы он и враг был, то и тогда я, как христианин, обязан был бы о нем как о враге милосердовать, чтобы волю Христову исполнить. Или забыли, что Христос на кресте за своих врагов молился?

Ему отвечают:

— Нам с Христом себя не равнять — он Бог, а мы люди. Ты богохульствуешь.

— Нет, я не богохульствую, — отвечал Федор, — а я только говорю, что Христу надо следовать, и когда другие люди нашу доброту увидят, они скорее нашу веру любить станут. В этой доброте мы Христа своего всему миру явить можем на уважение.

Люди на это только больше рассердились, а среди них был один Никодим-мироварник, который продавал миро[123], — он стал всем сказывать, что Федора грешно и слушать, потому что Федор теперь уже проклят, яко друг жид овинов, и Никодиму будто во сне явлено, что Федору дальше не будет ни в чем удачи, а нападут на него еще большие беды, и тому, кто с Федором водиться станет, тоже ни в чем удачи не будет.

Федор и этому не внимал и не боялся быть от всех покинутым, а рассуждал так, что он худа не делает, храня детскую дружбу с Абрамом, человеком честным, который свою веру держит, а чужой не порочит и даже хорошее в ней хорошим называет.

---

[123] Примечания: 123
Благовонное масло, употребляемое в церкви.

Глава одиннадцатая

Абрам пришел к Федору и сказал без всякого гнева:

— Друг Федор, я узнал, что твои люди на тебя в большом неудовольствии за твое ко мне расположение. Как бы для тебя от этого худо не вышло.

А Федор отвечает:

— Друг Абрам, я люблю тебя и не могу делать иначе. В отрочьем веке нас с тобою было разбили, но теперь, в возрасте, мы этого над собой не допустим. Только душа моя ослабевает от больших несчастий. Неужели и вправду Бог меня кинул?

— Счастье и несчастье сменяются в жизни, — отвечал Абрам. — Бог, Который создал и христианина, и еврея, и темного язычника, никому не открыл тайны судьбы их. Люди дерзки, когда они хотят проницать тайну Бога и толкуют по-своему, за что человеку от Бога посылается счастье или несчастье. Это как по нашей, так и по вашей вере совсем не человеческое дело разбирать и раскладывать. Наше человеческое дело– помогать чем можем друг другу; к приязни нашей теперь подвален большой камень, а потому и тебе будет трудно, да и мне страшно, если тебя постигнет

еще какое-нибудь бедствие. А потому, прошу тебя, не стесняйся дружбой ко мне и покажи, что ты мною пренебрегаешь, а я в душе моей за это на тебя не обижусь.

В Федоре от этих слов даже сердце заныло.

— Нет, — говорит, — Абрам, ты мне друг от младых ногтей и никогда меня ничем не обидел, и я тебя не могу обидеть таким обхождением.

— Ну, смотри, как знаешь, — отвечал Абрам и, поцеловав Федора, добавил сквозь слезы: — Бог один знает, к чему эти испытания; но будем друг другу верны, и Бог не постыдит нашей верности.

Так друзья днем между собою говорили, а ночью собрались над их городом тучи, ударил с неба гром и спалил в одно мгновение дом Федора и все его амбары и кладовые, где у него лежали товары, которые он только что хотел посылать за море.

Глава двенадцатая

После этой беды отшатнулись от Федора все, как от чумного, и стали верить, что с ним и знаться не следует, потому что на нем весь гнев Божий.

Федор стоит на своем пожарище унылый и думает:

— Мне ни от кого не будет помощи.

А знакомый голос кличет его из-за забора.

Федор поднял голову и видит лицо Абрама.

— Что ты тужишь? — говорит Абрам. — В беде надо скорей поправляться.

А Федор отвечает:

— Нечем мне мою беду поправлять; я все дотла потерял и теперь мне не за что взяться.

— Я тебе денег дам взаймы на разживу.

— Ты смеешься, Абрам!

— Нет, не смеюсь.

— Мне теперь, чтобы поправиться, надо по крайней мере тысячу литр[124] золота.

— А что ты с ними сделаешь?

— Я опять накупил бы цареградских товаров, отплыл бы в Александрию, там бы продал все за тройную цену и долг бы отдал, и себе бы нажил.

— Что же, это хорошо, приходи и возьми себе у меня в долг тысячу литр золота.

— А кого же я тебе поставлю порукой, что я тебя не обману и долг отдам?

— Не надо мне поруки. Пусть будет нам наша детская дружба порукой.

Федор говорит:

— Как люблю Иисуса Христа, так ручаюсь тебе,

---

[124] Примечания: 124
Вес — 72 золотника (307 гр).

что я тебя не обману.

А Абрам отвечает:

— Знаю, как ты Его почитаешь, и потому еще более теперь верю. Ты Его имя напрасно не скажешь. Иди и бери деньги.

— А если мне будет неудача и ты тогда станешь думать, что я Христом не подорожил?

— Нет, я знаю, что ты человек верный. Иди ко мне и бери скорей тысячу златниц, снаряжай корабль и плыви с товаром в Александрию.

Федор написал Абраму должную расписку и подписал ее, а Абрам отсчитал Федору тысячу златниц, и тот накупил нужных для Александрии цареградских товаров, нагрузил все на корабль, распростился и поплыл в Египет.

Все удивлялись, откуда Федор взял столько денег, чтобы так легко справиться, и говорили между собою: «Верно, у него деньги в земле были припрятаны». А Федор, когда настало время отчалить его кораблю, зашел к Абраму проститься и, благодаря его еще раз, сказал:

— Верь же, друг Абрам, что я тебя не обману и не поставлю в фальшь имени Иисуса.

Абрам отвечал:

— Я не сомневаюсь. Добрый человек не может пристыжать того, кого любит и уважает, как

своего учителя.

Плыви с Богом, и, что бы с тобою ни случилося, я своего доверия не изменю.

А доверию Абрама суждено было выдерживать много испытаний.

Глава тринадцатая

Федор благополучно прибыл с цареградскими товарами в Александрию и очень хорошо расторговался. Выручил он столько денег, что мог заплатить весь долг Абраму и себе оставить. Но на обратном пути в Константинополь морская буря разбила его корабль, и сам Федор насилу спасся на бревне, а все его золото погибло.

Мимо шедшие корабельщики взяли Федора из воды, привезли в Константинополь и выпустили, как нищего.

Сошел Федор на землю, дождался ночи и, согнувшись под лохмотьями негодной одежды, которую дали ему на корабле, потащился к своему пожарищному пустырю, забился в погребичную яму и плачет.

Стыдно ему было даже в лицо Абраму взглянуть и рассказать, какой с его деньгами вышел худой оборот.

А Абрам сам узнал через людей о Федоровом возвращении и сейчас же пролез к нему в яму и говорит:

— Полно, Федор, что ты стыдишься? Беда над всяким может случиться. Не приходи в отчаяние. Я тебе верю и помню, что ты священное для тебя имя во свидетельство произнес. Ты Иисуса не обманешь, а я вот принес тебе еще тысячу златниц. Бери и начинай все дело наново.

Федор ни ушам, ни глазам своим не верил.

— Я, — говорит, — не могу принять.

— Отчего?

— Видишь сам: меня ужасные бедствия преследуют.

— Что же, тут-то тебе и надо мужаться, а друзьям твоим тебе помогать. Иди оденься в мою запасную одежду, бери тысячу златниц и принимайся опять за дело.

Федор отвечает:

— Я боюсь, что я с моею судьбой и тебя изнищу.

— Полно, — говорит Абрам, — что о судьбе спорить? Судьба никому не известна, а то, что ты за меня бит был от своих, это мне известно, и я тебя не выдам в несчастий, да не презрен будет в людях жид яко раб Еговы, сотворившего небо

и землю. Неужели ты за меня умел пострадать, а я будто того же снести не сумею. Бери деньги и ступай опять искать счастие.

Одел Абрам Федора в свою запасную одежду; прежнюю долговую расписку переписали с одной тысячи на две, и Федор пошел снаряжаться.

Глава четырнадцатая

В этот раз Федор накупил в Царьграде ароматной смолы и нагрузил ею целый корабль. Привез смолу в Александрию и с большим прибытком променял ее тамошним купцам на олово и поплыл с оловом в Ефес. В Ефесе на ту пору олово было очень надобно и в большом спросе. Федору дали за олово вес на вес красной меди. И стал Федор вдруг богат от этого выгодного промена и поплыл назад к Константинополю, радуясь, что теперь он с Абрамом рассчитается и сам снова будет жить непостыдно.

Но вышло все опять пребедственно: опять Федорово судно разбилось, и опять все его богатство потонуло. А из людей он только один спасся, и опять совсем голый, как мать родила, явился домой; добрался он до своего пепелища в Царьграде, сел в уголке темной погребной ямы и опять

плачет. Опять приходит к нему Абрам и говорит:

— Ну, слушай ты, Федор! Извели мы с тобой денег много, две тысячи златниц, и все понапрасну: надо их вернуть.

Федор отвечает:

— Как еще вернуть? Бедствия меня так и преследуют. Но что для меня всего тягостнее, ты можешь подумать, что я твои деньги скрыл и теперь притворяюсь бедным.

— Нет, — отвечает Абрам-жидовин, — ты всегда был честный человек, да и Иисусово имя ты не произнес бы напрасно. Я знаю, что ты Иисуса истинно почитаешь и никогда во *лжи* Его имя не упомянешь.

— Утешь тебя Бог, Абрам, что ты так обо мне думаешь! Правда твоя: я не помяну имени Иисуса Христа во *лжи*, хотя бы на меня еще большие пришли напасти, и рад я, что ты веришь, как я его почитаю.

— Ну и толковать нам не о чем. Вот тебе твоя старая расписка на две тысячи златниц. Сотри ее и напиши новую, в три тысячи, и поезжай в третье.

Федор изумился.

— Благодарю, — говорит, — за твою добродетель, но мне уж и брать неохота. Верно, на мне

есть какой особый грех, или в самом деле так надобно, чтобы люди разных вер друг другу не помогали.

— А вот для этого-то, — говорит Абрам, — я не хочу, чтобы ты так думал. Един Бог во вселенной, но суды Его разбирать не наше дело, а помогать друг другу есть наша обязанность. Пиши третью расписку на три тысячи литр золота и отплывай в третье.

Глава пятнадцатая

Федор, по настоянию Абрама, взял тысячу литр золота, сел на корабль и поехал в Кальварию. Удача ему опять пошла самая счастливая. В Кальварии он накупил пшеницы, по сребренику за решето, и отплыл с нею в Гундалы, а в Гундалах всю пшеницу продал по златнице за решето. Денег стало очень много, но Федор на том не остановился: в Гундалах он накупил хорошего виноградного вина по сребренику за мотру и поплыл с вином в Антиохию. Вино за дорогу переиграло, стало еще лучше, и Федор продал вино по златнице за мотру, которую купил всего по сребренику.

После этого у Федора стало столько денег, что

и девать некуда. Но Федор знал, что он и прежде с Абрамовой руки наживал их легко, да только никогда довезти не мог.

Как бы опять в третий раз того же самого не было.

Надумал Федор лучше самому денег не везти, а послать их с какими-нибудь вольными корабельщиками так, чтобы им неизвестно было, что они везут.

Пошел Федор ходить по городу, купил для Абрама дар, антиохийский плащ, да седло, чтобы на осле ездить, да крепкий ларец — и сделал из всего этого один сверток, а ларец завернул в самую середку, и положил туда четыре тысячи золотых литр: три тысячи в возврат за взятый у Абрама долг, а четвертую тысячу за проценты. Завернул это все так, что ларца не видно было, и отдал ехавшим в Царьград корабельщикам, чтоб отвезли Абраму-жидо-вину. А мало время спустя и сам поехал за ними следом.

Вольные корабельщики не догадались, что они везут в посылке золото, и как дошли до Царьграда, так сейчас и отдали посылку Абраму-жидовину.

Глава шестнадцатая

Абрам был человек осторожный: он не стал при корабельщиках смотреть, что такое ему от Федора прислано, а отнес сверток домой, заперся один и как развернул плащ и седло, то нашел накрепко заклепанный ларец, а в ларце деньги — все четыре тысячи златниц полностью: три — в возврат займа, а четвертая — за проценты.

Абрам пересчитал деньги, спрятал их и молчит, никому ни слова не говорит.

Вскоре затем Федор успел вернуться и сейчас же приходит к Абраму с большими дарами: кладет перед ним и ткани, и каменья, и золото.

— Прими, — говорит, — от меня; я тебе всем обязан. Без тебя бы пропал я. А Абрам отвечает:

— Я за дары тебя благодарю и принимаю их, но пора же тебе, Федор, теперь мне и долг отдать.

Федор сильно смутился, но отвечал другу:

— Правда, Абрам. Я затем и пришел, чтобы поднести тебе сначала мои дары в честь, а теперь пойдем со мною на мой корабль, раскроем все, что я имею, сочтем и поделим все поровну надвое: половину мне, а половину — тебе.

Абрам усмехнулся и говорит:

— Нет, Федор, я тебя искушал шуткою, чтобы видеть: не опалишься ли ты на меня и не скажешь ли мне укоризны за мое жидовство. Вижу, однако, что ты воистину кроток, как твой Учитель, Иисус Галилейский. Я от тебя через корабельщиков весь свой долг и проценты получил, и мне больше ничего от тебя не следует. Вот возьми свою должную грамоту. Но скажи мне только на милость, как ты это так послал мне столь значительные деньги без всякого следа?

— А видишь, — отвечал Федор, — я ужасался моего несчастия на обратный путь и лучше хотел два раза тебе заплатить, чем еще один раз остаться неисправным за порукой имени моего Спасителя.

Абрам обнял и расцеловал Федора.

— Да, — говорит, — ты Его истинно любишь и прославляешь. Умножь Бог на свете людей, тебе равных и подобных.

— Да, умножь Бог и таких, как ты, Абрам! — отвечал Федор и сказал, что он желает построить из своего богатства такой дом, где бы был приют и харчи всем бедным детям всех вер без различия, чтоб они с детства друг с другим свыкались, а не разделялись.

Абрам очень обрадовался.

— Хорошо, — говорит, — и я свой процент не беру, а отдаю на этот дом. Пусть дети живут без разбору, как мы с тобой жили в детстве нашем. И пусть будет это дружбе нашей на старости поминанье.

И сделали так: построили дом и назвали его «селением ближних». И, приходя туда, оба одною радостью радовались и, одною равною заботой о «ближних» заботясь, мнили, яко единую и согласную службу приносят всех сотворившему Богу.

Повесть эта не есть баснословие, измышленное досугом писателя. Это есть истинная история, в древние годы действительно бывшая и в давние же годы писанная рукой современного богочтителя и человеколюбца. Ныне она от старых записей взята и в новом изложении подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием братоненавидения и злопомнения.

Скоморох Памафлон

Слабость велика, сила ничтожна.
Когда человек родится, он слаб и гибок;
когда он умирает, он крепок и черств.
Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно,
и когда оно сухо и жестко, оно умирает.
Черствость и сила – спутники смерти.
Гибкость и слабость выражают свежесть бытия.
Поэтому что отвердело, то не победит.

Лао-Цзы

Глава первая

В царствование императора Феодосия Великого жил в Константинополе один знатный человек, «патрикий и епарх», по имени Ермий. Он был богат, благороден и знатен; имел прямой и честный характер; любил правду и ненавидел притворство, а это совсем не шло под стать тому времени,

в котором он жил.

В то отдаленное время в Византии, или в нынешнем Константинополе, и во всем царстве Византийском было много споров о вере и благочестии, и за этими спорами у людей разгорались страсти, возникали распри и ссоры, а от этого выходило, что хотя все заботились о благочестии, но на самом деле не было ни мира, ни благочестия. Напротив того, в низших людях тогда было много самых скверных пороков, про которые и говорить стыдно, а в высших лицах царило всеобщее страшное лицемерие. Все притворялись богобоязненными, а сами жили совсем не по-христиански: все злопамятствовали, друг друга ненавидели, а к низшим, бедным людям не имели сострадания; сами утопали в роскоши и нимало не стыдились того, что простой народ в это самое время терзался в мучительных нуждах. Обеднявших брали в кабалу или в рабство, и нередко случалось, что бедные люди даже умирали с голода у самых дверей пировавших вельмож. При этом простолюдины знали, что именитые люди и сами между собой беспрестанно враждовали и часто губили друг друга. Они не только клеветали один на другого царю, но даже и отравляли друг друга отравами на званых

пирах или в собственных домах, через подкуп кухарей и иных приспешников.

Как сверху, так и снизу все общество было исполнено порчей.

Глава вторая

У упомянутого Ермия душа была *мирная,* и к тому же он ее укрепил в любви к людям, как заповедал Христос по Евангелию. Ермий желал видеть благочестие настоящее, а не притворное, которое не приносит никому блага, а служит только для одного величания и обмана. Ермий говорил: «Если верить, что Евангелие Божественно и открывает, как надо жить, чтобы уничтожить зло в мире, то надо все так и делать, как показано в Евангелии, а не так, чтобы считать его хорошим и правильным, а самим заводить наперекор тому совсем другое, читать «оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем», а заместо того ничего никому не оставлять, а за всякую обиду злобиться и донимать с ближнего долги, не щадя его ни силы, ни живота».

Над Ермием за это все другие вельможи стали шутить и подсмеиваться; говорили ему: «Верно, ты хочешь, чтобы все сделались нищими и

стояли бы нагишом да друг дружке рубашку перешвыривали. Так нельзя в государстве». Он же отвечал: «Я не говорю про государство, а говорю только про то, как надо жить по учению Христову, которое все вы зовете божественным». А они отвечали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И спорили, а потом начали его выставлять перед царем, как будто он оглупел и не годится на своем месте.

Ермий начал это замечать и стал раздумывать: как в самом деле трудно, чтобы и в почести остаться и самому вести жизнь по Христову учению.

И как только начал Ермий сильнее вникать в это, то стало ему казаться, что этого даже и нельзя совсем вместе соединить, а надо выбирать из двух одно любое: или оставить Христово учение, или оставить знатность, потому что вместе они никак не сходятся, а если и сведешь их насильно на какой-нибудь час, то они недолго поладят и опять разойдутся дальше прежнего. «Уйдет один бес и опять воротится, и приведет еще семерых с собою». А с другой стороны глядя, Ермий соображал и то, что если он станет всех обличать и со всеми спорить, то войдет он через то всем в остылицу, и другие вельможи обнесут его тогда

перед царем клеветами, назовут изменником государству и погубят.

«Угожу одним, — думает, — не угожу другим: если с хитрыми пойду — омрачу свою душу, а если за нехитрых стану — то им не пособлю, а себе беду наживу. Представят меня как человека злоумышленного, который сеет неспокойствие, а я могу не стерпеть напраслины да стану оправдываться, и тогда душа моя озвереет, и я стану обвинять моих обвинителей и сделаюсь сам такой же злой, как они. Нет, пусть так не будет. Не хочу я никого ни срамить, ни упрекать, потому что все это противно душе моей, а лучше я совсем с этим покончу: пойду к царю и упрошу его дозволить мне сложить с себя всякую власть и доживу век мой мирно где-нибудь простым человеком».

Глава третья

Как Ермий задумал, так он и сделал по своему рассуждению. Царю Феодосию он ни на что не жаловался и никого перед ним не обвинял, а только просился отставить его от дел. Царь уговаривал Ермия остаться при должности, но потом отпустил. Ермий получил полную отставку («отложи от себя всяку власть»). А в это же самое время

скончалась жена Ермия, и бывший вельможа, оставшись один, начал рассуждать еще иначе.

«Не указание ли мне это свыше? — подумал Ермий. — Царь меня отпустил от служебных забот, а Господь разрешил от супружества. Жена моя умерла, и нет у меня никого такого в родстве моем, для которого мне надо было бы стараться по своим имениям. Теперь я могу идти резвее и дальше к цели евангельской. На что мне богатство? С ним всегда неминучие заботы, и хоть я от служебных дел отошел в сторону, а, однако, богатство заставит меня о нем заботиться и опять меня втравит в такие дела, которые не годятся тому, кто хочет быть учеником Христовым».

А богатства у Ермия было очень много («бе бо ему богатство многосущное») — были у него и дома, и села, и рабы, и всякие драгоценности.

Ермий всех своих рабов отпустил на волю, а все прочее «богатство многосущное» продал и деньги разделил между нуждавшимися бедными людьми.

Поступил он так потому, что хотел «совершен быть», а тому, кто желает достичь совершенства, Христос коротко и ясно указал один путь: «Отдай все, что имеешь, и иди за мною».

Ермий все это исполнил в точности, так что да-

же никакой малости себе не оставил, и радовался тому, что это совсем не показалось ему жалко и трудно. Только начало было дорого сделать, а потом самому приятно стало раздавать все, чтобы ничто не путало и ничто не мешало идти налегке к высшей цели евангельской.

Глава четвертая

Освободясь и от власти и от богатства, Ермий покинул тайно столицу и пошел искать себе уединенного места, где бы ему никто не мешал уберечь себя в чистоте и святости для прохождения богоугодной жизни.

После долгого пути, совершенного пешими и босыми ногами, Ермий пришел к отдаленному городу Едессу и совсем нежданно для себя нашел здесь «некий столп». Это была высокая каменная скала, и с расщелиной, и в середине расщелины было место, как только можно одному человеку установиться.

«Вот, — подумал Ермий, — это мне готовое место». И сейчас же взлез на этот столп по ветхому бревнышку, которое кем-то было к скале приставлено, и бревно оттолкнул. Бревно откатилось далеко в пропасть и переломилось, а Ермий

остался стоять и простоял на столпе тридцать лет. Во все это время он молился Богу и желал позабыть о лицемерии и о других злобах, которые он видел и которыми до боли возмущался.

С собою Ермий взял на скалу только одну длинную бечевку, которою он цеплялся, когда лез, и бечевка эта ему пригодилась.

На первых днях, как еще Ермий забыл убрать эту бечевку, заметил ее пастух-мальчик, который пришел сюда пасти козлят. Пастух начал эту бечевку подергивать, а Ермий его стал звать и проговорил ему:

— Принеси мне воды я очень жажду.

Мальчик подцепил ему свою тыквенную пустышку с водой и говорит:

— Испей и оставь себе тыкву.

Так же он дал ему и корзинку с горстью черных терпких ягод.

Ермий поел ягод и сказал:

— Бог послал мне кормильца.

А мальчик как только пригнал вечером в село стадо козлят, так сейчас же рассказал своей матери, что видел на скале старика, а Пастухова мать пошла на колодец и стала о том говорить другим женщинам, и так сделалось известно людям о новом столпнике, и люди из села побежали к Ер-

мию и принесли ему чечевицы и бобов больше, чем он мог съесть. Так и пошло далее.

Только Ермий спускал сверху на длинной бечеве плетеную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали ему в эту корзину листьев капусты и сухих, невареных семян, а тыкву его наполняли водою. И этим бывший византийский вельможа и богач Ермий питался тридцать лет. Ни хлеба и ничего готовленного на огне он не ел и позабыл и вкус вареной пищи. По тогдашним понятиям находили, будто это приятно и угодно Богу. О своем розданном богатстве Ермий не жалел и даже не вспоминал о нем. Разговоров он не имел ни с кем никаких и казался строг и суров, подражая в молчании своем Илии.

Поселяне считали Ермия способным творить чудеса. Он им этого не говорил, но они так верили. Больные приходили, становились в тени его, которую солнце бросало от столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуют облегчение. А он все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и

Стефана.[125]

Так проводил Ермий дни, а вечером, когда сваливал пеклый жар и лицо Ермия освежала прохлада, он, окончив свои молитвы и размышления о Боге, думал иногда и о людях. Он размышлял о том, как за эти тридцать лет зло в свете должно было умножиться и как под покровом ханжества и пустосвятства, заменяющего настоящее учение своими выдумками, теперь, наверно, иссякла уже в людях всякая истинная добродетель и осталась одна форма без содержания.

Впечатления, вынесенные столпником из покинутой им лицемерной столицы, были так неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не замечал того, что через это отчаяние он унижал и план и цель творения и себя одного почитал совершеннейшим.

Повторяет он наизусть Оригена, а сам думает: «Ну, пусть так — пусть земной мир весь стоит для вечности и люди в нем, как школяры в школе, готовятся, чтобы явиться в вечности и там по-

---

[125] Примечания: 125

Ориген — христианский мыслитель III в. н. э. Осужден, как еретик, Пятым Вселенским Собором.

Святитель Григорий Неокесарийский — христианский богослов и писатель III в. н. э.

Пиерий — александрийский пресвитер (III в. н. э.).

Стефан — архидьякон, первомученик Христианской Церкви (I в. н. э.).

казать свои успехи в здешней школе. Но какие же успехи они покажут, когда живут себялюбиво и злобно, и ничему от Христа не учатся, и языческих навыков не позабывают? Не будет ли вечность впусте?» Пусть утешает Ориген, что не мог же впасть в ошибку Творец, узрев, «яко все добро зело»[126], если оно на самом деле никуда не годится, а Ермию все-таки кажется, что «весь мир лежит во зле», и ум его напрасно старается прозреть: «кацы суть Богу угождающие[127] и вечность улучившие?»

Никак не может Ермий представить себе таковых, кои были бы достойны вечности, все ему кажутся худы, все с злою наклонностию в жизнь пришли, а здесь, живучи на земле, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаяние, что вечность запустеет, потому что нет людей, достойных перейти в оную.

---

[126] Примечания: 126
Весьма хорошо.

[127] Примечания: 127
Каковы те, кто угодны Богу.

Глава пятая

И вот однажды, когда, при опускающемся покрове ночи, столпник «усильно подвигся мыслию уведети: кацы суть иже Богу угожающи», он приклонился головою к краю расщелины своей скалы, и с ним случилась необыкновенная вещь: повеяло на него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принеслись к его слуху следующие слова:

— Напрасно ты, Ермий, скорбишь и ужасаешься: есть тацы, иже добре Богу угожают и в книгу жизни вечной вписаны.

Столпник обрадовался сладкому голосу и говорит:

— Господи, если я обрел милость в очах твоих, то дозволь, чтобы мне был явлен хоть один такой, и тогда дух мой успокоится за все земное сотворение.

А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу:

— Для этого тебе надо забыть о тех, коих ты знал, и сойти со столпа да посмотреть на человека Памфалона.

С этим дыхание сникло, а старец восклонился и думает: взаправду ли он это слышал, или это ему навеяно мечтою? И вот опять проходит холодная

ночь, проходит и знойный день, и наступили новые сумерки, и опять поник головой Ермий и слышит:

— Спускайся вниз, Ермий, на землю, тебе надо пойти посмотреть на Памфалона.

— Да кто он такой, этот Памфалон?

— А вот он-то и есть один из тех, каких ты желаешь видеть.

— И где же обитает этот Памфалон?

— Он обитает в Дамаске.

Ермий опять встрепенулся и опять не был уверен, что это ему слышно не в мечте. И тогда он положил в своем уме испытать это дело еще, до трех раз, и ежели и в третий раз будет к нему такая же внятная речь про Памфалона, тогда уже более не сомневаться, а слезать со скалы и идти в Дамаск.

Но только он решил обстоятельно дознаться: что это за Памфалон и как его по Дамаску разыскивать.

Прошел опять знойный день, и с вечернею прохладою снова зазвучало в духе хлада тонка имя Памфалона.

Неведомый голос опять говорит:

— Для чего ты, старец, медлишь, для чего не слезаешь на землю и не идешь в Дамаск смотреть

Памфалона?

А старец отвечает:

— Как же могу я идти и искать человека мне неизвестного?

— Человек тебе назван.

— Назван мне человек Памфалоном, а в таком великом городе, как Дамаск, разве один есть Памфалон? Которого же из них я стану спрашивать?

А в духе хлада тонка опять звучит:

— Это не твоя забота. Ты только скорее слезай вниз да иди в Дамаск, а там уже все знают этого Памфалона, которого тебе надо. Спроси у первого встречного, его тебе всяк покажет. Он всем известен.

Глава шестая

Теперь, после третьего такого переговора, Ермий более уже не сомневался, что это такой голос, которого надо слушаться. А насчет того, к какому именно Памфалону в Дамаске ему надо идти, Ермий более не беспокоился. Памфалон, которого «все знают», без сомнения есть какой-либо прославленный поэт, или воин, или всем известный вельможа. Словом, Ермию размышлять более было не о чем, а на что он сам напросился, то надо

идти исполнять.

И вот пришлось Ермию после тридцати лет стояния на одном месте вылезать из каменной расщелины и идти в Дамаск…

Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, как Ермий, идти смотреть человека, живущего в Дамаске, ибо город Дамаск по-тогдашнему в отношении чистоты нравственной был все равно что теперь сказать Париж или Вена — города, которые святостью жизни не славятся, а слывут за гнездилища греха и пороков, но, однако, в древности бывали и не такие странности, и бывало, что посты благочестия посылались именно в места самые злочестивые.

Надо идти в Дамаск! Но тут вспомянул Ермий, что он наг, ибо рубище его, в котором он пришел тридцать лет тому назад, все истлело и спало с его костей. Кожа его изгорела и почернела, глаза одичали, волосы подлезли и выцвели, а когти отрасли, как у хищной птицы… Как в таком виде показаться в большом и роскошном городе?

Но голос его не перестает руководствовать и раздается издали:

— Ничего, Ермий, иди: нагота твоя найдет тебе покрывало.

Взял Ермий свою корзиночку с сухими зернами

и тыкву и кинул их вниз на землю, а затем и сам спустился со столпа по той самой веревочке, по которой таскал себе снизу приносимую пищу.

Тело столпника уже так исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермий этого не испугался: он благополучно стал на землю и пошел, колеблясь как ребенок, ибо ноги его отвыкли от движения и потеряли твердость.

И шел Ермий по безлюдной, знойной пустыне очень долго и во весь переход ни разу никого не встретил, а потому и не имел причины стыдиться своей наготы; приближаясь же к Дамаску, он нашел в песках выветрившийся сухой труп и возле него ветхую «козью милоть»[128], какие носили тогда иноки, жившие в общежитиях. Ермий засыпал песком кости, а козью милоть надел на свои плечи и обрадовался, увидев в этом особое о нем промышление.

К городу Дамаску Ермий стал приближаться, когда солнце уже начало садиться. Старец немножко не соразмерил ходы и теперь не знал, что ему сделать: поспешать ли скорее идти или не торопиться и подождать лучше утра. Очам ка-

---

[128] Примечания: 128
Шкура.

залось близко видно, а ногам пришлось обидно. Поспешал Ермий дойти засветло, а поспел в то самое время, когда красное солнце падает, сумрак густеет и город весь обвивает мглой. Точно он весь в беспроглядный грех погружается.

Страшно сделалось Ермию — хоть назад беги… И опять ему пришла в голову дума: не было ли все, что он слышал о своем путешествии, одною мечтою или даже искушением? Какого праведника можно искать в этом шумном городе? Откуда тут может быть праведность? Не лучше ли будет бежать отсюда назад, влезть опять в свою каменную щелку, да и стоять, не трогаясь с места.

Он было уже и повернулся, да ноги не идут, а в ушах опять «дыхание тонко»:

— Иди же скорей лобызай Памфалона в Дамаске.

Старик снова обернулся к Дамаску, и ноги его пошли.

Пришел Ермий к городской стене как раз в ту минуту, когда городской страж наполовину ворота захлопнул.

Глава седьмая

Насилу успел бедный старик упросить сторожа, чтобы он позволил ему пройти в ворота, и то отдал за это свою корзину и тыкву; а теперь сам совсем безо всего очутился в совершенно ему незнакомом и ужасно многогрешном городе.

Ночи на юге спускаются скоро, сумерек почти нет, и темнота бывает так густа, что ничего нельзя видеть. Улицы в то время, когда было это происшествие, в восточных городах еще не освещались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицах бывало очень небезопасно, и потому обыватели крепко закрывали все входы в дом, чтобы впотьмах не забрался какой-нибудь лихой человек и не обокрал бы или бы не убил и не сжег дом. Ночью же входов или совсем не отпирали, или же отпирали только запоздавшим своим домашним или друзьям, и то не иначе как удостоверясь, что стучится именно тот человек, которого впустить надо.

Отворенными поздно оставались только двери развратниц, к которым путь открыт всем, и чем больше идут к ним на свет, тем им лучше.

Старец Ермий, попав в Дамаск среди густой

тьмы, решительно не знал, где ему приютиться до утра. Были, конечно, в Дамаске гостиницы, но Ермий не мог ни в одну из них постучаться, потому что там спросят с него плату за ночлег, а он не имел у себя никаких денег.

Остановился Ермий и, размыслив, что бы такое в его положении возможно сделать, решился попроситься ночевать в первый дом, какой попадется.

Так он и сделал: подошел к ближайшему дому и постучался.

Его опросили из-за двери:

— Кто там стучится?

Ермий отвечает:

— Я бедный странник.

— Ах, бедный странник! Немало вас шляется. Чего же тебе надо?

— Прошу приюта.

— Так ты не туда попал. Иди за этим в гостиницу.

— Я беден и не могу платить в гостинице.

— Это плохо, но иди в таком случае к тем, кто тебя знает: они тебя, может быть, пустят.

— Да меня здесь никто не знает.

— А если тебя здесь никто не знает, то не стучи и у нас понапрасну, а уходи скорей прочь.

— Я прошусь во имя Христа.

— Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много вас тут ходит, все Христа вспоминаете, а вместо того лжете и этим именем после всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нет у нас для тебя приюта.

Ермий подошел к другому дому и здесь опять стал стучать и проситься.

И здесь тоже опять спрашивают его из-за закрытых дверей:

— Чего тебе надо?

— Изнемогаю, я бедный странник… пустите отдохнуть в доме!

Но опять и тут ему тот же ответ: иди в гостиницу.

— У меня денег нет, — отвечал Ермий и произнес Христово имя, но оно вызвало только укоры.

— Полно, полно выкликать это имя, — отвечали ему из-за дверей второго дома, — все ленивцы и злодеи нынче этим именем прикрываются.

— Ах, — отозвался Ермий, — поверьте, что я никому никакого зла не сделал и не делаю: я пришел прямо из пустыни.

— Ну, если ты из пустыни, то там бы тебе и оставаться. Напрасно ты сюда и пришел.

— Я не своею волею пришел, а имел повеле-

ние.

— Ну, так иди к тому, куда позван, а нас оставь в покое; мы тех, кои старцами сказываются и в козьих милотях ходят, боимся: вы сами очень святы, а за вами за каждым седмь приставных бесов ходит.

«Ого! — подумал Ермий, — как время изменило обычаи. Верно, ныне совсем уже нет старого привета странным. Все уже знают пустынное предание, что за аскетом вслед более бесов ходит, чем за простым грешником, а через это не лучше, а хуже стало. И вот я — пустынник, простоявший тридцать лет, — в тени столпа моего люди получали исцеления, а меня никто не пускает под крышу, и я не только могу быть убит от злодеев, но еще горше смерти могу быть оскорблен и обесчестен от извративших природу бесстыдников. Нет, теперь я уже ясно вижу, что я поддался насмешке сатаны, что я был послан сюда не для пользы души моей, а для всецелой моей пагубы, как в Содом и Гоморру».

А в это самое время Ермий тоже замечает, что кто-то во тьме спешно перебегает улицу и, смеясь, говорит:

— Ну, насмешил ты меня, старичина!

— Чем это? — спросил Ермий.

— Да как же, ты так глуп, что просишься, чтобы тебя пустили ночевать в дома людей высокородных и богатых! Видно, ты и в самом деле, должно быть, ничего в жизни не понимаешь.

Столпник подумал: «Это, пожалуй, вор или блудодей, а все-таки он разговорчив: дай я его расспрошу, что мне сделать, где найти приют».

— Ну, ты постой-ка, — сказал Ермий, — и кто бы ты ни был, скажи мне, нет ли здесь таких людей, которые известны за человеколюбцев?

— Как же, — отвечает, — есть здесь и таковые.

— Где же они?

— А вот ты сейчас у их домов стучался и с ними разговаривал.

— Ну, значит, их человеколюбство плохо.

— Таковы все показные человеколюбцы.

— А не известны ли тебе, кои боголюбивы?

— И таковые известны.

— Где же они?

— Эти теперь, по заходе солнечном, на молитву стали.

— Пойду же я к ним.

— Ну, не советую. Боже тебя сохрани, если ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве, тогда слуги их за то свалят тебя на землю и нанесут тебе раны.

Старец всплеснул руками.

— Что же это, — говорит, — человеколюбцев никак в своей нужде не уверишь, а набожных от стояния не отзовешь, ночь же ваша темна, и обычаи ваши ужасны. Увы мне! увы!

— А ты вместо того, чтобы унывать и боголюбцев разыскивать, — *иди к Памфалону.*

— Как ты сказал? — переспросил отшельник и опять получил тот же ответ:

– *Иди к Памфалону.*

Глава восьмая

Рад был отшельник услыхать про Памфалона. Стало быть, шел он недаром. Но кто, однако, сам этот во тьме говорящий: хорошо, если это путеводительный Ангел, а может быть, это самый худший бес?

— Мне, — говорит Ермий, — Памфалонаинужно, потому что я к нему послан, но только я не знаю: тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь?

— А тебе что о твоем Памфалоне сказано?

— Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, а примета дана такая, что его здесь все знают.

— Ну, а если так, то я говорю о том самом Памфалоне, про которого тебе сказано. Он один только и есть такой Памфалон, которого все знают.

— Почему же он всем так известен?

— А потому, что он приятный человек и всюду с собою веселье ведет. Без него нет здесь ни пира, ни потехи, и всем он любезен. Чуть где пса его серого с длинной мордой заслышат, когда он бежит, гремя позвонцами, все радостно говорят: вот Памфалонова Акра бежит! сейчас, значит, сам Памфалон придет, и веселый смех будет.

— А для чего же он пса при себе водит?

— Для большего смеха. Его Акра чудесная, умная и верная собака, она ему людей веселить помогает. А то еще у него есть разноперая птица, которую он на длинном шесте в обруче носит: тоже и эта дорогого стоит: она и свистом свистит и шипит по-змеиному.

— Зачем же Памфалону все это нужно — и пес и разноперая птица?

— Как же — Памфалону без смешных вещей быть невозможно.

— Да кто же такой у вас этот Памфалон?

— А разве ты сам этого не знаешь?

— Не знаю. Я только слышал о нем в пустыне.

Собеседник удивился.

— Вот как! — воскликнул он. — Значит, уже не только в Дамаске и в других городах, а и далеко в пустыне знают нашего Памфалона! Ну, да так тому и следовало быть, потому что такого другого весельчака нет, как наш Памфалон: никто не может без смеха глядеть, как он шутит свои веселые шутки, как он мигает глазами, двигает ушами, перебирает ногами, и свистит, и языком щелкает, и вертит завитой головой.

— Перебирает ногами и вертит головою, — повторил пустынник, — лицедейство, телодвижение и скоки… Да кто же он такой наконец?!

— Скоморох.

— Как?.. этот Памфалон!.. К кому я иду!.. Он — *скоморох!*

— Ну да, Памфалон-скоморох, его потому все и знают, что он по улицам скачет, на площади колесом вертится, и мигает глазами, и перебирает ногами, и вертит головой.

Ермий даже свой пустыннический посох из рук уронил и проговорил:

— Сгинь! сгинь, дьявол, полно тебе надо мной издеваться!

А во тьме говоривший не расслышал этого заклинания и добавил:

— Памфалонов дом сейчас здесь за углом, и у

него, наверно, теперь в окне еще свет светится, потому что он вечером приготовляет свои скоморошьи снаряды, чтобы делать у гетер представления. А если у него огня нет, так ты впотьмах отсчитай за углом направо третий маленький дом, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.

И с тем говоривший во тьме сник куда-то, как будто его и не бывало.

Глава девятая

Ермий, пораженный тем, что он услыхал о Памфалоне, остался в потемках и думает:

«Что же мне теперь делать? Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох. Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта, у лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам».

Непонятно это, а ночь темна, деться некуда, и — надо идти к скомороху.

Ночной приют пустыннику был необходим, потому что хотя он и привык ко всем непогодам,

но на улице в городе в тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснее, чем в нынешнее. Тогда и воры грабили, и ходили такие отчаянные люди, каких видали только перед сожжением Содома и Гоморры. Эти были хуже животных и не щадили никого, и всяк мог ожидать себе от них самого гнусного оскорбления.

Ермий все это помнил и потому очень обрадовался, когда только что завернул за угол, как сейчас же увидал приветный огонек. Свет выходил из одного маленького домика и ярко горел во тьме, как звездочка. Вероятно, тут и живет скоморох.

Ермий пошел на свет и видит: действительно, стоит очень маленький, низенький домик, а в нем растворенная дверь, и над нею поднята тростниковая циновка, так что все внутрь этого жилья видно.

Жилье невелико — всего один покой, и притом не высокий, но довольно просторный, и в нем все на виду — и хозяин, и хозяйство, и все его рукомесло. И по всему тому, что видно, нетрудно было отгадать, что здесь живет не степенный человек, а именно скоморох.

На серой стене, как раз насупротив раскрытой двери, висела глиняная лампа с длинным рож-

ком, на конце которого горел красным огнем фитиль, напитанный жиром. Фитиль этот сильно коптил, и вниз с него падали огненные капли кипящего жира. Вдоль всей стены висели разные странные вещи, которые, впрочем, точнее можно бы назвать хламом. Тут были уборы и сарацинские, и греческие, и египетские, а также были и разнопестрые перья, и звонцы, и трещотки, и накрьТ, и красные шесты, и золоченые обручи. В одном угле вбит был крюк в потолок, а к нему подцеплен тонкий шест, похожий на большое удилище, а на конце того шеста на веревке другой деревянный обруч, а в обруче спит, загнув голову под крыло, пестрая птица. На ноге у нее тонкая цепь, которою она прикована к обручу. В другом же углу загнуты полколесом гнуткие драницы[129], и за ними задеты бубны, накры, сопели и еще более странные вещи, которых и назначения даже не мог придумать давно не видавший суеты городской жизни пустынник.

На полу, в одном углу, постель из циновки, а в другом — сундук; на этом сундуке перед скамьею, заменяющею стол, сидит и что-то мастерит сам хозяин жилища.

---

[129] Примечания: 129
Дощечки.

Вид его странен: он уже человек не молодой, а подстароват, имеет лицо смуглое, добродушное и веселое, с постоянным умеренным выражением и легким блеском глаз, но лицо это раскрашено, а полу седая голова вся завита в мелкие кудри, и на них надет тонкий медный ободок, с которого вниз висят и бренчат блестящие кружочки и звездочки. Таков Памфалон. Сидит он, нагнувшись над скамьею, на которой разбросаны разные скоморошьи приборы, а перед лицом его маленькая глиняная жаровня и паяло. Он дует ртом через паяльную трубку в жаркие угли, и закрепляет одно за другое какие-то мелкие кольца, и не замечает того, что на него снаружи давно пристально смотрит строгий отшельник.

Но вот лежавшая в тени у ног Памфалона длинномордая серая собака чутьем почуяла близость стороннего человека, подняла свою голову и, заворчав, встала на ноги, а с этим ее движением на ее медном ошейнике зазвонили звонцы, и от них сейчас же проснулась и вынула из-под крыла голову разноперая птица. Она встрепенулась и не то свистнула, не то как-то резко проскрипела клювом. Памфалон разогнулся, отнял на минуту губы от паяла и крикнул:

— Молчи, Акра! И ты, Зоя, молчи! Не пугайте

досужего человека, который приходит звать нас смешить заскучавших богачей. А ты, легкий посол, — добавил он, возвыся голос, — от кого ты ни жалуешь, подходи скорее и говори сразу: что тебе нужно?

На это Ермий ему ответил со вздохом:

— О, Памфалон!

— Да, да, да; я давно Памфалон — плясун, скоморох, певец, гадатель и все, что кому угодно. Какое из моих дарований тебе надобно?

— Ты ошибся, Памфалон.

— В чем я ошибся, приятель?

— Человеку, который стоит у твоего дома, совсем не нужно этих дарований: я пришел совсем не за тем, чтобы звать тебя на скоморошное игрище.

— Ну что ж за беда! Ночь еще впереди — придет кто-нибудь другой и покличет нас и на игрище, и у меня будет назавтра заработок, для меня и для моей собаки. А тебе-то, однако, что же такое угодно?

— Я прошу у тебя приюта на ночь и желаю с тобою беседовать.

Услышав эти слова, скоморох оглянулся, положил на сундук дротяные кольца и паяло и, расставив над глазами ладонь, проговорил:

— Я не вижу тебя, кто ты такой, да и голос твой незнаком мне… Впрочем, в доме моем и в добре будь волен, как в своем, а насчет бесед… Это ты, должно быть, смеешься надо мною.

— Нет, я не смеюсь, — отвечал Ермий. — Я здесь всем чужой человек и пришел издалека для беседы с тобою. Свет твоей лампы привлек меня к твоей двери, и я прощу приюта.

— Что же, я рад, что свет моей лампы светит не для одних гуляк. Какой ты ни есть — не стой больше на улице, и если у тебя нет в Дамаске лучшего ночлега, то я прошу тебя, войди ко мне, чтобы я мог тебя успокоить.

— Благодарю, — отвечал Ермий, — и за привет твой пусть благословит тебя Бог, благословивший странноприимный кров Авраама.

— Ну, ну, перестань многословить! Совсем не о чем говорить, а уж ты и за Авраама хватаешься. Бери, старина, дело проще. Много будет, если ты благословишь меня, выходя из моего дома, когда отдохнешь с дороги и успокоишься, а теперь входи скорее: пока я дома, я тебе помогу умыться, а то меня кто-нибудь кликнет на ночную потеху, и мне тогда будет некогда за тобой ухаживать. У нас нынче в упадке делишки: к нам стали заходить чужие скоморохи из Сиракуз; так сладко поют и

играют на арфах, что перебили у нас всю самую лучшую работу. Ничего нельзя упускать: надо сразу бежать, куда кликнут, а теперь как раз такой час, когда богатые и знатные гости приходят попировать к веселым гетерам.

«Проклятый час», — подумал Ермий.

А Памфалон продолжал:

— Ну, входи же, сделай милость, и не обращай внимания на мою собаку: это Акра, это мой верный пес, мой товарищ, — Акра живет не для страха, а так же, как я, — для потехи. Входи ко мне, путник.

С этим Памфалон протянул гостю обе руки и, сведя его по ступенькам с уличной тьмы в освещенную комнату, мгновенно отскочил от него в ужасе.

Так страшен и дик показался ему вошедший пустынник!

Прежний вельможа, простояв тридцать лет под ветром и пламенным солнцем, изнеможил в себе вид человеческий. Глаза его совсем обесцветились, изгоревшее тело его все почернело и присохло к остову, руки и ноги его иссохли, и отросшие ногти загнулись и впились в ладони, а на голове остался один клок волос, и цвет этих волос был не белый, и не желтый, и даже не пра-

зелень, а голубоватый, как утиное яйцо, и этот клок торчал на самой середине головы, точно хохол на селезне.

В изумлении стояли друг перед другом два эти совсем не сходные человека: один скоморох, скрывший свой натуральный вид лица под красками, а другой — весь излинявший пустынник. На них смотрели длинномордая собака и разноперая птица. И все молчали. А Ермий пришел к Памфалону не для молчания, а для беседы, и для великой беседы.

Глава десятая

Оправился первый Памфалон.

Заметив, что Ермий не имел на себе никакой ноши, Памфалон с недоумением спросил его:

— Где же твоя кошница[130] и тыква?

— Со мной нет ничего, — отвечал отшельник.

— Ну, слава Богу, что у меня сегодня есть чем тебя угостить.

— Мне ничего и не надо, — перебил старец, — я пришел не за угощением. Мне нужно знать, как ты угождаешь Богу?

---

[130] Примечания: 130
Корзина.

— Что такое?

— Как ты угождаешь Богу?

— Что ты, что ты, старец! Какое от меня угождение Богу! Да мне об это даже и думать нельзя.

— Отчего тебе нельзя думать? О своем спасении всяк должен думать. Ничего для человека не может быть так дорого, как его спасение. А спасение невозможно без того, чтобы угодить Богу.

Памфалон его выслушал, улыбнулся и отвечал:

— Эх, отец, отец! Если бы ты знал, как мне смешно тебя слушать. Видно, и вправду давно ты из мира.

— Да, я из мира давно, я тридцать лет уже не был между людьми, но все-таки что я говорю, то истинно и согласно с верой.

— А я, — отвечал Памфалон, — с тобою не спорю, но говорю тебе, что я человек очень непостоянной жизни, а ремеслом скоморох и не о благочестии размышляю, а я скачу, верчусь, играю, руками плещу, глазами мигаю, выкручиваю ногами и трясу головой, чтобы мне дали что-нибудь за мое посмешище. О каком богоугождении я могу думать в такой жизни!

— Отчего же ты не оставишь эту жизнь и не начнешь вести лучшую?

— А, друг любезный, я уже это пробовал.

— И что же?

— Не удается.

— Еще раз попробуй.

— Нет, уж теперь и пробовать нечего.

— Отчего?

— Оттого, что я на сих днях упустил такой случай для исправления моей жизни, какого уже лучше и быть не может.

— Почему ты знаешь? По-твоему не может быть, а у Бога все возможно.

— Нет, ты про это со мною, пожалуйста, лучше не говори, потому что я даже и не хочу более искушать Бога, если я не умею пользоваться Его милостями. Я себя сам оставил без спасения, и пусть так и будет.

— Так ты, значит, отчаянный?

— Нет, я не отчаянный, а только я беззаботный и веселый человек, и разговаривать со мною о вере… просто даже некстати.

Ермий покачал головой и говорит:

— В чем же, однако, состоит твоя вера, веселый, беззаботный человек?

— Я верю, что я сам из себя ничего хорошего сделать не сумею, а если создавший меня сам что-нибудь лучшее из меня со временем сделает, ну так это его дело. Он всех удивить может.

— А отчего же ты сам о себе не заботишься?

— Некогда.

— Как это некогда?

— Да так, я живу в суете, а когда нарочито соберусь спасаться, то на меня нападает тоска, и вместо хорошего еще хуже выходит.

— Ты говоришь несообразное.

— Нет, это правда. Когда я размыслюсь, то от моего слабого характера стану тревожен и опять сам все разрушу и стану на свою скоморошью степень.

— Ну, так ты человек пропащий.

— Очень может быть.

— И я думаю, что ты совсем не тот Памфалон, которого мне надобно.

— Я не могу тебе на это ответить, — отвечал скоморох, — но только мне кажется, что на этот час, когда я так счастлив, что могу послужить твоей страннической нужде, я теперь, пожалуй, как раз тот Памфалон, который тебе нужен, а что тебе дальше нужно будет, о том завтра узнаем. Теперь же я умою твои ноги, и ты покушай, что у меня есть, и ложись спать, а я пойду скоморошить.

— Мне нужно бесед твоих.

— Бесед! — опять воскликнул Памфалон.

— Да, мне нужно бесед твоих, я для них пришел

и не отступлю от тебя.

Памфалон поглядел на старца, потрогал его за его синий хохолок и потом вдруг расхохотался.

— Что же это тебе, весельчак, так смешно в словах моих? — спросил Ермий.

А Памфалон отвечал:

— Прости мне мое безумство. Я это по привычке шутить рассмеялся. Ты хочешь не отступить от меня, а я подумал, что мне, пожалуй и хорошо бы взять тебя и поводить с собою по городу. Мне бы было выгодно водить тебя напоказ по Дамаску. На тебя бы все глядеть собирались, но мне стыдно, что я так о тебе подумал, и пусть же и тебе будет стыдно надо мною смеяться.

— Я ни над кем не смеюсь, Памфалон.

— Так зачем же ты говоришь, что хочешь от меня бесед для своего научения? Какие научения могу дать я, дрянной скоморох, тебе, мужу, имевшему силу рассуждать о Боге и о людях в святом безмолвии пустыни? Господь меня не лишил совсем святейшего дара Своего — разума, и я знаю разницу, какая есть между мною и тобою. Не оскорбляй же меня, старик, позволь мне омыть твои ноги и почивай на моей постели.

— Хорошо, — сказал Ермий, — ты хозяин в своем доме и делай что хочешь.

Памфалон принес лохань свежей воды и, омыв ноги гостя, подал ему есть, а потом уложил в постель и промолвил:

— Завтра будем говорить с тобою. А теперь об одном тебя попрошу: не тревожься, если кто-нибудь из подгулявших людей станет стучать ко мне в дверь или бросать что-нибудь в стену. Это ничего другого не значит, как празднолюбцы зовут меня потешать их.

— И ты встаешь и уходишь?

— Да, я иду во всякое время.

— И неужто ты входишь повсюду?

— Конечно, повсюду: я ведь скоморох и не могу разбирать места.

— Бедный Памфалон!

— Как быть, мой отец! Мудрецы и философы моего мастерства не требуют, а требуют его празднолюбцы. Я хожу на площади, стою у ристалищ, верчусь на пирах, бываю в загородных рощах, где гуляют молодые богачи, а больше все по ночам бываю в домах у веселых гетер…

При последнем слове Ермий едва не заплакал и еще жалостнее воскликнул:

— Бедный Памфалон!

— Что делать, — отвечал скоморох, — я действительно очень беден. Я ведь сын греха и как во

грехе зачат, так с грешниками и вырос. Ничему другому я, кроме скоморошества, не научен, а в мире должен был жить потому, что здесь жила во грехе зачавшая и родившая меня мать моя. Я не мог снести, чтобы мать моя протянула к чужому человеку руку за хлебом, и кормил ее своим скоморошеством.

— А где же теперь твоя мать?

— Я верю, что она у Бога. Она умерла на той же постели, где ты лежишь теперь.

— Тебя любят в Дамаске?

— Не знаю, что есть слово «любят», но меня, пожалуй, и любят, и кидают мне деньги за мои забавы, и угощают меня за своими столами. Я пью на чужой счет дорогое вино и плачу за него моими шутками.

— Ты пьешь вино?

— О да, что я пью вино и люблю его пить, в том нет никакого сомнения. Да без этого и нельзя для человека, который держится веселой компании.

— Кто же тебя приучил к этой компании?

— Случай, или, лучше тебе сказать, я не умею объяснить этого твоему благочестию. Мать моя в молодости была весела и прекрасна. Отец мой был знатный человек. Он меня бросил, а другие из степенных людей никто меня не взяли, взял

меня такой же, как я, скоморох и много меня бил и ломал, но все-таки спасибо ему — он меня выучил своему делу, и теперь никто лучше меня не кинет вверх колец, чтобы они на лету сошлися; никто так не щелкает языком, не строит рож, не плещет руками, и не митушует ногами, и не тростит головой.

— И тебе это ремесло еще не омерзело?

— Нет, оно часто мне не нравится, особенно когда я вижу, как проводят у гетер время вельможи, которым надо бы думать о счастье народа, и когда в веселые дома приводят цветущую юность, но я в этом воспитан и этим одним только умею добывать себе хлеб.

— Бедный, бедный Памфалон! Смотри, вот уже и голова твоя забелелась, а ты все до сей поры плещешь руками, и семенишь ногами, и тростишь головой у погибших блудниц. Ты сам погибнешь с ними.

А Памфалон отвечал:

— Не жалей меня, что я выкручиваю ногами и верчусь у гетер. Гетеры — грешницы, но бывают к нам, слабым людям, жалостливы. Когда их гости упьются, они сами ходят и сами для нас от гуляк собирают даянье, и даже порою с излишком и с ласкою для нас просят.

И заметив, что Ермий отвернулся, Памфалон тронул его ласково за плечо и молвил с уветом:

— Верь мне, почтенный старик, что живое всегда живым остается, и у гетер часто бьется в груди прекрасное сердце. А печально нам быть на пирах у богатых господ. Вот там часто встречаются скверные люди; они горды, надменны и веселья хотят, а свободного смеха и шуток не терпят. Там требуют того, чего естество человеческое стыдится, там угрожают ударением и ранами, там щиплют мою разноперую птицу, там дуют и плюют в нос моей собаке Акре. Там ни во что вменяют все обиды для низших и наутро… ходят молиться для вида.

— О горе! о горе! — прошептал Ермий, — вижу, что он даже совсем еще далек от того, чтобы понимать, в чем погряз, но его ум и его естество, может быть, добры… Потому я, верно, для того к нему и послан, чтобы вывесть его одаренную душу на иную путину.

И сказал он ему вдохновенно:

— Брось свое гадкое ремесло, Памфалон.

А тот ему спокойно ответил:

— Очень бы рад, да не могу.

— Произнеси глагол к Богу, и Он тебе поможет.

Памфалон вздрогнул и упавшим голосом мол-

вил:

— Глагол!., зачем ты читаешь в душе моей то, о чем я хочу позабыть!

— Ага! ты, верно, уже давал обет и опять его нарушил?

— Да, ты отгадал: я сделал это дурное дело — я давал обет.

— Почему же ты называешь обет дурным делом?

— Потому, что христианам запрещено клясться и обещаться, а я, какой ни есть, все же христианин, и, однако, я давал обет и его нарушил. А теперь я знаю, что разве может слабый человек давать обет всемогущему, который предуставил, чем ему быть, и мнет его, как горшечник мнет глину на кружале? Да, знай, старичок, знай, что я имел возможность бросить скоморошество и не бросил.

— И почему же ты не бросил?

— Не мог.

— Что у тебя за ответ: все ты «не мог»! Почему ты и мог и не мог?

— Да, и мог и не мог, потому что… я небрежл ив — я не могу о своей душе думать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь.

Старец приподнялся на ложе и, вперив глаза в

скомороха, воскликнул:

— Что ты сказал?! Ты ни во что считаешь погубить свою душу на бесконечные веки веков, лишь бы сделать что-нибудь в сей быстрой жизни для другого! Да ты имеешь ли понятие о ярящемся пламени ада и о глубине вечной ночи?

Скоморох усмехнулся и сказал:

— Нет, я ничего не знаю об этом. Да и как я могу знать о жизни мертвых, когда я не знаю даже всего о живых? А ты знаешь о тартаре[131], старец?

— Конечно!

— А между тем я вижу, и ты не знаешь о многом, что есть на земле. Мне это странно. Я тебе говорю, что я человек негодный, а ты мне не веришь. А я не поверю тебе, что ты знаешь о мертвых.

— Несчастный! да ты имеешь ли даже понятие о самом Божестве?

— Имею, только очень малые понятия, но в том не ожидаю себе великого осуждения, потому что я ведь не вырос в благородной семье, я не слушал уроков у схоластиков в Византии.

— Бога можно знать и служить Ему без науки схоластиков.

— Я с тобою согласен и так всегда говорил в уме

---

[131] Примечания: 131
Царство мертвых в греческой мифологии.

с Богом: ты Творец, а я тварь — мне Тебя не понять, Ты меня всунул для чего в эту кожаную ризу и бросил сюда на землю трудиться, я и таскаюсь по земле, ползаю, тружусь. Хотел бы узнать: для чего это все так мудрено сотворено, да я не хочу быть как ленивый раб, чтобы о Тебе со всеми пересуживать. Я буду Тебе просто покорен и не стану разузнавать, что Ты думаешь, а просто возьму и исполню, что Твой перст начертал в моем сердце! А если дурно сделаю — Ты прости, потому что ведь это Ты меня создал с жалостным сердцем. Я с ним и живу.

— И ты на этом надеешься оправдаться!

— Ах, я ни на что не надеюсь, а я просто ничего не боюсь.

— Как! ты и Бога не боишься?!

Памфалон пожал плечами и ответил:

— Право, не боюсь: я Его люблю.

— Лучше трепещи!

— Зачем? Ты разве трепещешь?

— Трепетал.

— И нынче устал?

— Я уже не тот, что был прежде когда-то.

— Наверно, ты сделался лучше?

— Не знаю.

— Это ты хорошо сказал. Знает тот, кто со сто-

роны смотрит, а не тот, кто свое дело делает. Кто делает, тому на себя не видно.

— А ты себя когда-нибудь чувствовал хорошо?

Памфалон промолчал.

— Я умоляю тебя, — повторил Ермий, — скажи мне, ты когда-нибудь чувствовал себя хорошо?

— Да, — отвечал скоморох, — я чувствовал…

— А когда это было?

— Представь, это было именно в тот самый час, когда я себя от Него удалил…

— Боже! что говорит этот безумец!

— Я говорю сущую правду.

— Но чем и как ты отдалил себя от Бога?

— Я это сделал за единый вздох.

— Ответь же мне, что ты сделал?

Памфалон хотел отвечать, что с ним было, но в это самое мгновение циновку, которою была завешена дверь, откинули две молодые смуглые женские руки в запястьях, и два звонкие женские голоса сразу наперебой заговорили:

— Памфалон, смехотворный Памфалон! скорей поднимайся и иди с нами. Мы бежали впотьмах бегом за тобою от нашей гетеры… Спеши скорей, у нас полон грот и аллеи богатых гостей из Коринфа. Бери с собой кольца, и струны, и Акру, и птицу. Ты нынче в ночь можешь много зара-

ботать за свое смехотворство и хоть немножко вернешь свою большую потерю.

Ермий взглянул на этих женщин, и их лоснящаяся теплая кожа, их полурастворенные рты и замутившиеся глаза с обращенным в пространство взором, совершенное отсутствие мысли на лицах и запах их страстного тела ошибли его. Пустыннику показалось, что он слышит даже глухой рокот крови в их жилах, и в отдалении топот копыт, и сопенье, и запах острого пота Силена[132].

Ермий затрясся от страха, завернулся к стене и закрыл свою голову рогожей.

А Памфалон тихо молвил, нагнувшись в его сторону:

— Вот видишь, досуг ли мне размышлять о высоком! — и, сразу же переменив тон на громкий и веселый, он отвечал женщинам:

— Сейчас, сейчас иду к вам, мои нильские змейки.

Памфалон свистнул свою Акру, взял шест, на котором в обруче сидела его пестрая птица, и, захватив другие свои скоморошьи снаряды, ушел, загасив лампу.

---

[132] Примечания: 132
Похотливое веселое божество в греческой мифологии.

Ермий остался один в пустом жилище.

Глава одиннадцатая

Ермий не скоро позабылся сном. Он долго размышлял: как ему согласить в своем понятии то, для чего он шел сюда, с тем, что здесь находит. Конечно, можно сразу видеть, что скоморох — человек доброго сердца, но все же он человек легкомысленный: он потехи множит, руками плещет, ногами танцует и тростит головой, а оставить эти бесовские потехи не желает. Да и может ли он сделать это, так далеко затянувшись в разгульную жизнь? Вот где он, например, находится теперь, после того как ушел с этими бесстыжими женщинами, после которых еще стоит в воздухе рокотанье их крови и веянье страстного пота Силена?

Если таковы были посланницы, то какова же должна быть та, которой они служат в ее развращенном доме!..

Отшельник содрогнулся.

Для чего же было ему, после тридцати лет стояния, слезать со скалы, идти многие дни с страшной истомой, чтобы прийти и увидеть в Дамаске… ту же темную скверну греха, от кото-

рой он бежал из Византии? Нет, верно, не Ангел Божий его сюда послал, а искусительный демон! Нечего больше и думать об этом, надо сейчас же встать и бежать.

Тяжело было старцу подняться — ноги его устали, путь далек, пустыня жарка и исполнена страхов, но он не пощадил своего тела… он встает, он бредет во тьме по стогнам Дамаска, пробегает их: песни, пьяный звон чаш из домов, и страстные вздохи нимф, и самый Силен — все напротив его, как волна прибоя; но ногам его дана небывалая сила и бодрость. Он бежит, бежит, видит свою скалу, хватается за ее кремнистые ребра, хочет влезть в свою расщелину, но чья-то страшно могучая рука срывает его за ноги вниз и ставит на землю, а незримый голос грозно говорит ему:

— Не отступай от Памфалона, проси его рассказать тебе, как он совершил дело своего спасения.

И с этим Ермия так дунуло вспять, что он едва не задохся от бури, и, открыв глаза, видит день, и он опять в жилище Памфалона, и сам скоморох тут лежит, упав на голом полу, и спит, а его пес и разноперая птица дремлют…

Возле изголовья Ермия стояли два сосуда из глины — один с водою, другой с молоком, и на свежих зеленых листах мягкий козий сыр и соч-

ные фрукты.

Ничего этого с вечера здесь не было…

Значит, пустынник спал крепко, а его усталый хозяин, когда возвратился, еще не прямо лег спать, а прежде послужил своему гостю.

Скоморох поставил гостю все, что где-то достал, чтобы гость утром встал и мог подкрепиться…

Ни сыру, ни плодов в доме у Памфалона не было, а все это, очевидно, ему было дано там, где он вертелся и тешил гуляк у гетеры.

Он взял подачку от гетеры и принес это страннику.

«Чудак мой хозяин», — подумал Ермий и, встав с постели, подошел к Памфалону, взглянул в лицо его и засмотрелся. Вчера вечером он видел Памфалона при лампе и готового на скоморошество, с завитою головою и с лицом, разрисованным красками, а теперь скоморох спал, смыв с себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое и прекрасное. Ермию казалось, будто это совсем не человек, а Ангел.

«Что же! — подумал Ермий, — может быть, я не обманут; может быть, не было надо мной искушения, а это именно тот самый Памфалон, который совершеннее меня и у которого мне надо чему-то научиться. Боже! как это узнать? Как разрешить

это сомненье?

И старик заплакал, опустился перед скоморохом на колени и, обняв его голову, стал звать со слезами его по имени.

Памфалон проснулся и спросил:

— Что тебе угодно от меня, мой отец?

Но увидев, что старец плачет, Памфалон встревожился, спешно встал и начал говорить:

— Зачем я вижу слезы на старом лице твоем? Не обидел ли тебя кто-нибудь?

А Ермий ему отвечает:

— Никто меня не обидел, кроме тебя, потому что я пришел к тебе из моей пустыни, чтобы узнать от тебя для себя полезное, а ты не хочешь сказать мне: чем ты угождаешь Богу; не скрывайся и не мучь меня: я вижу, что живешь ты в жизни суетной, но мне о тебе явлено, что ты Богу любезен.

Памфалон задумался и потом говорит:

— Поверь, старик, что в моей жизни нет ничего такого, что бы можно взять в похвалу, а, напротив, все скверно.

— Да ты, может быть, сам не знаешь?

— Ну, как не знать! Я знаю, что живу, как ты сам видишь, в суете и вдобавок еще имею такое дрянное сердце, которое даже не допускает меня стать на лучшую степень.

— Ну вот скажи мне хоть об этом: какой вред сделало тебе твое сердце и как оно не допускает тебя стать на иной степень? Как это было, что ты почувствовал себя хорошо, когда сделал дурно?

— Ага! про это изволь, — отвечал Памфалон, — если ты так уже непременно этого требуешь, то я тебе расскажу этот случай, но только ты после моего рассказа, наверно, не захочешь ко мне возвратиться. Восстанем же лучше и пойдем отсюда за город, в поле: там на свободе я расскажу тебе про то происшествие, которое совсем меня отдалило от надежды исправления.

— Пойдем, Бога ради, скорее, — отвечал Ермий, покрываясь своими ветхими лохмотьями.

Они оба вышли за город, сели над диким обрывистым рвом, у ног их легла Акра, и Памфалон начал сказывать.

Глава двенадцатая

— Ни за что я не стал бы тебе рассказывать, — начал Памфалон, — о чем ты меня просишь, но как ты непременно хочешь считать меня за хорошего человека, а мне от этого стыдно, потому что я этого не стою, а стою одного лишь презренья, то я расскажу. Я большой грешник и бражник, но,

что всего хуже еще, — я обманщик, и не простой обманщик: а я обманул Бога в данном ему обете как раз в то самое время, когда получил невероятным образом возможность обет свой исполнить. Слушай, пожалуйста, и суди меня строго. Я желаю в твоем суде получить целебную рану, какую заслужил себе в наказание.

Нечистоту моей скоморошьей жизни ты видел, и все дальнейшее посему понять можешь. Кругом я грязен и скверен. Я тебе правду сказал, что рассуждать о Божественном я не научен и по жизни моей мне редко когда это приходит на мысль, но ты прозорлив — бывали случаи, что и я о своей душе думал. Вертишься ночь бражникам на потеху, а когда перед утром домой возвращаешься, и задумаешься: стоит ли этак жить? Грешишь для того, чтобы пропитаться, и питаешься для того, чтоб грешить. Все так и вертится. Но человек ведь, отче, лукав и во всяком своем положении ищет себе смоковничьи листья, чтобы прикрыть свою срамоту. Таков же и я; и я себе не раз думал: я в грехе погряз от нужды, я что добуду, тем едва пропитаюсь; вот если бы у меня сразу случились такие деньги, чтобы я мог купить хоть очень малое поле и работать на нем, так тогда бы я сейчас же оставил свое скоморошье и стал бы

жить, как другие степенные люди. Да не мог я этого достичь, и не потому, чтобы никогда в мои руки денег не попадало, — нет, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое случалось, что я не успею собрать сколько нужно, как уже все собранное и растрачу; случится кто-нибудь в горе, и мне его станет жаль, и я промотаюсь. Если бы мне враз пришло в руки много денег, тогда бы я, наверно, скоморошество оставил и перешел на степенность, а шить лоскут к лоскуту я не умею. Зачем меня Бог так устроил? Но если Он щедрой рукой когда-нибудь враз мне поможет, — ну, тогда я воздержусь и стану жить хорошо, как прочие благородные люди, которых почитают и монахи, и клирики, и все, ожидающие себе Царствия Небесного.

И что же ты думаешь! точно как с того будто слова случилось: вдруг выпал мне такой удивительный случай, о каком, казалось, невозможно было и думать. Слушай прилежно меня и суди меня строго.

Вот что было раз в моей жизни.

Был я позван однажды тешить гостей у одной здешней гетеры Азеллы. Она немолода, но ее красота долголетня, и Азелла всех здесь красивей, пышней и умнее. Гостей было много, и все

чужеземцы из Рима и хвастуны-богачи из Коринфа. Все упивались вином и меня беспрестанно заставляли играть им и петь. Другие хотели, чтобы я смешил их, и я всем угождал, как хотели. А когда я уставал, они не желали этого знать и надо мною обидно смеялись, толкали, насильно поили вином, в которое сыпали неприятную подмесь; обливали меня и злили мою бедную Акру. Они дергали ее за ляжки и плевали ей в нос, а когда Акра рычала, они ее били и даже грозились убить; я все это сносил, лишь бы побольше от них заработать, потому что, признаюсь тебе, мне надобно было тогда отправить на родину одного калеку-воина. Зато умная гетера Азелла, видя, как меня обижали, обратила это все в мою пользу: она раскрыла свою тунику и заставила всех кинуть мне несколько денег, гости же спьяну набросали мне много, а особенно один, горделивый и тучный Оркоринфянин, с надутым брюхом, без шеи. Ор громко сказал:

— Покажи мне, Азелла, много ли золота все положили в твою тунику.

Она показала.

Ор же взглянул и, скосивши лицо с надменной усмешкой на римлян, добавил:

— Слушай меня, что скажу я, Азелла: прогони

сейчас от себя всех этих гостей и возьми за то у слуги моего вдесятеро против того, что они все положили твоему скомороху.

Азелла сказала гостям:

— Мудрые люди, фортуна спускается к смертным не часто, а к Памфалону она еще во всю жизнь не сходила. Дайте ей место, а сами идите спокойно ко сну.

Недовольные гости ушли, а Азелла проводила меня последнего и дала мне так много денег, что я не мог счесть их, а утром, когда стал сосчитывать, насчитал двести тридцать златниц. Я и обрадовался и вместе с тем испугался.

«Вот, — подумал я, — случай, после которого я уже не должен более служить скоморошьим потехам. Это точно Бог внял моему обещанью. Никогда еще у меня не бывало зараз столько денег. Довольно же меня всем обижать и надо мной насмехаться. Теперь я не бедняк. За эти деньги я вчера снес большие обиды, но зато вперед этого больше не будет. Конец скоморошью! Я отыщу себе небольшое поле с ключом чистой воды и с многолиственной пальмой. Куплю это поле и стану жить честно, как все люди, с которыми не стыдятся вести знакомство ни клир, ни монахи».

И я предался разнородным мечтаньям, стал

любоваться собою, как я буду жить достойною жизнью: буду рано утром вставать, а не то что теперь — только утром ложиться; не буду свистать, а стану петь псалмы; буду днем работать в своем винограднике, а вечером сяду у своего ручья под своей пальмой и стану размышлять о своей душе да выглядывать путника. А покажется путник, я поднимусь и пойду ему навстречу, приглашу его к себе, приму его в дом, успокою, угощу и потом поведу с ним в тишине под звездным небом беседу о Боге. Переменится совсем к лучшему жизнь моя, и не буду я скоморохом в старости, когда оскудеют мои силы. А чтобы решение мое еще более окрепло и слабость ко мне ниотколь не подкралась, я завязал себе руки неразрывною цепью… Я сделал то, о чем ты говорил, я поклялся с этого раза стать совсем иным человеком; но послушай же, что затем сталось и перед чем я не устоял в клятве и обещании.

Глава тринадцатая

Чтобы ничего не истратить, я не пошел отправлять домой убогого воина, а зарыл все мои деньги в землю у себя под изголовьем и утром не поднимал моей циновки. Я притворился больным и

не хотел ни одного раза больше идти на гульбу с бражниками. Всем, кто приходил меня звать, я отвечал, что я болен и пойду за город в горы подышать свежим воздухом и поискать на болезнь мою целебную траву. А сам пробрался потихоньку к сводчику, к жиду Капитону, который знает все, где что продается, и просил его отыскать мне хорошее поле с водою и с пальмовой тенью. Капитон-сводчик меня сразу обрадовал.

— Есть, — говорит, — у меня на виду как раз то, что тебе нужно.

И описал мне продажное поле так хорошо, как я сам не умел о нем и подумать. Есть там и ключ и пальма, да еще и бальзамный куст, от которого струит ароматом на целое поприще.

— Иди, — говорю, — и купи мне скорей это поле.

Жид обещал все устроить.

«Вот, — думал я, — теперь уже совсем наступает конец моей беспорядочной жизни, теперь я брошу все мои крики и свисты, сниму все смешные наряды, надену на себя степенный левитон[133], покрою голову платом и буду работать день на поле, а вечером стану сидеть у своей кущи и под-

---

[133] Примечания: 133
Балахон первых христиан-богомольцев.

ражать гостеприимству Авраама.

Но не скрою от тебя — во все это время я ощущал беспокойство. Все мне казалось, что ничего того, что я затеял, не будет.

На обратном пути от Капитона объял меня страх: не узнал ли кто, что я получил деньги от гордого коринфянина, и не пришел ли без меня и не украл ли моих денег из того места, где я их зарыл у себя под постелью?.. Побежал я домой шибко, в тревоге, какой ранее никогда еще не знал, а прибежав, сейчас же прилег на землю, раскопал свою похоронку и пересчитал деньги: все двести тридцать златниц, которые бросил мне гордый Оркоринфянин, были целы, и я взял и опять их зарыл и сам лег на них, как собака.

И хочешь ли знать, кого я боялся? Мне страшно было не одних тех воров, что ходят и крадут, а я боялся и того вора, что жил вечно со мной в моем сердце. Я не хотел знать ни о чьем несчастье, чтобы оно не лишило меня той твердости, которая нужна человеку, желающему исправить путь своей собственной жизни, не обращая внимания на то, что где-нибудь делается с другими. Я не виноват в их несчастиях.

А так как я, ходя к Капитону и возвращаясь назад, изрядно устал, то меня одолел сон, но и сон

этот был тоже исполнен тревоги: то я видел, что давно уже купил себе сказанное Капитоном поле, и живу уже в светлом доме, и близко меня журчит родник свежей воды, и бальзамный куст мне точит аромат, и ветвистая пальма меня отеняет. То во всей этой красоте все что-то портит: в роднике я вижу бездну пиявиц, вокруг пальмы прыгают огромные жабы, а под самым бальзамным кустом извивается аспид[134]. Увидав аспида, я так испугался, что даже проснулся, и сейчас подумал: целы ли мои деньги? Они были целы — я лежал на них, и никто их не мог взять без насилия. И вот мне пришла мысль, что богатство, которое мне бросил Ор у Азеллы, вероятно, не осталось до сих пор тайной в Дамаске. Не с тем кинул мне деньги на пиру у гетеры гордый коринфянин Ор, чтобы это оставалось в тайне. Он, конечно, для того только это и сделал, чтобы все завидовали его богатству и распускали молву, которая лестна для его гордости. И вот теперь люди узнают, что у меня есть деньги, и придут ко мне ночью, и меня ограбят, и изобьют, а если я стану им сопротивляться, то они совсем убьют меня.

А как у меня циновка была опущена, то в гор-

---

[134] Примечания: 134
Змея.

нице стало нестерпимо душно, и я подошел приподнять циновку и вижу, что по улице идут два малолетних мальчика с корзинами, полными хлеба, а перед ними осел, который тоже нагружен такими же корзинами с хлебом. Мальчики погоняют осла и разговаривают между собою… обо мне!

— Вот, — говорит один, — наш Памфалон нынче уже и циновки своей не открывает.

— Да зачем ему теперь открывать ее, — отвечает другой, — ему больше не нужно кривляться: он богач — может спать сколько захочет. Ты ведь, я думаю, слышал, что рассказывали все, которые приходили сегодня к нам в пекарню за хлебом.

— Как же, как же, я даже так заслушался, что хозяин дал мне за это во всю ладонь подзатыльник. Какой-то гордец из Коринфа, чтобы унизить наших дамасских богачей, бросил Памфалону у гетеры Азеллы десять тысяч златниц. Он теперь купит дом, и сады, и невольниц и будет лежать у фонтана.

— Не десять, а двадцать тысяч златниц, — поправил другой, — и притом деньги эти были еще в ящике, осыпанном перлами. Он купит, наверное, поле с чертогом, поставит вокруг себя самых красивых мальчиков с опахалами и станет сби-

рать разных ученых и заставлять их рассуждать на разных языках о Святом Духе.

Из этого разговора мальчиков, развозивших хлеб из пекарни, я узнал, что случай моего неожиданного обогащения уже известен всему Дамаску, а притом и самая сумма, которою я обладал по прихоти горделивого Ора, была более чем в десять раз преувеличена.

Да и кто мог наверно знать, что сумма, брошенная мне гордецом Ором, заключалась менее чем в трехстах литрах, а совсем не в двадцати тысячах златниц? Конечно, это знал только один я, потому что и сам Ор, без сомнения, не считал того, что он мне кинул.

Но и это было еще маловажно в сравнении с тем, чем закончили свой разговор проходившие мальчики. Один из них продолжал, будто всех очень занимает: куда я спрятал теперь такое богатство, как двадцать тысяч златниц.

Особенно же этим будто интересовался флейтщик Аммун, отчаянный головорез, который прежде был воином в двух взаимно враждовавших армиях, потом разбойником, убивавшим богомольцев, а после еще монахом в Нитрийской пустыне и, наконец, явился сюда к нам в Дамаск с флейтою и черной блудницей, завернутой в

милоть нитрийского брата[135]. Брата он, верно, убил, а блудницу продал в веселый дом нагишом, а милотью обтирал долго пыль и грязь с ног гуляк, подходящих вечерами к порогам гетер. Он также часто играл на своей флейте при моих представлениях, но еще чаще гетеры отгоняли его. Аммун сам был виноват, потому что он без стыда начал румянить себе щеки и наводить брови, как особа обоего пола. Этим он сделался мерзок для женщин, как их соперник. Меня Аммун страшно ненавидел. Я даже знал, что он уже несколько раз научал пьяных людей напасть на меня ночью и сделать мне вред.

Теперь желанье сделать мне вред в Аммуне, конечно, должно было усилиться, а его старинные разбойничьи навыки могли помочь ему привести задуманное им злодейство в исполнение. У него уже было золото, и он брал себе людей в кабалу и заставлял их делать, что скажет.

Глава четырнадцатая

Мысль об опасности, угрожающей мне от Аммуна, пролетела в моей голове как молния и так

---

[135] Примечания: 135
Монаха.

овладела мною, что даже помешала мне отнять рогожу от окна и воротить прошедших мимо мальчиков, у которых мне надо было купить для себя свежих хлебов.

Скача и вертясь за то, что мне кинут, я всегда был сыт и даже очень нередко подкреплял себя вволю вином, а теперь, когда у меня было золото, я впервые провел весь день и без пищи и без глотка вина, а притом еще и в тревоге, которая возрастала так же быстро, как быстро сгущаются наши сумерки, переходящие в темную ночь.

Мне было не до пищи: я страшился за целость моего богатства и за мою жизнь: флейтщик Аммун так и стоял с своими кабальными перед глазами напуганной души моей. Я думал, это непременно так и есть: вот он днем обегал уже всех подобных ему, согласных на злодейства, и теперь, при наступающей темноте, все они собрались в какой-нибудь пещере или корчемнице, а как совсем стемнеет, они придут сюда, чтобы взять от меня двадцать тысяч златниц. Когда же они не найдут у меня столько, сколько думают, то они не поверят, что коринфянин Ор не дарил мне такой суммы, и станут меня жечь и пытать.

И тут вдруг я, к ужасу своему, вспомнил, что я никогда как следует не заботился о крепости

запоров для своего бедного жилища… Я закрывал его на время моего отсутствия более только для вида, а ночью часто спал, даже совсем не положив болтов ни на двери мои, ни на окна.

Теперь это не годилось, и как время уже совсем приблизилось к ночи, то надо было поспешить все пересмотреть и что можно поскорее приладить, чтобы не так легко было ко мне ворваться.

Я придумал, как можно подпереть изнутри мою дверь, но только что стал это подстроивать, как вдруг неожиданно, перед самыми глазами моими, моя циновка распахнулась, и ко мне не взошел, а точно чужою сильною рукою был вброшен весь закутанный человек. Он как впал ко мне, так обвил мою шею и замер, простонав отчаянным голосом:

— Спаси меня, Памфалон!

Глава пятнадцатая

С теми мыслями, каких я был полон в эту минуту и чего в тревоге опасался от Аммуна, я прежде всего заподозрил, что это начинается его дело, затеянное с какою-нибудь хитростию, в которых разбойничий ум Аммуна был очень искусен.

Я уже ждал боли, которую должен был ощутить

от погружения в мою грудь острого ножа рукою впавшего ко мне гостя, и, охраняя жизнь свою, с такою силою оттолкнул от себя этого незнакомца, что он отлетел от меня к стене и, споткнувшись на обрубок, упал в угол. А я тотчас же сообразил, что мне легче будет управиться с одним человеком, который притом показался мне слабым, чем с несколькими за ним следующими, и потому я поскорее примкнул заставицу и задвинул крепкий засов, а потом взял в руки секиру и стал прислушиваться. Я твердо решился ударить секирою всякого, кто бы ни показался в мое жилище, а в то же время не сводил глаз с того пришельца, которого отшвырнул от себя в угол.

Он стал мне казаться странен тем, что неподвижно лежал в углу, куда упал, и занимал так мало места, как ребенок, а в то же время он совсем не обнаруживал ничего против меня ухищренного, а, напротив, был будто заодно со мною. Он зорко следил за каждым моим движением и, учащенно дыша, шептал:

— Запрись!., скорей запрись!., скорей запрись, Памфалон!

Меня это удивило, и я сурово сказал:

— Хорошо, я запрусь, но тебе что от меня нужно?

— Подай мне поскорее твою руку, дай мне испить и посади меня у твоей лампы. Тогда я скажу тебе, что мне нужно.

— Хорошо, — отвечал я, — каковы бы ни были твои замыслы, но вот тебе моя рука, и вот чаша воды и место у моей лампы.

С этим я протянул гостю руку, и передо мною вспорхнуло легкое детское тело.

— Ты не мужчина, а женщина! — вскричал я.

А гость мой, говоривший до сей поры шепотом, отвечает мне женским голосом:

— Да, Памфалон, я женщина, — и с этим она распахнула на себе темную епанчу, в которую была завернута, и я увидал молодую, прекрасную женщину, с лицом, которое мне было знакомо. На нем вместе с красотою отражалось ужасное горе. Голова ее была покрыта дробным плетением волос, и тело умащено сильным запахом амбры, но она не имела бесстыдства, хотя говорила ужасные вещи.

— Посмотри, хороша или нет я? — спросила она, отеняясь одною рукою от лампы.

— Да, — отвечал я, — ты бесспорно красива, и тебе лучше не терять своего времени со мною. Что тебе нужно?

А она говорит:

— Ты не узнал меня, верно. Я Магна, дочь Птоломея с Альбиной. Купи меня, купи, Памфалон-скоморох, дочь Птоломея — у тебя теперь много богатства, а Магне золото нужно, чтоб спасти мужа и избавить детей из неволи.

И, орошая щеки слезами, Магна стала торопливой рукой разрешать на себе пояс туники.

Глава шестнадцатая

Старик! я видал много людей, но такой странной гостьи у меня еще никогда не случалось… Она и продавала себя и страдала, и все это вместе меня как будто сдавило за сердце.

Имя Магна принадлежало самой прекрасной, именитой и несчастной женщине в Дамаске. Я знал ее еще в детстве, но не видал ее с тех пор, как Магна удалилась от нас с византийцем Руфином, за которого вышла замуж по воле своего отца и своей матери, гордой Альбины.

— Остановись! — вскричал я. — Я тебя узнаю, ты в самом деле благородная Магна, дочь Птоломея, в садах которого я с позволения твоего отца не раз забавлял тебя в детстве моими играми и получал из твоих ласковых рук монеты и пшеничный хлеб, изюм и гранатовые яблоки!

Говори мне скорее, что с тобой сделалось, где твой супруг, роскошный богач-византиец Руфин, которого ты так любила? Неужто его поглотили волны моря, или молодую жизнь его пресек меч переплывшего Понт скифского варвара? Где же твоя семья, где твои дети?

Магна, потупясь, молчала.

— Скажи же по крайней мере, когда ты явилась в Дамаск и зачем ты не у своих здешних родных или не у прежних богатых подруг — у умной Фотины, у ученой Таоры или у целомудренной Сильвии-девы? Зачем быстрые ноги твои принесли тебя к бедному жилищу бесславного скомороха, над которым ты сейчас так жестоко посмеялась, сделав мне в шутку такое нестаточное предложение!

Но Магна грустно покачала головою и проговорила в ответ:

— Ты, Памфалон, не знаешь всех моих ужасных несчастий! Я не смеюсь: я пришла продать себя не для шутки. Муж мой и дети!.. Муж мой и дети мои все в неволе. Мое горе ужасно!

— Ну так скорее скажи мне, что это за горе, и если я могу тебе пособить, я все с радостью тотчас исполню.

— Хорошо, я все скажу тебе, — отвечала Магна.

И тут-то, пустынник, постигло меня то искушение, за которым я позабыл и обет мой, и клятву, и самую вечную жизнь.

Глава семнадцатая

Я знал Магну с ранних дней ее юности. Я не был в доме ее отца, а был только в саду как скоморох, когда меня звали, чтобы потешить ребенка. Гостей, вхожих к ним, было мало, потому что великолепный Птоломей держал себя гордо и с людьми нестрогой жизни не знался. В его доме не было таких сборищ, при которых был нужен скоморох, а там собирались ученые богословы и изрекали о разных высоких предметах и о самом Святом Духе. Жена Птоломея, Альбина, мать красавицы Магны, была под стать своему мужу. Все самые пышные жены Дамаска не любили ее, но все признавали ее непорочность. Верность Альбины для всех могла быть уроком. Превосходная Магна уродилась в мать, на которую походила и прекрасным лицом, но молодость ее заставляла ее быть милосердной.

Прекрасный сад ее отца, Птоломея, примыкал к большому рву, за которым начиналось широкое поле. Мне часто приходилось проходить этим

полем, чтобы миновать дальний обход к загородному дому гетеры Азеллы. Я всегда шел с моей скоморошьего ношей и с этой самой собакою. Акра тогда была молода и не знала всего, что должна знать скоморошья собака.

Выходя в поле, я останавливался на полпути, как раз против садов Птоломея, чтобы отдохнуть, съесть мою ячменную лепешку и поучить мою Акру. Я обыкновенно садился над обрывом оврага, ел и заставлял Акру повторять на широком просторе уроки, которые давал ей у себя, в моем тесном жилище. Среди этих занятий я и увидал один раз прекрасное лицо взросшей Магны. Закрывшись ветвями, она любопытно смотрела из зелени на веселые штуки, которые проделывала моя Акра. Я это приметил и, не давая Магне заметить, что я ее вижу, хотел доставить ей представлениями моего пса более удовольствия, чем Акра могла показать по тогдашней своей выучке. Чтобы побудить собаку к проворству, я несколько раз хлестнул ее ремнем, но в ту самую минуту, когда собака взвизгнула, я заметил, что зелень, скрывавшая Магну, всколыхнулась, и прекрасное лицо девушки исчезло…

Это привело меня в такое озлобление, что я еще ударил Акру два раза, и когда она подняла

жалобный визг, то из-за ограды сада до меня донеслись слова:

— Жестокий человек! За что ты мучишь это бедное животное! для чего ты принуждаешь собаку делать то, что несвойственно ее природе.

Я оборотился и увидал Магну, которая вышла из своего древесного закрытия, и, стоя по перси над низкой, заросшей листами оградой, говорила она мне с лицом, пылающим гневом.

— Не осуждай меня, юная госпожа, — отвечал я, — я не жестокий человек, а выучка этого пса относится к моему ремеслу, которым мы с ним оба питаемся.

— Презренно твое ремесло, которое нужно только презренным празднолюбцам, — ответила мне Магна.

— О, госпожа! — отвечал я, — всякий питается тем, чем он может добыть себе пищу, и хорошо, если он живет не на счет другого и не делает несчастия ближним.

— Это не идет к тебе, ты развращаешь своих ближних, — молвила Магна, и в глазах ее я мог видеть ту же строгость, которою отличался всегда взор ее матери.

— Нет, юная госпожа, — отвечал я, — ты судишь строго и говоришь так потому, что мало сама

испытала. Я простолюдин и не могу развращать людей высшего звания.

И я повернулся и хотел уходить, как она остановила меня одним звуком и сказала:

— Не идет тебе рассуждать о людях высокого звания. Лучше вот… лови мой кошелек: я бросаю это тебе, чтобы ты дал вволю пищи твоей жалкой собаке.

С этим она бросила шелковый мешочек, который не долетел на мою сторону, а я потянулся, чтобы его подхватить, и, оборвавшись, упал на дно оврага.

В этом падении я страшно расшибся.

Глава восемнадцатая

В бедствии моем мне было утешением, что во все десять дней, которые я провел в малой пещерке на дне оврага, ко мне всякий день спускалась благородная Магна. Она приносила мне столько роскошной пищи, что ее с излишком доставало для меня и для Акры, а Магна сама, своими девственными руками, смачивала у ручья плат, который прилагала к моему больному плечу, стараясь унять в нем несносный жар от ушиба. При этом мы с ней вели отрадные для меня разговоры,

и я наслаждался как чистотой ее сердца, так и ясным светом рассудка. Одно мне в ней было досадно, что она не снисходила ничьим слабостям и слишком на себя во всем полагалась.

— Отчего, — говорила она, — все не живут, как живет моя мать и мои подруги, Таора, Фотина и Сильвия, которых вся жизнь чиста, как кристалл.

И я видел, что она их весьма уважала и во всем хотела им следовать. Несмотря на свою молодость, она и меня хотела исправить и оторвать от моей жизни, а когда я не решался ей этого обещать, то она сердилась.

Я же ей говорил то, что и есть в самом деле.

— Разве ты не знаешь, — говорил я, — что нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение? Живи ты для чести, а я определен жить для поношения, и, как глина, я не спорю с моим горшечником. Жизнь меня заставила быть скоморохом, и я иду своею дорогой, как бык на веревке.

Магна не умела понять простых слов моих и все относила к привычке.

— Сказано мудрым, — отвечала она, — что привычка приходит, как странник, остается, как гость, и потом сама становится хозяином. Деготь, побывав в чистой бочке, делает ее ни к чему

больше не годною, как опять же для дегтя.

Нетрудно мне было понять, что она становится нетерпелива, и я в глазах ее теперь — все равно что дегтярная бочка, и я умолкал и сожалел, что не могу уйти скорей из оврага. Тяжело стало мне от ее самомнения, да и сама она стала заботиться, как меня вынуть из рва и доставить в мое жилище.

Сделать это было трудно, потому что сам я идти не мог, а девушка была слишком слаба, чтобы помочь мне в этом. Дома же она не смела признаться своим гордым родителям в том, что говорила с человеком моего презренного звания.

И как один проступок часто влечет человека к другому, так же случилось и здесь с достойною Магной. Для того чтобы помочь мне, презренному скомороху, который не стоил ее внимания по своему недостоинству, она нашла себя вынужденной довериться еще некоторому юноше, по имени Магистриан.

Магистриан был молодой живописец, который прекрасно расписывал стены роскошных домов. Он шел однажды с своими кистями к той же гетере Азелле, которая велела ему изобразить на стенах новой беседки в ее саду пир сатиров и нимф, и когда Магистриан проходил полем близ

того места, где лежал я во рву, моя Акра узнала его и стала жалостно выть.

Магистриан остановился, но, подумав, что на дне рва, вероятно, лежит кто-нибудь убитый, хотел поскорей удалиться. Без сомнения, он и ушел бы, если бы наблюдавшая все это Магна его не остановила.

Магна увлеклась состраданьем ко мне, раскрыла густую зелень листвы и сказала:

— Прохожий! не удаляйся, не оказав помощи ближнему. Здесь на дне рва лежит человек, который упал и расшибся. Я не могу пособить ему выйти, но ты сильный мужчина, и ты можешь оказать ему эту помощь.

Магистриан тотчас спустился в ров, осмотрел меня и побежал в город за носильщиками, чтобы перенести меня в мое жилище.

Вскоре он все это исполнил и, оставшись со мною наедине, стал меня спрашивать: как это со мною случилось, что я упал в ров и расшибся, и как я мог жить две недели без пищи?

А как мы с Магистрианом были давно знакомы и дружны, то я не хотел ему говорить что-нибудь выдуманное, а рассказал чистую правду, как было.

И едва я дошел до того, как питала меня Магна

и как она своими руками смачивала в воде плат и прикладывала его к моему расшибленному плечу, юный Магистриан весь озарился в лице и воскликнул в восторге:

— О, Памфалон! сколь ты счастлив, и как мне завиден твой жребий! Я бы охотно позволил себе изломать мои руки и ноги, лишь бы видеть возле себя эту нимфу, эту великодушную Магну.

Я сейчас же уразумел, что сердце художника поразило сильное чувство, которое зовется любовью, и я поспешил его образумить.

— Ты малодушник, — сказал я. — Дочь Птоломея прекрасна, об этом ни слова, но здоровье для всякого человека есть самое высшее благо, а притом Птоломей так суров, а мать Магны, Альбина, так надменна, что если душа твоя чувствует пламень красот этой девушки, то из этого ничего для тебя хорошего выйти не может.

Магистриан побледнел и отвечал:

— Чему ж еще надобно выйти! Разве мне не довольно, что она меня вдохновляет.

И он ею продолжал вдохновляться.

Глава девятнадцатая

Когда я оправился и пришел в первый вечер к Азелле, Магистриан повел меня показать картины, которые он написал на стенах в беседке гетеры. Обширное здание беседки было разделено на «часы», из которых слагается каждый день жизни человека. Всякое отделение назначалось к тому, чтобы приносить в свой час свои радости жизни. Вся беседка в целом была посвящена Сатурну, изображение которого и блестело под куполом. У главного круга было два крыла в честь Гор, дочерей Юпитера и Фемиды, а эти отделения еще разделялись: тут были покои Ауге, откуда виднелась заря, Анатоло, откуда был виден восход солнца; Музия, где можно было заниматься науками; Нимфея, где купались; Спондея, где обливались; Киприда, где вкушали удовольствия, и Элетия, где молились... И вот здесь-то, в одном отдаленном уголке, который назначался для уединенных мечтаний, живописец изобразил легкою кистью благочестивое сновидение... Нарисован был пир; нарядные и роскошные женщины, которых я всех мог бы назвать поименно. Это все были наши гетеры.

Они возлежали с гостями, в цветах, за пышным столом, а некто юный спал, уткнувшись лицом в корзину с цветами. Лицо его не было видно, но я по его тоге узнал, что это был сам художник Магистриан. А над ним виднелася травля: львы в цирке неслися на юную девушку… а та твердо стояла и шептала молитвы. Она была Магна.

Я его потрепал по плечу и сказал:

— Хорошо!., ты ее написал очень схоже, но почему ты полагаешь, что ей звери не страшны? Я знаю их род: Птоломей и Альбина известны своим благородством и гордостию тоже, но ведь рок их щадил, и их дочери тоже до сих пор не касалось никакое испытание.

— Что же из этого?

— А то, что прекрасная Магна никаких бедствий жизни не знает, и я не понимаю, почему ты отметил в ней такую черту, как бесстрашие и стойкость перед яростью зверя? Если это иносказанье, то жизнь ведь гораздо страшнее всякого зверя и может заставить сробеть кого хочешь.

– *Только* не Магну!

— Ах, я думаю, *даже* и Магну!

Я говорил так для того, чтобы он излишне не увлекался Магной; но он перебил меня и прошептал мне:

— Меня звали делать ширмы для ее девственной спальни, и пока я чертил моим углем, я с ней говорил. Она меня спросила о тебе…

Живописец остановился.

— Она сожалеет, что ты занимаешься таким ремеслом, как скоморошество. Я ей сказал: «Госпожа! не всякий в своей жизни так счастлив, чтобы проводить жизнь свою по избранию. Неодолима судьба: она может заставить смертного напиться из самого мутного источника, где и пиявки и аспид на дне». Она пренебрежительно улыбнулась.

— Улыбнулась? — спросил я. — Узнаю в этом дочь Птолемея и гордой Альбины. Мне, знаешь ли… мне больше понравилось бы, если бы она промолчала, а еще лучше — с состраданием тихо вздохнула б.

— Да, — произнес Магистриан, — но она также сказала. «Смерть лучше бесславия», и я верю, что она на это способна.

— Ты скоро судишь, — отвечал я, — смерть лучше бесславия — это неспорно, но может ли это сказать мать, у которой есть дети?

— Отчего же? ты только вспомни, что сделала мать Маккавеев?

— Да. Маккавеев убили. А если бы матери их

погрозили сделать детей такими скоморохами, как я, или обмывщиками ног в доме гетеры… Что? я думаю, если бы мать их была сама Магна, — то Бог весть что бы она предпочла: позор или смерть за их избавление?

— Зачем говорить это! — воскликнул, отходя от меня, Магистриан, — пусть не коснется ее вовек никакое зло.

— О, — говорю я, — от всей души присоединяюсь к твоему желанию всего доброго Магне.

А на другой же день после этого разговора Магистриан пришел ко мне перед вечером очень печальный и говорит:

— Слышал ли ты, Памфалон, самую грустную новость? Птоломей и Альбина выдают дочь свою замуж!

— А почему ты называешь это грустною новостью? — отвечал я. — С каких это пор союз двух сердец стал печалью, а не радостью?

— Это было всегда, когда сердце соединяют с бессердечием.

— Магистриан! — остановил я живописца, — в тебе говорит беспокойное чувство, его зовут ревность. Ты должен его в себе уничтожить.

— О, я уже давно его уничтожил, — отвечал живописец — Магна мне не невеста, и я ей не

жених, но ужасно, что жених ее — приезжий Руфии-византиец.

Это имя мне так было известно, что я вздрогнул и опустил из рук мое дело.

Глава двадцатая

Руфин-византиец был из знатного рода и очень изящен собою, но страшно хитер и лицемер столь искусный, что его считали чрезмерным даже в самой Византии. Тщеславный коринфянин Ор и все, кто тратили деньги и силы на пирах у гетеры Азеллы, были, на мое рассуждение, лучше Руфина. Он прибыл в Дамаск с открытым посланием и был принят здесь Птоломеем отменно. Руфин, как притворщик, целые дни проводил во сне дома, а говорил, будто читает богословские книги, а ввечеру удалялся, еще для полезных бесед, за город, где у нас о ту пору жил близ Дамаска старый отшельник, стоя днем на скале, а ночью стеная в открытой могиле. Руфин ходил к нему, чтобы молиться, стоя в его тени при закате солнца, но отсюда крылатый Эол его заносил постоянно под кровлю Азеллы, всегда, впрочем, с лицом измененным благодаря Магистрианову искусству. А потому мы хорошо его знали, ибо Магистриан,

как друг мой, не делал от меня тайны, что он рисовал другое лицо на лице Руфина, и мы не раз вместе смеялись над этим византийским двуличьем. Знала об этом и гетера Азелла, так как гетеры, закрыв двери свои за гостями, часто беседуют с нами и, находя в нас, простых людях, и разум и сердце, любят в нас то, чего не встречают порою в людях богатых и знатных.

Азелла же, надо сказать, любила моего живописца, и любила его безнадежно, потому что Магистриан думал об одной Магне, чистый образ которой был с ним неразлучно. Азелла чутким сердцем узнала всю эту тайну и тем нежней и изящней держала себя с Магистрианом. Когда я и Магистриан оставались в доме Азеллы, при восходе солнца она, проводив своих гостей, часто говорила нам, как она которого из них разумеет, и не скрывала от нас своего особенного презрения к Руфину. Она называла его гнусным притворщиком, способным обмануть всякого и сделать самую подлую низость, а Азелла всех хорошо понимала. Один раз после безумных трат коринфянина Ора она нам сказала:

— Это бедный павлин… Все его щиплют, и когда здесь бывает с ним вместе византиец Руфин, хорошо бы встряхивать Руфинову епанчу.

Это значило, что Руфин мог быть и вор… Азелла никогда не ошибалась, и я и Магистриан это знали.

Но Птоломей и Альбина глядели на византийца своими глазами, а добрая дочь их была покорна родительской воле, и жребий ее был совершен. Магна сделалась женою Руфина, который взял ее вместе с богатым приданым, данным ей Птоломеем, и увез в Византию.

Глава двадцать первая

Птоломей и Альбина были скоро наказаны роком. Лицемерный Руфин оказался и небогат, и не столь именит, как выдавал себя в Дамаске, а главное, он совсем не был честен и имел такие большие долги, что богатое приданое Магны все пошло на разделку с теснившими его заимодавцами. Скоро Магна очутилась в бедности, и приходили слухи, будто она терпит жестокую долю от мужа. Руфин заставлял ее снова выпрашивать серебро и золото у ее родителей, а когда она не хотела этого делать, он обращался с нею сурово. Все же, что присылали Магне ее родители, Руфин издерживал бесславно, совсем не думая об уменьшении долга и о двух детях, которые

ему родились от Магны. Он, так же как многие знатные византийцы, имел в Византии еще и другую привязанность, в угоду которой обирал и унижал свою жену.

Это так огорчило гордого Птоломея, что он стал часто болеть и вскоре умер, оставя своей вдове только самые небольшие достатки. Альбина все повезла к дочери: она надеялась спасти ее и потеряла все свои деньги на дары приближенным епарха Валента, который сам был алчный сластолюбец и искал случая обладать красивою Магной. Кажется, он имел на это согласие самого Руфина. Говорили, будто Руфин даже понуждал свою жену отвечать на исканье Валента, заклиная ее согласиться на это для спасенья семейства, потому что иначе Валент угрожал отдать Руфина со всею его семьею во власть его заимодавцев.

Альбина не вынесла этого и скоро переселилась в вечность, а Магна осталась с детьми в самой горестной бедности, но не предалась развращенным исканьям Валента.

Тогда гневный вельможа Валент распорядился отдать всех их во власть заимодавцев.

Заимодавцы посадили Руфина в тюрьму, а детей его и бедную Магну взяли в рабство. А чтобы сделать это рабство еще тяжелее, они разлучили

Магну с детьми и малюток ее отослали в село к скопцу-селянину, а ее отдали содержателю бесчестного дома, который обязался платить им за нее в каждые сутки по три златницы.

Напрасно вопияла ко всем бедная Магна и у всех искала защиты. Ей отвечали: над нами над всеми закон. Закон наш охраняет многоимущих. Они всех сильней в государстве. Если бы был теперь на своем месте наш прежний правитель Ермий, то он, как человек справедливый и милосердный, может быть, вступился бы и не допустил бы этого, но он очудачел: оставил свет, чтобы думать только об одной своей душе. Жестокий старик! Пусть небо простит ему его отшельничье самолюбие.

Произнеся эти слова, скоморох заметил, что сидевший возле него пустынник вздрогнул и схватил Памфалона за руку. Памфалон спросил его:

— Что, ты о них сожалеешь, что ли?

— Да, я сожалею… сожалею… И о них и о себе сожалею, — отвечал Ермий. — Продолжай твою повесть.

Памфалон стал продолжать.

Глава двадцать вторая

Содержатель бесчестного дома, чтобы избежать неприятного шума в столице и надежнее взять свои деньги, не стал держать Магну в Византии, а отправил ее в Дамаск, где ее все знали как самую благородную и недоступную женщину, а потому, без сомнения, теперь все устремятся обладать ею.

Магну, как рабыню, стерегли зорко, и у нее были отняты все средства бежать. Она не могла и лишить себя жизни, да она о самоубийстве и не помышляла, потому что она была мать и стремилась найти и спасти своих детей от скопца из неволи.

Так она под караулом и в закрытости была привезена в Дамаск, и на другой день, то есть именно в тот день, когда я скрывался, лежа на моем золоте, огласилось, что продающий Магну содержит ее у себя за плату по пяти златниц за каждые сутки. Получить ее может всякий, кто заплатит златницы.

Глава двадцать третья

Тот, кто взялся выручать за Магну златницы, конечно не медлил, чтобы собирать их с хорошим прибытком, и для того разослал зазывальщицу по всем богатым людям Дамаска, чтобы оповестить им, каким он роскошным владеет товаром.

Развращенные люди кинулись в дом продавца, и Магна весь день едва лишь спасалась слезами. Но к вечеру продавец стал угрожать снестись с тем, кто взял ее детей, чтобы их оскопить, и она решилась ему покориться… И после этого силы ее оставили, и она крепко заснула и увидела сон: к ней кто-то тихо вошел и сказал ей: «Радуйся, Магна! ты сегодня обрела то одно, чего тебе во всю твою жизнь недоставало. Ты была чиста, но гордилась своей непорочностью, как твоя мать; ты осуждала других падших женщин, не внимая, чем они доведены были до падения. Это было ужасно, и вот теперь, когда ты сама готова пасть и знаешь, как это тяжко, теперь твоя противная Богу гордость сокрушилась, и теперь Бог сохранит тебя чистой».

И в это же самое время в дом, где заключалась Магна, постучался один застенчивый гость, ко-

торый закрывал лицо свое простой епанчою, и, тихо позвав хозяина, сказал ему шепотом:

— Ах, я очень стыдлив, но умираю от страсти. Скорее введи меня к Магне — даю тебе десять златниц.

— Я должен сказать тебе, господин, что эта женщина из знатного рода, и она стоит мне по кабале больших денег, которых я через нее не выручил, потому что она умела разжалобить всех, кого я вводил к ней. Не мое будет дело, если ты станешь слушать ее слова и тебя размягчат ее речи. Я свое золото должен иметь, потому что я человек бедный и взял ее за дорогую цену.

— Не беспокойся, — отвечал, продолжая скрывать лицо, незнакомец, — вот получи свои десять златниц, а я не таковский: я знаю, что значат женские слезы.

Продавец взял у него десять златниц и дернул шнур, который опрокинул медную чашу, содержавшую медный же шар. Шар покатился по холщовому желобу и, докатившись до шатрового отделения Магны, звонко упал в медный таз, стоявший у изголовья ее постели. После чего продавец сейчас же повел гостя к Магне.

Глава двадцать четвертая

Незнакомец вошел в отдаленный покой, накуренный пистиком[136] и амброй, и увидал здесь при цветочном фонаре лежащую Магну. Ее не разбудил удар в таз, потому что как раз в это время ей снился тот сон, где открывалось, что надменная сила ее отлетела и теперь она спасена за признание своей немощи.

Продавец упрекнул Магну, что она не слыхала удара шара по тазу, и, указав ей на незнакомца, сказал грубо:

— Не притворяйся, будто не слышишь, что к тебе пущен шар! Вот кому я уступил всякую власть над тобою до утра. Будь умна и покорна. А если ты еще заставишь меня терпеть убытки, я передам тебя туда, где к тебе будут входить суровые воины, и от тех ты уже не дождешься пощады.

И, сказав это, продавец взял шар и вышел, а гость затворил за ним и, оборотись, тихо молвил Магне:

— Не бойся, злополучная Магна, я пришел, чтобы спасти тебя. — И он сбросил свой плащ.

---

[136] Примечания: 136
Полевой хвощ.

Магна узнала Магистриана и зарыдала.

— Оставь слезы, прекрасная Магна. Теперь не время, чтоб лить их и отчаиваться. Успокойся и верь, что если небо спасало тебя до сего часа, то теперь твое избавление уже несомненно, если ты только согласна сама помогать мне, чтобы я мог тебя выручить и возвратить тебя детям и мужу.

— Согласна ли я! — воскликнула Магна. — О, добрый юноша, разве в этом возможно сомненье!

— Так поспеши же скорее делать, что я тебе скажу: теперь я отвернусь от тебя — и давай как можно скорее переменимся платьем.

И вот Магна надела на себя тунику, и епанчу, и все, что имел на себе мужское Магистриан, а он сказал ей:

— Не медли, спасайся! закрой епанчой твое лицо точно так, как вошел сюда я, и смело иди из этого дома! Твой презренный хозяин сам тебя выведет за свои проклятые двери.

Магна так и сделала и благополучно вышла, но тотчас же, выйдя, стала сокрушаться: куда ей бежать, где скрыться и что будет с бедным юношей, когда завтра обман их откроют? Магистриан подвергнется истязаньям, как разрушитель заимодавного права; он, конечно, не имеет столько,

чтобы заплатить весь долг, за который отдана в кабалу Магна, и его навеки посадят в тюрьму и будут его мучить, а она все равно не может явиться к своим детям, потому что ей нечем выкупить их из кабалы.

И вот тут этой женщине пришла в голову мысль, которая навсегда лишила меня возможности исправить мой путь и вести вперед добропорядочную жизнь.

Глава двадцать пятая

Когда Магна открыла мне свои бедствия и рассказала об опасности, которой подвергался за нее Магистриан, передо мною точно разверзлась бездна. Я знал, что у Магистриана не могло быть десяти литр золота, которые взнес он за Магну и которые все равно не могли избавить ее от ее унижения, ибо не составляли цены всей ее кабалы и ничего не оставляли на выкуп ее детей от скопца в Византии. Но где, однако, Магистриан мог взять и эти златницы? Он работал в доме Азеллы, где всегда был ларец с сокровищами этой без ума влюбленной в него гетеры… И ужас объял мою душу… Я подумал: что если любовь к бедной Магне довела его до безумия, и он похитил ларец,

и имя Магистриана отныне бесчестно: он вор!

А бедная Магна, продолжая оглашать воздух стонами, возвратилась опять к тем же словам, с которых начала, когда неожиданно вошла в мое жилище.

— Памфалон! — вопияла она, — я слышала, что ты разбогател, что какой-то гордый коринфянин дал тебе несметные деньги. Я пришла продать себя тебе, возьми меня к себе в рабыни, но дай мне денег, чтоб выкупить из неволи моих детей и спасти погибающего за меня Магистриана.

Отшельник! Ты отжил жизнь в пустыне, и тебе, быть может, непонятно, какое я чувствовал горе, слушая, что отчаяние говорит устами этой женщины, которую я знал столь чистой и гордой своею непорочностию! Ты уже взял верх над всеми страстями, и они не могут поколебать тебя, но я всегда был слаб сердцем, и при виде таких страшных бедствий другого человека я промотался… я опять легкомысленно позабыл о спасении своей души.

Я зарыдал и сквозь рыдания молвил:

— Ради милости Божией умолкни, несчастная Магна! Сердце мое не может этого вынесть! Я простой человек, я скоморох, я провожу мою жизнь среди гетер, празднолюбцев и мотов, я

дегтярная бочка, но я не куплю себе того, что ты предлагаешь мне в безумье от горя.

Но Магна так ужасно страдала, что не поняла меня вовсе.

— Ты отвергаешь меня! — воскликнула она с ужасом. — О, я несчастная! где мне взять золота, чтобы избавить от изуродования моих детей? — и она заломила над головою руки и упала на землю.

Это исполнило меня еще большего ужаса… Я задрожал, увидя, как ее унизило горе до того, что она, уже словно счастья, искала, чтобы кто-нибудь купил у нее ее ласки.

Глава двадцать шестая

Я поспешил ее утешить.

— Нет, — закричал я, — это вовсе не то, что будто я тебя отвергаю. Я тебе друг и докажу тебе это моею готовностью помочь твоему горю. Только не говори более, для чего ты пришла сюда. Разрушь скорей это плетение волос, через которое ты стала походить на гетеру; смой с своих плеч чистой водою этот аромат благовонного нарда, которым их покрыли люди, желавшие твоего позора, а потом скажи мне: сколько именно должен

муж твой.

Она вздохнула и тихо промолвила:

— Десять тысяч златниц.

Я видел, что ее обманули: богатство, которое бросил мне расточительный Ор, было ничтожно для того, чтобы заплатить долг ее и выкупить детей.

Магна молча встала и, подняв рукою сброшенную епанчу Магистриана, хотела снова покрыть свою голову.

Я догадался, что она хочет уйти от меня с нехорошею целию, и воскликнул:

— Ты хочешь уйти, госпожа Магна?

— Да, я возвращусь снова туда, откуда пришла.

— Ты хочешь освободить Магистриана!

Она только молча кивнула головой в знак согласья.

Я ее остановил насильно.

— Не делай этого, — сказал я. — Это будет напрасно. Магистриан так благороден и так тебе предан, что он оттуда не выйдет, а ты своим возвращением только увеличишь смятенье. У меня всего есть двести тридцать златниц… Это все, что я получил от коринфянина Ора. Если думают, что у меня есть более, то это или сочинила молва, или нахвастал сам Ор пустохвальный. Но все двести

тридцать златниц ты должна считать за свои. Не возражай мне, госпожа Магна, не возражай мне против этого ни одного слова! Это золото твое, но надо достать еще много, чтобы составило долг твоего мужа. Я не знаю, где больше взять, но ночь пока еще только в начале… Магистриан до утра безопасен. Твой продавец уверен, что вы теперь слились в объятьях. Ты оставайся у меня и будь спокойна. Моя Акра до тебя никого без меня не допустит, а я сейчас извещу о твоем несчастье твоих именитых подруг: Таору, Фотину и Сильвию-деву, благочестье которой известно Дамаску… Их слуги все меня знают и за дары меня пустят к своим госпожам. Они богаты и целомудренны, и они не пожалеют золота, и дети твои будут выкуплены.

Но Магна живо меня перебила:

— Не тревожь, Памфалон, ни Таоры, ни Фотины, ни девственной Сильвии — все они ничего для твоей просьбы не сделают.

— Ты ошибаешься, — возразил я. — Таора, Сильвия и Фотина — благочестивые женщины, они преследуют всякий разврат, и по их слову у нас уже выслали многих гетер из Дамаска.

— Это ничего не значит, — отвечала Магна и открыла мне, что прежде чем бедствия ее семейства достигли до нынешней меры, она уже

обращалась с просьбою к названным мною высоким гражданкам, но что все они оставили ее просьбы втуне.

— А как теперь, — прибавила она, — ко всему этому присоединился еще позор, до которого дошла я, то всякие просьбы к ним им будут даже обидны. Я сама была такова ж, как они, и знаю, что не от них может прийти избавление падшей.

— Ну, все равно, жди у меня, что нам пошлет милосердное небо, — сказал я и, погасив лампу, запер вход в мое жилище, в котором Магна осталась под защитою Акры, а я во всю силу бегом понесся по темным проходам Дамаска.

Глава двадцать седьмая

Я не послушался Магны и проник, с помощию слуг, к Таоре, Сильвии и к Фотине… И стыжуся вспоминать, что я от них слышал… Магна была права во всем, что мне о них говорила. Слова мои только приводили в пламенный гнев этих женщин, и я был изгоняем за то, что смел приходить в их дома с такою просьбой… Две из них, Таора и Фотина, велели прогнать меня с одним только напоминанием, что я стоил бы хороших ударов, но Сильвия-дева, та повелела бить меня перед ее

лицом, и слуги ее били меня медным прутом до того, что я вышел от нее с окровавленным телом и с запекшимся горлом. Так, томимый жаждою, вбежал я на кухню гетеры Азеллы, чтобы попросить глоток воды с вином и идти далее. А куда идти — я сам не знал этого.

Но тут, едва я явился, под крытым переходом меня встретила наперсница гетеры, белокурая Ада. Она как будто нарочно шла с кувшином прохладительного напитка.

Она улыбнулась и молвила с шуткой:

— Тебе ли теперь умирать, *господин* Памфалон, ты больше не беден и можешь иметь рабов, которые станут прохлаждать для тебя воду.

А я ей ответил:

— Нет, Ада, я, слава Богу, опять уже не богат — я опять так же беден, как прежде, и вдобавок… должен признаться, — я сильно изранен.

Она мне нагнула сосуд, а я припал к питью, и в то время, когда я пил, а Ада стояла, склонившись ко мне, она заметила на моих плечах кровь, которая сочилась из рубцов, нанесенных мне медным прутом пред лицом девственной Сильвии. Кровь проступала сквозь тонкую тунику, и Ада в испуге вскричала:

— О, несчастный! ты взаправду в крови! На те-

бя, верно, напали ночные воры!.. О, несчастный! Хорошо, что ты спасся от них под нашею кровлей. Останься здесь и подожди меня немного: я сейчас отнесу это охлажденное питье гостям и вмиг возвращусь, чтоб обмыть твои раны…

— Хорошо, — сказал я, — я тебя подожду.

А она добавила:

— Может быть, ты хочешь, чтоб я шепнула об этом Азелле? У нее теперь пирует с друзьями градоправитель Дамаска: он пошлет отыскать тех, кто тебя обидел.

— Нет, — отвечал я, — это не нужно. Принеси мне только воды и какую-нибудь чистую тунику.

Надев чистую одежду, я хотел идти к бывшему монаху Аммуну, который занимался всякими делами, и закабалить ему себя на целую жизнь, лишь бы взять сразу деньги и отдать их на выкуп от скопца детей Магны.

Ада скоро возвратилась и принесла все, что мне было нужно.

Но она также сказала обо мне и своей госпоже, а это повело к тому, что едва Ада обтерла прохладною губкою мои раны и покрыла мои плечи принесенною ею льняной туникой, как в переходе, где я лежал на полу, прислонясь боком к дереву, показалась в роскошном убранстве

Азелла.

Глава двадцать восьмая

Азелла вся была в золоте и в перлах, из которых один стоил огромной цены. Этот редкостный перл был подарен ей большим богачом из Египта.

Азелла подошла с участьем ко мне и заставила меня рассказать ей все, что со мною случилось. Я ей стал рассказывать вкратце и когда дошел до бедствия Магны, то заметил, что глаза Азеллы стали серьезны, а Ада начала глядеть вдаль, и по лицу ее тоже заструились слезы.

Тогда я подумал: вот теперь время, чтобы открыть Магистрианову тайну, и вдруг неожиданно молвил:

— Азелла, это ли все драгоценности, которые ты имеешь?

— Нет, это не все, — отвечала Азелла. — Но какое тебе до этого дело?

— Мне большое есть дело, и я тебя умоляю: скажи мне, где ты их сохраняешь и все ли они целы?

— Я храню их в драгоценном ларце, и все они целы.

— О, радость! — вскричал я, позабыв всю мою

боль. — Все цело! Но где ж взял десять литр золота Магистриан?!

— Магистриан?!

— Да.

И когда я стал рассказывать, что сделал Магистриан, Азелла стала шептать:

— Вот кто истинно любит! Моя Ада видела, как он вышел из дома Аммуна… Я все понимаю: он продал Аммуну себя в кабалу, чтобы выпустить Магну!

И гетера Азелла начала тихо рыдать и обирать с своих рук золотые запястья, ожерелья и огромный перл из Египта и сказала:

— Возьми все это, возьми и беги, как можно скорее возьми от скопца детей бедной Магны, пока он их не изуродовал!

Я так и сделал: я соединил все мои деньги, которые дал мне Оркоринфянин, с тем, что получил от гетеры, и отправил с ними Магну выкупать из неволи ее мужа и двух сыновей. И все это совершилось успешно, но зато исправление жизни моей и с ней вся надежда моя на блаженную вечность навсегда разлетелись. Так я теперь и остаюсь скоморохом — я смехотвор, я беспутник, я скачу, я играю, я бью в накры, свищу, перебираю ногами и трясу головой. Словом, я бочка, я дегтяр-

ная бочка, я негодная дрянь, которую ничем не исправишь. Вот тебе и весь сказ мой, отшельник, о том, как я утратил улучшение жизни и как нарушил обет, данный Богу.

Глава двадцать девятая

Ермий встал, протянул руку к своей козьей милоти и молвил скомороху:

— Ты меня успокоил.

— Полно шутить!

— Ты дал мне радость.

— В чем она?

— Вечность впусте не будет.

— Конечно!

— А почему?

— Не знаю.

— Потому, что перейдут в нее путем милосердия много из тех, кого свет презирает и о которых и я, гордый отшельник, забыл, залюбовавшись собою. Иди к себе в дом, Памфалон, и делай, что делал, а я пойду дальше.

Они поклонились друг другу и разошлись. Ермий пришел в свою пустыню и удивился, увидав в той расщелине, где он стоял, гнездо воронов. Жители деревни говорили ему, что они отпуги-

вали этих птиц, но они не оставляют скалы.

— Это так и должно быть, — ответил им Ермий. — Не мешайте им вить свои гнезда. Птицы должны жить в скале, а человек должен служить человеку. У вас много забот; я хочу помогать вам. Хил я, но стану делать по силам. Доверьте мне ваших коз, я буду их выгонять и пасти, а когда возвращусь с стадом, вы дайте мне тогда хлеба и сыра.

Жители согласились, и Ермий начал гонять козье стадо и учить на свободе детей поселян. А когда все село засыпало, он выходил, садился на холм и обращал свои глаза в сторону Дамаска, где он узнал Памфалона. Старец теперь любил думать о добром Памфалоне, и всякий раз, когда Ермий переносился мыслью в Дамаск, мнилось ему, что он будто видит, как скоморох бежит по улицам с своей Акрой и на лбу у него медный венец, но с этим венцом заводилося чудное дело: день ото дня этот венец все становился ярче и ярче, и, наконец, в одну ночь он так засиял, что у Ермия не хватило силы смотреть на него. Старик в изумлении закрыл даже рукою глаза, но блеск проникает отовсюду. И сквозь опущенные веки Ермий видит, что скоморох не только сияет, но воздымается вверх все выше и выше — взлетает

от земли на воздух и несется прямо к пылающей алой заре.

Куда он несется! Он испепелится, он там сгорит. Ермий рванулся за Памфалоном, чтобы удержать его или чтобы по крайней мере с ним не расстаться, но в жарком рассвете зари между ними вдруг стала преграда… Это как бы частокол или решетка, в которой каждая жердь одна с другою не схожи. Ермий видит, что это какие-то знаки, — во весь небосклон большими еврейскими литерами словно углем и сажей напачкано слово: «самомненье».

«Тут мой предел!» — подумал Ермий и остановился, но Памфалон взял свою скоморошью епанчу, махнул ею и враз стер это слово на всем огромном пространстве, и Ермий тотчас увидал себя в несказанном свете и почувствовал, что он летит на высоте, держась рука за руку с Памфалоном, и оба беседуют.

— Как ты мог стереть грех моей жизни? — спросил Памфалона на полете Ермий.

А Памфалон ему отвечал:

— Я не знаю, как я это сделал: я только видел, что ты затруднялся, а я захотел тебе пособить, как умел. Я всегда все так делал, пока был на земле, и с этим иду я теперь в другую обитель.

Дальнейших речей их не слышал уже списатель сказанья. Прохладное облако густою тенью застлало дальнейший их след от земли, и с румяной зарею заката вместе слились их отшедшие души.



Повести



Час воли Божией
(Сказка)
Глава первая

В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король, по имени Доброхот. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям, по отцовским и дедовским, и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривдою верх взяла и всем людям хорошо было у него под державою, но только все это дело у него не спори лося. Только что начнет Доброхот с одного конца свое дело налаживать, как– глядит — оно у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброхот всяким родом и способом и умаялся в хлопотах до семи потов, а успеха ему все-таки нет как нет. И потерял, наконец, Доброхот всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморошьи потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные; опостылели ему

звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал король вянуть и к гробу посунулся.

Заметила это жена Доброхота премудрого — Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя, и ее, и своих малых детушек и не трудил бы себя долгой тяжкой заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сановитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки все дело чистое — на ладошечке.

Глава вторая

Король Доброхот в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать:

— Все ли у нас под моею державой идет так, как следует?

Советчики отвечали:

— С нашей руки видать, будто идет у нас все как следует. Будь только ты у нас многолетне здрав, а для нас ничего окромя сего и не надобно.

— Если все вы не врете, то, пожалуй, быть может, и вправду так, — отвечал король. — Хорошо,

молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно, отчего у меня под державою не все так, как я хочу: для чего у нас есть холодные и голодные и отчего не для всех равно все спорится и ладится?

А бояре Доброхоту ответили:

— Что тебе этим пустым делом тревожиться! Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так — не у нас одних все хорошее не спорится, не ладится!

— Ну, пускай повсеместно так, — отвечал король, — а мне это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтоб от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорей это дело обдумали. Подите-ка сядьте честь честью в большой сборне вдоль лавок за стол да не спите, поклав друг другу головы на плечи, и обо всем мне до сумерек обдумайте накрепко, а су темень[137] придите и выложьте.

Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили: одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю; а для

---

[137] Примечания: 137
Сутемень — до темноты.

того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было; а что станет, мол, для всех поравней и порадостней только в будущем. А потому не надо-де нонешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, мол, как ни прожить — это все равно, — хоть и пострадать, так не важно стать: наш народишко терпеливый, выносливый — ему уж не первый снег стелет головы, и ему ничего от беды не подеется; а надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено.

Провели в этих речах все время засветло, а в сумерки встали с мест, запахнулися и принесли сутемень свои суды к королю в терем и все готовьем пред ним и выложили.

Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились: покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на полатях спать, а сам еще в два раза смутней закручинился.

— Мне, — говорит, — от этого их совета совсем

нет ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное, потому что не я дам Богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу я и за то, что после меня в свете станется. А я хочу знать, как я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем людям стало полегостней; а вот это-то у меня как раз и не спорится, не ладится.

И начал король один в сумерках по палате из угла в угол ходить, и как до угла дойдет да повернется, то вздохнет глубоко из всей груди, так что везде слыхать, во всем тереме.

Тогда подошла к нему тихо в потемочках старая его мамка, чуждянка, из чужих земель полоненая, и говорит ему попросту:

— Ты чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты ведь сам виноват– для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих у бояр и советчиков? Им ведь только и дело — особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому что все они только себе добра хотят, а ты повели привести к себе старцев Божьих, пустынничков, таких, которым уже свет не мил и земля им давно опостылела. Вот ты их спроси, — им врать нечего, им уже ничего в этом свете не надобно, — так они тебе, может быть, правду и выскажут.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо, — он сказал, — я тебя очень послушать рад, но только где же могу я таких Божьих людей достать?

А старуха отвечает:

— Ты об этом не крушися ни малости: слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть, и у нас они, милый, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трех угодных пустынников, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялися, а теперь только в то живут, что втроем в один голос за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся: может быть, только по их молитвам до сих пор Господь Бог твое царство и милует.

— Хорошо, — отвечал король, — я сейчас хочу видеть этих угодничков.

— Вот таков же и мой совет: пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат.

Глава третья

Король Доброхот совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех у калек перехожих стал спрашивать: не видали ли где трех пустынников, которые отбыли все земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за одно его царство Господу молятся и через те их молитвы священные держава его выше всех на земле стоит.

Калики перехожие, те, что все чудеса в свете Божием видели, рассказали королю, что такие праведные пустыннички точно есть, но процвели они не в одном месте, а стоят они уже много лет, все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, просиял в самом диком тесном лесу, где он стал давно на дубу на макушечке, а теперь тот дуб уже высоко возрос и уперся в поднебесье, и старца и солнце жжет и буйные ветры бьют; этот называется старик Дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок — этому средний брат — процвел в безбережной степи посреди

ковыля, где и журавли, и драхвы[138] с головами хоронятся и верхового латника с копьем вместе не видно; там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козявочек, которые сами ему в рот вползут; и этот пустынник называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок — этим обоим самый младший брат — потопил себя по самую шею посреди невылазных рамедных[139] болот и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит песья муха, и пискун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик все стоит, не шевелится; имя ему — Водовик, а век его — триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большой опаской и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться.

И дали калеки Доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый с собою по

---

[138] Примечания: 138
Драхвы — птицы дрофы.

[139] Примечания: 139
Рамедные — лесные.

мягкой плетушке[140] соломенной, в каких носят гусей пред царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калеки настлать на донышко сена пахучего и мягкого волокнистого мху со старой сосны, а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынничкам. И всадить старичков надо вежливо, по-учтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялися и ходить они разу чилися, а тела у них так изветшались, что нести их посыльным нимало не тягостно.

Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев: Дубовика, Полевика и Водовика, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчее в плетушечки и принесли бы к королю на заколочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользы даром проходят, тем большого наказания пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей: тем поставят каждому у двора по кресту и по шесту, а наверх шеста вздену т

---

[140] Примечания: 140
Плетушка — малая ручная корзина.

цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдет, вверх глаза бы драл да им бы завидовал. А дорогой чтобы ни о чем старичков не сметь спрашивать, а сказать только им, чтоб они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа, потому что зовет их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно: отчего у него все не спорится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чем больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно и в какой чин они захотят — в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольщине и даст им супротив других кормы вдоволе; а если они, одичавши чрез долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то король их за то не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлет на тот манер, как самим им понравится, — хоть в колымагах на тавреной, пушной кошме, хоть опять на мхе и на сене в плетушках соломенных.

Пошли послы королевские, как им было указано, — и во все концы королевства рассыпались, — в каждый след все по парочке, для того, чтобы как найдут старичков, так нести их на закорках, не без отдыха, а друг с дружкою в переменочку.

Шли они, шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще без толку, и зашли уже на самый край королевства — дальше чего и идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники, на плечах — песьи головы. Но чуть только три пары послов завернулися, вскоре же обрели всех трех старичков — одного в лесу, другого — в поле, а третьего — посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по-учтивому; но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только, как цыплятки, начали себе тонкими веками глазки защуривать. Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать:

— Ну-ка вы, бессемянники: нет ли под вами на ваших местах серебра, или золота, или самоцветных камней? Лучше вы, дохлая братия, сами честью откройтеся, а то ведь мы вам не таковские — запытаем, замучаем до смерти.

Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их за то переворотили на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять

стали спрашивать, и опять ничего не добились, — и так до трех раз отхлопали, а после того

посадили их на сено в плетушечки и наказали, чтобы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы перелетные птицы их не запачкали и понесли к королю на закорочках, друг с дружкою ношей меняючись.

Глава четвертая

Сошлися все три пары обретших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из опочивальни королевиной в свою теплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становилися. Помылся король майоранным мылом и щелоком с кучерявой мятой, с душицей, расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться народушку, а послы тут зараз лопухи с плетушечек сняли прочь и Доброхоту старичками челом в землю ударили.

Король сделался радостен: велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить, а сам подошел к старцам с улыбкой приветною; но как увидал, какие они сидят испитые, тщедушные — в чем душа в теле

держится, то от страха и руки врознь.

Однако же, поглядев на них оком благостным, король осмелел и стал над их над плетушками разговаривать, что вот так и так, научен он сызмлада наукам и мудростям и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спорится, не ладится.

— Спрашивал, — говорит, — я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошел от них умного: или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать раз слышано. Нуте-ка вы, — вы вот много лет все молчали и устремляли умы на высокое, — прошу я вас честью: скажите вы мне, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики как сидели, так и сидят во плетушечках, и как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают.

Терпелив был и ласков король, но за это разгневался.

— Что же, — говорит, — вы молчите, как истуканы и чучелы? Я посылал за вами много людей полированных во все стороны, а вы мне и по одному слову не сказываете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моем стольном городе; здесь молчать, когда спрашиваю, — значит грубительство, и за это от моего утверждения по закону

вас будут наказывать. Смекните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противляетесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные и я могу повелеть, чтобы при мне вас поломя рассечь или привязать вас к конским хвостам, да и размыкать вас по полю.

Но смутился король, что если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведаешь, а если сдать их честь честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам, да на дыбе потрясти, да расспрашивать, то они и одной встряски не выдержат — все рассыплются в прах и разлетятся пылью по потолкам да по стеночкам.

И опять созвал Доброхот на совет всех своих мудрых советчиков и спросил их: отчего перед ним справедливые старцы упрямятся и что ему с ними надо сделать — как их понудить, чтоб они по одному важному слову выел овили?

Вельможи отвечают:

— Мы бы знали, что делать, да ты это дело сам испортил.

— А чем я испортил? — вопросил король.

— А испортил ты тем, что понизил высокий сан — стал с простыми людьми вровнях разго-

варивать: вот они через это теперь и зазналися. Тебе, кроме нас да стрельцов, ни с кем говорить непригоже — потому что твое дело средь всех людей особливое. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам — мы от них всю их премудрость доведаем.

Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать.

— Не сердись, — говорит, — ты на бедных пустынников; ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости, потому будто дело твое особливое, а они — не прогневайся — опростилися и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особину на тебя не надеются!

— Значит, глупы они, — отвечал король, — в сем вина тебе: ведь они сюда с твоего совета и позваны.

— Нет, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоем дворе поживут — сполируются и тогда ухитрятся, как сказать про все неразберихою, — скажут так, что ничего не будет тебе и другим неприятного и все будет то, что твоему могуществу надобно.

А только ты потерпи и не давай их на допрос своим боярам-советчикам: видишь сам, чай, что старички они очень слабые, — а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные: они их возьмут да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе: будь обходительней; призови ты сейчас лучше всего своего гусляра Разлюляя-гудошника — он измигул[141] мужичонко, лядащенький[142], ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пустобрехом на свете жив; но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесет пустолайкой и враз у старичков правды допросится, — обойдет их если не лаской, так хитростью.

Доброхот позвал своего плясуна, гусляра Разлюляя-гудошника и сказал ему:

— Ты, лядащий мужик, измигул неработистый, только хари гнешь да врешь не знать что пустолайкой, — здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую стать. Полно тебе в дураках ходить да ерошиться: я теперь тебе свое государево

---

[141] Примечания: 141
Измигул — лентяй, дармоед.

[142] Примечания: 142
Лядащенький — слабосильный.

великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости: отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится.

И закончил король Разлюляю решением:

— Узнаешь премудрость — дам тебе сто рублей, а не узнаешь — велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, как Бог в небеси, — что я сказал, то и станется.

Глава пятая

Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он одет в зипунишечке в пестреньком — один рукав кармазинный[143], а другой лазоревый; на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая, — не жнет он и не сеет, а живет не знамо чем и питает еще хозяйку красивую да шестерку детей — на которого ни глянь, сразу знать, что все — Разлюляевичи. Ходит он повсюду болтается, и никто разобрать не может: видит ли он добро в той темноте, что была до Гороха-царя, или светится ему лучшее в тех

[143] Примечания: 143
Кармазинный — ярко-алый.

смыслах, какие открылися людям после время Горохова. Никто его не чуждается, а все зовут его «пустолайкою»; но измигул Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою, то соловьем свистит, то лопочет варакушкой, на руках идет, боком катится и на всякий на разный манер притворяется.

Но как выслушал Разлюляй королев приказ, позабыл он все свои забавы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь — что «не мне-де такое важное дело ведати»; но король топнул ножкой, и пошел Разлюляй к старикам и начал вокруг них, по обычаю, измигульничать: митусить ногами и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

— Ох вы гой еси, старички справедливые, треблаженные, Божьи молчальники, разомкните уста свои благовестные и скажите скорей, не потайте от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой все добро не спорится, не ладится?

А старички как молчали, так и теперь молчат, только знай себе в кошелочках гнездятся.

Тогда Разлюляй стал на другой манер измигульничать и начал их пробовать жалостью:

— Мне нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мне скажете, отчего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей; а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей. Его слово королевское крепко и сбудется — не забудется. Да вам и самим, старичкам, для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото, а велит вас подвесить в кошелочках под полати в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами. Что там по все дни наслышитесь — спаси только, Господи. Вот вы на этот счет пораздумайте: каково-то вам там придется слушать совсем непривычные речи до самого до веку! Выручайте и меня, и себя, отцы, а то нагрешите вы с ними три короба и не годитеся после того ни к стру, ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в Царство Небесное, а так и останетесь висеть под полатями.

Так напугал этим Разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны и изгоревшими устами своими начали пошевеливать, а измигул Разлюляй-пус-тобрех как увидал, что успел им загнать во лбы загвоздку здоровую, — сейчас побежал к королю и говорит:

— Что мне от твоей милости сказано, я все это

уже выполнил: старички уже теперь полируются — стали уже губами двигать и скоро шептать начнут, — одевайся скорей да иди-ка их слушать, что они высловят, какие премудрости.

Как пришел король да нагнулся к первой плетушеч-ке, так и стало слышно ему, что старик Дубовик и впрямь полируется — об ивовое плетение, как поросенок, всеми боками трется, а сам робко пыхтит и тихо покрехтывает.

Король его и спросил: «Отчего на свете доброе не спорится и не ладится?»

Старик Дубовик прошептал:

– Оттого, что люди не знают, какой час важнее всех.

Доброхот нагнулся к другому — к Полевику, и того спросил, а тот шепчет:

– Оттого, что не знают, какой человек нужнее всех.

Нагнулся Доброхот и к третьему старичку, а тот ему сказал:

– Оттого, что не знают, какое дело дороже всех.

И так молчальникам трудно это было проговорить с отвычки, что они как только сказали, так и ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат, на донышках. Ничего от них король боль-

ше никак не мог допытаться, доведаться и еще больше рассердился, потому что сказанные ими слова стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так все брать, чтобы было ему все как на ладонке положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь так, как им Разлюляй пригрозил: указал Доброхот, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках в большой советной избе под палатями и держать их там, пока они не скажут, какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех.

Отнесли старичков в советную избу и подвесили под полатями в их плетушечках, посыпали им пшенной кашки, чтоб они впросоночках зо блили[144], и поставили на верхнем полу ведерце воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном до самого до свету.

Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу — проснулся в первые петухи сынок кравчего[145], побежал в избу незапертую и украл

---

[144] Примечания: 144
Зо блить — есть.

[145] Примечания: 145
Кравчий — боярин, ведавший царским столом.

из ведра с водой красный медный ковш, чтобы променять его на подторжье[146] на пряники. А потом еще не поспал ось самому королю Доброхоту премудрому: все казалось ему, будто его закожные блошки покусывают. Провалялся он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться — без сна лежать, только маяться; встал он горошком, распрямился, нахватил себе на плечи королевскую глубоньку и пошел старичков посмотреть: живы ли они, и здоровы ли, и чего они через ночь, полируясь, надумались?

Пришел король в избу, подставил себе к полатям приставную скамеечку, но только что глянул в плетушечки, — так и рот раскрыл, и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустехоньки, и ни от одного старичка ничего не осталося, кроме смятого места да наседней. Разлетелись ли они легкою пылью по стенкам да по полу или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялися, ничего не осталося.

Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и

---

[146] Примечания: 146
Подторжье — торговля накануне ярмарки.

так бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благим временем, уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растрясут где-нибудь без остаточка… Услыхали караульщики, как земля дрожит, и стали спросонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор и кричать благим голосом: «Ай, земля сотрясается — мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевские спальники и застольники и начали со страху вокруг себя на карачках ползать, а потом пришли и вылили королю все ведро воды за ворот и насилу нашли королевского доктора-немчина, который один знал, что сделать надобно: он поднес Доброхоту под самый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тертый крепкий хрен, и защекотал ему перстами в подмышечках.

От хрена и щекота королю сразу полегчало: он стал похохатывать, и враз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советчиков и стал спрашивать их: где делись пустыннички, не извел ли их кто какой отравой, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душой куда-нибудь в чужое царство

безбожное, где их станут неволить в римский костел ходить и есть скоромное по середам и по пятницам.

Бояре, как могли, постарались короля успокаивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил, верно, в палате под полом жадный хорь и поел этот жадный хорь старичков без остаточка.

И стали все короля отвлекать и рассеивать — что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что «старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили».

— Пропоем о них панихидочку, вспомянем их кануном на паперти да у себя по домам блинками с припекою и будем править всем опять по-старинному, как было при дедах наших и прадедах. А что никак не спорится и не ладится — про то, значит, и думать не следует: на земле беднякам всегда будет жить тяжело, да никуда они не поденутся, ведь на небо взлететь крыльев им не дано. Поскулят и на том успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не поверил он тому, чтобы старичков у него в избе хорь изъел, — а сказал он так:

— Если хорь изъел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь

ее над могилами.

Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают негожее: не хорь изъел старичков, а ушли они не иначе как своею колдовскою хитростью: пролили из ведра воду на пол, а сами сели в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать никакими манерами. От лихих колдовских людей таковые дела не раз были во всех землях и при всех дедах и при прадедах и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам.

А король говорит:

— Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охотою верую, но ведь не грех и то узнать: что как устроено? Вот я хочу, чтобы вы показали мне: через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан-море спустилися? Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они враз все полы во всех домах. Не ломать только в моем тереме да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы.

Глава шестая

Пошли бояре невеселы: не хотелось им посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах, а не смели ослушаться короля и не знали, как своему горю помочь. Но на их счастье узнала опять обо всем об этом королевская мама, чуждянка-доилица, и пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему по-учтивому:

— Ты прости меня, неразумную: я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала и могу тебе рассказать, куда делися старчики. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настращал ты их до смерти сам, что велел их подвесить к полатям в избе, где держишь совет свой со своими боярами. Старички век сидеть и все слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого от вереда и слышала, как они друг с дружкой в потемках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнеточ-

кой[147], а потом зачали[148] в своих плетушечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что враз опрокинулись и с сенцом вместе на пол и выпали.

— Где же они теперь? — закричал король.

— А теперь их и след простыл: уползли на карачках с твоего двора и все в буйной траве без следочка и скрылися. Теперь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая; да и дело до них уж теперь не касается.

— Отчего же оно не касается?

— Оттого, что приснился мне вещий сон и был слышан во сне таковой глагол, что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего вовсе не думает. Так вот ты теперь оставь старичков, а посылай искать эту девицу.

Король свою маму, чуждянку, послушался и сейчас же разослал дворян и боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу[149].

---

[147] Примечания: 147
Загнёточка — ямка в печи, куда сгребается зола.

[148] Примечания: 148
Зачали– здесь: начали.

[149] Примечания: 149
Шелега — монета.

С неохотой большою и с тугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собиралися; перво-наперво все они взяли шелеги, а потом зачали у себя по домам печи топить и в банях париться. А потом долго справляли себе лубяные зобенки[150] раскрашенные да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи, да колобки, в жиру кипяченные, да блины с разною с припекой, и когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям и начали там есть досыта, пить допьяна, а напившись — кости и зернь метать, и играв — подрались и друг дружке под очи синявы наметили, а потом помирилися, на синие места муки с медом намазали и легли, крепко выспались, а как хмель прошел и синяки позаиндевели, — послы все назад возвратилися и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были и что видели, и, пред иконами став, забожилися, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об

[150] Примечания: 150
Зобёнка — большая корзина.

одной не заботилась.

— К этакой, — говорят, — если б была она, весь народ на один край света сбежался бы, и весь свет бы тогда перекувыркнулся.

Глава седьмая

Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было: не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять — дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице:

— Неужели же я так и умру, не доведавшись, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

А баба ему отвечает:

— Если будешь все бояр рассылать — пожалуй, что так и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее чтобы не шел назад. Он мужичонко корявый, лядащенький, говорит пустолайкою, и за ним никакие дела не задержатся, а кормов ему от казны супротив бояр можно дать всего одну долечку, да

и то почитай, что не надобно: он и так пропитается как-нибудь одною своею верностью. Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности свое счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинет пенечную оброть[151] конскую, и довольно ему принадлежностей. Пусть идет, будто надо ему коней искать: «на росу, мол, пустили, а они с росы разбежались». И пусть так идет, куда знает сам, и проходит хоть сквозь целый белый свет: где-ж-нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. Ведь сквозь тартарары она небось не провалится.

— Хорошо, — отвечал король, — все твои рассуждения умные, и они мне всегда очень нравятся: пошлем Разлюляя вместо больших бояр; а только не вздумаю, какое ему посулить за его службу жалованье?

— Обещай что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь, — будет видно, по его старанию. И совсем ничего не дашь — тоже стерпится: на тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один Бог судья:

---

[151] Примечания: 151

Оброть — недоуздок (узда без удил, с одним поводом).

твое дело совсем особливое.

— Это правда, — отвечал король, — на земле мы не судимся, ну, а все-таки надо и нам меж людей вести себя с честностью: что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, все равно, как по бирочке.

— Ну, так, пожалуй, его опять и в этот раз в одностай против прежнего: если он исполнит свою службу и найдет девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей, а если не исполнит — не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, Бог с ним, пусть идет опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей его за старание.

— А как он и девицы не найдет, и сюда к нам со страху совсем не воротится? Он ведь пустой человек, ему везде все равно — в целом мире отечество.

— Ну, про это, — сказала старуха, — я, друг мой, не сведуща. Позови к себе из приказа посольского сурового дьяка, который послам ярлыки дает за печатями; дьяк тебе это дело все оборудует.

Пришел дьяк и привел с собою самого хитрого подьячего с приписью, и подали королю такой совет, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а как станет король отпускать Разлюляя в послед-

ний раз, то сказать ему, что идет он послом не на целый век, а дается ему сроку ходить по свету всего три года, и если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле, а тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута, а при том битье у них будут спрашивать: знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротится?

— Пригрози-ка так, — сказал дьяк, — Разлюляй — хотя и пустой человек, а дети — всякому своя кровь: небось и он пожалеет ребят и жену и назад придет. Таковые разы уже не раз были и на шкуре телячьей записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены.

Король молвил втишь, что ему самого Разлюляя жаль, но и дьяк и подьячий с приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей у стройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтется на тот свет душевным спасением.

И изволил сказать король, чтобы собрать Разлюляя в путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением: толоконца за пазуху да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится.

Сытее его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шел он послом, совсем ненадежное. Весь народ о том знал от бояр сановитых доподлинно. Да, кроме того, Разлюляю нигде кормов и не надобно. Оголодает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенечко вприсядку, и везде себе хлеба он выпляшет, а не выпляшет, так и сам возьмет потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться Разлюляю не для чего: на нем чина большого не кладено; ударят по шее — согнется, а запрут где-нибудь — выерзнет подворотнею и опять пойдет веселехонек.

Измигул же и нетяг Разлюляй Разлюляевич не дурак тоже был: не взманила его большая честь, чтобы быть в послах, и начал он сильно отпрашиваться и до той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовется волвянкою. Представлял он королю Доброхоту все доводы, что и не умен и не знатен он, и на все языки не выучен, и не с

каждым вровнях говорить может, а здесь без него дома ребят кормить некому и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтоб о детях своих нимало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичный двор и приставят утят стеречь, и будут им там и корм вдоволе, и во всех смыслах научение; а самого Разлюляя выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке — дубиночка, а на плечах — оброть конская, — будто он ходит да сбеглых коней ищет.

Нечего было больше делать Разлюляю, и пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью самым смирным обычаем, нигде ничего, кроме съестного, не крал и, когда не давали вина, не пьянствовал, а все шел вперед; долго ли, коротко ли, и зашел он страсть как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своем пути много разных людей: и звероловов, и коробейников, и пахарей, — и у всех, кого встречал, — всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех; но никто этого разгадать не мог.

А обратно те, кого он расспрашивал, сами хоте-

ли знать от него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкой? А Разлюляй говорил про волвянку всякому разное: то будто он своему королю у Бога довечного живота просил и все в землю кланялся, то будто сам за свои грехи каялся. Наконец, повстречался он раз с воровским цыганом, под самую Пасху великую, и тоже стал у того цыгана про свое дело спрашивать; но цыган ему засвистал и показал в перстах загогулину и говорит:

— Ты мне прежде сам скажи: хорошо ли жить у вас под державою, и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, а что шишка у него сделалась от больших молитв; но цыган говорит:

— Не обманешь, брат, я и сам богомолен и посты держу, когда нечего есть, а на лбу у меня нет еще шишки волвянкою. Признавайся по истине.

— А по истине, — говорит Разлюляй, — я в бане мылся да с полка свалился.

— Что же ты за полок-то не уцепился?

— Очень угоревши был.

— Вот, я вижу теперь, ты говоришь мне все по совести: ишь какие вы, братцы, счастливые — вас и кормят, и поят, и спины вам порют — чего еще

надобно! Теперь мне с тобою вдвоем ночевать не страшно, — отвечал цыган, зубы скалючи, и обещал ему завтра натощe отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном Разлюляевым, а в ночи встал цыган, съел все толокно, украл оброть, надел зипун, да и был таков.

Остался Разлюляй в одних портках да в рубахе и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дыра х, а читал он все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха-попа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нем сорок ризок, и он поет и читает молебны с акафистами, а в Сирахову книгу Премудрости не заглядывает. Ниоткудова нет Разлюляю ни совета, ни помощи, только все ему бедства множатся, и идет он, сам под собой земли не видит и проливает слезы горючие. Тутто над ним, наконец, Бог и сжалился — даровал ему встречу желанную.

Глава восьмая

Сам не свой, Разлюляй шел все далее, и зашел в самый темный лес, и заснул на мху на полянoчке, и проспал с полдня до полночи, а в полночь

прокинулся, и увидел он там при луне старичка очень старого, в долгой рубахе до пяточек, — стоит да с лип лычко дерет, а устами поет тихо Спасов стих. Разлюляй думает: «Что это — либо сон снится мне, либо видение, или такой заправский старик, которому в ночи спать не хочется? А не лучше ли мне, на всякий раз, со старичком поздороваться?..» Взял и сказал ему по-учтивому:

— Помогай Господь тебе, дедушка!

Старик отвечает:

— Будь и ты здоров, Какойто Какойтович, и скажи, как тебя зовут иначе?

Разлюляй ему назвался.

— Хорошо, — говорит старичок, — Разлюляй — имя веселое; да скажи-ка мне, Разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь, зачем у нас по лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели?

Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал и зачем послан, и что претерпел, и как потерял все свои принадлежности; а старик ему говорит:

— Твое дело, брат, для меня непонятное, ну а только сдается мне, будто я тебе в этом деле помочь могу.

— Помоги ради Господа, дедушка, а тебе Господь

Бог заплатит сторицей.

— Да, Господь-то, Господь, всем нам Батюшка, а по Нем и все братья мы, а ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухой тропиночкой; теперь уж горазд ночи убыло, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзясь, а с терпением, и не бранись никак дурным словом, не гони от себя своего Сохранителя Ангела. Так пройди ты через весь долгий черный лес, и придет тебе там впоперек пути холодная балочка; ты переплынь вплавь без страху через холодную балочку да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, а на ней, посредине, приметный калинов куст, и от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный: одно крыло у него все как следует, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая в лубочек увязана. Не то его в небе орел подшиб, не то, не знать для чего, подстрелили княжьи охотники: они убивать и зверьков, и птиц, спаси Господи, какие досужие! А у меня есть внучка-девчурочка, тут в лесу со мной и выросла; да такая, Бог дал, до всех сердобольная, что не обидит козявочку — вот она того журавля нашла да в лубочек ему хворую ножку и повила. Ну, теперь

ей заботы и прибыло: доглядает его и дает ему зернышки, пока журавелько поправится да дождет себе по поднебесью в теплые края попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в стороночке на сухом взлобке наших овец пасет. Ты узнаешь ее — такая девица пригожая; глазом посмотришь — век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо волну[152] разбирает, либо шерсть прядет… Все сиротинкам готовит к студеной поре на паглинки… Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси ее: она тебе может все рассудить, потому что дан ей от Бога светлый дар разумения.

Разлюляй так и вскрикнул от радости.

— Боже мой! — говорит. — Ведь ее-то мне только и надобно! Про нее, про девицу, мне только и сказано; мне других никого бы не надо и спрашивать.

— Вестимо, не надобно. Кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердечные!

— А кто же еще там с твоею внучкой, какие люди живут вместе, дедушка?

— Господь с ней один там, один Господь-батюшка. Он один ее бережет, а людей с ней никаких,

---

[152] Примечания: 152
Волна — овечья шерсть.

милый, нетути.

— Как же она не боится одна в глухой дебри жить?

Тут старик слегка понасупился.

— Полно-ка, — говорит, — заводить нам про боязнь да про страх речи негожие! Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает!

— Господи! Вот это она и есть! — завопил Разлюляй. — Вот это ее-то одну мне и надобно!

И забыл Разлюляй про всю усталь свою, побежал шибко к девушке. И на долю свою он больше не плачется, и на радости не свистит соловьем, и не прыгает, и не лопочет варакушкой, а поет благочестный стих:

Как шел по пути слабый путничек,

А навстречу ему сам Иисус Христос.

Пробежал так Разлюляй без усталости весь и черный, и красный лес, переплыл без боязни холодную бал очку, опознал и приметный калинов куст на поляночке и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль: одна нога в лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идет Разлюляй

— чужой человек, вдруг закурлюкал, и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге ко взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом — старый пень, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самотканной сорочке, и прядет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.

Глава девятая

Разлюляй подошел к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось — все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного — точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряженную шерстяную куделю за веточку и пошла тихо к кустику, за которым стоял Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную, и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала

прикрыта за кустиком, так что до этого Разлюляй и не видал ее. Тут уже Разлюляй и не вытерпел — вышел он навстречу к девушке, и поклонился ей по-вежливому, и заговорил с ней по-учтивому:

— Здравствуй, красная девица, до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки: он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно.

Девица поглядела на Разлюляя чистым взором и отвечала:

— Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете «король» — не знаю я, и из каких ты людей — это мне все равно, а за каким делом ко мне пришел — не теряй время, про то дело прямо и сказывай.

Враз понял Разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повел сразу речь коротко и все начисто.

— Так и так, — говорит, — вот что у нас в королевстве случилося: захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо было жить, а ничего это у нас не спорится, не ладится, и говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости: *какой нас важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех*? Вот за

этим-то делом и послан я, и обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей, а если не принесу, то не миновать мне тогда счетных ста плетей. Ты до всех добра и жалостна, вот даже и зверки и птицы к тебе льнут как к матери; пожалей же и меня, бедняка, красна девица, отгадай мне премудрость, чтобы не пришлось мне терпеть на своем теле сто плетей, мне и без бойла теперь уже мочи нет.

Выслушала девица Разлюляеву речь и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила ее в руках и сок выжала да тем соком лоб Разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и когда нить вела, заметно все думала, а как стала на веретено спускать — улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задал мне дело трудное, сверх моего простого понятия, а загадал дело Божие, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою

по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам.

Разлюляй говорит:

— Молви, девица: какой час важнее всех?

– *Теперешний*, — отвечала девица.

— А почему?

— А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своем часе властен.

— Правда! А какой человек нужнее всех?

– *Тот, с которым сейчас дело имеешь.*

— Это почему?

— Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал.

— А какое же дело дороже всех?

– *Добро, которое ты в сей час этому человеку поспеешь сделать.* Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите так, то и не сладите.

— Отгадала все! — вскричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскликала и спросила:

— А чем ты, посол, уверишь пославшего, что ответ ему от меня принес, а не сам собой это выдумал? Разлюляй почесал в голове и задумался.

— Я, — говорит, — об этом, признаться, не вз-

гадывал.

А девица ему говорит:

— Ничего, не робей, я тебе дам для уверенья его доказательство.

И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтобы сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей и ни ста плетей, а когда скажет все, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам да вдовам и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И если король кроме ста рублей еще что посулит или пожалует, то и того чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что «я, мол, принес тебе светлый Божий дар — простоту разумения, так за Божий дар платы не надобно».

Отвечал Разлюляй:

— Хорошо, я так все и сделаю.

Глава десятая

С тем отошел Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал: пришел он и стал говорить с королем все по истине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей; а потом не принял от него приобещанных ста

рублей, а сказал ему слово про Божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разуменье дано нам от Господа.

Тут бояре, и дьяки, и подьячие все поднялися со свистом и с хохотом и все враз над ответами Разлюляя смеялися и старалися сбить короля, чтобы он не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повыдумал. Но, однако, король Доброхот показал и свое разумение и на их наученья не подался. Он сказал им:

— Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтоб дать ему при-обещанных сто рублей, а он, как я вижу, — мне верный слуга: он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор еще не случалося. Издаю вперед повеленье, чтобы по всей земле не сметь звать Разлюляя измигульником: он мне лучше всех вас старается. А вот вас бы я всех распустил от себя с большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться без челяди. Для того только вы мне и надобны.

И захотел было король Доброхот править по

всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метанья очей в непроглядные отдаленности, да вступил ему в мысли страх, что «а ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своем по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой — золотое яблоко. Разлюляю же он указал, чтоб отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда там на пасеке, в теплом омшанике, и есть сотовый мед с огурцами и с репою, сколько по-хочется, а на базар не ходить и в село не заглядывать и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочке и про то, что слыхал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать.

Но зато, когда стал Доброхот завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотою тростию на мехе и коже, чертами и резами, почертив строки без зализей, со бегами широкими во все стороны, и прикладать к былым словам в стать письмена небылишные, гласные

и согласные. И указал Доброхот завернуть этот список в парчу, и в камку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями: пусть лежит там до времени, пока перейдут временители.

Так это все в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут все опять по-старинному, и все там опять не спорится, не ладится, а идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще, видно, час воли Божией.

На том старая сказка и кончена.

Маланья – голова баранья (Сказка)

В одном глухом и отдаленном от городов месте была большая гора, поросшая дремучим лесом. У подошвы этой горы текла река, и тут стояло селение, где жили зажиточные рыболовы и хлебопашцы. От этого селенья шла через лес дорожка в другую деревню, а на этой дорожке, в стороне, на полянке стояла избушка, в которой жила бедная женщина по имени Маланья, а по прозванию «голова баранья». Так прозвали ее потому, что считали ее глупою, а глупою ее почитали за то, что она о других больше, чем о себе, думала. Если, бывало, кто-нибудь попросит о таком, что нельзя сделать без того, чтобы лишить себя каких-нибудь выгод, то такому человеку говорили:

— Оставь меня в покое, мне это невыгодно — вон там на пригорке живет Маланья-голова баранья: она не разбирает, что ей выгодно и что невыгодно, — ее и попроси, она, небось, сделает.

И человек шел на пригорок и просил у Маланьи, и если она могла ему сделать, о чем он просил, то она делала, а если не могла, то приветит да

приласкает и добрым словом утешит — скажет:

— Потерпи — Христос терпел и нам велел.

У Маланьи избушка была крошечная, так что только можно было повернуться около печечки, а жили здесь с нею сухорукий мальчик Ерашка, да безногая девочка Живулечка сидела на хромом стуличке.

Оба они были не родня Маланье-голове бараньей, а чужие: родных их разбойники в лесу закололи, а их бросили; поселяне их нашли и стали судить — кому бы их взять? Никому не хотелось брать безрукого да безногую — никогда от них никакой пользы не дождешься, а Маланья услыхала и говорит:

— Это вы правду, добрые мужички, говорите: без рук, без ног ничего не обработаешь, а пить-есть надобно: давайте мне Ерашку с Живулечкой. Случается, что мне одной есть нечего — тогда нам втроем веселей терпеть будет.

Мужички захохотали.

— Беззаботная, — говорят, — Маланья, прямая ты голова баранья. — И отдали ей и Ерашку, и девочку Живулечку.

А Маланья их привела и оставила у себя жить.

Живут часом с квасом, а порою с водою. Маланья ночь не спит: то богатым бабам пряжу

прядет, то мужикам вязенки[153] из шерсти вяжет, и мучицы, и соль заработает, и хворосту по лесу наберет — печку затопит и хлеба спечет, и сама поест, и Ерашку с Живулечкой накормит.

Сошлись перед вечером у колодца домовитые бабы и спрашивают Маланью:

— Как ты, Маланья-голова баранья, с ребятишками прокуратничаешь[154]?

— А все хорошо, слава Богу, — отвечает Маланья.

— Чем же хорошо? Ведь они у тебя бессчастные!

— А тем, бабоньки, и хорошо, что они бессчастные, что на их долю немного нужно. Если бы они были посчастливее да позадачливее — мне бы не послужить ими Господу Богу, а как они плохие да бездомные, то что я им ни доспею — все это для них лучше того, как если бы я их не приняла да об них не подумала.

Покивали бабы головами и говорят:

— А ты еще вперед-то подумала ли, что с ними будет?

— Нет, — говорит Маланья, — я об этом не ду-

---

[153] Примечания: 153
Вязенки — варежки.

[154] Примечания: 154
Прокуратничать — затейничать, куролесить.

мала.

— Да как же так можно? Надо всегда о переду[155] думать!

А Маланья отвечает:

— Что пользы думать о том, чего знать невозможно, даст Бог день — даст и пищу на день, а ночью нам всем есть покой на печечке.

— И то правда, — сказали бабы, — они — плохие, — может быть, и умрут скоро на твое счастье!

А Маланья руками замотала.

— Что вы! Что вы! — говорит, — зачем смерть звать: я ее к себе на порог не хочу — пусть она за дверьми присохнет.

Домовитые бабы распотешились и рассмеялись:

— Ну, Маланья, — говорят, — голова баранья, да какая же ты удалая да смешная: саму смерть у порога засушить хочет.

Пошла Маланья к Ерашке с Живулечкой — понесла им водицы напиться дать и ее согреть в горшке да головенки вымыть у припечка, а бабы стоят у колодца, вслед ей смотрят и пересмеиваются. А к ним из лесу выходит старый старичок,

---

[155] Примечания: 155
Перед — здесь: заранее.

на две клюки опирается.

— Бабоньки, — говорит, — кто у вас тут есть на селе жив человек, что пущает к себе неимущего путника?

А бабы ему отвечают:

— А ты чей человек и как тебя звать по имени и по отчеству?

Старик отвечает:

— Странник я света Божьего, и имя мне Живая Душа на костыльках; приустал в пути да уснуть хочу.

— Мы не знаем тебя, — отвечали бабы, — и пустить к себе без мужиков не смеем, а мужики у нас строгие да грозные — придут, заругают нас.

— Что же, вы, видно, своих мужиков больше Бога боитесь. Бог-то, ведь, велел принять и покормить неимущего.

Бабы отвечают:

— И то правда твоя, странничек: Божье слово помним, а человеческого боимся.

Живая Душа покачал головой и говорит:

— А ведь это, бабоньки, по худу быть — так бы ведь вовсе не надобно. Пойду к самим мужикам: у них попрошусь.

Пошел к мужикам, и мужики его не пустили.

— Кто тебя знает, — сказали, — может быть, ты

слабым прикинулся и сам разузнать хочешь, где у нас дорогое добро лежит, да ворам открыть, а может быть, у тебя на теле прыщи да вереды[156], а у нас избы чистые и полы стланые; иди-ка по тропиночке в гору, там есть бедная избушка — в ней живет Маланья-голова баранья, она всех пущает и тебя пустит.

— Спасибо вам, добрые хозяева, — отвечал старичок Живая Душа и пошел к Маланье.

А Маланья увидела его из окна и послала безрукого Ерашку, чтобы звать его ужинать.

Ерашка добежал к старику и кричит:

— Иди-кось, дедко: тетушка Маланья наварила горшок снытки[157], сольцой посолила, зовет тебя ужинать.

Старик Живая Душа погладил Ерашку по голове.

— И то, — говорит, — к вам иду. Другие-то не пускают.

И только влез в избу — тесно стало и сесть не на чем, а Маланья говорит:

— Садись, дедушка, со ребятками ешь, а я постою.

---

[156] Примечания: 156
Вереды — гнойные нарывы.

[157] Примечания: 157
Снытки — щи из ботвы.

Сел дедко и поужинал, и заговорил поучтивому и по-ласковому.

— Спасибо, — говорит, — тебе, что не спросила, откуда я и как меня звать по имени, а посадила хлеба есть. Я теперь пойду в лес: у тебя тесно — всем нам лечь негде.

— Что ты! Что ты! Живая Душа Божия! В лесу медведи и волки ходят — разве я тебя ночью туда выпущу! Здесь нам всем место будет. Вот, Ерашка — на печку, а Живулечка — за печку, а ты тут протянись, где простор опростается, а мне мое место найдется.

— Ну, будь по-твоему, — сказал старик, а сам думает: «Где же ей-то самой место будет?»

Лег, покрылся своей ветошью да и уснул с одного вздоха от усталости, а после третьих петухов проснулся — и видит: Маланья стоит на ногах и прядет кудель, которая у нее на колочек под потолком приткнута.

Посмотрел на нее старик одним глазком и говорит:

— А ведь это ты, тетка, должно быть, и не ложилась.

А Маланья отвечает:

— Да мне, Живая Душа, и не хотелося.

Старик покачал головой и говорит:

— Ну-ну-ну! Водил, водил меня Господь долго по свету; думал я, что позабыл Он меня и покинул, а Он привел меня в отрадное место и сподобил узреть любовь чистую. Скажи теперь мне за то в одно слово, что у тебя есть в желании — я тебе то у Бога и выпрошу.

А Маланья говорит:

— Что мне недостает? Я и так всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, а если придет, так чтобы за дверью присохла.

Старик отвечает:

— Что ж, так и будет.

Ушел старик, а смерть вот же тут и жалует; наряжена богатой казачкой в парчовом шугае[158] с золотой пикой, юбка штофная, на боку — стальная коса на золотой цепочке, чеканной, на манер мертвых костей человеческих; вся рожа накрашена, черные зубы во рту белым платочком заслоняет и в избу просится.

— Покажи, — говорит, — мне детушек-голубятушек, я им принесла по медовому груздочку и по точеному яблочку.

А Маланья как взглянула на нее, так и признала

---

[158] Примечания: 158

Шугай — короткополая кофта, отороченная лентой.

ее, что это смерть, — вскричала ей:

— Хорошо им со мной и без яблочек, а тебя бы лучше не было, и присохни ты на одном месте.

Та и присохла и не может оторвать ног от того места, где пристала, а Маланья ее сухим хворостом заслонила, чтобы не видать ее было.

И славно бы дело сделалось, да пошли от селения ужасные стоны и слезы: сильный слабого теснит и бьет без милости, и нет на злодея в жестоком сердце его никакой угрозы; и как были люди жестоки, то стали еще жесточе того; и приходят к Маланье всякий день столько несчастных, сколько она во всю свою жизнь не видала; и она уже не может помогать им и слышит, как они плачут и смерть кличут: «Смертушка-матушка, где ты завеялась! Зачем мир покинула! Приди, укрой нас от злодеев наших немилостивых — без тебя они зазнались без памяти!»

Тут Маланья ума хватилась.

— Это я, — говорит, — дура, все лихо наделала, захотела поправлять дела Божии — чему быть, а чему не быть сотворенному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой хвороста.

— Ах, спусти ее, матушка, умилосердися! Ведь вот уже сто лет у нас ни одних похорон не было, и обессердечили люди жестокие, а мы состарились,

измаялись. Спусти ее и их убрать от больших грехов, и нас — от страдания.

И пошла Маланья, развалила хворост, а смерть-то так уж не румяной казачкой глядит, а как паутиночка, и коса у ней вся заржавела.

— Иди, куда тебя Бог послал! — сказала Маланья смерти: и та колыхнулась и поплыла к селу паутинкою по сжатому полю, и послышался вскоре погребальный звон, и перекрестились бедняки, и встрепенулись богатые мужики.

— Мы, было, думали, она навсегда кончилась, а вот она, как змея, из хворосту выскочила. Нельзя век лютовать и властвовать.

А убогие крестились и сами в гробы ложились.

— Устали, — говорят, — наши косточки — насилу дождались земли горсточки.

И обошла смерть все село за лесом и убрала все, что было нужно убрать, а с другими вместе и Ерашку, и Живулечку, потому что было уже и безрукому, и безногой более чем по сту лет, а Маланья осталась жить и все живет, как прежде жила, и все то же делает, что и прежде делала, и все те умерли, кто звал ее «Маланьей-головой бараньей», и сама она это имя позабыла. И как смерть обойдет весь свет да придет к ней и спросит:

— Как тебя звать?

Она старается вспомнить, никак не может и говорит:

— Не знаю — верно, мое имя переменилося.

Смерть стала вопрошать: «Как имя этой женщины?» А ей в ответ и упал с неба белый, как снег, чистый камень, как сердце обточенный, и на нем огнистым золотом горит имя: «Любовь».

Увидела это смерть и сказала:

— Ты не моя — нет твоего имени в моем приказе: любовь не умирает; ты доживешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся, и волк ляжет с ягненком и не обидит его.

Левша, или сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (сказка)
Глава первая

Когда Император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все Государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что Государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: «Так и так, и у нас дома свое не хуже есть», — и чем-нибудь ответет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог

по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать Государя во всякие свои цейхгаузы[159], оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, — Платов сказал себе: «Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам».

И только он сказал себе такое слово, как Государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру[160] смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего Государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а

---

[159] Примечания: 159

Цейхгауз — воинский склад оружия, обмундирования, снаряжения и т. п.

[160] Примечания: 160

Кунсткамера — собрание различных редкостей; помещение, где хранилось такое собрание.

пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кисляр-ки[161], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень Богу помолился, буркой укрылся и за-храпел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

Глава вторая

На другой день поехали Государь с Платовым в кунсткамеры. Больше Государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры[162], и посредине, под балдахином, стоит Аболон полведерский[163].

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза

---

[161] Примечания: 161
Кизлярки. (Прим, автора.)

[162] Примечания: 162
Бюстры — правильно: люстры.

[163] Примечания: 163
Аболон полведерский — правильно: Аполлон Бельведерский.

опустивши, как будто ничего не видит, — только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и двенадесять язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между Государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мор-

тимерово ружье, а из другой — пистолю.

— Вот, — говорят, — какая у нас производительность — и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах, — говорит, — как это так… как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает Государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле». Англи-

чане удивляются и друг дружку поталкивают: — Ох-де, мы маху дали!

А Государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и Государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем Государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это Государь огорчился? — думал Платов, — совсем того не понимаю», — и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока Государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

Глава третья

На другой день, как Платов к Государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но Государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане все Государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво?

А англичане и не знают, что это такое молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к

нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А Государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали Государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамидь[164] до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе: «Вот, слава Богу, все благополучно: Государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает, а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное под-

---

[164] Примечания: 164

Керамиды — правильно: пирамиды.

несение.

— Что же это?

— А вот, — говорят, — изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же, — Государь говорит, — я его не вижу?

— Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и Государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе…

Насилу Государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец, вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом — в другую, и так в три верояции всю каврил[164] станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, — хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом [165] сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни

---

[164] Примечания: 164

Керамиды — правильно: пирамиды.

[165] Примечания: 165

Каврил — правильно: кадриль — народный и бальный парный танец.

ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляры, говорят, будто казенные, а у них насчет казенного строго, хоть и для Государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, — говорит, — всегда при всякой вещи принадлежит.

Но Государь говорит:

— Оставь, пожалуйста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай. — И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам опустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную

шкатулку, которая вся выстлана преламутом[166] и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов Государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, — говорит, — принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у Государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота[167]. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут

---

[166] Примечания: 166

Преламут — правильно: перламутр.

[167] Примечания: 167

«Поп Федот» не с ветра взят: Император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чеховского, которой после того именовался «духовником Его Величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чехов-ский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (Прим, автора.)

— все могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял Государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту Государь Платова уже совсем не взял.

— Ты, — говорит, — к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

Глава четвертая

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после Государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, — а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому Государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки — бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут

у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но Государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, — никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной у кушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с у кушетки поднялся, трубку бросил и явился к Государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, — говорит, — пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это, — говорит, — так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, — и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны вероятии делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке, — тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

Глава пятая

Платов взял стальную блоху, и как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за

то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, — говорят, — надо взяться подумавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и Государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать — остановись и спосылай за нами: мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно, что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть, — говорит, — будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, — я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, — тогда мне чтоб непременно было, что Государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы, — говорят, — мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь Государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.

Глава шестая

Платов из Тулы уехал, а оружейники — три человека, самые искусные из них, один — косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и со своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, — такие же «два девяносто», да за Орел до

Киева — снова еще добрых пятьсот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собой и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

Глава седьмая

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «Вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами и из них выходят самые

способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше.

Икона эта вида «грозного и престрашного»: Святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой — меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и

ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Никол иным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего не известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, — не выскочат ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда, — и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялися.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к Государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

Глава восьмая

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили — тоже пролетели

сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

Глава девятая

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою рабо-

ту оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху[168] да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку со свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас

---

[168] Примечания: 168

Застреха — нижний, нависающий край крыши у избы, сарая.

после этого Бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

Глава десятая

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Все, — отвечают, — готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик, и форейтор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так, замахнувши, и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, — видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме нее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели Государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду — и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же, — отвечают, — где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил — никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода, и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете — мы от вас, как от Государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже Государево имя обмануть сходственны, — мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к Государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куца-

пыми пальцами за шивороток босого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пубеля[169], — ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь — гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у Государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента[170] увозите? Ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало, и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к Государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к Государю, а косого левшу велел свистовым

---

[169] Примечания: 169
Пубель — правильно: пудель.

[170] Примечания: 170
Тугамент — правильно: документ (паспорт).

казакам при подъезде караулить.

Глава одиннадцатая

Платов боялся к Государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к Государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим Государя занять, и тогда, если Государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но Государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против

аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория, — говорит, — ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было и как досказал до того, что туляки просили его блоху Государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

Глава двенадцатая

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, — а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских ма-

стеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе, — говорит, — такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого Царя Благая Мати, Пречистая и Чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят, — потому они его терпеть не могли за храбрость.

Глава тринадцатая

Как довел Платов левшины слова Государю, тот сейчас с радостию говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. — И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и Государь взял блоху и положил ее под стекло сначала

кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком — словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но Государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами Государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если Государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, Государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так, и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, Ваше Величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! А он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали, — и положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, Ваше Величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи, — говорит Государь, — это уже очень сильно мелко!

— А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и Государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

Глава четырнадцатая

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил Государь.

— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит — это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что Государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию

— вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел Государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть, — говорит, — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

Глава пятнадцатая

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления Государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: «Ай люли– се тре жули».

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он, что ему не подходящее, не принимает. Подали

ему ихнего приготовления горячий студинг[171] в огне — он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости — описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветой вышел.

— А самого этого мастера, — говорят, — мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и, как ровного себе, — за руки. «Камрад[172], — говорят, — камрад — хороший мастер, — разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь

---

[171] Примечания: 171

Студинг — правильно: студень — кушанье из сгустившегося от охлаждения мясного или рыбного отвара.

[172] Примечания: 172

Камрад — товарищ, друг (англ.).

выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, может быть, — отравить с досады хотите.

— Нет, — говорит, — это не порядок: и в Польше нет хозяина больше — сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще больше стали удивляться — и начали накачивать вином и левшу, и курьера, и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А Левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?

— Это, — говорит, — книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник.

Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть; а то вот, хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в

науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня, — говорит, — дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы, — говорит, — к своей родине привержены, и тятенька мой — уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы, — говорят, — обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого, — ответил левша, — никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши праотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же

самое Евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы, и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают. — Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву[173] сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем, — говорит, — напрасно девушек

---

[173] Примечания: 173

Грандеву — правильно: рандеву (франц.) — свидание.

морочить. — И отнекался. — Грандеву, — говорит, — это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если, — говорят, — без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас, — говорит, — когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки[174]. Совсем точно обезьяна-напажу — плисовая тальма[175].

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия, — отвечает левша, — нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же, — говорят, — ваш фасон лучше?

— Наш фасон, — отвечает, — в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже

---

[174] Примечания: 174

Ногавочки — чулки или носки.

[175] Примечания: 175

Обезьяна-напажу — плисовая тальма — так автор насмешливо обрисовал наряд модниц (плис — это род хлопчатобумажного бархата, модный в те времена); тальма — женская длинная накидка без рукавов.

и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом, — говорят, — мы его на своем корабле привезем и живого в Петербург доставим.

На это он согласился.

Глава шестнадцатая

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, — и пошли они левшу водить и все ему показывать.

Он смотрел все их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты[176] с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою — стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цифирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

---

[176] Примечания: 176

Щиглеты — правильно: штиблеты — мужские ботинки на шнурках.

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет — засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли, — говорит, — я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет? Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как, — говорит, — они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы, — говорят, — парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому

что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр, — говорят, — смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море[177].

— Это все равно, — отвечает, — где умереть– все единственно, воля Божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в род-

---

[177] Примечания: 177

Твердиземное море — правильно: Средиземное море.

ную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет, — отвечает, — мне тут наружи лучше, а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая, и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец, — говорит, — рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию

секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так, — отвечал полшкипер, — так давай держать с тобой аглицкое парей[178].

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, — скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно, — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо, — говорит, — идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

Глава семнадцатая

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли все наравне и друг другу не уступали и до того акку-

---

[178] Примечания: 178

Парей — правильно: пари.

ратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин[179].

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Пол шкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить, и есть, и свое пари выдержать, — а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл;

---

[179] Примечания: 179
Мурин — негр, арап.

а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

Глава восемнадцатая

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все время на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так, непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, все роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел.

Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

Глава девятнадцатая

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы, — говорит, — два слова Государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на у кушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь, потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают, — а ты беги скорее к коменданту

Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите Государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер. Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом

графу Чернышеву доложил, чтобы до Государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, — тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», — так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до Государя — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

Глава двадцатая

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но

предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но, как олицетворенный народною фантазиею миф, он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душой».

Очарованный странник
Глава первая

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских[180] лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу место, как Корела, где любое

---

[180] Примечания: 180
Чухонский — финский.

вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М… н… не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? По крайней мере, умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать бы-

ло невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А.К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов. — Я, что вы насчет того света для самоубийцев го-

ворите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета[181].

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами Его

---

[181] Примечания: 181

Митрополит Филарет — святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский (1782–1867).

Высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик — ужасный пьяница, пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик — запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталося: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим,

умру, а ведь я не скотина: я не без души — куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» — потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это Преподобный Сергий[182]. Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб Божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?» А святой Сергий отвечает:

«Милости хощу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а Владыко

---

[182] Примечания: 182
Преподобный Сергий Радонежский (1314–1392).

проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так Его Высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот… такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить… Скачут… числа им нет, сколько рыцарей… несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх[183] в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени — змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — их: теперь

[183] Примечания: 183
Стратопедарх — начальник военного лагеря.

нет их молитвенника», — и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу Его Высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват, — говорит, — в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь…» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не

отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «должен»?

— А потому, что «толпытеся»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духов день, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои

слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре.

— Все же, ведь уже это значит, вы инок?

— Н… да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, — но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого

детства.

— Значит, кантонист[184]? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я конэсер.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я… я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у

---

[184] Примечания: 184

Кантонисты — потомственные солдаты, дети военных, обязанные по своему происхождению служить в армии.

иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется, — она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и вышелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей — американский дрессировщик лошадей — приезжал — «бешеный усмиритель» он назывался — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С Божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть: а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, — говорю, — это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода-Гавриила[185] из Новгорода,

[185] Примечания: 185

Всеволод-Гавриил — благоверный князь Всеволод (в крещении Гавриил) Новгородский, Псковский (1092–1138), сын св. великого князя Мстислава и внук Владимира Мономаха.

которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента: как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный[186] горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, — говорю, — скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! Или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, — говорят, — это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и

[186] Примечания: 186
Муравный — покрытый глазурью, стекловидной оболочкой.

его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза, и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк… Он ек — да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой — еще по другому боку… Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка… Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да

и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!» — да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался, и ездил, но только скоро издох.

— Издох, однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так… он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что…» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он

с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать… Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М… н… н… не знаю, как это объяснить… впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так… как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Глава вторая

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил

жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно, как в военной службе, от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки[187] корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинною синею ассигнациею[188] жалован.

От родительницы своей я в самом юном сирот-

[187] Примечания: 187

Ворок (ворки) — загон, скотный двор.

[188] Примечания: 188

Ассигнация — денежная бумажная купюра. Синяя ассигнация — купюра пятирублевого достоинства.

стве остался и ее не помню, потому как я был у нее молитвенный сын, значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми

косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — все дивятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет… И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили.

Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками[189] звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье… ну то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто, и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддди-ди-и-и-ттт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к под-

[189] Примечания: 189

От кофешенк — придворный чин смотрителя за кофе, чаем, шоколадом.

пругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже, как неживого, отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну, а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть.

Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П… пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было; преестественно, там, на казенной дороге, нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой

вид обширный… Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так и держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку… что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасался, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полену его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться

на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз… в вожжи ногами замотался… Мне и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается… Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь… Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? Пошел прочь!»

А он отвечает:

«Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет, — отвечаю. — Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то, — говорит, — это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее моленый сын?»

«Как же, — говорю, — слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли, — говорит, — ты еще и то, что ты сын обещанный?»

«Как это так?»

«А так, — говорит, — что ты Богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же, — говорю, — она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я, — говорит, — не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так, — говорит, — потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не

все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу, — отвечаю, — только какое же знамение?»

«А вот, — говорит, — тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно, — отвечаю, — согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж, — к новоявленным мощам[190] маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, — и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

---

[190] Примечания: 190

Речь идет о мощах святителя Митрофана, епископа Воронежского (1623–1703), обретение которых произошло в 1832 году.

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

— Смотри, Голован, осторожнее.

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и, прах его знает, куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду прихо-

дятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпу, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся… Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! Держи!» И он сам орет: «Держи! Держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит… вожжа оборвалась… А впереди та страшная пропасть… Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис… Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышл овиков так еду шил, что они захрипели и… гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных,

которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе и здоровый мужик говорит мне:

— Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

— Дай где же, — говорит, — тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз, как на салазках, и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «Барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию.

— На, — говорит, — играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу,

что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погни, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

Глава третья

Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилося мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с

собою целуются… Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели… Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные… Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал, да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала, и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на

полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, — думаю, — нет, зачем же, мол, это так делать?»– да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, — так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут… Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или

не издохла? Чем, думаю, испробовать, жива она или нет? И положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, — думаю, — теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более, как через два, смотрю, вбегает графи-нина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

— Ага, ага! Вот это кто! Вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, — говорит, — Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

— А как же ты, — говорит, — это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

— Что, — говорю, — за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала, — да с этим ручкою хвать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу да ее метлою по талии…

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить… Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогожке снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить… это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился со своею жизнью докончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал

ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталося скакнуть, да и вся б недолга была… Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

— Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или, — пристает, — тебе жить худо?

— Видно, — говорю, — не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдем, — говорит, — лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

— Воры, — говорит, — мы и воры, и мошенники.

— Да; вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается, — говорит, — и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях да тюп, да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже

на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все. «А еще, — говорят, — спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

Глава четвертая

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я, — говорит, — тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, знавши в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному,

и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию[191], а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как, — говорю, — я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, — отвечает, — что такая выросла.

— Это, — говорю, — глупости: почему же ты себе много берешь?

— А опять, — говорит, — потому, что я мастер, а ты еще ученик.

— Что, — говорю, — ученик — ты это все врешь! Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что

---

[191] Примечания: 191

То есть на бумажные деньги, которые оценивались в 30– 40-х годах XIX века двадцать семь копеек серебром за один рубль ассигнацией.

ты подлец.

А он отвечает:

— И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак, на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?

— Да, — говорю, — это сережка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный.

— Ну, скидавай, — говорит, — их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателеву печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому еще нужно — ко мне посылай.

— Ладно, — думаю, — хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет. Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на Торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, пол у бродяжки, а нанимать выбежало много людей, и все так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор, — говорит, — или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, — говорит, — верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как, — говорю, — в няньки? Я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки, — говорит, — пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте, — отвечаю, — тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки, — говорит, — ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я, — говорит, — на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дои и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, — говорю, — кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, — отвечает, — не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из по-

лячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман[192] белье полоскать, — и коза-то и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я, — говорит, — тут чем причинен? Снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку

---

[192] Примечания: 192

Лиман — залив в низовьях реки или соленое озеро вблизи моря.

лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу, и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! Иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскликались! Оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего… Ух, как скучно! Пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван!

Пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! Пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! Тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и со стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь… взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые Ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который Ангел по

щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, — думаю, — опять это мне про монашество пошло!» — и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал, и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась, и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай, — говорит, — мне ее.

— С чего же ты это, — говорю, — взяла, что я ее тебе отдам?

— Разве тебе, — плачет, — ее не жаль? Видишь, как она ко мне жмется.

— Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже

и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам».

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну, хорошо, — говорит, — ну, не хочешь дитя мне отдать, так, по крайней мере, не сказывай, — говорит, — моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, мол, другое дело — это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

— Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом

свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того… замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана… злою мачехою и того… этого мужа своего она не того… говорит, никак не могла полюбить. А того… этого… другого-то, ремонтерато… что ли… этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему… предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими… ну, как их?., с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И наконец пришла

последний раз прощаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, — говорит, — что я тебе скажу: нынче, — говорит, — он сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтер.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

— Ну, уж вот этого, — говорю, — никогда не будет.

— Отчего же, Иван? Отчего же? — пристает. — Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все

равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя и берегу его.

Она убеждает, что ведь, посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки, — отвечаю, — это не мое дело.

— Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

— А что же, — говорю, — если ты, презрев закон и религию…

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет… силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто… Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним

здесь, Бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

Глава пятая

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал? И взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, — говорит, — раскинем, у него глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка, — и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

— Вот, — говорит, — тут ровно тысяча рублей — отдай нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку, потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

— Нет, — говорю, — это твое средство, ваше благородие, не подействует, — а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

— Тубо — пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, — что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе, — говорю, — и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее да с кулачонками ко мне борзо кидается… Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется.

Он кричит:

— Подлец, подлец, изверг! — и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает… и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти… А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

— Ну как же, — думаю себе, — так я тебе и стану их держать! Пускай любятся! — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Нате вам этого пострела! Только уже теперь и меня, — говорю, — увозите, а то он меня пра-

восудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? Ведь он присягу принимал, и на войне с саблею Отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому, — отвечает, — что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был, — говорю, — паспорт, только фальшивый.

— Ну вот видишь, — отвечает, — а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с Богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужасть как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, — говорю, — покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что.

— Что, — спрашивает, — такое?

— А то, — отвечаю, — что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну что это, Бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это, — отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

— Это, — отвечает, — правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, — говорю, — я этого никак дальше снесть не могу…

— А что же, — говорит, — теперь с этим делать? Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть, — говорю, — нельзя, а по крайности, для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить, — и взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же? — говорит, — за что же я тебя стану бить?

— Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить, — и опять щеки надул; а он вдруг вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! Это, мол, иное дело; зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать

нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю: «Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею… «Шабаш, — думаю, — пойду в полицию и объявлюсь, но только, — думаю, — опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посереди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один

при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты, — говорит, — его не знаешь: это хан Джангар.

— Что, мол, еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

— Разве, — говорю, — эта степь не под нами?

— Нет, она, — отвечает, — под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, — говорит, — хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и шихзады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но

ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? Просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока и сама вся навытяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости все вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! И опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушами запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли за нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтораста и так далее, все большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз

от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонять, — сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и, точно птица, летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе, — ах ты, стрепет[193] степной, аспидский! Где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонял ее татартище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты, — думаю, — милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, — но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг, тут еще торг не был кончен и никому она

[193] Примечания: 193

Стрепет — степная птица из рода дрохвы, которая резко шумит крыльями на лету.

не досталась, как видим, из-за Суры, от Сел иксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкой шляпой машет, и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице, и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

— Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем[194], и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня, и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей, и говорит:

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобы-

---

[194] Примечания: 194

Игрений — рыжий, со светлой, беловатой гривой и хвостом (о масти лошадей).

лица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает:

— Это, — говорит, — дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он, — говорит, — не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом, в последний день, ми-хорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конэсеры не знать, что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится и еще деньги за то получает. Эту его привычку знавши, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел…

— Диво, — говорю, — какая лошадь!

— Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всереди косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь

вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того, — отвечает, — что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет. — Что же они, — спрашиваю, — очень, что ли, богаты? — И богатые, — отвечает, — и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, этот называется Бакшей Отучев, а худющий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, — оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат; один кричит:

— Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов (значить пять лошадей), — а другой вопит:

— Врет твоя мордам, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкун:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, а Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей — седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», — и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормошат их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот видишь, — говорит, — этим князьям,

которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может.

— Отчего же, — отвечает, — азиаты — народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит: «наперепор»?

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев, и Чепкун Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгода! — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгода: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в

одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны[195] степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю: что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки, и сравнял их в руках, и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем:

— Глядите, — говорит, — обе штуки ровные.

— Ровные, — кричат татарва, — все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «Подождите», — и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо:

---

[195] Примечания: 195

Курохтан — буро-серая степная птица типа горленки.

раз, два и три… И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются… Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой — еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да, — отвечает, — тоже такой поединок, только это, — говорит, — не насчет чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же, — говорю, — они эдак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им, — говорит, — похочется и сколько силы станет.

А те все хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», — а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», — и кому хочется, об заклад держат, те — за Чепкуна, а те — за Бакшея, кто на кого больше надеется.

Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, — за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

— Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то, — говорит, — они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же, — говорю, — по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает.

— А вот то, — отвечает, — и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это, — думаю, — такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, — размышляю, — должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

— Скажи, — говорю, — милый человек, отчего

ты теперь за Бакшея опасаешься?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! Ты гляди, — говорит, — какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь, — говорит, — как он бьет?

Гляжу и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

— Ну, а теперь сообрази, как он нутрем действует?

— Что же, мол, такое «нутрем»? — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

— Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит: он у себя воздухом все нутро пережжет.

— Что же, — спрашиваю, — стало быть, Чепкун надежней?

— Непременно, — отвечает, — надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, а спиночка у него, как лопата, коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только

местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и, как котел, посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожич-ка, как на жареном поросенке, трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет и он Бакшея запорет. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь, — говорю, — понимаю, — и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А еще самое главное, — указует мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет — это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна, и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища

совсем обостолопели, и губы веревочкой собрались, и весь оскал открыли… И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул, и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тот мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, — думаю, — все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», — а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет.

Я говорю:

— Чему же еще быть? Все кончено.

— Нет, — говорит, — не кончено, ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

Глава шестая

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит — по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху,

а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, — настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как, он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакий коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа, как морковь, красная, и весь он будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, — говорит, — по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться,

кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татарином сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

— Сделайте такую милость: мне хочется.

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татарином… что же, секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм… как вам сказать… Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спущать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыс-

нет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, — отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню,

что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пущал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый… Тьфу ты, дурак эдакий! До чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? Что вам за надобность?»

«Как, — говорят, — ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

— «Он, — говорят, — тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, — говорят, — по христианству надо судить. Пойдем, — говорят, — в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было

на честном бою…»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте… как же они вас скрыли?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? Скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, — говорят, — тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь — коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих

их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать… Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру[196] дам или калганного корня[197], и пройдет, а сабуру у них много было — в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетинен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетинены?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот

---

[196] Примечания: 196

Сабур — алоэ.

[197] Примечания: 197

Калганный корень — растение, употреблявшееся как пряность и лекарство.

тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, — говорят, — нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», — и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, ден несколько держали руки связавши, — все боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, — говорят, — здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никуда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на

землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это, — говорю, — вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же, — говорю, — это пустое дело: так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты, — говорят, — приноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся, и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал — скука смертная одолела, и стал приноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастие, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется… Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет… Как идти?.. Так и упал, а они отыскали меня, и взяли, и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо, — отвечал Иван Северьяныч, — да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь, — говорят, — тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь Наташу — мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! Женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели: эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати… Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвечал он, — эта вышла не утешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разно… Как ей, бывало, вздумается: на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать —

шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? Верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же, — запытал опять один из слушателей, — как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-зады, и мало-зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Какже это… Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него

отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал… «Эх, — говорит, — Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, — говорит, — было хотел смеяться, как сам князь рубаху долой будет снимать».

«Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья, — говорю, — слабодушные и немужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня

и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите, что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

Глава седьмая

Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда — на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что, — говорят, — тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить, — Емгурчей — вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что, — говорю, — мне их больше? Мне больше не надо».

«Нет, — говорят, — ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тятькой кричать будут».

«Ну, — говорю, — легко л и мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? Ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего… сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? Она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них все если взрослый русский человек — так Иван, а женщина — Наташа, а мальчиков они Кольками кличут, так и

моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и

Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных Таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? Почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», — но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется… тоска делалась. Осо-

бенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи… в одну сторону и в другую — все одинаково… Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет… Зришь сам, не знаешь куда, и вдруг пред тобой, отколь ни возьмется, обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит… Одурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизной, а тут все одно

блыщание… Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать… Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье… А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник[198]… И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнет, и идут от растения запахи… Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно, но на солончаке не приведи Господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей посто-

[198] Примечания: 198
Чилизник (чилига) — степная полынь.

янно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи[199] и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так, как барана, тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит[200] — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят… И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный паст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется тюбенькуют… Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно, вроде, как коровье вымя, но

---

[199] Примечания: 199
Хлупь (хлуп) — кончик крестца у птицы.

[200] Примечания: 200
Залубенеть — стать твёрдым, жёстким, негнущимся.

жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет, как есть, коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует; отец Илья и раскиснет, и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уже более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, — говорит, — мне в газетную бумажку, я с

собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и, не завернувши, своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и… дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети, и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться… и молишься… так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы своей монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава Богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очаро-

ванный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь.

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

Глава восьмая

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена. Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуй бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных», а я, бывало, когда это слушаю, все

думаю: зачем? Разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь и сам молиться не стал.

— Что же, — думаю, — молить, когда ничего от того не выходит.

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятятся.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, — говорят, — из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов, и мало-задов, и мамов, и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову Божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу,

и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал.

Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? А что! Видите! Видите? Как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет, — я говорю, — я, точно, русский! Отцы, — говорю, — духовные! Смилуйтесь, выручите меня отсюда! Я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: все проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтися» — и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним, и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую

участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте, — говорю, — их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, — говорю, — здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

— Что, — говорят, — сыне: выкупу у нас нет, а пугать, — говорят, — нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же, — говорю, — стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у Бога много милости, может быть, он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

— А ты, — говорят, — не отчаивайся, потому что это большой грех!

— Да я, — говорю, — не отчаиваюсь, а только…

как же вы это так… мне это очень обидно, что вы русские и земляки и ничего пособить мне не хотите.

— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да, — отвечают, — все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся… это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, — говорят, — рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверсты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь, — говорят, — видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, — это все мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал, и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил от-коль-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятька, человек лежит.

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, — татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет, — а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, — думаю, — не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь, ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый боже» над ним пропел, — а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только все без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного проповедыва-

ют. Это попервоначалу никак не годится, потому что азият смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший и, видно, к вере своей усердный и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые… очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что Бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! То хорошо, что ты такой

ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Но не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего Отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем… Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его Бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

— Стой, — говорят, — давай мы его по горло в

песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки, и всего по кусочкам из песку повытаскали, и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа, тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

Глава девятая

После того, как татары от наших мисанеров[201] избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили — слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке — острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: все ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает.

---

[201] Примечания: 201
Мисанер — правильно: миссионер.

И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подущают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «нат-шаль-ник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда, и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою со своим огнем — ничего. Но этот чернобородый, который

из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужасть как интересно, и все мы хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки (под кибитки) рано и ждем… Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то, как вьюга, прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

— Цыть! Заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали.

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел… зашипело и опять лопнуло…

«Ну, — думаю, — однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер — как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет; вдруг все желтое сделается и потом синее станет.

По становищу, слышу: все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя, этакой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуметь, кони шарахаются и все в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем… Кони как зынули на то, да и понеслись… Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память… Вот тут как все наши батыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляд елся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх

полетела, а там… бббаххх, звездами рассыпало… «Эге, — думаю себе, — да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали», — да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат, кто где упал, да только ногами дрыгают… Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адъю-мусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил… Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли… Огонь погас, а они все лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? Признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?» — потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости, — говорят, — Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно, уже я за все свои грехи оттерпелся и прошу:

«Мать Пресвятая Владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости, — говорят, — что мы в твоего Бога не верили».

«Ага, — думаю, — вон оно как я их пугнул», — да говорю: «Ну уж нет, братцы, врете, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою… Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего Бога верить».

«Не губи, — отвечают, — мы все под вашего Бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «Во имя Отца и Сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им, того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали со своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал

и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел…

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь непроезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на четвертый день Чувашии показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так… он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

«Садись, — кричит, — веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя Бога нет?»

«Как, — говорит, — нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто же, — говорю, — твой бог?»

«А у меня, — говорит, — все — бок: и солнце — бок, и месяц — бок, и звезды — бок… все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм… все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос, — говорю, — стало быть, тебе не Бог?»

«Нет, — говорит, — и он бок, и Богородица — бок, и Николач — бок…»

«Какой, — говорю, — Николач?»

«А я то один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, я то он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда, — говорю, — его почитай, потому что он русский», — и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо,

разболтался и выказался.

«Как же, — говорит, — я Николача почитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети[202] бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же, — говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь, — говорю, — не хочу я с тобою… я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят… Должно быть, думаю, христиане… Подполз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют — ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

---

[202] Примечания: 202

Керемети — согласно чувашским поверьям, добрые духи, которые живут в лесах.

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего, — говорят, — здесь своя нация, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, Господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят, — ишь ты без нее как запичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный, все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я, — говорю, — я от вас не пойду; а у вас,

небось, тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я, — говорит, — над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как

очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия…

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было… столько лет не причащамшись… ждал…»

«Ну, мало ли, — говорит, — что; ты ждал, а зачем ты, — говорит, — татарок при себе вместо жен держал… Ты знаешь ли, — говорит, — что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться, как должно, по правилу святых отец исправлять, так на тебе, на живом, надлежит всю одежду сжечь, но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же, — думаю, — делать: останусь хоть

так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена», — но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я, — говорят, — не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерениев у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! Магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла ваша собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так пожалуйста.

Глава десятая

— Взявши паспорт, я пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего

конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь — в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина, и угощенья, и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти, и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею, и начал ходить с ярмарки

на ярмарку, и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что Божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой, — говорит, — братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристает:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, — вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен и говорит; «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело, — говорю, — если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной соколок или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник, как этакую военную латоху увидал, сейчас начнет перед ним конем

крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики — их обрезывают, — а чтобы ушки прямо стояли — в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой, — барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бород очка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подымется и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не

шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты — будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу[203] намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и

[203] Примечания: 203
Кила — грыжа, опухоль.

колено об ясли бьет», — и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке[204]

[204] Примечания: 204

Архалук — старинная верхняя мужская одежда, кроем напоминающая короткий кафтан, поддёвку.

ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня почти полупочтенный, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечу, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава Богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько, — спрашиваю, — вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас

постегаю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться. — Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж.

— Никогда, — отвечал он. — Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с, — говорит, — извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже, как брат, ко мне снисходил.

— А с вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит «выходы»?

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпущаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него

скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М…Н…Н… это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает, и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь

вспомнить страшно.

Глава одиннадцатая

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно, от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет… Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка

ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна — в Л., другая — в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял, или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого

нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И наконец стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить, и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить… Думаю: «Что делать? Видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю… Измучился просто я, их прятавши и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам[205], и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил,

[205] Примечания: 205
Застреха — нижний край кровли, навес.

и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул из себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне Ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым Ангелам, а дьяволу взял да, послюнивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить… А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру… Тут его, в этом

трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

«Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая Божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет».

Те ему не верят и смеются, а он сказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже

утробою жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает.

«Верно, — говорит, — ты происхождения из господских людей?»

«Да, — говорю, — из господских».

«Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси[206], — говорит, — тебе за это».

Я говорю:

«Ничего, иди с Богом».

«Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду».

«Ну, мол, пожалуй, садись».

Он возле меня и сел, и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

«Что это… ты чай пьешь?»

«Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей».

«Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу».

«Отчего?»

---

[206] Примечания: 206
Гран-мерси — большое спасибо (франц.).

«А оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!..» — И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

«Подумай, — говорит, — ты, какой я человек? Я — говорит, — самим Богом в один год с Императором создан и ему ровесник».

«Ну так что же, мол, такое?»

«А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем». — И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются, и в конце говорит:

«Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное, но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть,

и несу».

«Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось».

«Бросить? — отвечает. — А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно».

«Почему же, — говорю, — нельзя?»

«А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют».

«Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я верить не хочу».

«Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?»

«Спаси, мол, Господи! Нет, я думаю, не обрадуется».

«А-га! — говорит. — Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня, по крайней мере, за это, и вели мне еще

графин водки подать!»

Я постучал еще графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

«Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил и, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть».

«И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?»

«Не ропщу, — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше».

«Как это, мол, так, я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?»

«А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить

не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно что Иов на гноище, и в этом, — говорит, — все мое счастье и спасение», — и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

«А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял».

«Ну, где же, — говорю, — возможно такого человека найти! Никто на это не согласится».

— «Отчего так? — отвечает, — да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек».

Я говорю:

«Ты шутишь?»

Но он вдруг вскакивает и говорит:

«Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай».

«Ну как, — говорю, — я могу это испытывать?»

«А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарова-

ние: я вот, видишь, — я сейчас пьян… Так или нет: пьян я?»

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый, и весь осоловевши, и на ногах покачивается, и говорю:

«Да разумеется, что ты пьян».

А он отвечает:

«Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

«А ну-ка погляди теперь на меня. Пьян я теперь или нет?»

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

«Что же это значит: какой это секрет?»

А он отвечает:

— Это, — говорит, — не секрет, а это называется магнетизм.

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, — говорит, — это тебе показал для того, чтобы ты

понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи, — говорю, — сделай милость, с меня!

— А ты, — говорит, — разве пьешь?

— Пью, — говорю, — и временем даже очень усердно пью.

— Ну, так не робей же, — говорит, — это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму. — Ах, сделай милость, прошу, сними!

— Изволь, — говорит, — любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму, — нс этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна, — говорит, — для меня, другая — для тебя! — Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тссс! Силянс![207] Молчать! Ты теперь кто? — больной. — Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, — говорит, — лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство, — и с этим налил и мне, и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось, и он приказывает: «Дай, — думаю, — ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша ли, — спрашивает, — вкусна ли, или горька? — Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит, — говорит, — что ты мало принял — и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?» Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и

---

[207] Примечания: 207
Молчание (франц.).

опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

— Эта легче, — и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

— Шу, силянс… атанде [208], — и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

— Теперь готово, можешь принимать, как сказано.

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все пони-

---

[208] Примечания: 208
Подождите (франц.).

маешь и зато вон какой лонтрыгой[209] ходишь.

А он говорит:

— Шу, силянс! Любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса, природы совершенство»?

— Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю.

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь, — говорит, — краса, природы совершенство?

Но как время было довольно позднее, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили, человек шесть, и сами просят… «пожалуйте вон», а сами подхватили нас обоих под ручки, и за порог выставили, и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и

---

[209] Примечания: 209

Лонтрыга (лантрига) — мот, гуляка.

по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.

Глава двенадцатая

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник. Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампады навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает… А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь,

расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег — тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? Вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь, ты? — говорю. — Магнетизер, где ты? А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — еще поближе. И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой. Как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое, — говорю, — лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе.

— Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя

позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизер.

— Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой…

— Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался? — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизер.

— Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? Я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой довечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пе представлю, что ты себя иным человеком ощутишь.

— Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать.

— Истинно, — говорит, — истинно: такое пти-ком-пе…

— Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пе!

— Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу, природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?

— А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдем.

И пошли. Идем оба, шатаемся, но все идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! Говори мне, кто ты? Иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню

и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу.

И вдруг повернул меня к себе спиною и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать… Так чудно: копается там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

— Послушай, ты… кто ты такой! Что ты там роешься?

— Погоди, — отвечает, — стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю.

— Хорошо, — говорю, — что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?

Он отпирается.

— Ну так постой, мол, я деньги попробую.

Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор, — а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на

свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот, — думаю, — штуку он со мной сделал!»

— А где же теперь, — спрашиваю, — мое зрение?

— А твоего, — говорит, — теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так, — отвечает, — своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты, и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает,

и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься.

А он мне на это отвечает:

— Погоди, — говорит, — еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того, — говорит, — что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвивает бряцало рукою.

«Нет, — думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так, — говорит, — купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись, — говорит, — и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький, махонький-махонь-кий кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

— Зачем? — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси, — говорит, — смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? Мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? Может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение… Теперь ночь — все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать… зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди… так что же опасного? Я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

Глава тринадцатая

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего:

дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево — еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними — опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня… томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим.

И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул… Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди… очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер… Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно все умерло… Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух, — думаю, — да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знако-

мых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая… даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет[210]. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации: а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

---

[210] Примечания: 210

Ассигнации различались по цвету: «синие синицы» — пять рублей, «серые утицы» — десять рублей, «красные косачи» — двадцать пять рублей, «белые лебеди» — сто и двести рублей.

— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами… ей-Богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло.

Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет… «Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал; это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос,

а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? Нам это обидно.

А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю: «Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богаче, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и

не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд, рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пущают, и зовут:

— Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выходит и… враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь: погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно, — и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той

красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул… Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но солу не делает, и мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно… «Эх ты, — думаю, — доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелося ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»![211]

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете… их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, море сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок

---

[211] Примечания: 211

«Челнок» — песня на слова Д. Давыдова «И моя звездочка».

поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит… Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ла-ла прингала!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та тара!
Гей гоп-гай, та тара!

И потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя… На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не считаю,

сколько их выпустил, а даю, да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? Тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, милая,
Как люблю тебя, драгая!

И все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли… Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в

самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается… Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она… Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни

нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит… Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на Гусарову шапку наступает… Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку… А чтобы она на его, Гусарову, шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было

не того… даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил да как на нее топнет… Она и поняла и пошла за мной… Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя… Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? А сам на нее с дерзостью кричу: «Ходи шибче», — да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток осталося…

«Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Сторонись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

Глава четырнадцатая

— Ну, и что же далее? — вопросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника[212] встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет… Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края и, наконец, думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

---

[212] Примечания: 212

Коник — ларь, сундук с подъёмной крышкой.

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а наместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все…

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать… и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот… магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил… Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «Как бы хуже не было, если питье бросить», — и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? Он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только неважное. Князь тоже приехал, проигравшись, и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте, а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять, — а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая

горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава Богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслучить».

Он отвечает:

«Пошел к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь.

«Что, — говорит, — это значит?»

«Да оттрепите же, — прошу, — меня, по крайней мере, как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как, — говорю, — это так?»

«Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Се-

верьяныч, вы, мой полу почтеннейший, артист».

«И понять, — говорю, — не могу».

«Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».

«Ну, вот это, — думаю, — понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было».

Я во все глаза на него вылупился.

«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».

«Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся: Бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор пол сотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как, — говорю, — полсотни тысяч! За цыганку? Да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это, — отвечает, — вы, полу почтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили… Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

«Этакая, мол, сумма! Целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал… все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы, — говорю, — плюнуть, и больше ничего».

«Не мог, — говорит, — братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда, она хороша? А? Правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясу:

«Правда, мол, правда!»

«Мне, — говорит князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»

«Что же, — говорю, — тут непонятного, краса, природы совершенство…»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса,

природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть… даже радость!»

«Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного-малозначащий Иван Северьянович! Именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

«Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? Разумеется, здесь».

«Может ли, — говорю, — это быть?»

«А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист — от тебя я ее не скрою».

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю: «Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят:

князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам, как будто птичьи крылья, шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьяновому башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипы-

вать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут… И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю: «Пти-ком-пе», — говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут», — да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь… тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», — да и ну рыдать. И поет и рыдает: «Успокой меня, неспокойного, осчастливь меня, несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову…

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — вопросил некто рассказчика.

— Нет-с: еще не тут, а позже, — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

Глава пятнадцатая

— Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именьице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил,

у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись, — говорит, — послушай.

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь! Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так,

ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как, — говорит, — вы, мой полу почтеннейший, глупы, «все есть»? Что же это такое у меня есть?

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда, — говорит, — я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?

«Вот, — думаю, — что тебя огорчает», — и говорю:

— Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина, и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно… конечно… разумеется… но только… Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал…

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

«А-га! — думаю, — вот ты что, брат, запел?»– и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает… Накупили обельму[213], а продажи нет… Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере… Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении… в тягости. Скучает. «Мало, — говорит, — его вижу», — а пе-

[213] Примечания: 213
Обельма — множество, куча.

ремогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы, — говорит, — изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

— Береги, — говорит, — ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? Ведь это слово любовное.

— Любовное, — отвечает, — да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг Иван Севе-

рьянович, — возговорит, — ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

— Чего, — говорю, — очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне… не потаи от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ, — говорю, — у соседей или в городе.

— А нет ли, — говорит, — там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходей мой, жениться? — а у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

— Кто его знает, что он делает, — потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все, как следует, и все мне без потайки выскажи.

Пристает она с этим ко мне все больше и боль-

ше и до того меня разжалобила, что думаю: «Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал не спроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну что же; очень рада. Только отчего же, — говорит, — ты к князю не едешь, на его квартиру?

— А разве, — говорю, — он здесь, в городе?

— Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, еще дело?

— Фабрику, — говорит, — суконную в аренду берет.

— Господи! Мол, еще что такое он задумал?

— А что, — говорит, — разве это худо?

— Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?

Она пожала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит, — и с этим вздохнула и задумалась, сидит спустя

голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши… та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое… Я ее и взревновал.

«Ох, — думаю себе, — как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князенька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна, разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда, в гардеробную, за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи

Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, Божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь, как вошел, и говорит:

— Здравствуй, старый друг! Испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом, — говорит, — после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать, — и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова, — говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется, — говорит, — выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне ее покажешь?

— Отчего же, — отвечает, — с удовольствием, — и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

— Выведите, — говорит, — нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — «Посиди», — а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленах и говорит:

— Хочешь, мой анфан[214], в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

— Же ву при[215], — говорит, — пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается. Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа[216], но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непременно надобно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:
— Оденьте ее и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же, когда мой час настал, и я теперь настоящее исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного».

---

[214] Примечания: 214
Дитя (франц.).

[215] Примечания: 215
Я вас прошу (франц.).

[216] Примечания: 216
Почему (франц.).

Глава шестнадцатая

Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку, и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?

А он отвечает:

— Ну что там дело!.. Дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же, — говорит, — ты: я прошу — мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди, по-старому, — и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это, — спрашивает князь, — стало быть, без разговора все начистоту выкладать?

— Конечно, — говорит, — объясняйте прямо, в чем дело. Мы ведь с вами коротко знакомы — церемониться нечего.

— Мне деньги нужны, — говорит князь.

Та молчит и смотрит.

— И не много денег, — молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, что: «Я, — говорит, — суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер; я, — говорит, — все переделаю, все старое уничтожу и выброшу и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, — говорит, — вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно».

Евгенья Семеновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень неумен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут… тогда… я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам…

И он замолк, а барыня помолчала, воздохнула и начинает:

— Расчет, — говорит, — ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

— Верен, — говорит, — верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились…

— Да.

— Да, и тогда…

— Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимите всем этим на фу-фу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее

приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь.

А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай Бог твоими устами да нам мед пить.

— Нам?

— Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу… разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь…»

А она отвечает:

— Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах да, — говорит, — ты про это… Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно… Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте, — говорит, — я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? Говори: не жаль? Верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? Или просто сожалеешь? А?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается:

— Нет, — говорит, — кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай, — и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгенья Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах, и вправду! Какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли?

— Ей-Богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить.

— Устраивайте, — отвечает Евгенья Семеновна, — только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но, слава Богу, на мое счастье, они с Голованом — большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгенья Семеновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-Богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, гово-

рит, в городе, и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастие так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу… Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул, и кинулся: где же Груша? А про нее никто и не ведает; и люди-то в прислуге все новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через

камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни вспрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал или в воде утопил… От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снесть и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним, как лампаду, ис-

теплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут, небось, неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку

Грунюшку, жалобным голосом.

— Сестрица моя, моя, — говорю, — Грунюшка! Откликнись ты мне, отзовись мне; откликнися мне; покажися мне на минуточку! — И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне и повисло, и колотится…

Глава семнадцатая

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши…

— Родная моя! — говорю, — голубушка! Живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего, — говорю, — не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвою не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздох-

нула и говорит:

— Я жива.

— Ну, и слава, мол, Богу.

— Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась.

— Что ты, — говорю, — Бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? Про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?

— Не-е-е-т, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? Тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы

трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, — говорю, — мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулась и говорит:

— Что?.. Чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную, за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь…

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка — барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло переем.

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал… Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху, и снизу, в подошву, обцелует…

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

— Любил, — говорит, — любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет… Глупый он, глупый!.. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему; мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю;

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни черезо что ничего не было, а все через одно изменство… Нравиться ему я перестала, вот и вся причина, — и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать. — Он, — говорит, — платьев мне по своему вкусу таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями, я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь, не идет тебе»; не надену их, в роспашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела…

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

— Я, — говорит, — давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел…

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно

расстроиться?

Глава восемнадцатая

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было, а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится… Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала… Сердце болело, и дитя подкатывало… думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало… Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое маревое платье с кружевом, лиф без горлышка… Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится… я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила… вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла…

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я, — говорит, — у себя в гор-

нице… на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость, — и долго она его не видала… Все посылала за ним, а он не шел.

Наконец, он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый!» — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею…

— На счастье, — говорит, — мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезниял[217] и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а

---

[217] Примечания: 217

Перезниял — перегнил.

это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

А он:

«Тьфу, тьфу, тьфу», — заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляске кататься!» — и притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особливо от этих однодворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не

бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал…

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают… Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да все за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по кожуре примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А наместо глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричат, а я, хоть тягостная, ударилась быстрей коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь

и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать — вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

— Ты мне все равно что милый брат.

Я говорю:

— И ты мне все равно что сестра милая, — а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.

— Говори, — отвечаю, — что тебе хочется?

— Нет; ты, — говорит, — прежде поклянись

чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану.

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты, — говорит, — страшней поклянись.

— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.

— Ну так я же, — говорит, — за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай.

Я сдуру пообещался, а она говорит:

— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь.

— Хорошо, — говорю, — и взял да ее душу проклял[218].

— Ну, так послушай же, — говорит, — теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих, — говорит, — больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и его, и ее порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку… Пожалей меня, родной мой, мой миленый брат; ударь меня раз ножом против сердца.

---

[218] Примечания: 218
В данном случае: поклялся.

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает;

— Ты, — говорит, — поживешь, ты Богу отмолишь и за мою душу, и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла… Н… и… и… у…

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди;

— Нож у меня из кармана достала… розняла… из ручки лезвие выправила… и в руки мне сует… А сама… стала такое несть, что терпеть нельзя…

— Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной.

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку спихнул…

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась, — отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?
— Разумеется-с.

Глава девятнадцатая

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луковочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе Ангела Хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая, и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась, покатилася, и вдруг Груша идет, только маленькая,

не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня, как выстрел, отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются.

«Горе, — говорят, — у нас: сына в солдаты берут, а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же, — отвечаю, — мне все равно: я своему Ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять руб-

лей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день Богу за себя молил, через Предтечу-Ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская; которая по Аварии[219], зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету, этих татаров, побили, но кои переправились за Кой-су, — те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в

[219] Примечания: 219

Авария — бывшее Аварское ханство. С 1864 года — Аварский округ (современный Дагестан).

нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй Бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднющую воду опустил, а сам хвалится: «Помилуй Бог, — говорит, — как вода тепла: все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те

два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьего парою и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит: «Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй Бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть!»

Я и подумал: «Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? Благослови, Господи, час мой!» — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названая, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву… Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега… Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем

стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала… Однако вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй Бог, — говорит, — какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я, — говорю, — на своем веку много неповинных душ погубил», — да и рассказал ему ночью

под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй Бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать, чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я, — говорит, — очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй Бог, как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем, — говорят, — тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй Бог, как спокойно, — и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал. — Ступай, — говорит, — он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливило мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на фиту? Что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или

покой, или како: много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят; ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно… Просто хоть повеситься, но я, благодаря Бога и с отчаянности, до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на Страстной неделе или перед Масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно, как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в средине — хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что все по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: все за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно

докучают, и все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Мо-

лоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофеозе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как от этого положения избавиться. На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? Деться было некуда.

А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил, — здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? Что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «Запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут), — я запрягу; а скажут: «Отец Измаил, отпрягай», — я откладываю.

— Позвольте, — говорим, — так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались… при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так… достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? Я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет… не верят, так и в монастырь светскую ложь занес и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

Глава двадцатая

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от

беса, и вопросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? Ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал;

— Какже не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Все разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и его, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: «Противустаньте

дьяволу, и побежит от вас», и ты, — говорит, — противу стань». И тут наставил меня так делать, «что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумей, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека, — говорит, — первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял, и дня по четыре ничего не вкушал, и воды не пил, а потом он понял, что ему со мною спорить

не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим… он-то… Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросеночек издыхает.

Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава Богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам — хоть это против правила, — а мне

мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут…

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например… чем могут досаждать?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшому: дескать, и мы смутили, дан нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются… Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда

и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву — нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает… мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда, в конюшню ко мне, ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю

как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужаный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось, — говорит, — и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь пресердитый и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать.

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги, — я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно», — отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от Царства Небесного.

«Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть ключи: ты этою дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этою дверью заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопаски еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! Просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! Да еще мало этого, что дышит, а прет дверь… При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад… А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче — щелк… Больно, должно быть, ему показалось, ион усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет

того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал да как лизнет меня в ухо… Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну, — думаю, — так тебе и надо» — а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на мокрого Спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая

подает мне свечечку и говорит: «Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, — две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу, — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут… Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник… а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же, — думаю, — если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что, — говорит, — вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили, на сколько именно времени, а так сказали только, что «по-

садить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? Здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молол. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? Верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?!

— Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не у совершаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у Бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, — говорит, — помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи все на этом инстру-

менте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского[220], и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай, — говорит, — и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келпи Пресвятая Владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник Божий Тихон стал тогда просить Богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять:

---

[220] Примечания: 220

Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский (17241783), житие которого было издано в 1862 году.

к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас, и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное: «Егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. Все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, говорят, наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевесть и поставить мне образ «Благое молчание», пишется Спас с крылами тихими, в виде Ангела, но в Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все «Благому молчанию» молился, но чуть

человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий, — говорит, — ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я, — говорит, — его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это, — говорит, — по вашей части, а я в этом несведущ, мнение же мое такое: прогоните, — говорит, — его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну

говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам «Благое молчание» не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? Повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы Свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.

Запечатленный ангел
Глава первая

Дело было на Святках, накануне Васильева вечера[221]. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу — везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добив-

[221] Примечания: 221

Память святителя Василия Великого празднуется 1 января по ст. стилю.

шимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом[222] и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

— Кто там? — окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

— Мы, — ответили глухо из-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились… обмерзли.

— А много ли вас?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, — говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.

— Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

— Пусти хоть малость обогреться!

— А кто же вы такие?

---

[222] Примечания: 222

Т.е. не тремя, а двумя пальцами, как старовер.

— Извозчики.

— Порожнем или с возами?

— С возами, родной, шкурье везем.

— Шкурье! Шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну люди на Руси настают! Пошли прочь!

— А что же им делать? — спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.

— Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, — отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину за жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо него откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, — заговорил он, — он это с практики берет и внушает правильно — со шкурьем безопасно.

— Да? — отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

— Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

— Это почему?

— А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

— А кого теперь еще понесет черт? — молвила шуба.

— А ты слушай, — отозвался хозяин, — ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик.

— Это верно, — поддержал рыженький человечек. — Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а Ангел руководствует.

— А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой Ангел, — отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что Ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

— Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, — проговорила шуба.

— Да-с, ее и имел.

— Что же это: вы видели, что ли, Ангела, и он вас водил?

— Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

— Что вы, шутите или смеетесь?

— Боже меня сохрани таким делом шутить!

— Так что же вы такое именно видели: как вам Ангел являлся?

— Это, милостивый государь, целая большая история.

— А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

— Извольте-с.

— Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

— Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

— Ну как хотите, только скорее сказывайте: как вы могли видеть Ангела и что он вам сделал?

— Извольте-с, я начинаю.

Глава вторая

— Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при

себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов[223] [224]. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы одеяниями, каковые, например: Индикт, праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими, Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут: ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука

---

[223] Примечания: 223

Новгородская иконописная школа (XIV–XV вв.) и продолжавшая её традиции строгановская характеризовались мелким письмом по золоту.

[224] Примечания: 224

Олинфы — оливковые деревья.

давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы: одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а пред ней все древеса, кипарисы и олинфьТ[224] до земли преклоняются; а другая — Ангел Хранитель, Строганова дела.

Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на Ангела… радость! Сей Ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отвсюду слышания; одеянье горит, рясны[225] златыми преиспещрено; доспех пернат[226], ра-

---

[224] Примечания: 224
Олинфы — оливковые деревья.

[225] Примечания: 225
Рясна — вышивка, оторочка по краю одежды.

[226] Примечания: 226
Пернат (пернач) — булава с перистым набалдашником.

мена препоясаны; на персях младенческий лик Эммануилев; в правой руке — крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! Дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы, как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: Владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а Ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошель на темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне — алый крест из настоящего штофу[227], а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона в сем содержании у Луки на

[227] Примечания: 227

Штоф — плотная, тяжелая — обычно с крупным тканым узором — шерстяная или шелковая ткань.

груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам Ангел нам предшествовал.

Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями; Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу — Михайлица с Богородичной иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели и играет… то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили все вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам Ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнию своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все до сего часа

исхоженные нами пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать: занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

— Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

— Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от Ангела.

Глава третья

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы

все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное; возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса: первый поклонный для больших икон, а выше два тябла[228] — для меньшеньких, и так возвели, как должно, лествицу[229] до самого Распятия, а Ангела на аналогии[230] положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку огородили. На нас глядючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы

---

[228] Примечания: 228
Тябло — киот, полочка, ярус иконостаса.

[229] Примечания: 229
Лествица — лестница.

[230] Примечания: 230
Аналогий (аналой) — высокий церковный столик для чтения стоя.

работой, и пошло все как надо! Деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд

гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует… Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал[231], а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут

[231] Примечания: 231
Начал — молитва старообрядцев.

у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудит: «Бо-господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам[232], новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень Ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь неозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи

[232] Примечания: 232
Старинный способ обозначения нот, без линеек.

точно из Амалфеева рога[233], как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач[234] Марой, а другой — счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда[235], и недрист, как кабан — одна пазуха в полтора обхвата, а лоб, весь заросший крутою космой и точно мраволев[236] старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щапо-

---

[233] Примечания: 233
Амалфеев рог — рог изобилия.

[234] Примечания: 234
Ковач — кузнец.

[235] Примечания: 235
Вельблуд — правильно: верблюд.

[236] Примечания: 236
Мраволев — фантастическое животное, смешение муравья со львом.

ватый[237]: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен; имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар[238]. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность[239] терпкого пития, которое надлежало нам испить.

Глава четвертая

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо, а каждый тот

---

[237] Примечания: 237
Щаповатый (щапливый) — нарядный, щегольской.

[238] Примечания: 238
Велиар — темная, мрачная сила.

[239] Примечания: 239
Оцет — уксус.

болт — по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии — отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал; но на все на это наш Марой, ковач, изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой[240] из тележного колеса с песковым жвиром[241], да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит да на горячее ковало и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

— Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и

---

[240] Примечания: 240
Колоника — загустевший на осях телеги деготь.

[241] Примечания: 241
Жвир — крупный песок.

пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чаи пить

да велеречить[242]: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать — пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то, и вот этакие-то, святые, праведные, приснoблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:

— Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этакие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, и, словом, говорит ей все такое,

---

[242] Примечания: 242
Велеречить — говорить красноречиво, высокопарно.

что совсем к разговору с мирской женщиной непринадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

— Я слыхала, — говорит, — что к вам Божие благословение видимо, — говорит, — проявляется.

А тот сейчас и подхватывает:

— Какже, — отвечает, — матушка, проявляется, весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо, — говорит, — государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь, как паутину, щипал.

Барынька так и всплеснула ручонками.

— Ах, — говорит, — как интересно! Ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, — говорит, — прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-с, — отвечает Пимен, — отчего же-с; очень можно! Только, — говорит, — в таковых случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

— Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! Та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, — и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг[243], и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

— Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему

---

[243] Примечания: 243

Нетяг — хилый, слабый, плохой работник.

вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастие этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и перемениться одним дивесам на другие.

Глава пятая

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

— Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да чтоб они хорошенько, — говорит, — молились, потому мне это очень нужно!

— Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, — заспокоил ее Пимен, — я их голодом запощу, пока не вымолят, — взял деньги, да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

— Я, — говорит, — как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой Ангел Хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

— Ах, прекрасно, — отвечает, — прекрасно;

я очень рада, что есть такой Ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не выел овил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен поснимали да попрятали в коробьи, а из коробей кое-какие заменные заставки[244], что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала, такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный Ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора.

— У нас, — говорим, — такового Ангела нет.

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей Ангела не показали и скорее ее

---

[244] Примечания: 244

Заставки — здесь: подставные иконы.

чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и Бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая[245], тоненькая, как сойга[246], и бровеносная.

— Вам этакая красота не нравится? — перебила рассказчика медвежья шуба.

— Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? — отвечал он.

— У вас, что же, почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку! — повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. — Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыба-

---

[245] Примечания: 245
Цыбастая — тонконогая.

[246] Примечания: 246
Сойга (сайга) — степная коза.

стенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

— Чего вы? Она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но Бог там с нею: какая она есть, такая и будь; мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья у клали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому; покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только Бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно.

Глава шестая

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою,

Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся, как больная, печальная и этакая зеленоватая.

— Что вы, — говорю, — второродительница, на таком месте усевшись?

А она отвечает:

— А где же мне, Марочка, притулиться?

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

«Что это, — думаю себе, — она за пустяки такие

мне говорит, что ей негде притулиться?»

— А зачем же, — говорю, — вы в чуланчике у себя не ляжете?

— Нельзя, — говорит, — Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.

«Ага! Вот, — думаю, — так и есть, что что-нибудь по вере сталось», — а тетка Михайлица и начинает:

— Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось?

— Нет, мол, второродительница, не знаю.

— Ах, страсти!

— Расскажите же скорее, второродительница.

— Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?

— Отчего же, — говорю, — не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?

— Знаю, родной мой, — отвечает, — что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это, как надо, высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди — дядя после шабаша придет, он тебе, небось, все расскажет.

Но я никак не мог, чтобы дождаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг

грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

— У нас, дитя, сею ночью Ангел Хранитель сошел.

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

— Говорите, — прошу, — скорее: как это диво сталося и кто были оного дивозрители?

А она отвечает:

— Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час и одна я не спала.

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

— Уснув, — говорит, — помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело и река золу несет да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет. — А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырьях, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу, стремит высокий красный столб, а на том столбе — небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» — потому что чувствиями ей далося знать, что эта птица что-то

предвозвещает.

А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», — и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Иисусе Христе! Что это такое: овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава Богу, — думает, — что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч, — кличет, — Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», — а Лука Кирилов, как на сей грех,

мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Исусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик[247] на шее ходит, а даже остегны[248] на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, — говорит, — что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где Ангел был, — пустое место, а сам Ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу Ангелом и

---

[247] Примечания: 247
Гаплик — застежка.

[248] Примечания: 248
Остегны — шаровары.

долго стоял над ним недвижимо, как измрамран нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

— Принесите сюда двенадцать чистых плинф[249] нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

— Ангел Господень, да пролиются стопы твоя а може хощеши!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

— Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо набольшего? А он отвечает:

— Того самого, — говорит, — что к барыне хо-

---

[249] Примечания: 249

Плинфа — тонкий плитчатый кирпич, старинный строительный материал.

дил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? На что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

— Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

— Слыхал-де, — говорит, — как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

— Что же ты, шпилман[250] ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен и ботвит[251], будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

---

[250] Примечания: 250

Шпилман (нем.) — странствующий музыкант; здесь в ироническом смысле.

[251] Примечания: 251

Ботвит — бодрится, чванится, бахвалится.

— Говори, — говорит, — говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

— Ничего.

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

Глава седьмая

С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру», — а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу!» — они двадцать. Он: «Что же вы, — говорит, — не понимаете, что ли, что я не могу, я уже полиции дал

знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят:

— Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно.

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

— А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйте с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

— Давайте же скорее мою печать.

А жиды говорят:

— А давайте зи наши деньги.

Барин: «Что? Как?» А те на своем стали.

— Мы зи, — говорят, — деньги под залог оставляли.

Тот опять:

— Как под залог?

— А как зи, — говорят, — мы под залог.

— Врете, — говорит, — вы, подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

— Герш-ту, — говорят, — слышь, мы будто совсем дали… Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем, как мужики, без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабар» по-ихнему — взятка).

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут; «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин, запершись, сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят; «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки

грозят: «Если нынче, — говорят, — пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да кжене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно, — говорит, — твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их Ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты, — говорит, — сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим, — говорит, — это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо, — говорит, — съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего

Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте, — говорит, — я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили… Жиды… понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам Бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, за то всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этаком обороте восчувствовал! Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротитися[252] и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет, да мне, — говорит, — хорошо известно, что раскольники — богачи, и для вас двадцать пять тысяч — это вздор. Моему отцу, когда он в

[252] Примечания: 252
Ротитися — божиться.

Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч — это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы — простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осаждила: «Что вы, что вы, — говорит, — мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», — а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «С меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты,

шпилман этакий, — говорит, — шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделывайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного пасмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился[253], я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя

---

[253] Примечания: 253
Кучился — умолял.

услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнагощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был: кто с ломом, кто с мотыкою; все бегут свою святыню оберегать… Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут… Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выспреннею горячею

верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живое и несокрушимое.

Глава восьмая

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа!» А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да «связать, — говорят, — его, под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит,

что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят да на железный прут иконы, как котелки[254], нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плещами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой: один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелася, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да, по счастию их, впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

— Стой, Христов народушко, не дерзничайте! — а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: — Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники — отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

— Цыть, мерзавец! Еще рассуждать смеешь!

---

[254] Примечания: 254
Котелки — баранки.

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

— Прочь! — а шепотом шепнул: — Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

— Бог с вами, если так: губите все как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

— Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? — и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки наверну-ли и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: сол-даты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия Ангельскую икону

и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то, и мошенниками, и говорит:

— Ага! Вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как! — да, накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый Ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик Ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот Божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная…

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном Ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда

нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но вели-котелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного Ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

Глава девятая

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили; это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам

архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» — и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с не худым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного Ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите, — говорит, — сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой — мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего Ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощию подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех

местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд[255] по закожью: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского Ангела. «Его, — бают, — запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем» — и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

— Принесите нам сюда запечатленного Ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

— Так и так, Ваше Преосвященство, вера дело

---

[255] Примечания: 255
Водный труд — водянка.

великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного Ангела.

Но владыко сего не послушал и сказал:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велося не жестокостью, а Божиим смотрением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

— Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

— Кому в какой вере быть — это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

— Не говори, — говорит, — мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки

мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею — и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «Бог шельму метит», но только сдавил я это слово в устах и молвил:

— Что же, молись, — говорю, — и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих по осени только

что стал лед, как вдруг сделалась оттепель: весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч…

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что, дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

— Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик Ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаеваем от жалости.

— Что же, — говорит, — вы думаете делать?

— Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный.

— Да чем, — говорит, — он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорог он, — отвечаем, — нам потому, что

он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

— А как, — говорит, — вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

— Ну, уж на этот счет, — отвечаем, — ваша милость не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап[256] смолы не допустят.

— Вы в этом уверены?

— Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

— Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего Ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

---

[256] Примечания: 256
Вапа — краска.

— Нет, — говорим, — на небольшое время.

— Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного Ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

— Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

— Это почему так?

А мы отвечаем:

— Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет да и нигде вблизи не отыщется.

— Пустяки, — говорит, — я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

— Нет-с, — отвечаем, — вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских

художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

— А где же, — говорит, — есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

— Очень, — докладываю, — они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, — говорю, — в слободе Мстере[257] один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, — говорю, — нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

— Это опять почему? — пытает.

---

[257] Примечания: 257

Мстера — поселок Владимирской области, древнейший центр русской миниатюрной живописи и иконописи.

— А потому, — ответствую, — что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

— Так как же, — говорит, — быть?

— Сам, — говорю, — не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев, и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать — неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

— Довольно дивные, — говорит, — вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же, — говорю, — сударь, искусства не постигать: это дело — художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах:

устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают.

— Может ли, — говорит, — это быть?

— Все равно, — отвечаю, — как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

— По каким приметам?

— А есть, — говорю, — разница в приеме как перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина[258], коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

---

[258] Примечания: 258
Парамшин — русский иконописец XIV века.

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

— Где же они делись?

— А не знаю, — говорю, — на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

— Это, — говорит, — быть не может.

— Напротив, — отвечаю, — вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у Папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы — Андрей, Сергей да Никита — в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

— А как она в Рим попала?

— Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

— Ну, а у нас, — говорю, — верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела.

— А если таковая, — говорит, — ваша образованная невежественность, так отчего же в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

— Некем, — отвечаю, — нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что Архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жид овином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка, и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное[259] невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный по-

[259] Примечания: 259
Студодейный — непотребный.

губляет воду.

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

— Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

— Я уже все кончил, — а он говорит:

— Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новгороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам Бога Саваофа стоят седмь крылатых Архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени — пророки и праотцы, ниже ступенью — Моисей со скрижалию, еще ниже — Аарон в митре и с жезлом прозябшим, на других ступенях — царь Давид в венце, Исайя-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на Небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями

— дар премудрости, седмисвещный подсвечник — дар разума; седмь очес — дар совета; седмь трубных рогов — дар крепости; десная рука посреди седми звезд — дар видения; седмь курильниц — дар благочестия; седмь молоний — дар страха Божия. «Вот, — говорю, — таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?

— А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись.

— Да ведь это же, — говорит, — всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет, — ответствую. — Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о «великия и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностию кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную Небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего

душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги, и вся слава земная при молитве кажутся не иначе, как мерзость пред Господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

— А вы же, чудаки, чего себе молите?

— Мы, — отвечаю, — молим христианския кончины живота и доброго ответа на Страшном судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» — и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин — знать, приятна ему эта доброта в жене — глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там, по-ихнему, иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

— Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам, что нужно, сделает, и жене моей в вашем роде напишет — она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает. А она сквозь слезы улыбается и частит:

— Ни-ни-ни: это он, а я особая, — да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

— Муж, — говорит, — мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

— Нет, — говорит, — не смейте ей отказывать и берите, что она дает, — и сам отвернулся и говорит: — и ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные[260] люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия[261] восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполовение моей повести, и я вам вкратце изложу, как я, взяв своего среброуздого

---

[260] Примечания: 260
Притоманный (диалект.) — сородич, близкий.

[261] Примечания: 261
Пакибытие — духовное возрождение.

Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратилися.

Глава десятая

— В путь шествующему человеку первое дело со-путник; с умным и добрым товарищем и холод, и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле[262], но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу:

---

[262] Примечания: 262
Клинцы, Злынка, Орёл — центры старообрядчества.

оле[263] тебе, Москва! Оле тебе, древлего русского общества преславная царица! Не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Не охота бы говорить, а нельзя промолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно, но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый

[263] Примечания: 263
Оле — увы.

одному пишет рефтью[264], а другому нефтью[265], на краткое время, а не в долготу дней; грунта кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь[266] леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унизить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупись, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают;

---

[264] Примечания: 264
Рефть — краска, смесь голубого и чёрного цветов.

[265] Примечания: 265
Нефть — белая краска, обычно смешивавшаяся с золотом.

[266] Примечания: 266
Плавь — расплавленный чугун.

амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие до Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся, что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул, и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся[267], как Божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

---

[267] Примечания: 267
Нарохтиться — бахвалиться.

«Неужто же, — думаем, — такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» — да и говорю:

— Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

— Нет, — говорит, — дядя, ничего: это я так.

— Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

А Левонтий отвечает:

— Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

— Отчего же, — говорю, — ты не пойдешь?

— А так, — отвечает, — мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову:

— Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик.

А он умильно кланяется и просит:

— Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.

— Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

— Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александ-рыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

— Ты гляди, человече, этой иконе не покланяйся.

Я говорю:

— Почему?

А он отвечает:

— Потому что она адописная, — да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом

нарисован! Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом — опять чертик.

— Господи! — заплакал я. — Да что же это такое?

— А то, — говорит, — что ты не ему, а мне закажи.

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой, и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,

Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипкал, а Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня:

— Дядя! А дядя!

— Что, — говорю, — добрый молодец?

— А знаешь ли ты, — говорит, — кто это наша мать, про которую тут поется?

— Рахиль, — отвечаю.

— Нет, — говорит, — это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Как же, — спрашиваю, — таинственно?

— А так, — отвечает, — что это слово с преобразованием сказано.

— Ты, — говорю, — смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

— Нет, — отвечает, — я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем.

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и

говорю:

— Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ко мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

— Что же: пойдем, — отвечает, — здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там, — говорит, — я слыхал, есть старец Памва, анахорет[268] совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

— Старец Памва, — отвечаю со строгостию, — господствующей Церкви слуга, что нам на него смотреть?

— А что же, — говорит, — за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей Церкви благодать.

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

— Церковные, — говорю, — и на небо смотрят

---

[268] Примечания: 268
Анахорет (анахорит) — пустынник, отшельник.

не с верою, а в Аристотелевы врата[269] глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано.

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

— Церковные кофий пьют!

— А что за беда, — отвечает Левонтий, — кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен.

— Откуда, — говорю, — ты это все знаешь?

— В книгах, — говорит, — читал.

— Ну так знай же, что в книгах не все писано.

— А что, — говорит, — там еще не написано?

— Что? Что не написано? — а сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

— Церковные, — говорю, — зайцев едят, а заяц поганый.

— Не погань, — говорит, — Богом созданного, это грех.

— Как, — говорю, — не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и

---

[269] Примечания: 269

Аристетелевы (Аристотелевы) врата — сборник неканонических текстов, запрещённый на Руси в 1551 году как еретический.

меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

— Спи, дядя, ты невегласы глаголешь!

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю: «Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я, как будто, очень на него сержусь.

Но только в волевращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о Божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщал-

ся и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но, — думаю себе, — чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село и вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

— Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настигаем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «нам надо идти направо», а он спорит — «налево», и, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю, куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

— Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

— Н-ет, не могу я, дядя, больше идти, — сил моих нет.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебе, дитятко?

А он отвечает:

— Разве, — говорит, — ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый[270] пень и говорит:

— Ой, голова моя, голова! Ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить! — а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг — одни сосны и ели могучие, как аркефовы древеса, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

---

[270] Примечания: 270
Избутелый — гнилой.

— Левушка, батюшка, поневольсь, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

— Не сияй и бдяй сохранит.

Я думаю: «Господи! Что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться и слышу: по лесу вдалеке что-то словно потрескивает… «Владыко Многомил остиве! — думаю. — Это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-от все ближе и ближе слышится и вот-вот уже совсем подходит… Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как

пуганый волк, так и ляскаю… И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, — не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь, и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? Вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

— Понеси-ко за мною!

А Левонтий и понес.

Глава одиннадцатая

Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок

взялся и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять и опять сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее да за ними и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а бородка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня не смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

— Доброчестный человек!

А он отзывается:

— Что тебе?

— Куда ты нас ведешь?

— Я, — говорит, — никого никуда не веду, всех Господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет:

— Брате Мирон! А брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

— Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пущу!

Но старичок опять давай проситься, молить ласково:

— Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я — это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

— Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу.

— Господи! — помышляю, — куда это мы попали, — и вдруг как молонья[271] меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердый! — взгадал я, — да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы, — думаю, — я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас

---

[271] Примечания: 271

Молонья — молния.

догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

— Вся Господня земля и благословенны вси живущие — ложись, спи!

— Нет, позволь, — говорю, — тебе объявиться, ведь мы по старой вере.

— Все, — говорит, — уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

— Спите!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:

— Прости, Божий человек, еще одно вопрошение…

Он отвечает:

— Что вопрошать: Бог все знает.

— Нет, скажи, — говорю, — мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало,

бабственною погудкою говорит:

— Зовут меня зовуткою, а величают уткою, — и с этими пустыми словами пополз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

— Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

— Не буду, — отвечает, — брате Мирон, не буду. Спаси тебя Бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

— Отче! Кто это на тебя так грубительно грозится?

А он отвечает:

— Это служка мой Мирон… добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш! — думаю, — это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный, и безгневный.

Вот когда беда! Обрящел он нас и теперь истлит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить

отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин[272] точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой… самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так — смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись» — а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, ана-

[272] Примечания: 272
Тесина — доска.

хорит, сидит и свайкою[273] лыковый лапоток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! Ах, сколь духовен! Точно Ангел предо мною сидит и лапотки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

— Полно, Марк, спать, порадело делать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты все знаешь?

— Знаю, — говорит, — знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути Господнего ищут. Помогай Господь твоему смирению, помогай!

— Какое же, — говорю, — святой человек, мое смирение? Ты смирен, а мое что за смирение в суете!

А он отвечает:

— Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в Небесном Царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

---

[273] Примечания: 273

Свайка — изогнутый металлический прут (обычно на деревянной ручке), используемый для плетения верёвочных, лыковых и других изделий.

— Господи! — молится. — Не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

— Ну, — думаю, — нет: слава Богу, это не Памва — прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец. Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме Небесного Царства может отрицаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговейную[274]. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу: отворяется дверь и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

— Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

— Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапоток плесть.

---

[274] Примечания: 274

Скорбь демоноговейная — то есть идолопоклонническая.

Тут я сразу вскочил и думаю: «Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без оглядки!» — и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? — а шепотом шепчу ему: — Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит… Отошел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

— Памва! Отец Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостию:

— Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да, — отвечаю сквозь слезы, — он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! — и, повергшись к ногам усопшего, стенал я и планил над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, спрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к Церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согруби ему — он благословит, прибей его — он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что петлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «Жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! Он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, а устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапотком аду на погибель создан! И, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образам и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, окроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг…

«Господи! — дерзаю рассуждать. — Если только в Церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром

начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый троскот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

— Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить!

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

— За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

— Что есть Вавилон? Столп кичения; не кичись правдою, а то Ангел отступится.

Я говорю:

— Отче, знаешь ли, зачем я хожу?

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает:

— Ангел тих, Ангел кроток, во что ему повелит Господь, он в то и одеется; что ему укажет, то он сотворит. Вот Ангел! Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать…

И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я от-

вратить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или… Господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «Ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его», — да вдруг думаю: «А что, если он сам Ангел, и Бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не Ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село, и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух Божий в ноздрех человека сего».

Глава двенадцатая

Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись со своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плещми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом, как цыган, черен. Яков Яковлевич и говорит:

— Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

— Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

— Да тебе, — говорит, — что-нибудь мелкое ими не вывесть.

Тот спрашивает:

— Почему?

— А потому, что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

— Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

— Значит, ты, — говорит, — нам запечатленного Ангела подведешь?

— Отчего же, — отвечает, — я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

— Хорошо, — молвил Яков Яковлевич, — мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась.

— Какое же во имя?

— А уж этого я, — говорит, — не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

— А о чем ваша супруга более Богу молится?

— Не знаю, — говорит, — друг мой; не знаю о чем, но, я думаю, вернее всего, о детях, чтоб из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

— Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

— Как же ты потрафишь?

— Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку — пядницу[275], то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разуме-

[275] Примечания: 275

Пядница (пядь) — расстояние между большим и указательным пальцами, раздвинутыми по плоскости. Здесь: доска соответствующей меры.

ется, добре вылевкасил[276] крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором — рождество Пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем — Спасово пречистое Рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жидовства, а от Божества, все создавшего. А в четвертом отделении — рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество: все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна

---

[276] Примечания: 276
Левкас — шпаклёвка у иконописцев, смесь клея с мелом.

и движение. В Богородичном Рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы — тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба Святую Богородицу омывает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан[277], и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна[278]... Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

---

[277] Примечания: 277
Бокан (бакан) — краска багряного цвета.

[278] Примечания: 278
Вохра (вохря) — желтая краска.

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

— Могу.

— Так скопируй мне, — говорит, — в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

— Нет, вот уж этого я не могу.

— А почему?

— А потому, — говорит, — что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

— Что за вздор такой!

— Никак нет, — отвечает, — это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!

Яков Яковлевич говорит:

— А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

— Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся.

Англичанин просиял и, шутя, говорит жене:

— Как это тебе нравится, что он твое лицо пи-

сать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гут карахтер». Но только молвил в конце:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

— Ну так смотрите, — говорит, — я начинаю, — и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном Ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и домогает; а мы уже ждем, что порох огня.

Глава тринадцатая

При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз — невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постянет, а на

другой опять растворит; реку то ледком засалит, то спучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь… Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто халепа[279], так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось: цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

---

[279] Примечания: 279
Халепа — зимняя непогода, мокрый снег.

— Завтра, — говорит, — ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечу! Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда[280] горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать и потому он несуетно себе все приготовлял: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, пригото-

---

[280] Примечания: 280
Еспер-звезда — планета Венера.

вил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают…

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам… По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся: «Боже Отец Духовом и Ангелом: пощади рабы твои!»

И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

— Эй, вы! Староверы! Вот вам привез! — и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма[281] с нашего

---

[281] Примечания: 281
Басма — тонкий образной оклад.

Ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

— Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

— Да что же вы все путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

— Твои, — говорит, — мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь

выкрадет.

Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и ответствует:

— Нет, — говорит, — ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, — говорит, — только в обиду нам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, поведено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить. Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Конона Градаря — с цветком, Тимофея — с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата — с копьями, Фотия — с корнавкой[282], а Кондрата — с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить, как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот Ангел писан, которого надо подменить.

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше

---

[282] Примечания: 282
Корнавка — куртка.

решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаиваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все, яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет… Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово Рождество, а в самый Сочельник ударил гром, полил ливень, и льет, и льет без уставу два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло… Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они, и сами звенят, прости Господи, точно демоны… Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того, потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился — складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать

не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел: все, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

— Знаешь что, мужик: пойдем вашего Ангела красть?

Лука отвечает:

— Согласен.

По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотаря и попросит ему икону Ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее вглядится и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего злотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав чело-

веку шинель, якобы от жары, велит ее вынесть. А на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

— Что же-с? Мы, — говорим, — на все согласны!

— Только смотрите же, — говорит, — помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.

Лука Кирилов отвечает:

— Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую, и подделок.

— Ну а если тебе что-нибудь помешает?

— Что же такое мне может помешать?

— Ну, вдруг ты умрешь или утонешь.

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а впрочем, соображает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

— На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который в случае моей неустойки всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас.

— А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?

— Ковач Марой, — отвечает Лука.

— Это старик?

— Да, он не молод.

— Но он, кажется, глуп?

— Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет.

— Какой же, — говорит, — может быть дух у глупого человека?

— Дух, сударь, — ответствует Лука, — бывает не по разуму: дух иде же хощет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого — скудный.

Англичанин подумал и говорит:

— Хорошо, хорошо: это все интересные ощущения. Ну, а как же он меня выручит, если я попадусь?

— А вот как, — отвечает Лука, — вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет, и

всю вину на себя примет.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно, — говорит, — любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?

— Ну уж это, мол, дело взаимоверия.

— Взаимоверия, — повторяет. — Гм, гм, взаимоверия! Я за глупого мужика в каторгу или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово… под кнут… Это интересно.

Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он и говорит:

— Ну так что же?

— А ты не убежишь? — говорит англичанин.

А Марой отвечает:

— Зачем?

— А чтобы тебя плетьми не били да в Сибирь не сослали.

А Марой говорит:

— Экося! — да больше и разговаривать не стал.

Англичанин так и радуется: весь ожил.

— Прелесть, — говорит, — как интересно.

Глава четырнадцатая

Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег: он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

— Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?

— Видел, — отвечает, — и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю.

— Батюшка, — молим его, — порадей!

— Ничего, — отвечает, — порадею!

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел Ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступал самый опасный час нашего воров-

ства.

Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели, три человека, в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления: как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всенощная пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал

дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим, передавленным голосом говорит:

— Греби!

Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. Насилу справился и отвалил от берега да и спрашиваю;

— Добыли, дядя, Ангела?

— Со мной он, греби мощней!

— Расскажи же, — пытаю, — как вы его достали?

— Непорушно достали, как было сказано.

— А успеем ли назад взворотить?

— Должны успеть; еще только великий прокимен вскричали. Греби! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ах ты Господи! И точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, впоперек течения держу, а нашей слободы нет, — это потому, что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет, и качает, а сверху реки, точно как льдом, дышит.

Ну, однако, милостью Божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех

познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее, и на свою подделку и говорит:

— Хороша! Только надо ее маленько грязной с шафраном[283] усмирить! — а потом взял икону с ребер в тиски и налячил[284] свою пилку, что приправил в крутой обруч, и… пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги… Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет, и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такой холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и, наконец,

---

[283] Примечания: 283

Шафран — краска ярко-красного цвета, приготавливаемая из одноименного растения.

[284] Примечания: 284

Налячить — натянуть.

глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек, как сито, сделался в трещинках… Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в средину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном, вроде замазки, и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать… Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

— Давай каленый утюг!

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.

Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг да как дернет им по шляпному обрывку!.. От

разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка[285] уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другою — утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярок и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато светлобожественный лик весь виден…

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

— Ну, кончай же скорей!

А тот отвечает:

— Моя акция кончена, я все сделал, за что брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вот сюда этому новому Ангелу на лик, как у того было.

---

[285] Примечания: 285

Поярок — шерсть, руно с овцы после первой стрижки.

А Севастьян покачал головою и отвечает:

— Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать.

— Так как же нам теперь быть?

— А уже я, — говорит, — этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте.

Лука говорит:

— Что ты это! Да мы ни за что не дерзнем!

А изограф отвечает:

— И я не дерзну.

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная, как смерть, и говорит:

— Неужели вы еще не готовы?

Говорим: и готовы, и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему:

— Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что на дворе?

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул: лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыга на

крыгу скачет, друг на дружку так — и прядают, и шумят, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло… У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу… Стою и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и… выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

— Нате, готово!

Мы глянули: у нового Ангела на лике печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

— Лодку!

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джеме!» — и пала неживая.

А мы стоим и одно чувствуем:

«Где же наше слово? Что теперь будет с англи-

чанином? Что будет с дедом Мароем?»

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке:

— Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти! — и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь! — да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

— Прочь! Или насмерть ушибу!

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя мал оду шником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но… угодно вам — верьте, не угодно — нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как

промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

— Заводи катавасию[286]!

Головщик[287] наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», — а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается… А далее? Далее объяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровало, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

Глава пятнадцатая

Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим пра-

---

[286] Примечания: 286

Катавасия — в православном богослужении повторяемый ирмос, который поют оба клироса, сходясь в середину солеи.

[287] Примечания: 287

Головщик — управляющий одним из клиросов в церкви.

вилом в главной церкви всенощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего Ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я — ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимоверии превозвысить, а к этим двум верам третия, еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та, третья вера, творит. Но вот как ударили в последний звон всенощной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и

твердисловит:

— Перенеси Бог! Перенеси Бог, перенеси Бог! — а потом вдруг как вспрыгнет и сам, словно пьяный, пляшет, а сам кричит. — Перенес Бог, перенес Бог!

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает: «Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб», — ан смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

— Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел.

А дядя Лука говорит:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же светение?

Лука отвечает:

— Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал… точно меня кто под обе руки нес.

Марой говорит:

— Это Ангелы, — я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.

— Что же, — говорит, — печати нет?

Лука говорит:

— Как нет?

— Да нет.

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

— Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный Ангел совершил, и я знаю, к чему оно.

И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:

— Так и так, я святотатец и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить.

А владыка в меру чести своея все то выслушал и ответствует:

— Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, — говорит, — плутовством с своего Ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел.

Дядя говорит:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь.

А архиерей ответствует разрешительным словом:

— Властию, мне данною от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься заутро принять Пречистое Тело Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:

— Отцы и братие, мы видели славу Ангела господствующей Церкви и все Божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и Тела и Крови Спаса сегодня за обеднею приобщались.

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:

— И мы за тобой, дядя Лука! — да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный Ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

Глава шестнадцатая

Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но, наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение Ангела, которого

забеглая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то, — добавил слушатель, — что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за Ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло зарябить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполовя дня умер…

— Да он и умер-с, — отозвался Марк.

— Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового Ангела, которого англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-с, — весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

— Как же это могло случиться?

— А так: англичанка тоже не дерзнула Ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада… Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.

— Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.

— Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под Церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым Годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!

Христос в гостях у мужика Рождественский рассказ Посвящается христианским детям

Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, — я слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и передам его же словами.

* * *

Наше место поселенное, но хорошее, торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую[288]. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля

---

[288] Примечания: 288
То есть герой принадлежит к староверам.

Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было.

Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение — об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, почти все его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию создателя, грех сего безумия не до конца совершился — Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первогильдейных купцов сослан он к нам на поселение.

Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели, а дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец

мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришли мы друг другу по сердцу.

* * *

Родители мои попервоначалу не очень меня к нему пускали. Он им мудрен казался. Говорили: «Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил». Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Воспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, — весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки — гнев горит. Честности он был примерной и умница, а к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его

Господь скоро помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил:

— Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?

— В каком, — спрашивает, — это смысле?

— Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?

А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил. Тогда я извинился.

— Ты, — говорю, — брат, меня прости, что я так спросил… Я думал, что лихое давно… минуло и позабылось.

— Нужды нет, — отвечает, — что оно давно… минуло — оно минуло, да все-таки помнится…

Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в та-

ком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово не пользует.

Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит… Он это заметил и говорит:

— Что ты теперь думаешь?

— А так, — говорю, — думаю что попало.

— Нет: ты это обо мне думаешь.

— И о тебе думаю.

— Что же ты обо мне, как понимаешь?

— Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился и лице и отвечает:

— Ты святое слово проводить не сведущ.

— Это, — говорю, — твоя правда, я не сведущ.

— Не сведущ, — говорит, — ты и в том, какие на свете обиды есть.

Я и в этом на его сдание[289] согласился, а он

---

[289] Примечания: 289
Сдание — ответ, возражение.

стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих стерпеть нельзя, — и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.

— Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, — говорит, — как другу моему откроюсь.

Я говорю:

— Если это тебе может стать на пользу — откройся.

И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.

— Разве, — говорит, — все это можно простить? Я его в жизнь не прощу.

— Ну да, — отвечаю, — обида твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.

А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать.

А я по простоте своей ответил ему просто.

— Тимоша, — говорю, — ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не все разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете все ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом — яснее стоит. Там надо всем блистает. «Возлюби, да прости» (см. Мф. 5,44), и это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чем же прощать, неужели в некоей малой провинности, а не в самой большой вине?

Он молчит.

Тогда я положил в уме: «Господи! Не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?». И говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.

— Последуй, — говорю, — лучше сему, а не отомсти-тельному обычаю.

А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить яко бы все равно что зло приумножить.

Я на это упровергать не мог, но сказал только:

— Я-то опасаюсь, что многие книги безумным тя творят (см. Еккл. 12,12). Ты, — говорю, — ополчись

на себя. Пока ты зло помнишь — зло живо, — а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет.

Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:

— Не могу, оставь — мне тяжело.

Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убыло еще шесть лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает и что если пустить его на всю свободу да если он достигнет где-нибудь своего дядю, — забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий. Стал уже он помалу показываться, ну так, верно, и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.

* * *

Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло уже пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трех детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Все место

перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут часто молился.

Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собою Евангелие. Поогляделся розаны, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею (см. Лк. 7, 36–44) и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошелся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил:

— Гляжу, — говорит, — вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой ценности и унижении… И наполнились все глаза мои слезами и никак их сморгнуть не могу; и все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если б ты ко мне пришел — я бы тебе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло:

— Приду!

Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:

— Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?

Я отвечаю:

— Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом, можно ли что усмотреть в Писании?

А Тимофей говорит:

В Писании есть: Все тот же Христос ныне и вовеки (см. Евр. 13, 8), — я не смею не верить.

— Что же, — говорю, — и верь.

— Я велю что день на столе Ему прибор ставить. Я плечами пожал и отвечаю:

— Ты меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к Его воле быть может угодное, а впрочем, я и в приборе Ему обиды не считаю, но только не гордо ли это?

— Сказано, — говорит, — Сей грешники приемлет и С мытарями ест (см. Мф. 9, И; Мк. 2,16; Лк. 5, 30).

— А и то, — отвечаю, — сказано: Господи! Я не достоин, чтобы Ты взошел в дом мой (см. Мф. 8, 8). Мне и это нравится.

Тимофей говорит: — Ты не знаешь.
— Хорошо, будь по-твоему.

* * *

Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек — он, да жена, да трое ребятишек, — всегда у них шестое место и конце стола почетное, и перед ним большое кресло.

Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова и розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье — но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь свое обещание сдержит — придет. Открыл мне Тимофей так, что «всякий день, говорит, я молю: *«Ей, гряди, Господи!»* — и ожидаю, но не слышу желанного ответа: Ей, гряду скоро! (Откр. 22, 20).

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею,

и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.

* * *

Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:

— Брат любезный, завтра я дождусь Господа.

Я к этим речам давно был безответен, и тут только спросил:

— Какое же ты имеешь в этом уверение?

— Ныне, — отвечает, — только я помолил: «Ей, гряди, Господи!» — как вся душа во мне всколыхнулася и в ней словно трубой вострубило: Ей, гряду скоро! Завтра его святое Рождество — и не в сей ли день он пожалует? Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.

Я говорю:

— Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек — мы к тебе придем. А ты если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай ему угодное товарищество.

— Понимаю, — отвечает, — и сейчас пошлю

услужающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных — кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость — пожалует, так встретит все по заповеди.

Мне и это слово его тоже не нравилось.

— Тимофей, — говорю, — кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, он все, чего недостанет, пополнит, и если ты кого ему надо забудешь, он недостающего и сам приведет.

Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его полны людей всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест — и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все

послы домой возвратил ися и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление.

Одного только гостя нет и нет– который всех дороже.

Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло, и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами.

Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось: теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю».

Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:

— Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, кого надо, чтоб его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.

Я отвечаю:

— Читай молитву.

Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом: «Христос рож-

дается, славите, Христос с небес, срящите[290], Христос на земли...»

И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь.

* * *

Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, — неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем — такая, как на беседе Никодима пишется... Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет... И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи.

---

[290] Примечания: 290
Срящите — встречайте.

Тимофей как увидал это, вскричал;

— Господи! Вижду и приму его во имя твое, а ты сам не входи ко мне: я человек злой и грешный. — Да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло; и воскликнул всем вслух:

— Вонмем[291]: Христос среди нас!

А все отвечали:

— Аминь, — то есть истинно.

* * *

Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать — только один старик остался.

Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь; это был враг Тимофея — дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него прошло прахом; и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая,

---

[291] Примечания: 291

Вонмем — слушайте (буквально: восслушаем).

чаял смерти единой.

— Но вдруг, — говорит, — кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на моем месте и поешь из моей чаши», взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал:

— Я, дядя, твоего провожатого ведаю: это Господь, который сказал: «Аще алчет враг твой — ухлеби его, аще жаждет — напой его» (Рим. 12, 20). Сядь у меня на первом месте — ешь и пей во славу его, и будь в дому моем во всей воле до конца жизни.

С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем.

* * *

Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас (см. Мф. 5,44; Лк. 6,27). Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Ей, гряди, Господи; ей, гряди скоро!

